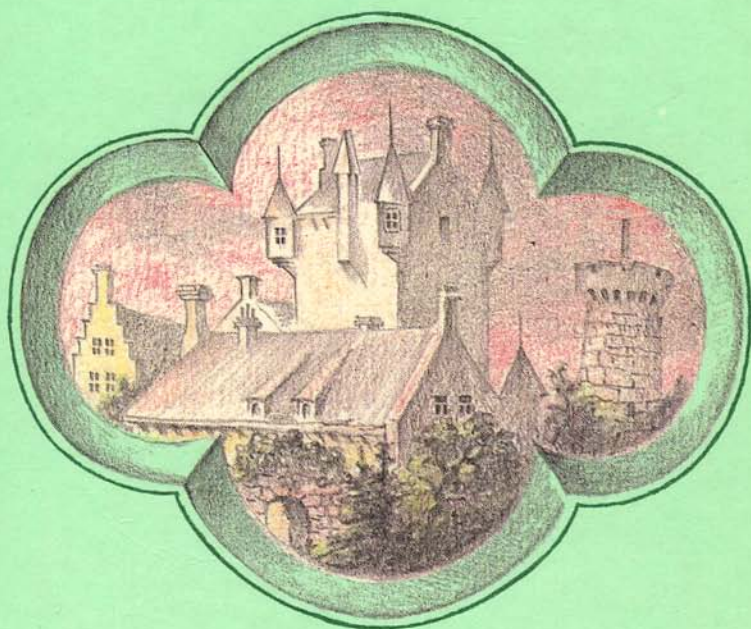
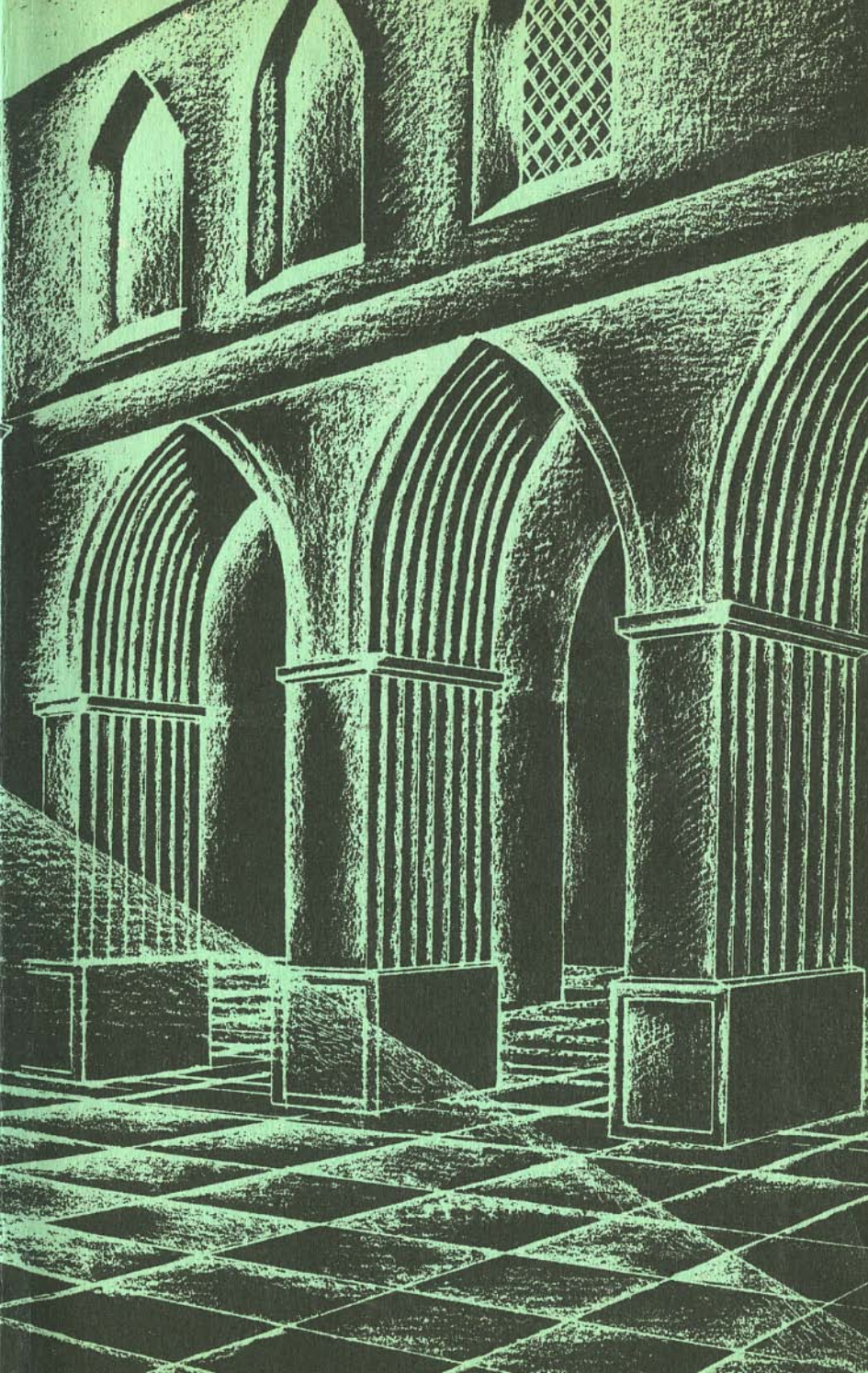


КОМНАТА С ГОБЕЛЕНАМИ

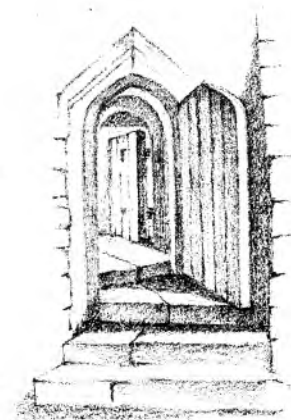
Английская романтическая
проза.



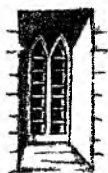




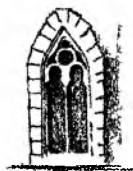
**Английская романтическая
проза.**



Гораций Уолпол
ЗАМОК ОТРАНТО



Уильям Бекфорд
ВАТЕК



Мери Шелли
ФРАНКЕНШТЕЙН

Вальтер Скотт
КОМНАТА С ГОБЕЛЕНАМИ

Томас Лав Букокс
АББАТСТВО КОШМАРОВ

Оскар Уайльд
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ



КОМНАТА —С— ГОБЕЛЕНАМИ

Английская романтическая
проза.



Москва
Издательство "Правда"
·1991·

84.4 Вл
К 63



Переводы с английского
и французского

Составление, вступительная статья
и комментарии

Н. А. СОЛОВЬЕВОЙ

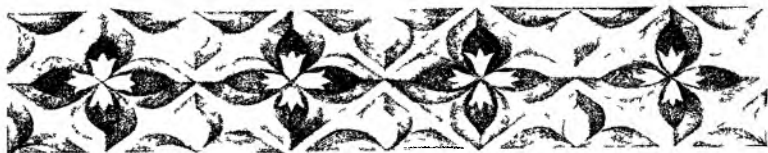
Иллюстрации и оформление

Е. М. БЕЛОУСОВОЙ

К 4703010100—2396
080(02)—91 2396—91

ISBN 5-253-00303-7

С Издательство «Правда» 1991
Составление Вступительная статья
Комментарии Иллюстрации



В ЛАБИРИНТЕ ФАНТАЗИИ

Бывают странные сны, а наяву
страннее!

А С Грибоедов «Горе от ума»

Произведения, входящие в данный сборник, принадлежат разным писателям, жившим и в XVIII и в XIX веках; имена В. Скотта и О. Уайльда хорошо известны нашему читателю, М. Шелли, Г. Уолпола, У. Бекфорда — известны мало. Тем не менее они составляют одно целое, ибо относятся к важному в английской литературе жанру готического романа, мода на который продержалась целое столетие — со дня выхода в свет «Замка Отранто» Г Уолпола до середины XIX века.

Готический роман в Англии зародился в середине XVIII века, в период кризиса просветительского мышления, когда из английской литературы исчезли имена корифеев романа, сделавших его известным во всей Европе и мире. Г. Филдинг и Т Смоллет, О. Голдсмит и С Ричардсон, Д. Дефо и Л. Стерн убедили своих читателей, что роман — жанр, достойный уважения, что он заключает в себе большие возможности. А главное они представили читателю огромное разнообразие героев — от предприимчивого организатора Робинзона до раскаявшейся в своих грехах и ставшей на путь добродетели куртизанки Роксаны, от чувствительной служанки Памелы с «душой, как у принцессы» до коварного и жестокого брата Клариссы Гарлоу. В романах была создана целая галерея портретов — авантюристов, пройдох и проходимцев, охотников за богатыми невестами и томных вздыхателей, чувствительных юношей и странных чудаков. От Д. Дефо до Л. Стерна английский роман претерпевает серьезную эволюцию, совершенствует структуру, мастерство интриги, диалога, развивает повествовательную технику, подготовив хорошую почву для появления жанра готического романа.

Английское общество эпохи Просвещения сделало книжное дело отраслью индустрии с хорошо развитой полиграфической базой, великолепным оформлением, качественными иллюстрациями. Издания осуществлялись, как правило, в двух вариантах — дорогим и дешевом

Хорошо налаженная сеть библиотек, открывавшихся даже по инициативе парикмахеров, повышала интерес к чтению. Кроме того, литература в Англии считалась важным фактором в воспитании общественного мнения, которое способствовало исправлению нравов, стимулировало развитие веротерпимости и постоянства.

Англия XVIII века развивалась стремительно и динамично. Революция 1688 года привела к компромиссу два привилегированных класса — дворянство и буржуазию. Аграрно-промышленный переворот и научная революция потрясли до основания социальную структуру, существенным образом повлияли на общественное сознание. Англия не была прагматичной нацией. Академия наук была здесь открыта раньше Национального банка, а создание Британского музея, Академии художеств и различных культурных обществ шло не просто в ногу со временем, но и было поддержано средствами массовой информации. Огромное количество научных и литературных изданий, развитие эссеистики, отражающей сложную борьбу политических партий, учили парламентаризму и демократии широкие слои общества. Осознание человеком своей активной роли в общественном производстве и историческом процессе делали англичан нацией, реально участвующей в совершенствовании собственной жизни. Развитие техники шло такими быстрыми темпами, а научные достижения были настолько эпохальны, что уже у деда Чарльза Дарвина, автора эволюционной теории — Эразма Дарвина, естествоиспытателя и ботаника, возникают дерзкие мысли об оживлении материи. Английские поэты-романтики, увлекавшиеся научными изысканиями в области химии и физики, не только слагали гимн И. Ньютону и У. Гарвею, но и живо переносили эти научные открытия века в свое творчество. Так, английский поэт-сентименталист Джеймс Томсон уже в своей описательной поэме «Времена года» сумел популяризировать важное открытие — разложение белого цвета на цвета спектра, что послужило началом расширения поэтического видения за счет размытого, смешанного изображения, подсказанного воображением, которое играло не второстепенную роль в открытиях И. Ньютона и других крупных ученых. Цветные туманы и снега появились в поэме Д. Томсона задолго до живописи импрессионистов, а воспроизведение игры света в воздушной и водной стихиях стало особенно оригинальным после «Оптики» И. Ньютона. Вместе с тем англичане XVIII века ясно ощущали и пределы возможностей человеческого знания, и вмешательство иррациональных сил в поступательное движение человека к знанию и прогрессу. Рационалистичность требовала компенсации в причудливых фантазиях и вымыслах, которые неизбежно сопровождали всякое чрезмерно рационалистическое отношение к жизни, к себе, к природе. Природа безжалостно уничтожалась дело-

витыми предпринимателями, строителями заводов и фабрик. Но она настойчиво входила в быт самых различных сословий в виде живописных пейзажей, литографий и гравюр. Безграничность человеческого интеллекта разбавлялась внушенными религией рассуждениями о дуализме человеческой природы. Порыв к духовному совпал не только с эпохой неограниченных индивидуалистических устремлений и интереса к национальному, а не к универсальному, но и с периодом необыкновенного интереса к истокам зарождения культуры, общества, государства.

Т. Перси с его собиранием народных баллад и сказаний, Д. Макферсон, написавший «Песни Оссиана» и породивший литературу «оссианизма», мимо которой не прошел ни один значительный поэт (даже у А. С. Пушкина есть следы влияния оссианизма), Т. Грей, пробудивший интерес англичан к кельтскому фольклору, — способствовали развитию воображения, стимулировали поиски новых эстетических категорий, новой моды, нового вкуса. Поэзия и проза шли из Греции в Англию, от простого копирования и подражания они переходили к воссозданию действительности, которую видели уже не так оптимистично и отчетливо, как это делали просветители с их искренней верой в безграничное совершенствование человеческой натуры. Человеческая натура становилась предметом самого пристального внимания и интереса, ибо в ней было много не поддающегося объяснению и определению.

Готическая проза возникает в период, когда великие кумиры просветительского романа не существовали, но новые тенденции уже ясно давали о себе знать, когда вера в сверхъестественное проступала настолько, что парламенту пришлось принять закон о преследовании ведьм. Но одним парламентским актом с чудесным и не поддающимся сугубо рационалистическому объяснению покончить сразу было нельзя. В театрах Друри-Лейн и Ковент Гарден в последней трети XVIII века шли оперы и балеты, водевили и пантомимы, навеянные готическими сюжетами. Готический замок стал неотъемлемой чертой быта англичанина, который теперь уже не только любовался развалинами старинных замков и аббатств, но видел отстроенные в новом стиле соборы и башни, общественные здания, садово-парковые ансамбли. Готика становилась синонимом национального, а не варварского, как прежде. В каждом замке были подземные ходы и переходы, таинственные сводчатые помещения, комнаты с гобеленами, где были скрыты потайные выходы и спуски в подземелья замков, являвшиеся и тюрьмой, и местом укрытия отчаянных беглецов, скрывавшихся от полиции.

В готическом романе обязательное место действия — замок или аббатство, как правило, реально существующие. Замок Отранто в повести Г. Уолпола поражает своей топонимикой. Мы как будто

на экскурсии, и гид объясняет нам назначение замковых помещений, расположение покоев и подземных галерей. Сам. Г. Уолпол, обладатель готического замка «Струберри хилл», жаловался как-то своей приятельнице француженке дю Дефан: «Дом полон людей, и это начинается с завтрака, короче говоря, я содержу кабачок под вывеской «Готический замок». С этого времени, как была окончена моя галерея, я не побывал там и четверти часа кряду. Все время я или продаю билеты, или прячусь от людей, которые осматривают ее. Следуйте моему совету: никогда не стройте очаровательного дома для себя между Лондоном и Хэмптон-кортом. Там будут жить все, только не вы».

Готический роман совпал с возрождением интереса к национальному — поэтому источником его становятся рыцарский роман, сентиментальная, «кладбищенская поэзия» Э. Юнга и Т. Грея; он является детищем переходного времени, поэтому в нем сходятся разные тенденции, создаются новые традиции, он становится опытным полем для экспериментирования в структуре и психологии главного героя. Интерес к психологии персонажа несколько компенсирует невероятность и надуманность событий, известную схематичность ситуаций. Конструкция готического романа довольно однообразна. Действие разворачивается вокруг замка, который наследуется не по закону, его истинный наследник лишен прав и титула, тайна его рождения связана с преступлением, сторонники и друзья героя помогают восстановить справедливость. В замке, где происходит большая часть действия, по преданиям, существуют привидения. Могут случаться и более невероятные события: оживать портреты, из статуй капать кровь и т. п. Связь с просветительской философией и эстетикой готического жанра доказывается существованием сильной дидактической традиции, утверждающей в конце концов победу добра над злом.

Насколько интересна для нас, живущих в XX веке, английская готическая проза с ее серьезным и пародийно-гротескным отношением ко всем невероятным событиям, происходящим с героями? Английский писатель и публицист Г. К. Честертон заметил: «Отказывать людям в возможности упиваться развлекательными сериями — все равно, что отказывать им в праве разговаривать на бытовые темы или иметь крышу над головой. Литература и беллетристика — вещи совершенно разные. Литература — лишь роскошь, беллетристика — необходимость»¹.

Повесть Г. Уолпола «Замок Отранто» была создана спустя два года после публикации в 1762 году первого в Англии готического ро-

¹ Г. К. Честертон. Писатель в газете. М. 1984 С. 38.

мана, принадлежащего перу ирландского священника Томаса Лиланда «Длинная шпага, или Граф Солсбери».

Автор «Замка Отранто» Гораций Уолпол (1717—1797) — сын английского премьер-министра Роберта Уолпола, главы партии вигов. Будущий писатель вырос в роскоши, получил блестящее образование, совершил в 1739—1741 годах обязательную для завершения образования поездку по странам Европы в компании Т. Грея, будущего поэта-сентименталиста, автора всемирно известной элегии «На сельском кладбище» (русский перевод В. А. Жуковского). В 1745 году Г. Уолпол начал строительство замка на «Земляничном холме», который прославил его владельца наряду с замечательными сочинениями. В собственной типографии он издавал путеводители по замку, напечатал «Пиндарические оды» своего друга Т. Грея, в 1758 году выпустил «Каталог английских авторов дворянского происхождения», затем сборники стихов и прозы, наконец, собственную готическую повесть «Замок Отранто» (1764), вызвавшую восхищение и высокую оценку В. Скотта. Второе художественное произведение Г. Уолпола — трагедия «Таинственная мать» (1787) — также полностью отвечало моде времени. В 1768 году писатель опубликовал сочинение «Исторические сомнения по поводу жизни и царствования короля Ричарда III», где он пытался оградить короля от обвинений, приписывавшихся ему историей.

Долгое время Г. Уолпол переписывался с француженкой, весьма почтенной дамой мадам дю Дефан, с которой познакомился в Париже. В литературном салоне М. дю Дефан собирались именитые гости, среди которых философ-просветитель Ш. Монтескье, автор «Персидских писем». Отношения с мадам дю Дефан носили платонический характер. Последние годы жизни, удрученный не покидающей его подагрой, он провел в обществе своей соседки, известной комической актрисы Кэтрин Клайв. Ей писатель подарил маленький домик под тем же названием, что и его замок. Близкими друзьями Г. Уолпола были также сестры Агнес и Мэри Берри, помогавшие ему преодолевать недуги и постоянно поддерживать веселое расположение духа. «Мемуары последнего десятилетия правления Георга II» и «Мемуары времен правления Георга III» были опубликованы уже после смерти Уолпола в 1811 и 1845 годах. Наибольшую ценность, помимо «Замка Отранто», представляют его письма, отличающиеся необыкновенной тонкостью мысли, остроумием, наблюдательностью. Они полно отражают эпоху, политическое, социальное, духовное состояние общества. В эпистолярной прозе Уолпол следовал любимому образцу — мадам де Совинье.

Сюжет повести «Замок Отранто» был подсказан Уолполу сном. Первое издание повести вышло без имени автора, и лишь во втором

издании писатель решил открыть свое инкогнито. Объяснялось это не только желанием Уолпола не рисковать своей репутацией остро- слова и эрудита, но и чисто авторским желанием узнать мнение публики о своем творении. В задачу Уолпола входило изображение нравов давно ушедшей эпохи, кроме того, местом действия он избрал не Англию, а Сицилию, что давало ему право вольнее использовать фантазию и воображение. Писатель создает оригинальное произведение, соединяя два типа повествования — старого рыцарского романа и современной прозы, индивидуализирует речь персонажей, пытается доказать своим читателям неизбежность наказания за зло и жестокость. Герой Уолпола — Манфред теряет в борьбе за незаконно захваченный замок и титул князя Отрантского сына и дочь. Нельзя сказать, что персонажи этой повести делятся на отрицательных и положительных. И в кроткой Ипполите, и в жестоком Манфреде показаны различные стороны натуры. Манфред действует в состоянии аффекта, свойственном феодалу, первый раз встретившемуся с непослушанием и отказом. «Манфред не был одним из тех свирепых тиранов, которые черпают наслаждения в жестокости, предаваясь ей просто так, безо всякого повода. Обстоятельства его жизни привели к тому, что он очерствел, но от природы он был человечен; и добрые начала в его душе тотчас давали себя знать, когда страсти не затмевали его разума». Поведение Теодора, его смелость и отвага перед казнью свидетельствуют о высоком происхождении, о чем читатель может лишь смутно догадываться. Все эпизоды со статуей Альфонсо Доброго, вмешательством иррациональных сил в судьбы главных героев нарисованы отчетливо, как бы при дневном освещении. Они вводятся автором с целью доказать, что времена были варварские, полные суеверий, что события происходили не в Англии, стране эмпириков и рационалистов, кроме того, первые впечатления о виденных чудесах приносятся неграмотными невежественными слугами, которые и рассказать-то по порядку ничего не умеют.

Готический роман, представленный именами А. Рэдклиф, М. Г. Льюиса, Ч. Р. Мэтьюрина, Ш. Смит, К. Рив и другими, существовал в трех разновидностях — роман ужасов, сентиментальный и исторический. «Замок Отранто» открывают серию романов ужасов. Несомненно, первые романтические веяния были занесены с Востока, и не случайно восточная тема входит в английскую литературу с переводом на английский язык Корана, сказок «Тысяча и одна ночь» и многочисленных монгольских, китайских, персидских сказок и легенд. Интерес к Востоку отразился в садово-парковом строительстве, в моде на восточные ткани и посуду. Зародившись в самом начале века, наибольшего расцвета он достигает в творчестве О. Голдсмита, С. Джонсона, поэгов-романтиков.

Повесть «Ватек» У. Бекфорда полностью отражает наметившийся в английской культуре того времени интерес к Востоку. Ко времени появления произведения английский читатель был подготовлен к восприятию не только восточной экзотики, роскоши и великолепия дворцов ханов и халифов, но и к своеобразному мышлению жителей Востока. В эпоху Просвещения универсальный тип сознания, по которому, как по эталону, сравнивались другие типы сознания, не выдержал проверки временем. Тайнственность восточной мудрости, специфика восприятия мироздания и законов, ими управляемых, сделали необходимым расширить границы европейского мирозерцания. Сам по себе пафос устремлений халифа Ватека к безграничному, абсолютному знанию понятен англичанину середины XVIII века.

Автор «Ватека» Уильям Бекфорд (1759—1844) своим происхождением тесно связан с Востоком, а благосостояние его предков целиком определялось развитием английской колониальной торговли и расширением колоний. Предки Бекфорда поселились на о. Ямайка в середине XVII века. Отец будущего писателя Уильям Бекфорд, обосновавшийся в Англии, был лордом-мэром Лондона в течение семи лет (1762—1769), был знаком с лидерами оппозиции, весьма независимо чувствовал себя в присутствии короля, породнился со старинной аристократической шотландской семьей, происходившей от Стюартов. Бекфорд-старший женился на Марии Гамильтон. Один из членов этой семьи, Антуан Гамильтон, эмигрировавший во Францию с английским королем Яковом II, известен как автор «Мемуаров графа де Грамона» (1713) и арабских волшебных сказок (1715), оказавших несомненное влияние на юного Бекфорда. После смерти отца Уильям Бекфорд стал «самым богатым сыном» Англии, по словам Д. Г. Байрона. Он получил прекрасное домашнее воспитание, включавшее знание греческого и латыни, нескольких европейских языков — французского, итальянского, испанского, португальского, а также двух восточных — арабского и персидского, изучил юриспруденцию. Занимался естественными науками, живописью и музыкой. Большую часть жизни провел за границей. Сначала как путешественник, знакомящийся с красотами Швейцарии, Италии, Франции, Испании и Португалии, потом как изгнанник, осужденный высшим светом подобно Д. Г. Байрону за вызывающее поведение, а также по политическим мотивам (Бекфорд мог сделать блестящую политическую карьеру в рядах оппозиции). Долгое время он жил в Испании и Португалии. У. Бекфорд выстроил себе роскошный замок в окрестностях Лиссабона, близ устья реки Тахо, который был описан Байроном в «Паломничестве Чайльд Гарольда».

По возвращении из Португалии в 1796 году Бекфорд поселяется в своем поместье — Фонтхиллском аббатстве. Создателем этого уди-

вительного готического сооружения был президент Британской Академии художеств Д. Уайат. Строительство продолжалось до 1807 года, но в 1800 году Бекфорд принимал здесь адмирала Нельсона и своего двоюродного брата, посла в Неаполе Уильяма Гамильтона, второй женой которого была знаменитая красавица Эмма Гамильтон, возлюбленная Нельсона. В Фонтхиллском аббатстве находились великолепные коллекции картин, скульптур, старинных книг, предметов роскоши, вывезенных из-за границы. В 1822 году Бекфорд вынужден продать свое поместье и переселиться в курортный город Бат, где доживал последние годы, ведя одинокую и замкнутую жизнь.

Восточная экзотика была главной темой творчества У. Бекфорда. Он интересовался сказками «Тысяча и одна ночь» и сделал по арабским рукописям около 10 переводов. Особый интерес представляет его эпистолярное наследие. Например, в 1783 году Бекфорд опубликовал книгу «Сны, мечты наяву и случайные происшествия». Весь тираж, за исключением одного экземпляра, хранящегося в Британском музее, был уничтожен (опубликован вторично в 1834 г.). Путевые заметки и дневники легли в основу его книги: «Италия, с очерками Испании и Португалии» (1834), «Воспоминания о путешествии в монастыри Алькобака и Баталья» (1835).

Арабская сказка «Ватек» написана Бекфордом по-французски. Основным источником при создании служили: Коран, переведенный на английский язык в 1764 году, и словарь д'Эрбело. Правда, Бекфорд, по-видимому, пользовался еще и консультациями жившего в его поместье мусульманина Земира. Первое издание «Ватека» появилось в 1786 году в Швейцарии, второе — на следующий год в Париже, значительно отредактированное, видимо, не без помощи С. Мерсье, французского писателя-просветителя и демократа, знакомого Бекфорда. «Ватек», по замыслу автора, на манер восточных сказок, должен был включать еще три вставные новеллы, однако они не были закончены и остались в рукописи. Восточные мотивы Бекфорда использовали в своем творчестве английские романтики, в частности Д. Г. Байрон и Т. Мур.

Герой Бекфорда Ватек не только любитель роскоши и наслаждений, но и личность, стремящаяся к неограниченному познанию. Он хочет подчинить себе Эблиса, мусульманского Люцифера, чтобы овладеть его богатствами и властью над людьми. Достойной союзницей Ватека выступает его мать Каратис, увлекающаяся астрологией и не жалеющая для Гиура никаких жертв: даже самых красивых детей из знатных фамилий она безжалостно посылает на верную гибель. Ватек — человек слабохарактерный и не всегда последовательный в исполнении собственных планов. Зато мать его чрезвычайно настойчива в достижении своих целей. Каратис на земле окружает странная

свита — немые безобразные негротянки, скаты, змеи, она любит мумии и запах жареного человеческого мяса. Альбуфаки, ее любимый верблюд, знаком с магическими действиями своей госпожи. Если Альбуфаки топал ногой, значит, близко находилось кладбище, которое для Каратис было важным местом для установления контактов с подземным миром. Каратис не останавливается даже перед убийством красивого ребенка Гюльхенруза, так как, по ее мнению, сердце мальчика должно понравиться Гяуру. Но Гюльхенруза спасает старый гений, как, впрочем, он спас и 50 детей, принесенных в жертву Люциферу самим Ватеком. Хотя вечный мир и покой в царстве доброго гения, куда попадают дети, и были ярким контрастом отвратительному миру Ватека и его матери, реальность прибежища кажется сказочно-иллюзорной. «Взамен брэнного богатства и суетных знаний гений наделял своих питомцев даром вечного детства».

Ватек и Каратис не останавливаются на достигнутом. Проникнув в царство Эблиса, они стремятся к немислимому для обычных смертных благу — обладанию всеми богатствами и человеческими судьбами. Но расплачиваются своим вечно пылающим, как уголь, сердцем.

«Ватек» при всем отличии от просветительской ориенталистики сохраняет с ней тесные узы родства. Повесть содержит большую долю философской дидактики: «Такова была и такова должна быть кара за разнузданность страстей и за жестокость деяний; таково будет наказание слепого любопытства тех, кто стремится проникнуть за пределы, положенные создателем познанию человека; таково наказание самонадеянности, которая хочет достигнуть знаний, доступных лишь существам высшего порядка, и достигает лишь безумной гордыни, не замечая, что удел человека — быть смиренным и неведущим».

В готической прозе таились большие возможности. Унаследовав от XVIII века открытость структуры, готический роман явился экспериментальным жанром. Он мог дать начало любому новому виду литературы. От готического романа развивались научно-фантастический и авантюрно-приключенческий, детективный и сатирический, правоописательный романы. Утрачивая связь с рыцарским повествованием, он компенсировал отсутствие приключений невероятными открытиями и почти невыдуманными событиями. Импровизаторское начало в готической прозе способствовало интересному эксперименту. В данном случае речь идет об истоках научной фантастики — романе М. Шелли «Франкенштейн», заключавшем в себе много свежего, оригинального. Это произведение явилось родоначальником целого жанра, повлиявшего на повесть Р. Л. Стивенсона «Странная история м-ра Джекиля и д-ра Хайда», «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда, многочисленные романы Г. Уэллса, в том числе и его знаменитый «Человек-невидимка».

Мэри Шелли (1797—1851) была дочерью философа и писателя Уильяма Годвина и Мэри Уоллстонкрафт, романистки, страстной защитницы прав женщины. Мать Мэри умерла при рождении дочери. Девочка воспитывалась в доме отца, являясь свидетельницей бурных политических и философских споров. Женитьба отца и присутствие в доме детей чуждой по характеру и привычкам мачехи сделали сложной и непереносимой обстановку в семье. Шестнадцатилетней девушкой Мэри встретила в 1813 году двадцатидвухлетнего поэта П. Б. Шелли, который предложил ей гражданский брак (официально они могли оформить свои отношения лишь в 1816 г.). Мэри тяжело перенесла смерть двух своих детей, а заботу и нежность перенесла на третьего ребенка — сына Перси. После гибели мужа в 1822 году (он утонул близ Специи в Италии), постоянно бедствуя, Мэри Шелли Уоллстонкрафт написала еще несколько романов. Самым известным из созданных ею произведений оказался первый роман «Франкенштейн» (1818) — блестящая романтическая импровизация, стимулированная духом соперничества Д. Г. Байрона и П. Б. Шелли, встретившихся на вилле Диодатти в Швейцарии. Роман М. Шелли зафиксировал в художественной форме значительные успехи английской науки, естествознания, химии. Это иллюстрация зрелого романтического воображения, тянущего не только великие возможности, но и опасности. Создание человеческого гения оказывается внешне отвратительным, но внутренне богатым, человеческим, добрым. Ученый Франкенштейн сам боится своего изобретения и бежит от него, но чудовище постоянно напоминает ему об ответственности перед людьми, о тесной связи между человеческим интеллектом и обществом, которому этот интеллект служит. Это философское произведение, имеющее в своей основе миф о современном Прометее.

История эволюции человека от первобытного состояния в романе передана метафорой темноты — сознание рождается в монстре не сразу, но, возникнув, заставляет его прежде всего различать свет и тьму, отдельные предметы, обнаружить огонь, забытый бродягами или путешественниками, а потом самому научиться добывать его. Взросление человеческого сознания, его совершенствование осуществляется в процессе наблюдения и имитации. В 11—16-й главах монстр рассказывает о своих скитаниях, о преследованиях его людьми, о несчастье быть одиноким и гонимым.

От романтического героя сохранились разлад с миром, страдание отверженного, невозможность счастья, одиночество. Но одиночество для него — вынужденное бегство от людей, которые его ненавидят. Да и совершает преступления он потому, что таким его сделали люди.

Одним из первых оценил «Франкенштейна» В. Скотт, «назвав его романтическим художественным произведением, задачей которого было открыть новые пути и каналы мысли, поместив человека в предполагаемые ситуации необычайного характера»¹.

В такие предполагаемые ситуации необычайного характера помещает своего героя, участника американской войны за независимость полковника Брауна сам В. Скотт.

«Комната с гобеленами, или Дама в старинном платье» — произведение, которое вряд ли многим читателям покажется типичным для Скотта. Это характерное для готической прозы повествование о привидениях, возникающих в замке, весьма напоминающем Эбботсфорд, резиденцию Скотта.

В. Скотт (1771—1832) происходил из семьи весьма уважаемой и почитаемой в Шотландии. Мать была дочерью профессора Эдинбургского университета, отец — глава коллегии адвокатов. Юридическую карьеру пришлось избрать и будущему писателю. Поездки по разным районам Шотландии, столица которой в XVIII веке называлась «Северными Афинами» (настолько этот город был славен философами, историками, политэкономами — А. Смит, Д. Рикардо, У. Робертсон и др.), дали возможность Скотту увидеть не только жизнь ее обитателей, но почувствовать дух истории и древней цивилизации. Этот интерес к духовной жизни шотландцев проявился в собирании старинных баллад и легенд, в переводах с других языков. Живя в «исторический век», В. Скотт был свидетелем битвы при Ватерлоо и триумфального марша русско-прусско-австрийских войск в Париже в 1814 году. Он наблюдал исключительный энтузиазм своих соотечественников во время визита в Англию самого знаменитого героя войны М. Платова. Он переписывался с Д. Давыдовым (его портрет висел в одной из комнат Эбботсфорда), охотно принимал русских дворян, живших и учившихся в Англии. В. Скотт начал свою творческую деятельность как поэт, автор описательных поэм, продолжающих традиции XVIII века. «Дева озера» и «Мармион», «Повелитель островов» и «Рокби» чрезвычайно тепло принимались публикой того времени. Вечерняя молитва из «Девы озера» была положена на музыку Ф. Шубертом, а романс «Аве Мария» считается одним из самых лирических и проникновенных поэтических и музыкальных шедевров. Баллады и песни шотландской границы, оформленные в специальный сборник, весьма напоминали его предшественника Т. Перси, собравшего старинные баллады и легенды. Поклонник рыцарства, средневековой и ренессансной поэзии, В. Скотт тем не менее не решился соперничать с поэтами-романтиками.

¹ C. Small. *Ariel like a harpy*. L. 1972. P. 20.

И от предложенной ему должности поэта-лауреата в 1813 году отказался в пользу Р. Саути. Безусловно, в сознании многих поколений читателей Скотт остался прежде всего создателем исторического романа. Двадцать шесть романов, написанных на сюжеты из шотландской, английской и европейской истории, создавались удивительно быстро, вдохновенно, с регулярностью и последовательностью, достойной удивления. Правда, отчасти эта поспешность объяснялась необходимостью уплатить долги, образовавшиеся в результате банкротства издательства, совладельцем которого Скотт был в течение многих лет. Кроме того, великолепный замок Эбботсфорд (в разное время его посетили лорд Байрон, У. Вордсворт, М. Эджворт, В. Ирвинг, леди Байрон) представлял собой не только резиденцию Скотта, но и великолепный музей старинного оружия, картин, рукописей, книг, прикладного искусства, утвари. На коллекционирование и содержание нужны были большие средства. В. Скотт расширял также свои земельные владения.

Помимо романов, Скотт создал книгу «Жизнь Наполеона Бонапарта», немало произведений на основе материалов из истории Шотландии и Англии. Он интересовался также народными преданиями и суевериями, написал несколько работ о средневековых народных обычаях и обрядах, ведьмах, колдунах и колдовстве. Большой заслугой В. Скотта было издание сочинений своих великих предшественников Т. Смоллета и О. Голдсмита, Д. Драйдена и Д. Свифта, а также биографии и критического очерка о соотечественниках — писателях и поэтах XVIII—XIX веков. В. Скотт выступал также и в роли критика, поместив в «Эдинбургском» и «Ежеквартальном обозрениях» более ста рецензий и статей о М. Шелли, Д. Г. Байроне, У. Вордсворте, Р. Саути, Р. Бернсе.

Интерес Скотта к готике имеет глубокие корни. Он был дружен с известным писателем, автором готического романа «Монах» Мэтью Грегори Льюсом, с которым вместе сотрудничал при написании сборника «Волшебных и ужасных историй», переведенных с немецкого или переработанных под влиянием немецких рейнских легенд (1801). На некоторое время он разочаровался в страшных готических историях, потому что считал, «что чудеса нагромождаются друг на друга без всякого смысла». Но тем не менее продолжал переводить немецкие драмы, баллады, повести, а затем приступил к созданию собственных готических рассказов. Скотт был великолепным рассказчиком и импровизатором, полагал, что подобного рода произведения лучше и эффективнее воспринимаются на слух, в соответствующей обстановке, при свете пламени камина и свечи в старинном замке. Сам он уверял как-то, будто встретился однажды ночью, когда возвращался в замок при лунном свете, с призраком. Многие его романы содержат

фантастические эпизоды с привидениями, например призрак Белой Дамы в романе «Монастырь». Именно в 20-е годы, будучи знаменитым романистом, Скотт возвращается к готическому жанру, теперь уже на национальном материале и создает «Зеркало тетюшки Маргарет», «Комнату с гобеленами». Английский поэт А. Теннисон считал «Зеркало тетюшки Маргарет» одной из самых блестящих готических или волшебных историй, а известный исследователь Айно Райло писал, что «Скотт принял целый мир Уолпола, А. Рэдклиф и Льюиса и своей щедрой рукой обогатил его, черпая из сокровищницы фольклора и истории». Скотт высоко ценил А. Рэдклиф и К. Рив, М. Г. Льюиса и Ч. Р. Мэтьюрина, создавших непревзойденные образцы готики, но приступая к созданию собственных историй, писатель стремился не просто следовать традициям, оставленным предшественниками, но и подчеркнуть исполнительский характер устного пересказа, в котором могут быть неточности, фантазии, впечатлительность, забывчивость повествования. Повесть «Комната с гобеленами», якобы, рассказ Анны Сьюард, прозванной «лебедом Линчфилда», чьи стихи Скотт издал в трех томах уже после смерти писательницы, считая их достойными опубликования даже в условиях серьезной конкуренции со стороны поэтов «озерной школы» (У. Вордсворта, С. Т. Колриджа и Р. Саути).

В «Комнате с гобеленами» внешне соблюдены все особенности готического построения: появление в старинном фамильном замке нового лица — генерала Брауна, храброго, но отнюдь не суеверного, обходительность и любезность хозяина, устройство генерала на ночлег в комнате с гобеленами, появление призрака Дамы в старинном платье, изменение в поведении Брауна на следующий день и его внезапный отъезд из замка, где он первоначально намеревался провести некоторое время.

Обычное развитие сюжета повести отмечено новыми особенностями. Нежелание генерала рассказывать о своих впечатлениях, некоторая поспешность, с которой он покидает замок, наконец, само обращение к короткой форме изложения после чрезвычайно пространных «классических, старинных, чрезмерно длинных-длинных-длинных романов» свидетельствовало о происходящих в готической прозе сдвигах. Рассказ Брауна может заинтриговать читателя. Он вспоминает подробности, предшествующие появлению призрака. На него нахлынули приятные воспоминания, несколько усыпившие его. Но еще поразительнее реакция молодого лорда, хозяина замка и друга его юности: «Как ни странен был рассказ генерала, убежденность, с которой он говорил, исключала какие бы то ни было иронические замечания, которые принято делать по поводу такого рода историй. Лорд Вудвил даже не спросил его, уверен ли он, что не видел все это во сне, и не выдвинул ли одного

из ходячих объяснений явлений сверхъестественных, которые обычно приписывают расстроенному воображению или галлюцинациям. Напротив, на молодого лорда, должно быть, произвела сильное впечатление неопровержимость того, что он только услышал, и после продолжительного молчания он выразил сожаление, по-видимому, совершенно искреннее, что его старинному другу пришлось перенести у него в доме такие мучения».

Открытый конец, несколько вариантов возможных событий охотно используют писатели нашего времени — А. Мердок, Дж. Фаулз. Готическую стилистику можно легко увидеть в произведениях таких непохожих друг на друга художников XX века, как П. Пикассо и С. Дали, И. Бергман и А. Тарковский, А. Хичкок и А. Сокуров. Готическая проза, так прочно укоренившаяся в кинематографе, имеет свою судьбу, она продолжает традиционно авторов XVIII—XIX веков.

Писатели XIX века философствовали, иронически высмеивали крайности романтического мировидения и ужасы готики, надуманного романтического героя. К ним принадлежал друг П. Б. Шелли Томас Лав Пикок (1785—1866) — сатирик, эссеист, поэт и романист. «Аббатство кошмаров» (1818) — остроумная сатира, воспроизводящая политическую и культурную жизнь эпохи с точки зрения радикала. Она соединяет две традиции: жанр физиологического очерка и платоновского диалога. Особенность повествовательной манеры Пикока — своеобразный коллаж бытующих в определенное время суждений, стереотипов мышления, поз, жестов, свидетельствующих о доминирующей идеологии. Пикок, по существу, создает блестящую комедию нравов романтизма, в которой лучшие роли отведены знаменитым соотечественникам — Д. Г. Байрону, С. Т. Колриджу, П. Б. Шелли. Меланхолия и мизантропия низведены здесь на уровень обыденной никчемности, романтическая исключительность — на уровень глупого позерства, а возвышенная экзальтированность — к пошлейшему здравому смыслу. Повествовательная линия сатирического романа составлена из каскада остроумнейших реплик: «Найтмерское аббатство, почтенное родовое поместье, в высшей степени живописном состоянии полуразрушения, приятно расположенное на полоске сухой земли между морем и болотами у границ графства Линкольн, имело честь быть местом обитания Кристофера Глаури, эсквайра. Этот джентльмен был меланхолического темперамента и сильно страдал от тех призраков несварения, которые обычно называются голубыми дьяволами...». В XX веке этот юмор принято называть черным. В самом деле, в поместье Кристофера Глаури слуги должны были иметь длинные лица и мрачные имена: его дворецником был Ворон, слуга Ворона, камердинером Скелет, грумами Мотыги и Могила.

Пародируя композицию «Анатомия меланхолии» (1621) Р. Бертона (1577—1640), автор исследует природу, причины и симптомы меланхолии. Юный наследник аббатства — мрачный и разочарованный, проводит большую часть своего времени с книгой «Страдания молодого Вертера» у полуразрушенной стены родового замка, где обитают совы... Гротесковые ситуации, возникающие из нагромождения романтических подробностей, выглядят правдоподобными, потому что в героях повести легко угадываются представители английского романтизма, отчетливо проступают известные утверждения, интересы, вкусы, мода, определенный стиль мышления. Сцену мнимого самоубийства героя предваряет полное лукавства письмо его кузины Марионетты, которая уверяет его, будто теперь люди не умирают от любви, хотя все еще модно об этом говорить. А здравомыслящий отец Скютропа успокаивает его фразой, что девушки в Англии еще не перевелись и, кроме того, восемь часов не время для убийства. Возвышенность, исключительность страдания, романтическая меланхолия и рассеянность разбавляются музыкальным комментарием, выбранным, опять-таки неспроста. Россини — первый композитор, который покорила английского зрителя. После постановки «Севильского цирюльника» в 1816 году творчество Россини было тесно связано с английскими романтиками. Помимо опер, где использовались сюжеты У. Шекспира («Отелло»), В. Скотта («Девы озера», «Айвенго» и «Роберт Брюс»), композитор сочинил произведение «На смерть лорда Байрона».

Великолепен по своему сатирическому подтексту и критическим выпадам против моды на скуку, диалог между его сиятельством мистером Лежебоком и знаменитым ихтиологом мистером Астериасом. Мистер Астериас: «...Я знал немало бед, но не изведаль худшей, под которой понимаю я все несчетные разновидности скуки: хандру, досаду, ипохондрию, черную меланхолию, времяпрепровождение, разочарование, мизантропию — и всю бесконечную череду их следствий: каприз, сварливость, подозрительность, ревность и страхи, которые равно заразили ими общество наше и нашу словесность и которые обратили бы человеческий разум в Ледовитый океан, когда бы более человеческие устремления философии и науки не сохраняли в нас чувств высших и побуждений ценнейших... Насупленный лоб и загробный голос — необходимые ныне признаки хороших манер. И зловещий, иссушающий, смертоносный сирокко, дышащий нравственным и политическим отчаянием, несется теперь по всем урочищам нашего Парнаса...»

В повести Уолпола «Замок Отранто» обе девушки Матильда и Изабелла легко договариваются о том, кого из них любит их избранник Теодоро. Изабелла отказывается от него в пользу Матильды.

В «Аббатстве кошмаров» обе юные леди находятся в заблуждении, о чем свидетельствуют их прощальные письма Скютропу. А, может быть, им просто хочется отмахнуться от незадачливого романтического идеала, который сам, кстати, играл роль охотника за двумя зайцами.

Особое место в словесных поединках Флоски, Скютропа и Сплина отводится трансцендентальной философии. Ее представителем выступает в этой остроумной сатире Флоски (прототип — Колридж). Ему принадлежит удивительное по иронии высказывание: «На таинственности зиждется все, что только есть прекрасного в поэзии, все, что только есть священного в вере, все, что только есть непонятного в трансцендентальной психологии». Диалогизированная форма сатиры Пикока содержит целый каскад парадоксов, которым мог бы позавидовать сам Оскар Уайльд: «Я сочиняю балладу про свой сон, и она будет называться «Сон основы», потому что в ней никакой основы». Никогда в жизни не давал я простого ответа на простой вопрос «...если одна молодая девушка непременно должна была испугаться, увидя другую под деревом в полночь, то еще больше должен был испугаться молодой человек, увидя в такой час девушку у себя в кабинете».

Повесть составлена из остроумных высказываний, каламбуров, литературных аллюзий, связанных с произведениями поэтов, которые упоминаются или действуют в романе. Английский романтизм представлен здесь в комедийном оформлении, вопреки здравому смыслу британца, гордящегося своим прагматизмом и вместе с тем не гнушающегося воспользоваться воображением. Выступив пионерами в готическом романе, англичане теперь наслаждались тем, что остроумно и легкодумно высмеивали свое детище. Даже возвышенная романтическая любовь уподобляется игре в волан, не остается ничего, над чем бы ни потешался насмешливый философ и романтик. Скютроп, меняя общество одной девушки на общество другой, был «как волан между двух ракеток и, получая меткие удары по нежному сердцу и порхая на крылышках сверхвозвышенного разума, менял направление с частотой колебания маятника. Это становилось несносно. Тайны тут хватило бы на любого трансцендентального романтика и на любого романтического трансценденталиста. Была тут и любовь, доступная непосвященному и лишь посвященному уму». В трагестийном по характеру произведении Пикока мы находим интересные ситуации разоблачения готических ужасов с привидениями. Слуги, которым обычно в готических романах отводилась роль рассказчика о призраках, бродящих по замку, выступают здесь в роли разоблачителей всей чертовщины. Одному из гостей замка привиделось привидение, но хозяин уверяет его, будто призрак не что иное, как слуга,

страдающий бессонницей, а окровавленный тюрбан — красный ночной колпак.

Запас остроумия у Пиккока настолько велик, что он передает его в наследство следующим поколениям разоблачителей готического в литературе.

Американцы как молодая нация, лишенная национальных корней и традиций, склонная в практической деятельности полагаться лишь на свой здравый смысл и приспособленность к жизни, тоже начали романтизм с подражания европейским образцам, в частности английскому готическому роману. Представителем этого жанра в Америке был Чарлз Брокден Браун (1771—1810), создавший четыре готических романа, вдохновившие затем Э. А. По на написание страшных историй с использованием готической традиции. Готика была международным феноменом, и в истории культуры немало примеров, когда типологические общности подчеркивали национальную специфику, национальные особенности.

Ирландец Оскар Уайльд (1854—1900) — автор, по утверждению одного критика, готической мелодрамы «Портрет Дориана Грея» (1891), блестящих и хорошо известных нашему зрителю комедий «Как важно быть серьезным», «Идеальный муж», «Женщина, не стоящая внимания», «Веер леди Уиндермир» и даже трагедии на русскую тему «Вера, или нигилисты», был сыном известного ирландского хирурга (сделавшего по тем временам уникальную операцию шведскому королю, удалив катаракту; за что был пожалован орденом Полярной Звезды) и ирландской поэтессы. Он получил блестящее образование в Дублине и Оксфорде, стал пропагандировать новый стиль жизни и отношение к искусству. Эстет и изысканный собеседник, Уайльд прославился в 80-е годы исключительной экстравагантностью костюма и желанием эпатировать буржуазную посредственность, уйдя в мир «бесполезной красоты». Английский премьер-министр Уинстон Черчилль, блестящий мемуарист и стилист, получивший Нобелевскую премию за свои мемуары, был, как известно, виртуозным собеседником и, когда его спросили, с кем бы он хотел встретиться на том свете, без колебания ответил — с Оскаром Уайльдом. «Кентервильское привидение» — это экстраваганца, гилоидеалистическая история, в которой привидение поставлено в равные условия с нормальными людьми. Оно страдает от насморка, переживает свои неудачи, размышляет над провалом и готовит новые трюки. Это своего рода стареющий актер, когда-то любимец публики, а теперь уже не имеющий возможности добиться ее благосклонности по причине своего возраста и неумения идти в ногу со временем. Отисы — американцы, приобретшие в Англии старинное фамильное поместье с привидением. Но, как всякие люди, лишенные

воображения, они совершенно не предполагают, что в Кентервиле привидение есть. Они пускают в ход патентованные новейшие средства, чтобы избавиться от несмываемых пятен крови на коврах в замке, предлагают эффективные средства от насморка, но привидение упрямо хочет существовать по своим законам, стремится все-таки найти уязвимое место в сознании сугубо деловых и практичных американцев, чтобы поразить их своими старыми выходками. Но никто из семьи американцев не реагирует на его проделки. Привидение воспринимают просто как ненужный анахронизм, который всем докучает и которому можно давать советы. Лишь юной Вирджинии становится жаль привидение, и она соглашается побывать с ним в Саду Смерти. Оказывается, что чувствительная и мечтательная Вирджиния обладает воображением, она подыгрывает Кентервильскому привидению, и это приносит ей счастье. Разумеется, сказочные мотивы несколько нарушают в данном сборнике каноны жанра готической прозы. Веселой остроумной шуткой выглядит последнее произведение.

Теперь можно подвести итоги нашему путешествию в страну страшного, фантастического, напоминающему человеку о том, что не все на этом свете науке известно, не все разгадано, нельзя жить только сообразуясь с законами физики и здравого смысла, ведь многое, что казалось фантастическим и невероятным в XIX веке, теперь стало явью (например, путешествие на Луну). Комната с гобеленами, которая скрывает многие тайны, все еще может интриговать читателя, заставить его задуматься над тем, что есть добро и зло, поверить в волшебство человеческого воображения. И, может быть, тогда фраза, произнесенная героем «Аббатства кошмаров»: «Я лично с уверенностью могу сказать, что видел слишком много призраков, чтобы верить в их подлинное существование», — не звучит только парадоксом? «Комната с гобеленами» не столь уж вышла из моды, как многим кажется, и стоит лишь немного обновить в ней обстановку, заставить человека вслушаться в ее тишину, как она, подобно волшебной шкатулке, покажет свои чудеса. Нужно только найти к ней ключ, затерянный в суете нашей современной жизни. История вечно жива и может быть полезна нам, живущим в конце XX века, для решения задач насущных и необходимых.

Н Соловьева





Гораций Уолпол

ЗАМОК ОТРАНТО

Помпуческая повесть.

•



ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Предлагаемое читателю сочинение было найдено в библиотеке, принадлежащей католической семье старинного происхождения, на севере Англии. Оно было напечатано готическим шрифтом в Неаполе, в 1529 году. Насколько раньше этой даты было оно написано,— не ясно. Главные события повести приводят на ум мрачнейшие века христианской эры — именно тогда верили в возможность подобных происшествий; но ни речь, ни поведение действующих лиц не несут на себе печати варварства. Повесть написана на чистейшем итальянском языке. Если бы она возникла приблизительно в то же время, когда якобы происходило рассказанное в ней, то следовало бы заключить, что это имело место где-то между 1095 и 1243 годом, то есть между первым и последним крестовым походом, или немного позже. В повести нет никаких других обстоятельств, которые позволили бы определить, к какому периоду относится ее действие; имена персонажей — явно вымышленные и, возможно, намеренно изменены; однако испанские имена слуг, по видимому, указывают на то, что она не могла быть создана ранее воцарения в Неаполе арагонской династии, ибо лишь тогда испанские имена распространились в этой стране. Изящество слога и пыл автора, сдерживаемый, впрочем, удивительным чувством меры, заставляют меня предполагать, что повесть была сочинена незадолго до ее напечатания. Литература достигла тогда в Италии своего наивысшего расцвета, и ею было многое сделано для того, чтобы рассеять суеверия, которые в эту эпоху подвергались чувствительным ударам и со стороны реформато-

ров. Вполне вероятно, что какой-нибудь сообразительный монах мог постараться обратить против провозглашателей новых истин их собственное оружие и воспользоваться своим дарованием сочинителя для того, чтобы укрепить в простонародье старинные заблуждения и суеверия. Если его намерение было именно таким, то надо признать, что он действовал с замечательной ловкостью. Произведение, подобное публикуемому нами, способно поработить непросвещенные умы более, нежели добрая половина полемических книг, написанных со времени Лютера и до наших дней.

Такое истолкование побуждений автора представляет собой, однако, лишь чистую догадку. Каковы бы ни были его намерения и достигнутые им результаты, его сочинение может быть ныне предложено публике только как предмет для занимательного времяпрепровождения. И даже в этом качестве оно нуждается в некоторых извинениях. Чудеса, призраки, колдовские чары, вещие сны и прочие сверхъестественные явления теперь лишились своего бывшего значения и исчезли даже в романах. Не так обстояло дело в то время, когда писал наш автор, и тем более в эпоху, к которой относятся излагаемые им якобы действительные события. Вера во всякого рода необычайности была настолько устойчивой в те мрачные века, что любой сочинитель, который бы избегал упоминания о них, уклонился бы от правды в изображении нравов эпохи. Он не обязан сам верить в них, но должен представлять своих действующих лиц исполненными такой веры.

Если читатель извинит эти мнимые чудеса, он не найдет здесь больше ничего недостойного его интереса. Допустите только возможность данных обстоятельств, и вы увидите, что действующие лица ведут себя так, как вели бы себя все люди в их положении. В произведении нет напыщенности, нет вычурных сравнений, цветистых оборотов, отступлений и преизбыточных описаний. Каждый эпизод толкает повествование к развязке. Внимание читателя непрерывно держится в напряжении. Развитие действия почти на всем протяжении рассказа происходит в соответствии с законами драмы. Персонажи удачно

обрисованы, и — что еще важнее — их характеры выдержаны с начала до конца. Ужас — главное орудие автора — ни на мгновение не дает рассказу стать вялым; притом ужасу так часто противопоставляется сострадание, что душу читателя попеременно захватывает то одно, то другое из этих могучих чувств.

Кое-кто, возможно, подумает, что образы слуг написаны в манере недостаточно серьезной для повествования такого рода; но, кроме того, что они составляют контраст главным персонажам, автор весьма остроумно использует их в ходе повествования. Благодаря своей naïveté¹ и простодушию они открывают многие существенные для сюжета обстоятельства, которые никаким иным путем не могли бы быть удачно введены в него. Женские страхи и слабости Бьянки в последней главе играют весьма важную роль в приближении развязки.

Для переводчика естественно быть предубежденным в пользу, так сказать, усыновленного им произведения. Более беспристрастные читатели, возможно, не будут так сильно поражены красотою этой повести, как был поражен ими я. Однако я не настолько ослеплен моим автором, чтобы не видеть его недостатков. Я мог бы пожелать, чтобы в основе его замысла лежала более полезная мораль, нежели та, что сводится к мысли: *за грехи отцов караются их дети, вплоть до третьего и четвертого поколения*. Сомневаюсь, чтобы в его время дело обстояло по-иному, чем в наше, и честолюбцы подавляли свою ненасытную жажду власти из страха перед столь отдаленным наказанием. Но и эта мораль ослаблена внушаемой читателю другой, хотя и не столь прямо выраженной, мыслью, что даже такие проклятия могут быть отвращены набожным почитанием святого Николая. Тут интересы монаха явно возобладали над расчетами сочинителя. Однако при всех сделанных выше оговорках я не сомневаюсь в том, что знакомство с этим произведением доставит удовольствие английскому читателю. Благочестие, преисполняющее эту повесть, преподаваемый ею урок добродетели и строгая чистота чувств спасут ее от осуждения, которого

¹ Наивности (фр.).

так часто заслуживают романы из рыцарских времен. Если ей выпадет успех, на который я весьма надеюсь, то, поощренный им, я, возможно, опубликую итальянский подлинник, хотя это лишит ценности мой собственный труд. Наш язык не обладает очарованием, присущим итальянскому, сильно уступая ему в разнообразии и гармонии: достоинства итальянского языка с особым величием проявляются в простом безыскусственном повествовании. Рассказывая по-английски, трудно избежать слишком низких или слишком возвышенных выражений — недостаток, который я отношу на счет малой заботы о чистоте языка в повседневном общении. Каждый итальянец или француз, каково бы ни было его общественное положение, считает делом чести говорить правильным языком, отбирая слова и выражения. Я не могу похвалиться тем, что вполне передал совершенство моего автора в этом отношении: его слог настолько же изящен, насколько замечательно его умение живописать страсти. Жаль, что он не использовал своего таланта в той области, которая, очевидно, подходила ему более всего, то есть на театре.

Я не буду долее задерживать внимание читателя и позволю себе сделать еще лишь одно небольшое замечание. Хотя сюжет этот порожден воображением автора, а имена действующих лиц вымышленные, я все же не могу отказаться от мысли, что в основе повести лежат какие-то подлинные происшествия. Действие несомненно происходит в каком-то действительно существовавшем замке. Часто кажется, что, описывая отдельные части замка, автор ненамеренно воспроизводит то, что сам видел. Он говорит, например, «горница справа», «дверь слева», «расстояние от часовни до покоев Конрада». Эти и другие места в повести заставляют с большой степенью уверенности предположить, что перед взором автора было какое-то определенное строение. Лица любознательные и имеющие досуг для такого рода разысканий, возможно, найдут у итальянских писателей сообщения, послужившие автору источниками для его произведения. Высказывая суждение, что данный труд вызван к жизни какой-то подлинной катастрофой, во всем подобной описанной в нем,

мы надеемся, что это будет способствовать интересу к нему и сделает в глазах читателя «Замок Отранто» еще более волнующей повестью.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Благожелательный прием, который встретила у публики эта небольшая повесть, вызывает у автора потребность объясниться по поводу причин, натолкнувших его на мысль сочинить ее. Но прежде чем изложить эти мотивы, автор должен испросить прощения у читателей за то, что в первом издании, представляя им свое произведение, он выдал себя за его переводчика. Так как неверие в собственные силы и новизна предпринятого труда были единственными побуждениями для этого маскарада, он льстит себя надеждой, что его поступок сочтут извинительным. Он смиренно доверился беспристрастному суду публики, твердо решив дать своему произведению затеряться в неизвестности, если оно не будет одобрено, и не мысля заявить себя сочинителем такого пустячка иначе, как в том случае, если судьи, лучшие, чем он сам, выскажутся в пользу его детища и он сможет, не краснея, поставить на заглавном листе свое имя.

В этом произведении была сделана попытка соединить черты средневекового и современного романов. В средневековом романе все было фантастичным и неправдоподобным. Современный же роман всегда имеет своей целью верное воспроизведение Природы, и в некоторых случаях оно действительно было достигнуто. В вымысле нет недостатка и ныне; однако богатые возможности воображения теперь строго ограничены рамками обыденной жизни. Но если в новом романе Природа сковала фантазию, она лишь взяла реванш за то, что ею полностью пренебрегали в старинных романах. Поступки, чувства, разговоры героев и героинь давних времен были совершенно неестественными, как и вся та механика, посредством которой они приводились в движение.

Автор произведения, следующего за этим предисловием, счел возможным примирить названные два вида романа.

Не желая стеснять силу воображения и препятствовать его свободным блужданиям в необъятном царстве вымысла ради создания особо занятных положений, автор вместе с тем хотел изобразить действующих в его трагической истории смертных согласно с законами правдоподобия; иначе говоря, заставить их думать, говорить и поступать так, как естественно было бы для всякого человека, оказавшегося в необычайных обстоятельствах. Автор замечал, что в боговдохновенных книгах, когда небо жалует людей чудесами и люди воочию зрят самые поразительные явления, они и тогда сохраняют все черты, присущие человеческому характеру, тогда как, напротив того, в легендарных историях рыцарских времен всякое невероятное событие сопровождается нелепым диалогом. Действующие лица словно теряют рассудок в то самое мгновение, когда нарушаются законы Природы.

Поскольку публика благосклонно отнеслась к принятой автором попытке, он не смеет утверждать, что совсем не справился с поставленной перед собой задачей; однако если ему и удалось проторить путь, по которому пойдут другие, блистающие большими дарованиями сочинители, он должен со всею скромностью признать — и охотно делает это здесь, — что понимал, сколь значительно мог бы быть усовершенствован его план, будь у него сильнее воображение и владей он лучше искусством живописания страстей.

Я хотел бы, с разрешения читателей, добавить несколько слов к тому, что я говорил в первом предисловии относительно слуг. Простодушная непосредственность их поведения, которая порою может даже насмешить и поначалу кажется противоречащей общему мрачному колориту повествования, не только не представлялась мне мало уместной здесь, но как раз была намеренно мною подчеркнута. Единственным законом для меня была Природа. Какими бы глубокими, сильными или даже мучительными ни были душевные переживания монархов и героев, они не вызывают сходных чувств у слуг; по крайней мере, слуги никогда не выражают их с таким достоинством, как господа, и потому навязывать им такую манеру

недопустимо. Позволю себе высказать суждение, что контраст между возвышенностью одних и *naïveté* других лишь резче оттеняет патетический характер первых. Когда простонародные персонажи затевают свое грубое шутовство и тем самым отдаляют читателя от ожидаемой им трагической развязки, само его нетерпение, быть может, усиливает в его глазах значительность финальных событий и уж во всяком случае свидетельствует о том, что сочинитель ловко сумел возбудить его интерес к ним. Однако приняв такую манеру изображения, я опирался на более высокий авторитет, нежели мое собственное суждение. Великий знаток человеческой природы Шекспир был тем образцом, которому я подражал. Позвольте задать вопрос: не утратили ли бы его трагедии о Гамлете и Юлии Цезаре в значительной степени свою живость, не лишились ли бы они многих удивительных красот, если б из них были изъяты или облечены в высокопарные выражения юмор могильщиков, дурачества Полония и неуклюжие шутки римских граждан? Разве красноречие Антония и по внешности еще более благородная, искусно имитирующая искренность речь Брута не кажутся еще возвышеннее благодаря мастерскому приему автора, позволившего тут же прорываться в репликах их слушателей простой человеческой природе? Эти штрихи напоминают мне выдумку того греческого ваятеля, который, желая дать представление об истинных размерах Колосса Родосского, уменьшенного до размеров печатки, изобразил рядом с ним мальчика величиной с большой палец самой статуи.

«Нет! — говорит Вольтер в своем издании Корнеля. — Это смешение шутовского и возвышенного нетерпимо». Вольтер — гений,¹ но не шекспировского размаха. Не при-

¹ Нижеследующее примечание не имеет отношения к разбираемому вопросу, но оно извинительно для англичанина, глубоко уверенного в том, что суровый критический отзыв такого талантливого писателя, как Вольтер, о творчестве нашего бессмертного соотечественника мог быть лишь упражнением в остроумии и плодом поверхностного знакомства с предметом, а никак не результатом обдуманного суждения и тщательного исследования. Разве осведомленность критика в том, что касается силы и могущества нашего языка, не может быть столь же неточной и неполной, как и его знание нашей истории? Этому по-

бегая к спорным авторитетам, я противопоставляю Вольтеру самого же Вольтера. Я не буду обращаться к его прежним панегирикам нашему могучему поэту, хотя французский критик дважды перевел один и тот же монолог из «Гамлета» — первый раз несколько лет назад ради того, чтобы дать о нем восторженный отзыв, а потом второй раз ради того, чтобы подвергнуть его насмешкам, — и я с грустью нахожу, что сила суждения у критика с течением времени слабеет, тогда как ей должно было бы крепнуть. Но я воспользуюсь его словами, относящимися к театру вообще и высказанными тогда, когда критик не имел в виду ни хвалить, ни порицать Шекспира, то есть в тот момент, когда он был беспристрастен. В предисловии к своему «*Enfant prodigue*»,¹ этой превосходной пьесе, которой я неизменно восхищаюсь и которую, полагаю, не подверг бы насмешкам и через двадцать лет, будь мне отпущен еще такой срок жизни, г-н де Вольтер высказывает следующие мысли (они относятся к комедии, но в равной мере применимы и к трагедии, если трагедия отражает человеческую жизнь, а ведь именно таково ее назначение; и я не могу взять в толк, почему любая случайная шутка более заслуживает изгнания из трагического театра, нежели патетическая серьезность из театра комического): «*On y voit un mélange de sérieux et de plaisanterie, de comique et de touchant, souvent même une seule aventure produit tous ces contrastes. Rein n'est si cossun qu'une maison, dans laquelle un père gronde, une fille*

следнему обстоятельству его собственное перо дало убедительнейшие подтверждения. В своем предисловии к «Графу Эссексу» Тома Корнеля г-н де Вольтер признает, что в этом произведении правда истории грубо искажена. В извинение Корнелю он ссылается на то, что в ту пору, когда этот автор писал, французское дворянство было весьма мало начитано в английской истории; но теперь, говорит комментатор, ее изучают и с такого рода искажениями не стали бы мириться. Однако, забыв, что время невежества миновало и что нет необходимости учить ученых, он, от избытка своей эрудиции, берется сообщать знати своей страны подробности относительно фаворитов королевы Елизаветы, из которых, по его словам, первым был Роберт Дадлей, а вторым — граф Лейстер. Кто бы мог поверить этому, но приходится разъяснять самому г-ну де Вольтеру, что Роберт Дадлей и граф Лейстер — одно и то же лицо!

¹ «Блудному сыну» (фр.).

occupée de sa passion pleure; le fils se moque des deux et quelques parents prennent différemment à la scène, etc. Nous n'inférons pas de là que toute Comédie doive avoir des scènes de bouffonnerie et des scènes attendrissantes: il y a beaucoup de très bonnes pièces où ne règne que la gaîté; d'autres toutes sérieuses; d'autres mélangées; d'autres où l'attendrissement va jusques aux larmes; il ne faut donner exclusion à aucun genre: et si l'on me demandait, quel genre est le meilleur, je répondrais, celui qui est mieux traité».¹

Очевидно, что если комедия может быть toute sérieuse² то трагедия может иногда позволить себе сдержанную улыбку. Кто вправе наложить на нее запрет? И вправе ли критик, заявляющий, ради защиты самого себя, что ни один род комедии не должен быть отброшен, предписывать правила Шекспиру?

Я знаю, что предисловие, из которого заимствованы вышеприведенные строки, подписано не именем г-на де Вольтера, а именем его издателя; однако кто же усомнится в том, что издатель и автор в данном случае — одно и то же лицо? Едва ли может возникнуть сомнение, где надо искать этого издателя, столь счастливо усвоившего слог своего автора и его блистательное искусство доказательств. Цитированные мною строки, несомненно, выражают собственные мнения этого великого писателя. В своем послании к Маффей, предпосланном «Меропе», он высказывает сходное суждение, хотя, как мне кажется, с некоторой долей иронии. Переведя несколько строк из

¹ «Здесь имеет место смешение серьезного с шуткой, комического и трогательного; часто одно и то же происшествие порождает такие контрасты. Нет ничего обычного дома, в котором отец бранится, дочь, поглощенная своей любовью, плачет, сын насмехается над ними обоими и несколько родственников по-разному относятся к семейным событиям и т. д. Мы не заключаем из этого, что во всякой комедии должны наличествовать сцены шутовские и сцены трогательные; существует много хороших пьес, в которых господствует одно лишь веселье; есть и другие, совершенно серьезные; и третьи — смешанные; и такие, наконец, трогательность которых вызывает слезы; не следует поэтому отбрасывать ни одного из этих жанров; и если бы меня спросили, какой из них наилучший, я ответил бы, что тот, в котором удалось написать наилучшую пьесу» (фр.).

² Совершенно серьезной (фр.).

«Меропы» Маффеи, г-н де Вольтер добавляет: «Tous ces traits sont naïfs: tout y est convenable à ceux que vous introduisez sur la scène et aux moeurs que vous leur donnez. Ces familiarités naturelles eussent été, à ce que je crois, bien reçues dans Athènes; mais Paris et notre parterre veut une autre espèce de simplicité».¹

Повторяю, мне кажется, что в этих и в других строках данного послания сквозит насмешка; но сила правды не уменьшается даже и тогда, когда ее представляют с оттенком смешного. Задачей Маффеи было изобразить события из истории греков, и уж, конечно, афиняне могли с неменьшей основательностью, чем парижский партер, судить о греческих нравах и об уместности представления их на театре. «Дело обстоит как раз наоборот»,— утверждает Вольтер (и я не могу не восхищаться его аргументацией): «В Афинах было десять тысяч граждан, а число жителей Парижа приближается к восьмистам тысячам, из которых примерно тридцать тысяч являются судьями драматических произведений». Согласен,— это так. Но допуская, что состав трибунала в самом деле столь многочислен, я полагаю все же, что не было другого такого случая, когда кто-либо стал бы утверждать, что тридцать тысяч человек, живущих почти на две тысячи лет позже той эпохи, о которой идет речь, являются, в силу одной лишь численности их голосов, лучшими судьями, чем сами греки, в вопросе о том, каков должен быть характер трагедии из греческой истории.

Я не буду затевать спора о той espèce de simplicité,² которой требует парижский партер, как и о тех колодках, которыми *тридцать тысяч судей* сковали свою поэзию, чье главное достоинство, как я улавливаю из многократно повторяющихся высказываний в «Новом комментарии к Корнелию», состоит в воспарении, несмотря на эти око-вы,— то есть в таком искусстве, которое, будь оно обще-

¹ «Все эти черты наивны; все здесь подходит для лиц, выводимых вами на сцене, и для характеров, которые вы им придаете. Эта безыскусственность и непринужденность была бы хорошо принята в Афинах, но Париж и наш партер предпочитают простоту иного рода» (фр.)

² Особой простоте (фр.).

признано высшим достоинством поэзии, превратило бы ее из высокого труда воображения в ребяческое и в высшей степени презренное занятие — *difficiles nugae*¹ при свидетеле. Я не могу, однако, не упомянуть здесь об одном двустии, которое всегда воспринималось моими английскими ушами как весьма плоское и пустячное, призванное лишь пояснить какое-то второстепенное обстоятельство, но которое Вольтер, обошедшийся весьма сурово с девятьюдесятью сочинениями Корнеля, выделил, взяв его под особую защиту, из всего творчества Расина:

De son appartement cette porte est prochaine,
Et cette autre conduit dans celui de Reine.

В переводе это звучит так:

Ближайшая к нам дверь ведет в его палаты;
За дверью дальнею — царицыны пенаты.

Несчастный Шекспир! Если бы ты заставил Розенкранца сообщать его товарищу Гильденстерну расположение помещений в копенгагенском дворце, вместо того, чтобы развернуть перед нами нравоучительный диалог между датским принцем и могильщиком, просвещенному парижскому партеру вторично посоветовали бы восхищаться твоим талантом.

Цель всего сказанного мною — найти оправдание моей дерзкой попытке в примере, который являет нам блистательнейший из гениев — тех по крайней мере, что были порождены нашей страной. Я мог бы заявить, что, создав новый вид романа, я был волен следовать тем правилам, которые считал подходящими для его построения; но я бы испытывал большую гордость, если бы было признано, что я сумел сотворить нечто, хоть отдаленно, хоть в малой степени напоминающее столь замечательный образец, нежели если бы за мной числилась заслуга изобретения чего-то совсем нового, а мое сочинение при этом не было бы отмечено печатью гениальности и своеобразия. Что бы ни представлял собой мой труд, публика

¹ Трудные фокусы (лат.).

достаточно почтила его своим вниманием, независимо от того, какое место в литературе отводят ему суждения читателей.

*

СОНЕТ ДОСТОПОЧТЕННОЙ ЛЕДИ МЭРИ КОУК

О деве с горестной судьбою
Поведает вам мой рассказ;
Ужели искренней слезою
Не увлажнит он ваших глаз?

Нет, ваше ль сердце будет глухо
К людским несчастьям и скорбям?
Ведь вам присуща твердость духа,
Но черствость не присуща вам.

Читайте же о замке жутком,
Но ироническим рассудком
Не поверяйте чудеса.
Меня вы дарите улыбкой,
И смело над пучиной зыбкой
Я подымаю паруса.





Знаки



Манфреда, князя Отрантского, были сын и дочь. Дочери уже минуло восемнадцать лет; она была на редкость хороша собой и звалась Матильдой. Сын Манфреда, Конрад, был на три года моложе своей сестры; он был юноша болезненный, ничем особым не примечательный и не подающий больших надежд. Тем не менее именно он был любимцем отца, никогда не выказывавшего знаков душевного расположения к Матильде. Манфред подыскал сыну невесту — дочь маркиза да Виченца Изабеллу, которую после сговора опекуны препроводили к князю, — с тем, чтобы он мог сыграть свадьбу сразу же, как только это позволит слабое здоровье Конрада. Члены семьи Манфреда и окрестные соседи замечали, как не терпелось ему увидеть совершенным свадебный обряд. Но семья, знавшая суровый нрав своего главы, остерегалась высказывать вслух предположения о причинах такой спешки. Супруга Манфреда, Ипполита, женщина весьма добросердечная, иногда осмеливалась говорить мужу о своих опасениях по поводу столь раннего брака их единственного сына, слишком юного и отягченного болезнями, но в ответ она неизменно слышала от Манфреда лишь упреки в том, что из-за ее бесплодия у него только один наследник. Вассалы и подданные князя были менее осторожны в разговорах между собой: они объясняли эту поспешность тем, что князь страшится исполнения старинного пророчества, которое, как говорили, гласило, что «замок Отранто будет утрачен нынешней династией, когда его подлинный владелец станет слишком велик, чтобы обитать в нем». Смысл этого пророчества был неясен; еще менее ясно было, какое отношение оно могло иметь к предстоящему браку. Но, несмотря на все загадки и противоречия, простой народ твердо держался своего мнения.

Бракосочетание было назначено на день рождения юного Конрада. В условленный час участники церемонии собрались в замковой часовне, где все уже было готово для венчального обряда; отсутствовал только сам Конрад. Манфред, не желая терпеть ни малейшего промедления, недоумевая, куда мог запропасться сын,

отрядил одного из челядинцев с наказом тотчас же привести юного князя. Слуга отсутствовал значительно меньше времени, чем требовалось для того только, чтобы пересечь двор и добраться до покоев Конрада. Очень скоро он бегом возвратился назад, совершенно обезумевший, задыхающийся, с расширенными от испуга глазами и с пеной на губах. Не произнеся ни слова, он указал рукой на двор. Всех присутствующих охватили изумление и страх. Княгиня Ипполита, не зная, что произошло, но сильно встревожившись из-за сына, от волнения лишилась чувств. Манфред, не столько обеспокоенный, сколько разъяренный оттяжкой венчания и нелепым поведением слуги, грозно потребовал у него объяснений. Ничего не отвечая, бедняга продолжал показывать дрожащей рукой в сторону двора. Лишь после того как требование было повторено несколько раз, он наконец выкрикнул: «Шлем, шлем!» Тем временем несколько человек успело спуститься из часовни во двор, и оттуда теперь доносился неясный шум, в котором выделялись крики и возгласы, выражавшие удивление и ужас. Видя, что сына все еще нет, обеспокоился и Манфред, и сам отправился узнать, чем вызвано это непонятное смятение. Матильда, хлопотавшая около матери, осталась в часовне; не тронулась с места и Изабелла; она тоже хотела позаботиться о княгине, но, кроме того, не желала выказать ни малейшего нетерпения по поводу отсутствия своего жениха, к которому, говоря по правде, не испытывала никакой склонности.

Первое, что бросилось в глаза Манфреду, были его слуги, которые сбились в кучу и силились поднять нечто, показавшееся ему огромной грудой черных перьев. Манфред на миг остолбенел, не веря своим глазам.

— Что вы делаете? — гневно вскричал он. — Где мой сын?

В ответ он услышал гул голосов:

— О, господин! Ваш сын! Ваш сын! Шлем! Шлем!

Крайне взволнованный этими горестными возгласами и безотчетно чего-то страшась, он быстро шагнул вперед и — какое зрелище для отцовского взора! — увидел перед собою тело своего сына, раздавленное и наполовину прикрытое гигантским шлемом, во сто раз большим, чем любящая каска, когда-либо сделанная для головы человека, и увенчанным огромным пучком перьев.

Ужасная картина, которая предстала перед ним, полнейшая загадочность происшедшего несчастья и в особенности возвышавшееся перед ним исполинское и дикийное явление — все это подействовало на Манфреда так, что он лишился дара речи. Но одно лишь горе едва ли могло бы вызвать столь долгое молчание князя. Манфред, не отрывая глаз, пристально смотрел на шлем, словно надеясь, что он окажется только видением, и был, казалось, не столько поглощен своей утратой, сколько размышлениями о том поразительном предмете, который явился ее причиной. Он притрагивался к смертоносной каске, внимательно разглядывал ее, и даже окровавленные, исковерканные останки юного князя не могли отвлечь взгляд Манфреда от этого чуда. Все люди вокруг, знавшие, как сильно любил Манфред сына, были поражены его бесчувственностью, пожалуй, не меньше, чем самим чудесным шлемом. Они подняли обезображенный труп Конрада и перенесли его в замок. Манфред при этом оставался совершенно безучастным и не отдавал никаких распоряжений. Не больше внимания проявил он и к оставшимся в часовне несчастным женщинам — к своей жене и дочери; и не к ним относились первые слова, которые слетели с его уст.

— Позаботьтесь о госпоже Изабелле, — сказал он.

Слуги не придали значения странности этого распоряжения: будучи весьма преданы своей госпоже, княгине, они решили, что князь, выразившись столь своеобразно, имел в виду ее тяжелое душевное состояние, и поспешили прийти к ней на помощь. Они перенесли Ипполиту, в которой едва теплилась жизнь, в ее покои, но она проявляла полное безразличие ко всем необычайным обстоятельствам, о которых ей рассказывали, — ко всему, кроме смерти сына. Матильда, исполненная самозабвенной дочерней любви, подавила свое собственное горе и изумление и думала только о том, как вернуть к жизни и утешить свою страждущую мать. Изабелла, помня, что Ипполита всегда относилась к ней как к родной дочери, и платя ей столь же горячей преданностью и любовью, также усердно хлопотала вокруг нее; вместе с тем, видя, что Матильда сама подавлена горем, хотя и стремится скрыть свое состояние, она старалась, как могла, разделить с ней и облегчить это тяжкое бремя, ибо питала к дочери Ип-

политы самую искреннюю дружескую симпатию. Однако она не могла одновременно не думать и о своем собственном положении. Смерть юного Конрада не вызвала в ней никаких других чувств, кроме жалости, и она отнюдь не была опечалена тем, что избавилась от необходимости вступить в брак, суливший ей мало радости, как можно было предполагать, судя по облику ее нареченного жениха и по суровому нраву Манфреда; несмотря на проявляемую им к невесте сына большую снисходительность, он внушал ей непреодолимый страх своей беспричинной черствостью в обращении с такими кроткими существами, как его жена и дочь.

Пока Изабелла и Матильда провожали убитую горем мать к ее ложу, Манфред оставался во дворе и продолжал созерцать злоеший шлем, не обращая внимания на толпу, которая постепенно собралась вокруг него, привлеченная удивительным происшествием. Он почти ничего не говорил и лишь несколько раз повторил один и тот же вопрос, — не знает ли кто-нибудь, откуда взялся этот шлем? Никто, однако, не мог сообщить ему никаких сведений на этот счет. Но так как Манфреда, по-видимому, занимало только происхождение шлема — и ничего более, — вскоре и все остальные зрители стали рассуждать лишь об этом, высказывая различные предположения, неясность и невероятность которых вполне соответствовали исключительности самого бедствия. Глупейшие догадки следовали одна за другой, как вдруг один молодой крестьянин, пришедший сюда из близлежащей деревни, до которой уже успел дойти слух о событиях в замке, заметил, что чудесный шлем в точности похож на шлем черной мраморной статуи, стоящей в церкви святого Николая и изображающей Альфонсо Доброго, одного из князей, правивших здесь в прежние времена.

— Что ты сказал, негодяй? — вскричал, внезапно перейдя от оцепенения к ярости, Манфред и схватил молодого крестьянина за шиворот. — Как посмел ты произнести эти предательские слова? Ты заплатишь за них жизнью!

Присутствующие так же мало могли уразуметь причину гнева Манфреда, как и все прочее, что они видели перед собой, и этот новый оборот дела поверг их в полное замешательство. Сам молодой крестьянин был изумлен больше всех и не мог понять, чем он оскорбил князя;

однако, сразу сообразив, как вести себя, он со смиренным видом осторожно высвободился из железных рук Манфреда и затем, отвесив глубокий поклон, выразивший не столько страх, сколько желание засвидетельствовать свою невинность, почтительно спросил, в чем состоит его проступок. Отнюдь не умиротворенный покорностью крестьянина, напротив, еще более рассерженный тем, что молодой человек весьма решительно, хотя и ни в какой мере не грубо, заставил его разжать стиснутые пальцы, Манфред приказал своим людям схватить провинившегося и на месте заколол бы его кинжалом, если бы его не удержали приглашенные на свадьбу гости.

Во время этой перепалки несколько человек из числа собравшегося простонародья успели сбегать в расположенную поблизости от замка большую церковь и вернулись оттуда с разинутыми от изумления ртами: они объявили, что шлем, который был на статуе Альфонсо Доброго, исчез. При этом известии Манфред впал в полное неистовство и, словно чувствуя потребность сорвать на ком-нибудь гнев, снова обрушился на молодого крестьянина с криком:

— Негодяй! Дьявольское отродье! Колдун! Ты сделал это! Ты убил моего сына!

Толпа, которая, запутавшись в догадках и предположениях, искала в доступных ее пониманию пределах какого-то прямого виновника бедствия, тотчас подхватила слова Манфреда и тоже стала кричать:

— Это он, он! Он украл шлем с надгробной статуи Альфонсо Доброго и размозжил им голову вашего сына!

При этом никто и не подумал о том, как велико различие между мраморным шлемом, находившимся в церкви, и огромной стальной каской, которая была сейчас на виду у всех. Не пришло никому на ум и то, что для юноши, едва достигшего двадцатилетнего возраста, было совершенно невозможно приволочь с собой доспех такой немислимой тяжести.

Явная нелепость всех этих домыслов привела Манфреда в чувство. Однако либо рассерженный тем, что крестьянин заметил сходство между шлемами и, таким образом, обнаружилось исчезновение шлема из церкви, либо желая пресечь всякие слухи, которые могло породить столь дерзкое предположение, Манфред во всеуслышание объ-

явил, что молодой человек, бесспорно, является черно-книжником и что пока церковь не произведет дознания по делу, избобличенный чародей будет содержаться в заключении под этим самым шлемом. Он тут же приказал своим людям поднять шлем и поместить под него молодого человека, сказав при этом, что ему не будут доставлять пищу, ибо он сам сможет добыть ее себе при помощи своих сатанинских чар.

Напрасно молодой человек упрашивал отменить этот нелепый приговор. Напрасно пытались друзья Манфреда отвлечь его от этого дикого решения, для которого не было никаких причин. Большинство простонародья пришло в восторг от произнесенного их господином суда, в высшей степени справедливого, по их разумению, поскольку он карал кудесника тем же самым орудием, которое тот избрал для совершения своего злого дела; и ни у кого из этих людей даже не екнуло сердце при мысли, что юноша может умереть голодной смертью, ибо они и не предполагали такой возможности, будучи убеждены в том, что он, при помощи своего дьявольского искусства, с легкостью обеспечит себя пропитанием.

Поэтому распоряжение Манфреда было выполнено с большой готовностью и охотой, после чего, выставив у шлема стражу и строго наказав ей препятствовать всякой попытке передать узнику пищу, он подал своим друзьям и слугам знак расходиться, велел запереть наружные ворота, разрешив оставаться в замке только живущим в нем челядинцам, и удалился в свои покои.

Тем временем благодаря стараниям и заботам обеих молодых девушек княгиня Ипполита пришла в себя; она снова предалась своему горю, но среди бурных приступов отчаяния то и дело спрашивала о своем супруге и повелителе, хотела послать к нему слуг, что были при ней, и наконец упросила Матильду оставить ее и пойти утешать отца. Матильда, неизменно верная своему дочернему долгу, хотя и трепетала от страха перед суровостью Манфреда, повиновалась приказу матери; поручив ее с тысячей предупреждений заботам Изабеллы, она осведомилась, где находится Манфред, на что ей было отвечено, что он удалился в свои покои и не велел никого допускать к себе. Предполагая, что отец погружен в свою горе, и опасаясь, что при виде единственного оставшегося в жи-

вых его детища слезы снова брызнут из его глаз, она колебалась, следует ли ей нарушать его печальное уединение; однако ее собственное беспокойство о нем и прямое повеление матери заставили ее отважиться на неповиновение приказу отца — дерзость, в которой она никогда не была повинна прежде. Робость, присущая ее кроткой натуре, остановила ее у входа в покои Манфреда. Стоя в нерешительности перед дверью, она слышала, как он, то быстрее, то медленнее, ходит взад и вперед по комнате; такое состояние его духа только усилило ее дурные предчувствия. Однако она собиралась уже заявить о себе стуком и попросить разрешения войти, как вдруг Манфред сам отворил дверь, но в уме его царил смятение, а к тому же еще наступили сумерки, и он, не узнав Матильду, сердито спросил, кто его беспокоит.

— Дорогой отец, это я, ваша дочь, — дрожа, ответила Матильда.

— Убирайся! Мне не нужна дочь! — вскричал, отпрянув от нее, Манфред. И, резко отступив назад, он со всего размаху захлопнул дверь перед онемевшей Матильдой.

Она слишком хорошо знала необузданный нрав отца, чтобы решиться на новое вторжение. Немного оправившись от потрясения, вызванного таким недружелюбным приемом, она поспешила утереть слезы, чтобы скрыть происшедшее от матери и оберечь ее от еще одного тяжелого удара; и когда Ипполита стала взволнованно расспрашивать ее, каково состояние Манфреда и как переносит он свою утрату, она заверила ее, что отец здоров и сохраняет в несчастье мужественную твердость духа.

— Но неужели он не допустит меня к себе? — горестно спросила Ипполита. — Неужели не позволит мне смешать свои слезы с его слезами и матери нельзя будет выплакать свое горе на груди ее повелителя? Или ты обманываешь меня, Матильда? Я знаю, какую любовь питал Манфред к своему сыну: не оказался ли удар слишком силен для него и он не смог его перенести? Я опасуюсь самого худшего! Поднимите меня, — обратилась она к служанкам, — я хочу, я должна увидеть моего супруга. Отнесите меня к нему немедленно. Он мне дороже всех на свете, даже моих детей.

Матильда знаками показала Изабелле, что следует помешать намерению Ипполиты подняться, и обе прелестные девушки мягко, но настойчиво старались удержать на месте и успокоить княгиню, как вдруг появился слуга с поручением от Манфреда и сообщил Изабелле, что его господин желает говорить с ней.

— Со мной? — воскликнула удивленная Изабелла.

— Идите, — сказала ей Ипполита, испытывая облегчение от того, что услышала слова, переданные ее супругом. — Манфред не в состоянии сейчас видеть своих близких. Он думает, что ваше смятение не столь велико, как наше, и опасается силы моего горя. Утешьте его, моя дорогая Изабелла, и скажите ему, что я предпочитаю одна справляться со своей душевной мукой, нежели усиливать его страдания.

Так как в это время уже наступил вечер, слуга, сопровождавший Изабеллу, нес перед ней факел. Когда они предстали перед Манфредом, который нетерпеливо шагал взад и вперед по галерее, тот, встрепенувшись, бросил слуге:

— Прочь этот свет и убирайся сам!

Затем, с силой захлопнув дверь, он бросился на приставленную к стене скамью и велел Изабелле сесть рядом с ним. Дрожа от страха, Изабелла повиновалась.

— Я послал за вами... — сказал Манфред и остановился, как бы подыскивая слова.

— О, князь! — прошептала Изабелла.

— Да, я послал за вами, — повторил он, — ибо хотел видеть вас по одному весьма важному поводу. Осушите ваши слезы, Изабелла... Вы утратили своего жениха... Да, такова жестокая судьба! А я утратил надежду на продолжение моего рода! Но Конрад был недостоин вашей красоты.

— Как, ваша светлость! — воскликнула Изабелла. — Я надеюсь, вы не подозреваете, что я не испытываю тех чувств, которые мне надлежит испытывать по столь печальному поводу. Мой долг и моя преданность никогда бы...

— Не думайте о нем больше, — прервал ее Манфред. — Конрад был болезненный, тщедушный мальчик. Возможно, для того и прибрал его господь, чтобы я не доверил будущее моего дома столь ненадежному фундаменту. Кня-

жеский род Манфреда нуждается в многочисленных и крепких опорах. Моя неразумная любовь к этому юнцу затмила мне взор и лишила меня предусмотрительности,— так что, может быть, оно и к лучшему. Я надеюсь, что через несколько лет у меня будут основания радоваться смерти Конрада.

Нельзя описать словами изумление Изабеллы. Сначала ей показалось, что у Манфреда от горя помутился разум. Затем она подумала, что эти странные речи имеют своей целью заманить ее в какую-то ловушку. Она испугалась того, что Манфред почувствовал ее равнодушие к Конраду, и поэтому сочла уместным ответить:

— Не сомневайтесь в моих чувствах, высокочтимый князь; отдав свою руку, я отдала бы и свое сердце. Конраду были бы посвящены все мои заботы, и как бы судьба ни распорядилась мною, отныне я всегда буду свято хранить его память, а вашу светлость и достойнейшую супругу вашу Ипполиту буду чтить как родных отца и мать.

— Будь она проклята, Ипполита! — вскричал Манфред. — Забудьте ее с этого мгновения, как я уже забыл ее. Короче говоря, Изабелла, вы утратили жениха, но он был недостоин ваших прелестей. Вместо хилого юнца супругом вашим должен стать мужчина во цвете лет, который сумеет ценить вашу красоту и который может надеяться на многочисленных отпрысков.

— Увы, ваша светлость, — возразила Изабелла, — ум мой слишком поглощен только что постигшим ваше семейство ужасным несчастьем, чтобы я могла помышлять о другом замужестве. Если мой отец когда-нибудь прибудет сюда и такова будет его воля, я покорюсь ей, так же как и в тот раз, когда я согласилась отдать свою руку вашему сыну; но до тех пор, пока не явится мой отец, позвольте мне оставаться под вашим гостеприимным кровом и посвятить свои скорбные дни попыткам облегчить горе, поразившее вас, госпожу Ипполиту и прекрасную Матильду.

— Я уже просил вас однажды, — гневно сказал Манфред, — не вспоминать больше об этой женщине; с этого часа она должна быть для вас такой же чужой, как и для меня. Короче говоря, Изабелла, поскольку я не могу женить на вас своего сына, я предлагаю вам в мужья себя самого.

— О, боже! — вскричала Изабелла, у которой наконец спала пелена с глаз.— Что я слышу! Вы, князь? Вы? Мой свекор! Отец Конрада! Супруг кроткой и добродетельной Ипполиты!

— Говорю вам,— властно заявил Манфред,— Ипполита больше не жена мне; с этого часа я в разводе с ней. Слишком долго ее бесплодие тяготело проклятием надо мной. Моя судьба зависит от того, будут у меня сыновья или нет, и я верю, что эта ночь предопределит день, когда мои надежды сбудутся.

С этими словами он схватил холодную как лед руку Изабеллы. Ни жива ни мертва от объявшего ее страха и ужаса, Изабелла вскрикнула и вырвалась от него. Манфред вскочил, чтобы настичь ее, как вдруг увидел в свете месяца, теперь уже высоко взошедшего и озарявшего противоположное окно, перья рокового шлема, которые поднимались до самых окон и раскачивались из стороны в сторону, глухо шелестя, словно деревья в бурю. Изабелле отчаяние придало храбрости, и, больше всего страшась настойчивого стремления Манфреда осуществить свой замысел, она крикнула:

— Смотрите, князь, смотрите! Само небо осуждает ваши нечестивые намерения!

— Ни небо, ни ад не помешают мне выполнить то, что я задумал,— ответил Манфред и снова бросился к Изабелле.

В этот момент портрет его деда, висевший над скамьей, на которой они перед тем сидели, явственно вздохнул и грудь его поднялась и опустилась. Изабелла, стоявшая спиной к портрету, не заметила, как он шевельнулся, и не знала, откуда донесся услышанный ею вздох, но вся задрожала. Произнеся: «Что это, князь? Вы слышите этот звук?» — она бросилась к двери. Манфреду, который не мог отвести глаз от портрета, было в этот момент не до нее, и она успела добраться до лестницы, прежде чем он, заметив ее бегство, сделал несколько шагов ей вослед, озираясь на ожившее изображение, как вдруг портрет покинул раму и, сойдя на пол, с угрюмым и скорбным видом стал перед Манфредом.

— Уж не во сне ли я вижу это? — вскричал Манфред.— Или все дьявольские силы ополчились против меня? Говори, адское виденье! А если ты действительно

мой предок, то почему и ты вступил в заговор против своего несчастного потомка, который платит слишком дорогой ценой за то, что...

Он не успел окончить фразу, как призрак снова вздохнул и подал Манфреду знак следовать за ним.

— Веди меня! — воскликнул Манфред. — Я пойду за тобой хоть в самую преисподнюю.

Призрак степенно, но с угрюмым видом прошествовал до конца галереи и свернул в горницу направо. Манфред следовал за ним на некотором расстоянии, исполненный тревоги и ужаса, но без колебаний. Когда он захотел войти в горницу вслед за призраком, незримая рука резко захлопнула перед ним дверь. Князь, собрав во время этой задержки всю свою смелость, стал ломиться в дверь, ударяя в нее ногой, но убедился, что она не поддается никаким его усилиям.

— Что же, если ад не хочет удовлетворить мое любопытство, я употреблю все доступные мне человеческие средства, чтобы сохранить свой род, — промолвил он. — Изабелле не уйти от меня.

Девушка, чья решимость сменилась страхом, как только она покинула Манфреда, сбежала вниз по главной лестнице до прихожей. Здесь она остановилась, не зная, куда направиться дальше и как спастись от необузданности князя. Ворота замка были заперты, и во дворе были расставлены часовые. Могла ли она, повинуясь зову своего сердца, пойти в покои Ипполиты, чтобы предупредить княгиню об ожидавшей ее жестокой участи? Она не сомневалась, что Манфред сразу же явится за ней туда и в своей ярости нанесет задуманную им обиду со всей мыслимой жестокостью, а у них не будет никакой возможности защититься от неистовства его страстей. Нужна была хоть небольшая отсрочка, в течение которой Манфред мог бы поразмыслить над принятыми им ужасными решениями или появилось бы какое-нибудь благоприятное для нее обстоятельство, но для этого было необходимо, чтобы по крайней мере на ближайшую ночь ему пришлось отложить выполнение своих чудовищных намерений. Но где скрыться? Как уйти от Манфреда, который неизбежно будет преследовать ее в любой части замка? В то время как эти мысли вихрем проносились в ее голове, она вдруг вспомнила про подземный ход, который вел из подвалов

замка в церковь святого Николая. Она знала, что если бы ей удалось добраться до алтаря, прежде чем ее настигнут, то даже такой неистовый человек, как Манфред, не посмел бы осквернить это священное место; и она решила, если не представится иного способа спастись, навсегда укрыться среди святых дев, чей монастырь соседствовал с церковью святого Николая. Приняв такое решение, она схватила светильник, горевший у подножия лестницы, и устремилась к потайному ходу.

Подвальная часть замка состояла из множества низких сводчатых коридоров, настолько запутанных, что до крайности взволнованной Изабелле нелегко было найти дверь в тот погреб, откуда начинался ход. Пугающее безмолвие царило во всех этих подземных помещениях, и лишь иногда порывы ветра сотрясали раскрытые ею двери, заставляя их скрипеть на ржавых петлях, отчего по всему мрачному лабиринту прокатывалось многократное эхо. Каждый шорох вызывал у Изабеллы новый прилив страха, но больше всего она боялась услышать гневный голос Манфреда, побуждающий слуг преследовать ее. Она ступала так осторожно, как только могла, при всем своем нетерпении, но часто останавливалась и прислушивалась, нет ли у нее за спиной погони. Вдруг ей показалось, что она услышала чей-то вздох. Затрепетав, она отступила на несколько шагов. Кровь похолодела в ее жилах: она решила, что это Манфред. Самые разнообразные предположения, какие только могли быть порождены чувством ужаса, пронеслись одно за другим в ее голове. Она осуждала себя за поспешный побег, из-за которого она могла оказаться беззащитной перед его бешенством, ибо нельзя было надеяться, что в таком месте ее крики привлекут кого-нибудь ей на помощь. Однако звук этот, по видимому, раздался не позади нее. А если бы Манфред знал, где она, то уж, наверное, следовал бы за ней по пятам. Она все еще находилась в одном из подземных переходов, а шаги, доносившиеся до ее слуха, были слишком отчетливы, чтобы ожидать их приближения с той же стороны, с которой шла она сама. Ободренная этим соображением и надеясь встретить доброжелателя в любом человеке, кроме Манфреда, Изабелла хотела уже двинуться вперед, как вдруг дверь, видневшаяся слева, невдалеке от нее, и стоявшая полуприкрытой, тихонько отворилась

настежь; но прежде чем пламя светильника, который Изабелла подняла над головой, дало ей возможность разглядеть того, кто открыл дверь, он поспешно отступил во тьму.

Достаточно было любой случайности, чтобы напугать Изабеллу до полусмерти, и она колебалась, не зная, продолжать ли ей свой путь. Вскоре, однако, страх перед Манфредом пересилил все другие ее опасения. Как раз то обстоятельство, что незнакомец избегал показаться ей на глаза, придавало ей некоторую смелость. «Это может быть, только,— подумала она,— какой-нибудь слуга из замка». Обходительная и ласковая со всеми, она ни в ком не нажила себе врага, и сознание невинности внушало ей надежду, что слуги князя, если только они не посланы им самим на поиски ее, скорее будут способствовать, нежели препятствовать ее побегу. Подбодрив себя этими соображениями и предположив по всем признакам, что стоит у входа в подземную пещеру, она приблизилась к двери, которую только что открыли перед ней; но внезапный порыв ветра, ударив ей в лицо, едва она подошла к порогу, загасил светильник, и она осталась в полной темноте.

Нельзя описать словами то ужасное положение, в котором очутилась Изабелла. Она была одна в таком безотрадном месте, вся еще под впечатлением страшных событий минувшего дня, почти без надежды на спасение, ожидая каждый миг появления Манфреда, не видя для себя утешения и в том, что совсем рядом с ней находится кто-то неизвестный, очевидно, не без причины скрывающийся здесь. Она мысленно обратилась ко всем святым на небесах с горячей мольбой о помощи. В течение некоторого времени, охваченная отчаянием, она не в силах была шевельнуться. Но наконец все же она стала нащупывать дверь, двигаясь, по возможности, неслышно, и найдя ее, с трепетом вступила под своды, откуда до нее донеслись вздох и шаги. На мгновение она испытала что-то похожее на радость, увидев слабый, мерцающий луч застилаемой тучами луны, проникавший сверху, где часть потолка, по-видимому, обвалилась и откуда свисал не то кусок земли, не то обломок какой-то стены, что именно — Изабелла не могла разобрать. Заинтересованная, она подошла поближе к пролому

и вдруг увидела человеческую фигуру, прислонившуюся к стене.

Изабелла вскрикнула, решив, что перед ней призрак ее жениха Конрада. Но фигура приблизилась и почти-тельно произнесла:

— Не тревожьтесь, госпожа! Я не сделаю вам ничего дурного.

Несколько ободренная словами незнакомца и тоном, которым они были произнесены, Изабелла сообразила, что этот самый человек, наверно, открыл ей дверь, и собралась с духом настолько, что смогла ответить:

— Кто бы вы ни были, сударь, сжальтесь над бедной девушкой, находящейся на краю гибели; помогите мне убежать из этого ужасного замка, иначе через несколько минут я стану несчастной навсегда.

— Увы! — воскликнул незнакомец. — Как могу я помочь вам? Я готов умереть, защищая вас, но я совсем не знаю замка, и у меня нет...

— О! — вскричала Изабелла, прервав его на полуслове. — Помогите мне только найти подъемную дверь — она должна быть где-то здесь поблизости, — и вы окажете мне величайшую услугу: ничего больше мне не нужно, но я не могу терять ни минуты.

С этими словами она стала ощупывать каменный пол и попросила незнакомца заняться тем же самым, чтобы найти небольшую медную пластину, вделанную в один из камней.

— Это затвор, — сказала она, — он открывается пружиной, секрет которой я знаю. Если мы найдем его, я смогу спастись, если же нет, то — увы, любезный незнакомец! — я боюсь, что вовлеку вас в свои несчастья: Манфред заподозрит, что вы соучастник моего побега, и вы станете жертвой его ярости.

— Я не слишком дорожу своей жизнью, — ответил незнакомец. — Если я отдам ее за то, чтобы избавить вас от тирании Манфреда, то в последнюю минуту это послужит мне некоторым утешением.

— Благородный юноша, — сказала Изабелла, — смогу ли я когда-нибудь отплатить вам...

Как раз когда она произносила эти слова, лунный луч, проскользнувший сквозь щель в своде, упал прямо на затвор, который они искали.

— О радости! — воскликнула Изабелла. — Вот она, подъемная дверь!

И, достав ключ, она нажала на пружину; медный затвор отскочил в сторону, открыв железное кольцо.

— Поднимите дверь, — сказала Изабелла.

Незнакомец повиновался; в открывшемся проеме виднелось начало каменной лестницы, которая уходила в полную темноту.

— Мы должны спуститься туда, — произнесла Изабелла, — следуйте за мной: хотя здесь мрачно и жутко, мы не собьемся с пути; подземный ход приведет нас прямо в церковь святого Николая. Но, быть может, — деликатно добавила она, — у вас нет причин покидать замок; а я вполне могу больше не обременять вас: через несколько минут я буду вне пределов досягаемости для неистовства Манфреда, только скажите мне, кому я обязана столь многим.

— Я ни за что не покину вас, — живо возразил незнакомец, — пока вы не окажетесь в безопасном месте, и не считайте меня чересчур самоотверженным человеком, хотя сейчас вы — моя главная забота...

Незнакомец не успел договорить, как вдруг издали послышался гул голосов, которые стали быстро приближаться и вскоре беглецы смогли разобрать слова:

— Что вы толкуете мне о колдунах! Говорю вам, она должна быть в замке; я найду ее, несмотря на все бесовские чары!

— О, небо! — вскричала Изабелла. — Это голос Манфреда! Скорей, или мы погибли! Опустите за собой дверь.

С этими словами она поспешно сошла вниз по ступеням: незнакомец хотел ринуться вслед за ней, но неосторожно выпустил из рук подъемную дверь; она упала, и пружина захлопнула затвор. Напрасно пытался юноша открыть дверь, не заметив, каким именно способом нажала на пружину Изабелла, да и времени, чтобы продолжать попытки, у него почти не оставалось. Манфред услышал грохот от падения двери и устремился в ту сторону, откуда раздался шум, в сопровождении слуг, которые держали в руках пылающие факелы.

— Это, наверно, Изабелла! — вскричал Манфред, еще не вступив под своды подземелья. — Она пытается скрыться через потайной ход, но далеко уйти она еще не могла.

Каково же было изумление князя, когда при свете факелов он увидел, вместо Изабеллы, того самого молодого крестьянина, который, как он полагал, должен был сейчас пребывать в заключении под роковым шлемом.

— Предатель! — воскликнул Манфред. — Как ты попал сюда? Я полагал, что ты крепко заперт там наверху, во дворе.

— Я не предатель, — смело возразил молодой человек, — и никак не отвечаю за ваши предположения.

— Наглец! — закричал Манфред. — Ты нарочно распекаешь мой гнев? Говори: как удалось тебе освободиться из-под шлема? Ты, наверно, подкупил стражу — они поплатятся за это жизнью.

— Моя бедность, — спокойно отвечал крестьянин, — доказательство их невиновности; хотя они признаны служить прихотям своевольного тирана, но своему господину они преданы и готовы были весьма ревностно выполнить ваш несправедливый приказ.

— Ты настолько дерзок, что не боишься моего гнева? — сказал Манфред. — Что ж, пытки вырвут у тебя правду. Говори, я желаю знать, кто твои сообщники?

— Вот кто мой сообщник, — с улыбкой ответил юноша, указывая на своды над головой.

Манфред велел поднять повыше факелы и увидел пролом в потолке, образованный одним из краев каски, пробившим каменный настил двора в тот момент, когда слуги обрушили ее на молодого крестьянина, которому удалось протиснуться сквозь открывшуюся таким образом щель за несколько минут до встречи с Изабеллой.

— Значит, ты спустился оттуда? — спросил Манфред.

— Да, — ответил юноша.

— Но что же за шум я услышал, входя в эту залу? — продолжал спрашивать Манфред.

— Это захлопнулась дверь, — сказал крестьянин. — Я тоже слышал громкий звук.

— Какая дверь? — поспешно спросил Манфред.

— Я не знаком с вашим замком, — ответил крестьянин. — Сейчас я впервые попал в него, и это подземелье — единственное помещение в нем, которое я до сих пор видел.

— Но я говорю тебе, — сказал Манфред, желая проверить, обнаружил ли юноша потайную дверь, — шум,

который я слышал, шел отсюда, мои слуги тоже слышали его.

— Ваша светлость,— почтительно обратился к Манфреду один из слуг,— это, конечно, упала подъемная дверь, а он пытался скрыться таким путем.

— Замолчи, болван! — сердито прикрикнул на него князь.— Если он намеревался скрыться, как оказался он с этой стороны? Я хочу услышать из его собственных уст, что за шум донесся до моих ушей. Говори правду: твоя жизнь зависит от того, будешь ли ты правдив.

— Правда для меня дороже жизни,— отвечал крестьянин,— и я не стану отвращать от себя смерть ценою лжи.

— В самом деле, молодой философ! — презрительно сказал Манфред.— Так вот скажи мне, что за шум я слышал.

— Задавайте мне вопросы, на которые я могу ответить, и, если я солгу, можете казнить меня.

Манфред, которого начали уже злить невозмутимость и бесстрашие юноши, вскричал:

— Хорошо же, отвечай, правдолюбец; этот шум, услышанный мною, был вызван падением подъемной двери?

— Да,— ответил юноша.

— Я так и знал,— произнес князь.— Но как же ты дознался, что здесь есть подъемная дверь?

— Я увидел в свете месяца медную пластину,— ответил молодой человек.

— Но кто сказал тебе, что это затвор? Как узнал ты секрет, который запирает его?

— Провидение, освободившее меня из-под шлема, направило меня и помогло найти пружину затвора.

— Провидение могло бы пойти несколько дальше и обезопасить тебя от моего гнева,— сказал Манфред.— Если провидение помогло тебе открыть затвор, оно покинуло тебя, как глупца, не способного воспользоваться его благодеяниями. Почему ты не устремился по тому пути, который был указан тебе для твоего спасения? Почему ты закрыл подъемную дверь до того, как спустился вниз по ступеням?

— Я мог бы спросить у вас, ваша светлость,— сказал крестьянин,— откуда было мне, совершенно не знакомому с замком, знать, что эти ступени ведут к какому-

нибудь выходу; но я считаю недостойным для себя уклоняться от ваших вопросов. Куда бы ступени ни вели, я, вероятно, попытался бы испробовать этот путь — я не мог бы оказаться в худшем положении, чем то, в котором уже находился. Но я действительно дал двери упасть — это чистая правда; и тотчас вслед за тем появились вы. Я был причиной поднятой вами тревоги, какое же имело для меня значение, буду ли я схвачен минутой раньше или минутой позже?

— Ты весьма смел, хоть и молод, — произнес Манфред. — Но сдастся мне, ты пытаешься хитрить со мной. Ты еще не сказал, как тебе удалось открыть затвор.

— Это я покажу вам, — ответил крестьянин, и, взяв в руку один из упавших со свода обломков, он улегся на подъемную дверь и стал бить по вделанной в нее медной пластине, желая таким образом оттянуть время, чтобы беглянка успела добраться до церкви.

Проявленное юношей присутствие духа, а также его прямота и искренность произвели большое впечатление на Манфреда. Он даже ощутил склонность великодушно простить юношу, не повинного ни в каком преступлении. Манфред не был одним из тех свирепых тиранов, которые черпают наслаждение в жестокости, предаваясь ей просто так, безо всякого повода. Обстоятельства его жизни привели к тому, что он очерствел, но от природы он был человечен; и добрые начала в его душе тотчас давали себя знать, когда страсти не затмевали его разума.

В то время как князь пребывал в замешательстве, не зная, как поступить, из отдаленных подземных зал послышался и прокатился эхом неясный гул голосов. Когда шум приблизился, Манфред узнал голоса своих слуг, которых он разослал по всем уголкам замка на поиски Изабеллы.

— Где его светлость? Где князь? — кричали они изо всех сил.

— Я здесь, — ответил Манфред, когда они подошли ближе.

— О, государь! — воскликнул первый из вошедших в залу. — Какое счастье, что мы нашли вас!

— Нашли меня? — крикнул Манфред. — А Изабеллу вы нашли?

— Мы думали, что настигли ее,— ответил слуга, выглядевший насмерть перепуганным,— но, ваша светлость...

— Что? — прогремел Манфред.— Она убежала?

— Жак и я, ваша светлость...

— Да, я и Диего,— прервал этого слугу другой, следом за ним вошедший в залу; он казался еще более потрясенным.

— Говорите по очереди,— приказал Манфред.— Я спрашиваю вас: где Изабелла?

— Мы не знаем,— ответили оба в один голос,— но мы так испуганы, что ничего не сообщаем.

— Это я вижу, болваны вы этакие! — сердито сказал князь.— Что же нагнало на вас такой страх?

— О, господин! — промолвил Жак.— Диего узрел нечто такое... Вы, ваша светлость, не поверили бы своим глазам.

— Что еще за нелепости! — вскричал Манфред.— Отвечайте прямо, без обиняков, не то, клянусь небом...

— Так вот,— сказал бедняга слуга,— если вашей светлости угодно меня выслушать, дело было так: Диего и я...

— Да, да, я и Жак... — взволнованно вставил его товарищ.

— Я же запретил вам говорить обоим вместе,— сказал князь.— Отвечай ты, Жак: этот дурак Диего, кажется, еще больше спятил с ума, чем ты. Что случилось?

— Милостивый господин мой, если вам угодно выслушать меня, дело было так: Диего и я, по приказу вашей светлости, отправились искать молодую госпожу, но, опасаясь встретить призрак нашего молодого господина, сына вашей светлости,— упокой, господи, его душу! — поскольку он не получил христианского погребения...

— Глупец! — разъярился Манфред.— Так, значит, только призрак ты и видел?

— О, хуже, много хуже! — воскликнул Диего.— Я предпочел бы увидеть целый десяток призраков во весь рост.

— Никакого терпения не хватит с этими болванами: они сводят меня с ума! Прочь с глаз моих, Диего! А ты, Жак, встряхнись и отвечай: ты в своем уме или бредишь?

Обычно ты проявлял некоторое здравомыслие. Или этот дурак, перетрусив, напугал и тебя до смерти? Говори, что такое ему привиделось?

— Сейчас, сейчас скажу, ваша светлость,— отвечал Жак, весь дрожа.— Я как раз и собирался поведать вам, что со времени ужасной гибели нашего молодого господина,— упокой, господи, его невинную душу! — ни один из нас, верных слуг вашей светлости, не осмеливался поодиночке ходить по замку: только по двое. И вот, Диего и я, полагая, что молодая госпожа Изабелла может находиться в галерее, отправились туда, чтобы найти ее и передать ей о желании вашей светлости говорить с нею.

— Ох, безнадежные глупцы! — вскричал Манфред.— А она тем временем скрылась, потому что вы испугались домового. Подумай ты, дурацкая башка: ведь она оставила меня в галерее, и я сам пришел оттуда.

— И все-таки, сдается мне, она еще и сейчас там,— сказал Жак.— Но пусть дьявол меня заберет, если я пойду снова искать ее в этом месте... Бедный Диего! Не думаю, чтобы он мог оправиться от этого...

— Оправиться от чего? — спросил, негодуя, Манфред.— Что ж, я так никогда и не узнаю, что заставляло этих негодяев? Но я попусту теряю время. Следуй за мной, холоп, я сам посмотрю, в галерее ли Изабелла.

— Ради всего святого, добрый господин мой,— воскликнул Жак,— не ходите в галерею! По-моему, сам сатана сидит там в соседней горнице.

Манфред, до сих пор считавший, что слуги просто зря перетрусили, был поражен этим новым обстоятельством. Он вспомнил об ожившем портрете и о внезапно захлопнувшейся двери в конце коридора; голос его задрожал, и он растерянно спросил:

— Что такое там, в большой горнице?

— Господин мой,— отвечал Жак,— когда Диего и я подошли к галерее, Диего вошел в нее первым, потому что, как он сказал, он смелее меня. Так вот, войдя в галерею, мы никого в ней не нашли. Заглядывали под каждую скамью, под каждый стул, и все же не нашли никого.

— А все портреты были на своих местах? — спросил Манфред.

— Да, ваша светлость,— подтвердил Жак.— Но нам не пришлось в голову заглянуть за них.

— Ладно, ладно, рассказывай дальше,— приказал князь.

— Когда мы подошли к двери большой горницы,— продолжал Жак,— она была закрыта.

— И что же, вы не смогли ее открыть?— вновь прервал его Манфред.

— Да нет, ваша светлость, смогли. О, если бы небу было угодно не позволять нам этого! — воскликнул слуга.— На него, то есть на Диего, а никак не на меня, вдруг напала отчаянная храбрость, и он решился войти туда, хотя я и отговаривал его.... Если я когда-нибудь снова войду в горницу, дверь которой закрыта...

— Не отклоняйся в сторону,— промолвил Манфред, содрогаясь,— и скажи ясно, что увидели вы в большой горнице, когда отворили дверь.

— Я, ваша светлость?— вскричал Жак.— Я ничего не видел: я стоял позади Диего. Из нас двоих, господин мой, видел это Диего, а не я, но я слышал шум.

— Заклинаю тебя душами моих предков, Жак,— торжественным тоном произнес Манфред,— скажи мне: что ты видел? Что ты слышал?

— Видел Диего, а не я, ваша светлость,— ответил Жак,— я только слышал шум. Как только Диего отворил дверь, он закричал и отскочил назад. Я тоже отскочил и спросил его: «Что там, призрак?» «Призрак? Нет, нет»,— отвечал Диего, и волосы на голове у него зашевелились сами собой. «Мне кажется, это — великан, он, верно, весь закован в латы; — я видел его ступню и часть голени, они такие же огромные, как и шлем, что лежит посреди двора». Не успел он произнести эти слова, ваша светлость, как мы услышали громкий звук, словно что-то большое начало шевелиться, и лязг доспехов: это, надо полагать, великан вставал на ноги, потому что сначала он, как потом сказал мне Диего, должно быть, был простерт навзничь, поскольку нога его лежала, а не стояла. Прежде чем мы добрались до конца галереи, мы услышали, как дверь большой горницы захлопнулась за нами, но мы не осмеливались обернуться и посмотреть, не преследует ли нас великан. правда, теперь я думаю, что мы бы слышали его, если бы он гнался за нами; но, ваша светлость, ради

бога, пошлите за капелланом, и пусть он изгонит духов из замка, потому что... потому что замок, конечно, околдован.

— О, пожалуйста, ваша светлость, сделайте это немедленно! — разом воскликнули все слуги. — Или же мы должны будем оставить службу у вас.

— Спокойно, дурачье! — прикрикнул на них Манфред. — Следуйте за мной. Я узнаю, что все это значит.

— Вы хотите, чтобы мы шли с вами, ваша светлость! — вскричали слуги в один голос. — Нет, нет, на галерею мы не пойдем, хоть озолотите нас.

Тут заговорил молодой крестьянин, который до сих пор молча наблюдал за происходящим.

— Дозвольте мне, ваша светлость, отважиться на это предприятие! Я свободно могу рисковать собой — печалиться о моей смерти некому. Злых духов я не боюсь, а добрым я не нанес никаких обид.

— Ты ведешь себя лучше, чем можно было от тебя ожидать, — произнес Манфред, глядя на юношу с удивлением и восхищением, — потом я награжу тебя за твою отвагу; но сейчас, — со вздохом добавил он, — я в таких обстоятельствах, что не могу себе позволить доверять чьим-либо глазам, кроме своих собственных. Однако я разрешаю тебе сопровождать меня.

После того как Манфред, в погоне за Изабеллой, покинул галерею, он прежде всего устремился в покои своей жены, полагая, что девушка направилась туда. Ипполита, узнав его шаги, в волнении поднялась навстречу своему повелителю, которого не видела с момента гибели их сына. Она готова была броситься ему на грудь со смешанным чувством радости и горя, но он грубо оттолкнул ее и спросил:

— Где Изабелла?

— Изабелла, государь, Изабелла? — в изумлении переспросила Ипполита.

— Да, Изабелла! — властно выкрикнул Манфред. — Мне нужна Изабелла.

— Отец, — подала голос Матильда, от которой не укрылось, какое тяжелое впечатление произвело его поведение на мать. — Изабеллы не было здесь с тех пор, как вы потребовали ее к себе.

— Отвечайте, где она сейчас,— потребовал князь.— Мне безразлично, где она была прежде.

— Уважаемый супруг мой, ваша дочь говорит правду. Изабелла оставила нас по вашему повелению и с тех пор не возвращалась. Но успокойтесь, государь, придите в себя и отдохните: события этого злосчастного дня привели в смятение ваш дух. Утром Изабелла выполнит все ваши распоряжения.

— Значит, вы знаете, где она! — вскричал Манфред.— Говорите без утайки — я не хочу терять ни мгновения. Да, вот что, женщина,— добавил он, обращаясь так к жене,— скажи своему капеллану, что я требую его к себе немедленно.

— Изабелла, я полагаю,— спокойно сказала Ипполита,— удалилась к себе для ночного отдыха. Она не привыкла бодрствовать в столь поздний час. Государь,— продолжала она,— скажите мне, что встревожило вас? Ужели Изабелла нанесла вам какое-то оскорбление?

— Не докучай мне вопросами! — оборвал ее Манфред.— Ты должна сказать одно — где она.

— Матильда позовет ее,— ответила Ипполита.— Оставайтесь на месте, государь, и верните себе ваше обычное самообладание.

— Ты что же, значит, ревнуешь меня к Изабелле? — сказал Манфред.— Иначе почему бы тебе хотеть присутствовать при нашем свидании?

— О, боже,— воскликнула Ипполита,— что вы имеете в виду, ваша светлость?

— Скоро ты узнаешь это: потерпи лишь несколько минут,— сказал жестокий князь.— Пошли ко мне своего капеллана, а сама ожидай здесь изъясления моей воли.

С этими словами он бросился вон из комнаты на поиски Изабеллы, оставив жену и дочь одних; потрясенные его речами и безумным поведением, они терялись в напрасных догадках о том, что он замышляет.

Теперь Манфред возвращался из подземелья в сопровождении молодого крестьянина и нескольких слуг, которым он приказал следовать за ним. Не останавливаясь, он взбежал вверх по лестнице и у дверей галереи встретил Ипполиту с ее капелланом. Они оказались здесь потому, что Диего, когда Манфред отослал его, отправился сразу же к княгине и в крайнем волнении сообщил ей о том, что

он видел. Благородная Ипполита так же, как и Манфред, не сомневалась в истинности видения, но притворилась, будто считает, что слуга бредит. Желая, однако, уберечь супруга от еще одного потрясения и будучи подготовлена всеми уже испытанными ею страданиями к тому, чтобы бестрепетно ожидать новых несчастий, она решила принести себя в жертву первой, если им было предначертано судьбой погибнуть именно в этот час. Велев Матильде идти отдыхать, хотя та и упраскивала мать взять ее с собою, Ипполита, в сопровождении одного лишь капеллана, обошла галерею и примыкавшую к ней большую горницу; и теперь, впервые за много часов обретя некое подобие душевного спокойствия, она завершила своего супруга и повелителя в том, что видение гигантской ноги — чистейший вымысел, несомненно порожденный страхом, овладевшим слугами в это глухое ночное время. Она и капеллан осмотрели горницу и нашли в ней все в обычном состоянии.

Хотя Манфред, подобно своей жене, был уверен, что видение отнюдь не было плодом фантазии его слуг, все же возбуждение, в котором пребывал его дух вследствие столь многих странных событий этого дня, несколько улеглось. Кроме того, ему стыдно было за свое бесчеловечное обращение с княгиней, которая на каждое оскорбление отвечала новыми изъявлениями любви и преданности; он почувствовал, что в сердце его жива любовь к ней, но в не меньшей степени стыдясь и того, что ощущает угрызения совести за свое поведение по отношению к женщине, с которой он собирался обойтись еще более жестоко, он подавил порыв своего сердца и даже не позволил себе проявить жалость. И сразу же вслед за тем в его душе совершился новый поворот, на этот раз — к изощреннейшей низости. Рассчитывая на неизменную покорность Ипполиты, он стал льстить себя надеждой, что она не только смиренно примет развод, но даже постарается, если он ей прикажет, уговорить Изабеллу отдать ему свою руку. Однако едва предался он этой ужасной мечте, как тотчас вспомнил, что Изабеллу пока еще никак не удастся найти. Придя в себя, он отдал приказ тщательно охранять все подходы к замку и под страхом смерти велел своим челядинцам никого не выпускать за его пределы. Молодому крестьянину, с которым Манфред

разговаривал благосклонно, он велел расположиться в небольшой каморке под лестницей, где была походная постель; сказав юноше, что наутро поговорит с ним, он сам взял ключ от каморки. Затем, отпустив сопровождавших его людей и удостоив Ипполиту слабым кивком головы, он удалился в свои покои.

Глава II

Матильда, уйдя по распоряжению Ипполиты в свою светлицу, была не в состоянии предаться отдыху и сну. Ужасная гибель брата не выходила у нее из головы. Ее удивляло отсутствие Изабеллы, а странные слова, брошенные отцом, его дикое поведение и неопределенная угроза княгине вселили в Матильду страх и тревогу. Она с нетерпением ждала возвращения Бьянки, услужавшей ей молодой особы, которую она послала разузнать, что произошло с Изабеллой. Бьянка вскоре появилась и сообщила своей госпоже то, что ей удалось выведать у слуг, а именно — что Изабеллу нигде не могут найти. Она упомянула также о случае с молодым крестьянином, которого обнаружили в подземелье. Уснастив свой рассказ многими добавлениями, почерпнутыми из наивных и бессвязных показаний челядинцев, главное место она отвела гигантской ноге, которую видели в зале, примыкающей к галерее. Этим последним обстоятельством Бьянка была так напугана, что обрадовалась, когда Матильда сказала ей, что не пойдет спать, а будет бодрствовать до тех пор, пока не поднимется княгиня.

Матильда терзалась всевозможными догадками о побеге Изабеллы и об угрозах Манфреда матери.

— Но что за неотложное дело у него к капеллану? — спросила она. — Не намерен ли он тайно похоронить тело моего брата в часовне?

— О, госпожа моя, — воскликнула Бьянка. — Теперь я догадалась! Так как вы стали наследницей вашего отца, он загорелся желанием поскорее выдать вас замуж. Он всегда хотел иметь еще сыновей; я уверена, что теперь ему не терпится обзавестись внуками. Вот, как бог свят, теперь-то наконец я увижу вас невестой. Но, добрая моя

госпожа, вы не прогоните вашу верную Бьянку и не поставите надо мной донну Розару, хотя теперь вы — наследница княжества Отранто?

— Моя бедная Бьянка, — сказала Матильда, — как далеко уводит тебя воображение! Это я-то наследница княжества Отранто! Что в поведении Манфреда после смерти брата говорит об усилении его привязанности ко мне? Нет, Бьянка, сердце его всегда оставалось закрытым для меня, но он мой отец, и я не смею жаловаться. Что же, если господь отторг меня от отцовского сердца, он не по заслугам вознаграждает меня нежной любовью моей матери. О, дорогая моя матушка! Да, Бьянка, когда суровый нрав Манфреда отзывается на мне, я могу терпеливо сносить его жестокосердие; но когда я вижу, как черств он с матерью, это больно ранит мою душу.

— О, госпожа моя, — сказала Бьянка, — все мужчины обращаются так со своими женами, когда те надоедают им.

— И тем не менее ты только что поздравляла меня, — возразила Матильда, — придумав, будто отец намерен выдать меня замуж.

— Мне хотелось бы видеть вас знатной дамой, — объяснила Бьянка, — а там будь что будет. Мне смерть как не хочется, чтобы вы были упрятаны от мира в монастыре, а ведь так бы оно и вышло, будь на то ваша воля; и если бы ваша матушка княгиня, знающая, что иметь плохого мужа лучше, чем не иметь никакого, не воспрепятствовала вам... Господи помилуй, что это за шум? Святой Николай, прости меня! Я ведь только пошутила.

— Это ветер, — сказала Матильда, — он со свистом веет сквозь зубцы на вершине башни; ты слышала этот звук по крайней мере тысячу раз.

— Ах, я не имела в виду ничего дурного, — воскликнула Бьянка; — ведь это не грех — вести речь о брачных узах. Так вот, госпожа моя, как я уже говорила, допустим, его светлость Манфред предложит вам в мужья статного молодого рыцаря. Вы что же тогда, отвесите ему глубокий поклон и скажете, что предпочитаете монашеское покрывало?

— Благодарение богу, мне не грозит такая опасность, — ответила Матильда. — Разве ты не знаешь, скольких искателей моей руки он отверг?

— И вы благодарны ему, как преданная дочь, не правда ли, госпожа моя? Но все же представьте себе, что завтра утром отец пригласит вас в залу совета, и там рядом с ним вы увидите красивого молодого рыцаря с большими черными глазами, высоким и чистым лбом и густыми кудрями смоляного цвета; короче говоря, госпожа моя, увидите юного героя, похожего на портрет Альфонсо в галерее, перед которым вы просиживаете часами, не отрывая от него глаз.

— Не говори так легкомысленно об этом портрете,— прервала Бьянку Матильда.— Я признаю, что он вызывает у меня необычное восхищение, но не влюблена же я в раскрашенный холст. Личность этого добродетельного князя, уважение к его памяти, внушенное мне матушкой, молитва, которую она, не знаю почему, просила меня произносить над его гробницей,— все это вместе взятое укрепило меня в убеждении, что моя судьба так или иначе связана с чем-то, имеющим отношение к нему.

— Боже! Как может это быть, госпожа моя? — воскликнула Бьянка.— Я всегда слышала, что ваша семья и семья Альфонсо никак не связаны между собой: и, честное слово, мне непонятно, почему ее светлость посылает вас и утром и вечером, в холод и сырость молиться над его гробницей; ведь он в календаре не записан как святой. Если нужно, чтобы вы молились о чем-то, почему ваша матушка не посоветует вам обратиться к нашему достославному патрону святому Николаю? Я уверена, что правильно делаю, молясь ему и прося послать мне мужа.

— Может быть, меня бы это затронуло не столь глубоко,— сказала Матильда,— если бы матушка объяснила мне, почему я должна так поступать. Но она молчит, и эта таинственность внушает мне... я не знаю, как это назвать. Так как матушка никогда ничего не делает из прихоти, я уверена, что здесь кроется какая-то роковая тайна. Охваченная безысходным горем из-за смерти брата, она обронила несколько слов, которые намекали на это

— О, дорогая моя госпожа,— вскричала Бьянка,— какие же это были слова?

— Нет,— сказала Матильда.— Если мать невзначай обмолвится словом, которого не хотела произносить вслух, дочери не подобает повторять его.

— Как? Она пожалела о вырвавшемся у нее слове? — спросила Бьянка. — Уверю вас, госпожа моя, вы можете доверить мне...

— Мои личные секреты, если они будут у меня, могу, — прервала ее Матильда, — но секреты моей матери — никогда. Дочь не должна ни видеть, ни слышать — ей положено следовать указаниям матери.

— Ах, госпожа моя, ясно как день: вы рождены на свет, чтобы стать святой, — отозвалась Бьянка. — Бесполезно сопротивляться своему призванию: в конце концов вам все-таки не миновать монастыря. Вот госпожа Изабелла — та не так скрытничает со мной, как вы: она позволяет мне говорить с ней о молодых людях; а когда однажды замок посетил красивый и статный рыцарь, она призналась мне, что хотела бы, чтобы ваш брат Конрад походил на него.

— Бьянка, — сказала Матильда, — я не позволяю тебе неуважительно говорить о моей подруге. У Изабеллы живой и веселый нрав, но душа ее чиста, как сама добродетель. Она знает твою склонность к пустой болтовне и, быть может, иногда поощряла ее, чтобы рассеять тоску и скрасить уединение, в котором отец держит нас.

— Пресвятая богородица, вот оно снова! — испуганно вскричала Бьянка. — Неужели вы ничего не слышите, дорогая госпожа моя? В этом замке наверняка водятся духи!

— Молчи и слушай! — приказала Матильда. — Как будто я слышала голос... Но, вероятно, мне только показалось... Я, должно быть, заразилась твоими страхами.

— Нет, нет, госпожа Матильда, вам не показалось, — произнесла со слезами в голосе Бьянка, ни жива ни мертва от страха.

— Кто-нибудь ночует в камерке под нами? — спросила Матильда.

— Никто не осмеливался ночевать там, — ответила Бьянка, — с тех пор как утопился ученый астролог, который был наставником вашего брата. Наверное, госпожа моя, его призрак и призрак молодого князя встретились сейчас в горнице внизу. Ради бога, бежим скорее в покои вашей матушки.

— Я приказываю тебе не двигаться с места, — сказала Матильда. — Если это страждущие без покаяния

души, мы можем облегчить их муки, задав им несколько вопросов. Они не сделают нам ничего дурного, ибо мы ничем не оскорбили их, и если бы они захотели повредить нам — разве, перейдя из одной комнаты в другую, мы оказались бы в большей безопасности? Подай мне мои четки: мы прочтем молитву, а потом обратимся к ним.

— О, моя дорогая госпожа Матильда, я ни за что на свете не стану говорить с призраками! — воскликнула Бьянка.

Только она произнесла эти слова, как они снова услышали шум и поняли, что это открылось окно каморки, расположенной под покоями Матильды. Матильда и ее служанка стали внимательно слушать, и через несколько минут им обоим показалось, что кто-то поет, но разобрать слова они не могли.

— Не может быть, чтобы это был злой дух, — вполголоса произнесла Матильда. — По-видимому, там кто-то из наших домочадцев. Открой окно, и мы узнаем голос.

— Я не смею, право, не смею, госпожа моя, — произнесла Бьянка.

— Ты на редкость глупа, — сказала Матильда, и сама тихонько открыла окно.

Однако при этом все же раздался легкий шорох, который донесся до слуха того, кто находился внизу; он сразу же прекратил пение, из чего девушки заключили, что услышанный ими прежде шум, несомненно, шел от туда же.

— Кто-то есть там внизу? — спросила Матильда. — Если да, то отзовитесь.

— Да, есть, — ответил незнакомый голос.

— Кто же? — продолжала спрашивать Матильда.

— Посторонний человек, — ответил тот же голос.

— Что за посторонний человек? И как попал ты сюда в такой неподходящий час, когда все ворота замка на запоре?

— Я здесь не по своей воле, — произнес голос незнакомца, — но простите меня, сударыня, если я нарушил ваш покой; я не знал, что меня слышат. Сон бежал моих глаз; я поднялся со своего ложа, не давшего мне отдохновения, и подошел к окну, чтобы скоротать томительные часы, вглядываясь во тьму и ожидая, когда займется рассвет, ибо мне не терпится покинуть этот замок.

— В твоих словах и в твоём голосе слышится грусть,— сказала Матильда.— Если ты несчастен, мне жаль тебя. Если причина твоих страданий — бедность, скажи мне: я походатайствую за тебя перед княгиней, чья сострадательная душа всегда открыта для обездоленных, и она поможет тебе.

— Я действительно несчастен,— сказал незнакомец.— Я не знаю, что такое достаток; но я не жалуюсь на участь, которую небо уготовало мне: я молод и здоров и не стыжусь того, что сам должен обеспечивать себя всем необходимым; но не считайте меня гордецом и не помыслите, что я не ценю вашего добросердечного предложения. Я буду вспоминать вас в своих молитвах, буду просить господина ниспослать своё благословение вам и вашей госпоже, хозяйке этого замка... Если я вздыхаю, сударыня, то это потому, что я скорблю о других — не о себе.

— Теперь я узнала, кто это, госпожа Матильда,— шепнула Бьянка.— Это, конечно, тот самый молодой крестьянин, и бьюсь об заклад — он влюблен. Ах, какое прелестное приключение! Пожалуйста, госпожа моя, дайте испытать его. Он не знает кто вы и принимает вас за особу из свиты вашей матушки.

— Как тебе не стыдно, Бьянка! — произнесла Матильда.— Какое право мы имеем бесцеремонно проникать в сердечные тайны этого молодого человека? Мне кажется, что он добродетелен и прямотушен; он говорит, что несчастен; разве этих причин достаточно, чтобы им распорядились, как своей собственностью? И с какой стати должен он откровенничать с нами?

— Боже, как мало знаете вы о любви, госпожа моя,— возразила Бьянка.— Ведь для влюбленных нет большего удовольствия, как говорить о тех, по ком они вздыхают.

— Что ж, ты хотела бы, чтобы я стала наперсницей какого-то простолюдина? — молвила Матильда.

— Хорошо, в таком случае разрешите мне поговорить с ним,— попросила Бьянка.— Хотя я имею честь состоять в свите вашей милости, я не отроду занимаю столь высокое положение. Кроме того, если любовь уравнивает людей различного звания, она также поднимает всех над их обычным состоянием: я уважаю всякого влюбленного молодого человека.

— Замолчи ты, несмышленная! — приказала Матильда. — Хотя он сказал нам, что несчастен, из этого не следует, что он обязательно должен быть влюблен. Подумай обо всем, что произошло сегодня, и скажи — разве нет других несчастий, кроме тех, что вызывает любовь? Незнакомец, — обратилась она к молодому человеку, возобновляя прерванный разговор. — Если ты не сам виноват в своих несчастях и если только в силах княгини Ипполиты что-либо исправить, я берусь обещать тебе, что она будет твоей покровительницей. Когда тебя отпустят из нашего замка, найди святого отца Джерома в монастыре, что возле церкви святого Николая, и поведай ему свою историю, настолько подробно, насколько сочтешь это нужным: он не преминет осведомить о ней княгиню, которая по-матерински заботится обо всех нуждающихся в помощи. Прощай! Мне не подобает долее вести разговор с мужчиной в столь неподходящий час.

— Да хранят вас святые и ангелы, любезная сударыня! — ответил крестьянин. — Но ради бога скажите, можно ли бедному и безвестному человеку осмелиться просить вас еще об одной минуте вашего внимания? Будет ли мне даровано такое счастье? Окно еще не закрыто... Можно ли мне спросить вас...

— Говори быстрее, — сказала Матильда, — уже наступает рассвет; хорошо ли будет, если пахари, выйдя в поле, заметят нас? Что хотел бы ты спросить?

— Не знаю, как... Не знаю, смею ли я... — с запинкой произнес незнакомец. — Но то сочувствие, которое проявили вы, говоря со мной, придает мне смелости... Могу ли я довериться вам, сударыня?

— Господи всемогущий! — воскликнула Матильда. — Что ты имеешь в виду? Что хочешь ты доверить мне? Говори, не робея, если только твой секрет таков, что добродетельное сердце может быть его хранителем.

— Я хотел бы спросить вас, — сказал крестьянин, набравшись духу, — правда ли то, что я слышал от слуг: в самом ли деле знатная молодая особа, их госпожа, исчезла из замка?

— А зачем тебе это надо знать? — насторожилась Матильда. — Вначале твои слова свидетельствовали о

благоразумии и подобающей серьезности мыслей. Ты что же, пришел сюда выведать секреты Манфреда? Я ошиблась в тебе, прощай!

С этими словами она поспешно закрыла окно, не оставив молодому человеку времени для ответа.

— Я поступила бы умнее,— не без резкости сказала Матильда Бьянке,— если бы велела тебе беседовать с этим крестьянином: по части любопытства вы можете с ним соперничать.

— Мне не пристало спорить с вашей милостью,— отвечала Бьянка,— но, может быть, вопросы, которые я бы задала ему, были бы более у места, чем те, что изволили задать ваша милость.

— О, не сомневаюсь,— сказала Матильда,— ты ведь весьма благоразумная особа. А могу ли я узнать, о чем бы ты спросила его?

— Тот, кто наблюдает за игрой со стороны, часто видит в ней больше, чем ее участники,— ответила Бьянка.— Ужели ваша милость полагает, что его вопрос о госпоже Изабелле — плод праздного любопытства? Нет, нет, госпожа Матильда, здесь скрыто нечто большее, о чем вы, знатные господа, и не догадываетесь. Лопес рассказал мне, что, по мнению всех слуг в доме, этот молодец содействовал побегу госпожи Изабеллы. Теперь заметьте следующее: прежде всего обе мы с вами знаем, что госпожа Изабелла никогда не питала особой склонности к молодому князю, брату вашей милости. Далее — молодой князь убит в ту самую минуту, после которой уже не было бы возврата — но я, конечно, никого не обвиняю, избави боже! Шлем ведь упал с неба — так говорит ваш родитель, князь Манфред; однако Лопес и все другие слуги говорят, что этот молодой любезник — колдун и что он похитил шлем с гробницы Альфонсо.

— Прекрати ты свои дерзкие разглагольствования! — потребовала Матильда.

— Как вам будет угодно, госпожа моя,— сказала Бьянка.— И все же очень, очень странно, что госпожа Изабелла исчезла в тот же самый день и что этого молодого волшебника нашли у подъемной двери, которая была открыта. Я никого не обвиняю... но, если бы брат ваш Конрад умер честь по чести, своей естественной смертью...

— Не смей бросать даже тень сомнения на безупречную чистоту моей дорогой Изабеллы,— сказала Матильда.

— Безупречная или не безупречная, как бы там ни было, а все-таки госпожа Изабелла куда-то девалась; зато обнаружен некий человек, которого никто не знает; вы сами начинаете его расспрашивать; он отвечает вам, что влюблен или несчастен,— это одно и то же; да ведь к тому же он говорит, что несчастен из-за других, а бывает ли кто-нибудь несчастен из-за другого, если он в этого другого не влюблен? — и, заметьте, сразу же вслед за этим он спрашивает вас, правда ли, что госпожи Изабеллы нет в замке?

— Спору нет,— отвечала Матильда,— твои соображения не лишены оснований... Побег Изабеллы изумляет меня... Любопытство этого человека кажется мне очень странным... Но ведь Изабелла никогда не таила от меня своих мыслей.

— Она уверяла вас в этом,— возразила Бьянка,— чтобы выведывать ваши секреты. Но, как знать, госпожа моя, может быть, этот незнакомец — какой-нибудь переодетый принц. Пожалуйста, ваша милость, разрешите мне открыть окно и задать молодому человеку несколько вопросов.

— Нет,— ответила Матильда,— я сама спрошу его, не знает ли он чего-нибудь об Изабелле, хотя он и не заслуживает того, чтобы я вела с ним дальнейшую беседу.

Матильда собиралась уже открыть окно, как вдруг у боковых ворот замка, справа от башни, в которой она находилась, громко зазвонил колокол. Это помешало возобновлению разговора с незнакомцем. Помолчав некоторое время, Матильда снова заговорила с Бьянкой.

— Я убеждена,— сказала она,— что, каковы бы ни были причины побега Изабеллы, они не могут быть недостойными. Если этот незнакомец имеет касательство к ее побегу, значит Изабелла не сомневается в его преданности и надежности. Я заметила,— а ты заметила ли, Бьянка? — что его слова проникнуты чрезвычайным благочестием. Его речь не была речью человека безнравственного и грубого: он говорил так, как это свойственно людям благородного происхождения.

— Я уже сказала, ваша милость,— отозвалась Бьянка,— я уверена, что он переодетый принц.

— Однако,— продолжала Матильда,— если он причастен к побегу Изабеллы, как объяснишь ты, что он не скрылся вместе с нею? К чему было, безо всякой нужды, так неосторожно оставаться беззащитным перед гневом Манфреда?

— Уж что до этого, госпожа Матильда,— отвечала Бьянка,— то если он смог выбраться из-под шлема, так найдет и способ ускользнуть от мстительности и злобы вашего родителя. Я не сомневаюсь, что он держит при себе какой-то талисман.

— Тебе во всем видится волшебство,— сказала Матильда.— Человек, общающийся с адскими силами, не стал бы употреблять в своей речи высоких, священных слов, какие произносил этот незнакомец. Разве ты не слышала, с какой горячностью он покаялся помянуть меня в своих молитвах? Да, Изабелла, несомненно, была уверена в его благочестии.

— Толкуйте мне о благочестии двух молодых людей разного пола, которые сговариваются вместе бежать! — вскричала Бьянка.— Нет, нет, ваша милость, госпожа Изабелла — особа совсем не такого склада, как вы думаете. Конечно, при вас она то и дело вздыхала и поднимала глаза к небу, потому что знала, что вы святая, но стоило вам повернуться к ней спиной...

— Ты клеветешь на нее,— прервала Матильда.— Изабелла не лицемерка: она в должной мере набожна, но никогда не притворялась, что призвана вступить на стезю, к которой на самом деле не испытывает склонности. Напротив, она всегда противилась моему стремлению уйти в монастырь; и хотя, признаюсь, я смущена тем, что она совершила свой побег втайне от меня, хотя дружба, связывающая нас, не позволяла ожидать от нее такого поступка, я не могу забыть, с какой неподдельной горячностью она всегда оспаривала мое намерение надеть на себя монашеское покрывало: она хотела видеть меня замужем, несмотря на то что за мной пришлось бы дать приданое, а это нанесло бы ущерб ее и моего брата детям. Ради нее я хочу думать хорошо об этом молодом крестьянине.

— В таком случае вы полагаете все же, что они питают друг к другу взаимную симпатию,— сказала Бьянка, но больше ничего не успела произнести, потому что вошел слуга и объявил, что госпожу Изабеллу нашли.

— Где же она? — живо отозвалась Матильда.

— Укрылась в церкви святого Николая, — ответил слуга. — Отец Джером сам принес это известие. Он сейчас внизу с его светлостью князем.

— А где моя мать? — спросила Матильда.

— В своих покоях, госпожа моя, — ответил слуга. — Она уже спрашивала о вас.

Манфред поднялся, как только забрезжил свет, и отправился в покои Ипполиты, чтобы узнать, нет ли у нее каких-либо известий об Изабелле. В то время когда он выспрашивал ее, ему доложили, что отец Джером желает говорить с ним. Не подозревая истинной причины его появления и зная, что через посредство этого монаха Ипполита совершала богоугодные дела, Манфред приказал впустить отца Джерома с намерением оставить его с Ипполитой вдвоем и продолжать тем временем розыски Изабеллы.

— У вас дело ко мне или к княгине? — спросил он монаха.

— К обоим, — отвечивал божий слуга.

— А госпожа Изабелла, известно вам что-нибудь о ней? — нетерпеливо спросил Манфред.

— Она у алтаря святого Николая, — отвечал Джером.

— Это не касается Ипполиты, — с некоторой неуверенностью в голосе сказал Манфред. — Пойдемте в мои покои, отец, и там вы сообщите мне, каким образом Изабелла очутилась в церкви.

— Нет, ваша светлость, — заявил прямодушный монах, укротив своим твердым, не допускающим возражений тоном своеволие Манфреда, который не мог не почитать этого человека, наделенного добродетелями святых праведников. — У меня есть поручение, относящееся к вам обоим, и, с соизволения вашей светлости, я изложу его в присутствии вас обоих, но прежде я должен осведомиться у княгини, известно ли ей, по какой причине госпожа Изабелла покинула ваш замок.

— Нет, клянусь моей бессмертной душой, нет! — воскликнула Ипполита. — Неужели Изабелла утверждает, что я причастна к ее побегу?

— Отец монах, — сказал, прерывая ее, Манфред. — Я питаю должное уважение к вашему сану, но здесь я

верховный властитель, и я не потерплю вмешательства бесцеремонного священника во что бы то ни было, касающееся жителей этого замка. Если у вас есть что рассказать мне, следуйте за мной в мои покои — я не имею обыкновения посвящать мою жену в секретные дела княжества: женщине не положено заниматься ими.

— Ваша светлость, — сказал благочестивый старец, — я не из тех, кто вторгается в семейные тайны. Моя священная обязанность — способствовать умиротворению, разрешать споры, проповедовать покаяние и учить людей обуздывать непокорные страсти. Я прощаю вам, ваша светлость, обидные слова, с которыми вы обратились ко мне. Я знаю свой долг и являюсь исполнителем воли более могущественного государя, чем Манфред. Внемлите ему, ибо это он речет моими устами.

Манфред, чье самолюбие было уязвлено, задрожал от ярости. На лице Ипполиты было написано изумление и нетерпеливое желание узнать, чем все это кончится, однако почтение к Манфреду было в ней сильнее всех прочих чувств и заставляло ее молчать.

— Госпожа Изабелла, — заговорил снова Джером, — кланяется его светлости господину Манфреду и ее светлости госпоже Ипполите; она благодарит обоих вас за доброе отношение к ней в вашем замке; она глубоко скорбит о смерти вашего сына и о том, что ей на долю не выпало счастье стать дочерью столь мудрых и благородных господ, которых она всегда будет почитать как своих родителей; она молит бога о прочности вашего союза и вашем совместном благополучии (Манфред при этих словах изменился в лице), но поскольку для нее стали невозможны родственные узы с вами, она спрашивает вашего согласия на ее пребывание в святилище до той поры, пока не получит известий от своего отца или же, если подтвердится слух о его смерти, не окажется свободной, с одобрения своих опекунов, распорядиться собой и вступить в достойный ее брак.

— Я не дам на это своего согласия, — заявил князь, — и настаиваю на ее безотлагательном возвращении в замок; я отвечаю за Изабеллу перед ее опекунами и не допущу, чтобы она находилась в чьих-либо руках, кроме моих собственных.

— Вашей светлости следовало бы подумать о том, насколько впредь это будет уместно,— возразил монах.

— Я не нуждаюсь в наставниках,— отрезал Манфред, багровея от злости.— Поведение Изабеллы заставляет подозревать вещи весьма странного свойства. А этот молодой простолудин, который был ее сообщником в побеге, если не причиной его..:

— Причиной? — воскликнул, прерывая его, Джером.— Разве причиной ее побега был молодой человек?

— Это становится невыносимым! — вскричал Манфред.— Чтобы мне, в моем собственном дворце, перечил какой-то наглый монах! Мне все ясно: ты сам помог им вступить в любовную связь.

— Я стал бы молить небо обелить меня от этих обидных предположений,— сказал Джером,— если бы, несправедливо меня обвиняя, вы сами, перед лицом совести своей, могли действительно усомниться в моей невинности. Но сейчас я молю небо лишь о том, чтобы оно простило вам нанесенную мне обиду, и взываю к вашей светлости: оставьте госпожу Изабеллу спокойно пребывать в том священном месте, где она находится и где не подobaет тревожить ее ум и душу такими суетными мирскими развлечениями, как разговоры о любви к ней какого-либо мужчины.

— Не ханжествуй тут передо мной,— сказал Манфред,— а лучше отправляйся обратно и верни Изабеллу к ее долгу.

— Мой долг заключается в том, чтобы препятствовать ее возвращению сюда,— ответил Джером.— Она сейчас там, где сироты и девственницы защищены всего надежнее от силков и ловушек этого мира; и только властью родного отца она может быть изъята оттуда.

— Я ей свекор,— воскликнул Манфред,— и требую ее к себе.

— Она хотела, чтобы вы были ее свекром,— сказал монах,— но небо воспротивилось этому браку и навсегда расторгло все связи между вами. И я заявляю вашей светлости...

— Остановись, дерзкий монах, страшись моего гнева! — вскричал Манфред.

— Святой отец,— вмешалась Ипполита,— вы, по своему положению, должны говорить, не взирая на лица, так,

как вам велит ваш долг, но мой долг — не слушать ничего такого, что, по усмотрению моего повелителя, не должно достигать моих ушей. Следуйте за князем в его покои, я же удалюсь в мою молельню, где буду молить пресвятую деву наставить вас своими благими советами и вернуть моему супругу его обычное спокойствие и мягкосердечие.

— О, благородная душа! — воскликнул Джером и добавил: — Князь, я готов следовать за вами.

Манфред, сопровождаемый монахом, прошел в свои покои и, затворив дверь, сказал:

— Я вижу, отец мой, что Изабелла ознакомила вас с моими намерениями. Теперь слушайте мое решение и повинуйтесь. Весьма настоятельные государственные соображения, безопасность моей особы и моего народа требуют, чтобы у меня был сын. Безнадежно было бы ждать наследника от Ипполиты, и потому я остановил свой выбор на Изабелле. Вы должны не только доставить ее обратно, но сделать и нечто большее. Я знаю, сколь много значат ваши мнения для Ипполиты: образ ее мыслей всецело зависит от вас. Я признаю, что она безупречная женщина: душа ее устремлена к небесам и презирает ничтожное величие мира сего; вы в состоянии совсем освободить ее от тягот мирской жизни. Убедите ее дать согласие на расторжение нашего брака и уйти в монастырь — она сможет, если захочет, сделать богатое пожертвование любой обители по ее выбору, и у нее будут возможности одарять ваш орден настолько щедро, насколько она или вы могли бы пожелать. Таким образом вы отвратите бедствия, которые нависли над нашими головами, и за вами будет заслуга спасения княжества Отранто от грозящей ему гибели. Вы человек благоразумный, и, хотя по причине горячности моего нрава у меня вырвалось несколько неподобающих выражений, я почитаю вашу добродетель и желал бы быть обязанным вам спокойной жизнью и сохранением моего рода.

— Да свершится воля господня! — ответил монах. — Я лишь недостойное его орудие. Моими устами возглашает он тебе, князь, что неправедны умыслы твои. Обиды добродетельной Ипполиты достигли божьего престола, откуда на мир нисходит сострадание. Через меня само

небо порицает тебя за прелюбодейное намерение отри-
нуть ее; оно предостерегает тебя от дальнейших попы-
ток привести в исполнение кровосмесительный умысел в
отношении твоей нареченной дочери. Господь, спасший
ее от твоего неистовства, которому ты предался в то вре-
мя, когда недавно постигшая твой дом кара должна была
бы исполнить тебя другими мыслями, не оставит ее и
впредь своим попечением. Даже я, бедный и недостойный
инок, способен защитить ее от учиняемого тобой наси-
лия,— и как я ни грешен перед господом и как жестоко
ни унижен тобой, обвинившим меня в содействии какой-
то любовной связи, я презираю соблазны, коими тебе
заблагорассудилось искушать мою честность. Я предан
моему ордену; я почитаю набожные души; я уважаю
благочестие твоей супруги, но я не обману питаемого ею
ко мне доверия я не стану служить даже делу церкви гнус-
ным и греховным угодничеством перед сильными мира
сего. Вот уже поистине: благо государства зависит от
того, будет ли у вашей светлости сын! Небо насмехается
над близорукими расчетами человека. Мог ли еще вчера
утром чей-либо род сравниться с великим, процветающим
домом Манфреда? А где теперь юный Конрад? Я чту ваши
слезы, князь, но не хочу останавливать их: пусть они те-
кут! Они больше весят в глазах господ и больше могут
способствовать благу ваших подданных, нежели брак, осно-
ванный на плотской страсти или на политическом расчете,
союз, который никогда не мог бы принести счастье. Ски-
петр, перешедший от рода Альфонсо к вашему роду, не
может быть сохранен союзом, которого никогда не до-
пустит церковь. Если волей всевышнего предначертано
исчезновение имени Манфреда, примиритесь, государь, с
этим непререкаемым решением; тогда вы заслужите себе
венец нетленный. Пойдемте же, ваша светлость — пе-
чаль ваша для меня отрадна,— вернемся к княгине: она
не осведомлена о ваших намерениях, да и я ведь тоже не
имел в виду ничего, кроме как предостеречь вас. Вы ви-
дели, с каким кротким терпением, с какой стойкостью,
порожденной ее любовью к вам, она слушала наш раз-
говор и отказалась слушать далее, когда вина ваша могла
полностью открыться ей. Я знаю, что она жаждет при-
жать вас к своей груди, и заверяю вас, что чувства ее к
вам неизменны.

— Отец мой,— сказал князь,— вы неверно толкуете мое раскаяние. Я искренне чту добродетели Ипполиты; я считаю ее святой и хотел бы, чтобы узы, связующие нас, принесли исцеление моей душе; но увы, почтенный отец, вы не знаете самых мучительных терзаний моей совести: порой у меня закрадываются сомнения в законности нашего союза: Ипполита — моя родственница в четвертом колене! Правда, нам была дана диспенсация; но, кроме этого, мне стало известно, что она была ранее помолвлена с другим. Вот что лежит камнем у меня на сердце! Незаконность нашего брака и является, как я думаю, причиной постигшей меня божьей кары, то есть смерти Конрада! Облегчите же мою совесть, снимите с нее это тяжкое бремя: расторгните наш брак и завершите тем самым угодное богу преобразование моей души, которое уже началось благодаря вашим благочестивым увещаниям.

Мучительная боль пронзила сердце монаха, когда он увидел, какую уловку измыслил коварный князь. Он дрожал за Ипполиту, чувствуя, что судьба ее решена; и он боялся того, что Манфред, утратив надежду на возвращение Изабеллы, но столь же нетерпеливо желая приобрести наследника, обратит свои взоры на другую женщину, которая, возможно, в противность Изабелле, не устоит перед таким соблазном, как высокое положение Манфреда. Некоторое время святой отец пребывал в размышлении. Наконец, придя к мысли, что единственная надежда состоит в затяжке дела, он решил, что самым разумным будет не дать Манфреду окончательно отчаяться в возможности заполучить обратно Изабеллу. Что же касается ее самой, то монах был уверен, что из отвращения к Манфреду и любви к Ипполите она будет следовать ему во всем до тех пор, пока церковь не обрушит громы своего осуждения на задуманный князем развод. Приняв такой план, отец Джером, будто бы сильно встревоженный сомнениями Манфреда, сказал наконец:

— Ваша светлость, я подумал над тем, что вы мне сейчас открыли, и если действительно истинной причиной испытываемого вами резкого отчуждения от добродетельной супруги вашей является беспокойная совесть, избави меня бог от того, чтобы я еще больше ожесточил ваше сердце. Церковь — это прощающая мать; поведайте ей

о своих горестях; она одна может пролить бальзам утешения в вашу душу, и либо она успокоит вашу совесть, либо признает, после тщательного изучения, основательность ваших сомнений и освободит вас от уз этого брака, тем самым дозволяя вам законным образом продолжить свой род. В последнем случае, если возможно будет получить согласие госпожи Изабеллы...

Тут Манфред, обрадовавшись этому внезапному обороту дела, решил, что добрый старик переубежден его хитроумными доводами или же был поначалу так запальчив только для виду, и снова принялся сыпать щедрые посулы на тот случай, если отец Джером, поразмыслив еще, поможет осуществлению его планов. Благоразумный монах не стал разочаровывать его, хотя был исполнен твердой решимости противостоять его намерениям, а не содействовать им.

— Поскольку мы теперь достигли обоюдного понимания, — сказал в заключение Манфред, — я надеюсь, отец мой, что вы не откажетесь ответить мне на один вопрос: кто этот юноша, которого я обнаружил в подземелье? Он, по-видимому, причастен к побегу Изабеллы. Скажите мне правду — он ее любовник? Или он наперсник какого-то третьего лица, пылающего страстью к Изабелле? Мне часто казалось, что Изабелла равнодушна к моему сыну: теперь у меня в памяти всплывает тысяча обстоятельств, подтверждающих это подозрение. Она сама настолько сознавала это, что во время нашего разговора с ней в галерее опередила мои подозрения и стала оправдываться от возможного обвинения в холодности к Конраду.

Монах знал о юноше только то, что ему успела рассказать Изабелла, и не имел никакого представления, что с ним случилось потом. Недостаточно приняв во внимание неистовый нрав Манфреда, он подумал, что недурно было бы посеять в его душе семена ревности: впоследствии эта ревность может обернуться на пользу правому делу — предубедить Манфреда против Изабеллы, если он будет все же домогаться союза с ней, либо направить его по ложному следу, заняв его мысли мнимой интригой, которая отвлечет его от новых попыток осуществить свои намерения. Избрав такую неудачную тактику, монах ответил Манфреду в том смысле, что допускает наличие каких-то отношений между Изабеллой и этим юношей.

Князь, чьим страстям немного нужно было топлива, чтобы раскалиться добела, впал в ярость от предположения Джерома. С криком «Клянусь, я распутаяю эти козни!» он внезапно покинул монаха, наказав дожидаться его возвращения и, поспешно прйдя в парадную залу замка, велел доставить к нему молодого крестьянина.

— Закоренелый обманщик! — прогремел он, как только юноша предстал перед ним. — Ты и сейчас будешь бахвалиться своим правдолюбием? Значит, ты обнаружил затвор подъемной двери только благодаря провидению да еще лунному свету? Рассказывай, дерзкий, кто ты и как давно ты знаком с молодой госпожой, и позаботься о том, чтобы ответы твои были не такими уклончивыми, как прошлой ночью, иначе пытки вырвут у тебя правду.

Молодой человек понял, что его участие в победе девушки раскрыто, и, решив, что теперь уже его слова не смогут ни помочь, ни повредить ей, сказал:

— Я не обманщик, государь, и ничем не заслужил, чтобы меня позорили такими речами. Прошлой ночью я ответил на все вопросы вашей светлости так же правдиво, как буду отвечать сейчас, и это будет не из страха перед вашими пытками, а потому, что душе моей противна всякая ложь. Благоволите же повторить ваши вопросы, государь: я готов, в меру моих возможностей, дать вам на них исчерпывающий ответ.

— Ты знаешь, на какие вопросы я жду ответа, и тебе нужно только протянуть время, чтобы найти для себя какую-либо лазейку. Говори прямо: кто ты такой и как давно знает тебя молодая госпожа!

— Я батрак из соседней деревни, — ответил крестьянин, — зовут меня Теодор. Молодая госпожа впервые увидела меня минувшей ночью в подземелье: до этого я никогда не попадался ей на глаза.

— Я могу и поверить и не поверить этому, — сказал Манфред. — Но я хочу раньше услышать твой рассказ до конца, а потом уже расследую, сколько в нем правды. Скажи мне, какой причиной объяснила тебе молодая госпожа свой побег? Твоя жизнь зависит от того, как ты ответишь на этот вопрос.

— Она сказала мне, — ответил Теодор, — что находится на краю гибели и если не сможет бежать из замка, то через несколько минут станет несчастной навсегда.

— И тебе достаточно было столь слабого основания, как слова глупой девчонки, чтобы ты отважился вызвать мое неудовольствие?

— Я не страшусь ничего неудовольствия,— молвил Теодор,— когда женщина, попавшая в беду, отдает себя под мою защиту.

Во время этого допроса Матильда в сопровождении Бьянки направлялась в покои Ипполиты. Путь их лежал через закрытую галерею с решетчатыми окнами, проходившую по верху залы, где сейчас сидел Манфред. Услышав голос отца и увидев собравшихся вокруг него слуг, Матильда остановилась, желая узнать, что там происходит. Почти сразу же молодой узник завладел ее вниманием. Достойный и сдержанный тон, которым он отвечал, смелость его последнего ответа — первых явственно услышанных ею слов — расположили Матильду в его пользу. Вся внешность его была благородной, красивой и представительной, несмотря даже на то положение, в котором он сейчас находился. Но особенно поразили Матильду черты его лица: она не могла оторвать от них глаз.

— О, боже! — тихо произнесла она.— Не грезится ли мне это, Бьянка? Ты не находишь, что этот юноша похож как две капли воды на портрет Альфонсо в галерее?

Больше ничего она не смогла сказать, потому что голос ее отца с каждым словом становился все громче.

— Эта выходка,— говорил Манфред,— превосходит все твои прежние дерзости. Ты испытываешь на себе всю силу моего гнева, к которому осмеливаешься относиться с таким пренебрежением. Хватайте и вяжите его! — обратился он к слугам.— Первое, что узнает беглянка о своем защитнике, будет то, что ради нее он поплатился головой.

— Твоя несправедливость ко мне,— сказал Теодор,— убеждает меня, что я сделал доброе дело, избавив молодую госпожу от твоей тирании. Пусть она будет счастлива, что бы ни произошло со мной.

— Он ее любовник! — в ярости вскричал Манфред.— Простой крестьянин перед лицом смерти не может быть одушевлен такими чувствами. Скажи, скажи мне, безрассудный юноша, кто ты, или дыба заставит тебя выдать твою тайну.

— Ты уже грозил мне смертью,— ответил молодой человек,— за правду, которую я сказал тебе. Если это вся награда, какой я могу ожидать за искренность, то я не склонен далее удовлетворять твое пустое любопытство.

— Так ты не станешь говорить? — спросил Манфред.

— Не стану,— ответил юноша.

— Тащите его во двор! — приказал князь.— Я хочу немедленно увидеть, как голова его слетит с плеч.

При этих словах Манфреда Матильда лишилась чувств. Бьянка испустила вопль отчаяния и принялась кричать:

— На помощь, на помощь! Молодая госпожа при смерти!

Услыхав эти крики, Манфред вскочил с места со словами: «Что это, что случилось?» Тот же вопрос сорвался с уст молодого крестьянина, которого ужаснули слова Бьянки, но Манфред велел сейчас же вывести его во двор для казни, которая, предупредил он, состоится немедленно, как только он выяснит причину воплей служанки. Когда князю доложили в чем дело, он отмахнулся, сказав, что это пустые женские страхи, и, велев перенести Матильду в ее покои, выбежал во двор, где подозвал к себе одного из стражей, а Теодору приказал стать на колени и приготовиться к тому, чтобы принять роковой удар.

Неустршимый юноша встретил жестокий приговор со смирением, тронувшим сердца всех присутствующих, кроме Манфреда. Больше всего Теодор хотел сейчас получить разъяснение услышанных им страшных слов «Молодая госпожа при смерти», но, полагая, что речь шла о беглянке, и опасаясь навлечь на нее еще большую ярость Манфреда, воздержался от вопросов. Единственная милость, которую он позволил себе испросить, заключалась в разрешении исповедаться священнику и получить отпущение грехов. Манфред, надеясь узнать, через посредство исповедника тайну молодого человека, охотно согласился удовлетворить эту просьбу и, будучи уверен, что отец Джером теперь на его стороне, велел призвать его, дабы тот выслушал исповедь приговоренного. Монах, не предвидевший ужасных последствий, которые повлек за собой его ошибочный шаг, пал на колени перед князем и стал заклинать его всем, что есть во вселенной святого,

не проливать невинной крови. Он жестоко бранил себя за лишние слова, сказанные им, всячески пытался обелить юношу, одним словом, употребил все средства, чтобы усмирить ярость тирана. Отнюдь не умиротворенный, а, напротив, еще более разгневанный заступничеством священника, подозревая в обмане уже обоих, поскольку Джером отрекся от сказанного им прежде, Манфред приказал ему исполнить свою обязанность и предупредил, что не позволит приговоренному затянуть исповедь дольше нескольких минут.

— А мне и нужно лишь несколько минут, — сказал молодой смертник. — Грехи мои, благодарение богу, многочисленны: их у меня не больше, чем может быть у всякого в моем возрасте. Осушите ваши слезы, дорогой отец, и поторопимся: этот мир полон зла, и у меня нет причин сожалеть, что я расстаюсь с ним.

— О, несчастный юноша! — воскликнул Джером. — Как можешь ты терпеть меня рядом с собой? Я твой убийца! Я погубил тебя!

— Я от всей души даю вам такое же полное прощение, какое сам надеюсь получить у господа. Выслушайте мою исповедь, святой отец, и благословите меня.

— Но разве могу я приготовить тебя, как должно, к переходу в иной мир! — воскликнул Джером. — Ведь душа твоя не может быть спасена, если ты не простишь своих врагов, а можешь ли ты простить этого нечестивого человека?

— Могу, — ответил Теодор. — Я прощаю его.

— Даже это не трогает тебя, жестокий властитель? — воскликнул монах.

— Я послал за тобой, чтобы ты исповедал приговоренного, а не защищал его, — сухо сказал Манфред. — Ты сам же и навлек на него мой гнев: пусть теперь на твою голову падет его кровь.

— Да, на мою, на мою! — вскричал в отчаянье добросердечный монах. — Ни ты, ни я никогда не будем там, куда скоро вступит этот богом благословенный юноша.

— Поторопись, — сказал Манфред. — Хныканье священников трогает меня не больше, чем женские вопли.

— Как! — воскликнул юноша. — Неужели моя судьба — причина того, что я слышал там в зале? Неужели молодая госпожа снова в твоей власти?

— Ты вновь распаляешь мой грев,— сказал Манфред.— Готовься к смерти, ибо наступает твоя последняя минута.

В юноше все больше росло негодование против Манфреда и одновременно его глубоко трогало горе, которое, как он видел, охватило сейчас не только монаха, но всех свидетелей этой сцены. Однако ничем не обнаруживая своих чувств, он сбросил с себя колет, расстегнул ворот и преклонил колени для молитвы. Когда он опускался наземь, рубашка соскользнула с его плеча, открыв на нем алый знак стрелы.

— Боже милостивый! — вскричал как громом пораженный монах.— Что я вижу? Дитя мое, мой Теодор!

Трудно вообразить себе — не то что описать, — каково было всеобщее потрясение. Слезы вдруг перестали течь по щекам присутствующих — не столько от радости, сколько от изумления. Люди воззрились на своего господина, словно глазами вопрошая его, что надлежит им чувствовать. На лице юноши попеременно выражались удивление, сомнение, нежность, уважение. Скромно и сдержанно принимал он бурные изъявления радости со стороны старика, который, проливая слезы, обнимал и целовал его; но он боялся отдаться надежде и, с достаточным уже основанием полагая, что Манфред по природе своей неспособен на жалость, бросил взгляд на князя, как бы говоря ему: «Неужели и такая сцена может оставить тебя бесчувственным?»

Однако сердце Манфреда не было все же каменным. Изумление погасило в князе гнев, но гордость не позволяла еще ему признаться, что и он тронут происшедшим. Он даже сомневался, не было ли совершившееся открытие выдумкой монаха ради спасения юноши.

— Что все это значит? — спросил он.— Как может он быть твоим сыном? Согласуется ли с твоим саном и со святостью твоего поведения признание, что это крестьянский отпрыск — плод твоей незаконной любовной связи с какой-то женщиной?

— О, господи! — вздохнул старик.— Ужели ты сомневаешься в том, что он мое порождение? Разве мог бы я так горевать из-за него, не будь он моим родным сыном? Смилуйся, добрый государь, смилуйся над ним, а меня унизь, как тебе будет угодно.

— Смилуйтесь,— закричали слуги,— смилуйтесь ради этого доброго человека!

— Молчите! — властно приказал Манфред.— Я должен узнать побольше, прежде чем расположусь простить его. Пашенок святого необязательно должен и сам быть святым.

— Несправедливый властитель,— сказал Теодор,— не отягчай оскорблениями свою жестокость. Если я действительно сын этого почтенного человека, то знай, что хотя я не князь, подобно тебе, но кровь, текущая в моих жилах...

— Да,— сказал монах, прерывая его,— в нем благородная кровь, и он отнюдь не такое ничтожное создание, каким вы, государь, считаете его. Он мой законный сын, а Сицилия может похвалиться немногими домами, которые древнее дома Фальконара... Но, увы, мой государь, какое значение имеет кровь, какое значение имеет знатность? Все мы пресмыкающиеся, жалкие, грешные твари. И только милосердие отличает нас от праха, из которого мы вышли и в который должны вернуться.

— Прекратите на время свою проповедь,— сказал Манфред.— Вы забыли, что больше вы не брат Джером, а граф Фальконара. Изложите мне свою историю, после этого у вас будет предостаточно времени для нравоучительных рассуждений, если вам не посчастливится добиться помилования для этого дерзкого преступника.

— Пресвятая богородица! — воскликнул монах.— Возможно ли, чтобы ваша светлость отвергли мольбу отца пощадить жизнь его единственного детища, вновь обретенного после стольких лет? Попирайте меня ногами, государь, издевайтесь надо мной, мучьте меня, лишите меня жизни,— только пощадите моего сына!

— Теперь ты в состоянии понять,— сказал Манфред,— что значит утратить единственного сына! — Не прошло и часа, как ты проповедовал мне смирение: мой дом-де должен погибнуть, если такова воля судьбы... Но граф Фальконара...

— Увы, государь! — воскликнул Джером.— Я признаю, что оскорбил вас. Но не отягчайте страданий старика. Не ради своей гордыни умоляю я вас о спасении этого юноши, но ради памяти той необыкновенной женщины, что произвела его на свет... Она... она умерла, Теодор?

Род, семья... Нет, я и не помышляю о таких суетных вещах... Это говорит сама природа...

— Душа ее давно уже среди блаженных,— сказал Теодор.

— О, как же это случилось? — вскричал Джером.— Расскажи мне... Нет, не надо... Она счастлива... Ты теперь моя единственная забота! Жестокий господин! Согласен ли ты наконец милостиво даровать мне жизнь моего бедного мальчика?

— Возвращайся в свой монастырь,— ответил Манфред,— и приведи сюда беглянку. Повинуйся мне и во всем прочем, про что я тебе говорил, и я обещаю тебе взамен жизнь твоего сына.

— О, государь! — вскричал Джером.— Ужели за спасение дорогого моего мальчика я должен заплатить своей честью?

— За меня? — воскликнул Теодор.— Нет, лучше тысячу раз умереть, чем запятнать твою совесть! Чего требует от тебя этот тиран? Значит, девушка еще не в его власти? Тогда защити ее, почтенный старец, и пусть вся тяжесть его гнева падет на меня!

Джером попытался сдержать пыл негодующего юноши, но, прежде чем Манфред смог что-либо сказать в ответ, послышался конский топот, и внезапно заиграла медная труба, висевшая с наружной стороны замковых ворот. В тот же миг пришли в бурное движение траурные перья на заколдованном шлеме, все еще возвышавшемся в другом конце двора; они трижды низко наклонились вперед, как если бы незримый носитель шлема отвесил тройной поклон.

Глава III

Дурные предчувствия зашевелились в сердце Манфреда, когда он увидел колыханье перьев на чудесной каске и заметил, что они раскачиваются в такт со звуками медной трубы.

— Отец,— обратился он к Джерому, перестав называть его графом Фальконарой.— Что означают эти знамения? Если я согрешил...

Перья стали раскачиваться еще сильнее, чем прежде.

— О, я несчастный государь! — вскричал Манфред. — Святой отец! Прошу вас, окажите мне помощь своими молитвами.

— Ваша светлость, — сказал Джером, — господь, без сомнения, разгневан вашим глумлением над его слугами. Покоритесь же церкви и перестаньте преследовать носителей слова божия. Отпустите этого невинного юношу и научитесь уважать священный сан, коим я облечен; с господом шутить нельзя: вы видите...

Труба зазвучала снова.

— Я признаю, что слишком поторопился, — сказал Манфред. — Отец, подойдите к смотровому окошку и спросите, кто у ворот.

— Вы даруете мне жизнь Теодора? — спросил монах.

— Да, да, — ответил Манфред, — но пойдите же узнать, кто там снаружи.

Бросившись на шею сыну, Джером разразился потоком слез — так была переполнена его душа.

— Вы обещали мне пойти к воротам, — напомнил Манфред.

— Надеюсь, ваша светлость, — ответил монах, — вы не разгневаетесь на меня за то, что я замешкался, выражая свою благодарность вам этими идущими от самого сердца слезами.

— Идите, ваша милость, — сказал Теодор, — повинуйтесь государю. Я не стою того, чтобы вы ради меня гневали князя, медля исполнить его поручение.

Джером, подойдя к окошку, осведомился, кто находится за воротами, и получил ответ, что впуска требует герольд.

— Чей герольд? — спросил монах.

— Герольд Рыцаря Большого Меча, — ответил голос из-за ворот. — Я должен говорить с узурпатором княжества Отранто.

Джером возвратился к князю и не преминул передать ему слово в слово заявление герольда. При первых словах Джерома Манфреда охватил ужас, но затем, услышав, что его называют узурпатором, он снова разъярился, и к нему вернулась его отвага.

— Я узурпатор? Какой дерзкий негодяй смеет оспаривать мой титул? — вскричал Манфред. — Уходите, отец, это не монашеское дело. Я сам встречу этого самонадеян-

ного человека. Идите в свой монастырь и подготовьте возвращение молодой госпожи; ваш сын останется заложником вашей верности: жизнь его будет зависеть от вашего повиновения.

— Боже правый! — воскликнул монах. — Ведь вы, государь, только что освободили мое дитя безо всяких условий — ужели вы так скоро забыли вмешательство сил небесных?

— Небо, — ответил Манфред, — не посылает герольдов оспаривать титулы законных государей. Я сомневаюсь даже и в том, что оно выражает свою волю через посредство монахов. Но это уже ваше дело, а не мое. Сейчас вы знаете, что мне угодно, и какому-то там наглому герольду не спасти будет вашего сына, если вы не возвратитесь с беглянкой.

Напрасно пытался святой муж возражать князю. Манфред велел выпроводить его из замка через задние ворота и закрыть их за ним; одновременно он приказал своим людям отвести Теодора на самый верх глухой башни и строго стеречь его там; при этом он едва разрешил отцу и сыну обнять друг друга на прощание.

Затем Манфред вернулся в главную залу и, воссев в царственной позе на своем троне, распорядился впустить к нему герольда.

— Так чего же хочешь ты от меня, дерзкий человек? — спросил князь.

— Я пришел к тебе, Манфред, узурпатор княжества Отранто, — отвечал тот, — от прославленного и непобедимого Рыцаря Большого Меча: он от имени своего господина, маркиза Фредерика да Виченца, требует дочь этого владетельного князя, Изабеллу, которую ты низким, предательским способом заполучил в свои руки, подкупив ее вероломных опекунов во время его отсутствия; он требует также, чтобы ты отказался от княжества Отранто, которое ты похитил у названного маркиза Фредерика, являющегося ближайшим по крови родственником последнего законного владетеля этого княжества, Альфонсо Доброго. Если ты не выполнишь без промедления этих требований, рыцарь вызывает тебя на смертельный поединок.

С этими словами герольд бросил к ногам Манфреда свой жезл.

— А где тот хвостун, что послал тебя? — спросил Манфред.

— Мой господин находится на расстоянии одной лиги отсюда, — ответил герольд. — Он направляется сюда с намерением заставить тебя удовлетворить требования его повелителя, ибо он — истинный рыцарь, а ты — узурпатор и насильник.

Хотя этот вызов был крайне оскорбителен, Манфред рассудил, что ему не стоит гневить маркиза. Он знал, насколько хорошо обоснованы притязания Фредерика, и услышал о них теперь не в первый раз. Предки Фредерика приняли титул князей Отранто после смерти Альфонсо Доброго, не оставившего прямых наследников, но Манфред, его отец и дед были слишком сильны, чтобы дом Виченца мог лишиться их прав владения княжеством. Фредерик, доблестный и куртуазный рыцарь, женился по любви на юном прекрасном создании, но жена его, произведя на свет Изабеллу, умерла. Ее смерть так подействовала на Фредерика, что он, взяв крест, отправился в Святую землю; там он был ранен в схватке с неверными, взят в плен и считался погибшим. Когда это известие дошло до Манфреда, он подкупил опекунов Изабеллы, и те доставили ее к нему для заключения брака между нею и его сыном Конрадом, что должно было, по мысли Манфреда, удовлетворить притязания обоих домов. Эта же цель толкнула его после смерти Конрада на внезапное решение самому жениться на Изабелле, и по тем же соображениям он счел нужным теперь постараться получить согласие Фредерика на этот брак. Избранная Манфредом тактика навела его на мысль пригласить воителя, явившегося защищать дело Фредерика, в замок, где он не мог бы узнать о бегстве Изабеллы, ибо князь собирался строго-настрого запретить своим слугам рассказывать об этом кому-либо из свиты рыцаря.

— Герольд, — сказал Манфред, когда эти мысли окончательно созрели в его голове, — возвращаясь к своему господину и скажи ему, что, прежде чем наш спор будет разрешен мечами, Манфред хотел бы поговорить с ним. Передай, что его просят пожаловать в замок и что здесь ему и сопровождающим его людям будет оказан любезный прием и обеспечена полная безопасность — порукой

этому мое слово, ибо я истинный рыцарь. Если мы не сможем уладить нашу ссору полюбовно, он — клянусь в этом — покинет замок без всяких помех и получит полное удовлетворение в честном бою, и да помогут мне господь бог и святая троица!

Герольд трижды поклонился и вышел.

Пока проходила эта беседа, множество противоречивых чувств теснилось в душе Джерома. Страшась за жизнь сына, он прежде всего подумал, что следует убедить Изабеллу вернуться в замок.

Но почти в такой же степени ужасала его мысль о возможном браке Изабеллы с Манфредом. Он боялся безграничной покорности Ипполиты воле ее господина, и хотя он не сомневался, что сможет, воззвав к ее благочестию, внушить ей отказ от развода (если получит доступ к ней), все же и в этом случае, узнай Манфред, что помеха исходит от него, судьба Теодора была бы такой же плачевной. Джерому не терпелось поскорее узнать, откуда явился герольд, без обвиняков оспоривший титул Манфреда, и вместе с тем он сознавал, что ему необходимо быть сейчас в монастыре, чтобы Изабелла не могла отправиться куда-нибудь дальше и ему не был вменен в вину ее побег. Со смятенной душой вернулся он в свою обитель, не ведая, как ему следует поступать. Монах, встретивший Джерома у входа и обративший внимание на его печальный вид, сказал ему:

— Увы, брат мой, значит, это правда, что мы утратили нашу добрую княгиню Ипполиту?

Содрогнувшись, святой муж вскричал:

— Что ты имеешь в виду, брат мой? Я иду сейчас прямо из замка и оставил там княгиню в добром здравии.

— Четверть часа тому назад, — ответил его собеседник, — Мартелли проходил мимо монастыря по дороге в замок и сообщил нам, что ее светлость скончалась. Все братья отправились в часовню молиться за то, чтобы душа ее без мук перешла в лучший мир, а мне поручили дожидаться твоего возвращения. Они знают, как сильна твоя преданность этой благочестивой женщине, и их тревожит, что ты примешь печальное известие очень близко к сердцу, — ведь и у всех нас есть основания оплакивать ее: она была матерью для нашей обители. Но все мы в этой жизни — только паломники; не должно нам роптать —

все мы последуем за нею! И да будет наша кончина подобна кончине этой женщины!

— Добрый брат мой, ты в странном заблуждении, — сказал Джером. — Говорю тебе: я иду из замка и оставил там княгиню в добром здравии. Где госпожа Изабелла?

— Бедная девушка! — воскликнул монах. — Я сообщил ей печальное известие и порадел о ее духовном утешении: напомнил ей о бренности нашего смертного существования и посоветовал принять монашество, приведя в пример благочестивую государыню Санчу Арагонскую.

— Твое рвение похвально, — нетерпеливо прервал его Джером, — но в настоящее время в нем нет надобности. С Ипполитой не стряслось ничего дурного — во всяком случае я молю об этом господа и верю, что так оно и есть. Я не слышал ни о чем таком, что могло бы вызвать какие-либо опасения. Однако боюсь, что решимость князя... Так где же, брат мой, госпожа Изабелла?

— Не знаю, — отвечал монах. — Она долго плакала, затем сказала, что пойдет в свою горницу.

Джером тотчас же оставил своего собрата и поспешил к Изабелле, но горница ее была пуста. Он спросил монастырских слуг, но не смог узнать о ней ничего. Напрасно искал он ее по всему монастырю и в церкви и расспрашивал людей по окрестностям везде и повсюду, не видел ли ее кто-нибудь. Все было бесполезно. Нельзя описать словами смущение и растерянность этого доброго человека. Он предположил, что Изабелла, подозревая Манфреда в умерщвлении жены, всполошилась и сразу же покинула монастырь, чтобы надежнее укрыться в каком-нибудь более потаенном месте. Этот новый побег, думал он, наверно, разъярит Манфреда до крайности. Известие о смерти Ипполиты, хотя оно и представлялось совершенно неправдоподобным, еще больше усиливало смятение Джерома; и хотя исчезновение Изабеллы ясно говорило об ее отвращении к браку с Манфредом, Джером не мог почерпнуть для себя в этом утешения, ибо это угрожало жизни его сына. Он решил вернуться в замок вместе с несколькими братьями, которые могли бы удостоверить его невиновность перед Манфредом и, в случае необходимости, также ходатайствовать за Теодора.

Тем временем князь, выйдя во двор, приказал настуже распахнуть ворота замка и впустить неизвестного рыцаря с его свитой. Через несколько минут кортеж вступил в замок. Впереди ехали два вестника с жезлами. Затем следовал герольд, сопровождаемый двумя пажами и двумя трубачами. За ними — сотня пеших ратников, сопровождаемых таким же числом конных. Потом — пятьдесят слуг, одетых в алое и черное — цвета рыцаря. Затем верхом на коне, ведомом под уздцы двумя герольдами, — знаменосец с разделенным на четыре поля стягом, на котором были изображены гербы домов Виченца и Отранто — каковое обстоятельство весьма уязвило Манфреда, решившего, однако, не давать воли своему негодованию. Потом еще два пажа. Исповедник рыцаря, перебирающий четки. Снова пятьдесят слуг, одетых так же, как и предыдущие. Два рыцаря, закованные в доспехи, с опущенными забралами, — спутники главного рыцаря. Оруженосцы этих рыцарей со щитами и эмблемами. Оруженосец главного рыцаря. Сотня дворян, несущих огромный меч и, казалось, изнемогающих под его тяжестью. Сам рыцарь на гнедом скакуне, в доспехах с головы до ног, с копьем на плече и опущенным забралом на шлеме, над которым поднимался высокий султан из алых и черных перьев. Пятьдесят пеших ратников с трубами и барабанами завершали процессию, которая наступилась, освобождая место для главного рыцаря.

Подъехав к воротам, рыцарь остановился, а герольд, продвинувшись еще немного вперед, повторил слова вызова. Взор Манфреда был прикован к гигантскому мечу, и казалось, будто он и не услышал картеля; но вскоре внимание его было отвлечено резкими порывами ветра, поднявшегося у него за спиной. Он обернулся и увидел, что перья на заколдованном шлеме находятся в том же странном волнении, что и прежде. Нужна была неустрашимость Манфреда, чтобы не пасть окончательно духом от совокупности этих обстоятельств, которые, казалось, все вместе возвещали его гибель. Но, считая недопустимым выказывать малодушие перед пришельцами и сразу утратить славу человека мужественного, он твердо сказал:

— Почтенный рыцарь, кто бы ты ни был, я приветствую тебя в моем замке. Если ты из числа смертных, мы

померяемся с тобой доблестью, а если ты истинный рыцарь, то с презрением отвергнешь колдовство как средство добиться своих целей. Небо ли, ад ли посылает эти знамения.— Манфред верит в правоту своего дела и в помощь святого Николая, который всегда покровительствовал его дому. Спешись, почтенный рыцарь, и отдохни. Завтра мы встретимся в честном поединке, и да поддержит господь того из нас, кто более прав.

Рыцарь ничего не ответил, но, спешившись, последовал за Манфредом в большую залу замка. Когда они пересекали двор, рыцарь, вдруг остановясь, устремил взор на чудесную каску, затем преклонил колени и несколько минут, видимо, молился про себя. Поднявшись, он подал знак князю, что готов следовать за ним дальше. Как только они вступили в залу, Манфред предложил незнакомцу снять доспехи, но тот отказался, покачав головой.

— Почтенный рыцарь,— сказал Манфред,— это неучтиво с твоей стороны, но, клянусь богом, я не хочу и не стану перечить тебе, и у тебя не будет повода для недовольства князем Отранто. Я не замышляю предательства; надеюсь, что и у тебя ничего подобного нет на уме; вот, возьми этот залог (Манфред снял с руки и отдал рыцарю кольцо): твои друзья и ты сам будете под охраной законов гостеприимства. Отдыхай здесь, пока не принесут пищи и питья для утоления голода и жажды; а я пойду распорядиться, чтобы с удобством разместили твою свиту, и вернусь к тебе.

Рыцарь и двое его товарищей поклонились, показывая этим, что принимают учтливое предложение Манфреда. Князь приказал препроводить свиту рыцаря в близлежащий странноприимный дом, который учредила Ипполита для паломников. Когда свита рыцаря обходила двор, направляясь к воротам, гигантский меч вдруг вырвался из рук тех, кто его нес, и, упав наземь напротив шлема, остался неподвижно лежать на этом месте. Манфред, уже почти нечувствительный к сверхъестественному, устоял и при виде этого нового чуда и, вернувшись в залу, где к тому времени было все готово для пира, пригласил своих безмолвных гостей к столу. Как ни скверно было у него на душе, он старался развеселить общество. Он задал гостям несколько вопросов, но те ответили на

них не речью, а знаками. Они приподняли свои забрала лишь настолько, чтобы можно было есть, но и ели весьма умеренно.

— Господа,— сказал князь,— вы первые из всех моих гостей, которых я когда-либо потчевал в этих стенах, не пожелавшие снизойти до общения со мной; я думаю также, что не часто бывало, чтобы государи соглашались ставить на кон свои владения и свое достоинство, вступая в единоборство с безмолвными незнакомцами. Вы говорите, что явились сюда от имени Фредерика да Виченца; я всегда слышал, что он доблестный и учтивый рыцарь; и осмелюсь сказать, он никогда бы не стал почитать чем-то недостойным себя застольную беседу с человеком, равным ему по положению и достаточно известным своей боевой отвагой. И все-таки вы молчите — ну что ж! Пусть будет так: по закону гостеприимства и рыцарства вы под этой крышей хозяева и вольны поступать, как вам будет угодно,— но все же, налейте мне вина; вы не откажетесь осушить со мною заздравный кубок за ваших прекрасных дам?

Главный из трех рыцарей вздохнул, перекрестился и встал, намереваясь выйти из-за стола.

— Почтенный рыцарь,— обратился к нему Манфред,— то, что я сказал, было лишь шуткой; я не собираюсь никак стеснять вас: пусть все будет так, как вам того хочется. Если вы не расположены к веселью, давайте будем вместе грустить. Может быть, по вашему умунастроению как раз сейчас уместно поговорить о деле; тогда уйдем отсюда, и послушайте, что я хочу вам открыть: возможно, это придется вам больше по душе, нежели мои тщетные попытки развлечь вас.

Проведя затем троих рыцарей в один из внутренних покоев замка и затворив дверь, Манфред предложил гостям сесть и, обращаясь к главному из них, начал следующим образом:

— Вы явились ко мне, почтенный рыцарь, от имени маркиза да Виченца, насколько я понимаю, для того, чтобы потребовать возвращения его дочери Изабеллы, которая была перед лицом святой церкви помолвлена с моим сыном, с согласия ее законных опекунов; а также для того, чтобы принудить меня отказаться от моих владений в пользу вашего господина, заявляющего себя ближайшим

по крови родственником князя Альфонсо — да упокоит господь его душу! Я буду сперва говорить об этом втором вашем требовании. Вам, так же как и вашему господину, должно быть известно, что я унаследовал княжество Отранто от моего отца, дона Мануэля, а он от своего — дона Рикардо. Их предшественник Альфонсо умер бездетным в Святой земле и завещал свои владения моему деду, дону Рикардо, в награду за его верную службу.

При этих словах незнакомец отрицательно покачал головой.

— Почтенный рыцарь, — с сердцем сказал Манфред, — Рикардо был человеком отважным и прямодушным; и еще он был благочестивым человеком, тому свидетельство — соседняя церковь и два монастыря, основанные на его щедрые пожертвования. Ему особенно покровительствовал святой Николай... Мой дед был неспособен... Вы слышите, ваша милость, дон Рикардо был неспособен... Прошу прощения, вы покачали головой, и я немного сбился... Я чту память моего деда... Так вот, господа, мой дед удержал за собой это княжество, удержал благодаря своему мечу и покровительству святого Николая... Не отдал его никому и мой отец... Не отдам и я — а там будь что будет! Но Фредерик, ваш господин, — ближайший по крови наследник... Я согласился вверить мечам судьбу своего титула — разве пошел бы я на это, будь мой титул незаконным? Я мог бы спросить: где Фредерик, ваш господин? До нас дошла весть, что он умер в плену. А вы говорите, — вернее, ваши действия говорят об этом, — что он жив... Я не ставлю этого под сомнение — мог бы господа, мог бы! — но не хочу. Другие на моем месте предложили бы Фредерику отвоевать свое наследство силой, если он сможет, они бы не согласились, чтобы их достоинство зависело от исхода одного поединка; они не покорились бы решению безмолвных незнакомцев. Простите меня, благородные господа, я слишком горяч, но вообразите себя в моем положении: разве вы сами, будучи отважными рыцарями, не вознегодовали бы, если бы ваша честь и честь ваших предков подвергались сомнению? Однако вернемся к делу: вы требуете, чтобы я передал вам молодую госпожу Изабеллу... Но я должен спросить вас, господа, имеете ли вы право забрать ее от меня?

Рыцарь кивнул головой.

— Что ж, берите ее! — продолжал Манфред. — Берите, раз вы имеете на это право; но могу ли я спросить вас, благородный рыцарь, даны ли вам по всей форме полномочия?

Рыцарь кивнул снова.

— Хорошо! — сказал Манфред. — Тогда послушайте, что я могу вам предложить; вы видите перед собой, благородные господа, несчастнейшего из людей! (Тут он заплакал). — Не откажите же мне в вашем сочувствии: я заслужил его, право, заслужил. Знайте, я утратил мою единственную надежду, мою радость, опору моего дома, — Конрад умер вчера утром.

Рыцари знаками выказали свое удивление.

— Да, господа, роковой жребий выпал моему сыну. Изабелла свободна.

— Значит, вы отдаете ее обратно? — вскричал, нарушив свое молчание, главный рыцарь.

— Еще немного терпения, прошу вас, — сказал Манфред. — Я с удовлетворением заключаю из этого свидетельства вашей доброй воли, что ваш спор может быть улажен без кровопролития. Но мне необходимо сказать вам еще нечто, и толкает меня на это отнюдь не моя личная выгода. Вы видите перед собой человека, испытывающего отвращение от мира сего; с потерей сына я отрешился от земных забот. Власть и могущество больше не имеют цены в моих глазах. Я хотел бы с честью передать сыну скипетр, унаследованный мною от предков, — но, увы, теперь это невозможно! Сама жизнь настолько безразлична мне, что я с радостью принял ваш вызов; истинный рыцарь не может сойти в могилу более достойно, нежели погибнув при совершении одного из тех подвигов, которые ему назначены его призванием; какова бы ни была божья воля — я покоряюсь ей; ибо, увы, господа, я человек, отягченный многими горестями. Манфреду не в чем завидовать, — но вам, господа, без сомнения, известна моя история.

Рыцарь сделал отрицательный жест и, казалось, был заинтересован тем, что скажет Манфред дальше.

— Возможно ли, — продолжал князь, — чтобы моя история была неведома вам? Разве вы не слышали ничего, относящегося ко мне и княгине Ипполите?

Рыцари покачали головой.

— Нет? Так послушайте же, господа. Вы считаете меня честолубцем, но честолубие, увы, складывается из более грубой материи. Будь я честолубцем, я не испытывал бы столько лет мук совести, но я злоупотребляю вашим терпением; буду краток. Знайте же, что душа моя давно неспокойна из-за моего союза с княгиней Ипполитой. О, господа, если бы вы только были знакомы с этой превосходной женщиной! Если бы вы знали мои чувства к ней! Ведь я обожаю ее как возлюбленную и высоко ценю как лучшего своего друга,— но, увы, человек не рождается на свет для полного счастья! Княгиня разделяет мое беспокойство, и с ее согласия я представил это дело на рассмотрение церкви, поскольку мы с ней состоим в таком родстве, при котором брак недопустим. Каждую минуту я жду окончательного решения, которое должно разъединить нас навсегда... Я уверен, вы сочувствуете мне... Я вижу, что это так... простите мне мои слезы!

Рыцари с удивлением поглядывали друг на друга, не понимая, куда клонит Манфред.

Манфред продолжал:

— После внезапной смерти моего сына, происшедшей как раз в то время, когда душа моя была объята этой тревогой, я не думал уже ни о чем, кроме как об отказе от своих владений и уходе в монастырь. Мне оставалось только решить — а это было нелегко, — кого назначить своим наследником, имея в виду, что он должен проявлять попечение о моем народе, и как поступить с молодой госпожой Изабеллой, которая дорога мне, как родное дитя. Я хотел восстановить династию Альфонсо, даже в лице представителя одной из самых боковых ее ветвей, хотя, прошу меня извинить, мог бы этого не делать, ибо такова была воля самого Альфонсо, чтобы потомство Рикардо заступило место его собственной родни. Но где было искать мне эту родню? Я не знал никого, кроме Фредерика, вашего господина, а он не то был в плену у неверных, не то умер; и будь он даже в живых, захотел ли бы он покинуть процветающее государство Виченцу ради незначительного княжества Отранто? А если бы он не захотел, то терпима ли была бы для меня мысль, что я собственными глазами увижу, как над моим несчастным верноподданным народом главенствует жестокий, бес-

сердечный наместник? Ведь я, господа, люблю свой народ и, благодарение господу, сам пользуюсь его любовью... Но вы спросите, какова цель этого пространного рассуждения? Говоря кратко, господа, речь идет вот о чем: приведя вас ко мне, господь бог, кажется, указывает тем самым средство преодолеть трудности и помочь мне в моих несчастиях. Госпожа Изабелла свободна; я тоже скоро буду свободен... Я готов покориться чему угодно ради блага моего народа; и единственный, если и не наилучший, путь для прекращения распри между нашими семействами я вижу в том, чтобы госпожа Изабелла стала моей женой. Вы изумлены? Но ведь — хотя добродетели Ипполиты всегда будут дороги мне — князь не вправе считаться только с самим собой: он рожден для того, чтобы служить своему народу.

Вошедший в этот момент слуга уведомил Манфреда, что прибывший с несколькими своими собратьями Джером требует немедленного допуска к нему. Раздосадованный этой помехой и опасаясь, как бы монах не раскрыл незнакомцам, что Изабелла укрылась в святилище, князь хотел уже отказать ему в приеме. Но тут же подумав, что Джером, очевидно, пришел сообщить о возвращении Изабеллы, Манфред стал извиняться перед рыцарями за то, что покинет их на несколько минут, однако прежде чем он успел выйти, монахи уже вошли в залу. Манфред сердито выбранил их за вторжение и хотел вытолкать за дверь, но Джером был слишком взволнован, чтобы его можно было так просто выставить вон. Он громко объявил, что Изабелла бежала, и стал горячо доказывать свою невиновность. Манфред, совершенно потерявшись как от самого этого известия, так и от того, что оно дошло до сведения незнакомцев, произносил лишь какие-то несвязные фразы, то браня Джерома, то принося извинения рыцарям, желая узнать, что же случилось с Изабеллой, и столь же сильно боясь, как бы об этом не узнали и рыцари, испытывая нетерпеливое желание броситься за ней в погоню и страх, что они захотят отправиться вместе с ним. Он предложил отрядить на поиски доверенных людей, но главный рыцарь, наконец заговорив, в резких выражениях обвинил Манфреда в темной и лукавой игре и потребовал прежде всего объяснить, почему

Изабелла исчезла из замка. Бросив на Джерома суровый взгляд, означавший приказание молчать, Манфред в ответ сочинил историю, будто после смерти Конрада он сам поместил Изабеллу в святилище впредь до того времени, когда он примет решение, как поступать с ней дальше. Джером, дрожа за жизнь своего сына, не осмелился опровергнуть эту ложь, но один из монахов, не испытывая боязни, которая мучила Джерома, откровенно рассказал, что Изабелла бежала в их церковь предыдущей ночью. Напрасно старался князь прекратить эти разоблачения, обрушивавшие на его голову позор и приводившие в смятение его самого. Главный рыцарь, изумленный услышанными им противоречивыми сообщениями и почти твердо убежденный, что Манфред, сам куда-то упрятал Изабеллу, хотя и выказывает беспокойство из-за ее побега, ринулся к двери с возгласом:

— Предатель! Знай — Изабелла будет найдена!

Манфред попытался удержать его, но другие рыцари помогли сотоварищу, и он, вырвавшись от князя, поспешил во двор и стал требовать своих людей. Видя, что его никак не отвратить от поисков Изабеллы, Манфред заявил, что готов отправиться вместе с ним, и призвал своих людей, а Джерому и нескольким монахам велел указывать путь, после чего весь отряд покинул замок. При этом Манфред отдал секретный приказ держать свиту рыцаря под строгой охраной, а рыцарю притворно изъяснил, что послал гонца передать его людям распоряжение помочь в поисках.

Между тем Матильда, у которой не выходил из головы молодой крестьянин, с тех пор как она увидела его в зале приговоренным к смерти, и чьи мысли были сосредоточены на изыскании средства спасти его, узнала от своих служанок сразу же, едва только отряд покинул замок, что Манфред разослал всех своих людей в разные стороны на поиски Изабеллы. В спешке он отдал приказ в общих выражениях, не имея в виду распространить его на стражу, поставленную стеречь Теодора, но, так как он забыл оговорить это, слуги, побуждаемые к участию в такой захватывающей дух погоне собственным любопытством, и охочие до всяких необычайностей, все до единого оставили замок. Матильда, освободившись от служащих ей женщин, прокралась в глухую башню, где

был заперт Теодор, и, сняв с двери запор, явилась перед изумленным юношей.

— Молодой человек,— сказала она,— хотя дочерний долг и женская скромность осуждают предпринимаемое мною, но святое милосердие, оправдывающее этот поступок, оказывается сильнее всех других внушений. Беги! Дверь твоей темницы открыта! Моего отца и его слуг нет в замке, но вскоре они могут вернуться. Уходи с миром, и да направят ангелы твой путь.

— Ты, наверное, один из этих ангелов! — произнес восхищенный Теодор. — Только благословенная господом святая может так говорить, так поступать, так выглядеть, как ты. Но можно ли мне узнать имя моей божественной покровительницы? Ты, кажется, упомянула о своем отце. Мыслимо ли? Ужели Манфред мог дать жизнь существу, способному к святому милосердию? Прекрасная дева, ты не отвечаешь,— но как сама ты можешь находиться здесь? Зачем пренебрегаешь ты собственной безопасностью, зачем уделяешь внимание такому несчастному, как Теодор? Бежим вместе! Жизнь, которую ты даруешь мне, будет посвящена твоей защите.

— Увы, ты ошибаешься,— сказала Матильда со вздохом. — Я действительно дочь Манфреда, но мне не угрожают никакие опасности.

— Как удивительно! — воскликнул Теодор. — Но ведь не далее как вчера вечером мне посчастливилось оказать тебе ту услугу, которую ты, движимая своим великим состраданием, возвращаешь мне сейчас.

— И тут ты в заблуждении,— отвечала дочь князя,— но сейчас не время для объяснений. Беги, добродетельный юноша, пока еще я в состоянии спасти тебя: если бы мой отец вернулся сейчас, и тебе и мне было бы чего страшиться.

— Как! — воскликнул Теодор. — Ты думаешь, прелестная дева, что я соглашусь спасти свою жизнь, хоть в малой степени рискуя этим навлечь беду на тебя?

— Мне ничто не угрожает,— ответила Матильда,— если только ты не будешь мешкать. Скорей уходи! Никто не узнает, что я помогла тебе бежать.

— Поклянись святыми на небесах,— сказал Теодор,— что тебя не могут заподозрить,— иначе, заявляю это перед

богом, я не тронусь с места и буду ждать того, что выпадет мне на долю.

— О, ты слишком благороден,— сказала Матильда,— но будь спокоен: никакое подозрение не может пасть на меня.

— Дай же мне свою нежную руку в знак того, что ты не обманываешь меня,— вскричал Теодор,— и позволь мне омыть ее горячими слезами благодарности.

— Сохрани бог! — остерегла его Матильда.— Этому быть не должно.

— Увы! — воскликнул Теодор.— До этого часа я знал в жизни одни лишь беды и, быть может, никогда не узнаю снова счастья: так не отвергай же чистого порыва, вызванного беспредельной благодарностью: это душа моя хочет запечатлеть на твоей руке выражение переполняющих ее чувств.

— Сдержи себя и уходи,— приказала Матильда.— Была ли бы довольна Изабелла, увидев тебя у моих ног?

— Какая Изабелла? — с удивлением спросил молодой человек.

— О боже! — воскликнула Матильда.— Я боюсь, что помогаю обманщику. Ты что ж — забыл уже, о чем с таким любопытством спрашивал сегодня утром?

— Твой облик, твои поступки, вообще все в тебе божественно прекрасно,— сказал Теодор,— но речь твоя темна и таинственна. Говори, благородная дева, но говори так, чтобы это было доступно разумению твоего покорного слуги.

— Ты отлично все понимаешь! — возразила Матильда.— Но я еще раз приказываю тебе покинуть это место; если я буду тратить с тобой время на пустые разговоры, на мою голову падет твоя кровь, пролитие которой я пока еще могу предотвратить.

— Я ухожу, госпожа моя,— сказал Теодор,— потому что такова твоя воля и потому что я не хочу отягчить горем остаток жизни моего престарелого отца. Но скажи мне, восхитительная дева, что сострадание твоей нежной души со мною.

— Постой,— промолвила Матильда,— я провожу тебя к подземелью, через которое скрылась Изабелла: оно тебя приведет в церковь святого Николая, где ты окажешься в неприкосновенном убежище.

— Как? — воскликнул Теодор. — Значит, это была другая, а не ты сама, прекрасная дева, — та, кому я помог найти подземный ход?

— Да, другая, — ответила Матильда, — но не спрашивай больше ни о чем: я трепещу, видя, что ты все еще здесь, — беги же скорей, ищи убежище у алтаря!

— У алтаря... — повторил Теодор. — Нет, дорогая госпожа моя, такие убежища существуют для беспомощных дев или для преступников. Душа Теодора не отягощена никакой виной; не должно быть и видимости того, что это так. Дай мне меч, госпожа моя, и твой отец увидит, что Теодор презирает постыдное бегство.

— Безрассудный юнец! — вскричала Матильда. — Да неужели в своей заносчивости ты посмел бы поднять руку на князя Отрантского?

— На твоего отца? Нет, нет, конечно, не посмел бы, — сказал Теодор. — Прости меня, госпожа моя, я забыл... Но разве мог я, глядя на тебя, помнить, что ты рождена на свет тираном Манфредом? — Но он твой отец, и с этого мгновения все дурное, что я от него испытал, предается забвению.

Откуда-то сверху прозвучал глухой протяжный стон. Матильда и Теодор оба вздрогнули.

— Боже мой! Нас подслушивают... — прошептала Матильда.

Оба умолкли и насторожились, но так как тишина больше не нарушалась, они решили, что это был порыв ветра, и Матильда, двинувшись вперед неслышным шагом, провела Теодора в арсенальную залу, снабдила там юношу полным набором доспехов, после чего препроводила его к задним воротам.

— Избегай селения, — сказала она, — и всей местности, прилегающей к замку с запада: именно там, по-видимому, Манфред вместе с незнакомцами ведет розыски; держись другой стороны замка. За лесом, виднеющимся на востоке, тянется сплошная гряда скал, прорезанная лабиринтом пещер, доходящим до морского побережья. Там ты сможешь скрываться, пока не представится случай знаками подозвать какое-нибудь судно, которое подойдет к берегу и возьмет тебя на борт. Иди! Да будет господь бог твоим провожатым! И вспоминай иногда в своих молитвах... Матильду.

Теодор пал к ногам своей спасительницы и, завладев ее лилейной рукой, которую она после некоторого сопротивления позволила ему поцеловать, дал обет при первой же возможности добиться возведения в рыцарское звание и стал с жаром молить у нее разрешения посвятить себя навсегда служению ей, быть ее рыцарем.

Прежде чем Матильда успела ответить, раздался удар грома, потрясший стены замка. Теодор готов был продолжать свои мольбы, невзирая на бурю, но испуганная девушка поспешно вернулась в замок, с таким решительным видом приказав юноше уходить, что тот не посмел ослушаться. Он со вздохом удалился, но взгляд его был обращен к воротам до тех пор, пока Матильда не закрыла их, положив конец свиданию, воспламенившему их сердца такой страстью, какой дотоле они не испытывали никогда.

Погруженный в свои мысли, Теодор направил шаги к монастырю: он хотел увидеть отца и сообщить ему о своем освобождении. Здесь он узнал, что Джером отсутствует и что идут розыски госпожи Изабеллы; впервые он услышал и некоторые подробности ее истории.

Присущий юноше рыцарственный дух немедленно зажег в его благородном сердце желание помочь ей, но монахи не могли сообщить ему никаких сведений, по которым можно было бы догадаться, куда она направилась. А пускаться в дальнейшие странствия в поисках Изабеллы он не был расположен, ибо образ Матильды так глубоко запал ему в душу, что он не чувствовал себя в силах покинуть места, где она жила. Мысль о чувствах, проявленных к нему Джеромом, усиливала его неохоту пускаться на эти поиски, и он даже убедил себя, что его сыновняя преданность отцу и является главной причиной того, что он все еще мешкает между замком и монастырем. Наконец Теодор решил укрыться в лесу, который ему указала Матильда, и оставаться там до ночи, то есть до того времени, когда Джером уже наверное возвратится в монастырь. Придя туда, он стал искать места с самой густой тенью, наиболее соответствовавшие той сладостно-щемящей грусти, что царила сейчас в его душе.

В меланхолической задумчивости он незаметно для себя добрал до пещер, которые в прежние времена служили приютом для отшельников, а теперь, как погово-

ривали окрест, стали обиталищем злых духов. Вспомнив об этом поверье и будучи человеком храбрым и предприимчивым, он дал волю своему любопытству и углубился в потаенные закоулки лабиринта. Он не успел еще далеко проникнуть, как вдруг ему показалось, что он слышит чьи-то удаляющиеся шаги — словно кто-то отступал по мере его приближения. Хотя Теодор не сомневался ни в чем, во что предписывает верить наша святая религия, он не представлял себе, чтобы добрый человек мог быть беспричинно отдан во власть злобным силам тьмы. Он подумал, что скорее это место облюбовано разбойниками, нежели посланцами преисподней, которые, как сказывают, кружат и сбивают с толку путников. Ему давно уже не терпелось испытать свою доблесть, и, обнажив меч, он спокойно продолжал идти вперед, направляя свои шаги навстречу доносившимся до него чуть слышным шорохам. Лязг его доспехов, в свою очередь, служил указанием для отступления тому, кто избегал встречи с ним. Убежденный теперь, что он не ошибся, Теодор пошел вдвое быстрее прежнего и стал заметно нагонять неизвестного, хотя тот тоже ускорил шаг.

Нагнав беглеца, Теодор увидел перед собой женщину, которая в тот же миг упала, задыхаясь, наземь. Он поспешил поднять ее, но она была охвачена таким страхом, что он сам испугался, как бы она не лишилась чувств у него на руках. Самыми мягкими словами постарался он рассеять ее тревогу, заверяя, что не только не нанесет ей обиды, но, напротив, будет защищать ее даже с опасностью для собственной жизни. Дама, успокоенная обходительным поведением молодого человека, поглядела ему в лицо и произнесла:

— Право, я где-то раньше слышала этот голос.

— Не знаю, где это могло быть, если только не верна моя догадка, что я вижу перед собой госпожу Изабеллу.

— Боже милосердный! — вскричала она. — Но не посланы же вы разыскивать меня, — или я ошибаюсь?

И с этими словами, упав перед ним на колени, она взмолилась, чтобы он не предавал ее Манфреду.

— Манфреду?! — воскликнул Теодор. — Нет, благородная госпожа, я однажды уже избавил вас от его тирании — и теперь, чего бы мне это ни стоило, укрою от новых его покушений!

— Неужели,— сказала она,— вы тот благородный незнакомец, которого я встретила вчерашней ночью в подземелье замка? Наверное вы не смертный человек, а мой ангел-хранитель. Позвольте же мне на коленях поблагодарить вас...

— Не нужно, любезная госпожа,— вскричал поспешно Теодор,— не унижайтесь перед тем, кто сам беден и одинок. Если бог назначил мне быть вашим избавителем, он доведет предназначенное им до конца и укрепит мою руку ради вашего правого дела... Но послушайте, госпожа моя, мы находимся слишком близко от входа в пещеру; поищем более укромных мест: я не буду спокоен до тех пор, пока не устрою вас там, где вы будете вне опасности.

— Увы! Что вы имеете в виду, мой покровитель? — спросила она.— Хотя ваши поступки благородны, хотя выражаемые вами чувства свидетельствуют о чистоте вашей души, приличествует ли мне удаляться наедине с вами в эти запутанные закоулки? Если нас обнаружат вместе, что подумает поспешный на осуждение свет с моем поведении?

— Я уважаю вашу добродетельную щепетильность,— ответил Теодор,— и уверен, что вы не питаете подозрений, оскорбительных для моей чести. Я имел в виду проводить вас в самую потаенную пещеру в этих скалах, а затем преградить вход в лабиринт кому бы то ни было, пусть даже ценою собственной жизни. Кроме того, госпожа,— продолжал он, тяжело вздохнув,— хотя ваш облик и прекрасен и совершенен, а я не могу сказать, что не подвержен земным чувствам, знайте — сердце мое отдаю другой; и несмотря на то что...

Внезапный шум помешал Теодору закончить свою мысль. Вскоре они различили возгласы: «Изабелла! Э-ге-и Изабелла!» — и девушка вновь затрепетала от ужаса. Теодор пытался ободрить ее, но безуспешно. Он заверил Изабеллу, что скорее умрет, нежели потерпит, чтобы она вновь оказалась во власти Манфреда, и, предложив ей оставаться в укрытии, пошел навстречу человеку, который разыскивал ее, дабы воспрепятствовать его приближению.

У входа в пещеру он увидел рыцаря в полном вооружении, разговаривавшего с крестьянином, который уверял

его, что сам видел, как некая дама скрылась в расселине скалы. Рыцарь собирался уже устремиться туда за ней, но Теодор, преградив ему путь и угрожая обнаженным мечом, решительно потребовал, чтобы он удалился прочь.

— А кто ты такой, что дерзаешь становиться мне поперек дороги? — высокомерно спросил рыцарь.

— Я тот, у кого слово не расходится с делом: если я на что дерзаю, значит, берусь это исполнить, — ответил Теодор.

— Я ищу госпожу Изабеллу, — сказал рыцарь, — и мне известно, что она скрывается в этих скалах. Не препятствуй же мне, или тебе придется раскаяться в том, что ты вызвал мой гнев.

— Намерение твое столь же гнусно, сколько презретен твой гнев, — сказал Теодор. — Вернись туда, откуда явился, или вскоре ты узнаешь, чей гнев страшнее.

Незнакомец был не кто иной, как тот самый рыцарь, который прибыл к Манфреду от имени маркиза да Виченца. Пока Манфред был занят опросом всех и каждого об Изабелле и отдавал различные распоряжения с целью помешать трем рыцарям завладеть ею, главный рыцарь ускакал от него. Он и раньше подозревал, что Манфред причастен к исчезновению девушки, теперь же, когда оскорбление, нанесенное ему человеком, поставленным, как он решил, Манфредом для охраны ее тайного местопребывания, подтвердило эти подозрения, он не стал дальше объясняться, а бросился на Теодора с мечом и вскоре освободился бы от всяких препятствий, если бы Теодор, принявший его, в свою очередь, за одного из военачальников манфредова войска, не был наготове подкрепить делом брошенный им вызов и не отразил удара щитом. Столь долго сдерживаемая им отвага сразу же проявилась с полной силой: как вихрь налетел он на рыцаря, которого гнев и гордость также подстрекали к доблестному сопротивлению. Бой был ожесточенным, но не долгим: Теодор нанес рыцарю три раны и в конце концов обезоружил его, так как от потери крови рыцарь лишился чувств. Крестьянин, убежавший при первой же схватке, сообщил о происходящем нескольким слугам Манфреда, которые, следуя его приказу, рассеялись по лесу в поисках Изабеллы. Они подбежали к сраженному

рыцарю и вскоре узнали в нем прибывшего в замок знатного незнакомца. Теодор, несмотря на свою ненависть к Манфреду, не мог радоваться одержанной победе, не испытывая одновременно сострадания и участия к побежденному; но он ощутил еще большее волнение, когда узнал звание своего противника и ему было разъяснено, что это не наемник Манфреда, а его враг. Он помог слугам князя освободить рыцаря от доспехов и позаботился остановить кровь, струившуюся из его ран. К рыцарю постепенно вернулся дар речи, и слабым, прерывающимся голосом он сказал:

— Великодушный враг мой, мы оба впали в заблуждение: я принял тебя за орудие тирана, вижу, что и ты совершил ту же ошибку... Поздно теперь выражать сожаления... Я слабею... Если Изабелла поблизости... позови ее — я должен... важные тайны...

— Он умирает! — воскликнул один из челядинцев. — Нет ли у кого-нибудь при себе распятия? Андреа, помолись над ним...

— Принесите воды, — приказал Теодор, — и дайте ему глоток, а я поспешу к молодой госпоже...

С этими словами он бросился к Изабелле и в нескольких словах, умолчав о своей доблести, рассказал ей, что, к несчастью, по ошибке ранил придворного ее отца и что это человек хочет перед смертью сообщить ей нечто, для нее весьма важное. Изабелла, которая было обрадовалась, услышав голос зовущего ее Теодора, теперь находилась вся во власти изумления, внимая его словам. Ободренная новым доказательством доблести Теодора, она согласилась следовать за ним и подошла к тому месту, где был простерт на земле истекающий кровью, обессиленный рыцарь. Но все страхи ее ожили, как только она увидела слуг Манфреда. Она снова обратилась бы в бегство, если бы Теодор не показал ей, что они не вооружены, и не пригрозил им немедленной смертью при малейшей попытке схватить ее. Незнакомец, открыв глаза и увидев перед собой женщину, произнес:

— Ты... умоляю, скажи мне правду... ты действительно Изабелла да Виченца?

— Да, это я, — ответила Изабелла. — Да поможет добрый господь наш вашему излечению.

— Тогда ты... тогда ты,— с усилием произнося слова, продолжал рыцарь,— видишь перед собой... своего отца... Поцелуй же меня...

— О, чудо! О, ужас! Что слышу я! Что вижу! — вскричала Изабелла.— Мой отец! Вы — мой отец! Как оказались вы здесь? Ради бога, говорите! О боже! Люди, бегите за помощью, иначе он умрет.

— Это — истинная правда,— вымолвил раненый рыцарь, напрягая все свои силы.— Я Фредерик, твой отец. Да, я прибыл сюда, чтобы освободить тебя... Этому быть не суждено... Поцелуй меня на прощанье и возьми...

— Почтенный рыцарь,— сказал Теодор,— не изнуряйте себя; позвольте нам перенести вас в замок...

— В замок! — воскликнула Изабелла.— Разве нельзя получить помощь ближе, чем в замке? Вы хотите, чтобы мой отец был беззащитен перед тираном? Если его переправят туда, я не отважусь сопровождать его... а могу ли я его оставить?

— Дитя мое,— молвил Фредерик,— мне безразлично, куда меня отнесут: через несколько минут мне уже не будет страшно никакой опасности... Но пока глаза мои могут радоваться, глядя на тебя, не покидай меня, родная Изабелла! Это храбрый рыцарь — я не знаю, кто он,— защитит твою невинность. Вы не бросите мое дитя на произвол судьбы, юный воин, не правда ли?

Проливая слезы над своей жертвой, Теодор торжественно обещал не пожалеть жизни ради безопасности девушки и убедил Фредерика позволить людям препроводить его в замок. Его подняли на лошадь одного из слуг, предварительно постаравшись как можно лучше перевязать его раны. Теодор шел рядом с ним, а убитая горем Изабелла, которая не в силах была расстаться с отцом, с сокрушенным видом следовала позади.

Глава IV

У ворот замка печальную процессию встретили Ипполита и Матильда, оповещенные о ее прибытии слугой, которого выслала вперед Изабелла. Они велели людям внести Фредерика в один из ближайших покоев и уда-

лились, предоставив лекарям осмотреть его раны. Когда Матильда увидела Теодора и Изабеллу вместе, она вся залилась краской, но попыталась скрыть свое смущение, обнимая подругу и выражая ей сочувствие по поводу несчастья ее отца. Вскоре явились лекари и доложили Ипполите, что ни одна из ран маркиза не опасна и что он желает видеть дочь и двух других дам. Теодор не мог противостоять искушению последовать за Матильдой и отправился вместе с дамами, сославшись на то, что хочет высказать маркизу, какую радость он испытывает теперь, когда отпали опасения, что поединок мог оказаться роковым для его бывшего противника. Матильда так часто опускала глаза, встречая взгляд Теодора, что Изабелла, чей взор был устремлен на юношу с таким же вниманием, с каким он сам смотрел на Матильду, вскоре догадалась, кто та особа, которая по признанию, сделанному им в пещере, владеет его сердцем. Во время этой немой сцены Ипполита спрашивала у Фредерика, почему он счел нужным обставить такой таинственностью свой приезд за Изабеллой, и приводила различные доводы в оправдание тому, что ее супруг затеял сочетать браком их детей. Хотя Фредерик и негодовал против Манфреда, но учтивость и благожелательность Ипполиты расположили его в ее пользу; но еще большее впечатление произвела на него красота Матильды. Желая подольше удерживать обеих около своего ложа, он принялся рассказывать Ипполите свою историю.

Он поведал ей, что, находясь еще в руках у неверных, однажды увидал сон, будто Изабеллу, о которой он со времени своего пленения не имел никаких известий, насильно удерживают в каком-то замке, где ей грозят самые ужасные несчастья, и будто он узнаёт дальнейшее, если, вернув себе свободу, отправится в лес около Яффы. Встревоженный этим сном и не будучи в силах исполнить указание, он мучительней, чем прежде, страдал от тяжести своих цепей. Но пока он размышлял над тем, как добиться свободы, к нему пришла радостная весть, что союзные государи, совместно сражавшиеся в Палестине, уплатили за него выкуп. Он сразу же отправился в лес, который был указан ему во сне. Трое суток блуждал он там со своими слугами, не встречая ни живой души; но к исходу третьего дня они на-

брели на келью, в которой обнаружили седовласого отшельника, находившегося при смерти. С помощью живительных снадобий они вернули божьему человеку дар речи.

— Дети мои,— сказал он,— благодарю вас за ваше милосердие... Увы, оно напрасно... Я ухожу вкушать вечный покой... Но умираю я с чувством удовлетворения, ибо я исполнил господню волю. Когда я только удалился от мира, после того как моя страна стала добычей неверных,— тому уже пятьдесят лет, как я был свидетелем этого ужасного события! — мне явился святой Николай и поведал важную тайну, запретив посвящать в нее кого-либо из смертных до наступления моего последнего часа. И вот теперь этот страшный час наступил, а вы, без сомнения, те избранные воители, коим святой повелел открыть доверенное мне. Как только вы совершите все должные обряды над моим бранным телом, вскопайте землю под седьмым деревом слева от этого убогого жилища, и ваши страдания будут... О, господи, прими мою душу!

С этими словами набожный отшельник испустил дух.

— Поутру,— продолжал Фредерик,— предав земле останки святого старца, мы принялись копать в указанном месте — и каково же было наше удивление, когда на глубине шести футов мы обнаружили огромный меч — тот самый, что лежит сейчас во дворе вашего замка. На клинке, который несколько выдавался из ножен (теперь он полностью скрыт в них после наших усилий извлечь его совсем) были начертаны следующие строки... Нет! Вы извините меня, сударыня,— перебил себя маркиз, обернувшись к Ипполите,— если я воздержусь от их повторения: мое уважение к вам как к даме и знатной госпоже не позволяет мне ранить ваш слух словами, которые звучали бы оскорбительно по отношению к чему бы то ни было дорогому для вас.

Он умолк. Ипполита затрепетала. Она не сомневалась, что Фредерик уполномочен богом исполнить роковой приговор, который, по-видимому, был произнесен над ее семейством. С любовью и тревогой взглянула она на Матильду, и тихая слеза скатилась по ее щеке; но собравшись с духом, она сказала:

— Продолжайте, маркиз! Господь ничего не совершает напрасно: смертные должны принимать его повеления со смирением и покорностью. Мы можем только молиться о том, чтобы он отвратил от нас свой гнев, или склоняться пред изъявлениями его воли. Повторите же этот приговор, маркиз: мы внимаем вам, готовые ко всему.

Фредерик огорчился, что зашел так далеко. Достойное поведение и кроткая стойкость Ипполиты внушили ему глубокое уважение к ней, а та нежная взаимная любовь, что, не нуждаясь в словах, отчетливо проявлялась во взглядах, которые бросали друг на друга мать и дочь, растрогала его почти до слез. Однако опасаясь, что его отказ выполнить просьбу Ипполиты вызовет у них еще большую тревогу, он тихим, прерывающимся голосом повторил следующие строки:

Где шлем лежит, сему мечу под стать,
Там дочь твоя обречена страдать.
Альфонсо кровь одна ее спасет,
И князя тень покой тогда найдет.

— Но что же обидного для присутствующих здесь дам заключено в этих строках? — порывисто спросил Теодор. — Зачем было волновать их столь таинственной шепетильностью, для которой нет никаких оснований?

— Ваши слова звучат резко, молодой человек, — сказал маркиз, — и если судьба однажды была благосклонна к вам...

— Высокочитимый отец мой, — вмешалась Изабелла, недовольная горячностью Теодора, порожденной, как она догадывалась, его чувствами к Матильде, — не теряйте ясности духа из-за невоздержанности крестьянского сына: он забылся, не проявив к вам должной почтительности; но он еще не привык...

Ипполита, встревоженная внезапно возникшим препирательством, укорила Теодора за его дерзость, но с видом, выражавшим признательность за его пылкое заступничество; и меняя предмет разговора, спросила Фредерика, где он оставил ее супруга. Фредерик собирался ответить, но тут снаружи послышался шум; дамы и Теодор поднялись со своих мест, желая узнать, в чем дело, однако они не успели выйти, как в покой

вступили Манфред и Джером с сопровождающими их людьми, уже осведомленные по слухам о происшедшем. Манфред поспешно приблизился к ложу Фредерика, намереваясь выразить ему свое соболезнование и расспросить подробнее о поединке, но, внезапно охваченный беспредельным изумлением и ужасом, вскричал:

— О, кто ты такой? Кто ты, страшный призрак? Неужели настал мой роковой час?

— Мой дорогой супруг! — вскричала Ипполита, обвивая его руками. — Что вы увидели? Что приковало к себе ваш взор?

— Как! — задыхаясь воскликнул Манфред. — Ты ничего не видишь, Ипполита? Значит, это жуткое видение явлено мне одному, мне который не мог...

— Ради всего святого, супруг мой! — взмолилась Ипполита. — Соберитесь с духом, не теряйте рассудка... Здесь никого нет, кроме нас, ваших друзей.

— Как! Разве это не Альфонсо? — вскричал Манфред. — Разве ты не видишь его? Неужели это только бред, порожденный моим мозгом?

— Супруг мой! — воскликнула Ипполита. — Ведь это — Теодор, тот самый юноша, что имел несчастье...

— Теодор... — угрюмо повторил Манфред и, ударив себя по лбу, добавил: — Теодор он или призрак, но он нарушил покой моей души. Однако — почему он здесь? И почему на нем доспехи?

— Видимо, он отправлялся на поиски Изабеллы, — ответила Ипполита.

— Изабеллы! — воскликнул Манфред, снова впадая в ярость. — Да, да, в этом можно не сомневаться. Но кто помог ему освободиться из заточения, в котором я велел держать его? Изабелла или этот лицемерный старый монах?

— А разве можно считать преступником отца, — сказал Теодор, — если он стремится освободить свое дитя?

Джером очень удивился тому, что сын таким образом возлагает вину на него, и просто не знал, что и думать. Он не мог понять, как удалось Теодору бежать, как раздобыл он доспехи и оружие и встретился с Фредериком. Однако он не осмеливался задавать вопросы, которые

могли бы вновь воспламенить гнев Манфреда против Теодора. Молчание Джерома убедило Манфреда, что именно он устроил побег своего сына.

— Так-то ты, неблагодарный старик,— сказал князь,— оплачиваешь мне и Ипполите за нашу щедрость? Тебе мало, что ты идешь наперекор самым заветным желаниям моего сердца: ты вдобавок вооружаешь своего пащенка и приводишь его в мой замок, чтобы он здесь оскорблял меня!

— Господин,— сказал Теодор,— вы несправедливы к моему отцу: ни он, ни я не способны злоумышлять против вашего спокойствия. Будете ли вы считать меня дерзким оскорбителем, если я сам предамся в руки вашей светлости? — добавил он, почтительно кладя свой меч к ногам Манфреда.— Вот грудь моя: пронзите ее, господин, если вы подозреваете, что в ней могут гнездиться изменнические чувства. Душа моя не ведает побуждений, несовместимых с уважением к вам и вашим близким.

Достойная учтивость и пылкость, с которыми были произнесены эти слова, расположили всех присутствующих в пользу Теодора. Сам Манфред был тронут, но, все еще находясь под впечатлением сходства юноши с Альфонсо, он продолжал испытывать тайный ужас, подавлявший в нем восхищение.

— Встань! — сказал он.— Сейчас я не собираюсь казнить тебя. Расскажи-ка мне лучше свою историю и объясни, как оказался ты связан с этим старым предателем.

— Ваша светлость! — горячо начал Джером.— Он...

— Замолчи, обманщик! — оборвал его Манфред.— Я не желаю, чтобы он говорил с чужого голоса.

— Мне не нужна ничья помощь, ваша светлость,— сказал Теодор.— История моя очень коротка: пяти лет от роду я был отправлен в Алжир вместе с моей матерью, захваченной корсарами у побережья Сицилии. Она умерла от горя меньше чем год спустя...

Слезы хлынули из глаз Джерома; буря всколыхнувшихся в нем чувств отразилась на его лице.

— Перед смертью,— продолжал Теодор,— она привязала мне на руку под одеждой записку, из которой мне стало известно, что я сын графа Фальконары...

— Это чистая правда,— подтвердил Джером,— я — несчастный отец этого юноши...

— Еще раз приказываю тебе молчать,— сказал Манфред.— Продолжай, молодой человек.

— Я оставался в рабстве до прошлого года, когда, сопровождая своего хозяина в одном из его морских набегов, был освобожден христианским судном, одолевшим в бою пирата; я открылся капитану, и он великодушно доставил меня в Сицилию, но — увы! — вместо того, чтобы найти там отца, я узнал, что принадлежавшее ему имение, которое было расположено на побережье, во время его отсутствия было разорено морским разбойником, продавшим в рабство меня и мою мать, замок сожжен дотла, а сам отец по возвращении продал остатки имущества и постригся в монахи где-то в Неаполитанском королевстве, но где именно — никто не мог мне сказать. Одиноким, обездоленным, почти утративший надежду на то, что отец когда-нибудь сможет прижать меня к своему сердцу, я воспользовался первым представившимся случаем и отплыл в Неаполь, откуда всю последнюю неделю шел пёшком в эту землю, добывая себе в пути пропитание трудом своих рук; и до вчерашнего утра мне и в голову не приходило, что господь мог уготовать для меня какую-либо лучшую долю, кроме неприятельной бедности и душевного мира. Такова, государь, моя история. Я счастлив более, нежели мог бы надеяться, оттого что нашел отца; и я несчастлив более, нежели заслужил, оттого что навлек на себя немилость вашей светлости.

Теодор замолк. Одобрительный шепот поднялся среди присутствующих.

— Это еще не все,— произнес Фредерик.— Честь обязывает меня добавить то, о чем он умалчивает. Он скромн, но я должен по всей справедливости сказать, что он один из самых храбрых юношей во всех христианских землях. Он, конечно, горяч; но, хотя я еще мало знаю его, я поручусь за его правдивость: он не стал бы рассказывать о себе то, что мы от него слышали, не будь это истинной правдой — и что до меня, то я, юноша, уважаю твою прямоту: она подобает человеку твоего рождения. Вот сейчас ты оскорбил меня, но, на мой взгляд, не беда, если благородная кровь, текущая в твоих жилах, порой

и вскипит — особенно сейчас, когда источник ее установлен столь недавно. Ну что же,— обратился он к Манфреду,— если я могу простить его, то, конечно, можете и вы: молодой человек неповинен в том, что вы приняли его за привидение.

Эта злая насмешка уязвила Манфреда, и он надменно ответил:

— Если посланцы иного мира и способны внушать мне страх, то по крайней мере никто из смертных не может сделать этого, и тем более рука зеленого юнца не могла бы...

— Государь мой,— прервала Ипполита,— ваш гость нуждается в покое: не следует ли нам оставить его?

С этими словами она взяла Манфреда под руку и, распрощавшись с Фредериком, направилась к выходу, а все остальные последовали за нею. Князь, отнюдь не сожалея о прекращении разговора, который напомнил о том, что он выдал свои самые тайные опасения, позволил увести себя в свои покои, разрешив Теодору отправиться с отцом в монастырь, хотя и с условием возвратиться в замок на следующий же день (что Теодор охотно обязался исполнить).

Матильда и Изабелла были слишком поглощены собственными размышлениями и вместе с тем слишком мало довольны друг другом, чтобы продолжить беседу этим вечером. Они разошлись по своим горницам, и расставание это было куда более церемонным и менее сердечным, чем когда-либо прежде, начиная с их детских лет.

Но если при прощании обе они не проявили большой теплоты, зато поспешили встретиться, едва поднялось солнце. Их состояние духа было таково, что они за всю ночь не сомкнули глаз, и каждая перебирала в уме тысячу вопросов, которые хотела на утро задать другой. Матильда думала о том, что Теодор дважды освободил Изабеллу из весьма опасного положения, и не могла себе представить, чтобы оба раза это было случайностью. Правда, в комнате Фредерика взор юноши был все время прикован к ней самой, но ведь он мог и притворяться ради того, чтобы скрыть от обоих отцов свою страсть к Изабелле. Надо было это обязательно прояснить... Матильда желала знать правду, чтобы не повредить своей подруге.

питая нежные чувства к ее возлюбленному. Таким образом, ревность возбуждала в ней любопытство, в то же время находя ему оправдание в дружеской привязанности к сопернице.

Изабелла, не менее обеспокоенная, имела больше оснований для подозрений. Правда, Теодор сам сказал ей, — и то же сказали его глаза, — что сердце его занято, но, быть может, Матильда не отвечает на его страсть: ведь она всегда казалась совершенно неспособной чувствовать что-либо, похожее на любовь; все мысли ее были отданы богу... «Зачем я разубеждала ее? — говорила себе самой Изабелла. — Я наказана за свое великодушие... Но когда они встречались? И где? Нет, этого не может быть, я обманулась: видимо, вчера вечером они увиделись впервые, наверно, какая-то другая — предмет его воздыханий, и если это правда, я не так несчастна, как предполагала; если моя подруга Матильда тут ни при чем, то... Но как же так? Неужто я унижусь до того, что буду искать любви человека, который так грубо, без всякой к тому необходимости, известил меня о своем безразличии ко мне? И в какой момент к тому же?! Когда общепринятая учтивость требовала любезных слов! Я пойду к моей дорогой Матильде, и она поддержит меня в этой приличествующей моему полу гордости... Мужчины коварны... Я посоветуюсь с ней о постриге: она обрадуется, увидев меня в таком умонастроении, и я скажу ей, что больше не восстаю против ее желания уйти в монастырь».

С такими мыслями Изабелла направилась к Матильде, решив открыть подруге свое сердце. Матильду она застала уже одетой; девушка сидела в задумчивости, склонив голову на руку. Грустный вид Матильды, столь соответствующий тому состоянию, в котором находилась и сама Изабелла, вновь оживил ее подозрения, и у нее сразу пропало желание откровенно говорить с подругой. При встрече обе покраснели, будучи слишком неопытными, чтобы умело скрывать свои чувства. После обмена несколькими незначительными вопросами и ответами Матильда спросила Изабеллу о причине ее побега. Изабелла уже почти позабыла о страсти Манфреда к ней — настолько она была поглощена страстью, охватившей ее самое, — и решила, что Матильда имеет

в виду ее последний побег из монастыря, который привел к событиям минувшего вечера; поэтому в ответ она сказала:

— Мартелли пришел в монастырь с известием, что наша матушка умерла...

— О! — воскликнула, перебивая ее, Матильда. Бьянка объяснила мне эту ошибку. Увидев меня в обмороке, она закричала: «Госпожа скончалась!» — а Мартелли, пришедший в замок за обычной милостыней, не разобрав хорошенько...

— А отчего вы упали в обморок? — спросила Изабелла, пропустив мимо ушей все остальное.

Матильда покраснела и ответила заикаясь:

— Мой отец... Он осудил преступника...

— Какого преступника? — с живостью спросила Изабелла.

— Одного молодого человека... — ответила Матильда. — Я полагаю... мне кажется, это был тот самый молодой человек, который...

— Как? Теодор? — воскликнула Изабелла.

— Да, — подтвердила Матильда. — Я никогда не видала его до этого; не знаю, чем оскорбил он моего отца... Но коль скоро он оказал услугу вам, я рада, что князь простил его.

— Мне? — переспросила Изабелла. — По-вашему, это значило оказать мне услугу — ранить моего отца, да так, что он едва не расстался с жизнью? Хотя счастье узнать своего родителя было даровано мне только вчера, я надеюсь, вы не считаете меня настолько чуждой дочерним чувствам, чтобы допустить, что я могу не возмущаться дерзостью этого самонадеянного юноши и способна питать чувство, хоть отдаленно похожее на любовь, к человеку, осмелившемуся поднять руку на того, кто породил меня на свет. Нет, Матильда, сердце мое питает отвращение к нему, и если вы по-прежнему верны дружбе, связывающей нас сызмала, дружбе, коей вы клялись никогда не изменять, то и вы будете ненавидеть человека, едва не сделавшего меня несчастной навсегда.

Матильда, опустив голову, отвечала:

— Я надеюсь, что моя дорогая Изабелла не сомневается в дружбе своей Матильды: до вчерашнего дня я никогда не видала этого юноши; я его почти не знаю; но

раз лекари заключили, что жизнь вашего отца вне опасности, вам не следовало бы столь немилосердно преследовать своей злобой молодого человека, который — я убеждена, в этом — не знал, что маркиз находится с вами в родстве.

— Вы что-то уж слишком горячо вступаетесь за него, — сказала Изабелла, — особенно, если принять во внимание, что вы его так мало знаете! Если я не ошибаюсь, он относится к вам так же милостиво.

— Что вы имеете в виду? — спросила Матильда.

— Ничего, — ответила Изабелла, уже раскаиваясь, что позволила себе намекнуть Матильде на чувства Теодора к ней. — А теперь скажите мне, — продолжала она, меняя предмет разговора, — почему Манфред принял Теодора за привидение?

— О, боже, — сказала Матильда, — разве вы не заметили удивительного сходства между ним и портретом Альфонсо в галерее? Я указала на это Бьянке еще до того, как увидела его в доспехах, но когда на нем шлем, он похож на портрет как две капли воды.

— Я не очень-то рассматриваю портреты, — отозвалась Изабелла, — и уж тем более не изучала черт этого молодого человека так старательно, как это, по-видимому, делали вы... Ах, Матильда! Ваше сердце в опасности — разрешите же мне по-дружески предостеречь вас: он признался мне, что влюблен; не может быть, чтобы он был влюблен в вас, ибо только вчера он встретился с вами впервые в жизни — ведь это так, не правда ли?

— Конечно, так, — ответила Матильда, — но какие мои слова позволили моей дорогой Изабелле заключить, что... — тут она остановилась, но затем продолжала: — Ведь он сперва увидел вас, и я, зная, сколь мало я привлекательна, далека от тщеславной мысли, что могла пленить сердце, уже отданное вам, — будьте же счастливы, Изабелла, какова бы ни была судьба Матильды!

— Мой дорогой друг! — воскликнула Изабелла, честное сердце которой не могло противиться доброму порыву. — Вами, именно вами восхищается Теодор; я это видела, я убеждена в этом; и мысль о моем собственном счастье никогда не заставит меня помешать вашему.

Неподдельная искренность Изабеллы исторгла слезы из глаз Матильды; и ревность, вызвавшая на некоторое

время охлаждение между обеими прелестными девушками, уступила место естественным для них прямодушию и чистосердечности. Каждая призналась другой в том впечатлении, которое произвел на нее Теодор; и за этими признаниями последовала борьба великодуший, в которой каждая из подруг настойчиво уступала другой первенство в притязаниях на того, кто был дорог им обоим. Наконец, гордость и добродетель напомнили Изабелле, что Теодор едва ли не в прямых выражениях отдал предпочтение ее сопернице; это заставило ее подавить в себе нежные чувства и отказаться ради подруги от предмета своей мечты.

Во время этого состязания в дружеских чувствах в горницу Матильды вошла Ипполита.

— Дорогая,— обратилась она к Изабелле,— вы так любите Матильду и так близко принимаете к сердцу все, что касается нашего несчастного дома, что я не могу вести с моей дочерью секретные разговоры, которые вам не подобало бы слышать.

Изабелла и Матильда, обеспокоенные этим началом, насторожились.

— Знайте же, моя милая,— продолжала Ипполита,— и ты также знай, моя дорогая Матильда, что эти два зловещих дня убедили меня в том, что господь определил скипетру князей Отранто перейти от Манфреда к маркизу Фредерику, и меня, быть может, свыше осенила мысль предотвратить нашу окончательную гибель посредством союза обоих соперничающих домов. Имея в виду эту цель, я сочла уместным, чтобы мой супруг Манфред предложил маркизу Фредерику, вашему отцу, выдать за него мою дорогую, горячо любимую дочь.

— Меня выдать за маркиза Фредерика! — вскричала Матильда. — Боже милостивый! Высокочитимая моя матушка! — И вы уже оповестили о ваших мыслях отца?

— Да,— ответила Ипполита,— он благосклонно выслушал мой совет и отправился к Фредерику изложить ему это предложение.

— О, несчастная государыня! — вскричала Изабелла. — Что вы сделали! Какую непоправимую беду навлекает ваша неосторожная доброта на вас самое, на меня и на Матильду!

— Я навлекаю беду на вас и на мое дитя? — удивленно повторила Ипполита. — Что это значит?

— Увы! — воскликнула Изабелла. — Чистота вашего собственного сердца мешает вам видеть развращенность других людей. Манфред, ваш супруг, этот несчастивец...

— Остановитесь! — сказала Ипполита. — Вы не должны в моем присутствии говорить без уважения о Манфреде: он мой супруг и повелитель, и...

— Недолго он будет оставаться таковым, если сумеет осуществить свои порочные намерения, — вскричала Изабелла.

— Меня изумляют эти речи, — сказала Ипполита. — У вас горячий нрав, Изабелла, но до сих пор еще никогда вы не утрачивали должной сдержанности. Какой поступок Манфреда позволяет вам говорить о нем так, как если бы он был убийцей, преступником?

— Добродетельная и чересчур доверчивая государыня! — отвечала Изабелла. — Он не хочет лишать тебя жизни, но хочет освободиться от тебя! Развестись с тобой!

— Развестись со мной! — Развестись с моей матерью! — разом воскликнули Ипполита и Матильда.

— Да, — сказала Изабелла, — и в довершение своего преступления он замышляет... Я не могу выговорить это!

— Что может еще превзойти сказанное тобою? — молвила Матильда.

Ипполита молчала, онемев от горя. Вспоминая давние двусмысленные речи Манфреда, она убеждалась, что все, услышанное ею, — правда.

— Достойнейшая, дорогая госпожа моя! Государыня! Матушка! — восклицала Изабелла, бросившись в порыве внезапно нахлынувшего чувства к ногам Ипполиты. — Верьте мне, клянусь вам, я скорее приму тысячу смертей, нежели уступлю столь гнусному...

— О, это уже чересчур! — вскричала Ипполита. — Одно преступление влечет за собой другие! Встаньте, дорогая Изабелла, я не сомневаюсь в вашей добродетели. О, Матильда, этот удар слишком тяжел для тебя! Не плачь, дитя мое! И — прошу тебя — не ропщи. Помни, что он все же твой отец!

— Но вы моя мать,— с жаром сказала Матильда.— И вы добродетельны, вы безупречны! Как же, как же мне не сетовать?

— Ты не должна сетовать,— сказала Ипполита.— Полно же, все еще обернется к лучшему. Манфред, впад в отчаяние из-за гибели твоего брата, сам не знал, что говорит. Может быть, Изабелла неверно поняла его: у него ведь доброе сердце... И к тому же, дитя мое, ты знаешь еще не все! Нас подстерегает рок: десница провидения занесена над нами... О, если бы я могла спасти тебя от грозящего нашему дому крушения! — Да,— продолжала она несколько более спокойно,— быть может, пожертвовав собой, я смогу отвратить несчастье от всех вас... Я пойду и скажу, что согласна на развод — мне безразлично, что станется со мной. Я удалюсь в соседний монастырь и проведу остаток дней моих в слезах и молитвах за свое дитя и... за князя!

— Вы слишком хороши для этого мира,— сказала Изабелла,— а Манфред ужасен... Но не думайте, госпожа моя, что ваша слабость может поколебать мою решимость. Я даю клятву,— внимлите же ей, ангелы на небесах...

— Остановись, заклинаю тебя! — вскричала Ипполита.— Помни, что ты не можешь распоряжаться собою: у тебя есть отец...

— Мой отец настолько благочестив, настолько благороден,— перебила ее Изабелла,— что никогда не прикажет мне совершить нечестивое деяние. А если бы он даже и вознамерился приказать, может ли отец заставить дочь поступить низко и подло? Я была помолвлена с сыном князя: могу ли я выйти замуж за отца моего жениха? Нет, государыня моя, нет! Никакая сила не приневолит меня разделить ложе этого мерзкого человека. Он мне ненавистен и отвратителен! Божеские и человеческие законы запрещают... И неужели я могла бы забыть мою дорогую подругу, мою Матильду, и ранить ее нежную душу, причинив зло ее матери, которую она так обожает,— моей собственной матери,— ибо я никогда не знала другой?

— О, она мать нам обеим! — вскричала Матильда.— Как бы мы ни любили, ни обожали ее, этого всегда будет мало!

— Мои дорогие дети,— сказала растроганная Ипполита.— Ваша любовь покоряет меня, но я не могу отступить от того, что нахожу справедливым. Мы не вправе сами выбирать пути: господь бог, наши отцы, наши мужья — вот кто призван определять их за нас. Ждите же терпеливо, пока вам не сообщат решение Манфреда и Фредерика. Если маркиз согласится принять руку Матильды, я уверена, что она охотно подчинится родительскому усмотрению. Может быть, господь поможет нам и отвратит от нас остальное. Но что с тобой, дитя мое? — воскликнула она, ибо в этот момент Матильда без слов рухнула к ее ногам проливая горячие слезы.

— Нет, не отвечай, дочь моя! — сказала Ипполита.— Мне не должно слышать ни одного слова, перечашего воле твоего отца.

— О, не сомневайтесь в моем послушании, в горьком моем послушании ему и вам. Но могу ли я, когда на меня изливается такая любовь, такая безграничная доброта, скрывать от лучшей из матерей свои чувства?

— Подумайте, что вы хотите сказать, Матильда? — перебила ее Изабелла, задрожав.— Возьмите себя в руки!

— Нет, Изабелла,— отвечала та,— я была бы недостойной дочерью такой несравненной матери, если бы скрывала в тайниках своей души чувство, которого она не благословила. Увы, я уже оскорбила ее; я позволила страсти закрасться в мое сердце и не призналась ей в этом, но сейчас я отрекаюсь от этого недозволенного чувства и даю обет господу и матери моей...

— Дитя мое, дитя мое! — воскликнула Ипполита.— Что за слова ты говоришь? Какие новые беды уготовила нам судьба? Ты, ты... влюблена? В это грозное для всех нас время...

— О, я сознаю свою вину,— промолвила Матильда,— я отвратительна самой себе, ибо причиняю боль родной матери. Она для меня дороже всего на свете... О, я никогда не взгляну на него снова!

— Изабелла,— сказала Ипполита,— вы посвящены в эту тайну, и что бы ни пришлось мне узнать сейчас — говорите!

— Как! — воскликнула Матильда.— Неужели я так поправа любовь матери, что она не хочет даже позволить

мне самой рассказать, в чем я повинна. О, несчастная, несчастная Матильда!

— Вы слишком жестоки! — сказала Изабелла Ипполите. — Как можете вы видеть страдания этой добродетельной души и не сочувствовать им?

— Я ли не жалею свое дитя! — воскликнула Ипполита, заключая Матильду в объятия. — Я знаю, что она добра душой, исполнена благонравия, любви к ближним и чувства долга. Я охотно прощаю тебя, дорогая дочь, единственная моя надежда!

Тут девушки рассказали Ипполите об их обоюдной склонности к Теодору и о решении Изабеллы уступить его Матильде. Ипполита пожурела их за неблагоразумие и растолковала, насколько невероятно, чтобы отец любой из них согласился отдать свою наследницу за бедняка, хотя бы и благородного происхождения. Она несколько утешилась, узнав, что обе влюблены еще совсем недавно и что до сих пор у Теодора, скорей всего, не было оснований подозревать в этом ни ту, ни другую. Однако она строго наказала обеим избегать встреч и разговоров с ним. Матильда с жаром обещала неукоснительно выполнять распоряжение матери, но Изабелла, тешившая себя мыслью, что она хочет только одного — устроить брак своей подруги с Теодором, не могла твердо решиться избегать юношу и не сказала ничего.

— Я отправлюсь сейчас в монастырь, — сказала Ипполита, — и попрошу отслужить лишнюю обедню во избавление наше от всех этих бед.

— О, матушка, — воскликнула Матильда. — Вы хотите покинуть нас, хотите укрыться в святом убежище и позволить тем самым отцу осуществить свои пагубные намерения. Горе нам! На коленях умоляю вас не делать этого... Ужель вы оставите меня, чтобы я сфала добычей Фредерика? Лучше я последую за вами в монастырь...

— Успокойся, дитя мое, — ответила Ипполита. — Я сейчас же вернусь. Я никогда не покину тебя — разве что мне дано будет убедиться, что такова божья воля и что это послужит тебе же на пользу.

— Не обманывайте меня, — сказала Матильда. — Я не выйду за Фредерика, пока вы не прикажете мне. Увы! Что будет со мной?

— К чему эти возгласы? — удивилась Ипполита. — Я же обещала тебе вернуться...

— Ах, матушка! — воскликнула Матильда. — Останьтесь и спасите меня от меня самой. Тень неудовольствия на вашем лице больше значит для меня, нежели вся суровость отца. Я отдала свое сердце, и вы одна можете заставить меня взять его обратно.

— Не продолжай, — остановила ее Ипполита. — Ты не должна выказывать слабость, Матильда.

— Я могу отказаться от Теодора, — сказала та, — но неужели я должна выйти замуж за другого? Позвольте мне сопровождать вас к алтарю и навсегда затвориться от мира!

— Судьба твоя зависит от воли отца, — повторила Ипполита. — Моя мягкость в отношении тебя причинила лишь зло, если благодаря ей ты разучилась понимать, что обязана почитать отца превыше всего. Прощай, дочь моя, я ухожу молиться за тебя.

На самом деле главная цель Ипполиты состояла в том, чтобы посоветоваться с Джеромом, не может ли она с чистой совестью согласиться на развод. Она в прошлом нередко побуждала Манфреда отречься от княжества, владение которым всегда тяготило ее чувствительную душу. Вследствие этих тревог ее совести мысль о том, чтобы навеки разлучиться с Манфредом, страшила Ипполиту менее, чем могла бы страшить при других обстоятельствах.

Накануне вечером, перед тем как покинуть замок, Джером строго потребовал у Теодора ответа, почему тот объявил его перед Манфредом причастным к своему побегу. Теодор признался, что сделал это умышленно, дабы отвести подозрения Манфреда от Матильды, и добавил, что считал всеобщее уважение к Джерому как к человеку праведной и благочестивой жизни надежной его защитой от гнева тирана. Джером весьма огорчился, узнав, что его сын питает склонность к дочери князя: расставаясь с Теодором на ночь, он обещал утром изложить ему важные соображения, настоятельно требующие, чтобы он поборол свою страсть. Теодор, подобно Изабелле, слишком недавно узнал родительскую власть, чтобы покорно подчиняться решениям отца, подавляя порывы своего сердца. Его не очень занимала мысль о том, какие соображе-

ния имеет в виду Джером, а исходить из них в своем поведении он и вовсе не был расположен. Чары прелестной Матильды наложили на его душу более глубокую печать, нежели сыновние чувства. Всю ночь он предавался любовным грезам; и лишь после заутрени, да и то не сразу, вспомнил, что монах велел ему прийти к гробнице Альфонсо.

Когда он наконец предстал перед Джеромом, тот сказал ему:

— Молодой человек, мне не по душе такая медлительность. Ужели ты сразу же хочешь показать, сколь мало значат для тебя повеления отца?

Теодор стал неловко извиняться и объяснил свой несвоевременный приход тем, что проснулся позже, чем следовало.

— И чей же образ являлся тебе во сне? — суровым тоном спросил монах.

Лицо Теодора залилось краской.

— Слушай, безрассудный юноша, — продолжал монах, — этому быть не должно; вырви с корнем из своей груди эту преступную страсть.

— Преступную страсть? — вскричал Теодор. — Может ли приступление сопутствовать невинной красоте и добродетельной скромности?

— Грешно, — ответил монах, — любить тех, кого небо обрекло на гибель. Потомство тиранов должно быть стерто с лица земли до третьего и четвертого колена.

— Ужели господь карает невинных за деяния преступных? — воскликнул Теодор. — У прекрасной Матильды довольно добродетелей...

— Для того чтобы погубить тебя, — прервал его монах. — Ты уже успел забыть, что свирепый тиран Манфред дважды приговаривал тебя к смерти?

— Я помню это, отец, — ответил Теодор, — но я также не забыл, что милосердие его дочери вызволило меня из его рук. Я могу забывать обиды, но не благодеяния.

— Обиды, нанесенные тебе родом Манфреда, превосходят все, что ты можешь себе представить, — сказал монах. — Не отвечай, но взгляни благоговейно на это изображение. Под этим монументом покоится прах Альфонсо Доброго, государя, наделенного всеми доб-

родетелями, отца своего народа, гордости рода человеческого! Преклони колени, строптивый юноша, и внемли ужасному рассказу, который поведаст тебе отец. Рассказ этот погасит все чувства в душе твоей и оставит в ней одну лишь священную жажду мщения. Альфонсо! Понесший тяжкую обиду государь! Пусть твоя неотмщенная тень, витающая среди воздушных струй, остановится над нами и тоже горестно внемлет тому, что мои дрожащие уста... Но что там? Кто идет сюда?

— Несчастнейшая из женщин,— отозвалась Ипполита, подходя к алтарю.— Отец мой, располагаете ли вы сейчас временем для меня? Но почему здесь этот юноша и зачем он стоит на коленях? Отчего на ваших лицах написан такой ужас? Почему у этой почтенной гробницы... О, боже! Вам явилось нечто...?

— Мы возносили моления господу,— в некотором замешательстве ответил монах,— о прекращении бед этого несчастного княжества. Присоединитесь к нам, госпожа Ипполита! Ваша безупречно чистая душа может вымолить у бога разрешение от приговора, который, как о том ясно говорят знамения этих дней, произнесен над вашим домом.

— Я горячо молюсь о том, чтобы господь отвратил от нас свой гнев,— сказала благочестивая Ипполита.— Вы знаете, что главной заботой моей жизни было вымолить господне благословение для моего супруга и моих ни в чем не повинных детей. Одного из них, увы, я уже лишилась; захочет ли теперь господь внять моей мольбе о бедной моей Матильде? Заступитесь за нее перед богом, отец!

— Кто не захотел бы от всего сердца благословить ее? — с жаром воскликнул Теодор.

— Молчи, невоздержанный юноша,— сказал Джером.— А вы, добрая государыня, не спорьте с вышними силами! Господь дает, господь отнимает. Благословите его святое имя и смиритесь перед его решениями.

— Я смиряюсь безропотно,— ответила Ипполита.— Но неужели господь не пощадит ту, кто является моим единственным утешением? Ужели Матильда тоже должна погибнуть? Ах, отец мой, я пришла для того, чтобы... Но

отошлите вашего сына... Никто, кроме вас, не должен слышать то, что я хочу сказать...

— Да снизойдет господь ко всем вашим мольбам, достойнейшая государыня, — сказал Теодор уходя. Джером нахмурился, услышав эти слова.

Ипполита рассказала монаху о возникшем у нее и общенном ею Манфреду замысле, как и о том, что князь отправился к Фредерику предложить ему руку Матильды. Джером не мог скрыть досады, которую вызвал у него предпринятый Ипполитой шаг, но попытался объяснить ее малой вероятностью того, чтобы Фредерик, ближайший по крови родственник Альфонсо, явившийся потребовать свое наследство, пошел на союз с узурпатором принадлежащих ему прав. Но изумлению Джерома поистине не было предела, когда Ипполита поведала ему о своей готовности принять развод и спросила, будет ли ее согласие согласно с законами церкви. Просьба Ипполиты дать ей совет позволила монаху, умолчав о том, как мерзка ему мысль о предполагаемом браке Манфреда с Изабеллой, расписать княгине самыми мрачными красками всю греховность ее согласия на развод, предречь ей божью кару в том случае, если она уступит Манфреду, и строжайшим образом наказать ей, чтобы она с негодованием и возмущением отвергла подобное предложение, в каком бы виде оно ни было сделано.

Тем временем Манфред успел сообщить свой план Фредерику и сказал, что недурно бы сыграть сразу две свадьбы. Переменчивый маркиз, на которого произвела глубокое впечатление красота Матильды, выказал живой интерес к предложению Манфреда. Он забыл свою вражду с ним с тем большей легкостью, что едва ли мог рассчитывать силой низвергнуть его с княжеского престола; и, подумав, что от брака его дочери с тираном, может быть, еще и не будет потомства, решил, что женясь на Матильде, он надежнее обеспечит себе права наследования. Он почти не противился уговорам Манфреда и только ради соблюдения приличий поставил условием согласие Ипполиты на развод. Манфред взял это на себя. Окрыленный успехом и горя желанием приблизить брак, который сулил ему надежду на продолжение рода, он устремился в покои своей жены с твердым намерением

добиться ее покорности. Узнав, что она отправилась в монастырь, он вознегодовал. Нечистая совесть внушила ему подозрение, что Изабелла успела сообщить Ипполите о его замысле. Он подумал, не ради того ли пошла она сейчас в монастырь, чтобы остаться там до тех пор, пока не сможет представить непреодолимые препятствия к их разводу. Обычное недоверие, которое он испытывал к Джерому, вызвало у него опасение, что именно монах уговорил Ипполиту укрыться в этом святом месте, чтобы помешать осуществлению планов ее супруга. Горя желанием поскорее раскрыть эти козни и помешать их успеху, Манфред поспешил в монастырь и появился там как раз в тот момент, когда монах горячо уговаривал Ипполиту ни в коем случае не соглашаться на развод.

— Сударыня,— сказал Манфред.— Какое дело привело вас сюда? Почему вы не дождались моего возвращения от маркиза?

— Я пришла испросить божьего благословения вашим переговорам,— отвечала Ипполита.

— Мои переговоры не нуждаются во вмешательстве монаха,— заявил Манфред.— И неужели из всех живущих на свете людей вы не могли найти никого другого, с кем вам было бы приятно беседовать, кроме этого седого предателя?

— Нечестивый государь! — воскликнул Джером.— Неужели ты пришел сюда к алтарю для того, чтобы оскорблять служителей алтаря? Но твои богопротивные замыслы раскрыты, Манфред. Господь бог и эта добродетельная госпожа знают о них — напрасно ты хмуришься, князь! Церковь презирает твои угрозы. Ее громы заглушат взрывы твоего гнева. Продолжай, продолжай упрямо стремиться к своей гнусной цели — разводу, но знай, что скоро церковь произнесет свой приговор, и я с этого самого места обрушу ее проклятие на твою голову.

— Дерзкий бунтовщик! — вскричал Манфред, пытаясь скрыть страх, которым наполнили его душу слова монаха.— Ты осмеливаешься грозить своему законному государю?

— Ты не законный государь,— ответил Джером.— И ты вообще не князь! Иди и обсуждай свои притязания с Фредериком, а когда вы кончите...

— Мы уже кончили,— прервал его Манфред.— Фредерик согласен жениться на Матильде и отказывается от своих притязаний, сохраняя за собой право наследования лишь в том случае, если у меня не будет потомства мужского пола.

Когда он произносил эти слова, три капли крови упали из носа статуи Альфонсо. Манфред побледнел, а княгиня пала на колени.

— Смотри! — вскричал монах.— Видишь ты это чудесное знамение, гласящее, что кровь Альфонсо никогда не смешается с кровью Манфреда?

— Высокочитимый супруг мой! — промолвила Ипполита.— Смиримся перед господом. Не подумайте, что неизменно послушная жена ваша восстает против вашей власти. У меня нет своей воли, отличной от воли моего супруга и церкви. Обратимся же к этому высокому суду. Не от нас зависит разорвать узы, которыми мы соединены. Если церковь одобрит расторжение нашего брака, да будет так — мне ведь осталось жить немного лет, и они все равно уже будут омрачены горем. Где же лучше влачить их, как не у подножья этого алтаря, в молитвах о вашем и Матильды благополучии?

— Но вы не останетесь здесь до тех пор,— сказал Манфред.— Вы возвратитесь со мной в замок, и там я поразмыслю о шагах, которые надлежит предпринять для развода, а этот вмешивающийся не в свое дело монах туда не пойдет; мой гостеприимный дом отныне навсегда закрыт для этого предателя. Что же касается отпрыска вашего преподобия,— продолжал он,— я изгоняю его из моих владений. Он, я полагаю, не является неприкосновенным лицом и не находится под защитой церкви. Кто бы ни женился на Изабелле, это во всяком случае не будет наглый выскочка, новоявленный сынок святого отца Фальконары.

— Наглые выскочки,— ответил монах,— это те, кто захватывает троны законных государей, но они увядают, как трава, и исчезают, не оставляя после себя следов.

Бросив на монаха презрительный взгляд, Манфред направился к выходу, уводя с собой Ипполиту, и у две-

рей церкви потихоньку велел одному из своих людей спрятаться поблизости от монастыря и немедленно доставить ему известие, если здесь появится кто-нибудь из замка.

Глава V

Чем больше думал Манфред о поведении Джерома, тем сильнее укреплялся в убеждении, что монах потворствует любовным отношениям Изабеллы и Теодора. Но то обстоятельство, что этот самый Джером, в недавнем прошлом столь податливый, снова выказал дерзкую строптивость, порождало у Манфреда еще более серьезные опасения. Он даже подозревал, что монах пользуется тайной поддержкой Фредерика, и ему казалось, что не случайно совпали по времени прибытие маркиза в замок и вторичное появление Теодора. Всею же более его тревожило сходство Теодора с портретом Альфонсо. Но вместе с тем он твердо знал, что Альфонсо умер бездетным — в этом не могло быть никакого сомнения. А Фредерик согласился отдать Изабеллу ему в жены. Все эти противоречия заставляли Манфреда терзаться множеством сомнений. Он видел лишь два способа выпутаться из своих затруднений. Один из них заключался в том, чтобы отказаться от княжества Отранто в пользу маркиза. Но такому решению препятствовали его гордость, честолюбие и вера в старинные пророчества, гласившие, что при известных обстоятельствах он сможет сохранить все, чем владеет, для своих потомков. Другой способ состоял в ускорении его бракосочетания с Изабеллой. Идя вместе с Ипполитой по дороге к замку, Манфред сначала долго молчал, занятый одними и теми же настойчиво преследовавшими его мыслями, но потом заговорил с княгиней о предмете своего беспокойства и стал, приводя разные доказательства, внушать ей, что она должна не только согласиться на развод, но и деятельно помочь его осуществлению. Ипполиту не надо было долго убеждать, чтобы она склонилась перед его волей. Она попыталась было уговорить Манфреда избрать путь отречения от своих

владений, но увидев, что ее увещания тщетны, заверила мужа, что, действуя в согласии со своей совестью, она может не возражать против их разрыва, но, не услышав более основательных доводов, нежели те сомнения, о которых он ей поведал, сама не станет помогать этому.

Уже такой уступки, хотя и неполной, было достаточно, чтобы Манфред окрылился надеждой. Он рассчитывал, что его власть и богатство помогут успеху его ходатайства в Риме, и задумал попросить Фредерика отправиться туда нарочно для этой цели. Фредерик выказал столь сильную страсть к Матильде, что Манфред считал возможным добиться всего, что хотел получить, укрепляя или ослабляя надежду маркиза стать обладателем ее прелестей, смотря по тому, насколько последний будет расположен содействовать ему в достижении его целей. Отъезд Фредерика уже сам по себе был бы существенным выигрышем для Манфреда, ибо дал бы ему возможность, не спеша, принять еще и другие меры для своей безопасности.

Отпустив Ипполиту в ее покои, он направился к маркизу, но, пересекая большую залу, через которую лежал его путь, встретил Бьянку. Он знал, что эта девушка пользуется доверием Матильды и Изабеллы, и тут же решил повыспросить ее об Изабелле и Теодоре. Отозвав Бьянку в оконную нишу и улеживая ее многими сладкими словами и обещаниями, он спросил, что ей известно о чувствах Изабеллы.

— Мне, ваша светлость? Нет, ваша светлость... То есть да, ваша светлость... Бедняжка! Она так ужасно встревожена ранами своего батюшки; но я уверяю ее, что все пойдет на лад,— а вы как думаете, ваша светлость?

— Я спрашиваю тебя не о том, что думает она о своем отце,— ответил Манфред.— Ты посвящена в ее секреты, будь же хорошей девочкой и скажи мне: если какой-нибудь молодой человек... Ну, одним словом, ты понимаешь меня...

— Боже всемогущий! Я понимаю вас? Нет, ваша светлость, ничего не понимаю... Я сказала ей, что немного целебных трав, которыми лечат раны, и покой...

— Я говорю,— нетерпеливо сказал князь,— не о ее отце; я знаю, что он оправится...

— Ах, ваша светлость, как я рада слышать это от вас: ведь я хотя и полагала, что не следует позволять молодой госпоже падать духом, но, по правде говоря, мне казалось, что у маркиза очень изнуренный вид, и пожалуй... Я помню, когда юный Фердинанд был ранен венецианцем...

— Ты уклоняешься в сторону,— перебил ее Манфред.— Но вот — возьми это кольцо — может быть, оно поможет тебе сосредоточиться; нет, нет, не нужно поклонов, мое благоволение не остановится на этом... Ну же, скажи мне правду о сердечных делах Изабеллы.

— Ах, ваша светлость так обходительны! — воскликнула Бьянка.— Ну да, конечно... Только сможет ли ваша светлость сохранить тайну? Если ее когда-нибудь выдадут ваши уста...

— Никогда, никогда! — вскричал Манфред.

— Нет, нет, поклянитесь, ваша светлость! Матерь божия, если бы когда-нибудь стало известно, что я об этом рассказала... Но вот, что правда, то правда,— сдается мне, госпожа Изабелла не особенно-то любила молодого господина, вашего сына, а ведь он был такой славный юноша, какого не часто увидишь. Я уверена, что будь я знатного рода... Но боже мой, я должна поспешить к госпоже Матильде, она, верно, ума не приложит, куда я запропастилась.

— Пстой! — воскликнул Манфред.— Твой ответ на мой вопрос еще недостаточен. Передавали ли когда-нибудь через тебя письмо или записку?

— Через меня? Господи спаси и помилуй! — вскричала Бьянка.— Чтобы я передавала письмо? Да я бы не стала делать этого и за королевскую корону! Я надеюсь, ваша светлость не думает, что если я бедна, то уж и нечестна... Разве вы никогда не слышали, что предлагал мне граф Марсилли, когда он приезжал сюда свататься к госпоже Матильде?

— Мне недосуг слушать твои рассказы,— сказал Манфред.— Я не ставлю под сомнение твою честность, но твоя обязанность — ничего не скрывать от меня. Как давно Изабелла знакома с Теодором?

— Нет, в самом деле, ничто не укроется от вашей светлости,— отвечала Бьянка.— Я не хочу сказать, что знаю что-нибудь об этом... Теодор, конечно, стоящий молодой человек и, как говорит моя госпожа Матильда, вылитый портрет Альфонсо Доброго,— а вы, ваша светлость, не замечали этого?

— Да, да... то есть нет... Ты мучаешь меня,— сказал Манфред.— Где она встречалась с ним? Когда?

— Кто? Моя госпожа Матильда? — спросила Бьянка.

— Нет, нет, не Матильда, Изабелла. Когда Изабелла впервые познакомилась с Теодором?

— Пресвятая дева! — воскликнула Бьянка.— Откуда мне это знать?

— Но ты знаешь,— настаивал Манфред,— должен знать и я, и узнаю...

— О боже! Уж не ревнует ли ваша светлость госпожу Изабеллу к Теодору?

— Ревную? Нет, нет, с чего бы мне ревновать? Может быть, я решу соединить их. Если бы я был уверен, что Изабелла не питает отвращения...

— Отвращения? Нет, нет, я готова поручиться, что отвращения она к нему не питает: он один из самых пригожих юношей, какие только были и есть во всех христианских землях. Мы все влюблены в него; нет ни одного человека в замке, кто не хотел бы видеть его нашим государем,— то есть, конечно, после того как господь призовет вас к себе.

— В самом деле? — произнес Манфред.— Неужели дело зашло так далеко? Проклятый монах! Но мне нельзя терять времени,— иди к Изабелле, Бьянка, и побудь с нею; но не смей обмолвиться ни словом о том, про что я с тобой говорил. Разузнай, насколько сильно она увлечена Теодором; принеси мне хорошие новости, и к этому колыцу прибавится еще кое-что. Жди меня у подножия винтовой лестницы: сейчас я иду навестить маркиза, а по возвращении еще поговорю с тобой.

Побеседовав сначала с Фредериком о разных незначительных вещах, Манфред затем попросил маркиза отослать обоих его сотоварищей-рыцарей, сославшись на необходимость иметь с ним разговор о делах первосте-

пенной важности. Как только они остались наедине, он стал искусными обиняками выведывать у маркиза, насколько сильна его склонность к Матильде; и, обнаружив, что тот расположен именно так, как он того желал, намеркнул на трудность совершения бракосочетания, которую можно будет обойти, только если... В это мгновение в комнату ворвалась Бьянка — у нее был дикий взгляд, и она заламывала руки, выражая всем своим видом крайний испуг.

— О господин, господин мой! — кричала она. — Мы все погибли! Оно явилось снова! Оно явилось снова!

— Что явилось снова? — вскричал в изумлении Манфред.

— О, рука! Великан! Рука! Ах, поддержите меня, я сейчас упаду: я так испугана, что себя не помню. Я ни за что не останусь сегодня ночевать в замке. Уйду — все равно куда, а вещи мои могут быть присланы следом за мной завтра. Почему не согласилась я выйти замуж за Франческо? Только от пустого честолюбия!

— Что испугало тебя так, девушка? — спросил маркиз. — Не бойся ничего. Здесь ты в безопасности.

— О, ваша милость, вы бесконечно добры! — воскликнула Бьянка. — Но я не смею... Нет, пожалуйста, позвольте мне уйти... Лучше я совсем брошу свои вещи, чем останусь еще хоть на час под этой кровлей.

— Да ну тебя, ты вовсе спятила с ума, — воскликнул Манфред. — Не прерывай нас, мы тут совещались о важных делах. Эта девица, маркиз, подвержена припадкам... Пойдем со мной, Бьянка...

— О, святые угодники, нет, ни за что! — отвечала Бьянка. — Оно наверняка пришло предупредить вашу светлость... Иначе зачем бы оно явилось мне? Я ведь утром и вечером читаю молитвы. О, если бы вы, ваша светлость, поверили Диего! Эта рука — таких же размеров, что и нога, которую он видел там, на галерее. Отец Джером часто говорил нам, что в скором времени надо ждать пророческих знамений. «Бьянка, — говорил он, — попомни мои слова...»

— Ты бредишь! — вскричал в ярости Манфред. — Убирайся прочь и страшай этими нелепыми рассказами своих товарок.

— Как, ваша светлость! — воскликнула Бьянка. — Вы думаете, что я ничего такого не видела? Пойдите сами к подножию главной лестницы... Умереть мне на этом месте, если я не видела...

— Чего? — подхватил Фредерик. — Скажи нам, милая, что именно ты видела?

— Да неужели, маркиз, — воскликнул Манфред, — вы станете терпеть бред этой глупой служанки, наслушавшейся историй о привидениях и наконец поверившей в них?

— Это не просто вымысел, — заметил Фредерик, — испуг ее столь непритворен и наложил столь сильную печать на весь ее вид, что он не может быть порожден пустой игрой воображения. Скажи нам, милая девушка, что тебя так потрясло?

— Верно вы говорите, ваша милость, благодарю вас, — произнесла Бьянка, — у меня, я полагаю, сейчас ни кровинки в лице; но ничего, это пройдет, как только я отдышусь. Я шла к госпоже Изабелле по приказу его светлости...

— Нам не нужны подробности, — перебил ее Манфред. — Поскольку его сиятельству угодно тебя слушать — рассказывай, но покороче.

— О, боже! Вы смутили меня, ваша светлость, и я совсем сбилась с толку, — молвила Бьянка. — Я боюсь теперь собственной тени... Право же, я никогда в жизни... Да, так, значит, как я уже сказала вашей милости, я шла к госпоже Изабелле, в ее белую светелку наверху, — чтобы попасть туда, надо пройти два лестничных пролета, а потом повернуть направо; ну и когда я подошла к главной лестнице, — я как раз смотрела на вот этот подарок его светлости...

— О господи, никакого терпения не хватит с нею! — вскричал Манфред. — Дойдет ли она когда-нибудь до сути? Ну к чему маркизу знать, что я подарил тебе безделку за усердную службу при моей дочери? Расскажи, что ты видела, и только.

— Я это и собиралась сделать сейчас, если бы ваша светлость мне позволили, — продолжала Бьянка. — Так вот я, значит, потеряла кольцо и хорошо помню, что не успела подняться и на третью ступеньку, как вдруг слышу — лязгают доспехи; ей-богу, это был точно такой лязг, ка-

кой услышал Диего в горнице на галерее, когда великан стал поворачиваться.

— Что она имеет в виду? — спросил Манфреда маркиз. — В вашем замке водятся великаны и домовые?

— Господи боже, да неужто вы, ваша милость, не слыхали о великане, который объявился в горнице на галерее? — вскричала Бьянка. — Я поражаюсь, как это его светлость князь не сказали вам... может быть, вы не знаете о том, что было пророчество...

— Эта болтовня о всяких пустяках непереносима, — прервал ее Манфред. — Мне думается, маркиз, пора отослать прочь эту дуру; нас ждут дела куда важнее.

— Прошу извинить меня, — сказал Фредерик, — но это отнюдь не пустяки: огромный меч, к которому я был приведен в лесу, и вон та каска, под пару чудесному мечу, — разве они — видения, возникшие в мозгу этой бедной девушки?

— Вот и Жак думает так же, осмелюсь доложить вашей милости, — молвила Бьянка. — Он говорит, что еще не успеет старый месяц на небе смениться новым, как мы будем свидетелями необычайных перемен. Что до меня, то я не удивлюсь, ежели они произойдут даже завтра, потому что, как я уже говорила, когда я услышала лязг доспехов, меня прошиб холодный пот, — я подняла глаза и — поверите ли, ваша милость, — увидела на самом верху перил главной лестницы руку в железной перчатке — такую большую, такую большую — я подумала, что тут же на месте упаду в обморок, и как припустилась бежать, так и не оглянулась, пока не прибежала сюда, — а лучше было бы мне совсем убраться из замка! Моя госпожа Матильда говорила мне не далее как вчера утром, что ее светлости княгине Ипполите известно нечто...

— Ах ты, дерзкая! — вскричал Манфред. — Господин маркиз, я сильно подозреваю, что эта сцена подстроена нарочно, чтобы оскорбить меня. Похоже, что моих слуг наущают за мзду распространять выдумки, наносящие урон моей чести. Отстаивайте ваши притязания с мужественной прямою и смелостью, или же, как я предложил раньше, давайте похороним нашу распря, заключив брачные союзы, которые свяжут каждого из нас обоих с дочерью другого; но, верьте мне, не подобает столь высокой

владельческой особе, как вы, пользоваться услугами подкупленных слуганок.

— Я с презрением отвергаю ваши обвинения, — ответил Фредерик. — До настоящей минуты я в глаза не видел этой девицы. И драгоценностей я ей не дарил... Ах, князь, ваша нечистая совесть обличает вашу виновность, а вы пытаетесь бросить подозрение на меня... Оставьте же при себе свою дочь и забудьте об Изабелле: приговор, произнесенный над вашим домом, не позволяет мне породниться с вами.

Встревоженный решительным тоном, каким были произнесены эти слова, Манфред постарался умиротворить Фредерика. Отослав Бьянку, он стал так заискивать перед маркизом и рассыпался в таких похвалах Матильде, что Фредерик снова заколебался. Однако, поскольку его страсть к ней не успела еще глубоко укорениться в нем, он не мог сразу преодолеть зародившиеся у него сомнения. Того, что он смог извлечь из речей Бьянки, было достаточно, чтобы убедить его во враждебности небес к Манфреду. Предполагаемые браки слишком далеко отодвигали удовлетворение его притязаний, а княжество Отранто представляло собой слишком сильный соблазн, чтоб он мог удовольствоваться одной надеждой заполучить его обратно вместе с Матильдой, в том случае, если оно достанется ей в наследство. Все же он не хотел окончательно расстроить сговор и, рассчитывая выиграть время, спросил Манфреда, правда ли, что Ипполита согласилась на развод. Крайне досадуя на это единственное, все еще не устраненное им препятствие и полагаясь на свою власть над женой, князь заверил Фредерика, что это действительно так и что он может получить подтверждение из ее собственных уст.

Вошедший во время их разговора слуга доложил, что все готово для пиршества. Манфред пригласил Фредерика пройти в главную залу, где их встретили Ипполита и девушки. Маркиза Манфред усадил рядом с Матильдой, а сам сел между своей женой и Изабеллой. Ипполита держала себя с достойной непринужденностью, но обе девушки были молчаливы и грустны. Решив во что бы то ни стало в тот же вечер довести дело с маркизом до конца, Манфред затянул пиршество допоздна; при этом он изображал беззаботное веселье и усердно потчевал гостя ви-

ном, вновь и вновь поднося ему полный кубок. Однако Фредерик был более настороже, нежели того хотелось бы Манфреду, и отклонял слишком частые приглашения к возлиянию под предлогом перенесенной им недавно большой потери крови; князь же, напротив, чтобы поднять свой упавший дух и казаться беспечным, поглощал вино в изобилии, кубок за кубком — хотя и не до помрачения чувств.

На дворе была уже ночь, когда участники пиршества встали наконец из-за стола. Манфред хотел было снова уединиться с Фредериком, но тот, сославшись на свою слабость и потребность в отдыхе, удалился к себе, на прощание учтиво сказав князю, что поручает своей дочери занимать его светлость, покуда сам он не сможет снова составить ему общество. Манфред охотно принял это предложение и, к немалой досаде Изабеллы, взялся проводить ее до самой светлицы. Матильда осталась при матери, которая пожелала выйти на крепостной вал замка, чтобы освежиться ночной прохладой.

Вскоре после того как все разошлись в разные стороны, Фредерик, покинув свою горницу, спросил встреченную им служанку Ипполиту, одна ли у себя княгиня. Служанка, не заметив, что Ипполита вышла, ответила, что в этот час княгиня обычно удаляется в свою молельню и что там, по-видимому, маркиз и сможет ее найти. Во время трапезы Фредерик не сводил глаз с Матильды, чувствуя к ней большое влечение. Теперь ему хотелось убедиться, что Ипполита расположена поступить именно так, как было обещано ее супругом. Находясь во власти своих желаний, маркиз забыл о недавно встревоживших его знамениях. Он тихонько прокрался к покоям Ипполиты и, никем не замеченный, вошел внутрь с намерением укрепить княгиню в ее решении согласиться на развод, ибо чувствовал, что Манфред ни в коем случае не отдаст ему Матильду до тех пор, пока сам не завладеет Изабеллой.

Его не удивила царившая в покоях княгини тишина. Предполагая, что Ипполита, как ему и сказали, находится в молельне, он прошел дальше. Дверь в молельню была полуоткрыта, но мрак безлунной ночи не позволял что-либо разглядеть внутри. Осторожно отворив дверь настежь, он различил у алтаря коленопреклоненную человеческую фигуру. Приблизившись, он увидел перед собой не

женщину, а обращенного к нему спиной неизвестного в длинной власянице. Незнакомец был, по-видимому, погружен в молитву. Маркиз хотел уже было удалиться, как вдруг фигура поднялась и постояла несколько минут, словно в раздумье, не глядя на него. Ожидая, что этот набожный человек двинется ему навстречу и желая извиниться за свое грубое вторжение, Фредерик обратился к нему со словами:

— Преподобный отец, я искал госпожу Ипполиту...

— Ипполиту! — повторил глухой голос. — Разве ты прибыл в этот замок для того, чтобы искать Ипполиту, — и тут фигура обернулась, открыв Фредерику обнаженные челюсти и пустые глазницы скелета под капюшоном отшельнической власяницы. Фредерик отпрыгнул с криком:

— Ангелы господни, защитите меня!

— Заслужи их защиту!

Упав на колени, Фредерик стал молить видение смилостивиться над ним.

— Ты не помнишь меня! — спросил призрак. — Вспомни лес вблизи Яффы!

— Так ты тот самый святой отшельник? — вскричал Фредерик, весь трепеща. — Могу ли я сделать что-нибудь, чтобы ты обрел вечный покой?

— Для того ли ты был освобожден из рабства, — продолжал призрак, — чтобы стремиться к плотским утехам? Ты забыл уже про меч, что был зарыт в земле, и про начертанное на нем повеление?

— Нет, нет, я не забыл, — отвечал Фредерик, — но скажи мне, душа праведника, с чем ты послана ко мне? Что еще должен я сделать?

— Забыть Матильду, — ответило видение и исчезло.

Кровь похолодела в жилах Фредерика. Несколько минут он оставался недвижим. Затем, рухнув ниц перед алтарем, он взмолился ко всем святым о заступничестве, дабы ему было даровано прощение. После этого порыва поток слез хлынул из его глаз; помимо воли маркиза перед его мысленным взором предстал образ прекрасной Матильды, и Фредерик простерся на каменном полу, раздираемый раскаянием и страстью. Он еще не пришел в себя от потрясения, когда в молельню вошла княгиня Ипполита, одна, со свечой в руке. Увидев человека, лежащего без движения на полу, она громко закричала,

полагая, что он мертв. Этот вопль перепуганной женщины заставил Фредерика очнуться. Он быстро поднялся на ноги, уже не рыдая, но еще с мокрым от слез лицом, и хотел было скрыться с глаз Ипполиты, но она жалобнейшим тоном стала упрашивать его объяснить, почему он в таком смятении и в силу каких необычайных обстоятельств она застала его здесь простертым на земле.

— Ах, достойнейшая госпожа! — произнес подавленный горем маркиз — и остановился.

— Ради всего святого, маркиз, — воскликнула Ипполита, — откройте, в чем причина вашего расстройства? Что означают эти страдальческие стоны, эти тоскливые возгласы, в которых звучало мое имя? Какие горести уготовало еще небо для несчастной Ипполиты? Но вы молчите? Всеми милосердными ангелами заклинаю вас, благородный рыцарь, — продолжала она, упав к его ногам, — откройте мне, что у вас на сердце! Я вижу — вы сочувствуете мне; вы понимаете, каким мукам подвергаете меня, говорите же, говорите хоть из сострадания. Вы знаете что-нибудь касающееся моей дочери?

— Я не могу говорить! — вскричал Фредерик, вырываясь от нее. — О, Матильда!

Он ринулся прочь из покоев княгини и сразу устремился к себе. У двери своей горницы он столкнулся с Манфредом; взбудораженный вином и любовью, тот явился за Фредериком с намерением предложить ему скоротать часть ночи в пирушке за песнями и музыкой. Оскорбленный этим приглашением, столь неуместным при его состоянии духа, Фредерик резко отстранил Манфреда и, войдя в свою горницу, со злостью захлопнул перед ним дверь, а затем запер ее изнутри.

Манфред, возмущенный непонятным поведением маркиза, удалился с такими чувствами в груди, которые могли толкнуть его на самые дикие и пагубные поступки. Перейдя двор, он встретил того слугу, которого оставил возле монастыря шпионить за Джеромом и Теодором. Этот человек, задыхаясь — оттого, видимо, что он всю дорогу бежал, — доложил своему господину, что Теодор и какая-то дама из замка беседуют сейчас наедине у гробницы Альфонсо в церкви святого Николая. Слуге удалось выследить Теодора, но ночной мрак помешал ему распознать, кто была дама.

Манфред и так уже был распален всем случившимся; вдобавок, Изабелла прогнала его от себя, когда он снова стал слишком неводержанно высказывать свою страсть к ней. Теперь он сразу решил, что высказанное ею беспокойство было вызвано желанием поскорей встретиться с Теодором. Подстегнутый этой догадкой и рассерженный поведением ее отца, он, никого не предупредив, один поспешил в церковь. В мерцающем свете лунного луча, проникавшего сквозь цветные стекла, он бесшумно проскользнул между боковыми приделами и прокрался к гробнице Альфонсо, направляемый услышанным им неясным шепотом тех самых лиц, решил он, коих и думал здесь застать.

Первые же слова, которые он разобрал, были следующие:

— Увы, разве это зависит от меня? Манфред никогда не позволит нам соединиться...

— Никогда! И вот как он предотвратит это! — вскричал тиран и, выхватив свой кинжал, вонзил его из-за плеча говорившей прямо ей в грудь.

— Ах, все кончено, я умираю! — воскликнула Матильда падая. — Милосердный боже, прими мою душу!

— Гнусный, бесчеловечный злодей! Чудовище! — возопил Теодор, бросаясь на Манфреда и вырывая у него кинжал.

— Отведи свою нечистивую руку! — крикнула Матильда. — Это мой отец!

Манфред, словно вдруг очнувшись от наваждения, стал бить себя в грудь, рвать на себе волосы, пытался отобрать у Теодора кинжал, чтобы покончить с собой. Теодор был почти в таком же безумном состоянии, как и Манфред, но, подавив порывы своего горя, бросился спасать Матильду. Привлеченные его криками о помощи, бежали монахи. Одни принялись вместе с Теодором останавливать кровь, которой обливалась умирающая, другие же крепко держали Манфреда, чтобы он в отчаянии не наложил на себя руки.

Кротко покорившись своей судьбе, Матильда обратила к Теодору взгляд, полный любви и благодарности за его рвение. Но всякий раз, когда ей удавалось, превозмогая слабость, заговорить, она просила тех, кто хлопотал вокруг нее, утешить ее отца. Тем временем в церковь явил-

ся и Джером, тоже узнавший об ужасном событии. Во взгляде его, казалось был укор Теодору, но, обернувшись к Манфреду, он произнес:

— Смотри, тиран: свершилось еще одно из тех страшных бедствий, которым суждено обрушиться на твою нечестивую голову! Кровь Альфонсо вопияла к небесам об отмщении, и господь попустил осквернение своего алтаря убийством, дабы ты пролил родную кровь у гробницы этого государя!

— Жестокий! — воскликнула Матильда. — Зачем отягчаешь ты скорбь несчастного отца? Да благословит его небо и простит ему, как я прощаю. Господин мой, владыка и повелитель над всеми нами, простите ли вы свое дитя? Клянусь, я пришла сюда не для встречи с Теодором. Я увидела его молящимся у этой могилы, к которой матушка послала меня, чтобы я заступилась перед богом за вас, отец, и за нее... Дорогой отец мой, благословите свою дочь и скажите, что прощаете ее!

— Это я — чудовище, убийца — должен простить тебя? — вскричал Манфред. — Да разве смеют душегубы кого-нибудь прощать? Я принял тебя за Изабеллу, но господь направил мою преступную руку в сердце моей собственной дочери... О, Матильда! Не смею выговорить... Можешь ли ты простить мне мою слепую ярость?

— Могу — и прощаю, пред лицом господа! — отвечала Матильда. — Но пока еще жизнь теплится во мне, я хочу просить вас... О, матушка моя! Что испытывает она? Вы утешите ее, отец? Вы ее не покинете? Она ведь любит вас... О, я слабею... Отнесите меня в замок... Проживу ли я еще хоть немного, чтобы она могла закрыть мне глаза?

Теодор и монахи стали горячо уговаривать Матильду согласиться, чтобы ее перенесли в монастырь, но она настаивала на своем желании, и им пришлось, положив умирающую на носилки, направиться с нею в замок. Теодор поддерживал ей голову рукой и, склоняясь в безумной тоске над своей угасающей любимой, все еще пытался ободрить ее надеждой, что она будет жить. Джером, с другой стороны носилок, утешал Матильду речами о провидении господнем и, держа перед нею распятие, которое она омывала своими невинными слезами, старался облегчить ей переход к жизни вечной. Манфред,

погруженный в глубочайшую скорбь, с безнадежным видом брел позади.

Прежде чем они добрались до замка, Ипполита, уже оповещенная об ужасном событии, выбежала встречать свое умирающее дитя; но когда она увидела печальную процессию, ее охватило такое горе, что силы оставили ее, и, как безжизненное тело, она в глубоком обмороке рухнула наземь. Сопровождавшие ее Фредерик и Изабелла были подавлены скорбью почти в равной мере. Только Матильда как будто и не замечала своего состояния: все ее мысли и чувства были отданы горячо любимой матери. Велев опустить носилки, она, как только Ипполита пришла в себя, попросила позвать отца. Он приблизился, но не в силах был вымолвить ни слова. Взяв его руку и руку матери, Матильда соединила их в своей руке, а затем прижала к груди. Манфред не мог вынести этого трогательно-благочестивого поступка. Он бросился на землю, проклиная тот день, когда он родился на свет. Изабелла, опасаясь того, что Матильда не сможет выдержать этого взрыва страстей, по собственному почину распорядилась отнести Манфреда в его покои, а Матильду велела уложить в ближайшей горнице. Ипполита, в которой жизни оставалось немногим больше, чем в Матильде, была безразлична ко всему, кроме дочери. Но когда Изабелла, в своей нежной заботливости, пожелала увести ее на то время, пока лекари не осмотрят рану Матильды, княгиня вскричала:

— Увести меня! Нет, ни за что! В ней была вся моя жизнь, и я хочу умереть вместе с нею.

Услышав голос матери, Матильда подняла веки и взглянула на нее, но тут же опустила их снова. Биение крови все более слабело, рука стала влажной и холодной, и вскоре на спасение несчастной девушки не осталось никакой надежды. Теодор последовал за лекарями в соседнюю горницу и, услышав их приговор, впал в отчаяние, граничившее с полным безумием.

— Если ей не дано жить,— вскричал он,— то хоть в смерти она должна быть моей! Отец! Джером! Вы соедините наши руки? — обратился он к монаху, который, так же как и маркиз, не отходил от лекарей.

— Что за дикое безрассудство! — воскликнул Джером. — Разве сейчас время для бракосочетания?

— Да, именно сейчас,— кричал Теодор.— Увы, другого времени не будет!

— Молодой человек, ты сам не знаешь, что говоришь! — произнес Фредерик.— Ужели в этот роковой час мы должны внимать твоим любовным излиянием? Какие у тебя права на дочь князя?

— Права князя,— ответил Теодор,— суверенного властелина княжества Отранто. Этот почтенный старец, мой родитель, поведал мне, кто я такой.

— Ты бредишь! — воскликнул маркиз.— Здесь нет другого князя Отрантского, кроме меня, поскольку Манфред, совершив убийство — святотатственное убийство,— сделал недействительными свои притязания.

— Господин,— твердо и решительно заговорил Джером.— Он говорит правду. В мои намерения не входило так скоро раскрыть эту тайну, но судьба спешит осуществить предначертанное ею. То, что выдал его страстный порыв, подтверждают мои холодно взвешенные слова. Знайте же, маркиз, что когда Альфонсо отплыл в Святую землю...

— Время ли сейчас для разъяснений? — вскричал Теодор.— Отец, идите же, соедините меня с нею; она должна быть моей женой — во всем остальном я буду беспрекословно повиноваться вам.— Жизнь моя! Обожаемая Матильда! — воскликнул он, вбежав в покои, где лежала она.— Хочешь ты быть моей женой? Даруешь ли ты своему...

Изабелла знаком остановила его, чувствуя, что конец Матильды близок.

— Что? Она умерла? — закричал Теодор.— Неужели?

От его душераздирающих возгласов к Матильде вернулось сознание. Она открыла глаза и посмотрела вокруг, ища мать.

— Свет очей моих, я здесь, я здесь,— вскричала Ипполита.— Не бойся — я не покину тебя.

— О, как вы добры! — произнесла Матильда.— Но не рыдайте из-за меня, матушка. Я уйду туда, где нет горестей... Изабелла, ты любила меня, пусть же моя дорогая мать всегда ощущает твою любовь к ней, такую сильную, чтобы она могла заменить ей любовь дочери... Ах, право, я так слаба...

— О, дитя мое, дитя мое! — повторяла Ипполита, рыдая. — Как продлить мне твою жизнь еще хоть немного?

— Это невозможно, — промолвила Матильда, — поручи меня господу... Где мой отец? Простите ему, родная моя матушка, простите ему мою смерть — это была ошибка... О, я забыла, моя родная, ведь я дала обет никогда больше не видеть Теодора — может быть, оттого и произошло это несчастье — но это было не намеренно... Можете ли вы простить меня?

— О, не мучь еще больше мою истерзанную душу, — ответила Ипполита, — ты никогда ничем не могла обидеть меня... Увы! Она кончается! Помогите, помогите!

— Я хотела бы сказать еще кое-что, но уже не могу... — с трудом произнесла Матильда. — Изабелла... Теодор... ради меня... О! — С этими словами она испустила последний вздох.

Изабелла и служанки силой оторвали Ипполиту от тела Матильды, но Теодор пригрозил смертью всякому, кто попытается его увести от нее. Бесчисленными поцелуями покрывал он ее холодные, как мрамор, руки и произносил все ласковые и горестные слова, какие только могли быть подсказаны отчаяньем погубленной любви.

Изабелла тем временем отвела подавленную горем Ипполиту в ее покои, по посредине двора они встретили Манфреда, который, все более безумея от мучивших его мыслей, почувствовал непреодолимое желание снова увидеть дочь и направился в горницу, где она лежала. Так как луна стояла уже высоко, он по выражению лиц обеих несчастных женщин догадался, что произошло самое страшное, чего можно было ждать.

— Что? Она умерла?! — закричал он в диком смятении — и в этот миг удар грома сотряс замок до самого основания; колыхнулась земля, и послышался оглушительный лязг огромных нечеловеческих доспехов.

Фредерику и Джерому подумалось, что наступает светопреставление. Джером ринулся во двор, увлекая за собой Теодора. В то мгновение, когда Теодор появился во дворе, стены замка за спиной Манфреда рухнули под действием какой-то могучей силы, и среди развалин возстала разросшаяся до исполинских размеров фигура Альфонсо.

— Склонитесь перед Теодором, истинным наследником Альфонсо! — возгласил призрак и, произнеся эти слова, сопровождавшиеся раскатом грома, стал величаво возноситься к небесам; покрывавшие их тучи раздвинулись, и сам святой Николай встретил дух Альфонсо, после чего видения сокрылись от взора смертных, утонув в сиянии славы.

Все, кто видел это, пали ниц, признав в явленном им божью волю. Первой нарушила молчание Ипполита.

— Господин мой,— сказала она обессилевшему Манфреду,— вот какова тщета человеческого величия. Конрад покинул этот мир! Нет больше Матильды! В лице Теодора зрим мы истинного князя Отрантского. Каким чудом стал он им — мне неведомо, но довольно и того, что мы знаем: судьба наша определена. И что же остается нам, как не посвятить жалкий остаток наших дней молениям к небесам, чтобы они впредь отвратили от нас свой гнев? Господь изгоняет нас отсюда,— куда же нам бежать, если не в обитель божью, где мы еще можем найти убежище?

— Безвинная страдальца! Несчастливая жертва моих преступлений! — воскликнул Манфред. — Наконец сердце мое открыто для твоих благочестивых увещаний... О, если бы я мог... Но это невозможно... Вы недоумеваете... Так пусть же я сам наконец свершу над собою суд. Я сам должен выставить на позор свою голову — это единственное удовлетворение, которое я могу дать оскорбленным небесам. Мои деяния навлекли на меня эти кары; пусть хоть исповедь моя искупит... Но чем можно искупить вину узурпатора и убийцы собственной дочери, загубленной им в священном месте! Внимайте же все, и да послужит эта кровавая история предостережением будущим тиранам!

Как вам известно, Альфонсо умер в Святой земле... Тут вы прервете меня; вы скажете, что он умер не своей естественной смертью — и это будет чистая правда, иначе бы Манфреду не пришлось сейчас осушать до самого дна горькую чашу искупления. Рикардо, мой дед, который был мажордомом Альфонсо... я надеялся утаить преступления моего предка,— но теперь это бесполезно! Альфонсо умер отравленный. Подложное завещание провозгласило Рикардо его наследником. Преступления Рикардо преследовали его,— но ему не пришлось утратить сына

и дочь! Я один расплачусь сполна за незаконно захваченные права. Однажды Рикардо был застигнут на море бурей. Мучимый своей виной, он дал обет святому Николаю основать церковь и два монастыря, если он доберется живым до княжества Отранто. Жертва его была принята: святой явился ему во сне и обещал, что его потомки будут править в этом княжестве до тех пор, пока его законный владетель не станет слишком велик, чтобы обитать в замке, и доколе будут существовать потомки Рикардо мужского пола, которым только и может быть предоставлено это право. Увы, увы! Нет уже больше потомков ни мужского, ни женского пола, кто представлял бы этот несчастный род, кроме меня самого. Я все сказал... Ужасные беды, происшедшие в последние три дня, досказывают остальное. Как мог этот молодой человек оказаться наследником Альфонсо, я не знаю и все же не сомневаюсь, что это истина. Ему принадлежат эти владения, я отступаюсь от них... Но я и не подозревал, что у Альфонсо есть наследник... Я не оспариваю господню волю: в бедности, заполненные молитвами, протекут немногие печальные дни, отделяющие еще Манфреда от часа, когда он будет призван к Рикардо.

— Остальное должен поведать я,— сказал Джером.— Когда Альфонсо отплыл в Святую землю, буря прибила его корабль к берегам Сицилии. Другое судно, на котором находился Рикардо со свитой князя, как вы, должно быть, слышали, ваша светлость, было отброшено бурей далеко от первого.

— Это истинная правда,— подтвердил Манфред,— а на титул, которым вы меня величаете, отверженец притязать не вправе... Но это не заслуживает внимания, говорите дальше.

Джером покраснел от допущенной им неловкости, но продолжал:

— Целых три месяца неблагоприятный ветер удерживал Альфонсо в Сицилии. Здесь он полюбил прекрасную деву по имени Виктория. Он был слишком благочестив, чтобы склонять ее к запретным утехам. Они обвенчались. Однако, считая эту любовь несовместимой с данным им обетом сражаться во имя святой цели, он решил скрыть их брак до возвращения из крестового похода, когда он намеревался увезти Викторию из Сицилии и открыто объявить ее своей законной женой. Он

оставил ее в ожидании ребенка. Во время его отсутствия она разрешилась дочерью; но едва успела она в муках родить, как до нее дошло горестное известие, что Альфонсо умер и что ему наследует Рикардо. Что было делать одинокой, беззащитной женщине? Какой вес имело бы ее свидетельство? — Но все же, господин, у меня есть подлинная грамота...

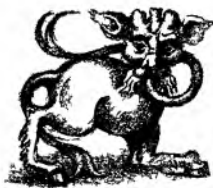
— Она не нужна,— сказал Манфред,— ужасы последних дней, видение, явившееся нам,— все это подтверждает твои заявления лучше, чем тысяча пергаментов. Смерть Матильды и мое изгнание...

— Успокойтесь, господин мой,— сказала Ипполита,— этот святой человек не хотел напоминать вам о ваших несчастях.

Джером продолжал:

— Я миную подробности. Когда дочь Виктории стала взрослой девушкой, она была отдана мне в жены, Виктория умерла, и тайна осталась сокрытой в моей груди. Что произошло впоследствии, вы знаете из рассказа Теодора.

Монах умолк. Все, кто присутствовал при этом в безутешной тоске побрели в сохранившуюся часть замка. Наутро Манфред подписал отречение с ведома и одобрения Ипполиты, и оба они приняли постриг в соседних монастырях. Фредерик предложил руку своей дочери новому князю, и Ипполита, нежно любившая Изабеллу, горячо высказалась за этот брак. Но горе Теодора было слишком свежо, чтобы он мог помыслить о новой любви, и лишь после многих бесед с Изабеллой о его дорогой Матильде он убедился, что не обретет счастья иначе как в обществе той, с которой он всегда сможет предаваться грусти, овладевшей его душой.





Уильям Текфорд

БАТЕК

Арабская сказка.







атек, девятый халиф из рода Аббасидов, был сыном Мутасима и внуком Гаруна аль-Рашида. Он вззошел на престол в цвете лет. Великие способности, которыми он обладал, давали народу надежду на долгое и счастливое царствование. Лицо его было приятно и величественно; но в гневе взор халифа становился столь ужасным, что его нельзя было выдержать: несчастный, на кого он его устремлял, падал иногда, пораженный насмерть. Так что, боясь обезлюдить свое государство и обратиться в пустыню дворец, Ватек предавался гневу весьма редко.

Он очень любил женщин и удовольствия хорошего стола. Его великодушие было безгранично и разврат безудержен. Он не думал, как Омар бен Абдалазиз, что нужно сделать из этого мира ад, чтобы оказаться в раю за гробом.

Пышностью он превзошел всех своих предшественников. Дворец Алькорреми, построенный его отцом Мутасимом на холме Пегих Лошадей, господствовавшем над всем городом Самаррой, показался ему тесным. Он прибавил к нему пять пристроек, или, вернее, пять новых дворцов, и предназначил каждый для служения какому-либо из своих чувств.

В первом столы всегда были уставлены отборными кушаньями. Их переменили днем и ночью, по мере того как они остывали. Самые тонкие вина и лучшие крепкие напитки изливались в изобилии сотнею фонтанов, никогда не иссякавших. Этот дворец назывался Вечным Праздником, или Ненасытым.

Второй дворец был храмом Благовучия, или Нектаром души. Там жили лучшие музыканты и поэты того времени. Усовершенствовав здесь свои таланты, они разбредались повсюду и наполняли окрестности своими песнями.

Дворец под названием Наслаждения Глаза, или Опора Памяти, представлял из себя сплошное волшебство. Он изобиловал редкостями, собранными со всех концов света и размещенными в строгом порядке. Там находились галерея картин знаменитого Мани

и статуи, наделенные, казалось, душой. В одном месте отличная перспектива очаровывала взгляд; в другом его приятно обманывала магия оптики; в третьем были собраны все сокровища природы. Одним словом, Ватек, любопытнейший из людей, не упустил в этом дворце ничего такого, что могло бы возбудить любопытство и у посетителя.

Дворец Благоуханий, который назывался также Поощрением Чувственности, состоял из нескольких зал. Даже днем там горели факелы и ароматические лампы. Чтобы развеять приятное опьянение этого места, сходили в обширный сад, где от множества всяких цветов воздух был сладок и крепителен.

В пятом дворце, называвшемся Убежищем Радости, или Опасным, жило несколько групп молодых девушек. Они были прекрасны и услужливы, как гурии, и никогда не принимали плохо тех, кого халиф желал допустить в их общество.

Несмотря на то что Ватек утопал в сладострастии, подданные любили его. Полагали, что властитель, предающийся наслаждениям, по крайней мере столь же способен к управлению, как и тот, кто объявляет себя врагом их. Но его пылкий и беспокойный нрав не позволил ему ограничиться этим. При жизни отца он столько учился ради развлечения, что знал многое; он пожелал, наконец, все узнать, даже науки, которых не существует. Он любил спорить с учеными; но они не могли слишком далеко заходить в возражениях. Одних он заставлял смолкать подарками; тех, чье упорство не поддавалось его щедрости, отправляли в тюрьму для успокоения — средство, часто помогавшее.

Ватек захотел также вмешаться в теологические распри и высказался против партии, обычно считавшейся правоверной. Этим он вооружил против себя всех ревностных к вере; тогда он стал их преследовать, ибо желал всегда быть правым, чего бы это ни стоило.

Великий пророк Магомет, наместниками которого на земле являются халифы, пребывая на седьмом небе, возмущался безбожным поведением одного из своих преемников. «Оставим его, — сказал он гениям, всегда готовым исполнять его приказания, — посмотрим, как далеко зайдет безумие и нечестие Ватека: если оно будет

чрезмерно, мы сумеем должным образом наказать его. Помогайте ему строить башню, которую он воздвигает в подражание Немвроду,— не для того, чтоб спастись от нового потопа, как этот великий воин, но из-за дерзкого любопытства, желающего проникнуть в тайны Неба. Что бы он ни делал, ему никогда не угадать участи, ожидающей его!»

Гении повиновались; и в то время, как работники выводили за день один локоть башни, они прибавляли за ночь еще два. Быстрота, с какой была окончена эта башня, льстила тщеславию Ватека. Он думал, что даже бесчувственная материя применяется к его намерениям. Этот государь, несмотря на все свои знания, не принимал во внимание того, что успехи безрассудного и злого суть первые лозы, которыми наносятся ему же удары.

Его гордость достигла высшего предела, когда, взойдя в первый раз по одиннадцати тысячам ступеней своей башни, он взглянул вниз. Люди показались ему муравьями, горы — раковинами, а города — пчелиными ульями. Это восхождение необыкновенно подняло его в собственных глазах и окончательно вскружило ему голову. Он готов был поклониться себе, как богу, но когда взглянул вверх, увидел, что звезды так же далеки от него, как и от земли. Невольному ощущению своего ничтожества Ватек нашел утешение в мысли, что все считают его великим; к тому же он льстил себя надеждой, что свет его разума превзойдет силу его зрения и он заставит звезды дать отчет в приговорах о его судьбе.

Для этого он проводил большую часть ночей на вершине башни и, считая себя посвященным в тайны астрологии, вообразил, что планеты предсказывают ему удивительную будущность. Необыкновенный человек должен прийти из неизвестной страны; он и возвестит об этом. Тогда Ватек с удвоенным вниманием стал наблюдать за чужестранцами и приказал объявить при звуке труб на улицах Самарры, чтобы никто из его подданных не принимал и не давал приюта путешественникам; он желал, чтобы всех их приводили к нему во дворец.

Спустя некоторое время в городе появился человек, лицо которого было так ужасно, что стражи, которые схватили его, чтобы отвести во дворец, принуждены были замурить глаза. Сам халиф, казалось, был изумлен его

видом; но скоро этот невольный страх сменился радостью. Незвестный разложил перед ним редкости, подобных которым он никогда не видел и возможности существования которых даже не предполагал.

Действительно, товары этого чужестранца были необычайны. Большинство его драгоценностей были столь же роскошны, как и превосходно сработаны. Кроме того, они обладали особенными свойствами, указанными на свитках пергамента, привешенных к ним. Тут были туфли, помогавшие ходить; ножи, которые резали, едва их брали в руки; сабли, наносившие удары при малейшем движении,— все это было украшено никому не известными драгоценными камнями.

Среди этих диковин были ослепительно сиявшие сабли. Халиф пожелал приобрести их и решил на досуге разобрать вырезанные на них непонятные надписи. Не спрашивая продавца о цене, он велел принести все золото в монетах из казнохранилища и предложил ему взять сколько угодно. Тот взял немного, продолжая хранить глубокое молчание.

Ватек не сомневался, что молчание неизвестного внушено чувством почтения к нему. С благосклонным видом он велел ему приблизиться и приветливо спросил, кто он, откуда и где достал эти замечательные вещи. Человек, или, вернее, чудовище, вместо того чтобы отвечать, трижды потер себе черный, как из эбена, лоб, четырежды ударил себя по громадному животу, раскрыл огромные глаза, казавшиеся раскаленными углями, и шумно захохотал, обнажая большие янтарного цвета зубы, испещренные зеленью.

Халиф, слегка взволнованный, повторил вопрос; последовал тот же ответ. Тогда Ватек начал раздражаться и воскликнул: «Знаешь ли ты, несчастный, кто я? Понимаешь ли, над кем издеваешься?» И обращаясь к стражам, спросил, слышали ли они его голос. Они ответили, что он говорил, но что-то незначительное. «Пусть же говорит снова,— повторил Ватек,— пусть говорит, как может, и пусть скажет, кто он, откуда пришел и откуда достал странные редкости, которые предлагает мне. Клянусь Валаамовой ослицей, если он будет молчать, я поставлю его раскаяться в его упорстве». При этих словах халиф не мог удержаться и метнул на неизвестного свой

страшный взгляд; тот, однако, нисколько не смутился; грозный и смертоносный взор не оказал на него никакого действия.

Когда придворные увидели, что дерзкий торговец выдержал такое испытание, удивлению их не было границ. Они пали на землю, склонив лица, и безмолвствовали, пока халиф не закричал в бешенстве: «Вставайте, трусы, схватите этого несчастного! В тюрьму его! И пусть лучшие мои воины не спускают с него глаз. Я позволяю ему взять с собой деньги, которые он только что получил; пусть оставит их при себе, лишь бы заговорил». При этих словах все кинулись на чужеземца; его заковали в крепкие цепи и отправили в темницу большой башни. Семь оград из железных брусьев, снабженных остриями длинными и отточенными, как вертела, окружали ее со всех сторон.

Между тем халиф находился в яростном возбуждении. Он молчал, почти позабыл о пище и съел только тридцать два блюда из трехсот, которые ему обычно подавали. Одна столь непривычная диета могла бы лишить его сна. Как же подействовала она в соединении с пожирающим беспокойством! На заре он отправился в темницу, чтобы узнать что-либо от упрямого незнакомца. Каково же было его бешенство, когда неизвестного в тюрьме не оказалось; железные решетки были сломаны, а стражи мертвы. Странное безумие тогда овладело им. Он принялся топтать ногами трупы, лежавшие вокруг, и предавался этому занятию целый день. Придворные и везиры прилагали все усилия, чтобы его успокоить; но видя, что это бесполезно, они воскликнули все вместе: «Халиф сошел с ума! Халиф сошел с ума!»

Слух о его сумасшествии тотчас разнесся по улицам Самарры. Он дошел, наконец, и до царицы Каратис, матери Ватека. Она явилась, встревоженная, пытаясь испытывать власть, которую имела над сыном. Слезами и ласками она добилась того, что он перестал метаться и скоро, уступая ее настояниям, позволил отвести себя во дворец.

Каратис не имела желания оставлять сына одного. Приказав уложить его в постель, она под села к нему и старалась утешить и успокоить своими речами. Она могла достичь этого скорее, чем кто-либо. Ватек любил и уважал в ней мать, но, кроме того, женщину исключительно

ных дарований. Она была гречанка, и через нее он усвоил все системы и науки этого народа, пользовавшегося уважением у добрых мусульман.

Одною из таких наук была астрология, и Каратис знала ее в совершенстве. Итак, первой ее заботой было заставить сына вспомнить, что предрекали ему светила; она предложила посоветоваться с ними снова. «Увы! — сказал халиф, как только к нему вернулась способность речи. — Я безумец, — не потому, что нанес сорок тысяч ударов ногами стражам, которые позволили так глупо себя убить; но я не сообразил, что этот необыкновенный человек — тот самый, о ком возвестили мне планеты. Вместо того, чтобы дурно с ним обращаться, я должен был попробовать подкупить его мягкостью и ласками». — «Прошлого не вернешь, — ответила Каратис, — надо подумать о будущем. Может быть, ты еще увидишь того, о ком сожалеешь; может быть, эти надписи на саблях дадут тебе сведения о нем. Ешь и спи, дорогой сын; завтра посмотрим что предпринять».

Ватек последовал этому мудрому совету, встал в лучшем расположении духа и тотчас велел принести удивительные сабли. Чтобы не ослепнуть от их блеска, он посмотрел на них через цветное стекло и старался прочесть надписи, но тщетно: сколько ни ломал он себе голову, он не разобрал ни единой буквы. Это препятствие чуть не привело его в прежнюю ярость, но тут кстати вошла Каратис.

«Имей терпение, сын мой, — сказала она, — ты, разумеется, знаешь все науки. Знание языков — это пустяк, достойный педантов. Предложи достойную тебя награду тому, кто объяснит эти варварские слова, непонятные для тебя, и разбирать которые тебе не подобает, и ты будешь удовлетворен». «Может быть, — сказал халиф, — но тем временем меня измучит легион мнимых ученых, которые станут заниматься этим из-за удовольствия поболтать и чтобы получить обещанное». Минуту подумав, он прибавил: «Я желаю избежать этого затруднения. Я прикажу умерщвлять всех, кто не даст настоящего ответа; ибо, благодарение богу, у меня достаточно сообразительности, чтобы понять, переводят ли мне или сочиняют».

«О, я в этом не сомневаюсь, — ответила Каратис. — Но умерщвлять невежд — немного строгое наказание, и оно может иметь опасные последствия. Ограничься тем,

чтобы сжигать им бороды; бороды не так необходимы в государстве, как люди». Халиф согласился и в этом с матерью и приказал позвать своего первого везира. «Мораканабад,— сказал он ему,— вели глашатаям возвестить по Самарре и по всем городам моего государства, что тот, кто прочтет надписи кажущиеся непонятными, убедится лично в моей щедрости, известной всему свету; но в случае неудачи ему выжгут бороду до последнего волоса. Пусть также сообщат, что я дам пятьдесят прекрасных рабынь и пятьдесят ящиков с абрикосами с острова Кирмита тому, кто доставит мне сведения об этом странном человеке, которого я хочу снова увидеть».

Подданные халифа, как и их властелин, очень любили женщин и абрикосы с острова Кирмита. Обещания разлакомили их, но им ничего не удалось отведать, ибо никто не знал, куда исчез чужеземец. Так же не исполнили и первой просьбы халифа. Ученые, полуученые и разные самонадеянные невежды явились смело, рискнули своими бородами и все лишились их. Евнухи только и делали, что жгли бороды; от них стало даже пахнуть паленым, что не нравилось женщинам сераля; пришлось поручить это дело другим.

Наконец, явился старец, борода которого превосходила на полтора локтя все прежние. Командующие дворцовой стражей, вводя его, говорили: «Как жаль! Очень жаль жечь такую отличную бороду!» Халиф был того же мнения; но ему нечего было огорчаться. Старик без труда прочел надписи и изложил их слово в слово следующим образом: «Нас сделали там, где все делают хорошо; мы — самое малое из чудес страны, где все чудесно и достойно величайшего государя земли».

«О, ты превосходно перевел,— вскричал халиф.— Я знаю, кто подразумевается под этими словами. Дайте старику столько роскошных одеяний и столько тысяч цехинов, сколько слов он произнес: он облегчил мое сердце». Затем Ватек пригласил его отобедать и даже провести несколько дней в своем дворце.

На другой день халиф велел позвать старца и сказал ему: «Прочти мне еще раз то, что читал; я не могу, как следует, понять этих слов, как будто обещающих мне сокровище, которого я жажду». Старик тотчас надел свои зеленые очки. Но они свалились с его носа, когда он за-

метил, что вчерашние буквы заменились новыми. «Что с тобой? — спросил его халиф. — Что значит это удивление?» «Повелитель мира, надписи на саблях изменились!» — «Что такое? — спросил халиф. — Впрочем, это безразлично; если можешь, растолкуй мне их». — «Вот что они значат, государь, — сказал старик. — Горе дерзкому, кто хочет знать то, что выше его сил». — «Горе тебе самому! — вскричал халиф, совершенно вне себя. — Прочь с моих глаз! Тебе выжгут только половину бороды, ибо вчера ты разгадал хорошо. Что касается подарков, я никогда не беру назад своих даров». Старик, достаточно умный, чтобы понять, что недорого расплатился за глупость — говорить повелителю неприятную истину, — тот час скрылся и не появлялся более.

Ватек немедленно раскаялся в своей горячности. Все время рассматривая надписи, он заметил, что они меняются ежедневно; а объяснить их было некому. Это беспокойное занятие разгорячало его кровь, доводило до головокружений и такой слабости, что он едва держался на ногах; он только и делал, что заставлял относить себя на вершину башни, надеясь выведать у звезд что-либо приятное; но он обманулся в этой надежде. Глаза, ослепленные туманом в голове, плохо служили ему; он не видел ничего, кроме густого, темного облака: предзнаменование, казавшееся ему угрожающим.

Изнуренный такими заботами, халиф совершенно пал духом; он заболел лихорадкой, потерял аппетит, и подобно тому как прежде необычайно много ел, так теперь принялся безудержно пить. Неестественная жажда пожирала его; днем и ночью он вливал себе в рот, как в воронку, целые потоки жидкостей. Не будучи в состоянии пользоваться благами жизни, несчастный государь приказал запереть Дворцы Пяти Чувств, перестал показываться народу, выставлять напоказ свою пышность, отправлять правосудие и удалился в сераль. Он всегда был хорошим мужем; жены сокрушались о нем, неустанно молились о его здоровье и все время поили его.

Между тем царица Каратис испытывала живейшее горе. Каждый день она запиралась с везиром Мораканабадом, стараясь найти средства излечить или по крайней мере облегчить больного. Уверенные в том, что это наваждение, они вместе перерыли все магические книги

приказали искать повсюду страшного чужеземца, которого считали виновником колдовства.

В нескольких милях от Самарры подымались высокая гора, покрытая тимьяном и богородицной травкой; она увенчивалась красивой поляной, которую можно было принять за рай для правоверных мусульман. Множество благоухающих кустарников и рощи апельсинов, кедров, лимонов, переплетаясь с пальмами, виноградниками и гранатами, доставляли радость вкусу и обонянию. Земля была вся усеяна фиалками; кусты твоздики наполняли воздух ароматом. Казалось, что четыре светлых источника, столь изобиловавших водой, что ее хватило бы для десяти армий, изливались здесь для большего сходства с Эдемским садом, орошаемым священными реками. На их зеленющих берегах соловей пел о рождении розы, своей возлюбленной, оплакивая мимолетность ее очарования; горlinkа тосковала о более жизненных наслаждениях, а жаворонок приветствовал своими песнями животворящий свет: здесь более, чем где-либо, щебетание птиц выражало различные страсти их; восхитительные плоды, которые они клевали вволю, казалось, удваивали их силу.

Иногда Ватек носили на эту гору, чтобы дать подышать свежим воздухом и вдоволь напоить из источников. Сопровождали его только мать, жены, и несколько евнухов. Все они торопились наполнить водой большие чаши горного хрусталя и наперерыв подносили ему питье; но их усердия было недостаточно, чтобы насытить его жажду; часто он ложился на землю и лакал воду прямо из источников.

Однажды бедный Ватек долго пролежал в такой унизительной позе, как вдруг раздался хриплый, но громкий голос: «Зачем ты подражаешь псу? О, халиф, столь гордый своим саном и могуществом!» При этих словах Ватек подымает голову и видит чужеземца, виновника стольких бед. Его охватывает волнение, гнев воспламеняет сердце; он кричит: «А ты зачем здесь, проклятый Гяур? Разве тебе мало, что ты обратил бодрого и здорового государя в какое-то подобие меха? Разве ты не видишь, что я погибаю столько же от того, что слишком много пью, как и от жажды?»

«Так выпей еще глоток,— сказал чужеземец, подавая ему пузырек с красноватой жидкостью; — и чтобы уто-

лить жажду твоей души, когда ты утолишь телесную, я скажу тебе, что я Индиец, но из страны, неведомой никому».

Из страны, неведомой никому! В этих словах блеснула для халифа искра света. Это было исполнение части его желаний. И, льстя себя надеждой, что скоро все они будут удовлетворены, он взял магическую жидкость и выпил не колеблясь. Тотчас же он почувствовал себя здоровым, жажда его утолилась, и тело стало подвижнее, чем когда-либо. Радость его была чрезвычайна; он бросился на шею страшному Индийцу и целовал его противный слюнявый рот с таким пылом, точно это были коралловые губки прекраснейшей из его жен.

Эти излияния восторга никогда бы не кончились, если красноречие Каратис не привело бы его в себя. Она предложила сыну возвратиться в Самарру, и он распорядился, чтобы впереди шел герольд, возглашавший громогласно, что чудесный чужеземец появился вновь, он исцелил халифа, он заговорил, заговорил!

Тотчас все жители этого большого города высыпали из домов. Взрослые и дети толпой бежали взглянуть на Ватэка и Индийца. Они непрестанно повторяли: «Он исцелил нашего повелителя, он заговорил, заговорил!» Эти слова раздавались целый день, и их не забыли на народных празднествах, устроенных в тот же вечер в знак радости; для поэтов они служили припевом ко всем песням, которые они сложили на этот прекрасный случай.

Тогда халиф приказал вновь открыть Дворцы Чувств, и так как он спешил посетить прежде всего Дворец Вкуса, то велел приготовить там блистательное пиршество, куда пригласил своих любимцев и высших военачальников. Индиец, сидевший рядом с халифом, вел себя так, будто думал, что, удостоившись такой чести, он может есть, пить и говорить сколько угодно. Блюда исчезали со стола тотчас по появлении. Придворные удивленно переглядывались, а Индиец, точно не замечая этого, пил целыми стаканами за здоровье всех, пел во все горло, рассказывал истории, над которыми сам хохотал до упаду, и сочинял экспромты, которые заслужили бы одобрение, если бы он не сопровождал их ужасными гримасами; во время пира он болтал, как двадцать астрологов, ел не меньше сотни носильщиков и пил соответственно.

Несмотря на то что стол накрывали тридцать два раза, халиф страдал от прожорливости своего соседа. Его присутствие становилось для него невыносимым, и он с трудом мог скрыть свое дурное настроение и беспокойство; наконец, уловив минуту, он сказал на ухо начальнику своих евнухов: «Ты видишь, Бабабалук, какой размах у этого человека! Что, если он доберется до моих жен? Распорядись усилить за ними надзор, особенно за черкешенками, они больше всех придутся ему по вкусу».

Пропели третьи петухи, пробил час Дивана. Ватек обещал лично присутствовать на нем. Он встает из-за стола и опирается на руку везира, более утомленный своим шумливым соседом, чем выпитым вином; бедный государь едва держался на ногах.

Везиры, высшие придворные, юристы выстроились полукругом перед своим повелителем в почтительном молчании, а Индеец развязно уселся на ступеньке трона, с таким хладнокровием, будто он еще ничего не ел, и посмеивался из-под капюшона плаща над негодованием, которое внушала зрителям его дерзость.

Между тем халиф плохо соображал от усталости, путался и ошибался в отправлении правосудия. Первый везир заметил это и нашел способ прервать судебное заседание, сохранив достоинство своего господина. Он сказал ему едва слышно: «Государь, царица Каратис провела ночь в наблюдении за планетами; она приказывает передать, что тебе грозит близкая опасность. Берегись, чтобы этот чужеземец, которому ты оказал столько почта за несколько магических драгоценностей, не посягнул на твою жизнь. Его жидкость как будто исцелила тебя; но, может быть, это просто яд, действие которого будет внезапно. Не отбрасывай этого подозрения; по крайней мере, спроси его, как он ее приготавил, где взял, и упомяни о саблях, о которых ты, кажется, забыл».

Выведенный из себя дерзостью Индийца, Ватек ответил везиру кивком головы и сказал, обращаясь к чудовищу: «Встань и расскажи пред всем Диваном, из каких снадобий состоит жидкость, которую ты мне дал; главное же, открой тайну проданных мне сабель и будь признателен за милости, которыми я тебя осыпал».

Халиф замолчал, произнеся эти слова насколько мог сдержанно. Но Индеец, не отвечая и не трогаясь с места,

продолжал хохотать и корчить гримасы. Тогда Ватек потерял самообладание; ударом ноги он сбрасывает его с возвышения, бросается за ним и продолжает бить его с такою яростью, что увлекает за собой весь Диван. Только и видно было, как мелькали поднятые ноги; каждый хотел дать ему пинок с удвоенной силой.

Индиец как будто поддавался этой игре. Будучи малого роста, он свернулся в шар и катался под ударами нападавших, которые гнались за ним с неслыханным остервенением. Катясь таким образом из покоя в покой, из комнаты в комнату, шар увлекал за собой всех, кто попадался на пути. Во дворе поднялось смятение и страшный шум. Испуганные султанши выглядывали из-за занавесей; но как только появился шар, они не в силах были сдерживаться. Напрасно евнухи щипали их до крови, пытаясь удержать, — они вырывались из их рук, и сами эти верные стражи, полумертвые от страха, также не могли не броситься по следам злополучного шара.

Пронесшись таким образом по залам, комнатам, кухням, садам и дворцовым конюшням, Индиец выкатился, наконец, во двор. Халиф разъярился больше всех и гнался за ним по пятам, что было сил, колотя его ногами; благодаря такому усердию он сам получил несколько пинков, предназначавшихся шару.

Каратис, Мораканабад и два-три мудрых везира, удерживающихся доселе от общего увлечения, бросились перед халифом на колени, не желая допустить, чтобы он стал посмешищем для народа; но он перепрыгнул через их головы и побежал дальше. Тогда они приказали муэдзинам созывать народ на молитву, надеясь убрать его с дороги и отвратить бедствие молениями, но не помогло и это. Достаточно было взглянуть на дьявольский шар, как все кидались за ним. Сами муэдзины, хотя и видели его издали, спустились со своих минаретов и присоединились к толпе. Она росла так быстро, что скоро в домах Самарры остались только паралитики, калеки, умирающие и грудные дети; кормилицы бросали их, чтобы удобнее было бежать; наконец, и царица, и Мораканабад, и другие примкнули к ним. Крики женщин, вырвавшихся из сералей, и евнухов, старавшихся не упустить их из виду; брань мужей, грозивших друг другу во время бега; пинки ногами; общая свалка — все это делало Самарру похо-

жей на город, взятый приступом и отданный на разграбление. Наконец, проклятый Индиец, принявший вид шара, пронесшись по улицам и площадям, вылетел из опустевшего города и направился долиной, пролетавшей у подножия горы четырех источников, к равнине Катула.

С одной стороны эта долина ограждалась высоким холмом, с другой — была страшная пропасть, вырытая водопадом. Халиф и следовавшая за ним толпа, боясь, что шар бросится туда, удвоили усилия, чтобы догнать его, но все было тщетно: шар скатился в бездну и исчез в ней подобно молнии.

Ватек, разумеется, кинулся бы за вероломным Гяуром, если бы его не удержала как бы невидимая рука. Бежавшие тоже остановились; все сразу успокоилось. Преследователи переглядывались с изумлением. И, несмотря на смешной характер этой сцены, никто не смеялся. Потупившись, в смущении и молчании все возвратились в Самарру и разбрелись по домам, не думая о той непреодолимой силе, которая одна могла быть причиной таких позорных безумств; люди, превознося себя за добро, когда являются всего лишь его орудиями, несомненно склонны приписывать себе и ошибки, которые совершили помимо своей воли.

Один халиф не захотел возвращаться. Он приказал разбить в долине палатки и, несмотря на уговоры Каратис и Мораканабада, обосновался на краю пропасти. Сколько ни убеждали его, что в этом месте земля может осыпаться и что, кроме того, он находится слишком близко к волшебнику, увещания не помогли. Приказав зажечь тысячи факелов, непрерывно заменявшихся новыми, он лег на грязном краю пропасти и с помощью этого искусственного освещения старался проникнуть взором во тьму, которую не мог бы рассеять весь небесный свет. По временам ему казалось, что из бездны слышатся голоса, среди которых он как будто различал голос Индийца; на самом же деле это ревели воды и шумели водопады, с клочкотанием свергавшиеся с гор.

Ватек провел ночь в таком тягостном положении. На заре он возвратился в палатку и, ничего не поев, заснул, а проснулся лишь с наступлением сумерек. Тогда он вернулся на прежнее место и несколько ночей подряд не покидал его. Он ходил взад и вперед большими шагами

и бросал свирепые взоры на звезды, как бы упрекая их в том, что они обманули его.

Вдруг по лазури неба, от долины до Самарры и далее, проступили кровавые полосы; казалось, что грозное явление захватывало вершину большой башни. Халиф пожелал взойти туда; но силы оставили его, и в ужасе он прикрыл голову полой одежды.

Все эти пугающие знамения только возбуждали его любопытство. Таким образом, вместо того чтобы возвратиться к обычной жизни, он упорствовал в намерении остаться там, где исчез Индеец.

Однажды ночью, когда он в одиночестве прогуливался по равнине, луна и звезды внезапно померкли; свет сменился глубоким мраком, и из заколебавшейся земли раздался голос Гяура, подобный грому: «Хочешь ли предаться мне, поклониться силам земли, отступить от Магомета? Тогда я открою тебе дворец подземного пламени. Там, под огромными сводами, ты увидишь сокровища, обещанные тебе звездами; оттуда и мои сабли; там почивает Сулейман бен Дауд, окруженный талисманами, покоряющими мир».

Изумленный халиф ответил, вздохнув, но тоном человека, привыкшего к сверхъестественному: «Где ты? Покажись, рассей этот утомительный мрак! Сколько факелов сжег я, чтобы тебя увидеть, а ты все не показываешь своего ужасного лица!» — «Отрекись от Магомета, — произнес Индеец, — дай мне доказательства своей искренности, иначе ты никогда меня не увидишь».

Несчастный халиф обещал все. Тотчас небо прояснилось, и при свете планет, казавшихся огненными, Ватек увидел разверстую землю. В глубине находился эбеновый портал. Перед ним, растянувшись, лежал Индеец, держа в руке золотой ключ и постукивая им о замок.

«Ах! — воскликнул Ватек. — Как мне спуститься к тебе, не сломав шеи? Помоги мне и отопри поскорее двери!» — «Тише! — ответил Индеец. — Знай, что меня пожирает жажда, и я не могу открыть тебе, пока не утолю ее. Мне нужна кровь пятидесяти детей, выбери их из семейств твоих везиров и главных придворных. Иначе ни моя жажда, ни твое любопытство не будут удовлетворены. Итак, возвратись в Самарру, доставь мне, чего я желаю, брось их собственноручно в эту пропасть — тогда увидишь».

С этими словами Индеец повернулся к нему спиной; а халиф, по внушению демонов, решился на ужасную жертву. Он сделал вид, что успокоился, и направился в Самарру при кликах народа, который еще любил его. Он так искусно сумел казаться спокойным, что даже Каратис и Мораканабад были обмануты. Теперь речи шли только о празднествах и развлечениях. Принялись даже говорить об истории с шаром, о которой доселе никто не смел заикнуться: повсюду над ней смеялись; однако некоторым было не до смеха. Многие еще не выздоровели от ран, полученных в этом памятном приключении.

Ватек был очень доволен этим отношением к нему, потому что понимал, что оно поможет осуществлению его гнусных замыслов. Он был приветлив со всеми, особенно с везирами и главными придворными. На другой день он пригласил их на пышное пиршество. Незаметно заведя разговор об их детях, он с видом благожелательности стал расспрашивать, у кого самые красивые мальчики. Отцы превозносили каждый своих. Спор разгорелся; дошло бы до рукопашной, если бы не присутствие халифа, который притворился, что хочет самолично быть судьей в этом деле.

Вскоре ему привели целую толпу этих несчастных детей. Любящие матери раздели их как только могли, чтобы лучше выставить их красоту. Но в то время, как их блистательная юность привлекала к себе все взоры и сердца, Ватек рассматривал их с вероломной жадностью и выбрал пятьдесят для жертвы Гяуру. Затем с видом благодушия он предложил устроить в долине праздник для этих маленьких избранников. Они должны, говорил он, более всех других порадоваться его выздоровлению. Доброта халифа очаровывает. Скоро о ней узнает вся Самарра. Приготавливают носилки, верблюдов, лошадей; женщины, дети, старики, юноши — все размещаются как хотят. Шествие трогается в путь в сопровождении всех кондитеров города и предместий; толпа народа движется пешком; все ликуют, и никто уже не вспоминает, во что обошлось многим последнее путешествие по этой дороге.

Вечер был прекрасен, воздух свеж, небо ясно, цветы благоухали. Мирная природа, казалось, радовалась лучам заходящего солнца. Их мягкий свет позлащал вершину горы четырех источников, озаряя и ее цветущий склон и

резвящиеся на нем стада. Слышно было только журчание источников, звуки свирели и голоса пастухов, переключившихся на холмах.

Несчастные жертвы, которые шли на погибель, составляли часть этой идиллии. В чистоте душевной и сознании безопасности дети двигались по равнине, резвясь, гонялись за бабочками, рвали цветы, собирали блестящие камешки; многие легким шагом уходили вперед, радуясь, когда приближались остальные, и целовали их.

Вдали уже виднелась ужасная пропасть, в глубине которой находились эбеновые ворота. Как бы черной полосой пересекала она середину равнины. Мораканабад и его товарищи приняли ее за одно из тех затейливых сооружений, которые любил халиф; несчастные не знали ее назначения. Ватек, вовсе не желая, чтобы злополучное место рассматривали вблизи, останавливает шествие и велит очертить широкий круг. Выступают евнухи, чтобы отмерить место для состязания в беге и приготовить кольца, куда должны пролетать стрелы. Пятьдесят мальчиков быстро раздеваются; стройность и приятность очертаний их нежных тел вызывают восторг. Глаза их светятся радостью, которая отражается и на лицах родителей. Каждый напуган в сердце того из маленьких воинов, кто его больше всех интересуется; все внимательны к играм этих милых, невинных существ.

Халиф пользуется этой минутой, чтобы отделиться от толпы. Он подходит к краю пропасти и не без трепета слышит голос Индийца, скрежещущего зубами: «Где же они?» — «Безжалостный Гяур! — ответил Ватек в волнении. — Нельзя ли удовлетворить тебя иным способом? Ах, если б ты видел красоту, изящество, наивность этих детей, ты бы смягчился». — «Смягчился? Проклятие тебе, болтун! — вскричал Индиец. — Давай, давай их сюда, живо! Или мои двери никогда не откроются». — «Не кричи так громко», — взмолился халиф, краснея. — «На это я согласен», — ответил Гяур с улыбкой людоеда, — ты не лишен разума, я потерплю еще минуту».

Пока они вели этот ужасный разговор, игры шли своим чередом. Они окончились, когда сумерки окутали горы. Тогда халиф, стоя на краю бездны, закричал как можно громче: «Пусть приблизятся ко мне пятьдесят моих любимцев, пусть подходят в порядке успеха на играх! Пер-

вому победителю я дам свой бриллиантовый браслет, второму — изумрудное ожерелье, третьему — пояс из топазов, а каждому из остальных — какую-нибудь часть моей одежды, кончая туфлями».

При этих словах радостные восклицания удвоились; превозносили до небес доброту государя, решившего остаться нагим для удовольствия подданных и поощрения молодежи. Между тем халиф, раздеваясь понемногу, поднимал каждый раз руку с блиставшей наградой как можно выше и, подавая ее торопящемуся взять ребенку, другой рукой сталкивал его в пропасть, откуда Гяур продолжал повторять ворчливым голосом: «Еще! еще!..»

Этот страшный обман происходил с такой быстротой, что подбегавшие не успевали догадаться об участии товарищей; а зрителям мешали видеть темнота и расстояние. Наконец, сбросив пятидесятую жертву, Ватек решил, что Гяур сейчас явится за ним и протянет ему золотой ключ. Он уже воображал, что равен Сулейману и не обязан никому давать отчета в содеянном, как вдруг, к его великому удивлению, края трещины сблизились, и под ногами он ощутил обыкновенную твердую землю. Его бешенство и отчаяние были неописуемы. Он проклинал вероломного Индийца, обзывал его самыми позорными именами и топал ногой, точно желая, чтобы тот услышал. Он так бесновался, что измученный упал на землю как бы в беспмятстве. Везиры и главные придворные, будучи ближе других к нему, решили сначала, что он сел на траву и играет с детьми; но потом они стали беспокоиться, приблизились и увидели, что с халифом нет никого. «Что вам нужно?» — спросил он в смятении. — «Где же дети? Где наши дети?» — воскликнули они. — «Очень забавно, — ответил Ватек, — что вы хотите сделать меня ответственным за всякую случайность. Играя, ваши дети свалились в пропасть, которая тут была, и куда я сам упал бы, если бы не отскочил вовремя».

Отцы погибших детей ответили на это раздирающими криками; им вторили матери, тоном выше; остальные же, не зная в чем дело, вопили громче других. Скоро повсюду стали говорить: «Халиф выкинул с нами эту штуку, чтобы угодить проклятому Гяуру! Накажем его за вероломство, отмстим! отмстим за кровь невинных! бро-

сим жестокого властителя в водопад, и пусть исчезнет самая память о нем!»

Каратис, испуганная ропотом, приблизилась к Мораканабаду. «Везир,— сказала она ему,— ты потерял двоих славных детей, ты, наверно,— самый безутешный из отцов; но ты благороден — спаси своего повелителя!» — «Хорошо, госпожа,— ответил везир,— рискуя собственной жизнью, я попробую избавить его от опасности, а затем покину на произвол его печальной судьбы». — «Бабабалук,— продолжала Каратис,— стань во главе своих внухов; оттесним толпу; отведем, если возможно, несчастного государя во дворец». В первый раз Бабабалук с товарищами порадовался, что у них не могло быть детей. Они повиновались, и везир, помогая им насколько мог, довел до конца свое великодушное дело. Потом он удалился, чтобы отдаться своим слезам.

Как только халиф возвратился, Каратис приказала запереть вход во дворец. Но, видя, что возмущение растет и со всех сторон слышатся проклятия, она сказала сыну: «Прав ты или нет — неважно! Надо спасти твою жизнь. Удалимся в твои покои; оттуда подземным ходом, известным лишь тебе и мне, пройдем в башню, где нас защитят немые, никогда не выходившие оттуда. Бабабалук будет думать, что мы еще во дворце, и в собственных интересах станет защищать его; тогда, не утруждая себя советами этой бабы Мораканабада, мы посмотрим, что предпринять».

Ватек ничего не ответил матери и позволил вести себя беспрекословно, но во время пути беспрестанно повторял: «Где ты, страшный Гяур? Сожрал ли ты уже детей? Где твои сабли, золотой ключ, талисманы?» По этим словам Каратис догадалась кое о чем. Когда в башне сын успокоился немного, она без труда выведала от него все. Далекая от тревог совести, она была зла, как только может быть женщина, а этим сказано многое, ибо слабый пол претендует на превосходство во всем пред сильным. Итак, рассказ халифа не удивил и не привел в ужас Каратис; она была только поражена обещаниями Гяура и сказала сыну: «Надо сознаться, что этот Гяур несколько кровожаден; однако подземные божества, вероятно, еще страшнее. Но обещания одного и дары других стоят некоторых усилий; за такие сокровища можно пойти на любое пре-

ступление. Итак, перестань жаловаться на Индийца; мне кажется, ты не выполнил всех его предписаний. Я нисколько не сомневаюсь, что нужно сделать приношения подземным духам, и об этом нам придется подумать, когда мятеж утихнет; я быстро восстановлю спокойствие и не побоюсь истратить на это твои богатства, ибо мы получим достаточно взамен их». И царица, обладавшая удивительным даром убеждать, вернулась подземным ходом во дворец и показалась из окна народу. Она обратилась к нему с речью, а Бабабалук бросал пригоршнями золото. Способ оказался действенным; мятеж утих, все разошлись по домам, а Каратис вернулась в башню.

Муэдзины созывали на утреннюю молитву, когда Каратис и Ватек взойшли по бесчисленным ступеням на вершину башни, и, хотя утро было печально и дождливо, они оставались там некоторое время. Этот мрачный полусвет нравился их злобным сердцам. Увидев, что солнце скоро пробьется сквозь облака, они приказали натянуть навес для защиты от его лучей. Усталый халиф думал только об отдыхе и, надеясь увидеть вещие сны, прилегал. А деятельная Каратис спустилась вниз с частью своих немых, чтобы приготовить жертвоприношение на ближайшую ночь.

По небольшим ступеням, выложенным в толще стены, о которых знали лишь она и сын, Каратис спустилась сначала в таинственные подземелья, где находились мумии древних фараонов, извлеченные из могил; затем она направилась в галерею; там, под наблюдением пятидесяти немых и кривых на правый глаз негритянок, хранились масло ядовитейших змей, рога единорогов и одурманивающие своим запахом древние стволы, нарубленные магами в отдаленных уголках Индии, не говоря о множестве других страшных редкостей; Каратис сама составила эту коллекцию в надежде вступить когда-либо в общение с адскими силами; она любила их страстно и знала их вкусы. Чтобы освоиться с предстоявшими ей ужасами, она провела некоторое время в обществе своих негритянок; эти женщины с наслаждением рассматривали сбоку мертвые головы и скелеты, соблазнительно скашивая свой единственный глаз; они корчились и извивались, когда мертвецов вытаскивали из шкафов, и, восхищаясь царицей, оглушали ее своим визгом. Наконец, задыхаясь

в дурном воздухе, Каратис была вынуждена покинуть галерею, захватив с собою часть этих чудовищных сокровищ.

Между тем халиф не видел желанных снов; но, находясь в этом пустынном месте, он почувствовал гложущее чувство голода. Он потребовал у немых пищи и, совершенно забыв, что они ничего не слышат, стал бить, кусать и щипать их за то, что они не трогались с места. К счастью для этих бедняг, явилась Каратис и положила конец недостойной сцене. — «Что с тобой, сын мой? — сказала она, тяжело дыша. — Мне показалось, что визжат тысячи летучих мышей, выгоняемых из логова, а это ты мучишь моих бедных немых; право, ты не заслужил той отличной пищи, которую я тебе принесла!» — «Давай ее сюда! — вскричал халиф. — Я умираю от голоду». — «Ну, если ты можешь переварить все это, — сказала она, — у тебя хороший желудок». — «Скорее, — торопил халиф. — Но боже мой! Какие ужасы! Зачем это тебе? Меня тошнит!» — «Не будь таким неженкой, — отвечала ему Каратис, — помоги мне лучше привести все это в порядок; увидишь, что именно предметы, внушающие тебе отвращение, окажутся благодетельными. Приготовим костер для жертвоприношения сегодняшней ночью, и не думай о еде, пока мы не сложим его. Разве ты не знаешь, что всякому торжественному обряду должен предшествовать суровый пост?»

Халиф не осмелился возражать и отдался скорби и голоду, терзавшему его; мать же продолжала свое дело. Скоро на балюстрадах башни разместили сосуды со змеиным маслом, мумии и кости. Костер рос и через три часа достиг высоты двадцати локтей. Наконец, наступила тьма, и Каратис с радостью сняла с себя одежды; она хлопала в ладоши и размахивала факелом из человеческого жира; немые подражали ей; Ватек же не выдержал и, обессиленный голодом, потерял сознание.

Уже жгучие капли, падавшие с факелов, охватили огнем магические древесные стволы, по ядовитому маслу вспыхивали голубоватые огоньки, загорелись мумии в клубах темного, густого дыма; скоро огонь достиг рогов единорогов, и тогда распространился такой смрад, что халиф внезапно пришел в себя и окинул отуманенным взором пылавшие вокруг предметы. Горящее масло стека-

ло волнами, а негритянки, поднося все новые его запасы, присоединяли свое завывание к крикам Каратис. Пламя так разбушевало, и гладкая сталь отражала его столь живо, что халиф, не будучи в состоянии выносить жара и блеска, укрылся под сень своего боевого знамени.

Пораженные светом, озарявшим весь город, жители Самарры второпях вставали, подымались на крыши и, видя, что вся башня в огне, полуодетые сбегались на площадь. В эту минуту в них пробудились остатки преданности повелителю, и, опасаясь, что он сгорит в своей башне, они бросились спасать его. Мораканабад вышел из своего убежища, отирая слезы; он призывал к борьбе с огнем, как и прочие. Бабабалук, более привычный к запахам магических снадобий, подозревал, что это дело рук Каратис, и советовал не беспокоиться. Его называли старым плутом и отменным предателем и выслали на помощь верблюдов и дромадеров, нагруженных сосудами с водой; но как проникнуть в башню?

Пока пытались взломать двери, с северо-запада поднялся яростный ветер и далеко отнес пламя. Толпа сначала подалась назад, затем нахлынула с удвоенным рвением. Адские запахи рогов и мумий заражали воздух, и многие, задыхаясь, падали на землю. Другие говорили соседям: «Отойдите, вы распространяете заразу». Мораканабад, страдавший более всех, внушал жалость. Люди зажимали носы, но нельзя было остановить тех, кто выламывал двери. Сто сорок сильнейших и решительнейших добились своего. Они добрались до лестницы и за четверть часа проделали немалый путь по ее ступеням.

Каратис, встревоженная жестами немых и негритянок, приближается к лестнице, спускается на несколько ступеней и слышит крики: «Вот вода!» Для своего возраста она была достаточно проворна и, быстро взбежав на площадку, сказала сыну: «Прекрати жертвоприношение! Сейчас мы сможем устроить его гораздо лучше. Некоторые из этих людей, вообразив, что огонь охватил башню, имели дерзость взломать двери, доселе неприступные, и спешат сюда с водой. Надо сознаться, что они очень добры — они забыли все твои прегрешения; ну что же, все равно! Пусть взойдут, мы принесем их в жертву Гяуру; наши немые достаточно сильны и опыты; они живо разделают-

ся с усталыми». — «Хорошо, — сказал халиф, — пусть только скорее кончают; я хочу есть».

Несчастные вскоре появились. Запыхавшись от подъема в одиннадцать тысяч ступеней, в отчаянии, что их ведра почти пусты, они были ослеплены пламенем, головы их закружились от запаха горящих мумий, и, к сожалению, они уже не в состоянии были заметить приятных улыбок, с которыми немые и негротянки накидывали им петли на шеи; впрочем, это ничуть не убавило радости их милых убийц. Удавливали с необыкновенной легкостью; жертвы падали, не оказывая сопротивления, и умирали, не испустив крика. Скоро Ватек оказался окруженным трупами своих самых верных подданных, которых также бросили в костер. Тут предусмотрительная Каратис нашла, что пора кончать; она приказала натянуть цепи и запереть стальные двери, находившиеся у входа.

Едва исполнили эти приказания, как башня заколебалась; трупы исчезли, и пламя из мрачного, ярко-малинового обратилось в нежно-розовое. Поднялись душистые испарения; мраморные колонны издавали гармонические звуки; расплавленные рога испускали восхитительные благоухания. Каратис была в восторге и заранее наслаждалась успехом своих заклинаний, а немые и негротянки, у которых хорошие запахи вызывали отвращение, удалились ворча в свои логова.

Едва они ушли, зрелище изменилось. Вместо костра, рогов и мумий появился роскошно убранный стол. Среди массы тонких яств виднелись графины с вином и фагфурские вазы, где превосходный шербет покоился на снегу. Халиф коршуном ринулся на все это и принялся за ягненка с фисташками, но Каратис, занятая совсем другим, вытащила из филигранной урны длинейший свиток пергамента, который сын ее даже не заметил. «Перестань, обжора, — сказала она внушительно, — и выслушай, какие чудные обещания даются тебе», и она прочла вслух следующее: «Возлюбленный Ватек! Ты превзошел мои ожидания; я наслаждался запахом твоих мумий и превосходных рогов, а в особенности — кровью мусульман, которую ты пролил на костер. Когда настанет полнолуние, трогайся из дворца со всей возможной пышностью; пусть впереди идут музыканты, играя в рожки и ударяя в литавры. Прикажи следовать за собой избран-

ным рабам, любимейшим женам, тысяче роскошно убранных верблюдов — и направляйся к Истахару. Там я буду ждать тебя; там, увенчанный диадемой Джиана бен Джиана, ты будешь утопать в блаженстве; там тебе вручат талисманы Сулеймана и сокровища древнейших султанов. Но горе тебе, если в пути ты у кого-нибудь остановишься на ночлег».

Несмотря на роскошь, в которой он жил, халиф никогда не обедал так хорошо. Он дал волю радости, которую внушали эти добрые вести, и возобновил свои возлияния. Каратис не питала ненависти к вину и отвечала каждый раз, когда он в насмешку пил за здоровье Магомета. Предательская влага вселила в них в конце концов безбожную самонадеянность. Они принялись богохульствовать; Валаамова ослица, собака Семи Спящих и другие животные, находящиеся в раю Пророка, стали предметом их бесстыдных шуток. В этом прекрасном состоянии спустились они весело по одиннадцати тысячам ступеней, издеваясь над встревоженной толпой на площади, видневшейся сквозь скважины башни; затем сошли в подземелье и явились в царские покои. Там спокойно прогуливался Бабабалук, отдавая приказы евнухам, которые снимали со свечей нагар и подрисовывали прекрасные глаза черкешенок. Увидев халифа, он сказал: «А, теперь ясно, что ты не сгорел; я так и думал». — «Какое нам дело до того, что ты думал или что думаешь, — вскричала Каратис. — Беги к Мораканабаду, скажи, что мы ждем его, да не останавливайся по дороге со своими нелепыми рассуждениями».

Великий везир прибыл тотчас; мать и сын приняли его с большой нежностью, сообщили жалобным тоном, что огонь на вершине башни удалось погасить, но что, к несчастью, это стоило жизни храбрецам, явившимся к ним на помощь.

«Опять несчастья! — вскричал Мораканабад со стоном. — О повелитель правоверных! святой Пророк, без сомнения, разгневался на нас, тебе надлежит умиловать его». — «Мы его отлично умилюстивим, — ответил халиф с улыбкой, не предвещавшей добра. — У тебя будет достаточно свободного времени для молитв; эта страна губит мое здоровье, мне необходима перемена климата; гора четырех источников надоела мне, я должен

испыт из источника Рохнабада и освежиться в прекрасных долинах, которые он орошает. В мое отсутствие ты будешь править государством по указанию моей матери и примешь на себя заботы обо всем, что может понадобиться для ее опытов; ты знаешь, что наша башня полна драгоценными для знания предметами».

Башня совсем не нравилась Мораканабаду; на ее постройку были израсходованы несметные сокровища, и он знал лишь, что там негритянки, немые и какие-то отвратительные снадобья. Его весьма смущала также Каратис, менявшаяся, как хамелеон. Ее проклятое красноречие часто выводило из себя бедного мусульманина. Но если она не особенно ему нравилась, сын был еще хуже, и везир радовался, что избавится от него. Итак, он отправился успокоить народ и приготовить все к отъезду повелителя.

Надеясь этим еще более угодить духам подземного дворца, Ватек желал обставить путешествие с неслыханной роскошью. Для этого он конфисковывал направо и налево имущество своих подданных, а его достойная мать ходила по их гаремам, собирая попадавшиеся ей там драгоценности. Все портнихи и золотошвейки Самарры и других больших городов на пятьдесят миль вокруг без отдыха работали над паланкинами, софами, диванами и носилками, предназначавшимися для поезда монарха. Были взяты все чудесные ткани Масулипатана, и, чтобы приукрасить Бабабалука и других черных евнухов, потребовалось столько муслина, что во всем вавилонском Ираке не осталось его ни единого локтя.

Пока шли эти приготовления, Каратис устраивала небольшие ужины, чтобы снискать благосклонность темных сил. Она приглашала известнейших своей красотой женщин; особенно ценились белокурые, хрупкого сложения. Эти ужины отличались несравненным изяществом; но когда веселье становилось общим, евнухи пускали под стол гадюк и высыпали под ноги полные горшки скорпионов. Гады жалили превосходно. Каратис делала вид, что ничего не замечает, и никто не смел двинуться с места. Когда же у кого-нибудь из гостей начиналась агония, она забавлялась тем, что перевязывала раны отличным териакom собственного приготовления: добрая царица не выносила праздности.

Ватек не был столь трудолюбив. Он проводил время в удовлетворении чувств, которым были посвящены его дворцы. Его не видели больше ни в Диване, ни в мечети; и в то время, как половина Самарры следовала его примеру, другая содрогалась при виде все усиливающейся разнузданности нравов.

Между тем из Мекки вернулось посольство, отправленное туда в более благочестивые времена. Оно состояло из наиболее почитаемых мулл. Они прекрасно выполнили свою миссию и привезли драгоценную метлу, одну из тех, которыми подметали священную Каабу,— подарок, поистине достойный величайшего государя земли.

В это время халиф находился в неподобающем для приема послов месте. Он слышал голос Бабабалука, воскликнувшего за занавеской: «Тут превосходный Эдрис аль-Шафеи и ангелоподобный Муатэддин привезли из Мекки метлу и со слезами радости жаждут преподнести ее вашему величеству». — «Пусть подадут ее сюда», — сказал Ватек, — она может кое на что пригодиться». — «Разве это возможно?» — ответил Бабабалук вне себя. — «Повинуйся», — возразил халиф, — ибо такова моя высшая воля: именно здесь, а не где-либо в другом месте я желаю принять этих добрых людей, которые приводят тебя в такой восторг».

Евнух ворча удалился и приказал почтенной свите следовать за собой. Священная радость охватила достойных старцев, и, хотя они устали от долгого пути, они все же шли за Бабабалуком с изумительной легкостью. Они проследовали величественными портиками и сочли очень для себя лестным, что халиф принимает их не в зале для аудиенций, как обыкновенных смертных. Скоро они попали в сераль, где по временам из-за богатых шелковых занавесей появлялись и исчезали, как молнии, прекрасные синие и черные глаза. Проникнутые почтением и удивлением и преисполненные своей божественной миссией, старцы шли вереницей по бесконечным маленьким коридорам, которые вели к той комнатке, где ждал их халиф.

«Не болен ли Повелитель правоверных?» — сказал шепотом Эдрис аль-Шафеи своему спутнику. — «Он, очевидно, в молельне», — ответил аль-Муатэддин. Ватек, слышавший этот диалог, крикнул: «Не все ли равно, где я? Входите»

И, протянув руку из-за занавеси, он потребовал священную метлу. Все почтительно пали ниц, насколько позволял тесный коридор, так что даже получился правильный полукруг. Достопочтенный Эдрис аль-Шафеи вынул метлу из расшитых благовонных пелен, защищавших ее от взглядов непосвященных, отделился от товарищей и торжественно двинулся к комнатке, которую считал молельней. Каково же было его удивление, его ужас! Ватек со смехом выхватил из его дрожащей руки метлу и, нацелившись на паутинки, висевшие кое-где на лазоревом потолке, смел их все до одной.

Пораженные старцы, опустив бороды, не смели поднять головы. Но они видели все: Ватек небрежно отдернул занавес, отделявший его от них. Слезы их омочили мрамор. Аль-Муатэддин от огорчения и усталости потерял сознание, а халиф хохотал до упаду и безжалостно хлопал в ладоши. — «Мой дорогой черномазый, — сказал он, наконец, Бабабалуку, — попотчуй этих добрых людей моим ширазским вином. Так как они могут похвастаться, что знают лучше других мой дворец, то пусть им будет оказана величайшая честь». С этими словами он бросил им в лицо метлу и с хохотом ушел к Каратис. Бабабалук сделал все возможное, чтобы утешить старцев, но двое самых слабых умерли тут же на месте, остальные в отчаянии, не желая жить, велели отнести себя в постели, с которых уже не встали.

На следующую ночь Ватек с матерью взошли на вершину башни, чтобы спросить светила о путешествии. Так как созвездия были весьма благоприятны, халиф пожелал насладиться столь привлекательным зрелищем. Он весело поужинал на площадке, еще черной от ужасного жертвоприношения. Во время пира в воздухе раздавались раскаты громового хохота, что он счел за доброе знамение.

Весь дворец был в движении. Огни не тушили всю ночь; стук молотков по наковальням, голоса женщин, вышивавших с пением, и их стражей — все нарушало тишину природы и чрезвычайно нравилось Ватеку; ему казалось уже, что он с триумфом восходит на трон Сулеймана.

Народ был доволен не менее его. Все принялись за дело, чтобы ускорить мгновение, которое должно было

принести им освобождение от тирании столь странного властелина.

За день до отъезда этого безрассудного монарха Каратис сочла нужным возобновить свои советы. Она не переставала повторять таинственные повеления пергамента, которые выучила наизусть, и особенно настаивала на том, чтобы он ни к кому не заезжал в пути. «Я хорошо знаю,— говорила она,— что ты любитель вкусных блюд и молодых девушек, но довольствуйся своими старыми поварами, лучшими в мире, и помни, что в твоём походном гареме не менее трех дюжин красавиц, с которых Бабабалук еще не снимал фаты. Если бы мое присутствие здесь не было необходимым, я сама наблюдала бы за твоим поведением. У меня большое желание видеть этот подземный дворец, изобилующий разными вещами, интересными для таких людей, как мы с тобой; больше всего мне нравятся подземелья; я имею пристрастие к трупам и мумиям и бьюсь об заклад, что ты найдешь там много вещей в этом роде. Не забывай же меня и, когда завладеешь талисманами, которые должны дать тебе власть над царством совершенных металлов и открыть недра земли, отправь сюда какого-нибудь верного гения за мной и моими коллекциями. Масло змей, которых я защищала насмерть, будет прекрасным подарком для нашего Гяура: он, наверно, любит такого сорта лакомства».

Когда Каратис кончила свою превосходную речь, солнце село за горой четырех источников, уступив место луне. Было полнолуние; женщинам, евнухам и пажам, горевшим желанием тронуться, это светило казалось огромным и необычайно прекрасным. Город огласился радостными криками и звуками труб. Всюду на шатрах развешались перья, и в мягком свете луны блестели султаны. Большая площадь походила на цветник, разукрашенный лучшими тюльпанами Востока.

Халиф в парадном одеянии, опираясь на везира и Бабабалука, сошел по главной лестнице башни. Толпа простерлась ниц, и тяжело навьюченные верблюды стали перед ним на колени. Зрелище было великолепное, и сам халиф остановился, чтобы полюбоваться им. Царила благоговейная тишина, лишь слегка нарушаемая криками евнухов в арьергарде. Эти бдительные слуги заметили, что некоторые паланкины с женщинами слишком наклонились

в одну сторону: туда успели ловко проскользнуть какие-то смельчаки; но их тотчас вышвырнули и отдали хирургам серала с должными наставлениями.

Эти маленькие события не уменьшили величия торжественной сцены; Ватек дружески приветствовал луну; юристы же, везиры и придворные, собравшиеся, чтоб насладиться последним взглядом государя, были оскорблены таким идолопоклонством. Наконец, рожки и трубы с вершины башни дали сигнал к отъезду. Некоторым диссонансом в общей стройности была лишь Каратис, распевавшая гимны Гяуру; ей басом вторили негротянки и немые. Добрые мусульмане приняли это за жужжание ночных насекомых, что считалось дурным предзнаменованием, и умоляли Ватека заботиться о своей священной особе.

Вот поднимают большое знамя халифов; блестят двадцать тысяч копий свиты; халиф, величественно попирая расшитую золотом ткань, которую разостлали перед ним, садится в носилки под радостные клики подданных. Шествие тронулось в таком порядке и тишине, что слышно было стрекотание кузнечиков в кустарниках равнины Катула. До рассвета сделали добрых шесть миль, и утренняя звезда мерцала еще на небе, когда многолюдная процессия прибыла к берегу Тигра, где разбили шатры, чтобы отдохнуть до конца дня.

Так прошло трое суток. На четвертые небо яростно вспыхнуло тысячами огней; раздался оглушительный удар грома, и испуганные черкешенки в страхе принялись обнимать своих отвратительных стражей. Халиф уже начинал жалеть о своем Дворце Чувств; ему очень захотелось укрыться в городке Гульшиффаре, правитель которого явился к нему с запасами провианта. Но, взглянув на дощечки, он мужественно остался мокнуть под дождем, несмотря на настояния приближенных. Он слишком близко принимал к сердцу свою затею, и великие надежды поддерживали в нем мужество. Скоро караван заблудился; позвали географов, чтобы определить, где находятся; но их подмокшие карты были в таком же плачевном виде, как и они сами, притом со времен Гаруна аль-Рашида не предпринимались столь далекие путешествия, так что никто не знал, какого направления держаться. Ватек, хорошо разбиравшийся в расположении небесных светил,

плохо представлял себе, где он находится на земле. Он разразился бранью, более яростной, чем гром, и упоминал о виселице, что не было особенно приятно для слуха ученых. Наконец, желая непременно настоять на своем, он приказал направиться по крутым скалам, избрав дорогу, которая, как ему казалось, приведет их в четыре дня к Рохнабату: сколько его ни предостерегали, он поступил по-своему.

Женщины и евнухи, никогда ничего подобного не видевшие, дрожали и испускали жалобные крики при виде ущелий и страшных пропастей, по краям которых вилась тропинка. Ночь наступила прежде, чем караван достиг перевала. Налетел ветер, разорвал в клочья занавески паланкинов и носилок, и несчастные женщины оказались во власти стихий. Тьма увеличивала ужас этой бедственной ночи; только и слышны были стенания пажей и плач женщин.

К довершению несчастья раздался грозный рев, и скоро в чаще леса замелькали сверкающие глаза — это могли быть лишь тигры или дьяволы. Работники, занятые исправлением дороги, и часть авангарда были растерзаны, не успев сообразить, в чем дело. Произошло крайнее замешательство: волки, тигры и другие хищники сбегались со всех сторон. Хрустели кости, в воздухе раздались ужасающее хлопанье крыльев; коршуны принялись за дело.

Наконец, ужас охватил и свиту монарха и его сераль, которые находились в двух милях оттуда. Ватек, оберегаемый евнухами, не знал еще ничего, он лежал в своих просторных носилках на мягких шелковых подушках; два маленьких пажа, белее эмали Франгистана, отгоняли от него мух, а он спал глубоким сном, и ему представлялись блистательные сокровища Сулеймана. Вопли женщин внезапно пробудили его, и вместо Гяура с золотым ключом он увидел Бабабалука, остолбеневшего от страха. «Государь! — воскликнул верный слуга могущественнейшего из монархов. — Несчастье! Лютые звери, для которых ты не лучше мертвого осла, напали на верблюдов и пожрали тридцать наиболее тяжело навьюченных вместе с их погонщиками; твоих пекарей, поваров и тех, кто вез провизию для твоего стола, постигла та же участь, и, если наш святой Пророк не защитит нас, нам

нечего будет есть». При слове «есть» халиф совершенно растерялся; он завопил и принялся бить себя в грудь. Бабабалук, видя, что повелитель совсем потерял голову, заткнул себе уши, чтобы по крайней мере не слышать гама сераля. И так как мрак сгущался и тревога росла, он решился на героическое средство. «Женщины, и вы, мои собратья! — крикнул он изо всех сил. — За дело! Добудем скорее огня! Чтобы не сказали, что Повелитель правоправных послужил пищей подлым зверям».

Хотя среди красавиц было немало капризных и неговорящих, на этот раз все повиновались. Вмиг зажглись огни во всех паланкинах. Вспыхнуло десять тысяч факелов, все, не исключая халифа, вооружились толстыми восковыми свечами. Обмотав концы длинных шестов паклей, пропитанной маслом, зажгли их, и утесы осветились как днем. В воздухе понеслись тучи искр, ветер раздувал их, загорелись папоротники и кустарники. Пожар быстро разросся; страшно шипя, поползли со всех сторон змеи, в отчаянии покидая свои жилища. Лошади, вытянув головы, ржали, били копытами и беспощадно лягались.

Запылал кедровый лес, подле которого они ехали, и по склоненным к дороге веткам огонь перекинулся на паланкины, в которых сидели женщины; вспыхнули тонкий муслин и прекрасные ткани, и красавицам пришлось выскакать с риском сломать себе шею. Ватек, изрыгая тысячи проклятий, вынужден был, по примеру других, сойти своей священной особой на землю.

Произошло нечто невообразимое: женщины, не зная как выпутаться из беды, падали в грязь, в досаде, стыде и бешенстве. «Чтобы я пошла!» — говорила одна; «Чтобы я промочила себе ноги!» — говорила другая; «Чтобы я запачкала себе платье!» — восклицала третья; «Гнусный Бабабалук, — кричали все они разом, — отброс ада! Зачем тебе понадобились факелы? Лучше бы нас сожрали тигры, чем показаться в таком виде при всех. Мы навсегда опозорены. Всякий носильщик в войске, всякий чистильщик верблюдов будет хвастаться, что видел часть нашего тела, а что еще хуже, наши лица». С этими словами самые скромные бросились лицом в дорожные колеи. Более смелые не прочь были бросить туда самого Бабабалука, но хитрец знал их и кинулся бежать изо всех сил со своими товарищами, потрясая факелами и ударяя в литавры

От пожара стало светло и тепло, как в лучший солнечный летний день. О ужас, сам халиф увязал в грязи: как обыкновенный смертный! У него мутился рассудок, и он не мог двигаться дальше. Одна из его жен, эфиопка (у него был очень разнообразный гарем), сжалилась над ним, схватила его, взвалила на плечи и, видя, что огонь надвигается со всех сторон, несмотря на тяжесть ноши, помчалась стрелой. Другие женщины, которым опасность вернула силы, последовали за ней, сколь могли быстро; затем поскакала стража, и конюхи, толкаясь, погнали верблюдов.

Наконец, достигли места, где недавно еще неистовствовали дикие звери; но животные были достаточно умны и удалились, заслышав этот ужасный гам; к тому же они успели уже отлично поужинать. Бабабалук все же бросился на двух-трех самых жирных, которые так наелись, что не могли двигаться, и стал тщательно сдирать с них шкуры. Так как пожар остался уже довольно далеко и жара сменилась приятным теплом, то решили остановиться здесь. Подобрали лоскутья раскрашенных палаток; предали земле остатки пиршества волков и тигров; выместили злобу на нескольких дюжинах коршунов, наевшихся до отвала, и, пересчитав верблюдов, невозмутимо удобрявших почву своими отправлениями, разместили кое-как женщин и разбили шатер халифа на возможно ровном месте.

Ватек растянулся на пуховой перине, понемногу оправляясь от скачки на эфиопке — она была тряским коном! Отдых вернул ему обычный аппетит; он попросил есть, но, увы, мягкие хлебы, которые пеклись в серебряных печах для его царственных уст, вкусные пирожные, душистые варенья, фиалы ширазского вина, фарфоры со снегом, превосходный виноград с берегов Тигра — все исчезло! Бабабалук мог предложить ему лишь жесткого жареного волка, тушеное мясо коршунов, горькие травы, ядовитые грибы, чертополох и корень мандрагоры, изъязвлявший горло и обжигавший язык. Из напитков у него оказалось несколько склянок плохой водки, которую поварята спрятали в туфлях. Понятно, что такой отвратительный обед должен был привести Ватека в отчаяние; он затыкал себе нос и жевал с ужасными гримасами. Тем

не менее поел недурно и лег спать, для лучшего пищеварения.

Между тем тучи скрылись за горизонтом. Палило солнце, и лучи его, отражаясь от скал, жгли халифа, несмотря на то что он укрывался за занавесями. Рои зловонных мушек цвета полыни кусали его до крови. Будучи не в силах терпеть, он внезапно проснулся и, не зная как быть, изо всех сил стал отбиваться от них; Бабабалук же по-прежнему храпел, весь в отвратительных насекомых, ухаживавших в особенности за его носом. Маленькие пажы побросали свои опахала. Полумертвые, они слабыми голосами горько упрекали халифа, в первый раз в жизни услышавшего правду.

Тогда он снова стал проклинать Гяура и выказал даже некоторую благосклонность к Магомету. «Где я? — воскликнул он. — Что это за ужасные скалы, за мрачные долины? Или мы пришли к страшному Кафу? Может быть, Симург выключет мне сейчас глаза в наказание за безбожное предприятие?» С этими словами он вынул голову в отверстие палатки. Но что за зрелище представилось ему! С одной стороны бесконечная равнина черного песку, с другой — отвесные скалы, поросшие мерзким чертополохом, жгучий вкус которого он ощущал до сих пор. Ему, правда, показалось, что среди терний и колючих растений он различает гигантские цветы, но он ошибался: это были лохмотья разноцветных тканей и остатки шатров его великолепного каравана. В утесах было много расщелин, и Ватек стал прислушиваться, надеясь услышать шум какого-нибудь потока; но до него доносился лишь глухой ропот спутников, проклинавших путешествие и требовавших воды. Некоторые даже рядом с ним кричали: «Зачем нас привели сюда?», «Разве нашему халифу нужно построить еще башню?», «Или здесь живут безжалостные африты, которых так любит Каратис?»

При имени Каратис Ватек вспомнил о дощечках, которые она ему дала и к которым советовала прибегать в крайних случаях. Он начал перебирать их и вдруг услышал радостные крики и хлопанье в ладоши; завеса его шатра раздвинулась, и он увидел Бабабалука с частью его приближенных. Они вели двух карликов, вышиной с локоть; малютки несли большую корзину с дынями, апельсинами и гранатами; серебряными голосами они пропели

следующее: «Мы живем на вершине этих скал, в хижине, сплетенной из тростника и камыша; нашему жилищу завидуют орлы; маленький источник служит нам для абдеста, и не проходит дня, чтобы мы не читали положенных святым пророком молитв. Мы все любим тебя, Повелитель правоверных! Наш господин, добрый эмир Факреддин, любит тебя также. Он почитает в тебе наместника Магомета. Хотя мы и малы, он доверяет нам; он знает, что наши сердца столь же добры, сколь ничтожны мы с виду; и он поселил нас здесь, чтобы помогать заблудившимся в этих унылых горах. Прошлой ночью мы читали в своей маленькой келье Коран, как вдруг порывистый ветер, от которого задрожало наше жилище, задул огонь. Два часа мы провели в глубочайшей тьме; и вот в отдалении мы слышали звуки, которые приняли за колокольчики кафилы, пробирающегося среди скал. Вскоре крики, рев и звон литавр поразили наш слух. Оцепенев от ужаса, мы подумали, что это Деджиал со своими ангелами-истребителями пришел поразить землю. В это время кровавого цвета пламя вспыхнуло над горизонтом, и спустя несколько мгновений мы были засыпаны искрами. Вне себя от ужасного зрелища, мы встали на колени, развернули книгу, вдохновенную блаженными духами, и при свете, разливавшемся вокруг, прочли стих, гласящий: «Должно уповать лишь на милосердие Неба; надейтесь только на святого Пророка; гора Каф может поколебаться, но могущество Аллаха незыблемо». Едва мы произнесли эти слова, неземное спокойствие овладело нашими душами; настала глубокая тишина, и мы ясно расслышали голос, произнесший: «Слуги моего верного слуги, наденьте свои сандалии и спуститесь в счастливую долину, где обитает Факреддин; скажите ему, что ему представляется блестящий случай утолить жажду гостеприимного своего сердца: сам Повелитель правоверных заблудился в этих горах; нужно ему помочь». С радостью выполнили мы повеление ангела, а наш господин, полный благочестивого рвения, собственноручно собрал эти дыни, апельсины и гранаты; он следует за нами с сотнею дромадеров, нагруженных мехами самой чистой воды из его фонтанов; он будет целовать бахрому твоей священной одежды и будет умолять тебя посетить его скромное жилище, среди этих

безводных пустынь подобное изумруду, врезанному в свинец». Кончив, карлики продолжали стоять в глубоком молчании, со сложенными на груди руками.

Во время этой прекрасной речи Ватек взялся за корзину, и задолго до того, как ораторы кончили, фрукты растаяли у него во рту. По мере того, как он ел, к нему возвращалось благочестие; он повторял молитвы и требовал одновременно Алькоран и сахару.

В таком настроении Ватек случайно взглянул на дощечки, которые отложил при появлении карликов; он взял их снова — и точно свалился с неба на землю, увидев слова, выведенные красными буквами рукою Каратис; смысл их заставлял вздрогнуть: «Берегись старых книжников и их маленьких гонцов, в локоть ростом; остерегайся их благочестивых обманов; вместо того, чтобы есть их дыни, следует посадить их самих на вертел. Если ты поддашься слабости и пойдешь к ним, дверь подземного дворца захлопнется и раздавит тебя. Твое тело будет оплевано, и летучие мыши совьют гнезда в твоём брюхе».

«Что значит эта грозная галиматья? — вскричал халиф. — Неужели нужно погибать от жажды в этих песчаных пустынях, когда я могу отдохнуть в счастливой долине дынь и огурцов? Будь проклят Гяур со своим эбеновым входом! Достаточно я терял времени из-за него! Да и кто может предписывать мне законы? Я не должен ни к кому заходить, говорят мне. Да разве я могу прийти в такое место, которое мне уже не принадлежит?» Бабабалук, не проронивший ни слова из этого монолога, одобрил его от всего сердца, и с ним были согласны все женщины, чего до сих пор ни разу не случалось.

Карликов приняли гостеприимно, обласкали, посадили на маленькие атласные подушки; любовались пропорциональностью их маленьких тел, хотели разглядеть их во всех подробностях; предлагали брелоки и конфеты; но они отказались с удивительной важностью. Затем они вскарабкались на возвышение, где находился халиф, и, усевшись на его плечи, стали шептать ему на ухо молитвы. Их маленькие язычки шевелились, как листья осин, и терпение Ватека начало истощаться, когда радостные восклицания

цания возвестили о прибытии Факреддина с сотнею длиннородых старцев, Алькоранами и дромадерами. Быстро принялись за омовение и за произнесение «бисмиллаха». Ватек отделался от своих назойливых наставников и последовал примеру прибывших; его очень разбирало нетерпение.

Добрый эмир был до крайности религиозен и любил говорить приятное; он произнес речь в пять раз длиннее и в пять раз неинтереснее, чем его маленькие предшественники. Халиф, не выдержав, вскричал: «Дорогой Факреддин, ради самого Магомета, довольно! Пойдем в твою зеленую долину, я хочу подкрепиться чудными плодами, дарованными тебе небом». При слове «идем» все тронулись в путь. Старцы ехали довольно медленно, но Ватек тайком приказал маленьким пажам прищипорить их дромадеров. Прыжки животных и замешательство восьми-десятилетних всадников были до того забавны, что во всех паланкинах раздавались взрывы хохота.

Тем не менее они благополучно спустились в долину по огромным ступеням, которые эмир распорядился положить в скалах; стало доноситься журчание ручьев и шорох листьев. Скоро караван вступил на тропинку, по краям которой росли цветущие кустарники; она привела к большому пальмовому лесу, осенявшему своими ветвями обширное здание из тесаного камня. Это строение увенчивалось девятью куполами и было украшено столькими же бронзовыми порталами с надписями эмалью: «Здесь — убежище богомольцев, приют путников и сокровищница тайн всего света».

У каждой двери стояло девять прекрасных, как солнце, пажей, в скромных длинных одеждах из египетского полотна. Они радушно и приветливо встретили прибывших, и четверо самых красивых посадили халифа на роскошный техтраван; четверо других, несколько менее привлекательных, занялись Бабабалуком, затрепетавшим от радости при виде хорошего жилья; о свите позаботились остальные.

Когда мужчины ушли, дверь большой залы с правой стороны растворилась на певучих петлях, и оттуда вышла стройная молодая девушка с светло-пепельными волосами, которые слегка развевал вечерний ветерок. За ней, подобно

плеядам, следовали ее подруги, едва касаясь ногами земли. Все они направились к шатрам, где находились султанши; и девушка с грациозным поклоном сказала им: «Очаровательные дамы, все готово; мы устроили вам ложа для отдыха и набросали в ваши покои жасмину; ни одно насекомое не потревожит вашего сна: мы будем отгонять их сотнями опахал. Идите же, милые гости, освежите ваши нежные ноги и белоснежные тела в бассейнах розовой воды; и при мягком свете благовонных лампад наши прислужницы будут рассказывать вам сказки». Султанши с удовольствием приняли это учтивое приглашение и последовали за девушкой в гарем эмира. Но оставим их на минуту и возвратимся к халифу.

Его повели во дворец с огромным куполом, освещенный сотнями свечей из горного хрусталя. Множество ваз из того же вещества с отличным шербетом сверкали на большом столе, где в изобилии находились тонкие яства, среди прочего — рис в миндальном молоке, шафранный суп и ягненок со сливками — любимое кушанье халифа. Он съел его необычайно много, на радостях изъяслял дружбу эмиру и, несмотря на отказы карликов, заставил их плясать; набожные малютки не смели ослушаться Повелителя правоверных. Наконец, он растянулся на софе и заснул покойнее, чем когда-либо.

Под куполом царил глубокая тишина, нарушавшаяся лишь чавканьем Бабабалука, вознаграждавшего себя за вынужденный пост в горах. Так как евнух был в слишком хорошем настроении, чтобы заснуть, и не любил праздности, то решил отправиться в гарем, присмотреть за своими женщинами, взглянуть, натерлись ли они своевременно меккским бальзамом, в порядке ли их брови и все прочее, — одним словом, оказать им мелкие услуги, в которых они нуждались.

Долго и безуспешно искал он двери в гарем. Боясь разбудить халифа, евнух не смел кричать, а во дворце все безмолствовало. Он стал уже отчаиваться, как вдруг услышал тихое шушуканье: это карлики вернулись к своему обычному занятию — в девятьсот девятый раз в жизни перечитывали Алькоран. Они очень вежливо предложили Бабабалуку послушать их, но он был занят другим. Карлики, хотя и несколько обиженные, все же указали ему путь в покои, которые он искал. Для этого нужно было

идти множеством очень темных коридоров. Он пробирался ощупью и, наконец, в конце длинного прохода, услышал милую болтовню женщин. Сердце его радостно забилося. «А, вы еще не спите! — воскликнул он, приближаясь большими шагами. — Не думайте, что я сложил с себя свои обязанности; я остался только доесть обеда, ки со стола нашего повелителя». Два черных евнуха, услышав столь громкий голос, поспешно бросились ко входу, с саблями в руках; но со всех сторон раздались восклицания: «Да это Бабабалук, всего только Бабабалук!» Действительно, бдительный страж приблизился к завесе из алого шелка, сквозь которую проникал приятный свет, и увидел большой овальный бассейн из темного порфира. Его окаймляли занавеси в пышных складках; они были наполовину отдернуты, и за ними виднелись группы юных рабынь, среди которых Бабабалук узнал своих прежних питомиц, в неге простиравших руки, как бы стараясь охватить благоуханную воду и восстановить свои силы. Томные и нежные взгляды, шепот на ухо, очаровательные улыбки, сопровождавшие маленькие тайны, сладкий запах роз — все дышало сладострастием, заражавшим самого Бабабалука.

Однако он сохранил серьезность и повелительным тоном приказал красавицам выйти из воды и как следует причесаться. Пока он отдавал приказания, юная Нурониар, дочь эмира, миловидная и шаловливая, как газель, сделала знак одной из своих рабынь, тихонько спустить вниз большие качели, прикрепленные к потолку шелковыми шнурами. Сама же она жестами объяснялась с женщинами, сидевшими в бассейне; они были недовольны, что нужно покинуть это прибежище неги, путали себе волосы, чтобы подразнить Бабабалука, и затевали множество разных шалостей.

Увидев, что евнух готов рассердиться, Нурониар приблизилась к нему с видом крайнего почтения и сказала: «Господин, не подобает, чтобы начальник евнухов халифа, нашего Повелителя, все время стоял; сообрази, любезный гость, отдохнуть на софе, которая лопнет с досады, если не удостоится такой чести». Очарованный этой лестью, Бабабалук вежливо ответил: «Отрада моего взора, я принимаю предложение, исходящее из твоих сладчайших уст; признаюсь, от восторга пред твоими

блистательными прелестями я ослабел». — «Отдохни же», — ответила красавица, сажая его на мнимую софу. Едва он сел, как она взвилась молнией. Увидев в чем дело, нагие женщины выскочили из купальни и принялись бешено раскачивать качели. Вскоре они стали пролетать все пространство высокого купола, так что у бедного Бабабалука захватило дыхание. Он то касался воды, то тут же стучался носом в стекло; тщетно кричал он хриплым, надтреснутым голосом: взрывы хохота заглушали его.

Нурониар была опьянена молодостью и весельем; она привыкла к евнухам обыкновенных гаремов, но никогда не видела столь отвратительного и высокопоставленного, поэтому она забавлялась больше всех. Затем она принялась петь, пародируя персидские стихи: «Нежный и белый голубь, несущийся в воздухе, взгляни на свою верную подругу! Певец — соловей, я — твоя роза; спой же мне славную песенку».

Султанши и рабыни, воодушевленные этими шутками, так раскачали качели, что шнуры оборвались, и бедный Бабабалук, как неуклюжая черепаха, грохнулся в бассейн. Раздался общий крик; распахнулись двенадцать потайных дверей, и женщины исчезли, забросав Бабабалука бельем и погасив огонь.

В темноте, по горло в воде, бедный урод не мог высвободиться из-под вороха наброшенных на него платьев и, к крайнему своему огорчению, слышал со всех сторон взрывы хохота. Напрасно пытался он выкарабкаться из бассейна: руки его скользили по краям, облитым маслом из разбитых ламп, и он вновь падал, с глухим шумом, отдававшимся под высокими сводами. И каждый раз предательский смех возобновлялся. Полагая, что это место населено скорее демонами, чем женщинами, он решил не предпринимать более никаких попыток, а смиренно ждать. Его досада изливалась в проклятиях, из которых лукавые соседки, небрежно лежавшие вместе, не проронили ни слова. Утро застало евнуха в этом милом положении; и только тогда его вытащили из-под груды белья, полузадохшегося и промокшего насквозь.

Халиф уже приказал искать его повсюду, и он предстал пред своим повелителем, хромая; от холода у него не попадал зуб на зуб. Увидев его в таком состоянии, Ватек

вскричал: «Что с тобой? Кто тебя так отделал?» — «А тебя кто заставил заходить в это проклятое логово? — спросил Бабабалук в свою очередь. — Разве подобает такому государю, как ты, укрываться со своим гаремом у старого бородача эмира, который ничего не смыслит в приличиях? Что за девушек держит он здесь! Представь себе, они вымочили меня, как корку хлеба, заставили, как скомоороха, всю ночь плясать на проклятых качелях! Отличный пример твоим султаншам, которым я так усиленно внушал правила благопристойности!»

Ватек ничего не понял из его слов и приказал рассказать все по порядку. Но вместо того, чтобы пожалеть беднягу, он принялся громко хохотать, представляя себе его на качелях. Бабабалук был оскорблен и едва сдерживался в пределах почтительности. «Смейся, смейся, Повелитель! Хотел бы я, чтобы эта Нурониар выкинула и над тобой какую-нибудь шутку; она достаточно зла и не пощадит даже тебя». Эти слова не произвели сначала на халифа особенного впечатления: но впоследствии он вспомнил о них.

Между тем явился Факреддин и пригласил Ватека на торжественные молитвы и омовения, совершавшиеся на обширном лугу, орошаемом множеством ручьев. Халиф нашел, что вода прохладна, а молитвы смертельно скучны. Его развлекало лишь множество календеров, аскетов и дервишей, бродивших взад и вперед по лугу. Особенно забавляли его браманы, факиры и разные святоши из Индии, которым эмир давал приют во время их путешествия. У каждого из этих людей были свои причуды: одни таскали длинные цепи; другие водили орангутангов; третьи были вооружены бичами, и все превосходно выполняли свои упражнения. Некоторые лазили по деревьям, стояли с неподвижно вытянутой ногой, качались над небольшим огнем, беспощадно щелкали себя по носу. Были между ними и любители паразитов; последние платили им взаимностью. Эти странствующие ханжи возбуждали отвращение в дервишах, календерах и аскетах. Их собрали в надежде, что присутствие халифа излечит их от безумия и обратит в мусульманскую веру; но, увы, это была жестокая ошибка! Вместо того, чтобы проповедовать им, Ватек обращался с ними, как с шутами, просил от его лица кланяться Вишне и Ихору и в особенности

заялся одним толстым стариком с острова Серендиба, самым смешным из всех. «Эй,— сказал он ему,— во имя твоих богов, сделай какой-нибудь забавный прыжок!» Обиженный старец заплакал, и так как скучно было на него смотреть, Ватек отвернулся. Бабабалук, сопровождавший халифа с зонтом, сказал ему: «Пусть твоя светлость остерегается этого сброда. Что за дурацкая мысль собрать их здесь! Возможно ли, чтобы великого государя потчевали подобным зрелищем, с шелудивыми монахами в виде дивертисмента! На твоём месте я приказал бы развести хороший огонь и очистил бы землю от эмира с его гаремом и от всего его зверинца». — «Замолчи,— ответил Ватек.— Меня все это крайне занимает, и я не уйду с луга, пока не пересмотрю всех скотов, что живут здесь».

По мере того как халиф подвигался вперед, ему показывали все новых и новых несчастных: слепых, полуслепых, безносых мужчин, безухих женщин — все это, чтобы выставить напоказ великое милосердие Факреддина, раздававшего со своими старцами припарки и пластыри. В полдень эмир устроил великолепное шествие калек, и скоро вся равнина покрылась группами убогих. Слепые шли ощупью за слепыми; хромые прихрамывали целым отрядом, а однорукие размахивали своей единственной рукой. На берегу большого водопада разместились глухие; у пришедших из Пегу уши были самые красивые и самые большие, но их привилегия состояла в том, что слышали они меньше всех. Здесь встречались также уродства всех сортов — зобы, горбы и даже рога, у многих удивительно гладкие.

Эмир хотел придать этому празднику соответствующую торжественность и воздать всевозможные почести своему именитому гостю, поэтому он приказал расстелить на траве множество шкур и скатертей. Подали разные сорта плова и другие освященные религией яства добрых мусульман. Ватек, до бесстыдства веротерпимый, позаботился заказать кое-какие недозволенные блюда, оскорблявшие чувства правоверных. Скоро все благочестивое собрание принялось с большим аппетитом за еду. Халифу очень хотелось последовать их примеру, и, несмотря на все увещания главного евнуха, он пожелал отобедать тут же. Тотчас эмир приказал поставить стол в тени ив. В качестве первого блюда подали рыбу, пойманную тут же

в реке, протекавшей по золотому песку, у подножья очень высокого холма. Ее жарили, едва вытащив из воды, и приправляли изысканными травами с горы Синая: у эмира все делалось столь же превосходно, как и благочестиво.

Пиршество было в разгаре, когда внезапно послышались мелодичные звуки лютен, а эхо повторило их на холмах. Халиф с удивлением и радостью поднял голову, и ему в лицо попал букет жасмина. Вслед за этой маленькой шуткой раздался дружный смех, и в кустарниках мелькнуло несколько молодых девушек, легких, как дикие козочки. Благоухание их надушенных волос донеслось до Ватека; он прервал трапезу и, словно очарованный, сказал Бабабалуку: «Не пери ли это сошли со своих сфер? Видишь ту, с тонкой талией, что мчится так отважно по краю пропасти, не глядя перед собой, повернув голову так, как будто занята лишь красотой складок своей одежды? С каким прелестным нетерпением отцепляет она от кустарника свое покрывало! Не она ли бросила мне жасмин?» — «О, наверно, она, — ответил Бабабалук, — это такая девушка, что и тебя может сбросить со скалы; это моя приятельница Нурониар, так мило предложившая мне свои качели. Дорогой Господин и Повелитель, — продолжал он, отламывая ветку ивы, — позволь мне догнать ее и выпороть за непочтительное отношение к тебе. Эмир не будет в обиде, ибо хотя я и отдаю должное его благочестию, но он совершает большую ошибку, пуская в горы стадо этих девушек; свежий воздух рождает чересчур вольные мысли».

«Молчи, богохульник! — сказал халиф. — Не смей говорить так о той, кто увлекает мое сердце в эти горы. Устрой лучше так, чтобы я впивал свет ее очей и мог вдыхать ее сладкое дыхание. С какой легкостью и грацией бежит она, вся трепещущая среди этих простых сельских мест!» — С этими словами Ватек простер руки к холму и, воздев очи в необычайном волнении, стал следить взглядом за той, которая успела уже покорить его сердце. Но за ее бегом было так же трудно следить, как за полетом прекрасных лазоревых бабочек из Кашмира, таких редкостных и подвижных.

Ватеку мало было видеть Нурониар, ему хотелось слышать ее, и он жадно вслушивался, стараясь уловить звук

ее голоса. Наконец, он услышал, что она прошептала одной из своих подруг за маленьким кустиком, откуда бросила букет: «Нужно признаться, что на халифа приятно поглядеть; но мой маленький Гюльхенруз гораздо милее; прядь его шелковистых волос лучше всякого шитья из Индии, а его зубы, шаловливо сжимающие мои пальцы, мне приятнее, чем прекраснейший перстень царской сокровищницы. Где он, Сютлемеме? Почему его нет с нами?»

Встревоженному халифу очень хотелось бы слышать больше, но она удалилась со всеми своим рабынями. Влюбленный государь следил за ней, пока не потерял из виду, и чувствовал себя подобно заблудившемуся ночью путнику, когда тучи закрывают от его глаз путеводное созвездие. Как будто темная завеса опустилась перед ним, все казалось ему бесцветным, все изменило свой вид. Шум ручья отзывался грустью в его сердце, и слезы капали на жасмин, который он прижимал к пылавшей груди. Он собрал даже несколько камешков в память о месте, где почувствовал первый прилив страсти, доселе незнакомой. Много раз делал он попытки удалиться, но напрасно. Сладостное томление охватило его душу. Распростершись на берегу ручья, он не отводил взора от синеватой вершины горы. «Что скрываешь ты от меня, безжалостный утес? — вскричал он. — Где она? Что происходит там, в твоём пустынном уединении? О, небо! Быть может, она бродит сейчас в твоих гротах со своим счастливым Гюльхенрузом!»

Между тем наступили сумерки. Эмир, обеспокоенный здоровьем халифа, приказал подать царские носилки; Ватек безучастно дал усадить себя и принести в великолепную залу, где его принимали накануне.

Оставим халифа предаваться новой страсти и последующим в горы за Нурониар, встретившей, наконец, своего драгоценного Гюльхенруза. Этот Гюльхенруз, нежнейшее и милое создание, был единственным сыном Али Гасана, брата эмира. Десять лет назад его отец отправился в плавание по неведомым морям и отдал его на попечение Факреддину. Гюльхенруз умел писать разными способами с удивительной легкостью и обладал искусством выводить на тонком пергаменте красивейшие арабески. Голос у него был мягкий, трогательно звучащий под аккомпанемент лютни. Когда Гюльхенруз пел о любви Медждуна

и Лейли или об иных несчастных влюбленных старого времени, слезы лились у его слушателей. Его стихи (он, как Меджнун, был тоже поэтом) заставляли томно вздыхать, что весьма опасно для женщин. Все они очень любили его; и, хотя ему минуло тринадцать лет, его нельзя еще было вытащить из гарема. Его танцы напоминали легкий полет пушинки на весеннем ветерке. Но руки его, так грациозно сплетавшиеся в танце с руками девушек, не умели метать дротиков на охоте или укрощать горячих коней, которые паслись на пастбищах дяди. Он, однако, прекрасно владел луком и превзошел бы всех юношей в беге, если б решился порвать шелковые узы, привязывавшие его к Нурониар.

Братья нарекли своих детей друг другу, и Нурониар любила Гюльхенруза больше света очей своих, как бы прекрасны ни были эти очи. У них были те же вкусы и занятия, такие же взгляды, долгие и томные, одного цвета волосы, одинаковая белизна лица; и когда Гюльхенруз наряжался в платье Нурониар, он даже более походил на женщину, чем она. Выходя на минуту из гарема к Факреддину, он имел вид робкого молодого оленя, разлученного с подругой. При всем том он был шаловлив и смеялся над длиннобородыми старцами, а они порою сурово укоряли его. Тогда он в исступлении забивался в самый отдаленный уголок гарема, задегивал за собой все занавеси и, рыдая, искал утешения в объятиях Нурониар. Она же любила его недостатки больше, чем обычно любят достоинства других людей.

Итак, оставив халифа на лугу, Нурониар побежала с Гюльхенрузом в поросшие травами горы, прикрывавшие долину, где находился дворец Факреддина. Солнце склонялось к закату, и молодым людям в их живом и восторженном воображении казалось, что среди дивных облаков заката они видят храмы Шадукиана и Амбреабада, где обитают пери. Нурониар села на склоне холма, положив на колени надушенную голову Гюльхенруза. Неожиданный приезд халифа и окружавший его блеск успели смутить ее пылкую душу. В своем тщеславии она не могла устоять перед желанием быть замеченной им. Она видела, как Ватек поднял жасмин, брошенный ею; это льстило ее самолюбию. И она смутилась, когда Гюльхенруз вздумал спросить, куда делся букет,

который он собрал для нее. Вместо ответа она поцеловала его в лоб, поспешно встала и с неописуемым беспокойством и возбуждением стала быстро ходить взад и вперед.

Между тем наступала ночь; чистое золото заходящего солнца сменилось кровавым румянцем; словно отблески огня отразились на пылавших щеках Нурониар. Бедный маленький Гюльхенруз заметил это. Возбуждение его всегда приветливой двоюродной сестры смутило его до глубины души. «Вернемся,— сказал он робко,— что-то мрачное появилось в небе. Тамаринды трепещут сильнее обыкновенного, и этот ветер леденит мне сердце. Вернемся, вечер слишком уныл!» С этими словами он взял Нурониар за руку; изо всех сил стараясь увлечь ее. Она последовала за ним, не отдавая себе отчета в том, что делает. Множество странных мыслей бродило в ее голове. Она пробежала мимо большой куртины жимолости, которую так любила, не обратив на нее внимания; лишь Гюльхенруз не удержался и сорвал несколько веточек, хотя и неся с такой быстротой, будто за ним по пятам гнался дикий зверь.

Девушки, видя, что они возвращаются так быстро, решили, что по обыкновению будут танцы. Тотчас же они стали в кружок и взялись за руки, но Гюльхенруз, задыхаясь, повалился на мох. Всю шумную толпу охватило уныние; Нурониар, едва владея собой, более усталая от смятенности мыслей, чем от бега, бросилась на Гюльхенруза. Она взяла его маленькие, холодные руки, согревала у себя на груди и терла ему виски душистой помадой. Наконец, он очнулся и, прячась головой в платье Нурониар, умолял подождать возвращаться в гарем. Он боялся, что его будет бранить Шабан, его наставник, старый сморщенный евнух, не из очень снисходительных. Противный дядька, наверно, найдет предосудительным, что он расстроил обычную прогулку Нурониар. Все сели в круг на лужайке, и начались ребяческие игры. Евнухи поместились на некотором расстоянии и разговаривали между собой. Все веселились. Нурониар по-прежнему была задумчива и расстроена. Ее кормилица заметила это и принялась рассказывать забавные сказки, очень нравившиеся Гюльхенрузу, который забыл уже свои подозрения. Он смеялся, хлопал в ладоши и проказничал, даже хотел

заставить бегать за собой евнухов, несмотря на их лета и дряхлость.

Между тем взошла луна; был чудный вечер. Все чувствовали себя так хорошо, что решили ужинать на воздухе. Один евнух побежал за дынями, другие стали трясти миндальные деревья, под сенью которых сидела веселая компания, и свежие плоды посыпались на них дождем. Сютлемеме, отлично приготавливавшая салат, наполнила большие фарфоровые чаши отборными травами, яйцами птичек, кислым молоком, лимонным соком и ломтиками огурцов и угощала всех по очереди с большой ложки Кокноса. Но Гюльхенруз, прикорнув по обыкновению на груди у Нурониар, закрывал свой маленький, румяный ротик, когда Сютлемеме предлагала ему что-нибудь. Он брал, что ему было нужно, только из рук двоюродной сестры и прильнул к ее рту, как пчела, опьяневшая от сока цветов.

Среди общего веселья внезапно на вершине самой высокой горы показался свет. Он лился мягким сиянием, и его можно было бы принять за лунный, если бы полной луны не было на горизонте. Это явление взволновало всех, заставляя теряться в догадках. Это не мог быть отблеск пожара, ибо свет был ясный и голубоватый. Для метеора он казался слишком ярким и необычайным по цвету. Он то бледнел, то вспыхивал. Сначала думали, что этот странный свет льется с вершины скалы; вдруг он передвинулся и заблестал в густой пальмовой роще; затем он мелькнул у потоков и остановился, наконец, у входа в узкое темное ущелье. Гюльхенруз, сердце которого всегда замирало от неожиданного и необычного, дрожал в страхе. Он тянул Нурониар за платье и умолял вернуться в гарем. Женщины убеждали ее в том же, но любопытство дочери эмира было слишком задето, оно взяло верх. Во что бы то ни стало она хотела узнать, что это такое.

Пока шли препирательства, из озаренного пространства вылетела такая ослепительная огненная стрела, что все с криками бросились бежать. Нурониар тоже отступила на несколько шагов, но скоро она остановилась и двинулась вперед. Шар опустился в ущелье, продолжая пылать в величавой тишине. Нурониар скрестила на груди руки и несколько мгновений колебалась. Страх Гюльхен-

руза, полное одиночество, в котором она находилась в первый раз в жизни, величественное спокойствие ночи — все пугало ее. Тысячу раз хотела она вернуться, но сияющий шар каждый раз снова появлялся перед ней. Повинуясь непреодолимому влечению, она пошла к нему сквозь терновник, несмотря на все препятствия, возникавшие в пути.

Когда она вошла в долину, густой мрак внезапно окутал ее и она видела теперь лишь отдаленную слабую искру. Шум водопадов, шелест пальмовых ветвей, прерывистые, зловещие крики птиц, гнездившихся в деревьях, — все наполняло ужасом душу. Ежеминутно ей казалось, что под ногами ее ядовитые гады. Ей вспомнились все рассказы о лукавых дивах и мрачных гулах. Она остановилась вторично, но любопытство снова одержало верх, и она храбро двинулась по извилистой тропинке, которая вела по направлению к искре. До сих пор она знала, где находится, но стоило ей сделать несколько шагов по тропинке, как она заблудилась. «Увы! — воскликнула она. — Почему я не в ярко освещенных надежных покоях, где мои вечера протекали с Гюльхенрузом. Милое дитя, как ты дрожал бы, если бы очутился, как я, в этой безлюдной пустыне!» Говоря так, она продвигалась все дальше. Вдруг ее взор упал на ступени, проложенные в скале; свет усилился и появился над ее головой на вершине горы. Она смело стала подниматься. На некоторой высоте ей показалось, что свет исходит как бы из пещеры; оттуда слышались жалобные и мелодичные звуки — точно пение, напоминавшее заупокойные гимны. В то же мгновение послышался шум, похожий на плеск воды, когда наполняют бассейн. Она увидела горящие восковые свечи, водруженные кое-где в трещинах скалы. Это привело ее в ужас, но она продолжала взбираться; тонкий и сильный запах свечей ободрял ее, и она подошла ко входу в грот.

В крайнем возбуждении Нурониар заглянула туда и увидела большой золотой чан, наполненный водой, сладкий пар которой стал осаждаться на ее лице каплями розового масла. Нежные мелодии раздавались в пещере; по краям чана висели царские одежды, диадемы и перья цапли, все усыпанные рубинами. Пока она восхищалась этой роскошью, музыка смолкла, и послышался голос.

говоривший: «Для какого властелина зажгли эти свечи, приготовили купание и одежды, приличествующие лишь владыкам не только земли, но и талисманических сил?» — «Для очаровательной дочери эмира Факреддина», — ответил второй голос. — «Как! — возразил первый. — Для этой шалуньи, что проводит время с ветреным, утопающим в неге мальчиком, который недостойн быть ее мужем?» — «Что ты мне рассказываешь! — перебил другой. — Разве может она развлекаться такими глупостями, когда сам халиф, повелитель мира, которому надлежит овладеть сокровищами древних султанов, живших до времен Адама, государь шести локтей ростом, чей взгляд проникает в сердце девушек, сгорает от любви к ней? Нет, она не может отвергнуть страсть, которая поведет ее к славе, она бросит свою детскую забаву; тогда все сокровища, находящиеся здесь, вместе с рубинами Джамшида, будут принадлежать ей». — «Наверно, ты прав, — сказал первый, — и я отправлюсь в Истахар приготовить дворец подземного огня для встречи молодых».

Голоса смолкли, факелы потухли, лучезарный свет сменился густым мраком, и Нуруниар очутилась на софе в гареме своего отца. Она хлопнула в ладоши, и тотчас явились Гюльхенруз и женщины, которые были в отчаянии, что потеряли ее, и уже отправили евнухов на поиски во все концы. Пришел и Шабан и принялся с важностью бранить ее. «Маленькая сумасбродка, — говорил он, — или у тебя подобраны ключи, или тебя любит какой-нибудь джинн, дающий тебе отмычки. Сейчас я посмотрю, насколько ты могущественна; живо иди в комнату с двумя слуховыми окошками и не рассчитывай, что Гюльхенруз будет тебя сопровождать; ну, ступайте, сударыня, я запиру вас двойным замком». В ответ на угрозы Нуруниар гордо подняла голову и выразительно взглянула на Шабана своими черными глазами, которые стали еще больше после разговора в чудесном гроте. «Прочь, — сказала она ему, — можешь разговаривать так с рабынями, но относись с уважением к той, что родилась, чтобы повелевать и покорять всех своей власти».

Она продолжала бы в том же тоне, как вдруг раздался крик: «Халиф, халиф!» Тотчас все занавеси раздвинулись, рабы повернулись ниц в два ряда, а бедный маленький Гюльхенруз спрятался под возвышение. Сначала показа-

лась процессия черных евнухов в одеждах из муслина, шитых золотом, со шлейфами; они несли в руках курильницы, распространявшие сладкий запах алоэ. Затем, покачивая головой, важно выступал Бабабалук, не особенно довольный этим визитом. Ватек, великолепно одетый, следовал за ним. Его поступь была благородна и легка; можно было восхищаться его наружностью и не зная, что он властитель мира. Он приблизился к Нурониар и, взглянув в ее лучистые глаза, которые видел лишь мельком, пришел в восторг. Нурониар заметила это и тотчас потупилась; но смущение сделало ее еще красивей и окончательно воспламенило сердце Ватека.

Бабабалук понимал толк в этих делах, видел, что надо покориться, и сделал знак, чтобы их оставили наедине. Он осмотрел все уголки зала, желая убедиться, что никого нет, и вдруг заметил ноги, выглядывавшие из-под возвышения. Бабабалук бесцеремонно потянул их к себе и, узнав Гюльхенруза, посадил его к себе на плечи и унес, осыпая гнусными ласками. Мальчик кричал и отбивался, его щеки покраснели, как гранаты, и влажные глаза сверкали обидой. В отчаянии он так выразительно взглянул на Нурониар, что халиф заметил это и сказал: «Это и есть твой Гюльхенруз?» — «Властелин мира, — ответила она, — пощади моего двоюродного брата, его невинность и кротость не заслуживают твоего гнева». — «Успокойся, — сказал Ватек, улыбаясь, — он в хороших руках; Бабабалук любит детей, и у него всегда есть для них варенье и конфеты».

Дочь Факреддина смутилась и не произнесла ни слова, пока уносили Гюльхенруза, но грудь ее вздымалась, выдавая волнение сердца. Ватек был очарован и исступленно отдался живейшей страсти, не встречая серьезного сопротивления, когда внезапно вошел эмир и бросился халифу в ноги. «Повелитель Правоверных, — сказал он ему, — не унижайся до своей рабы!» — «Нет, эмир, — возразил Ватек, — скорее я поднимаю ее до себя. Я беру ее в жены, и слава твоего рода передастся из поколения в поколение». — «Увы, Господин, — ответил Факреддин, вырывая клоч волос из бороды, — сократи лучше дни твоего верного слуги, но он не изменит своему слову. Нурониар клятвенно наречена Гюльхенрузу, сыну моего брата Али Гасана; их сердца соединены; они дали друг другу слово:

нельзя нарушить столь священного обета». — «Как? — резко возразил халиф. — Ты хочешь отдать эту божественную красоту мужу, который женственнее, чем она сама? Ты думаешь, я позволю этому существу увянуть в таких робких и слабых руках? Нет, в моих объятиях должна пройти ее жизнь: такова моя воля. Уходи и не препятствуй мне посвятить эту ночь служению ее прелестям!» Тогда оскорбленный эмир вынул саблю, подал ее Ватеку и, подставляя голову, с твердостью сказал: «Господин, нанеси удар бедняку, давшему тебе пристанище; я слишком долго жил, если имею несчастье видеть, как наместник Пророка попирает священные законы гостеприимства». Смущенная Нурониар не могла долее выдержать борьбы противоположных чувств, потрясавших ее душу. Она упала в обморок, а Ватек, столь же испуганный за ее жизнь, как и взбешенный сопротивлением эмира, крикнул Факреддину: «Помоги же своей дочери!» — и вышел, бросив на него свой ужасный взгляд. Эмир замертво упал на землю, покрытый холодным потом.

Гюльхенруз же вырвался из рук Бабабалука и вбежал как раз в тот момент, когда Факреддин с дочерью уже лежали на полу. Из всех сил стал он звать на помощь. Бедный мальчик старался оживить Нурониар своими ласками. Бледный, задыхаясь, целовал он уста своей возлюбленной. Наконец, нежная теплота его губ заставила ее очнуться, и скоро она совсем пришла в сознание.

Оправившись от взгляда халифа, Факреддин сел и, оглянувшись, чтобы убедиться, что грозный государь ушел, послал за Шабаном и Сюлемеме, затем, отозвав их в сторону, он сказал: «Друзья мои, в великих испытаниях нужны решительные меры. Халиф вносит в мою семью ужас и отчаяние; я не могу противиться его власти; еще один его взгляд — и я погиб. Принесите мне усыпительного порошка, что подарил мне дервиш из Арракана. Я дам дочери и племяннику столько его, чтобы они спали три дня. Халиф подумает, что они умерли. Тогда, сделав вид, что хороним их, мы снесем их в пещеру почтенной Меймунэ, где начинается великая песчаная пустыня, недалеко от хижины моих карликов; а когда все уйдут, ты, Шабан, с четырьмя отборными евнухами отнесешь их к озеру, куда

будет доставлена провизия на месяц. Один день халиф будет изумляться, пять дней плакать, недели две размышлять, а затем станет готовиться в путь; вот, по-моему, сколько времени понадобится Ватеку, и я избавлюсь от него».

«Мысль хорошая,— сказала Сютлемеме,— нужно извлечь из нее как можно больше пользы. Мне кажется, халиф нравится Нурониар. Будь уверен, что, пока она знает, что он здесь, мы не сможем удержать ее в горах, несмотря на привязанность ее к Гюльхенрузу. Убедим и ее и Гюльхенруза, что они действительно умерли и что их перенесли в эти скалы для искупления их маленьких любовных прегрешений. Скажем им, что и мы наложили на себя руки от отчаяния, а твои карлики, которых они никогда не видели, покажутся им удивительными существами. Их поучения произведут на них большое действие, и я бьюсь об заклад, что все сойдет прекрасно».— «Одобряю твою мысль,— сказал Факреддин,— примемся же за дело».

Тотчас отправились за порошком, подмешали его к шербету, и Нурониар с Гюльхенрузом, не подозревая ничего, проглотили эту смесь. Через час они почувствовали тоску и сердцебиение. Оцепенение овладело ими. Они с трудом взошли на возвышение и растянулись на софе. «Погрей меня, дорогая Нурониар,— сказал Гюльхенруз, крепко обнимая ее,— положи руку мне на сердце: оно как лед. Ах, ты такая же холодная, как я! Не поразил ли нас халиф своим ужасным взором?» — «Я умираю,— ответила Нурониар слабым голосом,— обними меня; пусть твои губы примут, по крайней мере, мой последний вздох!» Нежный Гюльхенруз глубоко вздохнул; их руки разомкнулись, и они не произнесли больше ни слова; казалось, они умерли.

Тогда в гареме поднялись раздирающие вопли. Шабан и Сютлемеме разыграли отчаяние с большим искусством. Эмир, огорченный, что пришлось прибегнуть к этим крайностям, и, делая в первый раз опыт с порошками, страдал на самом деле. Погасили огни. Две лампы бросали слабый свет на эти прекрасные цветы, увядшие, казалось, на заре жизни. Собравшиеся со всех сторон рабы недвижно смотрели на представшее зрелище. Принесли погребальные одежды; обмыли тела розовой

водой; облачили их в симарры, белее алебастра; сплели вместе их прекрасные волосы и надушили лучшими духами.

Когда на головы им возлагали венки из жасмина, любимого их цветка, явился халиф, извещенный о трагическом происшествии. Он был бледен и угрюм, как гулы, что бродят ночью по могилам. В эту минуту он забыл и себя и весь мир. Он бросился в толпу рабов и упал к подножию возвышения; колотя себя в грудь, называл себя жестоким убийцей и тысячу раз проклинал себя. А приподняв дрожащей рукой покрывало над бледным лицом Нурониар, он вскрикнул и упал замертво. Бабабалук увел его, отворачиваясь гримасничая и приговаривая: «Я же знал, что Нурониар сыграет с ним какую-нибудь скверную штуку!»

Как только халиф удалился, эмир занялся похоронами, приказав никого не пускать в гарем. Затворили все окна; сломали все музыкальные инструменты, и имамы начали читать молитвы. Вечером этого скорбного дня плач и вопли раздались с удвоенной силой. Ватек же стоял в одиночестве. Чтобы умерить припадки его бешенства и страданий, пришлось прибегнуть к успокоительным средствам.

На рассвете следующего дня растворили настежь огромные двери дворца, и погребальное шествие тронулось в горы. Печальные восклицания «Леилах-илеилах» донеслись до халифа. Он пытался наносить себе раны и хотел идти за процессией; его нельзя было бы отговорить, если бы силы дозволили ему двигаться; но при первом же шаге он упал, и его пришлось уложить в постель, где он оставался несколько дней в полном бесчувствии, вызывая соболезнование даже у эмира.

Когда процессия подошла к гроту Меймунэ, Шабан и Сютлемеме отпустили всех. С ними остались четыре верных евнуха; отдохнув немного около гробов, которые приоткрыли, чтобы дать доступ воздуху, Сютлемеме и Шабан велели нести их к берегу небольшого озера, окаймленного сероватым мхом. Там обыкновенно собирались аисты и цапли и ловили голубых рыбок. Немедленно явились предупрежденные эмиром карлики и с помощью евнухов построили хижину из тростника и камыша; они умели делать это превосходно. Они поставили так-

же кладовую для провизии, маленькую молельню для самих себя и деревянную пирамиду. Она была сделана из хорошо прилаженных поленьев и служила для поддержания огня, так как в горных долинах было холодно.

Под вечер на берегу озера зажгли два огромных костра, вынули милые тела из гробов и положили осторожно в хижине на постель из сухих листьев. Карлики принялись читать Коран своими чистыми и серебристыми голосами. Шабан и Сютлемеме стояли поодаль, с беспокойством ожидая, когда порошок прекратит свое действие. Наконец, Нурониар и Гюльхенруз чуть заметно шевельнули руками и, раскрыв глаза, с величайшим удивлением стали глядеть на окружающее. Они попробовали даже привстать; но силы изменили им, и они снова упали на свои постели из листьев. Тогда Сютлемеме дала им укрепляющего лекарства, которым снабдил ее эмир.

Гюльхенруз совсем проснулся, чихнул, и в том, как стремительно он привстал, выразилось все его удивление. Выйдя из хижины, он жадно вдохнул воздух и вскричал: «Я дышу, я слышу звуки, я вижу все небо в звездах! Я еще существую!» Узнав дорогой голос, Нурониар высвободилась из-под листьев и бросилась обнимать Гюльхенруза. Длинные симарры, облачавшие их, венки на головах и голые ноги прежде всего обратили на себя ее внимание. Она закрыла лицо руками, стараясь сосредоточиться. Волшебный чан, отчаяние отца и, в особенности, величественная фигура Ватека пронеслись в ее мыслях. Она вспомнила, что была больна и умирала, как и Гюльхенруз; но все эти образы были смутны. Странное озеро, отражение пламени в тихой воде, бледный цвет земли, причудливые хижины, печально покачивающиеся камыши, заунывный крик аиста, сливающийся с голосами карликов,— все убеждало, что ангел смерти раскрыл им двери какого-то нового бытия.

В смертельном страхе Гюльхенруз прижался к двоюродной сестре. Он также думал, что находится в стране призраков, и боялся молчания, которое она хранила. «Нурониар,— сказал он ей наконец,— где мы? Видишь ты эти тени, что перебирают горящие угли? Быть может, это Монкир или Некир, которые сейчас кинут нас туда? Или вдруг роковой мост перебросится через озеро, и его спо-

койствие скрывает, быть может, бездну вод, куда мы будем падать в течение веков?»

«Нет, дети мои,— сказала Сютлемеме, подходя к ним,— успокойтесь. Ангел смерти, явившийся за нашими душами вслед за вашими, уверил нас, что наказание за вашу изнеженную и сладострастную жизнь ограничится тем, что вы будете прозябать долгие годы в этом печальном месте, где солнце чуть светит, где земля не рождает ни цветов, ни плодов. Вот наши стражи,— продолжала она, указывая на карликов.— Они будут доставлять нам все необходимое, ибо столь грубые души, как наши, еще слегка подвержены законам земной жизни. Вы будете питаться только рисом, и ваш хлеб будет увлажнен туманами, всегда окутывающими это озеро».

Услыхав о такой печальной будущности, бедные дети залились слезами. Они бросились к ногам карликов, а те, отлично исполняя свою роль, произнесли, по обычаю, прекрасную и длинную речь о священном верблюде, который через несколько тысяч лет доставит их в царство блаженных.

По окончании проповеди они совершили омовения, воздали хвалу Аллаху и Пророку, скудно поужинали и снова улеглись на сухие листья. Нурониар и ее маленький двоюродный брат были очень довольны, что мертвые спят вместе. Они уже отдохнули и остаток ночи проговорили о случившемся, в страхе перед привидениями все время прижимаясь друг к другу.

Утро следующего дня было сумрачно и дождливо. Карлики взобрались на высокие жерди, воткнутые в землю и заменявшие минарет, и оттуда призывали к молитве. Собралась вся община: Сютлемеме, Шабан, четыре евнуха, несколько аистов, которым надоело ловить рыбу, и двое детей. Последние вяло выбрались из хижины, и так как были настроены меланхолически и умиленно, то молились с жаром. Затем Гюльхенруз спросил Сютлемеме и других, как случилось, что они умерли так кстати для него и Нурониар. «Мы убили себя в отчаянии при виде вашей смерти»,— ответила Сютлемеме.

Несмотря на все происшедшее, Нурониар не забыла своего видения и воскликнула: «А халиф не умер с горя? Придет он сюда?» Тут слово взяли карлики и с важностью ответили: «Ватек осужден на вечную муку».— «Я уверен в

этом,— вскричал Гюльхенруз,— и я в восторге, ибо, наверно, из-за его ужасного взгляда мы едим здесь рис и выслушиваем проповеди».

С неделю прожили они таким образом на берегу озера. Нурониар размышляла о том величии, которое отняла у нее досадная смерть, а Гюльхенруз плел с карликами камышовые корзинки; малютки чрезвычайно нравились ему.

В то время как в горах разыгрывались эти идиллические сцены, халиф развлекал эмира совсем другим зрелищем. Лишь только к нему вернулось сознание, он вскричал голосом, заставившим вздрогнуть Бабабалука: «Предатель Гяур! Это ты убил мою дорогую Нурониар; отрекаюсь от тебя и прошу прощения у Магомета; он не причинил бы мне таких бед, будь я благоразумней. Эй, дайте мне воды для омовения, и пусть добрый Факреддин придет сюда, я хочу примириться с ним, и мы вместе сотворим молитву. А потом пойдем на могилу несчастной Нурониар. Я хочу сделаться отшельником и буду проводить дни на той горе, замаливая свои грехи». — «А чем ты там будешь питаться?» — спросил Бабабалук. — «Ничего не знаю,— ответил Ватек,— я скажу тебе, когда мне захочется есть. Думаю, это произойдет не скоро».

Приход Факреддина прервал беседу. Едва завидев его, Ватек бросился ему на шею и залился слезами, говоря столь благочестивые слова, что эмир сам заплакал от радости и внутренне поздравил себя с удивительным обращением, которое он только что совершил. Конечно, он не посмел противиться паломничеству в горы. Итак, они сели каждый в свои носилки и отправились в путь.

Несмотря на все внимание, с каким наблюдали за халифом, ему все же не могли помешать нанести себе несколько царапин, когда пришли к месту, где якобы была похоронена Нурониар. С большим трудом оторвали его от могилы, и он торжественно поклялся, что будет ежедневно приходить сюда; это не очень понравилось Факреддину; но он надеялся, что халиф не отважится на большее и удовлетворится молитвами в пещере Меймунэ; к тому же озеро было так запрятано в скалах, что эмир считал невозможным, чтобы он его нашел. Эта уверенность эмира подтверждалась поведением Ватека. Он в точности осуществлял свое решение и возвращался с горы таким

набожным и сокрушенным, что все бородатые старцы были в восторге.

Но и Нурониар не была особенно довольна. Хотя она любила Гюльхенруза и ее свободно оставляли с ним, чтобы усилить ее чувство к нему, она смотрела на него как на забаву, и Гюльхенруз не мешал ей мечтать о рубинах Джамшида. Порой ее одолевали сомнения — она не могла понять, почему у мертвых те же потребности и фантазии, что и у живых. Однажды утром, надеясь разъяснить себе это, она, потихоньку от Гюльхенруза, встала с постели, когда все еще спали, и, поцеловав его, пошла по берегу озера; вскоре она увидела, что озеро вытекает из-под скалы, вершина которой не показалась ей неприступной. Она вскарабкалась на нее как могла быстрее и, увидя над собой открытое небо, помчалась, как серна, преследуемая охотником. Хотя она и прыгала с легкостью антилопы, все же ей пришлось присесть на тамариски, чтобы передохнуть. Она призадумалась, места показались ей знакомыми, как вдруг она увидела Ватек. Обеспокоенный и взволнованный халиф поднялся до зари. Увидев Нурониар, он замер. Он не смел приблизиться к этому трепетному, бледному и оттого еще более желанному существу. Отчасти довольная, отчасти огорченная Нурониар подняла, наконец, свои прекрасные глаза и сказала: «Господин, ты пришел есть со мною рис и слушать проповеди?» — «Дорогая тень,— вскричал Ватек,— ты говоришь! Ты все так же очаровательна, так же лучезарен твой взгляд! Может быть, ты действительно жива?» С этими словами он обнял ее, повторяя: «Но она жива, ее тело трепещет, оно дышит теплом. Что за чудо?»

Нурониар скромно ответила: «Ты знаешь, Государь, что я умерла в ту ночь, когда ты почтил меня своим посещением. Мой двоюродный брат говорит, что это произошло от твоего ужасного взгляда, но я не верю ему; твой взгляд не показался мне таким страшным. Гюльхенруз умер вместе со мной, и мы оба были перенесены в печальную страну, где очень плохо кормят. Если ты тоже мертв и идешь к нам, я сожалею о тебе, так как карлики и аисты изведут тебя. Да и обидно для нас с тобой лишиться сокровищ подземного дворца, обещанных нам».

При словах «подземный дворец» халиф прервал ласки, зашедшие уже довольно далеко, и потребовал, чтобы Нуро-

ниар объяснила ему, что это значит. Тогда она рассказала о видении, о том, что было затем, о своей мнимой смерти; она в таком виде описала ему страну искупления грехов, откуда убежала, что он засмеялся бы, если б не был очень серьезно занят другим. Когда она умолкла, Ватек обнял ее со словами: «Пойдем, свет моих очей, теперь все ясно: оба мы живы. Твой отец мошенник, он обманул нас, желая разлучить, а Гяур, как я понимаю, хочет, чтобы мы путешествовали вместе, и он не лучше твоего отца. По крайней мере, он не долго продержит нас в своем дворце огня. Твои прелести дороже для меня всех сокровищ древних султанов, живших до времен Адама, и я хочу обладать ими, когда пожелаю, на вольном воздухе, в течение многих лун, прежде чем зарыться под землю. Забудь маленького глупого Гюльхенруза, и...» — «Ах, Господин, не делай ему зла», — прервала Нурониар. — «Нет, — возразил Ватек, — я уже сказал, что тебе нечего бояться за него; весь он состоит из сахара и молока, я не могу ревновать к таким; оставим его с карликами (они, между прочим, мои старинные знакомые); это общество ему более подходит, чем твое. К тому же я не вернусь к твоему отцу: я не желаю выслушивать, как он со своими бородачами будет причитать надо мной, что я нарушаю законы гостеприимства, как будто стать супругой повелителя мира для тебя меньшая честь, чем выйти за девочку, одетую мальчиком».

Нурониар не имела намерения осудить столь блестящую речь. Ей хотелось только, чтобы влюбленный монарх отнесся внимательнее к рубинам Джамшида, но она решила, что это еще придет, и соглашалась на все с самой привлекательной покорностью.

Наконец, халиф позвал Бабабалука, спавшего в пещере Меймунэ. Евнух видел во сне, что призрак Нурониар снова посадил его на качели и так качает, что он то взлетает выше гор, то касается дна пропастей. Услыша голос своего повелителя, он внезапно проснулся, едва переводя дух, бросился бежать и чуть не упал в обморок, увидя тень той, которая ему только что снилась. «О, Господин! — закричал он, отступая на десять шагов и закрывая глаза руками. — Ты откапываешь мертвых из могил? Ты занимаешься ремеслом гулов? Но не надейся съесть Нурониар; после того, что она со мной сделала, она так зла, что сама съест тебя».

«Перестань, глупец,— сказал Ватек.— Ты скоро убедишься, что я держу в своих объятиях Нурониар, вполне живую и здоровую. Вели разбить шатры в долине, здесь поблизости: я хочу поселиться тут с этим чудным тюльпаном, в которого я сумею вдохнуть жизнь и краски. Прими меры и приготовь все, что нужно для роскошной жизни, и жди новых приказаний».

Весть о прискорбном событии скоро донеслась до эмира. В отчаянии, что его военная хитрость не удалась, он предался скорби и надлежащим образом посыпал себе голову пеплом; верные старцы последовали его примеру, и весь дворец пришел в расстройство. Все было забыто; не принимали больше путешественников; не раздавали пластырей, и вместо того, чтобы заниматься благотворительностью, процветавшей здесь, обитатели ходили с вытянутыми физиономиями, охали и в горе покрывали лица грязью.

Между тем Гюльхенруз был потрясен, обнаружив отсутствие двоюродной сестры. Карлики были удивлены не менее его. Лишь Сютлемеме, более проницательная, чем они, сразу догадалась в чем дело. Гюльхенруза убаюкивали сладкой надеждой, что они встретятся с Нурониар в тихом уголке гор, где на цветах апельсинов и жасмина будет удобнее спать, чем в хижине, где они будут петь при звуках лютни и гоняться за бабочками.

Сютлемеме с жаром рассказывала об этом, когда один из четырех евнухов отозвал ее, объяснил исчезновение Нурониар и передал приказания эмира. Она тотчас же обратилась за советом к Шабану и карликам. Сложили пожитки, сели в большую лодку и спокойно поплыли. Гюльхенруз покорялся всему; но когда прибыли к месту, где озеро терялось под сводом скал, и когда въехали туда и все погрузилось в полный мрак, он страшно перепугался и пронзительно закричал, полагая, что его везут на вечную муку за слишком вольное обращение с двоюродной сестрой.

Халиф же в это время блаженствовал с царицей своего сердца. Бабабалук приказал разбить шатры и расставил у обоих входов в долину великолепные ширмы, обитые индийской тканью, под охраной вооруженных саблями эфиопских рабов. Чтобы в этом Эдеме всегда зеленела

трава, белые евнухи беспрестанно поливали ее из серебряных, позолоченных леек. Близ царской палатки все время веяли опахала; мягкий свет, проникавший сквозь муслин, освещал этот приют сладострастия, где халиф беспрепятственно вкушал прелести Нурониар. Упоенный наслаждением, он с восторгом слушал ее чудное пение под аккомпанемент лютни. А она восхищалась его описаниям Самарры и башни, полной чудес. Особенно нравилась ей история с шаром и с расщелиной, где жил Гяур у своего эбенового портала.

День протекал в этих разговорах, а ночью влюбленные купались вместе в большом бассейне черного моря, прекрасно оттенявшем белизну тела Нурониар. Бабабалук, чье расположение красавица успела завоевать, заботился, чтобы обеды были как можно утонченнее; каждый день подавали какие-нибудь новые блюда; он велел разыскать в Ширазе дивное пенистое вино, хранившееся в погребах со времен Магомета. В маленьких печках, устроенных в утесах, пекли на молоке хлебцы, которые Нурониар замешивала своими нежными ручками; от этого они так нравились Ватеку, что он забыл все рагу, приготавливавшиеся некогда его другими женами, и теперь бедные покинутые женщины изнывали в тоске у эмира.

Султанша Дилара, до сих пор бывшая первой его любимицей, отнеслась к этому со страстностью, присущей ее характеру. За время, пока она была в милости у халифа, она успела проникнуться его сумасбродными идеями и горела желанием увидеть гробницы Истахара и дворец сорока колонн; к тому же, воспитанная магами, она радовалась, что халиф готов предаться культу огня, и ее вдвойне удручало теперь, что он ведет сладострастную и праздную жизнь с ее соперницей. Мимолетное увлечение Ватека благочестием сильно встревожило ее; но это еще ухудшало дело. Итак, она решила написать царице Каратис, что дела плохи, что явно пренебрегают велениями пергамента, что ели, пользовались ночлегом и устроили переполох у старого эмира, святость которого весьма опасна, и что нет более вероятия добыть сокровища древних султанов. Это письмо она доверила двум дровосекам, работавшим в большом лесу на горе; идя кратчайшим путем, они явились в Самарру на десятый день.

Когда прибыли гонцы, царица Каратис играла в шахматы с Мораканабадом. Уже несколько недель не навещала она вершины башни: светила на вопросы о сыне давали ответы, казавшиеся ей неясными. Сколько ни совершала она воскурений, сколько ни лежала на крыше, ожидая таинственных видений, ей снились лишь куски парчи, букеты и тому подобные пустяки. Все это приводило ее в уныние, от которого не помогали никакие снадобья собственного изготовления, и последним ее прибежищем был Мораканабад, простой хороший человек, полный благородной доверчивости; но его жизнь при ней была не особенно сладка.

Так как о Ватеке ничего не было известно, то на его счет распространяли тысячи смешных историй. Понятно, с какой живостью вскрыла Каратис письмо и в какое впала бешенство, когда прочла о малодушном поведении сына. «О,— сказала она,— или я погибну, или он проникнет во дворец пламени; пусть я сгорю в огне, лишь бы Ватек воссел на трон Сулеймана!» При этом она сделала такой ужасный прыжок, что Мораканабад в страхе отскочил; она приказала приготовить своего большого верблюда Альбуфаки, позвать отвратительную Неркес и безжалостную Кафур. «Я не хочу иной свиты,— сказала она везиру,— я еду по неотложным делам, значит, не нужно пышности; ты будешь заботиться о народе; обирай его хорошенько в моем отсутствии; у нас большие расходы, и неизвестно еще, что из этого выйдет».

Ночь была очень темная, с равнины Катула дул нездоровый ветер; он устрасил бы любого путника, сколь важно ни было бы его дело, но Каратис нравилось все мрачное. Неркес была того же мнения, а Кафур имела особенное пристрастие к зараженному воздуху. Утром это милое общество в сопровождении двух дровосеков остановилось у берега большого болота, откуда подымался смертоносный туман, который оказался бы губительным для всякого животного, только не для Альбуфаки, легко и с удовольствием вдыхавшего эти вредные испарения. Крестьяне умоляли женщин не ложиться спать в этом месте. «Спать! — воскликнула Каратис. — Прекрасная мысль! Я сплю только для того, чтобы иметь во сне видения, а что касается моих служанок, у них слишком много дела, чтобы закрывать свой единственный глаз». Беднякам ста-

новилося не по себе в этом обществе; им оставалось только изумляться.

Каратис и негритянки, сидевшие на крупе верблюда, слезли; раздевшись почти догола, они бросились под палящим зноем за ядовитыми травами, в изобилии росшими по краям болота. Эти припасы предназначались для семьи эмира и для всех, кто мог сколько-нибудь помешать путешествию в Истахар. Три страшных призрака, бегавших по берегу среди бела дня, навели ужас на дровосеков; им не очень нравилось также общество Альбуфаки. Но еще хуже было то, что Каратис приказала трогаться в путь в полдень, когда от жара чуть не лопались камни; можно было многое возразить, но пришлось повиноваться.

Альбуфаки очень любил пустыню и каждый раз фыркал, замечая признаки жилья, а Каратис, баловавшая его по-своему, тотчас сворачивала в сторону. Таким образом, крестьяне не могли поехать в продолжение всего пути. Козы и овцы, которых, казалось, посылало им Провидение и чье молоко могло бы освежить их, убегали при виде отвратительного животного и его странных седоков. Сама Каратис не нуждалась в обыкновенной пище, так как с давних пор она довольствовалась опиатом собственного изобретения, которым делилась и со своими немymi любимицами.

С наступлением ночи Альбуфаки вдруг остановился и топнул ногой. Каратис, зная его замашки, поняла, что, вероятно, по соседству кладбище. Действительно, в бледном свете луны виднелась длинная стена и в ней полуоткрытая дверь, настолько высокая, что Альбуфаки мог в нее пройти. Несчастные проводники, чувствуя, что подходит их смертный час, смиренно попросили Каратис похоронить их так, как ей будет угодно это сделать, и отдали богу душу. Неркес и Кафур по-своему насмеялись над глупостью этих людей, кладбище им очень понравилось, и они нашли, что гробницы имеют приятный вид; на склоне холма их было по крайней мере две тысячи. Каратис, слишком занятая своими грандиозными замыслами, чтобы останавливаться на таком зрелище, как бы ни было оно приятно для глаз, решила извлечь выгоду из своего положения. «Наверно,— говорила она себе,— такое прекрасное кладбище часто посещается гулами; эти гулы не ли-

шены ума; так как я по оплошности дала умереть своим глупым проводникам, спрошу-ка я дорогу у гулов, а чтоб их привлечь, приглашу их отведать свежего мяса». Затем она объяснилась жестами с Неркес и Кафур и приказала им пойти постучать по могилам и посмотреть, что будет.

Негритянки, довольные этим приказом и рассчитывая на приятное общество гулов, удалились с победоносным видом и принялись постукивать по могилам. В ответ из-под земли послышался глухой шум, песок зашевелился, и гулы, привлеченные запахом свежих трупов, полезли отовсюду, обнюхивая воздух. Все они собрались к гробнице белого мрамора, где сидела Каратис и лежали тела ее несчастных проводников. Царица приняла гостей с отменной вежливостью; поужинав, стали говорить о делах. Она скоро узнала все, что ей было нужно, и, не теряя времени, решила отправиться в путь; негритянки, завязавшие любовные шашни с гулами, знаками умоляли Каратис подождать хоть до рассвета, но Каратис была сама добродетель и заклятый враг любви и нежностей; она не вняла их мольбе и, взбравшись на Альбуфаки, приказала как можно скорее садиться. Четыре дня и четыре ночи они были в пути, нигде не останавливаясь. На пятый переправились через горы и проехали наполовину сожженными лесами, а на шестой прибыли к роскошным ширмам, укрывавшим от нескромных взоров сластолюбивые заблуждения ее сына.

Всходило солнце; стражи беспечно храпели на постах; топот Альбуфаки внезапно пробудил их; им показалось, что это явились выходцы из царства тьмы, и в страхе они бесцеремонно удрали. Ватек с Нурониар сидел в бассейне; он слушал сказки и издевался над рассказывавшим их Бабабалуком. Встревоженный криками телохранителей, он выскочил из воды, но скоро вернулся, увидев, что это Каратис; все еще сидя на Альбуфаки, она приближалась со своими негритянками, рвала в клочья муслин и другие тонкие ткани занавесей. Нурониар, совесть которой была не совсем покойна, подумала, что наступил час небесного мщения, и страстно прижалась к халифу. Тогда Каратис, не слезая с верблюда и кипя от бешенства при виде представшего пред ее целомудренным взором зрелища, разразилась беспощадной бранью. «Чудовище о двух

головах и четырех ногах,— воскликнула она,— что это за штуки? Не стыдно тебе променять на девчонку скипетр древних султанов? Так из-за этой-то нищенки ты безрассудно пренебрег повелениями Гяура? С ней-то ты тратишь драгоценные часы? Так вот какой плод ты извлекаешь из всех познаний, которыми я тебя снабдила! Разве это цель твоего путешествия! Прочь из объятий этой дурочки; утопи ее в бассейне и следуй за мной».

В первый момент гнева у Ватека было желание вспороть брюхо Альбуфаки, набить его негрityнками вместе с самой Каратис, но мысль о Гяуре, о дворце Истахара, о саблях и талисманах молнией блеснула в его уме. Он сказал матери учтиво, но решительно: «Страшная женщина, я повинуюсь тебе; Нурониар же я не утоплю. Она слаще засахаренного мираболана; она очень любит рубины, особенно рубин Джамшида, который ей обещан; она отправится с нами, ибо я хочу, чтобы она спала на диванах Сулеймана; без нее я лишаюсь сна». — «В добрый час!» — ответила Каратис, слезая с Альбуфаки, которого передала негрityнкам.

Нурониар, не желавшая расставаться со своей добычей, успокоилась немного и нежно сказала халифу: «Дорогой повелитель моего сердца, я последую за тобой, если нужно, и до Кафа, в страну афритов; я не побоюсь для тебя залезть в гнездо Симурга, который после твоей матери — самое почтенное создание в мире». — «Вот, — сказала Каратис, — молодая женщина, не лишенная мужества и познаний». Это было верно, но, несмотря на всю свою твердость, Нурониар не могла иногда не вспоминать о славном маленьком Гюльхенрузе и о днях любви, проведенных с ним; несколько слезинок затуманили ее глаза, что не ускользнуло от халифа; по оплошности она даже сказала вслух: «Увы, мой милый брат, что будет с тобой?» При этих словах Ватек нахмурился, а Каратис воскликнула: «Что это за гримасы? Что она говорит?» Халиф ответил: «Она некстати вздыхает о маленьком мальчике с томным взглядом и мягкими волосами, который любил ее». — «Где он? — перебила Каратис. — Я хочу познакомиться с этим красавчиком; я намерена, — прибавила она совсем тихо, — перед отъездом помириться с Гяуром; сердце хрупкого ребенка, впер-

вые отдающегося любви, будет для него самым лакомым блюдом».

Выйдя из бассейна, Ватек приказал Бабабалуку собрать людей, женщин и прочую подвижность своего серала и приготовить все к отъезду через три дня. Каратис удалилась в одиночестве в палатку, где Гяур забавлял ее обнадеживающими видениями. Проснувшись, она увидела у своих ног Неркес и Кафур; знаками они объяснили ей, что водили Альбуфаки на берег маленького озера, чтобы он пощипал серого мху, довольно ядовитого, и видели там таких же голубоватых рыбок, как в резервуаре на Самаррской башне. «О,— сказала она,— я должна сию же минуту отправиться туда; посредством одного приема я заставлю этих рыб предсказать мне будущее; они мне многое сообщат, и от них я узнаю, где Гюльхенруз, которого я непременно хочу принести в жертву». И она тронулась в путь со своей черной свитой.

Дурные дела делаются быстро, и Каратис, со своими негритянками скоро оказалась у озера. Они зажгли волшебные снадобья, имевшиеся всегда при них, разделись догола и вошли по горло в воду. Неркес и Кафур потрясали зажженными факелами, а Каратис произносила заклинания. Рыбы высунули из воды головы, усиленно волнуя ее плавниками, под влиянием колдовской силы жалобно разинули рты и сказали в один голос: «Мы преданы тебе от головы до хвоста, что тебе от нас нужно?» — «Рыбы,— сказала Каратис,— заклинаю вас вашей блестящей чешуей, скажите мне, где маленький Гюльхенруз?» — «По ту сторону этой скалы, госпожа,— ответили хором рыбы,— довольна ли ты? Нам трудно быть долго на воздухе с открытым ртом». — «Да,— ответила царица,— я сама вижу, что вы не привыкли к длинным речам; я оставляю вас в покое, хотя у меня есть к вам много других вопросов». На этом разговор кончился. Вода утихла, и рыбы скрылись.

Каратис, напитанная ядом своих замыслов, тотчас взобралась на скалу и увидела милого Гюльхенруза в тени дерев; рядом с ним сидели карлики и бормотали свои молитвы. Эти маленькие люди обладали даром чутко приближение недругов добрых мусульман; разумеется, они тотчас почувствовали Каратис; та внезапно остановилась, подумав про себя: «Как мягко склонил он свою маленькую

головку! Именно такой ребенок нужен мне». Карлики прервали эти благородные размышления, бросились на нее и стали царапаться изо всех сил. Неркес и Кафур тотчас кинулись на защиту своей госпожи и принялись так щипать карликов, что те отдали богу душу, прося Магомета отомстить этой злой женщине и всему ее роду.

От шума этой странной битвы Гюльхенруз проснулся, сделал отчаянный прыжок, взлез на смоковницу и, добравшись до вершины скалы, побежал что было сил; измученный, он упал замертво на руки доброго старого гения, нежно любившего детей и охранявшего их. Этот гений, обходя дозором воздушные просторы, ринулся на жестокого Гяура, когда тот рычал в своей страшной расселине, и отнял у него пятьдесят маленьких мальчиков, которых Ватек в своем нечестии принес ему в жертву. Он воспитывал своих питомцев в заоблачных гнездах, а сам жил в самом большом гнезде, которое отвоевал у грифов.

Эти безопасные убежища охранялись от дивов и афритов развевающимися знаменами, на которых были написаны блестящими золотыми буквами имена Аллаха и Пророка. Гюльхенруз, не разубедившийся еще в своей мнимой смерти, решил, что он в убежище вечного мира. Он без боязни отдавался ласкам своих маленьких друзей; все они собрались в гнездо почтенного гения и наперерыв целовали гладкий лоб и прекрасные глаза нового товарища. Тут, вдали от земной суеты, от бесчинства гаремов, от грубости евнухов и от непостоянства женщин, он нашел себе истинное прибежище. Он был счастлив, как и его товарищи; дни, месяцы, годы протекали в их мирном обществе. Взамен брэнного богатства и суетных знаний гений наделял своих питомцев даром вечного детства.

Каратис, не привыкшая выпускать из рук добычи, страшно разгневалась на негритянок; вместо того, чтобы развлекаться с ненужными карликами, которых они щипали до смерти, они должны были сразу схватить ребенка. Ворча она вернулась в долину. Ватек спал еще со своей красавицей, и она излила на них свое дурное настроение; тем не менее она утешала себя мыслью, что завтра они тронутся в Истахар, и при посредстве Гяура

она познакомится с 'самим' Эбдисом. Но судьба решила иначе.

Под вечер царица позвала к себе Дилару, очень нравившуюся ей, и долго с нею беседовала. Вдруг явился Бабабалук с известием, что небо со стороны Самарры объято пламенем и, по-видимому, случилось какое-то несчастье. Тотчас она взялась за астробии и за свои колдовские инструменты, смерила высоту планет, сделала вычисления и, к крайнему огорчению, узнала, что в Самарре грозный мятеж, что Мотавекель, воспользовавшись тем, что его брат возбуждал всеобщий ужас, возмутил народ, овладел дворцом и осадил башню, куда Мораканабад отступил с небольшим числом оставшихся верными сторонников. «Как! — воскликнула она. — Я лишусь своей башни, своих негритянок, немых, мумий, а главное, лаборатории, которая стоила мне столько трудов, а еще неизвестно, добьется ли чего-нибудь мой безрассудный сын! Нет, я не дам себя одурачить; сейчас же отправлюсь на помощь Мораканабаду; со своим страшным искусством мы осыпем восставших дождем гвоздей и раскаленного железа; я выпущу своих змей и скатов, что живут под высокими сводами башни и голодом доведены до ярости, и мы посмотрим, смогут ли они сопротивляться нам». С этими словами Каратис побежала к сыну, спокойно пировавшему с Нуруниар в своем роскошном алом шатре. «Обжора, — сказала она ему, — если бы не моя бдительность, ты скоро сделался бы повелителем паштетов; — твои правверные нарушили присягу, данную тебе; твой брат Мотавекель овладел троном и царствует сейчас на холме Пегих Лошадей, и если б у меня не было кое-какой помощи в башне, он не скоро отказался бы от своей добычи. Но чтобы не терять времени, я скажу тебе всего три слова: складывай палатки, трогайся нынче же вечером и не останавливайся нигде по пустыкам! Хотя ты и нарушил повеления пергамента, не все еще потеряно, ибо, надо сознаться, ты премило нарушил законы гостеприимства, соблазнив дочь эмира в благодарность за его хлеб-соль. Эти выходки, наверно, понравились Гяуру, и если дорбгой ты совершишь еще какое-нибудь маленькое преступление, все обойдется отлично: ты с триумфом войдешь во дворец Сулеймана. Прощай! Альбуфаки и негритянки ждут меня у дверей».

Халиф не нашелся ответить ни слова на все это; он пожелал матери счастливого пути и закончил свой ужин. В полночь тронулись при звуках труб. Но как ни старались музыканты, из-за грома литавр все же слышались вопли эмира и его бородачей, которые от слез ослепли и повывали себе все волосы в знак горя. Эта музыка расстраивала Нурониар, и она была очень довольна, когда за дальностью расстояния ничего уже не стало слышно. Она возлежала с халифом в царских носилках, и они забавлялись тем, что представляли себе, какую пышностью будут скоро окружены. Остальные женщины грустно сидели в своих паланкинах, а Дилара терпеливо ждала, размышляя, как будет предаваться культу огня на величественных террасах Истахара.

Через четыре дня прибыли в веселую долину Рохнабада. Весна была в полном разгаре; причудливые ветви цветущего миндаля вырезались на сияющем голубом небе. Земля, усеянная гиацинтами и нарциссами, сладко благоухала; здесь жили тысячи пчел и почти столько же аскетов. По берегу ручья чередовались ульи и часовни, чистота и белизна которых еще ярче выделялась на темной зелени высоких кипарисов. Набожные отшельники занимались разведением маленьких садов, изобиловавших фруктами и, в особенности, мускусными дынями, лучшими в Персии. На лугу некоторые из них забавлялись кормлением белоснежных павлинов и голубых горлинок. Среди таких занятий их застал авангард царского каравана. Всадники закричали: «Жители Рохнабада, повергнитесь ниц по берегам ваших светлых источников и благодарите небо, посылающее вам луч своей славы, ибо вот приближается Повелитель правоверных!»

Бедные аскеты, исполненные священного рвения, поспешно зажгли в часовнях восковые свечи, развернули свои Кораны на эбеновых аналоях и вышли навстречу халифу с корзиночками фиг, меда и дынь. Пока они торжественно, мерными шагами приближались, лошади, верблюды и стражи безжалостно топтали тюльпаны и другие цветы. Аскеты не могли отнестись к этому равнодушно и то бросали скорбные взоры на разорение, то смотрели на халифа и на небо. Нурониар, в восторге от чудных мест, напоминавших ей дорогие сердцу места ее дет-

ства, попросила Ватека остановиться. Но халиф, полагая, что в глазах Гяура все эти маленькие часовни могут сойти за жилье, приказал своим воинам разрушить их. Отшельники остоленели, когда те принялись исполнять это варварское приказание; они горько плакали, а Ватек велел евреям гнать их пинками. Здесь вместе с Нурониар халиф вышел из носилок, и они стали гулять по лугу, собирая цветы и болтая, однако пчелы, как добрые мусульманки, решили отомстить за своих хозяев-отшельников и с таким ожесточением принялись жалить их, что близость носилок оказалась более чем кстати.

Дородность павлинов и горлиц не укрылась от Бабабалука, и он приказал изжарить на вертеле и сварить несколько дюжин. Халиф и его приближенные ели, смеялись, чокались, вволю богохульствовали, когда муллы, шейхи, хедивы и имамы Шираза, вероятно не встретив отшельников, прибыли с ослами, украшенными венками цветов, лентами и серебряными колокольчиками и нагруженными всем, что было лучшего в стране. Они принесли свои дары халифу, умоляя его оказать честь их городам и мечетям своим посещением. «О,— сказал Ватек,— от этого я воздержусь; я принимаю ваши приношения и прошу оставить меня в покое, ибо я не люблю бороться с искушениями; но так как неприлично, чтобы такие почтенные люди, как вы, возвращались пешком, и так как вы, по-видимому, неважные наездники, то мои евнухи из предосторожности привяжут вас к нашим ослам и в особенности примут меры, чтобы вы не поворачивались ко мне спиной, они ведь знают этикет». Среди приехавших были смелые шейхи; они решили, что Ватек сошел с ума, и вслух высказали свое мнение. Бабабалук позаботился хорошенько прикрутить их к седлам; ослов подстегнули терновником, они помчались галопом, забавно брыкаясь и толкая друг друга. Нурониар с халифом от души наслаждались этим недостойным зрелищем; они громко хохотали, когда старики падали со своими ослами в ручей, и одни вставали хромыми, другие лишались рук, третьи вышибали себе передние зубы и даже хуже.

В Рохнабаде общество провело два очень приятных дня, которые не были испорчены появлением новых посольств. На третий день они тронулись в путь. Шираз

остался справа. Они достигли большой равнины, на краю которой над горизонтом показались черные вершины гор Истахара.

Вне себя от восторга халиф и Нурониар выскочили из носилок с радостными восклицаниями, чем удивили всех, кто их слышал. «Куда мы направляемся,— спрашивали они друг друга,— во дворцы, блистающие светом, или в сады, более восхитительные, чем в Шеддаде?» Бедные смертные! — так терялись они в догадках: бездна тайн Всемогущего была скрыта от них.

Между тем добрые гении, наблюдавшие еще немного за поведением Ватека, поднялись на седьмое небо к Магомету и сказали ему: «Милосердный Пророк, подай руку помощи твоему Наместнику, или он безвозвратно запутается в сетях, которые расставили ему наши враги дивы; Гяур поджидает его в отвратительном дворце подземного огня: если он туда войдет, он погиб навсегда». Магомет с негодованием ответил: «Он слишком заслужил быть предоставленным самому себе; однако я разрешаю вам сделать последнее усилие, чтобы спасти его».

Тотчас добрый гений принял вид пастуха, более прославленного своей набожностью, чем все дервиши и аскеты страны; он сел на склоне небольшого холма, близ стада белых овец и стал наигрывать на никому неведомом инструменте напевы, трогательная мелодия которых проникала в душу, пробуждала угрызения совести и прогоняла суетные мысли. От этих мощных звуков солнце покрылось темными тучами и кристально прозрачные воды маленького озера стали краснее крови. Все, кто был в пышном караване халифа, помимо своей воли устремились к холму; все в печали опустили глаза; все укоряли себя за зло, содеянное в жизни; у Дилары билось сердце, а начальник евнухов с сокрушенным видом просил прощения у женщин, которых часто мучил для собственного удовольствия.

Ватек и Нурониар побледнели и, угрюмо взглянув друг на друга, вспомнили с горьким раскаянием: он — о множестве совершенных им мрачайших преступлений, о своих нечестивых и властолюбивых замыслах, а она — о своей разрушенной семье, о погибшем Гюльхенрузе. Нурониар казалось, что в этих роковых звуках слышат-

ся крики умирающего отца, а Ватеку мерещились рыдания пятидесяти детей, которых он принес в жертву Гяуру. В этом душевном смятении их неудержимо влекло к пастуху. В его облике было нечто столь внушительное, что Ватек в первый раз в жизни смутился, а Нурониар закрыла лицо руками. Музыка смолкла, и гений обратился к халифу со словами: «Безумный властитель, которому провидение вручило заботы о народе! Так-то ты исполняешь свои обязанности? Ты превзошел меру преступлений, а теперь ты спешишь за возмездием? Ты знаешь, что за этими горам — мрачное царство Эблиса и проклятых дивов, и, соблазненный коварным призраком, ты отдаешься в их власть! Тебе предлагают в последний раз помощь; оставь свой отвратительный замысел, возвратись, отдай Нурониар отцу, в котором еще теплится жизнь, разрушь башню со всеми ее мерзостями, не слушай советов Каратис, будь справедлив к подданным, уважай посланников Пророка, загладь свое беззаконие примерной жизнью и вместо того, чтоб предаваться сладострастию, покайся в слезах на могилах своих благочестивых предков! Видишь ты тучи, что закрывают солнце? Если твое сердце не смягчится, то в час, когда небесное светило появится вновь, рука милосердия уже не протянется к тебе».

В страхе и нерешительности Ватек готов был броситься к ногам пастуха, в котором почувствовал нечто, превосходящее человеческое, но гордость одержала верх, и, дерзко подняв голову, он метнул на него свой страшный взгляд. «Кто бы ты ни был,— ответил он,— довольно! Оставь свои бесполезные советы. Или ты хочешь обмануть меня, или сам обманываешься: если то, что я сделал, так преступно, как ты утверждаешь, то для меня нет и капли милосердия; я пролил море крови, чтобы достичь могущества, которое заставит трепетать тебе подобных; не надейся, что я отступлю, дойдя до самой цели, или что брошу ту, которая для меня дороже жизни и твоего милосердия. Пусть появится солнце, пусть освещает мой путь, мне все равно, куда бы он ни привел!» От этих слов вздрогнул сам гений, а Ватек бросился в объятия Нурониар и велел двигаться вперед.

Нетрудно было исполнить это приказание; наваждение исчезло, солнце заблестало вновь, и пастух скрылся

с жалобным криком. Но роковое впечатление от музыки гения все же осталось в сердцах большинства людей Ватика; они с ужасом глядели друг на друга. С наступлением ночи все разбежались, и из многочисленной свиты остался лишь начальник евнухов, несколько беззаветно преданных рабов, Дилара и кучка женщин, принадлежавших, как и она, к религии магов.

Халиф, пожираемый горделивым желанием предписывать законы силам тьмы, мало огорчился этим бегством. Волнение крови мешало ему спать, и он не расположился лагерем, как обыкновенно. Нурониар, нетерпение которой чуть ли не превышало нетерпение халифа, торопила его и расточала нежнейшие ласки, чтобы окончательно помутить его разум. Она мнила уже себя могущественнее, чем Балкис, и представляла себе, как гении повергнутся ниц пред ступенями ее трона. Таким образом подвигались они при свете луны и увидели, наконец, две высоких скалы, которые образовали как бы портал у входа в небольшую долину, замыкавшуюся вдали обширными развалинами Истахара. Высоко с горы смотрели многочисленные гробницы царей; мрак ночи усиливал жуткое впечатление от этой картины. Миновали два городка, почти совершенно покинутых. В них осталось лишь несколько дряхлых старцев; увидя лошадей и носилки, они бросились на колени, восклицая: «О, боже, снова эти призраки, мучающие нас уже шесть месяцев! Увы! все жители, напуганные странными привидениями и шумом в недрах гор, покинули нас на произвол злых духов!» Эти жалобы показались халифу дурным предзнаменованием; он растоптал бедных старцев своими лошадьми и прибыл наконец к подножию большой террасы из черного мрамора. Там он и Нурониар вышли из носилок. С бьющимися сердцами, блуждающим взором осматривали они все вокруг и с невольной дрожью ждали появления Гяура; но ничто не указывало на его присутствие. Зловещее молчание царило в воздухе и на горах. Луна отбрасывала на большую террасу тени огромных колонн, подымавшихся чуть не до облаков. На этих унылых маяках, число которых казалось безмерным, не было крыш, и их капители, неизвестного в летописях земли стиля, служили прибежищем ночных птиц, которые, испугавшись приближения людей, с карканьем скрылись.

Главный евнух, цепenea от ужаса, умолял Ватека позволить зажечь огонь и что-нибудь поесть. «Нет, нет,— ответил халиф,— некогда думать о подобных вещах; сиди смиренно и жди приказаний!» Он сказал это решительным тоном и подал руку Нурониар. Взойдя по ступеням большой лестницы, они очутились на террасе, вымощенной мраморными плитами, подобной гладкому озеру; где не могла пробиться никакая травка. Направо шли маяки, стоявшие перед развалинами громадного дворца, стены которого были покрыты разными изображениями; прямо виднелись внушавшие ужас гигантские статуи четырех животных, похожих на грифов и леопардов; неподалеку от них при свете луны, освещавшей особенно ярко это место, можно было различить надписи, напоминавшие те, что были на саблях Гяура; они также постоянно менялись; когда, наконец, они приняли очертания арабских букв, халиф прочитал: «Ватек, ты не исполнил велений моего пергамента; ты заслуживаешь, чтобы я отослал тебя назад; но из уважения к твоей спутнице и во внимание к тому, что ты сделал, чтобы получить обещанное, Эблис позволяет отворить перед тобой двери своего дворца и принять тебя в число поклонников подземного пламени».

Едва он прочел эти слова, как гора, к которой примыкала терраса, содрогнулась и маяки чуть не обрушились им на головы. Скала полураскрылась, и в ее недрах появилась гладкая мраморная лестница; казалось, она спускается в бездну. На ступенях стояли по две свечи, похожих на те, что видела Нурониар в своем видении; камфарный дым их поднимался клубами к своду.

Это зрелище не испугало дочери Факреддина,— напротив, придало ей мужества; она не удостоила даже проститься с луной и небом и без колебания покинула чистый воздух, чтобы спуститься в адские испарения. Оба нечестивца шли гордо и решительно. Сходя при ярком свете этих факелов, они восхищались друг другом и в ослеплении своим величием готовы были принять себя за небесные существа. Единственное, что внушало им тревогу, было, что ступеням лестницы не видно было конца. В пламенном нетерпении они так спешили, что скоро спуск их стал походить на стремительное падение в безд-

ну; наконец, у большого эбенового портала они остановились: халиф тотчас узнал его; тут ждал их Гяур с золотым ключом. «Добро пожаловать — на зло Магомету и его приспешникам, — сказал он с отталкивающей улыбкой, — сейчас я введу вас во дворец, где вы честно заслужили себе место». С этими словами он дотронулся своим ключом до эмалевого замка, и тотчас обе половинки двери раскрылись с шумом, подобным грохоту летнего грома, и с таким же шумом закрылись, лишь только они вошли.

Халиф и Нурониар взглянули друг на друга с удивлением. Хотя помещение, где они находились, было покрыто сводом, оно казалось настолько обширным и высоким, что сначала они приняли его за огромную равнину. Когда глаза их присмотрелись, наконец, к размерам предметов, они разобрали ряды колонн и арок; постепенно уменьшаясь на расстоянии, они вели к лучистой точке, подобной солнцу, бросающему на поверхность моря свои последние лучи. Пол, усыпанный золотым порошком и шафраном, издавал такой острый запах, что у них закружилась голова. Они все же подвигались вперед и заметили множество курильниц с серой, амброй и алоэ. Между колоннами стояли столы, уставленные бесчисленными яствами всех сортов и пенящимися винами в хрустальных сосудах. Толпы джиннов и других летающих духов обоего пола танцевали сладострастные танцы под звуки музыки, раздававшейся откуда-то снизу.

В этой огромной зале прогуливались множество мужчин и женщин, державших правую руку у сердца; они казались занятыми лишь собою и хранили глубокое молчание. Все они были бледны, как трупы, и глубоко сидящие глаза их блестели фосфорическим светом, какой можно видеть по ночам на кладбищах. Одни были погружены в глубокую задумчивость, другие в бешенстве метались из стороны в сторону, как тигры, раненные отравленными стрелами; они избегали друг друга; и хотя их была целая толпа, все блуждали наугад, как бы в полном одиночестве.

При виде этого мрачного сборища Ватек и Нурониар похолодели от ужаса. Они настойчиво спрашивали у Гяура, что это такое и почему странствующие призраки все время

держат правую руку у сердца. «Нечего теперь думать об этом,— резко ответил он,— скоро все узнаете; надо скорей представиться Эблису». И они продолжали пробираться вперед, но, несмотря на свою прежнюю самоуверенность, у них уже не хватало мужества обращать внимание на анфилады зал и галерей, открывавшихся направо и налево; все они были освещены пылающими факелами и светом костров, пирамидальное пламя которых достигало до самого свода. Наконец, они пришли к месту, где пышные портьеры из ярко-малиновой парчи, расшитой золотом, падали со всех сторон в величественном беспорядке. Тут не было больше слышно музыки и танцев; свет, казалось, проникал сюда изда-лека.

Ватек и Нурониар раздвинули складки занавесей и вошли в обширное святилище, устланное леопардовыми шкурами. Множество старцев с длинными бородами, африты в полном вооружении лежали ниц у ступеней возвышения, где на огненном шаре сидел грозный Эблис. Он казался молодым человеком лет двадцати; правильные и благородные черты его лица как бы поблекли от вредоносных испарений. В его огромных глазах отражались отчаяние и надменность, а волнистые волосы отчасти выдавали в нем падшего Ангела Света. В нежной, но почерневшей от молний руке он держал медный скипетр, пред которым трепетали чудовищный Уранбад, африты и все силы тьмы.

Халиф растерялся и повергся ниц. Нурониар, несмотря на все свое волнение, была очарована красотой Эблиса, ибо она ожидала увидеть ужасного исполина. Голосом, более мягким, чем можно было предположить, но вселявшим глубокую печаль, Эблис сказал им: «Сыны праха, я принимаю вас в свое царство. Вы из числа моих поклонников; пользуйтесь всем, что видите во дворце,— сокровищами древних султанов, живших со времен Адама, их волшебным разящими саблями и талисманами, которые заставят дивов открыть вам подземелья горы Каф, сообщающиеся с этими. Там вы найдете многое, что может удовлетворить ваше ненасытное любопытство. Вы сможете проникнуть в крепость Ахермана и в залы Ардженка, где находятся изображения всех разумных тварей и животных, живших на земле до со-

творения презренного существа, которого вы называете отцом людей».

Эта речь утешила и успокоила Ватека и Нурониар. Они с живостью сказали Гяуру: «Показывай же нам скорее драгоценные талисманы!» — «Идем, — отвечал злой Див с коварной усмешкой, — идем, вы получите все, что обещал вам Повелитель, и даже больше». И Гяур повел их длинным проходом, сообщавшимся со святилищем; он шел впереди большими шагами, а бедные новообращенные с радостью следовали за ним. Они вошли в обширную залу с высоким куполом, по сторонам которой находилось пятьдесят бронзовых дверей, запертых стальными цепями. Здесь царила мрачная темнота, а на нетленных кедровых ложах были расprostерты иссохшие тела знаменитых древних царей преадамитов, некогда повелителей всей земли. В них теплилось еще достаточно жизни, чтобы чувствовать безнадежность своего состояния; глаза их сохраняли печальную подвижность; они в тоске переглядывались, прижимая правую руку к сердцу. У ног их виднелись надписи, сообщавшие об их царствованиях, могуществе, гордости и преступлениях. Солиман Раад, Солиман Даки и Солиман по прозванию Джиан бен Джиан, султаны, заключившие дивов в темницы пещеры на горе Каф и ставшие столь самонадеянными, что усомнились в существовании Высшего Начала, составляли там почетный ряд и, однако, находились ниже пророка Сулеймана бен Дауда.

Этот царь, славившийся своей мудростью, возлежал выше всех, под самым куполом. Казалось, жизни в нем было больше, чем в других, и хотя время от времени он глубоко вздыхал и держал правую руку у сердца, как и другие, его лицо было покойнее, и казалось, что он прислушивается к шуму черного водопада, видневшегося сквозь решетки одной из дверей. Лишь водопад один нарушал безмолвие этих унылых мест. Ряд медных сосудов окружал возвышение: «Сними крышки с этих каббалистических хранилищ, — сказал Гяур Ватеку, — вынь оттуда талисманы, они откроют тебе эти бронзовые двери, и ты станешь властелином сокровищ, запертых там, и повелителем охраняющих их духов!»

Халиф, подавленный этими зловещими приготовлениями, нетвердой поступью подошел к сосудам и оцепе-

нел от страха, услышав стоны Сулеймана, которого в первый момент растерянности принял за труп. Пророк явственно произнес своими синеватыми губами следующие слова: «При жизни я восседал на пышном троне. По правую руку от меня стояло двенадцать тысяч золотых сидалищ, где патриархи и пророки внимали моим поучениям; слева на стольких же серебряных тронах мудрецы и ученые присутствовали при отправлении мною правосудия. Пока таким образом я разбирал дела бесчисленного множества подданных, птицы тучей кружились над моей головой, служа мне защитой от солнца. Мой народ благоденствовал; мои дворцы вздымались к небесам; храм Всевышнему, выстроенный мной, стал одним из чудес света. Но я малодушно поддался увлечению женщинами и любопытству, которое не ограничилось подлунными делами. Я послушался советов Ахермана и дочери Фараона; я поклонялся огню и небесным светилам, и, покинув священный город, я приказал гениям выстроить пышные дворцы Истахара и террасу маяков, каждый из них посвящая одной из звезд. Там в течение некоторого времени я всем своим существом наслаждался блеском трона и сладострастием; не только люди, но и гении были подвластны мне. Я начал думать, как и эти несчастные цари, среди которых я лежу, что небесного мщения нет, как вдруг молния сокрушила мои здания и низвергла меня сюда. Я не лишен, однако, надежды, как другие. Ангел Света принес мне весть, что во внимание к благочестию моих юных лет мои мучения кончатся, когда иссякнет этот водопад, капли которого я считаю; но, увы, когда придет этот желанный час? Я стражду, стражду! Безжалостный огонь пожирает мое сердце!»

С этими словами Сулейман с мольбой поднял руку к небу, и халиф увидел, что грудь его из прозрачного кристалла, сквозь которую видно сердце, охваченное пламенем. В ужасе Нурониар упала на руки Ватека. «О, Гяур! — воскликнул злосчастный государь. — Куда завел ты нас? Выпусти нас отсюда; я отказываюсь от всего! О, Магомет! неужели у тебя не осталось более милосердия к нам?» — «Нет, больше не осталось, — ответил злобный Див, — знай: здесь край, где царят безнадежность и возмездие, твое сердце будет так же пылать, как и у всех поклонников

Эблиса; немного дней остается тебе до рокового конца, пользуйся ими, как хочешь; спи на горах золота, повелевай адскими силами, блуждай по этим бесконечным подземельям, сколько тебе угодно; все двери раскроются перед тобой. Что до меня, я выполнил свое поручение и предоставляю тебя самому себе». С этими словами он исчез.

Халиф и Нуруниар остались в смертельном унынии; они не могли плакать, с трудом они держались на ногах; наконец, грустно взявшись за руки, они неверными шагами вышли из мрачной залы, не зная, куда идти. Все двери открывались при их приближении, дивы падали ниц перед ними; груды богатств представлялись их взорам, но у них не было больше ни любопытства, ни гордости, ни корыстолюбия. С одинаковым безразличием слушали они хоры джиннов и смотрели на великолепные блюда, появлявшиеся со всех сторон. Они бесцельно скитались из зала в зал, из комнаты в комнату, из прохода в проход, по бездонным и безграничным пространствам, освещенным сумрачным светом, среди той же печальной роскоши, среди тех же существ, ищущих отдыха и облегчения, но ищущих тщетно, ибо всюду с ними было сердце, томимое пламенем. Их избегали все эти несчастные, своими взглядами как бы говорившие друг другу: «Это ты меня соблазнил, это ты меня развратил», — и они держались в стороне, с тоской ожидая, когда придет их очередь.

«Как! — говорила Нуруниар. — Неужели настанет время, когда я отниму свою руку от твоей?» — «О, — говорил Ватек, — разве мои взоры не будут по-прежнему черпать страсть в твоих? Разве минуты счастья, пережитые вместе, будут внушать мне ужас? Нет, не ты меня ввела в это гнусное место; нечестивые наставления Каратис, развратившей меня с юности, причина нашей гибели. Так пусть же она по крайней мере страдает вместе с нами!» Произнеся эти горестные слова, он позвал африта, мешавшего угли, и приказал ему извлечь царицу Каратис из дворца в Самарре и доставить сюда.

Затем они продолжали свой путь среди безмолвной толпы, пока не услышали разговора в конце галереи. Предполагая, что это такие же несчастные, как и они, над которыми не произнесен еще приговор, они направились

на звук голосов. Голоса раздавались из маленькой квадратной комнаты, где на диванах сидели четыре молодых человека приятной наружности и красивая женщина; они грустно беседовали в полусвете лампы. Все они были мрачны и подавлены, а двое из них нежно обнимали друг друга. При виде халифа и дочери Факреддина они вежливо встали, поклонились и дали им место. Затем казавшийся самым почтенным из них обратился к халифу со словами: «Чужеземец, ты, конечно, находишься в том же страшном ожидании, как и мы, ибо не удержишь еще правой руки у сердца; если ты пришел провести с нами ужасные часы, оставшиеся нам до начала наказания, соблаговоли рассказать о приключениях, которые привели тебя в это роковое место, а мы расскажем о наших; они заслуживают быть выслушанными. Припомнить и вновь пережить свои преступления, хотя уже и некогда раскаяться в них,— единственное, что осталось таким несчастным, как мы».

Халиф и Нуруниар приняли предложение, и Ватек без содрогания начал чистосердечный рассказ. Когда он кончил тяжкое повествование, молодой человек, говоривший с ним, начал рассказывать в ответ свою историю. Далее следуют:

История двух друзей — принцев Алази и Фиру, заключенных в подземном дворце.

История принца Боркиарок, заключенного в подземном дворце.

История принца Калилы и принцессы Зулкаис, заключенных в подземном дворце.

Третий принц рассказал половину своей истории, когда его прервал шум, от которого задрожали и открылись своды подземелья. Облако понемногу рассеялось, и появилась Каратис, верхом на африте, горько жаловавшемся на свою ношу. Царица спрыгнула на землю и, подойдя к сыну, сказала ему: «Что ты делаешь в этой маленькой комнате? Видя, что дивы слушаются тебя, я подумала, что ты сидишь на троне древних султанов».

«Мерзкая женщина! — ответил халиф. — Будь проклят день, когда ты произвела меня на свет! Следуй за этим афритом, пусть он сведет тебя в залу пророка Су-

леймана, там ты узнаешь, каково назначение дворца, столь для тебя желанного, и как я должен проклинать нечестивое знание, которым ты меня снабдила!» — «Ты достиг власти и у тебя от радости помутился рассудок,— возразила Каратис.— Я лучше и не хочу, как почитать пророка Сулеймана. Кстати, так как африт сказал мне, что ни ты, ни я не вернемся в Самарру, знай, что я просила позволения привести в порядок свои дела и он был настолько любезен, что согласился. Я употребила с пользой эти минуты: подожгла нашу башню, сожгла живьем немых, негритянок, скатов и змей, которые все же оказали мне много услуг, и так же поступила бы с везиром, если б он не променял меня на Мотавекеля. Что касается Бабабалука, по глупости вернувшегося в Самарру и нашедшего мужей твоим женам, я предала бы его пытке, если б оставалось время; но мне было некогда, и, привлекиши его хитростью, как и женщин, на свою сторону, я велела его только повесить; по моему же приказу женщин живыми зарыли в землю негритянки, чем доставили себе большое удовольствие в последние минуты жизни. Что касается Дилары, всегда мне нравившейся, она проявила свой обычный ум, отправившись сюда и собираясь служить одному магу; я думаю, она скоро будет нашей». Ватек был чересчур удручен, чтобы негодовать по поводу этой речи; он приказал африту удалить Каратис и остался в мрачной задумчивости, которую не решились нарушить его товарищи по несчастью.

Между тем Каратис быстро прошла до залы Сулеймана и, не обращая внимания на стоны пророка, дерзко сдернула покрывала с сосудов и завладела талисманами. Затем она подняла вой, какого никогда не слышали еще в этих местах, и заставила дивов показать ей наиболее тщательно спрятанные сокровища, самые глубокие кладовые, которых не видал никогда ни один африт. Она спустилась по крутым сходам, известным лишь Эблису и его любимым приближенным, и проникла при помощи талисманов в самые недра земли, откуда дует санфар, ледяной ветер смерти; ничто не устрашало ее неукротимого сердца. Однако во всех тех, кто прижимал правую руку к сердцу, она нашла небольшую странность, не понравившуюся ей.

Когда она выходила из одной пропасти, пред ее взором предстал Эблис. Несмотря на внушительность его вида, она не растерялась и приветствовала его с большой находчивостью. Гордый монарх ответил ей: «Царица, чьи познания и преступления заслуживают высокого положения в моей стране! Ты хорошо пользуешься остатком свободного времени; скоро пламя и мучения овладеют твоим сердцем и причинят тебе достаточно забот». С этими словами он скрылся за занавесями своего святилища.

Каратис немного смутилась, но, решив смело идти до конца и следовать совету Эблиса, она собрала всех джиннов и дивов, чтобы они воздали ей почести. Так шла она с торжеством сквозь благовонные испарения под радостный крик всех злых духов, большинство которых были ей знакомы. Она собиралась даже согнать с трона одного из Солиманов, чтобы занять его место, как вдруг голос из бездны смерти воскликнул: «Свершилось!» Тотчас надменный лоб бесстрашной царицы покрылся морщинами агонии; она испустила жалобный крик, и сердце ее обратилось в пылающий уголь; она приложила к нему руку, и не могла уже ее отнять.

В иступлении, забыв свои честолюбивые замыслы и жажду познаний, которые недоступны смертным, она опрокинула дары, положенные джиннами к ее ногам, и, проклиная час своего рождения и чрево, носившее ее, она начала метаться, не останавливаясь ни на мгновение, не вкушая ни минуты отдыха.

Почти в то же время тот же голос возвестил безнадежный приговор халифу, Нурониар, четверем принцам и принцессе. Их сердца воспламенились, и они потеряли самое дорогое из даров неба — надежду! Несчастные оказались разлученными и бросали друг на друга злобные взоры. Ватек видел во взгляде Нурониар лишь ярость и жажду мести; она в его глазах — отвращение и безнадежность. Два принца, только что нежно обнимавшиеся как друзья, разошлись с содроганием. Калила и его сестра стали проклинать друг друга. Ужасные судороги и сдавленные вопли двух других принцев свидетельствовали о том, как ненавистны они сами себе. Все они погрузились в толпу отверженных, чтобы скитаться в вечной муке.

Такова была и такова должна быть кара за разнузданность страстей и за жестокость деяний; таково будет наказание слепого любопытства тех, кто стремится проникнуть за пределы, положенные создателем познанию человека; таково наказание самонадеянности, которая хочет достигнуть знаний, доступных лишь существам высшего порядка, и достигает лишь безумной гордыни, не замечая, что удел человека — быть смиренным и неведущим.

Так халиф Ватек, в погоне за тщеславной пышностью и запретной властью, очернил себя множеством преступлений, сделался добычей угрызений совести и бесконечной, безграничной муки, а смиренный, презираемый Гюльхенруз провел века в тихом покое и в счастье блаженного детства.

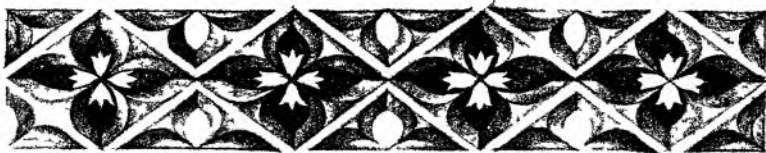




Мери Уелли

**ФРАНКЕНШТЕЙН,
или
Современный Прометей**

•



**ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
К ИЗДАНИЮ 1831 ГОДА**

Издатели «Образцовых романов», включив «Франкенштейна» в свою серию, высказали пожелание, чтобы я изложила для них историю создания этой повести. Я согласилась тем более охотно, что это позволит мне ответить на вопрос, который так часто мне задают: как могла я, в тогдашнем моем юном возрасте, выбрать и развить столь жуткую тему? Я, правда, очень не люблю привлекать к себе внимание в печати; но поскольку мой рассказ будет всего лишь приложением к ранее опубликованному произведению и ограничится темами, касающимися только моего авторства, я едва ли могу обвинять себя в навязчивости.

Нет ничего удивительного в том, что я, дочь родителей, занимающих видное место в литературе, очень рано начала помышлять о сочинительстве. Я марала бумагу еще в детские годы, и любимым моим развлечением было «писать разные истории». Но была у меня и еще бóльшая радость: возведение воздушных замков — грезы наяву, — когда я отдавалась течению мыслей, из которых сплетались воображаемые события. Эти грезы были фантастичнее и чудеснее моих писаний. В этих последних я рабски подражала другим — стремилась делать все, как у других, но не то, что подсказывало мое собственное воображение. Написанное предназначалось, во всяком случае, для одного читателя — подруги моего детства; а мои грезы принадлежали мне одной; я ни с кем не делилась ими; они были моим прибежищем в минуты огорчений, моей главной радостью в часы досуга.

Детство я большей частью провела в сельской местности и долго жила в Шотландии. Иногда я посещала более живо-

писные части страны, но обычно жила на унылых и нелюдимах северных берегах Тэй, вблизи Данди. Сейчас, вспоминая о них, я назвала их унылыми и нелюдимыми; но тогда они не казались мне такими. Там было орлиное гнездо свободы, где ничто не мешало мне общаться с созданиями моего воображения. В ту пору я писала, но это были весьма прозаические вещи. Истинные мои произведения, где вольно взлетала моя фантазия, рождались под деревьями нашего сада или на крутых голых склонах соседних гор.

В героини моих повестей я никогда не избирала самое себя. Моя жизнь казалась мне чересчур обыденной. Я не мыслила себя, что на мою долю когда-либо выпадут романтические страдания и необыкновенные приключения; но я не замыкалась в границах собственной личности и населяла каждый час дня созданиями, которые в моем тогдашнем возрасте были мне куда интереснее моего собственного бытия.

Впоследствии моя жизнь заполнилась заботами и место вымысла заняла действительность. Однако мой муж с самого начала очень желал, чтобы я оказалась достойной дочерью своих родителей и вписала свое имя на страницы литературной славы. Он постоянно побуждал меня искать литературной известности, да и сама я в ту пору желала ее, хотя потом она стала мне совершенно безразлична. Он желал, чтобы я писала, не столько потому, что считал меня способной написать что-либо заслуживающее внимания, но чтобы самому судить, обещаю ли я что-либо в будущем. Но я ничего не предпринимала. Переезды и семейные заботы заполняли все мое время; литературные занятия сводились для меня к чтению и к драгоценному для меня общению с его несравненно более развитым умом.

Летом 1816 года мы приехали в Швейцарию и оказались соседями лорда Байрона. Вначале мы проводили чудесные часы на озере или его берегах; лорд Байрон, в то время сочинявший 3-ю песнь «Чайльд Гарольда», был единственным, кто поверял свои мысли бумаге. Представая затем перед нами в светлом и гармоническом облачении поэзии, они, казалось, сообщали нечто божественное красотам земли и неба, которыми мы вместе с ним любовались.

Но лето оказалось дождливым и ненастным; непрерывный дождь часто по целым дням не давал нам выйти. В руки к нам попало несколько томов рассказов о привиде-

ниях в переводе с немецкого на французский. Там была «Повесть о неверном возлюбленном», где герой, думая обнять невесту, с которой только что обручился, оказывается в объятиях бледного призрака той, которую когда-то покинул. Была там и повесть о грешном родоначальнике семьи, который был осужден обрекать на смерть своим поцелуем всех младших сыновей своего несчастного рода, едва они выходили из детского возраста. В полночь, при неверном свете луны, исполинская призрачная фигура, закованная в доспехи, подобно призраку в «Гамлете», но с поднятым забралом, медленно проходила по мрачной аллее парка. Сперва она исчезала в тени замковых стен; но вскоре скрипели ворота, слышались шаги, дверь спальни отворялась, и призрак приближался к ложу цветущих юношей, погруженных в сладкий сон. С невыразимой скорбью на лице он наклонялся, чтобы запечатлеть поцелуй на челе юношей, которые с того дня увядали, точно цветы, сорванные со стебля.

С тех пор я не перечитывала этих рассказов, но они так свежи в моей памяти, точно я прочла их вчера.

«Пусть каждый из нас сочинит страшную повесть», — сказал лорд Байрон, и это предложение было принято. Нас было четверо. Лорд Байрон начал повесть, отрывок из которой опубликовал в приложении к своей поэме «Мазепа». Шелли, которому лучше удавалось воплощать свои мысли и чувства в образах и звуках самых мелодичных стихов, какие существуют на нашем языке, чем сочинять фабулу рассказа, начал писать нечто, основанное на воспоминаниях своей первой юности. Бедняга Полидори придумал жуткую даму, у которой вместо головы был череп — в наказание за то, что она подглядывала в замочную скважину; не помню уж, что она хотела увидеть, но наверное нечто неподобающее; расправившись с ней, таким образом, хуже, чем поступили с пресловутым Томом из Ковентри, он не знал, что делать с нею дальше, и вынужден был отправить ее в семейный склеп Капулетти — единственное подходящее для нее место. Оба прославленных поэта, наскучив прозой, тоже скоро отказались от замысла, столь явно им чуждого.

А я решила сочинить повесть и потягаться с теми рассказами, которые подсказали нам нашу затею. Такую повесть, которая обращалась бы к нашим тайным страхам и

вызывала нервную дрожь; такую, чтобы читатель боялся оглянуться назад; чтобы у него стыла кровь в жилах и громко стучало сердце. Если мне это не удастся, мой страшный рассказ не будет заслуживать своего названия. Я старалась что-то придумать, но тщетно. Я ощущала то полнейшее бессилие — худшую муку сочинителей, — когда усердно призываешь музу, а в ответ не слышишь ни звука. «Ну как, придумала?» — спрашивали меня каждое утро, и каждое утро, как ни обидно, я должна была отвечать отрицательно.

«Все имеет начало», говоря словами Санчо; но это начало, в свою очередь, к чему-то восходит. Индийцы считают, что мир держится на слоне, но слона они ставят на черепахе. Надо смиренно сознаться, что сочинители не создают своих творений из ничего, а всего лишь из хаоса; им нужен прежде всего материал; они могут придать форму бесформенному, но не могут рождать самую сущность. Все изобретения и открытия, не исключая открытий поэтических, постоянно напоминают нам о Колумбе и его яйце. Творчество состоит в способности почувствовать возможности темы и в умении сформулировать вызванные ею мысли.

Лорд Байрон и Шелли часто и подолгу беседовали, а я была их прилежным, но почти безмолвным слушателем. Однажды они обсуждали различные философские вопросы, в том числе секрет зарождения жизни и возможность когда-нибудь открыть его и воспроизвести. Они говорили об опытах доктора Дарвина (я не имею здесь в виду того, что доктор действительно сделал, или уверяет, что сделал, но то, что об этом тогда говорилось, ибо только это относится к моей теме); он будто бы хранил в пробирке кусок вермишели, пока тот каким-то образом не обрел способности двигаться. Решили, что оживление материи пойдет иным путем. Быть может, удастся оживить труп; явление гальванизма, казалось, позволяло на это надеяться; быть может, ученые научатся создавать отдельные органы, соединять их и вдыхать в них жизнь.

Пока они беседовали, подошла ночь; было уже за полночь, когда мы отправились на покой. Положив голову на подушки, я не заснула, но и не просто задумалась. Воображение властно завладело мной, наделяя являвшиеся мне картины яркостью, какой не обладают обычные сны. Глаза мои были закрыты, но я каким-то внутренним взором не-

обычайно ясно увидела бледного адепта тайных наук, склонившегося над созданным им существом. Я увидела, как это отвратительное существо сперва лежало недвижно, а потом, повинуясь некоей силе, подало признаки жизни и неуклюже задвигалось. Такое зрелище страшно; ибо что может быть ужаснее человеческих попыток подражать несравненным творениям создателя? Мастер ужасается собственного успеха и в страхе бежит от своего создания. Он надеется, что зароненная им слабая искра жизни угаснет, если ее предоставить самой себе; что существо, оживленное лишь наполовину, снова станет мертвой материей; он засыпает в надежде, что могила навеки поглотит мимолетно оживший отвратительный труп, который он счел за вновь рожденного человека. Он спит, но что-то будит его; он открывает глаза и видит, что чудовище раздвигает занавеси у его изголовья, глядя на него желтыми, водянистыми, но осмысленными глазами.

Тут я сама в ужасе открыла глаза. Я так была захвачена своим видением, что вся дрожала и хотела вместо жуткого создания своей фантазии поскорее увидеть окружающую реальность. Я вижу ее как сейчас: комнату, темный паркет, закрытые ставни, за которыми, мне помнится, все же угадывались зеркальное озеро и высокие белые Альпы. Я не сразу прогнала ужасное наваждение; оно еще длилось. И я заставила себя думать о другом. Я обратилась мыслями к моему страшному рассказу — к злополучному рассказу, который так долго не получался!

О, если б я могла сочинить его так, чтобы заставить и читателя пережить тот же страх, какой пережила я в ту ночь!

И тут меня озарила мысль, быстрая как свет и столь же радостная: «Придумала! То, что напугало меня, напугает и других; достаточно описать призрак, явившийся ночью к моей постели».

Наутро я объявила, что сочинила рассказ. В тот же день я начала его словами: «Это было ненастной ноябрьской ночью», а затем записала свой ужасный сон наяву.

Сперва я думала уместить его на нескольких страницах; но Шелли убедил меня развить идею подробнее. Я не обязана моему мужу ни одним эпизодом, пожалуй, даже ни одной мыслью этой повести, и все же, если б не его уговоры,

она не увидела бы света в своей нынешней форме. Сказанное не относится к предисловию. Насколько я помню, оно было целиком написано им.

И вот я снова посылаю в мир мое уродливое детище. Я питаю к нему нежность, ибо оно родилось в счастливые дни, когда смерть и горе были для меня лишь словами, не находившими отклика в сердце. Отдельные страницы напоминают о прогулках, поездках, беседах, когда я была не одна и когда моим спутником был человек, которого в этом мире я больше не увижу.

Это, впрочем, касается меня одной; читателям нет дела до моих воспоминаний.





Ничто!

*В Англию, м-с Сэвилл,
Санкт-Петербург, 11 дек. 17.*

Ты порадуешься, когда услышишь, что предприятие, вызывавшее у тебя столь мрачные предчувствия, началось вполне благоприятно. Я прибыл сюда вчера; и спешу прежде всего заверить мою милую сестру, что у меня все благополучно и что я все более убеждаюсь в счастливом исходе моего дела.

Я нахожусь уже далеко к северу от Лондона; прохаживаясь по улицам Петербурга, я ощущаю на лице холодный северный ветер, который меня бодрит и радует. Поймешь ли ты это чувство? Ветер, доносящийся из краев, куда я стремлюсь, уже дает мне предвкушать их ледяной простор. Под этим ветром из обетованной земли мечты мои становятся живее и пламенней. Тщетно стараюсь я убедить себя, что полюс — это обитель холода и смерти; он предстает моему воображению как царство красоты и радости. Там, Маргарет, солнце никогда не заходит; его диск, едва поднимаясь над горизонтом, излучает вечное сияние. Там — ибо ты позволишь мне хоть несколько доверять бывалым мореходам — кончается власть мороза и снега, и по волнам спокойного моря можно достичь страны, превосходящей красотой и чудесами все страны, донныне открытые человеком. Природа и богатства этой неизведанной страны могут оказаться столь же диковинными, как и наблюдаемые там небесные явления. Чего только нельзя ждать от страны вечного света! Там я смогу открыть секрет дивной силы, влекущей к себе магнитную стрелку; а также проверить множество астрономических наблюдений; одного такого путешествия довольно, чтобы их кажущиеся противоречия раз навсегда получили разумное объяснение. Я смогу

насытить свое жадное любопытство зрелищем еще никому не ведомых краев и пройти по земле, где еще не ступала нога человека. Вот что влечет меня — побеждая страх перед опасностью и смертью и наполняя меня, перед началом трудного пути, той радостью, с какой ребенок вместе с товарищами своих игр плывет в лодочке по родной реке, на открытие неведомого. Но если даже все эти надежды не оправдаются, ты не можешь отрицать, что я окажу неоценимую услугу человечеству, если хотя бы проложу северный путь в те края, куда ныне нужно плыть долгие месяцы, или открою тайну магнита,— ведь если ее вообще можно открыть, то лишь с помощью подобного путешествия.

Эти размышления развеяли тревогу, с какой я начал писать тебе, и наполнили меня возвышающим душу восторгом, ибо ничто так не успокаивает дух, как обретение твердой цели — точки, на которую устремляется наш внутренний взор. Эта экспедиция была мечтой моей юности. Я жадно зачитывался книгами о путешествиях, предпринятых в надежде достичь северной части Тихого океана по полярным морям. Ты, вероятно, помнишь, что истории путешествий и открытий составляли всю библиотеку нашего доброго дядюшки Томаса. Образованием моим никто не занимался; но я рано пристрастился к чтению. Эти тома я изучал днем и ночью и все более сожалел, что мой отец, как я узнал еще будучи ребенком, перед смертью строго наказал моему дяде не пускать меня в море.

Мечты о море поблекли, когда я впервые познакомился с творениями поэтов, восхитившими мою душу и вознесшими ее к небесам. Я сам стал поэтом и целый год прожил в Эдеме, созданном моей фантазией. Я вообразил, что и мне суждено место в храме, посвященном Гомеру и Шекспиру. Тебе известна постигшая неудача и то, как тяжело я пережил это разочарование. Но как раз в то время я унаследовал состояние нашего кузена, и мысли мои вновь обратились к мечтам моего детства.

Вот уже шесть лет, как я задумал свое нынешнее предприятие. Я до сих пор помню час, когда решил посвятить себя этой великой цели. Прежде всего я начал закалять себя. Я сопровождал китоловов в северные моря; я добровольно подвергал себя холоду, голоду, жажде и недосыпанию. Днем я часто работал больше матросов, а по ночам

изучал математику, медицину и те области физических наук, которые более всего могут понадобиться мореходу. Я дважды нанимался подшкипером на гренландские китобойные суда и отлично справлялся с делом. Должен признаться, что я почувствовал гордость, когда капитан предложил мне место своего первого помощника и долго уговаривал меня согласиться: так высоко он оценил мою службу.

А теперь скажи, милая Маргарет: неужели я не достоин свершить нечто великое? Моя жизнь могла бы пройти в довольстве и роскоши; но всем соблазнам богатства я предпочел славу. О, если б прозвучал для меня чей-нибудь ободряющий голос! Мужество и решение мои непоколебимы; но надежда и бодрость временами мне изменяют. Я отправляюсь в долгий и трудный путь, где потребуется вся моя стойкость. Мне надо будет не только поддерживать бодрость в других, но иногда и в себе, когда все остальные падут духом.

Сейчас лучшее время года для путешествия по России. Здешние сани быстро несутся по снегу; этот способ передвижения приятен и, по-моему, много удобнее английской почтовой кареты. Холод не страшен, если ты закутан в меха; такой одеждой я уже обзавелся, ибо ходить по палубе — совсем не то, что часами сидеть на месте, не согревая кровь движением. Я вовсе не намерен замерзнуть на почтовом тракте между Петербургом и Архангельском.

В последний из названных мной городов я отправляюсь через две-три недели; и там думаю нанять корабль, а это легко сделать, уплатив за владельца страховую сумму; хочу также набрать нужное мне число матросов из тех, кто знаком с китоловным промыслом. Я думаю пуститься в плавание не раньше июня, а когда возвращусь? Ах, милая сестра, что могу я ответить на это? В случае удачи мы не увидимся много месяцев, а может, и лет. В случае неудачи ты увидишь меня скоро — или не увидишь никогда.

Прощай, моя милая, добрая Маргарет. Пусть бог благословит тебя и сохранит мне жизнь, чтобы я мог еще не раз отблагодарить тебя за твою любовь и заботу. Любящий тебя брат.

Р. Уолтон.

Аусано II

*В Англию, м-с Сэвилл
Архангельск, 28 марта 17..*

Как долго тянется время для того, кто скован морозом и льдом! Однако я сделал еще один шаг к моей цели. Я нанял корабль и набираю матросов; те, кого я уже нанял, кажутся мне людьми надежными и, несомненно, отважными.

Мне не хватает лишь одного — не хватало всегда, но сейчас я ощущаю отсутствие этого как большое зло. У меня нет друга, Маргарет; никого, кто мог бы разделить со мною радость, если мне суждено счастье успеха; никого, кто поддерживал бы меня, если я паду духом. Правда, я буду верить свои мысли бумаге; но она мало пригодна для передачи чувств. Мне нужно общество человека, который сочувствовал бы мне и понимал с полуслова. Ты можешь счесть меня излишне чувствительным, милая сестра, но я с горечью ощущаю отсутствие такого друга. Возле меня нет никого с душою чуткой и вместе с тем бесстрашной, с умом развитым и восприимчивым; нет друга, который разделял бы мои стремления, мог одобрить мои планы или внести в них поправки. Как много мог бы подобный друг сделать для исправления недостатков твоего бедного брата! Я излишне поспешен в действиях и слишком нетерпелив перед лицом препятствий. Но еще большим злом является то, что я учился самоучкою: первые четырнадцать лет моей жизни я гонял по полям и читал одни лишь книги о путешествиях из библиотеки нашего дядюшки Томаса. В этом возрасте я познакомился с прославленными поэтами моей страны; но слишком поздно убедился я в необходимости знать другие языки, кроме родного, — когда уже не мог извлечь из этого убеждения никакой истинной пользы. Сейчас мне двадцать восемь, а ведь я невежественнее многих пятнадцатилетних школьников. Правда, я больше их размышлял и о большем мечтаю; но этим мечтам недостает того, что художники называют «соотношением», и мне очень нужен друг, достаточно разумный, чтобы не презирать меня как пустого мечтателя, и достаточно любящий, чтобы мною руководить.

Впрочем, все эти жалобы бесполезны; какого друга могу я обрести на океанских просторах или даже здесь, в Архангельске, среди купцов и моряков? Правда, и им, при всей их внешней грубости, не чужды благородные чувства. Мой помощник, например, человек на редкость отважный и предприимчивый; он страстно жаждет славы, или, вернее сказать, преуспевания на своем поприще. Он родом англичанин и, при всех предрассудках своей нации и своего ремесла, не смягченных просвещением, сохранил немало благороднейших человеческих качеств. Я впервые встретил его на борту китобойного судна: узнав, что у него сейчас нет работы, я легко склонил его к участию в моем предприятии.

Капитан также отличный человек, выделяющийся среди всех мягкостью и кротостью в обращении. Именно эти свойства, в сочетании с безупречной честностью и бесстрашием, и привлекли меня. Моя юность, проведенная в уединении, мои лучшие годы, прошедшие под твоей нежной женской опекой, настолько смягчили мой характер, что я испытываю неодолимое отвращение к грубости, обычно царящей на судах; я никогда не считал ее необходимой. Услышав о моряке, известном как сердечной добротой, так и умением заставить себя уважать и слушаться, я счел для себя большой удачей заполучить его. Я впервые услышал о нем при довольно романтических обстоятельствах, от женщины, которая обязана ему своим счастьем. Вот, вкратце, его история. Несколько лет назад он полюбил русскую девушку из небогатой семьи. Когда он скопил изрядную сумму наградных денег, отец девушки согласился на их брак. Перед свадьбой он встретился со своей невестой; но она упала к его ногам, заливаясь слезами и прося пощадить ее; она призналась, что полюбила другого, а этот другой так беден, что отец ее никогда не даст согласия на брак. Мой великодушный друг успокоил ее и, справившись об имени ее возлюбленного, отступился от своих прав. На скопленные им деньги он успел уже купить дом и участок, рассчитывая поселиться там навсегда, — все это, вместе с остатками наградных денег, он отдал своему сопернику на обзаведение и сам спросил у отца девушки согласия на ее брак с любимым. Отец отказался, считая, что уже связан словом с моим другом; тогда тот, видя упорство старика, уехал и не возвращался до тех пор, пока девушка не вышла за избранника своего сердца. «Какое бла-

городство!» — воскликнешь ты. Да, он именно таков, но при этом совершенно необразован, молчалив и угрюм, что, конечно, делает его поступок еще удивительнее, но вместе с тем уменьшает интерес и сочувствие, которые этот человек мог бы вызывать.

Но если я порой жалуясь и мечтаю о дружеской поддержке, которая мне, быть может, не суждена, не думай, что я колеблюсь в своем решении. Оно неизменно как сама судьба; и плавание мое отложено лишь потому, что к этому нас вынуждает погода. Зима была на редкость суровой; но весна обещает быть дружной и очень ранней; так что я, возможно, смогу отправиться в путь раньше, чем предполагал. Я ни в чем не хочу поступать опрометчиво; ты достаточно знаешь меня, чтобы быть уверенной в моей осмотрительности, когда мне вверена безопасность других.

Не могу описать тебе моих чувств при мысли о скором отплытии. Невозможно выразить трепетное чувство, радостное и вместе тревожное, с каким я готовлюсь в путь. Я отправляюсь в неведомые земли, в «края туманов и снегов», но я не намерен убивать альбатроса, поэтому не бойся за меня, — я не вернусь к тебе разбитым и больным, как «Старый мореход». Ты улыбнешься при этой аллюзии; но я открою тебе один секрет. Мою страстную тягу к опасным тайнам океана я часто приписывал влиянию этого творения наиболее поэтичного из современных поэтов. В моей душе живет нечто непонятное мне самому. Я практичен и трудолюбив, я старательный и терпеливый работник, но вместе с тем во все мои планы вплетается любовь к чудесному и вера в чудесное, увлекающие меня вдаль от проторенных дорог, в неведомые моря, в неоткрытые страны, которые я намерен исследовать.

Вернусь, однако, к вещам, более близким сердцу. Увижу ли я тебя вновь, когда пересеку безбрежные моря и вернусь назад мимо южной оконечности Африки или Америки? Не смею ожидать такой удачи, но не хочу думать и о другом. Пиши мне при каждой возможности; быть может, письма твои дойдут до меня, когда будут всего нужнее, и поддержат во мне мужество. Люблю тебя нежно. Помни обо мне с любовью, если больше обо мне не услышишь. Любящий тебя брат

Роберт Уолтон.

Письмо III

*В Англию, м-с Сэвилл
7 июля 17..*

Дорогая сестра!

Пишу эти торопливые строки, чтобы сообщить, что я здоров и проделал немалый путь. Это письмо придет в Англию с торговым судном, которое сейчас отправляется из Архангельска; оно счастливее меня, который, быть может, еще много лет не увидит родных берегов. Тем не менее я бодр; мои люди отважны и тверды; их не страшат плавучие льдины, то и дело появляющиеся за бортом как предвестники ожидающих нас опасностей. Мы достигли уже очень высоких широт; но сейчас разгар лета, и южные ветры, быстро несущие нас к берегам, которых я так жажду достичь, хотя и менее теплы, чем в Англии, но все же веют теплом, какого я здесь не ждал.

До сих пор с нами не произошло ничего настолько примечательного, чтобы об этом стоило писать. Один-два шквала и пробоина в судне — все это такие события, которые не остаются в памяти опытных моряков; я буду рад, если с нами не приключится ничего хуже этого.

До свидания, милая Маргарет. Будь уверена, что ради тебя и себя самого я не помчусь безрассудно навстречу опасности. Я буду хладнокровен, упорен и благоразумен.

Но я все-таки добьюсь успеха. Почему бы нет? Я уже пролагаю путь в неизведанном океане; самые звезды являются свидетелями моего триумфа. Почему бы мне не пройти и дальше, в глубь непокоренной, но послушной стихии? Что может преградить путь отваге и воле человека?

Переполюющие меня чувства невольно рвутся наружу; а между тем пора кончать. Да благословит небо мою милую сестру!

Р. У.

Письмо IV

*В Англию, м-с Сэвилл
5 августа 17..*

С нами случилось нечто до того странное, что я должен написать тебе, хотя мы, быть может, увидимся раньше, чем ты получишь это письмо.

В прошлый понедельник (31 июля) мы вошли в область льда, который почти сомкнулся вокруг корабля, едва оставляя нам свободный проход. Положение наше стало опасным, в особенности из-за густого тумана. Поэтому мы легли в дрейф, надеясь на перемену погоды.

Около двух часов дня туман рассеялся, и мы увидели простиравшиеся во все стороны обширные поля неровного льда, которым, казалось, нет конца. У некоторых моих спутников вырвался стон, да и сам я ощутил тревогу; но тут наше внимание было привлечено странным зрелищем, заставившим нас забыть о своем положении. Примерно в полумиле от нас мы увидели низкие сани, запряженные собаками и мчавшиеся к северу; в санях, управляя собаками, сидело существо подобное человеку, но гигантского роста. Мы следили в подзорные трубы за быстрым бегом саней, пока они не скрылись за ледяными холмами.

Это зрелище немало нас поразило. Мы полагали, что находимся на расстоянии многих сотен миль от какой бы то ни было земли; но увиденное, казалось, свидетельствовало, что земля не столь уж далека. Скованные льдом, мы не могли следовать за санями, но внимательно их рассмотрели.

Часа через два после этого события мы услышали шум волн; к ночи лед вскрылся, и наш корабль был освобожден. Однако мы пролежали в дрейфе до утра, опасаясь столкнуться в темноте с огромными плавучими глыбами, которые появляются при вскрытии льда. Я воспользовался этими часами, чтобы отдохнуть.

Утром, едва рассвело, я поднялся на палубу и увидел, что все матросы столпились у борта, как видно переговариваясь с кем-то, находившимся в море. Оказалось, что к кораблю, на большой льдине, прибило сани, похожие на виденные нами накануне. Из всей упряжки уцелела лишь одна собака, но в санях сидел человек, и матросы убеждали его подняться на борт. Это не был туземец с некоего неведомого острова, каким нам показался первый путник; это был европеец. Когда я вышел на палубу, боцман сказал: «Вот идет наш капитан, и он не допустит, чтобы вы погибли в море».

Увидев меня, незнакомец обратился ко мне по-английски, хотя и с иностранным акцентом. «Прежде чем я взойду на ваш корабль,— сказал он,— я прошу сообщить мне, куда он направляется».

Нетрудно вообразить мое изумление, когда я услышал подобный вопрос от погибающего, который, казалось бы, должен был считать мое судно спасительным пристанищем, самым дорогим сокровищем в мире. Я ответил, однако, что мы исследователи и направляемся к Северному полюсу.

Это, по-видимому, удовлетворило его, и он согласился взойти на борт. Великий боже! Если бы ты только видела, Маргарет, человека, которого еще пришлось уговаривать спастись, твоему удивлению не было бы границ. Он был сильно обморожен и до крайности истощен усталостью и лишениями. Никогда я не видел человека в столь жалком состоянии. Мы сперва отнесли его в каюту, но там, лишенный свежего воздуха, он тотчас же потерял сознание. Поэтому мы снова принесли его на палубу и привели в чувство, растирая коньяком; несколько глотков мы влили ему в рот. Едва он подал признаки жизни, мы завернули его в одеяла и положили возле кухонной трубы. Мало-помалу он пришел в себя и съел немного супу, который сразу его подкрепил.

Прошло два дня, прежде чем он смог заговорить, и я уже опасался, что страдания лишили его рассудка. Когда он немного оправился, я велел перенести его ко мне в каюту и сам ухаживал за ним, насколько позволяли мне мои обязанности. Никогда я не встречал более интересного человека; обычно взгляд его дик и почти безумен; но стоит кому-нибудь ласково обратиться к нему или оказать самую пустячную услугу, как лицо его озаряется, точно лучом, благой улыбкой, какой я ни у кого не видел. Однако большей частью он бывает мрачен и подавлен; а порой скрипит зубами, словно не может более выносить бремя своих страданий.

Когда мой гость немного оправился, мне стоило больших трудов удерживать матросов, которые жаждали расспросить его; я не мог допустить, чтобы его донимали праздным любопытством, когда тело и дух его явно нуждались в полном покое. Однажды мой помощник все же спросил его: как он проделал столь длинный путь по льду, да еще в таком необычном экипаже?

Лицо незнакомца тотчас омрачилось, и он ответил: «Я преследовал беглеца».

— А беглец путешествует тем же способом?

— Да.

— В таком случае, мне думается, что мы его видели. накануне того дня, когда мы вас подобрали, мы заметили на льду собачью упряжку, а в санях — человека.

Это заинтересовало незнакомца, и он задал нам множество вопросов относительно направления, каким отправился демон, как он его назвал. Немного погодя, оставшись со мной наедине, он сказал: «Я наверняка возбудил ваше любопытство, как, впрочем, и любопытство этих славных людей, но вы слишком деликатны, чтобы меня расспрашивать».

— Разумеется; бесцеремонно и жестоко было бы докучать вам расспросами.

— Но ведь вы вызволили меня из весьма опасного положения и заботливо возвратили к жизни.

Затем он спросил, не могли ли те, другие, сани погибнуть при вскрытии льда. Я ответил, что наверное этого знать нельзя, ибо лед вскрылся лишь около полуночи и путник мог к тому времени добраться до какого-либо безопасного места.

С тех пор в изнуренное тело незнакомца влились новые силы. Он непременно хотел находиться на палубе и следить, не появятся ли знакомые нам сани. Однако я убедил его оставаться в каюте, ибо он слишком слаб, чтобы переносить мороз. Я пообещал, что мы сами последим за этим и немедленно сообщим ему, как только заметим что-либо необычное.

Вот что записано в моем судовом журнале об этом удивительном событии. Здоровье незнакомца поправляется, но он очень молчалив и обнаруживает тревогу, если в каюту входит кто-либо, кроме меня. Впрочем, он так кроток и вежлив в обращении, что все матросы ему сочувствуют, хотя и очень мало с ним общаются. Что до меня, то я уже люблю его, как брата; его постоянная, глубокая печаль несказанно огорчает меня. В свои лучшие дни он, должно быть, был благородным созданием, если и сейчас, когда дух его сломен, он так привлекает к себе.

В одном из писем, милая Маргарет, я писал тебе, что навряд ли обрету друга на океанских просторах; и, однако ж, я нашел человека, которого был бы счастлив иметь своим лучшим другом, если б только его не сломила горе.

Я продолжу свои записи о незнакомце, когда будет что записать.

13 августа 17..

Моя привязанность к гостю растет с каждым днем. Он возбуждает одновременно безмерное восхищение и сострадание. Да и можно ли видеть столь благородного человека, сраженного бедами, не испытывая самой острой жалости? Он так кроток и, вместе, так мудр; он так широко образован; а когда говорит, речь его поражает и беглостью и свободой, хотя он выбирает слова с большой тщательностью.

Сейчас он вполне оправился от своего недуга и постоянно находится на палубе, видимо ожидая появления опередивших его саней. Хотя он и несчастен, но не настолько поглощен собственным горем, чтобы не проявлять живого интереса к нашим делам. Он нередко обсуждает их со мной, и я вполне ему доверился. Он внимательно выслушал все мои доводы в пользу моего предприятия и входит во все подробности принятых мною мер. Выказанное им участие подкупило меня, и я заговорил с ним языком сердца; высказал все, что переполняло мою душу, и горячо заверил его, что охотно пожертвовал бы состоянием, жизнью и всеми надеждами ради успеха задуманного дела. Одна человеческая жизнь — сходная цена за те познания, к которым я стремлюсь, за власть над исконными врагами человечества. При этих моих словах чело моего собеседника омрачилось. Сперва я заметил, что он пытается скрыть свое волнение: он закрыл глаза руками; но когда между его пальцев заструились слезы, а из груди вырвался стон, я не мог продолжать. Я умолк — а он заговорил прерывающимся голосом: «Несчастный! И ты, значит, одержим тем же безумием? И ты испил опьяняющего напитка? Так выслушай же меня, узнай мою повесть, и ты бросишь наземь чашу с ядом!»

Эти слова, как ты можешь себе представить, разожгли мое любопытство; но волнение, охватившее незнакомца, оказалось слишком сильным для его истощенного тела, и понадобились долгие часы отдыха и мирных бесед, прежде чем силы его восстановились.

Справившись со своими чувствами, он, казалось, презирал себя за то, что не совладал с собой. Преодолевая

мрачное отчаяние, он вновь заговорил обо мне. Он пожелал услышать историю моей юности. Рассказ о ней не занял много времени, но навел нас на размышления. Я поведал ему, как страстно я желаю иметь друга, как жажду более близкого общения с родственной душой, чем до сих пор выпало мне на долю, и убежденно заявил, что без этого дара судьбы человек не может быть счастлив.

— Я с вами согласен, — отвечал незнакомец, — мы остаемся как бы незавершенными, пока некто более мудрый и достойный, чем мы сами, — а именно таким должен быть друг, — не поможет нам бороться с нашими слабостями и пороками. Я некогда имел друга, благороднейшего из людей, и потому способен судить о дружбе. У вас есть надежды, перед вами — весь мир, и вам нечего отчаиваться. А вот я — я все утратил и не могу начать жизнь снова.

При этих словах лицо его выразило тяжкое, неизбывное горе, тронувшее меня до глубины сердца. Но он не произнес более ни слова и удалился в свою каюту.

Даже сломленный духом, он, как никто, умеет чувствовать красоту природы. Звездное небо, океан и все ландшафты этих удивительных мест еще имеют над ним силу и способны возвышать его над земным. Такой человек ведет как бы двойную жизнь: он может страдать и сгибаться под тяжестью пережитого; но, уходя в себя, он уподобляется небесному духу; его ограждает сияние, и в этот волшебный круг нет доступа горю и злу.

Быть может, восторг, с каким я описываю чудесного странника, вызовет у тебя улыбку. Но это лишь потому, что ты его не видела. Книги и уединение возвысили твою душу и сделали тебя требовательной; но ты тем более способна понять необыкновенные достоинства этого удивительного человека. Иногда я пытаюсь понять, какое именно качество так возвышает его над любым человеком, доньше мне встречавшимся. Мне кажется, что это — некая интуиция, способность быстрого, но безошибочного суждения; необычайно ясное и точное проникновение в причины вещей; добавь к этому редкий дар красноречия и голос, богатый чарующими модуляциями.

19 августа 17...

Вчера незнакомец сказал мне: «Вы, должно быть, догадываетесь, капитан Уолтон, что я перенес неслыханные бедствия. Когда-то я решил, что память о них умрет вместе со мной, но вы заставили меня изменить мое решение. Так же, как и я в свое время, вы стремитесь к истине и познанию, и я горячо желаю, чтобы достижение цели не обернулось для вас злою бедой, как это случилось со мною. Не знаю, принесет ли вам пользу рассказ о моих несчастьях, но, видя, что вы идете тем же путем, подвергаете себя тем же опасностям, которые довели меня до нынешнего моего состояния, я полагаю, что из моей повести вы сумеете извлечь мораль, и притом такую, которая послужит вам руководством в случае успеха и утешением в неудаче. Приготовьтесь услышать рассказ, который может показаться неправдоподобным. Будь мы в более привычной обстановке, я опасался бы встретить у вас недоверие, быть может, даже насмешку; но в этих загадочных и суровых краях кажется возможным многое такое, что вызывает смех у непосвященных в тайны природы; не сомневаюсь к тому же, что мое повествование включает в себе самое доказательство своей истинности».

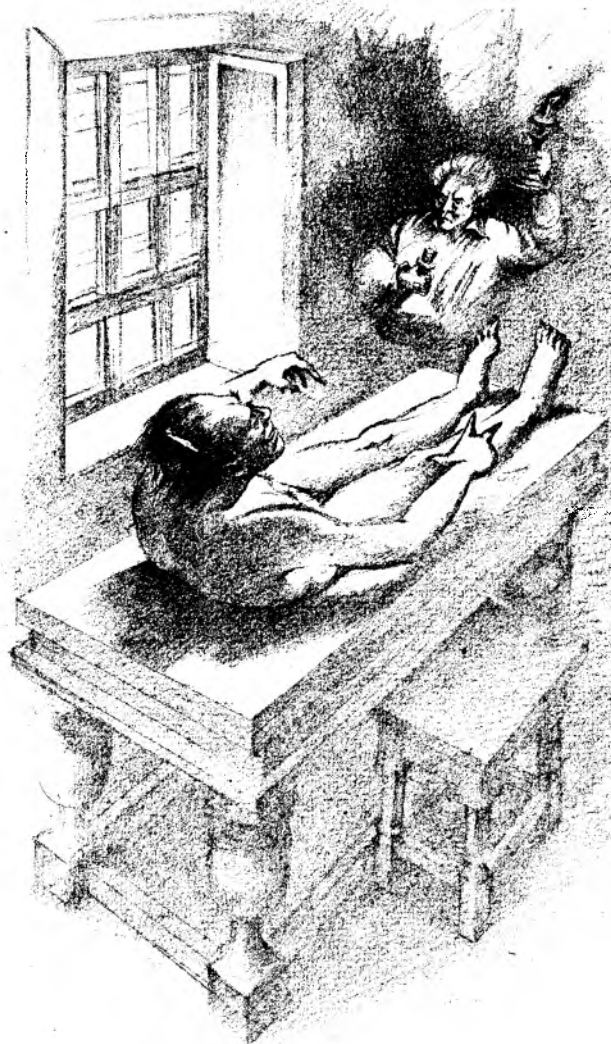
Можешь вообразить, как я обрадовался его предложению; но я не мог допустить, чтобы рассказом о своих несчастьях он бережил свои раны. Мне не терпелось услышать обещанную повесть отчасти из любопытства, но также из сильнейшего желания помочь ему, если бы это оказалось в моих силах. Все эти чувства я выразил в своем ответе.

— Благодарю вас за сочувствие, — ответил он, — но оно бесполезно; судьба моя свершилась. Я жду лишь одного события — и тогда обрету покой. Я понимаю ваши чувства, — продолжал он, заметив, что я собираюсь прервать его, — но вы ошибаетесь, друг мой, если мне позволено так называть вас; ничто не может изменить моей судьбы; выслушайте мой рассказ, и вы убедитесь, что она решена бесповоротно.

Свое повествование он пожелал начать на следующий день, в часы моего досуга. Я горячо поблагодарил его.

Отныне каждый вечер, если не помешают мои обязанности, я буду записывать услышанное, стараясь как можно точнее придерживаться его слов. Если на это не хватит времени, я буду делать хотя бы краткие заметки. Эту рукопись ты, несомненно, прочтешь с интересом; но с еще большим интересом я когда-нибудь перечту ее сам, я, видевший его и слышавший повесть из собственных его уст! Вот и сейчас, когда я приступаю к записям, мне слышится его звучный голос, на меня печально и ласково глядят его блестящие глаза, я вижу выразительные движения его исхудалых рук и лицо, словно озаренное внутренним светом. Необычной и страшной была повесть его жизни; ужасна была буря, настигшая этот славный корабль и разбившая его.





Итак!



— житель Женевы, мои родные принадлежат к числу самых именитых граждан республики. Мои предки много лет были советниками и синдиками; отец также с честью отправлял ряд общественных должностей. Он пользовался уважением всех знавших его за честность и усердие на общественном поприще. Молодость его была всецело посвящена служению стране; некоторые обстоятельства помешали ему рано жениться, и он лишь на склоне лет стал супругом и отцом.

Обстоятельства его брака столь ярко рисуют его характер, что я должен о них поведать. Среди его ближайших друзей был один негоциант, который вследствие многочисленных неудач превратился из богатого человека в бедняка. Этот человек, по фамилии Бофор, обладал гордым и непреклонным нравом и не мог жить в нищете и забвении там, где прежде имел богатство и почет. Поэтому, честно расплатившись с кредиторами, он переехал со своей дочерью в Люцерн, где жил в бедности и уединении. Отец мой питал к Бофору самую преданную дружбу и был немало огорчен его отъездом при столь печальных обстоятельствах. Он горько сожалел о ложной гордости, подсадившей его другу поступок, столь недостойный их дружбы. Он тотчас же принялся разыскивать Бофору, надеясь убедить его начать жизнь сначала и воспользоваться его, поддержкой.

Бофор всячески постарался скрыть свое местопребывание, и отцу понадобилось целых десять месяцев, чтобы его отыскать. Обрадованный, он поспешил к его дому, находившемуся в убогой улочке вблизи Рейсса. Но там он увидел отчаяние и горе. После крушения Бофору удалось сохранить лишь небольшую сумму денег, достаточную, чтобы кое-как перебиться несколько месяцев; тем временем он надеялся получить работу в каком-нибудь торговом доме. Таким образом, первые месяцы прошли в бездействии. Горе его усугублялось, оттого что он имел время на размышления, и наконец так овладело им, что на исходе третьего месяца он слег и уже ничего не мог предпринять.

Дочь ухаживала за ним с нежной заботливостью, но в отчаянии видела, что их скудные запасы быстро тают, а других источников не предвиделось. Однако Каролина Бофор была натурой незаурядной, и мужество не оставило

ее в несчастье. Она стала шить, плести из соломки, и ей удавалось зарабатывать жалкие гроши, едва достаточные для поддержания жизни.

Так прошло несколько месяцев. Отцу ее становилось все хуже; уход за ним отнимал у нее почти все время; добывать деньги стало труднее; а на десятом месяце отец скончался на ее руках, оставив ее сиротою и нищей. Последний удар сразил ее; горько рыдая, она упала на колени у гроба Бофора; в эту самую минуту в комнату вошел мой отец. Он явился к бедной девушке как добрый гений, и она отдалась под его покровительство. Похоронив своего друга, он отвез ее в Женеву, поручив заботам своей родственницы. Два года спустя Каролина стала его женой.

Между моими родителями была значительная разница в возрасте, но это обстоятельство, казалось, еще прочнее скрепляло их нежный союз. Отцу моему было свойственно чувство справедливости; он не мыслил себе любви без уважения. Должно быть, в молодые годы он перестрадал, слишком поздно узнав, что предмет его любви был ее недостойн, и потому особенно ценил душевные качества, проверенные тяжкими испытаниями. В его чувстве к моей матери было благоговение и признательность, отнюдь не похожие на слепую старческую влюбленность; они были внушены восхищением перед ее достоинствами и желанием хоть немного вознаградить ее за перенесенные бедствия, что придавало удивительное благородство его отношению к ней. Все в доме подчинялось ее желаниям. Он берег ее, как садовник бережет редкостный цветок от каждого дуновения ветерка, и окружал всем, что могло приносить радость ее нежной душе. Пережитые беды расстроили ее здоровье и поколебали даже ее душевное равновесие. За два года, предшествовавшие их браку, отец постепенно сложил с себя все свои общественные обязанности; тотчас после свадьбы они отправились в Италию, где мягкий климат, перемена обстановки и новые впечатления, столь обильные в этой стране чудес, послужили ей укрепляющим средством.

Из Италии они поехали в Германию и Францию. Я, их первенец, родился в Неаполе и первые годы жизни сопровождал их в их странствиях. В течение нескольких лет я

был их единственным ребенком. Как ни были они привязаны друг к другу, у них оставался еще неисчерпаемый запас любви, изливавшейся на меня. Нежные ласки матери, добрый взгляд и улыбки отца — таковы мои первые воспоминания. Я был их игрушкой и их божком, и еще лучше того — их ребенком, невинным и беспомощным созданием, посланным небесами, чтобы научить добру; они держали мою судьбу в своих руках, могли сделать счастливым или несчастным, смотря по тому, как они выполняют свой долг в отношении меня. При столь глубоком понимании своих обязанностей перед существом, которому они дали жизнь, при деятельной доброте, отличавшей их обоих, можно представить себе, что, хотя я в младенчестве ежедневно получал уроки терпения, милосердия и сдержанности, мной руководили так мягко, что все казалось мне удовольствием.

Долгое время я был главным предметом их забот. Моей матери очень хотелось иметь дочь, но я оставался их единственным отпрыском. Когда мне было лет пять, мои родители, во время поездки за пределы Италии, провели неделю на берегу озера Комо. Их доброта часто приводила их в хижины бедняков. Для моей матери это было больше, чем простым долгом; в память о собственных страданиях и избавлении от них для нее стало потребностью и страстью в свою очередь являться страждущим как ангел-хранитель. Во время одной из прогулок их внимание привлекла одна особенно убогая хижина в долине, где было множество оборванных детей и все говорило о крайней нищете. Однажды, когда отец отправился в Милан, мать посетила это жилище, взяв с собой и меня. Там оказался крестьянин с женой, согбенные трудом и заботами; они делили скудные крохи между пятью голодными детьми. Одна девочка обратила на себя внимание моей матери; она казалась существом какой-то иной породы. Четверо других были черноглазые, крепкие маленькие оборвыши; а эта девочка была тоненькая и белокурая. Волосы ее были словно из чистого золота и, несмотря на убогую одежду, венчали ее, как корона. У нее был чистый лоб, ясные синие глаза, а губы и все черты лица так прелестны и нежны, что всякому, видевшему ее, она казалась созданием особенным, сошедшим с небес и отмеченным печатью своего небесного рождения.

Заметив, что моя мать с удивлением и восторгом смотрит на прелестную девочку, крестьянка поспешила рассказать нам ее историю. Это было не их дитя, а дочь одного миланского дворянина. Мать ее была немкой; она умерла при ее рождении. Ребенка отдали крестьянке, чтобы выкормить грудью; тогда семья была не так бедна. Они поженились незадолго до того, и у них только что родился первенец. Отец их питомицы был одним из итальянцев, помнивших о древней славе Италии; одним из *schiavi ognor frementi*¹, стремившихся добиться освобождения своей родины. Это его и погубило. Был ли он казнен или все еще томился в австрийской темнице — этого никто не знал. Имущество его было конфисковано, а дочь осталась сиротою и нищей. Она росла у своей кормилицы и расцветала в их бедном доме прекраснее, чем садовая роза среди темнolistого терновника.

Вернувшись из Милана, мой отец увидел в гостиной нашей виллы играющего со мной ребенка, более прелестного, чем херувим, — существо, словно излучавшее свет, а в движениях легкое, как горная серна. Ему объяснили, в чем дело. Получив его разрешение, мать уговорила крестьян отдать ей их питомицу. Они любили прелестную сиротку. Ее присутствие казалось им небесным благословением, но жестоко было бы оставить ее в нужде, когда судьба посылала ей таких богатых покровителей. Они посоветовались с деревенским священником, и вот Элизабет Лавенца стала членом нашей семьи, моей сестрой и даже более — прекрасной и обожаемой подругой всех моих занятий и игр. Элизабет была общей любимицей. Я гордился горячей и почти благоговейной привязанностью, которую она внушала всем, и сам разделял ее. В день, когда она должна была переселиться в наш дом, моя мать шутиливо сказала мне: «У меня есть для моего Виктора отличный подарок, завтра он его получит». Когда она наутро представила мне Элизабет в качестве обещанного подарка, я с детской серьезностью истолковал ее слова в буквальном смысле и стал считать Элизабет моей — порученной мне, чтобы я ее защищал, любил и лелеял. Все расточаемые ей похвалы я принимал как похвалы чему-то мне принадлежащему. Мы дружески звали друг друга кузенom

¹ Рабов, ежечасно ропшущих (ит.).

и кухни. Но никакое слово не могло бы выразить мое отношение к ней — она была мне ближе сестры и должна была стать моей навеки.

Глава II

Мы воспитывались вместе; разница в нашем возрасте была менее года, нечего и говорить, что ссоры и раздоры были нам чужды. В наших отношениях царила гармония, и самые различия в наших характерах только сближали нас. Элизабет была спокойнее и сдержаннее меня; зато я, при всей моей необузданности, обладал большим упорством в занятиях и неутолимой жадой знаний. Ее пленяли воздушные замыслы поэтов; в величавых и роскошных пейзажах, окружавших наш швейцарский дом — в волшебных очертаниях гор, в сменах времен года, в бурях и затишье, в безмолвии зимы и в неутомимой жизни нашего альпийского лета, — она находила неисчерпаемый источник восхищения и радости. В то время как моя подруга сосредоточенно и удовлетворенно созерцала внешнюю красоту мира, я любил исследовать причины вещей. Мир представлялся мне таинной, которую я стремился постичь. В самом раннем детстве во мне проявлялись уже любознательность, упорное стремление узнать тайные законы природы и восторженная радость познания.

С рождением второго сына — спустя семь лет после меня — родители мои отказались от странствий и поселились на родине. У нас был дом в Женеве и дача на Бель-рив, на восточном берегу озера, в расстоянии более лье от города. Мы обычно жили на даче; родители вели жизнь довольно уединенную. Мне также свойственно избегать толпы, но зато страстно привязываться к немногим. Я был поэтому равнодушен к школьным товарищам; однако с одним из них меня связывала самая тесная дружба. Анри Клерваль был сыном женевского негоцианта. Этот мальчик был наделен выдающимися талантами и живым воображением. Трудности, приключения и даже опасности влекли его сами по себе. Он был весьма начитан в рыцарских романах. Он сочинял героические поэмы и не раз начинал писать повести, полные фантастических и воинственных приключений. Он заставлял нас разыгрывать пьесы и устраивал переодевания;

причем чаще всего мы изображали персонажей Ронсеваля, рыцарей Артура Круглого Стола и воинов, проливших кровь за освобождение Гроба господня из рук неверных.

Ни у кого на свете не было столь счастливого детства, как у меня. Родители мои были воплощением снисходительности и доброты. Мы видели в них не тиранов, капризно управлявших нашей судьбой, а дарителей бесчисленных радостей. Посещая другие семьи, я ясно видел, какое редкое счастье выпало мне на долю, и признательность еще усиливала мою сыновнюю любовь.

Нрав у меня был необузданный, и страсти порой овладевали мной всецело; но так уж я был устроен, что этот пыл обращался не на детские забавы, а к познанию, причем не всего без разбора. Признаюсь, меня не привлекал ни строй различных языков, ни проблемы государственного и политического устройства. Я стремился познать тайны земли и неба; будь то внешняя оболочка вещей или внутренняя сущность природы и тайны человеческой души, мой интерес был сосредоточен на метафизических или — в высшем смысле этого слова — физических тайнах мира.

Клерваль, в отличие от меня, интересовался нравственными проблемами. Кипучая жизнь общества, людские поступки, доблестные деяния героев — вот что его занимало; его мечтой и надеждой было стать одним из тех отважных благодетелей человеческого рода, чьи имена сохраняются в анналах истории. Святая душа Элизабет озаряла наш мирный дом подобно алтарной лампаде. Вся любовь ее была обращена на нас; ее улыбка, нежный голос и небесный взор постоянно радовали нас и живили. В ней жил миротворный дух любви. Мои занятия могли бы сделать меня угрюмым, моя природная горячность — грубым, если бы ее не было рядом со мной, чтобы смягчать меня, передавая мне частицу своей кротости. А Клерваль? Казалось, ничто дурное не могло найти места в благородной душе Клерваля, но даже он едва ли был бы так человечен и великодушен, так полон доброты и заботливости при всем своем стремлении к опасным приключениям, если бы она не открыла ему красоту деятельного милосердия и не поставила добро высшей целью его честолюбия.

Я с наслаждением задерживаюсь на воспоминаниях детства, когда несчастья еще не омрачили мой дух и светлое стремление служить людям не сменилось мрачными думами, сосредоточенными на одном себе. К тому же, рисуя картины моего детства, я повествую о событиях, незаметно привед-

ших к последующим бедствиям; ибо, желая проследить зарождение страсти, подчинившей себе впоследствии мою жизнь, я вижу, что она, подобно горной реке, возникла из ничтожных и почти невидимых источников; разрастаясь по пути, она стала потоком, унесшим все мои надежды и радости.

Естественные науки стали моей судьбой; поэтому в своей повести я хочу указать обстоятельства, которые заставили меня предпочесть их всем другим наукам. Однажды, когда мне было тринадцать лет, мы всей семьей отправились на купанье куда-то возле Тонона. Дурная погода на целый день заперла нас в гостинице. Так я случайно обнаружил томик сочинений Корнелия Агриппы. Я открыл его равнодушно, но теория, которую он пытается доказать, и удивительные факты, о которых он повествует, скоро превратили равнодушие в энтузиазм. Меня словно озарил новый свет; я поспешил сообщить о своем открытии отцу. Тот небрежно взглянул на заглавный лист моей книги и сказал: «А, Корнелий Агриппа! Милый Виктор, не трать даром времени; все это чепуха».

Если бы вместо этого отец дал себе труд объяснить мне, что положения Агриппы были в свое время полностью опровергнуты и заменены новой научной системой, более основательной,— ибо мощь старой была призрачной, тогда как новая имеет под собой твердую почву реальности,— я, несомненно, отшвырнул бы Агриппу и насытил свое разгоряченное воображение, с новым усердием обратившись к школьным занятиям. Возможно даже, что мысли мои не получили бы рокового толчка, направившего меня к гибели. Но беглый взгляд, который отец бросил на книгу, не убедил меня, что он знаком с ее содержанием, и я продолжал читать ее с величайшей жадностью.

Вернувшись домой, я первым делом постарался достать полное собрание сочинений этого автора, а затем Парацельса и Альберта Великого. Я с наслаждением погрузился в их безумные вымыслы; книги их казались мне сокровищами, мало кому ведомыми, кроме меня. Я уже говорил, что всегда был одержим страстным стремлением познать тайны природы. Несмотря на неусыпный труд и удивительные открытия современных ученых, изучение их книг всегда оставляло меня неудовлетворенным. Говорят, сэр Исаак Ньютон признался, что чувствует себя ребенком, собирающим ракушки на берегу великого и неведомого океана истины. Те его

последователи во всех областях естествознания, с которыми я был знаком, даже мне, мальчишке, казались новичками, занятыми тем же делом.

Невежественный поселянин созерцал окружающие его стихии и на опыте узнавал их проявления. Но ведь и самый ученый из философов знал немногим больше. Он лишь слегка приоткрыл завесу над ликом Природы, но ее бессмертные черты оставались дивом и тайной. Он мог анатомизировать трупы и давать вещам названия; но он ничего не знал даже о вторичных и ближайших причинах явлений, не говоря уже о первичной. Я увидел укрепления, преграждавшие человеку вход в цитадель природы, и в своем невежестве и нетерпении возроптал против них.

А тут были книги, проникавшие глубже, и люди, знавшие больше. Я во всем поверил им на слово и сделался их учеником. Вам может показаться странным, как могло такое случиться в восемнадцатом веке; но дело в том, что, обучаясь в женеvской школе, я по части моих любимых предметов был почти что самоучкой. Отец мой не имел склонности к естественным наукам, и я был предоставлен самому себе; страсть исследователя сочеталась у меня с неведением ребенка. Под руководством моих новых наставников я с величайшим усердием принялся за поиски философского камня и эликсира жизни; последний вскоре целиком завладел моим воображением. Богатство казалось мне вещью второстепенной; но какая слава ожидала меня; если б я нашел способ избавить человека от болезней и сделать его неуязвимым для любой смерти, кроме насильственной!

Я мечтал не только об этом. Мои любимые авторы охотно обещали обучить заклинанию духов и нечистой силы; и мне этого страстно хотелось; если мои заклинания неизменно оказывались тщетными, я приписывал это собственной неопытности или ошибке, но не смел сомневаться в учености или точности моих наставников. Итак, я посвятил некоторое время этим опровергнутым учениям, путая, как всякий невежда, множество противоречивших друг другу теорий, беспомощно барахтаясь среди разнообразных сведений, руководимый лишь пламенным воображением и детской логикой, когда неожиданный случай еще раз придал новое направление моим мыслям.

Когда мне пошел пятнадцатый год, мы переехали на нашу загородную дачу возле Бельрив и там стали свидетелями на редкость сильной грозы. Она пришла из-за горного

хребта Юры; гром страшной силы загредел отовсюду сразу. Пока длилась гроза, я наблюдал ее с любопытством и восхищением. Стоя в дверях, я внезапно увидел, как из мощного старого дуба, росшего в каких-нибудь двадцати ярдах от дома, вырвалось пламя, а когда исчез этот слепящий свет, исчез и дуб, и на месте его остался один лишь обугленный пень. Подойдя туда на следующее утро, мы увидели, что гроза разбила дерево необычным образом. Оно не просто раскололось от удара, но все расщепилось на узкие полоски. Никогда я не наблюдал столь полного разрушения.

Я и прежде был знаком с основными законами электричества. В тот день у нас гостил один известный естествоиспытатель. Случай с дубом побудил его изложить нам собственные свои соображения о природе электричества и гальванизма, которые были для меня и новы и удивительны. Все рассказанное им отодвинуло на задний план властителей моих дум — Корнелия Агриппу, Альберта Великого и Парацельса; но свержение этих идолов одновременно отбило у меня и охоту к обычным занятиям. Я решил, что никто и никогда не сможет ничего познать до конца. Все, что так долго занимало мой ум, вдруг показалось мне не стоящим внимания. Повинуясь одному из тех капризов, которые более свойственны ранней юности, я немедленно оставил свои занятия, объявил все отрасли естествознания бесплодными и проникся величайшим презрением к этой псевдонауке, которой не суждено даже переступить порога подлинного познания. В таком настроении духа я принялся за математику и смежные с нею науки, покоящиеся на прочном фундаменте, а потому достойные моего внимания.

Вот как странно устроен человек и какие тонкие грани отделяют нас от благополучия или гибели. Оглядываясь назад, я вижу, что эта почти чудом свершившаяся перемена склонностей была подсказана мне моим ангелом-хранителем; то была последняя попытка добрых сил отвести грозу, уже нависшую надо мной и готовую меня поглотить. Победа доброго начала сказалась в необыкновенном спокойствии и умиротворении, которые я обрел, отказавшись от прежних занятий, в последнее время ставших для меня мукой. Мне следовало бы тогда же почувствовать, что эти занятия для меня губительны и что мое спасение — в отказе от них.

Дух добра сделал все возможное, но тщетно. Рок был слишком могуществен, и его непреложные законы несли мне ужасную гибель.

Глава III

Когда я достиг семнадцати лет, мои родители решили определить меня в университет города Ингольштадта. Я учился в школе в Женеве, но для завершения моего образования отец счел необходимым, чтобы я ознакомился с иными обычаями, кроме отечественных. Уже назначен был день моего отъезда, но, прежде чем он наступил, в моей жизни произошло первое несчастье, словно предвещавшее все дальнейшее.

Элизабет заболела скарлатиной: она хворала тяжело и жизнь ее была в опасности. Все пытались убедить мою мать остерегаться заразы. Сперва она послушалась наших уговоров; но, услышав об опасности, грозившей ее любимице, не могла удержаться. Она стала ходить за больной — ее неусыпная забота победила злой недуг — Элизабет была спасена, но ее спасительница поплатилась за свою неосторожность. На третий день моя мать почувствовала себя плохо; появились самые тревожные симптомы, и по лицам врачей можно было прочесть, что дело идет к роковому концу. Но и на смертном одре стойкость и кротость не изменили этой лучшей из женщин. Она вложила руку Элизабет в мою. «Дети,— сказала она,— я всегда мечтала о вашем союзе. Теперь он должен служить утешением вашему отцу. Элизабет, любовь моя, тебе придется заменить меня моим младшим детям. О, как мне тяжело расставаться с вами! Я была счастлива и любима — каково мне покидать вас... Но это — недостойные мысли; я постараюсь примириться со смертью и утешиться надеждой на встречу с вами в ином мире».

Кончина ее была спокойной, и лицо ее даже в смерти сохранило свою кротость. Не стану описывать чувства тех, у кого беспощадная смерть отнимает любимое существо; пустоту, остающуюся в душе, и отчаяние, написанное на лице. Немало нужно времени, прежде чем рассудок убедит нас, что та, кого мы видели ежедневно и

чья жизнь представлялась частью нашей собственной, могла уйти навсегда,— что могло навеки угаснуть сиянье любимых глаз, навеки умолкнуть звуки знакомого, милого голоса. Таковы размышления первых дней; когда же ход времени подтверждает нашу утрату, тут-то и начинается истинное горе. Но у кого из нас жестокая рука не похищала близкого человека? К чему описывать горе, знакомое всем и для всех неизбежное? Наступает наконец время, когда горе перестает быть неодолимым, его уже можно обуздывать; и, хотя улыбка кажется нам кощунством, мы уже не гоним ее с уст. Мать моя умерла, но у нас оставались обязанности, которые надо было выполнять; надо было жить и считать себя счастливыми, пока у нас оставался хоть один человек, не сделавшийся добычей смерти.

Мой отъезд в Ингольштадт, отложенный из-за этих событий, был теперь решен снова. Но я выпросил у отца несколько недель отсрочки. Мне казалось кощунственным так скоро покинуть дом скорби, где царила почти могильная тишина, и окунуться в жизненную суету. Я впервые испытал горе, но оно испугало меня. Мне не хотелось покидать тех, кто мне оставался, и прежде всего хотелось хоть сколько-нибудь утешить мою дорогую Элизабет.

Правда, она скрывала свою печаль и старалась быть утешительницей для всех нас. Она смело взглянула в лицо жизни и мужественно взялась за свои обязанности. Она посвятила себя тем, кого давно звала дядей и братьями. Никогда не была она так прекрасна, как в это время, когда вновь научилась улыбаться, чтобы радовать нас. Стараясь развеять наше горе, она забывала о своем.

Наконец день моего отъезда наступил. Клерваль провел с нами последний вечер. Он пытался добиться от своего отца позволения ехать вместе со мной и поступить в тот же университет, но напрасно. Отец его был недалеким торгашом и в стремлениях сына видел лишь разорительные прихоти. Анри глубоко страдал от невозможности получить высшее образование. Он был молчалив; но когда начинал говорить, я читал в его загоравшихся глазах сдерживаемую, но твердую решимость вырваться из плена коммерции.

Мы засиделись допоздна. Нам было трудно оторваться друг от друга и произнести слово «прощай». Наконец оно

было сказано, и мы разошлись, якобы на покой; каждый убеждал себя, что ему удалось обмануть другого; когда на утренней заре я вышел к экипажу, в котором должен был уехать, все собрались снова: отец — чтобы еще раз благословить меня, Клерваль — чтобы еще пожать мою руку, моя Элизабет — чтобы повторить свои просьбы писать почаще и еще раз окинуть своего друга заботливым женским глазом.

Я бросился на сиденье экипажа, уносившего меня от них, и предался самым грустным раздумьям. Привыкший к обществу милых сердцу людей, неизменно внимательных друг к другу, я был теперь один. В университете, куда я направлялся, мне предстояло самому искать себе друзей и самому себя защищать. Жизнь моя до тех пор была уединенной и протекала всецело в домашнем кругу; это внушило мне непобедимую неприязнь к новым лицам. Я любил своих братьев, Элизабет и Клерваля; это были «милые, знакомые лица», и мне казалось, что я не смогу находиться среди чужих. Таковы были мои думы в начале пути; но вскоре я приободрился. Я страстно жаждал знаний. Дома мне часто казалось, что человеку обидно провести молодость в четырех стенах; мне хотелось повидать свет и занять место среди людей. Теперь желания мои сбывались, и сожалеть об этом было бы глупо.

Путь в Ингольштадт был долог и утомителен, и у меня оказалось довольно времени для этих и многих других размышлений. Наконец моим глазам предстали высокие белые шпили города. Я вышел из экипажа, и меня провели на мою одинокую квартиру, предоставив провести вечер, как мне заблагорассудится.

Наутро я вручил мои рекомендательные письма и сделал визиты некоторым из главных профессоров. Случай — а вернее злой рок, Дух Гибели, взявший надо мною полную власть, едва я скрепя сердце покинул родительский кров — привел меня сперва к господину Кремпе, профессору естественных наук. Это был грубоватый человек, но большой знаток своего дела. Он задал мне несколько вопросов, с целью проэкзаменовать меня в различных областях естествознания. Я отвечал ему небрежно и с некоторым вызовом упомянул моих алхимиков в качестве главных авторов, которых я изучал. Профессор широко раскрыл глаза: «И вы в самом деле тратили время на эту чепуху?»

Я отвечал утвердительно. «Каждая минута,— с жаром сказал господин Кремпе,— каждая минута, потраченная на эти книги, целиком и безвозвратно потеряна вами. Вы обременили свою память опровергнутыми теориями и ненужными именами. Боже! В какой же пустыне вы жили, если никто не сообщил вам, что этим басням, которые вы так жадно поглощали, тысяча лет и что они успели заплесневеть? Вот уж не ожидал в наш просвещенный научный век встретить ученика Альберта Великого и Парацельса. Придется вам, сударь, заново начать все ваши занятия».

Затем он составил список книг по естествознанию, которые рекомендовал достать, и отпустил меня, сообщив, что со следующей недели начинает читать курс общего естествознания, а его коллега Вальдман, по другим дням недели, будет читать лекции по химии.

Я возвратился к себе не то чтобы разочарованный, ибо я и сам, как я уже говорил, давно считал бесполезными осужденные профессором книги; но я вообще не хотел больше заниматься этими предметами в каком бы то ни было виде. Г-н Кремпе был приземистый человечек с резким голосом и уродливой внешностью; таким образом, и личность профессора не расположила меня к его науке. В общем, так сказать, философском смысле я уже говорил, к каким заключениям я пришел в юности относительно этой науки. Мое ребяческое любопытство не удовлетворялось результатами, какие сулит современное естествознание. В моей голове царил полная путаница, объясняемая только крайней молодостью и отсутствием руководства; я прошел вспять по пути науки и открытиям моих современников предпочел грезы давно позабытых алхимиков. К тому же я чувствовал презрение к утилитарности современной науки. Иное дело когда ученые искали секрет бессмертия и власти; то были великие, хотя и тщетные стремления; теперь же все обстояло иначе. Нынешний ученый, казалось, ограничивался задачей опровергнуть именно те видения, которые больше всего привлекали меня к науке. От меня требовалось сменить величественные химеры на весьма мизерную реальность.

Так размышлял я в первые два-три дня по прибытии в Ингольштадт, которые я посвятил главным образом знакомству с городом и с новыми соседями. Но на следующей

неделе я вспомнил о лекциях, упомянутых г-ном Кремпе. Хотя я и не желал идти слушать, как будет вещать с кафедры этот самоуверенный человек, я вспомнил, что он говорил мне о г-не Вальдмане, которого я еще не видел, ибо его не было в городе.

Частью из любопытства, а частью от нечего делать, я пришел в аудиторию, куда вскоре явился г-н Вальдман. Этот профессор был очень непохож на своего коллегу. Ему было на вид лет пятьдесят и лицо его выражало величайшую доброту; на висках волосы его начинали седеть, но на затылке были совершенно черные. Роста он был небольшого, однако держался необыкновенно прямо, а такого благозвучного голоса я еще никогда не слышал. Свою лекцию он начал с обзора истории химии и сделанных в ней открытий, с благоговением называя имена наиболее выдающихся ученых. Затем он вкратце изобразил современное состояние своей науки и разъяснил основные ее термины. Показав несколько предварительных опытов, он в заключение произнес хвалу современной химии в выражениях, которые я никогда не забуду.

— Прежние преподаватели этой науки, — сказал он, — обещали невозможное, но не свершили ничего. Нынешние обещают очень мало; они знают, что превращение металлов немыслимо, а эликсир жизни — несбыточная мечта. Но именно эти ученые, которые, казалось бы, возятся в грязи и корпят над микроскопом и тигелем, именно они и совершили истинные чудеса. Они прослеживают природу в ее сокровенных тайниках. Они поднимаются в небеса; они узнали, как обращается в нашем теле кровь и из чего состоит воздух, которым мы дышим. Они приобрели новую и почти безграничную власть; они повелевают небесным громом, могут воспроизвести землетрясение и даже бросают вызов невидимому миру.

Таковы были слова профессора, вернее, слова судьбы, произнесенные на мою погибель. По мере того как он говорил, я чувствовал, что схватился наконец с достойным противником; он затрагивал одну за другой сокровенные фибры моей души, заставлял звучать струну за струною, и скоро я весь был полон одной мыслью, одной целью. Если столько уже сделано — восклицала душа Франкенштейна — я сделаю больше, много больше; идя по проложенному пути, я вступлю затем на новый, открою

неизведанные еще силы и приобщу человечество к глубочайшим тайнам природы.

В ту ночь я не сомкнул глаз. Все в моей душе бурно кипело; я чувствовал, что из этого возникнет новый порядок, но не имел сил сам его навести. Сон снизошел на меня лишь на рассвете. Когда я проснулся, ночные мысли представились мне каким-то сновидением. Осталось только решение возвратиться к прежним занятиям и посвятить себя науке, к которой я имел, как мне казалось, врожденный дар. В тот же день я посетил г-на Вальдмана. В частной беседе он был еще обаятельней, чем на кафедре; некоторая торжественность, заметная в нем во время лекций, в домашней обстановке сменилась непринужденной приветливостью и добротой. Я рассказал ему о своих занятиях почти то же, что уже рассказывал его коллеге. Он внимательно выслушал мою краткую повесть и улыбнулся при упоминании о Корнелии Агриппе и Парацельсе, однако без того презрения, какое обнаружил г-н Кремпе. Он сказал, что «неутомимому усердию этих людей современные ученые обязаны многими основами своих знаний. Они оставили нам задачу более легкую: дать новые наименования и расположить в строгом порядке факты, впервые обнаруженные с их помощью. Труд гениев, даже ложно направленный, почти всегда в конечном итоге служит на благо человечества». Я выслушал эти замечания, высказанные без малейшей аффектации или самонадеянности, и сказал, что его лекция уничтожила мое предубеждение против современных химиков; я говорил сдержанно, со всей скромностью и почтительностью, подобающей юнцу в беседе с наставником, и ничем не выдал, стыдясь проявить свою житейскую неопытность, энтузиазма, с каким готовился взяться за дело. Я спросил его совета относительно нужных мне книг.

— Я счастлив, — сказал г-н Вальдман, — что приобрел ученика, и если ваше прилежание равно вашим способностям, то я не сомневаюсь в успехе. В химии, как ни в одной другой из естественных наук, сделаны и еще будут сделаны величайшие открытия. Вот почему я избрал ее, не пренебрегая вместе с тем и другими науками. Плох тот химик, который не интересуется ничем, кроме своего предмета. Если вы желаете стать настоящим ученым, а не рядовым экспериментатором, я советую вам заняться всеми естественными науками, не забыв и о математике.

Затем он провел меня в свою лабораторию и объяснил назначение различных приборов; сказал, какие из них мне следует достать, и пообещал давать в пользование свои собственные, когда я настолько продвинулся в науке, чтобы их не испортить. Он вручил мне также список книг, о котором я просил, и я откланялся.

Так окончился этот памятный для меня день; он решил мою судьбу.

Глава IV

С того дня естествознание, и особенно химия, в самом широком смысле слова, стало почти единственным моим занятием. Я усердно читал талантливые и обстоятельные сочинения современных ученых. Я слушал лекции и знакомился с университетскими профессорами и даже в г-не Кремпе обнаружил немало здравого смысла и знаний, правда сочетавшихся с отталкивающей физиономией и манерами, но оттого не менее ценных. В лице г-на Вальдмана я обрел истинного друга. Его заботливость никогда не отзывала нравоучительностью; свои наставления он произносил с искренним добродушием, чуждым всякого педантизма. Он бесчисленными способами облегчал мне путь к знанию и самые сложные понятия умел сделать легкими и доступными. Мое прилежание, поначалу неустойчивое, постепенно окрепло, и вскоре я стал работать с таким рвением, что утренний свет, гасивший звезды, часто заставлял меня в лаборатории.

При таком упорстве я, разумеется, сделал большие успехи. Я поражал студентов своим усердием, а наставников — познаниями. Профессор Кремпе не раз с лукавой усмешкой спрашивал меня, как поживает Корнелий Агриппа, а г-н Вальдман выражал по поводу моих успехов самую искреннюю радость. Так прошло два года, и за это время я ни разу не побывал в Женеве, всецело предавшись занятиям, которые, как я надеялся, приведут меня к научным открытиям. Только те, кто испытал это, знают неодолимую притягательность научного исследования. Во всех прочих занятиях вы лишь идете путем, которым до вас прошли другие, ничего вам не оставив; тогда как здесь вы непрерывно что-то открываете и изумляетесь. Даже человек средних способностей,

упорно занимаясь одним предметом, непременно достигнет в нем глубоких познаний; поставив себе одну-единственную цель и полностью ей отдавшись, я добился таких успехов, что к концу второго года придумал некоторые усовершенствования в химической аппаратуре, завоевавшие мне в университете признание и уважение. Вот тогда-то, усвоив из теории и практики естествознания все, что могли мне дать ингольштадтские профессора, я решил вернуться в родные места; но тут произошли события, продлившие мое пребывание в Ингольштадте.

Одним из предметов, особенно занимавших меня, было строение человеческого и вообще любого живого организма. Где, часто спрашивал я себя, таится жизненное начало? Вопрос смелый и всегда считавшийся загадкой; но мы стоим на пороге множества открытий, и единственной помехой является наша робость и леность. Размышляя над этим, я решил особенно тщательно изучать физиологию. Если бы не моя одержимость, эти занятия были бы тягостны и почти невыносимы. Для исследования причины жизни мы вынуждены обращаться сперва к смерти. Я изучил анатомию, но этого было мало; необходимо было наблюдать процесс естественного распада и гниения тела. Воспитывая меня, отец принял все меры к тому, чтобы в мою душу не закрался страх перед сверхъестественным. Я не помню, чтобы когда-нибудь трепетал, слушая суеверные рассказы, или страшился призраков. Боязнь темноты была мне неведома, а кладбище представлялось лишь местом упокоения мертвых тел, которые из обители красоты и силы сделались добычей червей. Теперь мне предстояло изучить причины и ход этого разложения и проводить дни и ночи в склепах. Я сосредоточил свое внимание на явлениях, наиболее оскорбительных для наших чувств. Я увидел, чем становится прекрасное человеческое тело; я наблюдал, как превращается в тлен его цветущая красота; я увидел, как все, что радовало глаз и сердце, достается в пищу червям. Я исследовал причинные связи перехода от жизни к смерти и от смерти к жизни, как вдруг среди полной тьмы блеснул внезапный свет — столь ослепительный и вместе с тем ясный, что я, потрясенный открывшимися возможностями, мог только дивиться, почему после стольких гениальных людей, изучавших этот предмет, именно мне выпало открыть великую тайну.

Напомню, что эта повесть — не бред безумца. Все, что я рассказываю, так же истинно, как солнце на небесах. Быть может, тут действительно свершилось чудо, но путь к нему был вполне обычным. Ценою многих дней и ночей нечеловеческого труда и усилий мне удалось постичь тайну зарождения жизни; более того — я узнал, как самому оживлять безжизненную материю.

Изумление, охватившее меня в первые минуты, скоро сменилось безумным восторгом. После стольких трудов достичь предела своих желаний — в этом была для меня величайшая награда. Мое открытие было столь ошеломляющим, что ход мысли, постепенно приведший меня к нему, изгладился из моей памяти, и я видел один лишь конечный результат. Я держал в руках то, к чему стремились величайшие мудрецы от начала времен. Нельзя сказать, что все открылось мне сразу, точно по волшебству; то, что я узнал, могло служить руководством к заветной цели; но сама цель еще не была достигнута. Я был подобен арабу, погребенному вместе с мертвецами и увидавшему выход из склепа при свете единственной, слабо мерцавшей свечи.

По вашим глазам, загоревшимся удивлением и надеждой, я вижу, что вы, мой друг, жаждете узнать открытую мной тайну; этого не будет — выслушайте меня терпеливо до конца, и вы поймете, почему на этот счет я храню молчание. Я не хочу, чтобы вы, неосторожный и пылкий, как я сам был тогда, шли на муки и верную гибель. Пускай не наставление, а мой собственный пример покажет вам, какие опасности таит в себе познание и насколько тот, для кого мир ограничен родным городом, счастливей того, кто хочет вознестись выше поставленных природой пределов.

Получив в свои руки безмерную власть, я долго раздумывал, как употребить ее наилучшим образом. Я знал, как оживить безжизненное тело, но составить такое тело, во всей сложности нервов, мускулов и сосудов, оставалось задачей невероятно трудной. Я колебался, создать ли себе подобного или же более простой организм; но успех вскрыл мне голову, и я не сомневался, что сумею вдохнуть жизнь даже в существо столь удивительное и сложное, как человек. Материалы, бывшие в моем распоряжении, казались недостаточными для этой трудной задачи, но я не сомневался в конечном успехе. Я заранее приготовился к множеству трудностей; к тому, что помехи будут возникать непрестан-

но, а результат окажется несовершенным, но, памятуя о ежедневных достижениях техники и науки, я надеялся, что мои попытки хотя бы заложат основание для будущих успехов. Сложность и дерзость моего замысла так же не казались мне доводом против него. С этими мыслями я приступил к сотворению человеческого существа. Поскольку сбор мельчайших частиц очень замедлил бы работу, я отступил от своего первоначального замысла и решил создать гиганта — около восьми футов ростом и соответственно мощного сложения. Приняв это решение и затратив несколько месяцев на сбор нужных материалов, я принялся за дело.

Никому не понять сложных чувств, увлекавших меня, подобно вихрю, в эти дни опьянения успехом. Мне первому предстояло преодолеть грань жизни и смерти и озарить наш темный мир ослепительным светом. Новая порода людей благословит меня как своего создателя; множество счастливых и совершенных существ будут обязаны мне своим рождением. Ни один отец не имеет столько прав на признательность ребенка, как буду иметь я. Раз я научился оживлять мертвую материю, рассуждал я, со временем (хотя сейчас это было для меня невозможно) я сумею также давать вторую жизнь телу, которое смерть уже обрела на исчезновение.

Эти мысли поддерживали мой дух, пока я с неослабным рвением отдавался работе. Щеки мои побледнели, а тело исхудало от затворнической жизни. Бывало, что я терпел неудачу на самом пороге успеха, но продолжал верить, что он может прийти в любой день и час. Тайна, которой владел я один, стала смыслом моей жизни, и ей я посвятил себя всецело. Ночами, при свете месяца, я неутомимо и неустанно выслеживал природу в самых сокровенных ее тайниках. Как рассказать об ужасах этих ночных бдений, когда я рылся в могильной плесени или терзал живых тварей ради оживления мертвой материи? Сейчас при воспоминании об этом я дрожу всем телом, а глаза мои застилает туман; но в ту пору какое-то безудержное иступление влекло меня вперед. Казалось, я утратил все чувства и видел лишь одну свою цель. То была временная одержимость; все чувства воскресли во мне с новой силой, едва она миновала, и я вернулся к прежнему образу жизни. Я собирал кости в склепах; я кощунственной рукой втор-

гался в сокровеннейшие уголки человеческого тела. Свою мастерскую я устроил в уединенной комнате, вернее чердаке, отделенном от всех других помещений галереей и лестницей; иные подробности этой работы внушали мне такой ужас, что глаза мои едва не вылезали из орбит. Бойня и анатомический театр поставляли мне большую часть моих материалов; и я часто содрогался от отвращения, но, подгоняемый все возрастающим нетерпением, все же вел работу к концу.

За этой работой, поглотившей меня целиком, прошло все лето. В тот год лето стояло прекрасное: никогда поля не приносили более обильной жатвы, а виноградники — лучшего сбора; но красоты природы меня не трогали. Та же одержимость, которая делала меня равнодушным к внешнему миру, заставила меня позабыть и друзей, оставшихся так далеко и не виденных так давно. Я понимал, что мое молчание тревожит их и помнил слова отца: «Знаю, что, пока ты доволен собой, ты будешь вспоминать нас с любовью и писать нам часто. Прости, если я сочту твое молчание признаком того, что ты пренебрег и другими своими обязанностями».

Таким образом, я знал, что должен был думать обо мне отец, и все же не мог оторваться от занятий, которые, как они ни были сами по себе отвратительны, захватили меня целиком. Я словно отложил все, что касалось моих привязанностей, до завершения великого труда, подчинившего себе все мое существо.

Я считал тогда, что отец несправедлив ко мне, объясняя мое молчание разгульной жизнью и ленью; но теперь я убежден, что он имел основания подозревать нечто дурное. Совершенный человек всегда должен сохранять спокойствие духа, не давая страсти или мимолетным желаниям возмущать этот покой. Я полагаю, что и труд ученого не составляет исключения. Если ваши занятия ослабляют в вас привязанности или отвращают вас от простых и чистых радостей, значит, в этих занятиях наверняка есть нечто не подобающее человеку. Если бы это правило всегда соблюдалось и человек никогда не жертвовал бы любовью к близким ради чего бы то ни было, Греция не попала бы в рабство, Цезарь пощадил бы свою страну, освоение Америки было бы более постепенным, а государства Мексики и Перу не подвергались бы разрушению.

Однако я принялся рассуждать в самом интересном месте моей повести, и ваш взгляд призывает меня продолжать ее.

Отец в своих письмах не упрекал меня и только подробней, чем прежде, осведомлялся о моих занятиях. Прошли зима, весна и лето, пока я был занят своими трудами, но я не любовался цветами и свежими листьями, прежде всегда меня восхищавшими, — настолько я был поглощен работой. Листья успели увянуть, прежде чем я ее завершил; и теперь я с каждым днем убеждался в полном своем успехе. Однако к восторгу примешивалась и тревога, и я больше походил на раба, томящегося в рудниках или ином гиблом месте, чем на творца, занятого любимым делом. По ночам меня лихорадило, а нервы были болезненно напряжены; я вздрагивал от шороха падающего листа и избегал людей, словно имел на совести преступление. Иногда я пугался, видя, что превращаюсь в развалину; меня поддерживало только мое стремление к цели; труд мой подвигался к концу, и я надеялся, что прогулки и развлечения предотвратят начинавшуюся болезнь; все это я обещал себе, как только работа будет окончена.

Глава V

Однажды ненастной ноябрьской ночью я узрел завершение моих трудов. С мучительным волнением я собрал все необходимое, чтобы зажечь жизнь в бесчувственном создании, лежавшем у моих ног. Был час пополуночи; дождь уныло стучал в оконное стекло; свеча почти догорела; и вот при ее неверном свете я увидел, как открылись тусклые желтые глаза; существо начало дышать и судорожно подергиваться.

Как описать мои чувства при этом ужасном зрелище, как изобразить несчастного, созданного мною с таким неимоверным трудом? А между тем члены его были соразмерны, и я подобрал для него красивые черты. Красивые — боже великий! Желтая кожа слишком туго обтягивала его мускулы и жилы; волосы были черные, блестящие и длинные, а зубы белые как жемчуг; но тем страшнее был их контраст с водянистыми глазами, почти

неотличимыми по цвету от глазниц, с сухой кожей и узкой прорезью черного рта.

Нет в жизни ничего переменчивее наших чувств. Почти два года я трудился с единственной целью — вдохнуть жизнь в бездыханное тело. Ради этого я лишил себя покоя и здоровья. Я желал этого с иступленной страстью; а теперь, когда я окончил свой труд, вся прелесть мечты исчезла, и сердце мое наполнилось несказанным ужасом и отвращением. Не в силах вынести вида своего творения, я кинулся вон из комнаты и долго шагал по своей спальне, чувствуя, что не смогу заснуть. Наконец мое волнение сменилось усталостью, и я, одетый, бросился на постель, надеясь ненадолго забыться. Но напрасно; мне, правда, удалось заснуть, но я увидел во сне кошмар: прекрасная и цветущая Элизабет шла по улице Ингольштадта. Я в восхищении обнял ее, но едва успел запечатлеть поцелуй на ее губах, как они помертвели, черты ее изменились, и вот уже я держу в объятиях труп моей матери; тело ее окутано саваном, и в его складках копошатся могильные черви. Я в ужасе проснулся; на лбу у меня выступил холодный пот, зубы стучали, и все тело свела судорога; и тут в мутном желтом свете луны, пробивавшемся сквозь ставни, я увидел гнусного уродца, сотворенного мной. Он приподнял полог кровати; глаза его, если можно назвать их глазами, были устремлены на меня. Челюсти его двигались, и он издавал непонятные звуки, растягивая рот в улыбку.

Он, кажется, говорил, но я не слышал; он протянул руку, словно удерживая меня, но я вырвался и побежал вниз по лестнице. Я укрылся во дворе нашего дома и там провел остаток ночи, расхаживая взад и вперед в сильнейшем волнении, настораживая слух и пугаясь каждого звука, словно возвещавшего приближение отвратительного существа, в которое я вдохнул жизнь.

На него невозможно было смотреть без содрогания. Никакая мумия, возвращенная к жизни, не могла быть ужаснее этого чудовища. Я видел свое творение неоконченным; оно и тогда было уродливо; но когда его суставы и мускулы пришли в движение, получилось нечто более страшное, чем все вымыслы Данте.

Я провел ужасную ночь. Временами пульс мой бился так быстро и сильно, что я ощущал его в каждой артерии, а порой я готов был упасть от слабости. К моему ужасу

примешивалась горечь разочарования; то, о чем я так долго мечтал, теперь превратилось в мучение; и как внезапна и непоправима была эта перемена!

Наконец забрезжил день, угрюмый и ненастный, и моим глазам, воспаленным от бессонницы, предстала ингольштадтская церковь с белым шпилем и часами, которые показывали шесть. Привратник открыл ворота двора, служившего мне в ту ночь прибежищем; я вышел на улицу и быстро зашагал, словно желая избежать встречи, которой боялся на каждом повороте. Я не решался вернуться к себе на квартиру; что-то гнало меня вперед, хотя я насквозь промок от дождя, лившего с мрачного черного неба.

Так я шел некоторое время, стремясь усиленным физическим движением облегчить душевную муку. Я проходил по улицам, не отдавая себе ясного отчета, где я и что делаю. Сердце мое трепетало от мучительного страха, и я шагал неровным шагом, не смея оглянуться назад.

Так одинокий пешеход,
Чье сердце страх гнетет,
Назад не смотрит и спешит,
И смотрит лишь вперед,
И знает, знает, что за ним
Ужасный враг идет¹

Незаметно я дошел до постоянного двора, куда обычно приезжали дилижансы и кареты. Здесь я остановился, сам не зная зачем, и несколько минут смотрел на почтовую карету, показавшуюся в другом конце улицы. Когда она приблизилась, я увидел, что это был швейцарский дилижанс; он остановился прямо подле меня, дверцы открылись, и появился Анри Клерваль, который, завидя меня, тотчас выскочил из экипажа. «Милый Франкенштейн,— воскликнул он,— как я рад тебя видеть! Как удачно, что ты оказался здесь к моему приезду».

Ничто не могло сравниться с моей радостью при виде Клерваля; его появление напомнило мне об отце, Элизабет и милых радостях домашнего очага. Я сжал его руку и тотчас забыл свой ужас и свою беду,— впервые за много месяцев я ощутил светлую и безмятежную радость. Я сердечно приветствовал своего друга, и мы вместе направились к моему колледжу. Клерваль рассказывал о наших

¹ Перевод В. Левика

общих друзьях и радовался, что ему разрешили приехать в Ингольштадт.

— Ты можешь себе представить,— сказал он,— как трудно было убедить моего отца, что не все нужные человеку знания заключены в благородном искусстве бухгалтерии; думаю, что он так и не поверил мне до конца, ибо на мои неустанные просьбы каждый раз отвечал то же, что голландский учитель в «Векфильдском священнике»: «Мне платят десять тысяч флоринов в год — без греческого языка; я ем-пью без всякого греческого языка». Однако его любовь ко мне все же преодолела нелюбовь к наукам, и он разрешил мне предпринять путешествие в страну знания.

— Я безмерно рад тебя видеть, но скажи мне, как поживает мой отец, братья и Элизабет?

— Они здоровы, и все у них благополучно; их только беспокоит, что ты так редко им пишешь. Кстати, я сам хотел пробрать тебя за это. Но, дорогой мой Франкенштейн,— прибавил он, внезапно останавливаясь и вглядываясь в мое лицо,— я только сейчас заметил, что у тебя совершенно больной вид; ты худ и бледен и выглядишь так, точно не спал несколько ночей.

— Ты угадал. Я очень усердно занимался одним делом и мало отдыхал, как видишь; но я надеюсь, что теперь с этим покончено и я свободен.

Я весь дрожал; я не мог даже подумать, не то что рассказывать, о событиях минувшей ночи. Я прибавил шагу, и мы скоро пришли к моему колледжу. Тут я сообразил — и мысль эта заставила меня содрогнуться,— что существо, оставшееся у меня на квартире, могло быть еще там. Я боялся увидеть чудовище, но еще больше боялся, что его может увидеть Анри. Попросив его подождать несколько минут внизу, я быстро взбежал по лестнице. Моя рука потянулась уже к ручке двери, и только тут я опомнился. Я медлил войти; холодная дрожь пронизывала меня с головы до ног. Потом я резко распахнул дверь, как делают дети, ожидая увидеть привидение; за дверью никого не было. Я со страхом вошел в комнату, но она была пуста; ужасного гостя не было и в спальне. Я едва решался верить такому счастью, но когда убедился, что мой враг действительно исчез, я радостно всплеснул руками и побежал за Клервалем.

Мы поднялись ко мне в комнату, и скоро слуга принес туда завтрак; я не мог сдерживать свою радость. Да это и не было просто радостью — все мое тело трепетало от возбуждения, и пульс бился как бешеный. Я ни минуты не мог оставаться на месте; я перепрыгивал через стулья, хлопал в ладоши и громко хохотал. Клерваль сперва приписывал мое оживление радости нашего свидания, но, взглядевшись в меня внимательней, он заметил в моих глазах дикие искры безумия, а мой неудержимый, истерический хохот удивил и испугал его.

— Милый Виктор, — воскликнул он, — скажи, ради бога, что случилось? Не смейся так. Ведь ты болен. Что за причина всего этого?

— Не спрашивай, — вскричал я, закрывая глаза руками, ибо мне почудилось, что страшное существо проскользнуло в комнату, — он может рассказать... О, спаси меня, спаси! — Мне показалось, что чудовище схватило меня, я стал бешено отбиваться и в судорогах упал на пол.

Бедный Клерваль! Что он должен был почувствовать! Встреча, которой он ждал с такой радостью, обернулась бедой. Но я ничего этого не сознавал. Я был без памяти, и прошло много времени, прежде чем я пришел в себя.

То было начало нервной горячки, на несколько месяцев приковавшей меня к постели. Все это время Клерваль был единственной моей сиделкой. Я узнал впоследствии, что он, щадя старость моего отца, которому долгая дорога была бы не под силу, и зная, как моя болезнь огорчит Элизабет, скрыл от них серьезность моего положения. Он знал, что никто не сумеет ухаживать за мной внимательнее, чем он, и, твердо надеясь на мое выздоровление, не сомневался, что поступает по отношению к ним наилучшим образом.

В действительности же я был очень болен, и ничто, кроме неустанной самоотверженной заботы моего друга, не могло бы вернуть меня к жизни. Мне все время мерещилось сотворенною мною чудовище, и я без умолку им бредил. Мои слова, несомненно, удивляли Анри; сперва он счел за бессмысленный бред; но упорство, с каким я возвращался все к той же теме, убедило его, что причиной моей болезни явилось некое страшное и необычайное событие.

Я поправлялся очень медленно — не раз повторные вспышки болезни пугали и огорчали моего друга. Помню, когда я впервые смог с удовольствием оглядеться вокруг, я

заметил, что на деревьях, осенявших мое окно, вместо осенних листьев были молодые побеги. Весна в тот год стояла волшебная, и это немало помогло моему выздоровлению. Я чувствовал, что и в моей груди возрождаются любовь и радость; моя мрачность исчезла, и скоро я был так же весел, как в те времена, когда я еще не знал роковой страсти.

— Дорогой мой Клерваль,— воскликнул я,— ты бесконечно добр ко мне! Ты собирался всю зиму заниматься, а вместо этого просидел у постели больного. Чем смогу я отблагодарить тебя? Я горько корю себя за все, что причинил тебе; но ты меня простишь.

— Ты полностью отблаговаришь меня, если не будешь ни о чем тревожиться и постарайся поскорей поправиться; и раз ты так хорошо настроен, можно мне кое о чем поговорить с тобой?

Я вздрогнул. Поговорить? Неужели он имел в виду то, о чем я не решался даже подумать?

— Успокойся,— сказал Клерваль, заметив, что я переменялся в лице,— я не собираюсь касаться того, что тебя волнует. Я только хотел сказать, что твой отец и кузина будут очень рады получить письмо, написанное твоей рукой. Они не знают, как тяжело ты болел, и встревожены твоим долгим молчанием.

— И это все, милый Анри? Как мог ты подумать, что моей первой мыслью не будет мысль о дорогих и близких людях, таких любимых и таких достойных любви.

— Если так, друг мой, ты, наверное, обрадуешься письму, которое уже несколько дней тебя ожидает. Кажется, оно от твоей кузины.

Глава VI

И Клерваль протянул мне письмо. Оно было от моей Элизабет.

«Дорогой кузен! Ты был болен, очень болен, и даже частые письма доброго Анри не могли меня вполне успокоить. Тебе запрещено писать — даже держать перо, но одного слова от тебя, милый Виктор, будет довольно, чтобы рассеять наши страхи. Я уже давно жду письма с каждой почтой и убеждаю дядю не предпринимать поездки в Инголь-

штадт. Я не хочу, чтобы он подвергался неудобствам, быть может даже опасностям, столь долгого пути, но как часто я сожалела, что сама не могу его проделать! Боюсь, что уход за тобой поручен какой-нибудь старой наемной сиделке, которая не умеет угадывать твои желания и выполнять их так любовно и внимательно, как твоя бедная кузина. Но все это уже позади; Клерваль пишет, что тебе лучше. Я горячо надеюсь, что ты скоро сам сообщишь нам об этом.

Выздоровливай — и возвращайся к нам. Тебя ждет счастливый домашний очаг и любящая семья. Отец твой бодр и здоров, и ему нужно только одно — увидеть тебя, убедиться, что ты поправился, и тогда никакие заботы не омрачат его доброго лица. А как ты порадуешься, глядя на нашего Эрнеста! Ему уже шестнадцать, и энергия бьет в нем ключом. Он хочет быть настоящим швейцарцем и вступить в иноземные войска, но мы не в силах с ним расстаться, по крайней мере до возвращения его старшего брата. Дядя не одобряет военной службы в чужих странах, но ведь у Эрнеста никогда не было твоего прилежания. Ученье для него — тяжелое бремя; он проводит время на воздухе, то в горах, то на озере. Боюсь, что он станет бездельничать, если мы не согласимся и не разрешим ему вступить на избранный им путь.

С тех пор как ты уехал, здесь мало что изменилось, разве что подросли наши милые дети. Синее озеро и снеговые горы не меняются; мне кажется, что наш мирный дом и безмятежные сердца живут по тем же незыблемым законам. Мое время проходит в мелких хлопотах, но они меня развлекают, а наградой за труды мне служат довольные и добрые лица окружающих.

Со времени твоего отъезда в нашей маленькой семье произошла одна перемена. Ты, вероятно, помнишь, как попала к нам в дом Жюстина Мориц. А может быть, и нет — поэтому я вкратце расскажу тебе ее историю. Мать ее, госпожа Мориц, осталась вдовой с четырьмя детьми, из которых Жюстина была третьей. Эта девочка была любимицей отца; но мать, по какой-то странной прихоти, невзлюбила ее и после смерти г-на Морица стала обращаться с ней очень скверно. Моя тетушка заметила это и, когда Жюстине было лет двенадцать, уговорила мать девочки отдать ее нам. Республиканский строй нашей страны породил более простые и

здоровые нравы, чем в окружающих нас великих монархиях. Здесь менее резко выражено различие в положении общественных групп; низшие слои не находятся в такой бедности и презрении и поэтому более цивилизованны. В Женеве служанка — это нечто иное, чем во Франции или Англии. Принятая в нашу семью, Жюстина взяла на себя обязанности служанки; но в нашей счастливой стране это положение не означает невежества или утраты человеческого достоинства.

Жюстина всегда была твоей любимицей; я помню, как ты однажды сказал, что одного ее взгляда довольно, чтобы рассеять твое дурное настроение; и объяснил это так же, как Ариосто, когда он описывает красоту Анжелики: уж очень мило ее открытое и сияющее лицо. Моя тетя сильно к ней привязалась и дала ей лучшее образование, чем предполагала вначале. За это она была вознаграждена сторицею; Жюстина оказалась самым благодарным созданием на свете; она не выражала свою признательность словами — этого я от нее никогда не слышала, но в ее глазах светилась благоговейная любовь к покровительнице. Хотя от природы это была веселая и даже ветреная девушка, тетушку она слушалась во всем. Она видела в ней образец всех совершенств и старалась подражать ее речи и манерам, так что до сих пор часто напоминает мне ее.

Когда моя дорогая тетушка скончалась, все мы были слишком погружены в собственное горе, чтобы замечать бедняжку Жюстину, которая во время болезни ходила за ней с величайшей заботливостью. Жюстина сама потом тяжело заболела, но ей были уготованы еще и другие испытания.

Ее братья и сестра умерли один за другим, и мать ее осталась бездетной, если не считать дочери, которой она в свое время пренебрегала. Мать ощутила укоры совести и стала думать, что смерть любимых детей была ей карой за ее несправедливость. Она была католичкой, и ее духовник, как видно, утвердил ее в этой мысли. Вот почему, спустя несколько месяцев после твоего отъезда в Ингольштадт, раскаявшаяся мать призвала к себе Жюстину. Бедняжка! Она плакала, расставаясь с нами; со смертью тетушки она очень переменилась; горе смягчило ее, и вместо прежней живости в ней появилась подкупающая кротость. Пребывание под материнской кровлей также не могло вернуть

ей веселость. Раскаяние ее матери было очень неустойчивым. Бывали дни, когда она просила Жюстину простить ей несправедливость, но чаще она обвиняла ее в смерти братьев и сестры. Постоянное раздражение привело к болезни, а от этого нрав госпожи Мориц стал еще тяжелее; однако теперь она успокоилась навеки. Она умерла в начале прошлой зимы, с наступлением холодов. Жюстина возвратилась к нам, и я нежно люблю ее. Она очень умна, добра и очень хороша собой; как я уже сказала, многое в ее манере держаться и говорить постоянно напоминает мне мою дорогую тетюшку.

Надо рассказать тебе, дорогой кузен, и о нашем милом маленьком Уильяме. Вот бы тебе посмотреть на него! Для своих лет он очень рослый; у него смеющиеся синие глаза, темные ресницы и кудрявые волосы. Когда он улыбается, на его румяных щеках появляются ямочки. У него уже было несколько маленьких «невест», но самая любимая из них — Луиза Бирон, хорошенькая пятилетняя девочка.

А теперь, милый Виктор, тебе наверняка хочется узнать новости о наших женевских соседях. Хорошенькая мисс Мэнсфилд уже принимала поздравления по поводу ее предстоящего брака с молодым англичанином, Джоном Мельбурном. Ее некрасивая сестра Манон вышла осенью за богатого банкира, г-на Дювилара. Твой школьный товарищ Луи Мануар после отъезда Клерваля потерпел несколько неудач. Теперь он, впрочем, утешился и, говорят, собирается жениться на хорошенькой и бойкой француженке г-же Тавернье. Она вдова и значительно старше Мануара, но у нее еще множество поклонников.

Описывая тебе все это, дорогой кузен, я и сама немного развлеклась, но теперь, кончая письмо, вновь ощущаю тревогу. Напиши нам, Виктор. Одна строчка, одно слово будет для нас радостью. Тысячу раз спасибо Анри за его доброту и заботу и за частые письма; мы благодарны ему от всей души. Прощай, милый кузен, береги себя и пиши, умоляю тебя!

Женева, 18 марта 17...

Элизабет Лавенца».

— О милая Элизабет! — воскликнул я, прочтя письмо. — Надо сейчас же написать им и рассеять их тревогу.

Я написал домой; после этого я почувствовал сильную усталость; но выздоровление началось и пошло быстро. Спустя еще две недели я уже мог выходить.

Одной из первых моих забот по выздоровлении было представить Клерваля некоторым из университетских профессоров. При этом мне пришлось вынести немало неловких прикосновений, бередивших мою душевную рану. С той роковой ночи, когда завершились мои труды и начались мои бедствия, я проникся величайшим отвращением к самому слову «естественные науки». Даже когда я вполне оправился от болезни, вид химических приборов вновь вызывал мучительные симптомы нервного расстройства. Анри заметил это и убрал подальше все мои инструменты. Он поместил меня в другую комнату, ибо видел, что мне стала неприятна моя бывшая лаборатория. Но все заботы Клерваля были сведены на нет, когда я навестил своих профессоров. Г-н Вальдман причинил мне истинную муку, принявшись горячо поздравлять меня с удивительными успехами в науках. Он вскоре заметил, что эта тема мне неприятна, но, не догадываясь об истинной причине, приписал это моей скромности и поспешил переменить разговор: вместо моих успехов он заговорил о самой науке, с явным желанием дать мне блеснуть. Что мне было делать? Думая сделать приятное, он терзал меня. Мне казалось, что он старательно демонстрирует одно за другим орудия пытки, чтобы затем предать меня медленной и мучительной смерти. Я корчился от его слов, не смея показать, как мне больно. Клерваль, неизменно внимательный к чувствам других, предложил переменить тему беседы, под предлогом своей неосведомленности в ней, и мы заговорили о предметах более общих. Я мысленно поблагодарил своего друга, но ничего ему не сказал. Я видел его недоумение, но он ни разу не попытался выведать мою тайну, а я, любя и безмерно уважая его, не решился сообщить ему о событии, которое так часто являлось моему воображению и которое я страшился оживить в памяти, рассказывая о нем другому.

С г-ном Кремпе мне пришлось труднее: при моей тогдашней чувствительности, обостренной до крайности, его грубоватые похвалы были для меня еще мучительнее, чем доброжелательность г-на Вальдмана. «Черт бы побрал этого парня! — воскликнул он. — Знаете ли, господин Клерваль, ведь он нас всех заткнул за пояс. Да, да, что вы на меня

так устались? Это сущая правда. Зеленый юнец, который еще недавно веровал в Корнелия Агриппу как в святое Евангелие, сейчас занял первое место. Если его не одернуть, он нас всех посрамит. Да, да,— продолжал он, заметив страдальческое выражение моего лица,— господин Франкенштейн у нас скромник — отличное качество в молодом человеке. Юноше положено быть скромным, господин Клерваль; в молодости я и сам был таков, да только этой скромности ненадолго хватает».

Тут г-н Кремпе принялся расхваливать себя самого и, к счастью, оставил столь неприятную для меня тему.

Клерваль никогда не сочувствовал моей склонности к естественным наукам; у него самого были совершенно иные, филологические интересы. В университет он приехал, чтобы овладеть восточными языками и таким образом подготовить себя к деятельности, о которой мечтал. Желая многого достичь, он обратил свои помыслы к Востоку, где открывался простор для его предприимчивости. Его интересовали персидский, арабский и санскрит, и он без труда убедил меня заняться тем же. Праздность всегда меня тяготила, а теперь, возненавидев прежние свои занятия и стремясь отвлечься от размышлений, я нашел большое облегчение в этих общих уроках с моим другом; в сочинениях восточных авторов я открыл много и поучительного и приятного. В отличие от Клерваля, я не вдавался в научное изучение восточных языков, ибо не ставил себе иной цели, кроме временного развлечения. Я читал лишь ради содержания и был вознагражден за труды. Грусть у них успокоительна, а радость — возвышенна, более чем у писателей любой другой страны. Когда читаешь их творения, жизнь представляется солнечным сиянием, садом цветущих роз, улыбками и капризами прекрасной противницы и любовным огнем, сжигающим ваше сердце. Как это непохоже на мужественную и героическую поэзию Греции и Рима!

За этими занятиями прошло лето; поздней осенью я предполагал возвратиться в Женеву; но произошли некоторые задержки, а там пришла зима, выпал снег, дороги стали непроезжими, и мой отъезд был отложен до весны. Я крайне досадовал на это промедление, ибо мне не терпелось увидеть родные края и своих близких. Если вначале я задерживался, то лишь потому, что не хотел покинуть Клерваля в чужом

городе, прежде чем он приобретет там друзей. Впрочем, зиму мы провели приятно; весна была необычайно поздней, но, когда пришла, ее прелесть искупила это запоздание. Наступил май, и я ежедневно ожидал письма, которое должно было назначить день моего отъезда; тут Анри предложил пешую прогулку по окрестностям Ингольштадта, чтобы я мог проститься с местами, где прожил так долго. Я с удовольствием согласился; я любил ходить, и в родных местах Клерваль был моим постоянным спутником в подобных экскурсиях.

В этих странствиях мы провели две недели; бодрость и здоровье к тому времени вернулись ко мне; чистый воздух, путевые впечатления и общение с другом еще более укрепили меня. Мои занятия отдалили меня от людей и сделали затворником; Клерваль пробудил во мне мои лучшие качества; он заново научил меня любить природу и радостные детские лица. Незабвенный друг! Как искренне ты любил меня, как возвышал меня до уровня собственной, высокой души! Себялюбивые устремления принизили меня, но твоя забота и привязанность отогрели мое сердце. Я снова стал тем счастливецом, который всего лишь несколько лет назад всех любил, всеми был любим и не знал печали. Когда я бывал в хорошем расположении духа, природа являлась для меня источником восхитительных ощущений. Ясное небо и зеленеющие поля наполняли меня восторгом. Весна в тот год и в самом деле была дивной; весенние цветы цвели на живых изгородях, летние готовились расцвести. Я наконец отдыхал от мыслей, угнетавших меня весь год, несмотря на все старания отогнать их.

Анри радовался моей веселости и искренне разделял мое настроение; он старался развлечь меня и одновременно выражал чувства, переполнявшие его самого. В те дни он был поистине неистощим. Иногда, подражая персидским и арабским писателям, он сочинял повести, исполненные воображения и страсти. А не то читал мои любимые стихи или заводил спор и весьма искусно его поддерживал.

Мы возвратились в колледж под вечер воскресного дня; крестьяне затевали пляски; повсюду нам встречались

веселые и счастливые лица. Я и сам был в отличном расположении духа; ноги несли меня особенно легко, а сердце смеялось и ликовало.

Глава VII

Придя к себе, я нашел следующее письмо от отца:

«Дорогой Виктор, ты, вероятно, с нетерпением ждешь письма, которое назначит день твоего возвращения; и сперва я хотел написать тебе всего несколько строк, чтобы только указать день, когда мы тебя ожидаем. Но это малодушие было бы жестоко по отношению к тебе. Каково тебе будет, вместо радостного приема, которого ты ждешь, встретить здесь горе и слезы! Но как поведать тебе о нашем несчастье? Долгое отсутствие не могло сделать тебя равнодушным к нашим радостям и бедам; а я вынужден причинить горе моему долгожданному сыну. Я хотел бы подготовить тебя к ужасному известию, но это невозможно; ты уже, наверное, пробегаешь глазами страницу в поисках страшной вести.

Не стало нашего Уильяма, нашего веселого и милого ребенка, согревавшего мое сердце своей улыбкой. Виктор! Его убили!

Не буду пытаться утешить тебя, просто расскажу, как это случилось.

В прошлый четверг (седьмого мая) я, моя племянница и оба твои брата отправились на прогулку в Пленпале. Вечер был теплый и тихий, и мы зашли дальше обычного. Уже стемнело, когда мы подумали о возвращении, и тут оказалось, что Уильям и Эрнест, шедшие впереди, скрылись из виду. Поджидая их, мы сели на скамью. Вскоре появился Эрнест и спросил, не видели ли мы его брата: они играли в прятки, Уильям побежал прятаться, он никак не мог его найти, а потом долго ждал, но тот так и не появился.

Это нас очень встревожило, и мы искали его до самой ночи; Элизабет предположила, что он вернулся домой, но и там его не оказалось. Мы снова принялись искать его при свете факелов, ибо я не мог уснуть, зная, что мой мальчик заблудился и теперь зябнет от ночной росы. Элизабет также терзалась тревогой. Часов в пять я нашел свое дорогое дитя;

еще накануне здоровый и цветущий, он был распростерт на траве, бледный и недвижимый; на шее его отпечатались пальцы убийцы.

Его принесли домой; горе, написанное на моем лице, все объяснило Элизабет. Она захотела видеть тело; сперва я попытался помешать ей, но она настаивала; взглянув на шею мальчика, она всплеснула руками и воскликнула: «Боже! Я погубила моего милого ребенка!»

Она потеряла сознание, и ее с трудом удалось привести в чувство. Очнувшись, она снова зарыдала. Она рассказала мне, что в тот вечер Уильям непременно хотел надеть на шею драгоценный медальон с портретом матери. Вещица исчезла. Она-то, как видно, и соблазнила убийцу. Найти его пока не удастся, хотя мы и прилагаем все усилия; но это ведь не воскресит моего Уильяма!

Приезжай, дорогой Виктор; ты один сумеешь утешить Элизабет. Она все время плачет, несправедливо виня себя в гибели ребенка; слова ее разрывают мне сердце. Мы все несчастны, но именно поэтому ты захочешь вернуться к нам и утешить нас. Бедная твоя мать! Увы, Виктор! Сейчас я благодарю бога, что она не дожидается этого и не увидела страшной смерти своего любимого крошки.

Приезжай, Виктор, не с мыслями о мести, но с любовью в душе, которая заживила бы нашу рану, а не растравляла ее. Войди в дом скорби, мой друг, но не с ненавистью к врагам, а с любовью к любящим тебя.

Женева, 12 мая 17...

Твой убитый горем отец
Альфонс Франкенштейн»

Клерваль, следивший за выражением моего лица, пока я читал письмо, с изумлением увидел, как радость при получении вестей из дому вдруг сменилась отчаянием. Я бросил письмо на стол и закрыл лицо руками.

— Дорогой Франкенштейн! — воскликнул Анри, видя мои горькие слезы. — Неужели тебе суждены постоянные несчастья? Дорогой друг, скажи, что случилось?

Я указал ему на письмо, а сам в волнении зашагал по комнате. Прочтя о нашей беде, Клерваль тоже заплакал.

— Не могу утешать тебя, мой друг, — сказал он, — твое горе неутешно. Но что ты намерен делать?

— Немедленно ехать в Женеву. Пойдем, Анри, закажем лошадей.

По дороге Клерваль все же пытался утешить меня. Он сочувствовал мне всей душой. «Бедный Уильям,— сказал он,— бедный, милый ребенок! Он теперь покоится со своей праведницей матерью. Всякий, кто знал его во всей его детской прелести, оплачет его безвременную гибель. Умереть так ужасно; ощутить на себе руки убийцы! Каким злодеем надо быть, чтобы погубить невинного! Бедное дитя! Одним только можно утешиться: его близкие плачут о нем, но сам он уже отстрадал. Страшный миг позади, и он успокоился навеки. Его нежное тельце сокрыто в могиле; и он не чувствует боли. Ему уже не нужна жалость; сбережем ее для несчастных, которые его пережили».

Так говорил Клерваль, быстро идя со мной по улице. Слова его запечатлелись у меня в уме, и я вспоминал их впоследствии, оставшись один. Но теперь, едва подали лошадей, я поспешил сесть в экипаж и простился со своим другом.

Невеселое это было путешествие. Сперва я торопился, желая поскорее утешить моих опечаленных близких, но с приближением к родным местам мне захотелось ехать медленнее. Мне было трудно справиться с нахлынувшими на меня чувствами. Я проезжал места, знакомые с детства, но не виденные почти шесть лет. Как все должно было измениться за это время! Произошло одно неожиданное и страшное событие; а множество мелких обстоятельств могло привести и к другим переменам, не столь внезапным, но не менее важным. Страх овладел мною. Я боялся ехать дальше, смутно предчувствуя какие-то неведомые беды, которые приводили меня в ужас, хотя я и не сумел бы их назвать.

В этом тяжелом состоянии духа я пробыл два дня в Лозанне. Я смотрел на озеро: воды его были спокойны, все вокруг тихо, и снеговые вершины, эти «дворцы природы», были всё те же. Их безмятежная красота понемногу успокоила меня, и я продолжал свой путь в Женеву.

Дорога шла по берегу озера, которое сужается в окрестностях моего родного города. Я уже различал черные склоны Юры и светлую вершину Монблана. Тут я расплакался, как ребенок. «Милые горы! И ты, мое прекрасное озеро! Вот как вы встречаете странника! Вершины гор безоблачны, небо и озеро синеют так мирно. Что это — обещание покоя или насмешка над моими страданиями?»

Я боюсь, мой друг, наскучить вам описанием всех этих подробностей; но то были еще сравнительно счастливые дни, и мне приятно их вспоминать. О любимая родина!

Кто, кроме твоих детей, поймет, с какой радостью я снова увидел твои потоки и горы, и особенно твое дивное озеро!

Однако, подъезжая к дому, я вновь оказался во власти горя и страха. Спускалась ночь; когда темные горы стали едва различимы, на душе у меня сделалось еще мрачнее. Все окружающее представилось мне огромной и темной ареной зла, и я смутно почувствовал, что мне суждено стать несчастнейшим из смертных. Увы! предчувствия не обманули меня, и только в одном я ошибся: все воображаемые ужасы не составляли и сотой доли того, что мне суждено было испытать на деле.

Когда я подъехал к окрестностям Женевы, уже совсем стемнело. Городские ворота были заперты, и мне пришлось заночевать в Сешероне, деревушке, расположенной в полулье от города. Небо было ясное; я не мог уснуть и решил посетить место, где был убит мой бедный Уильям. Не имея возможности пройти через город, я добрался до Пленпале в лодке, по озеру. Во время этого короткого переезда я увидел, как молнии чертили дивные узоры вокруг вершины Монблана. Гроза быстро приближалась. Причалив, я поднялся на небольшой холм, чтобы ее наблюдать.

Она пришла; тучи заволокли небо; упали первые редкие и крупные капли, а потом хлынул ливень.

Я пошел дальше, хотя тьма и грозовые тучи сгустились, а гром гремел над самой моей головой. Ему вторило эхо Салэв, Юры и Савойских Альп; яркие вспышки молний ослепляли меня, озаряя озеро и превращая его в огромную пелену огня; потом все на миг погружалось в непроглядную тьму, пока глаз не привыкал к ней после слепящего света. Как это часто бывает в Швейцарии, гроза надвинулась со всех сторон сразу. Сильнее всего гремело к северу от города, над той частью озера, что лежит между мысом Бельрив и деревней Копэ. Слабые вспышки молний освещали Юру; а к востоку от озера то скрывалась во тьме, то озарялась острой верха гора Мольт.

Наблюдая грозу, прекрасную и вместе страшную, я быстро шел вперед. Величественная битва, разыгравшаяся в небе, подняла мой дух. Я сжал руки и громко воскликнул: «Уильям, мой ангел! Вот твое погребение, вот похоронный звон по тебе!» В этот миг я различил в темноте фигуру, выступившую из-за ближайших деревьев; я замер, пристально вглядываясь в нее; ошибки быть не могло. Сверкнувшая молния осветила фигуру, и я ясно ее увидел: гигантский рост и немыслимая для обычного человека уродливость го-

ворили, что передо мной был мерзкий дьявол, которому я даровал жизнь. Что он здесь делал? Уж не он ли (я содрогнулся при одной мысли об этом) был убийцей моего брата? Едва эта догадка мелькнула в моей голове, как превратилась в уверенность; ноги у меня подкосились, и я вынужден был прислониться к дереву. Он быстро прошел мимо меня и затерялся во тьме. Никто из людей не способен был загубить прелестного ребенка. Убийцей мог быть только он! Я в этом не сомневался. Самая мысль об этом казалась неоспоримым доказательством.

Я хотел было погнаться за чудовищем; но это было бы напрасно; уже при следующей вспышке молнии я увидел, как он карабкается на почти отвесную скалистую гору Мон Салэв, которая замыкает Пленпале с юга. Скоро он добрался до вершины и исчез.

Я стоял, не двигаясь. Гром стих, но дождь продолжался, и все было окутано тьмой. Я вновь мысленно переживал события, которые так старался забыть: все этапы моего открытия, появление оживленного мной существа у моей постели и его исчезновение. С той ночи, когда я оживил его, прошло почти два года. Быть может, это уже не первое его преступление? Горе мне! Я выпустил в мир чудовище, наслаждавшееся убийством и кровью; разве не он убил моего брата?

Никому не понять, какие муки я претерпел в ту ночь; я провел ее под открытым небом, я промок и озяб. Но я даже не замечал ненастья. Ужас и отчаяние наполняли мою душу. Существо, которое я пустил жить среди людей, наделенное силой и стремлением творить зло, подобное только что содеянному преступлению, представлялось мне моим же собственным злым началом, вампиром, вырвавшимся из гроба, чтобы уничтожить все, что мне дорого.

Рассвело, и я направился в город. Ворота были открыты, и я поспешил к отцовскому дому. Первой моей мыслью было рассказать все, что мне известно об убийце, и немедленно снарядить погоню. Но, вспомнив, о чем мне пришлось бы поведать, я заколебался. Существо, которое я сам сотворил и наделил жизнью, повстречалось мне в полночь среди неприступных гор. Вспомнил я и нервную горячку, которую перенес как раз в то время, когда я его создал, и которая заставит считать горячечным бредом весь мой рассказ, и без того неправдоподобный. Если бы кто-нибудь другой рассказал мне подобную историю, я сам счел бы его за безумца. К тому же чудо-

вище было способно уйти от любой погони, даже если бы родные поверили мне настолько, чтобы предпринять ее. Да и к чему была бы погоня? Кто мог поймать существо, взбиравшееся по отвесным скалам Мон Салэва? Эти соображения убедили меня; и я решил молчать.

Было около пяти утра, когда я вошел в отцовский дом. Я велел слугам никого не будить и прошел в библиотеку, чтобы там дожидаться обычного часа пробуждения семьи.

Прошло шесть лет — они прошли незаметно, как сон, не считая одной непоправимой утраты, — и вот я снова стоял на том самом месте, где в последний раз обнял отца, уезжая в Ингольштадт. Любимый и почтенный родитель! Он еще оставался мне. Я взглянул на портрет матери, стоявший на камине. Эта картина, написанная по заказу отца, изображала плачущую Каролину Бофор на коленях у гроба ее отца. Одежда ее была убога, щеки бледны, но она была исполнена такой красоты и достоинства, что жалость казалась едва ли уместной. Тут же стоял миниатюрный портрет Уильяма; взглянув на него, я залился слезами. В это время вошел Эрнест: он слышал, как я приехал, и поспешил мне навстречу. Он приветствовал меня с грустной радостью.

— Добро пожаловать, милый Виктор, — сказал он. — Ах, еще три месяца назад ты застал бы всех нас счастливыми. Сейчас ты приехал делить с нами безутешное горе. Все же я надеюсь, что твоей поездкой подбодрит отца; он таит на глазах. И ты сумеешь убедить бедную Элизабет не упрекать себя понапрасну. Бедный Уильям! Это был наш любимец и наша гордость.

Слезы покатались из глаз моего брата, а во мне все сжалось от смертельной тоски. Прежде я лишь в воображении видел горе своих домашних; действительность оказалась не менее ужасной. Я попытался успокоить Эрнеста и стал расспрашивать его об отце и о той, которую я называл кузиной.

— Ей больше, чем нам всем, нужны утешения, — сказал Эрнест, — она считает себе причиной гибели брата, и это ее убивает. Но теперь, когда преступник обнаружен...

— Обнаружен? Боже! Возможно ли? Кто мог поймать его? Ведь это все равно, что догнать ветер или соломинкой преградить горный поток. А кроме того, я его видел. Еще этой ночью он был на свободе.

— Не понимаю, о чем ты говоришь, — в недоумении ответил мой брат. — Нас это открытие совсем убило. Сперва никто не хотел верить. Элизабет — та не верит и до сих пор,

несмотря на все улики. Да и кто бы мог подумать, что Жюстина Мориц, такая добрая, преданная нашей семье, могла совершить столь чудовищное преступление?

— Жюстина Мориц? Несчастливая! Так вот кого обвиняют? Но ведь это напраслина, и никто, конечно, этому не верит, не правда ли, Эрнест?

— Сначала не верили; но потом выяснились некоторые обстоятельства, которые поневоле заставляют поверить. Вдобавок к уликам, она ведет себя так странно, что сомнений — увы! — не остается. Сегодня ее судят, и ты все услышишь сам.

Он сообщил мне, что в то утро, когда было обнаружено убийство бедного Уильяма, Жюстина внезапно заболела и несколько дней пролежала в постели. Пока она болела, одна из служанок взяла почистить платье, которое было на ней в ночь убийства, и нашла в кармане миниатюрный портрет моей матери, тот самый, что, по-видимому, соблазнил убийцу. Служанка немедленно показала его другой служанке, а та, ничего не сказав нам, отнесла его судье. На основании этой улики Жюстину взяли под стражу. Когда ей сказали, в чем ее обвиняют, несчастная своим крайним замешательством еще усилила подозрения.

Все это было очень странно, однако не поколебало моей убежденности, и я сказал:

— Вы все ошибаетесь; я знаю, кто убийца. Бедная добрая Жюстина невиновна.

В эту минуту в комнату вошел отец. Горе наложило на него глубокий отпечаток, но он бодрился ради встречи со мной. Грустно поздоровавшись, он хотел было заговорить на постороннюю тему, чтобы не касаться нашего несчастья, но тут Эрнест воскликнул:

— Боже мой, папа! Виктор говорит, что знает, кто убил бедного Уильяма.

— К несчастью, и мы это знаем, — ответил отец. — А лучше бы навеки остаться в неведении, чем обнаружить такую испорченность и неблагодарность в человеке, которого ценил так высоко.

— Милый отец, вы заблуждаетесь. Жюстина невиновна.

— Если так, не дай бог, чтобы ее осудили. Суд будет сегодня, и я искренне надеюсь, что ее оправдают.

Эти слова меня успокоили. Я был твердо убежден, что ни Жюстина, ни кто-либо другой из людей не причастны к этому преступлению. Поэтому я не опасался, что найдутся косвенные улики, достаточно убедительные, чтобы ее осу-

дить. Мои показания нельзя было оглашать; толпа сочла бы этот ужасный рассказ за бред безумца. Кто, кроме меня самого, его создателя, мог поверить, не видя собственными глазами, в это существо, которое я выпустил на свет как живое свидетельство моей самонадеянности и опрометчивости?

Скоро к нам вышла Элизабет. Время изменило ее, с тех пор как я видел ее в последний раз. Оно наделило ее красотой, несравнимой с ее прежней детской прелестью. Та же чистота и та же живость, но при всем том выражение, говорящее и об уме и о чувстве. Она встретила меня с нежной лаской.

— Твой приезд, милый кузен,— сказала она,— вселяет в меня надежду. Быть может, тебе удастся спасти бедную, ни в чем не повинную Жюстину. Если ее считать преступницей, кто из нас застрахован от такого же обвинения? Я убеждена в ее невинности, как в своей собственной. Наше несчастье тяжело нам вдвойне; мы не только потеряли нашего милого мальчика, но теряем и эту бедняжку, которую я искренне люблю и которой предстоит, пожалуй, еще худшая участь. Если ее осудят, мне никогда не знать больше радости. Но нет, я уверена, что этого не будет. И тогда я снова буду счастлива, даже после смерти моего маленького Уильяма.

— Она невиновна, Элизабет,— сказал я,— и это будет доказано. Не бойся ничего, бодрись и верь, что ее оправдают.

— Как ты великодушен и добр! Все поверили в ее виновность, и это меня терзает; ведь я-то знаю, что этого не может быть; но когда видишь, как все прёдубеждены против нее, можно прийти в отчаяние.

Она заплакала.

— Милая племянница,— сказал отец,— осуши свои слезы. Если она непричастна к убийству, положиись на справедливость наших законов, а уж я постараюсь, чтобы ее судили без малейшего пристрастия.

Глава VIII

Мы провели несколько печальных часов; в одиннадцать был назначен суд. Так как отец и остальные члены семьи должны были присутствовать на нем как свидетели, а вы-

звался сопровождать их. Пока длился этот фарс правосудия, я испытывал нестерпимые муки. В результате моего любопытства и недозволенных опытов оказывались приговоренными к смерти два человеческих существа; один из них был невинный, смеющийся ребенок; другого ожидала еще более ужасная смерть, сопряженная с позором и вечным клеймом злодеяния. Жюстина была достойной девушкой, все сулило ей счастливую жизнь, а ее предадут позорной смерти — и виною этому буду я! Я тысячу раз предпочел бы сам взять на себя преступление, приписываемое Жюстине, но меня не было, когда оно совершилось; мое заявление было бы сочтено бредом безумного и не спасло бы ту, которая пострадала из-за меня.

Жюстина держалась достойно. Она была в трауре; ее лицо, вообще привлекательное, под влиянием скорби приобрело особую красоту. Она сохраняла спокойствие невинности и не дрожала, хотя тысячи глаз смотрели на нее с ненавистью; сочувствие, которое ее красота могла бы вызвать у присутствующих, пропадало при мысли о кошмарном преступлении, которое ей приписывали. Она была спокойна, но спокойствие явно стоило ей труда. Так как ее смятение с самого начала посчитали за доказательство вины, она старалась сохранить хотя бы подобие мужества. Войдя в зал суда, она окинула его взглядом и сразу же увидела нас. Слезы затуманили ей глаза, но она быстро овладела собой и посмотрела на нас с любовью и грустью, говорившими о ее невинности.

Суд начался; после речи обвинителя, который сформулировал обвинение, выступило несколько свидетелей. Странное стечение обстоятельств, говоривших против нее, поразило бы каждого, кто не имел, подобно мне, бесспорных доказательств ее непричастности. В ночь убийства она оказалась вне дома, а утром какая-то рыночная торговка видела ее недалеко от того места, где было позже обнаружено тело убитого ребенка. Женщина спросила ее, что она тут делает; но она как-то странно посмотрела на нее и пробормотала что-то невнятное. Домой она возвратилась около восьми часов и на вопрос, где она провела ночь, ответила, что ходила искать ребенка, а потом с тревогой спросила, нашелся ли он. Когда ей показали труп, с ней случился сильнейший истерический припадок, и она на несколько дней слегла в постель.

Теперь ей показали миниатюру, найденную служанкой в кармане ее платья; и когда Элизабет дрожащим голосом опознала в ней ту самую, которую она надела на шею ребенка за час до его исчезновения, по залу пронесся ропот негодования и ужаса.

Жюстину спросили, что она может сказать в свое оправдание. Пока шло разбирательство, она заметно переменилась. Теперь ее лицо выражало изумление и ужас. Временами она с трудом удерживалась от слез; но когда ей дали слово, она собрала все силы и заговорила внятно, хотя и срывающимся голосом.

— Видит бог,— сказала она,— я ни в чем не виновата; но я понимаю, что одних лишь моих заверений мало. Я хочу дать простое объяснение фактам, которые свидетельствуют против меня. Может быть, судьи, зная мою прежнюю жизнь, благожелательно истолкуют все, что сейчас кажется им подозрительным или странным.

Она рассказала, что с разрешения Элизабет провела вечер накануне убийства в доме своей тетки, в деревне Шэн, поблизости от Женевы. Возвращаясь оттуда около девяти часов, она встретила человека, спросившего у нее, не видела ли она пропавшего ребенка. Это ее очень встревожило, и она несколько часов искала его, а там городские ворота оказались закрытыми на ночь, и остаток ночи ей пришлось провести в сарае, возле одного дома, где ее хорошо знали; но будить хозяев она постеснялась. Она почти не спала и только к утру, как видно, ненадолго уснула. Ее разбудили чьи-то шаги. Уже рассвело, и она вышла из своего убежища и снова принялась за поиски. Если она при этом оказалась вблизи места, где потом нашли тело, то это вышло случайно. Когда проходившая мимо торговка обратилась к ней с вопросами, она, должно быть, действительно казалась растерянной, но причиной была бессонная ночь и тревога за бедного Уильяма. О миниатюре она ничего сказать не могла.

— Я знаю,— продолжала несчастная,— что эта улика является для меня роковой, но объяснить ничего не сумею; могу только гадать, как она попала ко мне в карман. Но и тут я теряюсь. Насколько я знаю, врагов у меня нет; не может же быть, чтобы кто-нибудь захотел погубить меня просто так, из прихоти. Быть может, мне подбросил ее убийца? Но когда он успел это сделать? А если это он, зачем ему

было похищать драгоценность, чтобы тут же с нею расстаться?

Я предаю себя в руки судей, хотя ни на что не надеюсь. Если можно, пусть опросят свидетелей, которые могли бы дать обо мне отзыв; если и после их показаний вы сочтете меня способной на такое злодейство, пусть меня судят; но, клянусь спасением души, я невиновна.

Опросили нескольких свидетелей, знавших ее много лет; и они отозвались о ней хорошо, но выступали робко и неохотно, — вероятно, из отвращения к ее предполагаемому преступлению. Видя, что последняя надежда обвиняемой — ее безупречная репутация — готова рухнуть, Элизабет, несмотря на крайнее волнение, попросила слова.

— Я прихожусь родственницей несчастному ребенку, — сказала она, — почти сестрой, ибо выросла в доме его родителей и жила там с самого его рождения и даже раньше. Могут возразить поэтому, что мне не пристало тут выступать. Но я вижу, что человек может погибнуть из-за трусости своих мнимых друзей. Позвольте же мне выступить и сказать, что мне известно о подсудимой. Я хорошо ее знаю. Я прожила с ней под одной кровлей пять лет подряд, а потом еще около двух лет. Все это время она казалась мне на редкость кротким и добрым созданием. Она ходила за моей теткой, госпожой Франкенштейн, до самой ее смерти, с величайшей заботливостью и любовью; а потом ухаживала за своей матерью, которая болела долго и тяжело; и это тоже она делала так, что вызывала восхищение всех, ее знавших. После этого она снова жила в доме моего дяди, где ее все любили. Она была очень привязана к погибшему ребенку и относилась к нему, как самая нежная мать. Я, не колеблясь, заявляю, что, несмотря на все улики против нее, я твердо верю в ее невинность. У нее не было никаких мотивов для преступления; а что касается вещицы, которая оказалась главной уликой, я охотно отдала бы ее ей, стоило ей пожелать, — так высоко я ее ценю и уважаю.

Простая и убедительная речь Элизабет вызвала шепот одобрения; однако одобрение относилось к ее великодушному заступничеству, но отнюдь не к бедной Жюстине, которую все возненавидели еще сильнее за такую черную неблагодарность. Во время речи Элизабет она плакала, но ни-

чего не ответила. Сам я все время испытывал невыразимые муки. Я верил в невиновность подсудимой; я знал о ней. Неужели же дьявол, убивший моего брата (что это он, я ни минуты не сомневался), продлил свою адскую забаву и обрек несчастную позорной смерти? Я не в силах был долее выносить ужас моего положения; видя, что общее мнение уже осудило мою несчастную жертву и что к этому склоняются и судьи, я в отчаянии выбежал из зала суда. Я страдал больше самой обвиняемой — ее поддерживало сознание невиновности, меня же безжалостно терзали угрызения совести.

Я промучился всю ночь. Утром я направился в суд; в горле и во рту у меня пересохло. Я не решался задать роковой вопрос; но меня там знали, и судейские догадались о цели моего прихода. Да, голосование уже состоялось; Жюстину единогласно осудили на смерть.

Не сумею описать, что я тогда испытал. Чувство ужаса было мне знакомо и прежде, и я пытался найти слова, чтобы его описать; но никакими словами нельзя передать моего тогдашнего безысходного отчаяния. Судейский чиновник, к которому я обратился, добавил, что Жюстина созналась в своем преступлении. «Это подтверждение,— заметил он,— едва ли требовалось, ведь дело и без того ясно; но все же я рад; никто из наших судей не любит выносить приговор на основании одних лишь косвенных улик, как бы они ни были вески».

Это сообщение было неожиданно и странно: что же все это значит? Неужели мои глаза обманули меня? Или я и впрямь был тем безумцем, каким все сочли бы меня, если бы я объявил вслух, кого я подозреваю? Я поспешил домой; Элизабет с нетерпением ждала известий.

— Кузина,— сказал я,— все решилось именно так, как ты ожидала; судьи всегда предпочитают осудить десять невинных, лишь бы не помиловать одного виновного. Но она — сама созналась.

Это было жестоким ударом для бедной Элизабет, твердо верившей в невиновность Жюстины. «Увы,— сказала она,— как теперь верить добру в людях? Жюстина, которую я любила, как сестру, как могла она носить личину невинности? Ее кроткий взгляд выражал одну доброту, а она оказалась убийцей».

Скоро мы услышали, что несчастная просит свидания с моей кузиной. Отец не хотел отпускать ее, однако предоста-

вил решение ей самой. «Да,— сказала Элизабет,— я пойду, хоть она и виновна. Но и ты пойдешь со мной, Виктор. Одна я не могу». Мысль об этом свидании была для меня мучительна, но отказаться было нельзя.

Войдя в мрачную тюремную камеру, мы увидели Жюстину, сидевшую в дальнем углу на соломе; руки ее были скованы, голова низко опущена. При виде нас она встала, а когда нас оставили с нею наедине, она упала к ногам Элизабет, горько рыдая. Заплакала и моя кузина.

— Ах, Жюстина,— сказала она,— зачем ты лишила меня последнего утешения? Я верила в твою невиновность, и, хотя очень горевала, мне все-таки было легче, чем сейчас.

— Неужели и вы считаете меня такой злодейкой? Неужели и вы, заодно с моими врагами, клеймите меня как убийцу? — Голос ее прервался рыданиями.

— Встань, моя бедная,— сказала Элизабет,— зачем ты стоишь на коленях, если ты невиновна? Я тебе не враг. Я верила в твою невиновность, несмотря на все улики, пока не услышала, что ты сама во всем созналась. Значит, это ложный слух; поверь, милая Жюстина, ничто не может поколебать мою веру в тебя, кроме твоего собственного признания.

— Я действительно созналась, но только это неправда. Я созналась, чтобы получить отпущение грехов, а теперь эта ложь тяготит меня больше, чем все мои грехи. Да простит мне господь! После того как меня осудили, священник не отставал от меня. Он так страшно грозил мне, что я и сама начала считать себя чудовищем, каким он меня называл. Он грозился перед смертью отлучить меня от церкви и обречь адскому огню, если я стану запираяться. Милая госпожа, ведь я здесь одна; все считают меня злодейкой, погубившей свою душу. Что же мне оставалось делать? В недобрый час я согласилась подтвердить ложь; с этого и начались мои мучения.

Она умолкла и заплакала, а потом добавила: «Страшно было думать, добрая моя госпожа, что вы поверите этому, что будете считать вашу Жюстину, которую вы любили, которую так обласкала ваша тетушка, способной на преступление, какое мог совершить разве что сам дьявол. Милый Уильям! Милый мой крошка! Скоро я свижусь с тобой на небесах, а там мы все будем счастливы. Этим я утешаюсь, хоть и осуждена на позорную казнь».

— О Жюстина! Прости, что я хоть на миг усомнилась в тебе. Напрасно ты созналась. Но не горюй, моя хорошая. И не бойся. Я всем скажу о твоей невинности, я докажу ее. Слезами и мольбами я смягчу каменные сердца твоих врагов. Ты не умрешь! Ты, подруга моего детства, моя сестра, и погибнешь на эшафоте? Нет, нет, я не переживу такого горя.

Жюстина печально покачала головой.

— Смерти я не боюсь,— сказала она,— этот страх уже позади. Господь сжалится над моей слабостью и пошлет мне силы все претерпеть. Я уйду из этой горькой жизни. Если вы будете помнить меня и знать, что я пострадала безвинно, я примирюсь со своей судьбой. Милая госпожа, мы должны покоряться божьей воле.

Во время их беседы я отошел в угол камеры, чтобы скрыть терзавшие меня муки. Отчаяние! Что вы знаете о нем? Даже несчастная жертва, которой завтра предстояло перейти страшный рубеж жизни и смерти, не чувствовала того, что я,— такого глубокого и безысходного ужаса. Я закричал зубами, я стиснул их, и у меня вырвался стон, исходивший из самой глубины души. Жюстина вздрогнула, услышав его. Узнав меня, она подошла ко мне и сказала: «Вы очень добры, что навестили меня, сэр. Ведь вы не считаете меня убийцей?»

Я не в силах был отвечать.

— Нет, Жюстина,— сказала Элизабет,— он больше верил в тебя, чем я; даже услышав, что ты созналась, он этому не поверил.

— Спасибо ему от души. В мой смертный час я благодарю всех, кто хорошо обо мне думает. Ведь для таких несчастных, как я, нет ничего дороже. От этого становится вдвое легче. Вы и ваш кузен, милая госпожа, признали мою невинность — теперь можно умереть спокойно.

Так бедная страдальца старалась утешить других и самое себя. Она достигла желанного умиротворения. А я, истинный убийца, носил в груди грызущего червя, и не было для меня ни надежды, ни утешения. Элизабет тоже горевала и плакала; но и это были невинные слезы, горе, подобное тучке на светлом лике луны, которая затмевает его, но не пятнает. У меня же отчаяние проникло в самую глубину души; во мне горел адский пламень, который ничто не могло загасить. Мы пробыли с Жюстиной несколько часов; Элизабет была не в силах расстаться с ней. «Я желала бы уме-

реть с тобой! — воскликнула она. — Как жить в этом мире страданий?»

Жюстина старалась бодриться, но с трудом удерживала горькие слезы. Она обняла Элизабет и сказала голосом, в котором звучало подавляемое волнение: «Прощайте, милая госпожа, дорогая Элизабет, мой единственный и любимый друг. Да благословит вас милосердный господь. Пусть это будет вашим последним горем! Живите, будьте счастливы и делайте счастливыми других».

На следующий день Жюстина рассталась с жизнью. Пылкое красноречие Элизабет не смогло поколебать твердого убеждения судей в виновности бедной страдальцы. Не вняли они и моим страстным и негодующим уверениям. Когда я услышал их холодный ответ, их бесчувственные рассуждения, признание, уже готовое было вырваться, замерло у меня на губах. Я только сошел бы у них за безумца, но не добился бы отмены приговора, вынесенного моей несчастной жертве. Она погибла на эшафоте, как убийца!

Терзаясь сам, я видел и глубокое, безмолвное горе моей Элизабет. И это тоже из-за меня! Горе отца, траур в недавно счастливой семье — все было делом моих трижды проклятых рук! Вы плачете, несчастные, но это еще не последние ваши слезы! Снова и снова будут раздаваться здесь надгробные рыдания! Франкенштейн, ваш сын, ваш брат и некогда любимый вами друг, кто ради вас готов отдать по капле всю свою кровь, кто не мыслит себе радости, если она не отражается в ваших любимых глазах, кто желал бы одарить вас всеми благами и служить вам всю жизнь, — это он заставляет вас рыдать — проливать бесконечные слезы; и не смеет даже надеяться, что неумолимый рок насытится этим и разрушение остановится прежде, чем вы обретете в могиле покой и избавление от страданий!

Так говорил во мне пророческий голос, когда, терзаемый муками совести, ужасом и отчаянием, я видел, как мои близкие горюют на могилах Уильяма и Жюстины, первых жертв моих проклятых опытов.

Глава IX

Ничто так не тяготит нас, как наступающий вслед за бурей страшных событий мертвый покой бездействия — та ясность, где уже нет места ни страху, ни надежде. Жюстина

умерла; она обрела покой; а я жил. Кровь свободно струилась в моих жилах, но сердце было сдавлено тоской и раскаянием, которых ничто не могло облегчить. Сон бежал от меня, я бродил точно злой дух, ибо действительно свершил неслыханные злодеяния, и еще больше, гораздо больше (в этом я был уверен) предстояло мне впереди. А между тем душа моя была полна любви и стремления к добру. Я вступил в жизнь с высокими помыслами, я жаждал осуществить их и приносить пользу ближним. Теперь все рухнуло; утратив спокойную совесть, позволявшую мне удовлетворенно оглядываться на прошлое и с надеждой смотреть вперед, я терзался раскаянием и сознанием вины, я был ввергнут в ад страданий, которых не выразить словами.

Это состояние духа расшатывало мое здоровье, еще не вполне восстановившееся после того, первого удара. Я избегал людей; все, что говорило о радости и довольстве, было для меня мукой; моим единственным прибежищем было одиночество — глубокое, мрачное, подобное смерти.

Отец мой с болью наблюдал происшедшие во мне перемены и с помощью доводов, подсказанных чистой совестью и праведной жизнью, пытался внушить мне стойкость и мужество и развеять нависшую надо мной мрачную тучу. «Неужели ты думаешь, Виктор, — сказал он однажды, — что мне легче, чем тебе? Никто не любил свое дитя больше, чем я любил твоего брата (тут на глаза его навернулись слезы), но разве у нас нет долга перед живыми? Разве не должны мы сдерживаться, чтобы не усугублять их горя? Это вместе с тем и твой долг перед самим собой, ибо чрезмерная скорбь мешает самосовершенствованию и даже выполнению повседневных обязанностей, а без этого человек не пригоден для жизни в обществе».

Эти советы, пускай и разумные, были совершенно бесполезны для меня; я первый поспешил бы скрыть свое горе и утешать близких, если бы к моим чувствам не примешивались горькие укоры совести и страх перед будущим. Я мог отвечать отцу только взглядом, полным отчаяния, и старался скрыться с его глаз.

К тому времени мы переехали в наш загородный дом в Бельрив. Это было для меня очень кстати. Пребывание в Женеве тяготило меня, ибо ровно в десять городских воро-

та запирались и оставаться на озере после этого было нельзя. Теперь я был свободен. Часто, когда вся семья отходила ко сну, я брал лодку и проводил на воде долгие часы. Иногда я ставил парус и плыл по ветру; иногда выгребал на середину озера и пускал лодку по воле волн, а сам предавался горестным думам. Много раз, когда все вокруг дышало неземной красотой и покоем и его нарушал один лишь я, не считая летучих мышей и лягушек, слыло квакавших возле берега, много раз мне хотелось погрузиться в тихое озеро и навеки укрыть в его водах свое горе. Но меня удерживала мысль о мужественной и страдающей Элизабет, которую я так нежно любил, для которой я так много значил. Я думал также об отце и втором брате; не мог же я подло покинуть их, беззащитных, оставив во власти злобного дьявола, которого сам на них напустил.

В такие минуты я горько плакал и молил бога вернуть мне душевный покой хотя бы для того, чтобы служить им опорой и утешением. Но это было недостижимо. Угрызения совести убивали во мне надежду. Я уже причинил непоправимое зло и жил в постоянном страхе, как бы созданный мною урод не сотворил нового злодеяния. Я смутно предчувствовал, что это еще не конец, что он совершит кошмарное преступление, перед которым померкнут прежние. Пока оставалось в живых хоть одно любимое мной существо, мне было чего страшиться. Моя ненависть к чудовищу не поддается описанию. При мысли о нем я скрежетал зубами, глаза мои горели, и я жаждал отнять у него жизнь, которую даровал ему так бездумно. Вспоминая его злобность и свершенные им злодеяния, я доходил до исступления в своей жажде мести. Я взобрался бы на высочайшую вершину Андов, если б мог низвергнуть его оттуда. Я хотел увидеть его, чтобы обрушить на него всю силу своей ненависти и отомстить за гибель Уильяма и Жюстины.

В нашем доме поселилась скорбь. Силы моего отца были подорваны всем пережитым. Элизабет погрузилась в печаль; она уже не находила радости в домашних делах; ей казалось, что всякое развлечение оскорбляет память мертвых; что невинно погибших подобает чтить слезами и вечным трудом. Это не была уже прежняя счастливая девочка, которая некогда бродила со мной по берегам озера, предаваясь мечтам о нашем будущем. Первое большое горе — из тех, что ниспосылаются нам,

чтобы отлучить от земного,— уже посетило ее, и его мрачная тень погасила ее улыбку.

— Когда я думаю о страшной смерти Жюстины Морриц,— говорила она,— я уже не могу смотреть на мир, как смотрела раньше. Все, что я читала или слышала о пороках или преступлениях, прежде казалось мне вымыслом и небылицей, во всяком случае, чем-то далеким и отвлеченным, а теперь беда пришла к нам в дом, и люди представляются мне чудовищами, жаждущими крови друг друга. Конечно, это несправедливо. Все искренне верили в виновность бедной девушки, а если бы она действительно совершила преступление, за которое была казнена, то была бы гнуснейшей из злодеек. Ради нескольких драгоценных камней убить сына своих благодетелей и друзей, ребенка, которого она нянчила с самого рождения и, казалось, любила, как своего! Я никому не желаю смерти, но подобное существо я не считала бы возможным оставить жить среди людей. Только ведь она-то была невинна. Я это знаю, я это чувствую, и ты тоже, и это еще укрепляет мою уверенность. Увы, Виктор, если ложь может так походить на правду, кто может поверить в счастье? Я словно ступаю по краю пропасти, а огромная толпа напирает, хочет столкнуть меня вниз. Уильям и Жюстина погибли, а убийца остался безнаказанным; он на свободе и, быть может, пользуется общим уважением. Но будь я даже приговорена к смерти за подобное преступление, я не поменялась бы местами с этим злодеем.

Я слушал эти речи и терзался. Ведь истинным убийцей — если не прямо, то косвенно — был я. Элизабет увидела муку, выразившуюся на моем лице, и, нежно взяв меня за руку, сказала:

— Успокойся, милый. Бог видит, как глубоко я горюю, но я не так несчастна, как ты. На твоем лице я читаю отчаяние, а порой — мстительную злобу, которая меня пугает. Милый Виктор, гони прочь эти злые страсти. Помни о близких; ведь вся их надежда на тебя. Неужели мы не сумеем развеять твою тоску? Пока мы любим — пока мы верны друг другу, здесь, в стране красоты и покоя, твоим родном краю, нам доступны все мирные радости жизни, и что может нарушить наш покой?

Но даже эти слова из уст той, кто был для меня драго-

ценнейшим из даров судьбы, не могли прогнать отчаяние, владевшее моим сердцем. Слушая ее, я придвинулся к ней поближе, словно боясь, что в эту самую минуту злобный бес отнимет ее у меня.

Итак, ни радости дружбы, ни красоты земли и неба не могли исхитить мою душу из мрака, и даже слова любви оказывались бессильны. Меня обволокла туча, непроницаемая для благих влияний. Я был подобен раненому оленю, который уходит в заросли и там испускает дух, созерцая пронзившую его стрелу.

Иногда мне удавалось побеждать приступы угрюмого отчаянья; но бывало, что бушевавшая во мне буря побуждала меня искать облегчения мук в физических движениях и перемене мест. Во время одного из таких приступов я внезапно покинул дом и направился в соседние альпийские долины, чтобы созерцанием их вечного величия заставить себя забыть преходящие человеческие несчастья. Я решил добраться до Шамуни. Мальчиком я бывал там не раз. С тех пор прошло шесть лет; ничто не изменилось в этих суровых пейзажах — а что случилось *со мной*?

Первую половину пути я проделал верхом на лошади, а затем нанял мула, куда более выносливого и надежного на крутых горных тропах. Погода стояла отличная; была середина августа; прошло уже почти два месяца после казни Жюстины — после черных дней, с которых начались мои страдания. Угнетавшая меня тяжесть стала как будто легче, когда я углубился в ущелье Арвэ. Гигантские отвесные горы, теснившиеся вокруг, шум реки, бешено мчавшейся по камням, грохот водопадов — все говорило о могуществе всевышнего, и я забывал страх, я не хотел трепетать перед кем бы то ни было, кроме всемогущего создателя и властелина стихий, представавших здесь во всем их грозном величии. Чем выше я подымался, тем прекраснее становилась долина. Развалины замков на кручах, поросших сосной; бурная Арвэ; хижины, там и сям видные меж деревьев, — все это составляло зрелище редкой красоты. Но подлинное величие придавали ему могучие Альпы, чьи сверкающие белые пирамиды и купола возвышались над всем, точно видение иного мира, обитель неведомых нам существ.

Я переехал по мосту в Пелисье, где мне открылся вид

на прорытое рекою ущелье, и стал подыматься на гору, которая над ним нависает. Вскоре я вступил в долину Шамуни. Эта долина еще величавее, хотя менее живописна, чем долина Серво, которую я только что миновал. Ее тесно окружили высокие снежные горы; но здесь уже не увидишь старинных замков и плодородных полей. Исполинские ледники подступали к самой дороге; я слышал глухой грохот снежных обвалов и видел тучи белой пыли, которая вздымается вслед за ними. Среди окружающих *aiguilles*¹ высился царственный и великолепный Монблан; его исполинский купол господствовал над долиной.

Во время этой поездки меня не раз охватывало давно не испытанное чувство радости. Какой-нибудь поворот дороги, какой-нибудь новый предмет, внезапно оказывающийся знакомым, напоминали о прошедших днях, о беспечных радостях детства. Самый ветер нашептывал мне что-то утешительное, и природа с материнскою лаской уговаривала больше не плакать. Но внезапно очарование рассеивалось, я вновь ощущал цепи своей тоски и предавался мучительным размышлениям. Тогда я прищипывал мула, словно желая ускакать от всего мира, от своего страха и от себя самого — или спешивался и в отчаянии бросался ничком в траву, подавленный ужасом и тоской.

Наконец я добрался до деревни Шамуни. Здесь дало себя знать крайнее телесное и душевное утомление, испытанное в пути. Некоторое время я просидел у окна, наблюдая бледные зарницы, полыхавшие над Монбланом, и слушая рокот Арвэ, продолжавшей внизу свой шумный путь. Эти звуки, точно колыбельная песнь, убаюкали мою тревогу: сон подкрался ко мне, едва я опустил голову на подушку; я ощутил его приход и благословил дарителя забвения.

Глава X

Весь следующий день я бродил по долине. Я постоял у истоков Арвейрона, берущего начало от ледника, который медленно сползает с вершин, перегораживая долину. Передо

¹ пиков (фр.)

мною высились крутые склоны гигантских гор; над головой нависала ледяная стена глетчера; вокруг были разбросаны обломки поверженных им сосен. Торжественное безмолвие этих тронных зал Природы нарушалось лишь шумом потока, а по временам — падением камня, грохотом снежной лавины или гулким треском скопившихся льдов, которые, подчиняясь каким-либо особым законам, время от времени ломаются, точно хрупкие игрушки. Это великолепное зрелище давало мне величайшее утешение, какое я способен был воспринять. Оно подымало меня над мелкими чувствами, и если не могло развеять моего горя, то хотя бы умеряло и смягчало его. Оно отчасти отвлекало меня от мыслей, терзавших меня весь последний месяц. Когда я в ту ночь ложился спать, меня провожали ко сну все величавые образы, которые я созерцал днем. Все они сошлись у моего изголовья: и непорочные снежные вершины, и сверкающие льдом пики, и сосны, и скалистый каньон — все они окружили меня и сулили покой.

Но куда же они скрылись при моем пробуждении? Вместе со сном бежали прочь все восхитившие меня видения, и мою душу заволокло черной тоской. Дождь лил ручьями, вершины гор утонули в густом тумане, и я не мог уже видеть своих могучих друзей. Но я готов был проникнуть сквозь завесу тумана в их заоблачное уединение. Что мне дождь и ненастье? Мне привели моего мула, и я решил подняться на вершину Монтанвер. Я помнил, какое впечатление произвела на меня первая встреча с исполинским, вечно движущимся ледником. Она наполнила меня окрыляющим восторгом, вознесла мою душу из тьмы к свету и радости. Созерцание всего могучего и великого в природе всегда настраивало меня торжественно, заставляя забывать преходящие жизненные заботы. Я решил совершить восхождение без проводника, ибо хорошо знал дорогу, а присутствие постороннего только нарушило бы мрачное величие этих пустынных мест.

Склон горы очень крут, но тропа вьется спиралью, помогая одолеть крутизну. Кругом расстилается безлюдная и дикая местность. На каждом шагу встречаются следы зимних лавин: поверженные на землю деревья, то совсем расщепленные, то согнутые, опрокинутые на выступы скал или поваленные друг на друга. По мере восхождения тропа все чаще пересекается заснеженными промоинами, по которым

то и дело скатываются камни. Особенно опасна одна из них: достаточно малейшего сотрясения воздуха, одного громко произнесенного слова, чтобы обрушить гибель на говорящего. Сосны не отличаются здесь стройностью или пышностью; их мрачные силуэты еще больше подчеркивают суровость ландшафта. Я взглянул вниз, в долину; над потоком подымался туман; клубы его плотно окутывали соседние горы, скрывшие свои вершины в тучах; с темного неба лил дождь, завершал общее мрачное впечатление. Увы! почему человек так гордится чувствами возвышающими его над животными? Они лишь умножают число наших нужд. Если бы наши чувства ограничивались голодом, жаждой и похотью, мы были бы почти свободны; а сейчас мы подвластны каждому дуновению ветра, каждому случайному слову или воспоминанию, которое это слово в нас вызывает.

Мы можем спать — и мучиться во сне,
Мы можем встать — и пустяком терзаться,
Мы можем тосковать наедине,
Махнуть на все рукою, развлекаться,—

Всего проходит краткая пора,
И все возьмет таинственная чаша;
Сегодня не похоже на вчера,
И лишь Изменчивость непреходяща¹

Время близилось к полудню, когда я достиг вершины. Я немного посидел на скале, нависшей над ледяным морем. Как и окрестные горы, оно тоже тонуло в тумане. Но вскоре ветер рассеял туман, и я спустился на поверхность глетчера. Она очень неровна, подобна волнам неспокойного моря и прорезана глубокими трещинами; ширина ледяного поля составляет около лье, но чтобы пересечь его, мне потребовалось почти два часа. На другом его краю гора обрывается отвесной стеной. Монтанвер теперь был напротив меня, в расстоянии одного лье, а над ним величаво возвышался Монблан. Я остановился в углублении скалы, любуясь несравненным видом. Ледяное море, вернее, широкая река вилась между гор; их светлые вершины нависали над ледяными заливами. Сверкающие снежные пики, выступая из облаков, горели в лучах солнца. Мое сердце, так долго страдавшее, ощутило нечто похожее на радость.

¹ Перевод К. Чемены.

Я воскликнул: «О души умерших! Если вы витаете здесь, а не покоитесь в тесных гробах, дайте мне вкусить это подобие счастья или возьмите с собой, унесите от всех радостей жизни!»

В этот миг я увидел человека, приближавшегося ко мне с удивительной быстротой. Он перепрыгивал через трещины во льду, среди которых мне пришлось пробираться так осторожно; рост его вблизи оказался выше обычного человеческого роста. Я ощутил внезапную слабость, и в глазах у меня потемнело; но холодный горный ветер быстро привел меня в чувство. Когда человек приблизился, я узнал в нем (о, ненавистное зрелище!) сотворенного мной негодяя. Я задрожал от ярости, решив дождаться его и схватиться с ним насмерть. Он приблизился; его лицо выражало горькую муку и вместе с тем злобное презрение; при его сверхъестественной уродливости это было зрелище почти невыносимое для человеческих глаз. Но я едва заметил это; ненависть и ярость сперва лишили меня языка; придя в себя, я обрушил на него поток гневных и презрительных слов.

— Дьявол! — вскричал я. — Как смеешь ты приближаться ко мне? Как не боишься моего мщения? Прочь, гнусная тварь! Или нет, постой, я сейчас растопчу тебя в прах! О, если б я мог, отняв твою ненавистную жизнь, воскресить этим несчастных, которых ты умертвил с такой адской жестокостью!

— Я ждал такого приема, — сказал демон. — Людям свойственно ненавидеть несчастных. Как же должен быть ненавидим я, который несчастнее всех живущих! Даже ты, мой создатель, ненавидишь и отталкиваешь меня, свое творение, а ведь ты связан со мной узами, которые может расторгнуть только смерть одного из нас. Ты намерен убить меня. Но как смеешь ты так играть жизнью? Исполни свой долг в отношении меня, тогда и я исполню свой — перед тобою и человечеством. Если ты примешь мои условия, я оставлю всех вас в покое, если же откажешься, я всласть напою смерть кровью всех твоих оставшихся близких.

— Ненавистное чудовище! Дьявол во плоти! Муки ада недостаточны, чтобы искупить твои злодеяния. Проклятый! И ты еще упрекаешь меня за то, что я тебя создал? Так подойди же ко мне, и я погашу искру жизни, которую зажег так необдуманно.

Гнев мой был беспределен; я ринулся на него, обуреваемый всеми чувствами, какие могут заставить одно живое существо жаждать смерти другого.

Он легко уклонился от моего удара и сказал:

— Успокойся! Заклинаю тебя, выслушай, прежде чем обрушивать свой гнев на мою несчастную голову. Неужели я мало выстрадал, что ты хочешь прибавить к моим мукам новые? Жизнь, пускай полная страданий, все же дорога мне, и я буду ее защищать. Не забудь, что ты наделил меня силой, превосходящей твою; я выше ростом и гибче в суставах. Но я не стану с тобой бороться. Я — твоё создание и готов покорно служить своему господину, если и ты выполнишь свой долг передо мною. О Франкенштейн, неужели ты будешь справедлив ко всем, исключая лишь меня одного, который более всех имеет право на твою справедливость и даже ласку? Вспомни, ведь ты создал меня. Я должен был бы быть твоим Адамом, а стал падшим ангелом, которого ты безвинно отлучил от всякой радости. Я повсюду вижу счастье, и только мне оно не досталось. Я был кроток и добр; несчастья превратили меня в злобного демона. Сделай меня счастливым, и я снова буду добродетелен.

— Прочь! Я не хочу тебя слушать. Общение между нами невозможно; мы — враги. Прочь! Или давай померяемся силами в схватке, в которой один из нас должен погибнуть.

— Как мне тронуть твоё сердце? Неужели никакие мольбы не заставят тебя благосклонно взглянуть на твоё создание, которое молит о жалости? Поверь, Франкенштейн, я был добр; душа моя горела любовью к людям; но ведь я одинок, одинок безмерно! Даже у тебя, моего создателя, я вызываю одно отвращение; чего же мне ждать от других людей, которые мне ничем не обязаны? Они меня гонят и ненавидят. Я нахожу убежище в пустынных горах, на угрюмых ледниках. Я брожу здесь уже много дней; ледяные пещеры, которые не страшны только мне, служат мне домом — единственным, откуда люди не могут меня изгнать. Я радуюсь этому мрачному небу, ибо оно добрее ко мне, чем твои братья-люди. Если бы большинство их знало о моем существовании, они поступили бы так же, как ты, и попытались уничтожить меня вооруженной рукой. Не мудрено, что я ненавижу тех, кому так ненавистен. Я не пойду на сделку с врагами. Раз я несчастен, пусть и они страдают. А между

тем ты мог бы осчастливить меня и этим спасти их от бед — и каких бед! От тебя одного зависит, чтобы не только твои близкие, но тысячи других не погибли в водовороте моей ярости. Сжался надо мной и не гони меня прочь. Выслушай мою повесть; а тогда пожалей или оттолкни, если рассудишь, что я заслужил это. Даже по людским законам, как они ни жестоки, преступнику дают сказать слово в свою защиту, прежде чем осудить его. Выслушай же меня, Франкенштейн. Ты обвиняешь меня в убийстве, а сам со спокойной совестью готов убить тобою же созданное существо. Вот она, хваленая справедливость людей! Но я не прошу пощадить меня, а только выслушать. Потом, если сможешь, уничтожь творение собственных рук.

— Зачем, — сказал я, — напоминать мне события, злополучным виновником которых я признаю себя с содроганием? Да будет проклят день, когда ты впервые увидел свет, гнусное чудовище! И прокляты руки, создавшие тебя, пусть это были мои собственные! Ты причинил мне безмерное горе. Я уже не в силах решать, справедливо ли я с тобой поступаю. Поди прочь! Избавь меня от твоего ненавистного вида.

— Вот как я тебя избавлю от него, мой создатель, — сказал он, заслоняя мне глаза своими отвратительными руками, которые я тотчас же гневно оттолкнул. — И все же ты можешь выслушать и пожалеть меня. Прошу тебя об этом во имя добродетелей, которыми я некогда обладал. Выслушай мой рассказ; он будет долг и необычен, а здешний холод опасен для твоего хрупкого организма. Пойдем укроемся в горной хижине. Солнце еще высоко в небе; прежде чем оно опустится за те снежные вершины и осветит иные страны, ты все узнаешь, а тогда и рассудишь. От тебя зависит решить: удалиться ли мне навсегда от людей и никому не делать вреда или же сделаться бичом человечества и погубить прежде всего тебя самого.

С этими словами он зашагал по леднику; я последовал за ним. Я был слишком взволнован и ничего ему не ответил. Но, идя за ним, я обдумал все им сказанное и решил хотя бы выслушать его повесть. К этому меня побуждало отчасти любопытство, но отчасти и сострадание. Я считал его убийцей моего брата и хотел окончательно установить истину. Кроме того, я впервые осознал долг создателя перед своим творением и понял, что должен был обеспечить его счастье,

прежде чем обвинять в злодействах. Это заставило меня согласиться на его просьбу. Мы пересекли ледяное поле и поднялись на противоположную скалистую гору. Было холодно, дождь возобновился; мы вошли в хижину. Демон — с ликующим видом, а я — глубоко подавленный. Но я приготовился слушать. Я уселся у огня, разведенного моим ненавистным спутником, и он так начал свой рассказ.

Глава XI

Первые мгновения своей жизни я вспоминаю с трудом: они предстают мне в каком-то тумане. Множество ощущений нахлынуло на меня сразу: я стал видеть, чувствовать, слышать и воспринимать запахи, и все это одновременно. Понадобилось немало времени, прежде чем я научился различать ощущения. Помню, что сильный свет заставил меня закрыть глаза. Тогда меня окутала тьма, и я испугался; должно быть, я вновь открыл глаза, и снова стало светло. Я куда-то пошел, кажется, куда-то вниз, и тут в моих чувствах произошло прояснение. Сперва меня окружали темные, плотные предметы, недоступные зрению или осязанию. Теперь я обнаружил, что я в состоянии продвигаться свободно, а каждое препятствие могу перешагнуть или обойти. Почувствовав утомление от яркого света и жары, я стал искать тенистого места. Так я оказался в лесу близ Ингольштадта; там я отдыхал у ручья, пока не ощутил голода и жажды. Они вывели меня из оцепенения. Я поел ягод, висевших на кустах и разбросанных по земле, и утолил жажду водой из ручья; после этого я лег и уснул.

Когда я проснулся, уже стемнело; я озяб и инстинктивно испугался одиночества. Еще у тебя в доме, ощутив холод, я накинул на себя кое-какую одежду, но она недостаточно защищала меня от ночной росы. Я был жалок, беспомощен и несчастен; я ничего не знал и не понимал, я лишь чувствовал, что страдаю, — и я заплакал.

Скоро небо озарилось мягким светом, и это меня обрадовало. Из-за деревьев вставало какое-то сияние. Я подивился ему. Оно восходило медленно, но уже освещало передо мной тропу, и я снова принялся искать ягоды. Мне было холодно, но под деревом я нашел чей-то плащ,

закутался в него и сел на землю. В голове моей не было ясных мыслей; все было смутно. Я ощущал свет, голод, жажду, мрак; слух мой наполнился бесчисленными звуками, обоняние воспринимало множество запахов; единственное, что я различал ясно, был диск луны — и на него я устремил радостный взор.

Ночь не раз сменилась днем, а ясный диск заметно уменьшился, прежде чем я научился разбираться в своих ощущениях. Я начал узнавать поивший меня прозрачный ручей и деревья, укрывавшие меня своей тенью. Я с удовольствием обнаружил, что часто слышимые мной приятные звуки издавались маленькими крылатыми существами, которые то и дело мелькали между мной и светом дня. Я стал яснее различать окружающие предметы и границы нависшего надо мной светлого купола. Иногда я безуспешно пытался подражать сладкому пению птиц. Я хотел по своему выразить волновавшие меня чувства, но издаваемые мной резкие и дикие звуки пугали меня, и я умолкал.

Луна перестала всходить, потом появилась опять в уменьшенном виде, а я все еще жил в лесу. Теперь ощущения мои стали отчетливыми, а ум ежедневно обогащался новыми понятиями. Глаза привыкли к свету и научились правильно воспринимать предметы; я уже отличал насекомых от растений, а скоро и одни растения от других. Я обнаружил, что воробей издает одни только резкие звуки, а дрозд — нежные и приятные.

Однажды, мучимый холодом, я наткнулся на костер, оставленный какими-то бродягами, и с восхищением ощутил его тепло. Я радостно протянул руку к пылающим углям, но тотчас отдернул ее с криком. Как странно, подумал я, что одна и та же причина порождает противоположные следствия! Я стал разглядывать костер и, к своей радости, обнаружил, что там горят сучья. Я тотчас набрал веток, но они были сырые и не загорелись. Это огорчило меня, и я долго сидел, наблюдая за огнем. Сырые ветки, лежавшие у огня, подсохли и тоже загорелись. Я задумался; трогая то одни, то другие ветки, я понял, в чем дело, и набрал побольше дров, чтобы высушить их и обеспечить себя теплом. Когда наступила ночь и пора было спать, я очень боялся, как бы мой костер не погас. Я бережно укрыл его сухими сучьями и листьями, а сверху наложил сырых веток; затем, разостлав свой плащ, я улегся и заснул.

Утром первой моей заботой был костер. Я разрыл его, и легкий ветерок тотчас же раздул пламя. Я запомнил и это и смастерил из веток опахало, чтобы раздувать погасающие угли. Когда снова наступила ночь, я с удовольствием обнаружил, что костер дает не одно лишь тепло, но и свет, и что огонь годится для приготовления пищи; ибо оставленные путниками обеды были жареные и на вкус куда лучше ягод, которые я собирал с кустов. Я попробовал готовить себе пищу тем же способом и положил ее на горячие угли. Оказалось, что ягоды от этого портятся, зато орехи и коренья становятся гораздо вкуснее.

Впрочем, добывать пищу становилось трудней; и я иной раз тратил целый день на поиски горсти желудей, чтобы хоть немного утолить голод. Поняв это, я решил перебраться в другие места, где мне легче было бы удовлетворять мои скромные потребности. Но, задумав переселение, я печалился об огне, который нашел случайно и не знал, как зажечь самому. Я размышлял над этим несколько часов, но ничего не придумал. Завернувшись в плащ, я зашагал по лесу, вслед заходящему солнцу. Так я брел три дня, пока не вышел на открытое место. Накануне выпало много снега, и поля скрылись под ровной белой пеленой; это зрелище навело на меня грусть, а ноги мерзли на холодном, влажном веществе, покрывавшем землю.

Было, должно быть, часов семь утра, и я тосковал по пище и крову. Наконец я заметил на пригорке хижину, вероятно выстроенную для пастухов. Такого строения я еще не видел, и я с любопытством осмотрел его. Дверь оказалась незапертой, и я вошел внутрь. Возле огня сидел старик и готовил себе пищу. Он обернулся на шум; увидев меня, он громко закричал и, выскочив из хижины, бросился бежать через поле с такой быстротой, на какую его дряхлое тело казалось неспособным. Его облик, непохожий на все виденное мной до тех пор, и его бегство удивили меня. Зато хижина привела меня в восхищение; сюда не проникали снег и дождь; пол был сухой; словом, хижина показалась мне тем роскошным дворцом, каким был Пандемониум для адских духов после их мук в огненном озере. Я с жадностью поглотил остатки трапезы пастуха, состоявшей из хлеба, сыра, молока и вина; последнее, впрочем, не пришлось мне по вкусу. Затем, ощутив усталость, я лег на кучу соломы и заснул.

Проснулся я уже в полдень; обрадовавшись солнцу и снегу, сверкавшему под его лучами, я решил продолжать свой путь; положив остатки пастушьего завтрака в суму, которую я нашел тут же, я несколько часов шагал по полям и к закату достиг деревни. Она показалась мне настоящим чудом! Я поочередно восхищался и хижинами, и более богатыми домами. Овощи в огородах, молоко и сыр, выставленные в окнах некоторых домов, возбудили мой аппетит. Я выбрал один из лучших домов и вошел; но не успел я переступить порог, как дети закричали, а одна из женщин лишилась чувств. Это всполошило всю деревню; кто пустился бежать, а кто бросился на меня; израненный камнями и другими предметами, которые в меня кидали, я убежал в поле и в страхе укрылся в маленькой лачуге, совершенно пустой и весьма жалкой после дворцов, виденных мной в деревне. Правда, лачуга примыкала к чистенькому домику; но после недавнего горького опыта я не решился туда войти. Мое убежище было деревянным и таким низким, что я с трудом умещался в нем сидя. Пол был не дощатый, а земляной, но сухой; и хотя ветер дул в бесчисленные щели, мне, после снега и дождя, показалось здесь хорошо.

Тут я и укрылся, счастливый уже тем, что нашел пусть убогий, но все же приют, защищавший от суровой зимы, но прежде всего от людской жестокости.

Как только рассвело, я выбрался из своего укрытия, чтобы разглядеть соседний с ним дом и выяснить, не опасно ли тут оставаться. Пристройка находилась у задней стены дома; к ней примыкал свиной закут и небольшой бочаг с чистой водой. В четвертой стене было отверстие, через которое я и проник; но теперь, чтобы меня не увидели, я заложил все щели камнями и досками, однако так, что их легко можно было отодвинуть и выйти; свет проникал ко мне только из свиного хлева, но этого мне было довольно.

Устроившись в своем жилище и устлав его чистой соломой, я залез туда, ибо в отдалении показался какой-то человек, а я слишком хорошо помнил прием, оказанный мне накануне, чтобы желать с ним встречи. Но прежде я обеспечил себя пропитанием на день: украл кусок хлеба и черпак, которым удобнее, чем горстью, мог брать воду, протекавшую мимо моего приюта. Земляной пол был слегка

приподнят, а потому сух; близость печи, топившейся в доме, давала немного тепла.

Раздобыв все нужное, я решил поселиться в лачужке, пока какие-либо новые обстоятельства не вынудят меня изменить решение. По сравнению с прежним моим жильем в мрачном лесу, на сырой земле, под деревьями, с которых капал дождь, здесь был сущий рай. Я с удовольствием поел и собрался отодвинуть одну из досок, чтобы зачерпнуть воды, как вдруг услышал шаги и увидел сквозь щель, что мимо моего укрытия идет молодая девушка с ведром на голове. Это было совсем юное и кроткое на вид создание, непохожее на крестьянок и батрачек, которых я с тех пор видел. Правда, одета она была бедно — в грубую синюю юбку и полотняную кофту; светлые волосы были заплетены в косу, но ничем не украшены; лицо выражало терпеливость и грусть. Она скрылась из виду, а спустя четверть часа показалась снова; теперь ее ведро было до половины налито молоком. Пока она с явным трудом несла эту ношу, навстречу ей вышел юноша, еще более печальный на вид. Произнеся несколько слов грустным тоном, он взял у нее ведро и сам понес его к дому. Она пошла за ним, и они оба скрылись. Позднее я снова увидел юношу; он ушел в поле за домом, неся в руках какие-то орудия; видел я и девушку, работавшую то в доме, то во дворе.

Осмотрев свое жилище, я обнаружил, что туда прежде выходило одно из окон домика, теперь забитое досками. В одной из досок была узкая, почти незаметная щель, куда едва можно было заглянуть. Сквозь нее виднелась маленькая комната, чисто выбеленная, но почти пустая. В углу, около огня, сидел старик, опустив голову на руки в позе глубокой печали. Молодая девушка убирала комнату; потом она вынула из ящика какую-то работу и села рядом со стариком; а тот, взяв инструмент, стал извлекать из него звуки более сладостные, чем пение дрозда или соловья.

Это было прелестное зрелище, и его оценил даже я, жалкое существо, не выдавшее до тех пор ничего прекрасного. Серебристые седины и благостный вид старца вызвали во мне уважение, а кротость девушки — нежную любовь. Он играл красивую и грустную мелодию, которая вызвала слезы

на глаза прекрасной слушательницы; он, однако, не замечал их, пока они не перешли в рыдания; тогда он что-то сказал, и прекрасное создание, отложив рукоделье, стало перед ним на колени. Он поднял ее, улыбаясь с такой добротой и любовью, что я ощутил сильное и новое для меня волнение; в нем смешивались радость и боль, прежде не испытанные ни от холода или голода, ни от тепла или пищи; и я отошел от окна, не в силах выносить этого дольше.

Вскоре вернулся юноша с вязанкой дров на плечах. Девушка встретила его в дверях, помогла освободиться от ноши и, взяв часть дров, подложила их в огонь. Затем она отошла с ним в сторону, и он достал большой хлеб и кусок сыра. Это ее, видимо, обрадовало; принеся из огорода какие-то корни и овощи, она положила их в воду и поставила на огонь. Потом она снова взялась за свое рукоделье, а юноша ушел в огород и принялся выкапывать корни. Когда он проработал так примерно с час, она вышла к нему, и оба вернулись в дом.

Старик тем временем сидел погруженный в задумчивость, но при их появлении приободрился, и они сели за трапезу. Она длилась недолго. Девушка опять стала прибирать в комнате, а старик вышел прогуляться на солнышке перед домом, опираясь на плечо юноши. Ничто не могло быть прекраснее контраста между этими двумя достойными людьми. Один был стар, с серебряной сединой и лицом, излучавшим доброжелательность и любовь; другой, молодой, был строен и гибок, и черты его отличались необычайной правильностью; правда, глаза его выражали глубочайшую грусть и уныние. Старик вернулся в дом, а юноша, захватив орудия, но иные, чем утром, отправился в поле.

Скоро стемнело, но я, к своему крайнему удивлению, обнаружил, что жителям домика известен способ продлить день, зажигая свечи; я обрадовался тому, что сумерки не положат конец удовольствию, которое я получал от созерцания своих соседей. Молодая девушка и ее сверстник провели вечер в различных занятиях, смысла которых я не понял; а старик снова взялся за певучий инструмент, восхитивший меня утром. Когда он кончил, юноша начал издавать какие-то монотонные звуки, непохожие ни на звуки инструмента старика, ни на пение птиц; впоследствии я обнаружил, что

он читал вслух, но тогда я не имел еще понятия о письменности.

Проведя некоторое время за этими занятиями, семейство погасило свет и, как я понял, улеглось спать.

Глава XII

Я лежал на соломе, но долго не мог уснуть. Я размышлял над впечатлениями дня. Более всего меня поразил кроткий вид этих людей; я тянулся к ним, и вместе с тем боялся их.

Слишком хорошо запомнился мне прием, который оказали мне накануне жестокие поселяне; я не знал еще, что предприму в дальнейшем, но пока решил потихоньку наблюдать за ними из своего укрытия, чтобы лучше понять мотивы их поведения.

Утром обитатели хижины поднялись раньше солнца. Девушка принялась убирать и готовить пищу, а юноша сразу же после завтрака ушел из дому.

Этот день прошел у них в тех же занятиях, что и предыдущий. Юноша неустанно трудился в поле, а девушка — в доме. Старик, который, как я вскоре обнаружил, был слеп, проводил время за игрой на своем инструменте или в раздумьях. Ничто не могло сравниться с любовью и уважением, которые молодые поселяне выражали своему почтенному сожителю. Они оказывали ему бесчисленные знаки внимания, а он награждал их ласковыми улыбками.

И все же они не были вполне счастливы. Юноша и девушка часто уединялись и плакали. Я не мог понять причины их горя, но оно меня глубоко печалило. Если страдают даже такие прекрасные создания, я уже не удивлялся тому, что несчастен я — жалкий и одинокий. Но почему несчастны эти кроткие люди? У них отличный дом (таким, по крайней мере, он мне казался) и всяческая роскошь: огонь, чтобы согреться в стужу, вкусная пища для утоления голода и отличная одежда; но главное — общество друг друга, ежедневные беседы, обмен ласковыми и нежными взглядами. Что же означали их слезы? И действительно ли они выражали страдание? Вначале я не в силах был разрешить эти вопросы, но время и неустанное наблюдение объяснили мне многое, прежде казавшееся загадкой.

Прошло немало времени, пока я понял одну из печалей этой достойной семьи: то была бедность; они были бедны до крайности. Всю их пищу составляли овощи с огорода и молоко коровы, которая зимой почти не доилась, так как хозяевам нечем было ее кормить. Я думаю, что они нередко страдали от голода, особенно молодые; бывало, что они ставили перед стариком еду, не оставляя ничего для себя.

Эта доброта тронула меня. По ночам я обычно похищал у них часть запасов, но, убедившись, что это им в ущерб, я перестал так делать и довольствовался ягодами, орехами и кореньями, которые собирал в соседнем лесу.

Я нашел также способ помогать им. Оказалось, что юноша проводит большую часть дня, заготавливая дрова для дома; и вот я стал по ночам брать его орудия, которыми скоро научился пользоваться, и приносил им запас на несколько дней.

Помню, когда я сделал это впервые, молодая девушка очень удивилась, найдя поутру у дверей большую вязанку дров. Она громко произнесла несколько слов; подошел юноша и тоже удивился. Я с удовольствием отметил, что в тот день он не пошел в лес, а провел его за домашними делами и в огороде.

Затем я сделал еще более важное открытие. Я понял, что эти люди умеют сообщать друг другу свои мысли и чувства с помощью членораздельных звуков. Я заметил, что произносимые ими слова вызывают радость или печаль, улыбку или огорчение на лицах слушателей. Это была наука богов, и я страстно захотел овладеть ею. Но все мои попытки кончались неудачей. Они говорили быстро, и слова их не были связаны ни с какими видимыми предметами, так что у меня не было ключа к тайне. Однако, прожив в моей лачуге несколько лунных месяцев и приложив много стараний, я узнал названия некоторых, наиболее часто упоминавшихся предметов: *огонь, молоко, хлеб, дрова*. Узнал я и имена обитателей дома. Юноша и девушка имели их по несколько, а старик только одно — *отец*. Девушку называли то *сестра*, то *Агата*, а юношу — *Феликс, брат* или *сын*. Не могу описать восторг, с каким я постигал значение всех этих сочетаний звуков и учился их произносить. Я запомнил и некоторые другие слова, еще не понимая, что они значат: *хороший, милый, несчастный*.

Так прошла для меня зима. Кротость и красота обитателей хижины привязали меня к ним: когда они грустили, я

бывал подавлен; когда радовались, я радовался вместе с ними. Кроме них, я почти не видел людей, а когда они появлялись в хижине, их грубые голоса и ухватки только подчеркивали в моих глазах превосходство моих друзей. Я заметил, что старик часто уговаривал своих детей, как он их называл, не предаваться печали. Он говорил с ними бодро и с такой добротой, которая трогала даже меня. Агата почтительно выслушивала его; иногда на глаза ее навертывались слезы, которые она старалась незаметно смахнуть, но все же после увещаний отца она обычно становилась веселее. Не так было с Феликсом. Он казался всех печальнее, и даже моему неопытному взгляду было заметно, что он перестрадал больше всех. Но если лицо его выражало больше грусти, то голос звучал еще бодрее, чем у сестры, особенно когда он обращался к старику.

Я мог бы привести множество примеров, пусть незначительных, но весьма характерных для этих достойных людей.

Живя в нужде, Феликс тем не менее спешил порадовать сестру первым белым цветочком, появлявшимся из-под снега. Каждое утро, пока она еще спала, он расчищал ей тропинку к коровнику, приносил воды из колодца и дров из сарая, где, к его удивлению, дровяные запасы непрерывно пополнялись чьей-то невидимой рукой. Днем он, очевидно, иногда работал на соседнего фермера, ибо часто уходил до самого обеда, а дров с собой не приносил. Бывало, что он работал на огороде, но зимой такой работы было мало, и он читал вслух старику и Агате.

Это чтение сперва приводило меня в крайнее недоумение, но постепенно я стал замечать, что, читая, он часто произносит те же сочетания звуков, что и в разговоре. Я заключил из этого, что на страницах книги он видит понятные ему знаки, которые можно произнести, и я жаждал их постичь, но как — если я не понимал даже звуков, которые эти знаки обозначали? В этой последней науке я, правда, продвинулся, хоть и не настолько, чтобы понимать их речь целиком, и продолжал стараться изо всех сил; несмотря на мое горячее желание показаться им, я понимал, что мне не следует этого делать, пока я не овладею их языком, и они за это, быть может, простят мне мое уродство; последнее я тоже осознал по контрасту, постоянно бывшему у меня перед глазами.

Я любовался красотой обитателей хижины — их грацией и нежным цветом лица; но как ужаснулся я, когда

увидел свое собственное отражение в прозрачной воде! Сперва я отпрянул, не веря, что зеркальная поверхность отражает именно меня, а когда понял, как я уродлив, сердце мое наполнилось горькой тоской и обидой. Увы! Я еще не вполне понимал роковые последствия своего уродства.

Солнце пригревало сильнее, день удлинился, снег сошел, обнажив деревья и черную землю. У Феликса прибавилось работы, и страшная угроза голода исчезла. Их пища, хоть и грубая, была здоровой, и теперь ее было достаточно. В огороде появились новые растения, которые они употребляли в пищу; и с каждым днем их становилось больше.

Ежедневно в полдень старик выходил на прогулку, опираясь на плечо сына, если только не шел дождь, — так, окатывается, назывались потоки воды, изливавшиеся с небес. Это бывало нередко, но ветер скоро осушал землю, и погода становилась еще лучше.

Я вел в своем укрытии однообразную жизнь. Утром я наблюдал обитателей хижины; когда они расходились по своим делам, я спал; остаток дня я снова посвящал наблюдению за моими друзьями. Когда они ложились спать, а ночь была лунная или звездная, я отправлялся в лес добывать пищу для себя и дрова для них. На обратном пути, если было нужно, я расчищал тропинку от снега или выполнял за Феликса другие его обязанности. Работа, сделанная невидимой рукой, очень удивляла их; в таких случаях я слышал слова *добрый дух* и *чудо*, но тогда я еще не понимал их смысла.

Я научился мыслить и жаждал побольше узнать о чувствах и побуждениях милых мне существ. Мне не терпелось знать, отчего тоскует Феликс и задумывается Агата. Я надеялся (глупец!), что как-нибудь сумею вернуть этим достойным людям счастье. Во сне и во время моих походов в лес перед моими глазами всегда стояли почтенный седой старец, нежная Агата и мужественный Феликс. Я видел в них высших существ, вершителей моей судьбы. Тысячу раз рисовал я в своем воображении, как явлюсь перед ними и как они меня примут. Я понимал, что вызову в них отвращение, но думал кротостью и ласковыми речами снискать их расположение, а затем и любовь.

Эти мысли радовали меня и побуждали с новым рвением учиться человеческой речи. Голос у меня был резкий, но до-

статочно гибкий, и хотя он сильно отличался от их нежных и мелодичных голосов, я довольно легко произносил те слова, которые понимал. Это было как в басне об осле и комнатной собачке. Но неужели кроткий осел, привязчивый, хоть с виду и грубый, не заслуживал иного отношения, кроме побоев и брани?

Веселые ливни и весеннее тепло преобразили землю. Люди, прежде словно прятавшиеся где-то в норах, рассыпались по полям и принялись за крестьянские работы. Птицы запели веселее; на деревьях развернулись листья. О, счастливая земля! Еще недавно голая, сырая и неприветливая, она была теперь достойна богов. Моя душа радовалась великолепию природы; прошедшее изгладилось из моей памяти, в настоящем царили мир и покой, а будущее озарялось лучами надежды и ожиданием счастья.

Глава XIII

Спешу добраться до самых волнующих страниц моей повести. Сейчас я расскажу о событиях, сделавших меня тем, что я теперь.

Весна быстро вступала в свои права: погода стала теплой, а небо — безоблачным. Меня поражало, что недавняя угрюмая пустыня могла так зазеленеть и расцвести. Мои чувства с восторгом воспринимали тысячи восхитительных запахов и прекраснейших зрелищ.

В один из тех регулярно наступающих дней, когда обитатели хижины отдыхали от трудов, — старик играл на гитаре, а дети слушали, — я заметил, что лицо Феликса бесконечно печально и он часто вздыхает. Один раз отец даже прервал игру и, как видно, спросил его, почему он грустит. Феликс ответил ему веселым тоном, и старик заиграл снова, но тут раздался стук в дверь.

Это оказалась девушка, приехавшая верхом, а с нею местный крестьянин — провожатый. Она была в темной одежде, под густой темной вуалью. Агата что-то спросила у нее; в ответ незнакомка нежным голосом назвала имя Феликса. Голос ее был мелодичен, но чем-то отличался от голосов моих друзей. Услышав свое имя, Феликс поспешно

приблизился; девушка откинула перед ним свою вуаль, и я увидел лицо ангельской красоты. Волосы ее, черные как вороново крыло, были искусно заплетены в косы; глаза были темные и живые, но вместе с тем кроткие; черты правильные, а кожа, на редкость белая, окрашивалась на щеках нежным румянцем.

При виде ее Феликс безмерно обрадовался; вся его грусть мигом исчезла, и лицо выразило восторг, на какой я не считал его способным: глаза его засияли, щеки разгорелись; в этот миг он показался мне так же прекрасен, как незнакомка. Ее, однако, волновали иные чувства. Отерев слезы с прекрасных глаз, она протянула Феликсу руку, которую он восхищенно поцеловал, назвав ее, если я верно расслышал, своей прекрасной аравитянкой. Она, кажется, не поняла его, но улыбнулась. Он помог ей сойти с лошади, отпустил проводника и ввел ее в дом. Тут он что-то сказал отцу, а юная незнакомка опустилась перед стариком на колени и хотела поцеловать у него руку, но он поднял ее и нежно прижал к сердцу.

Хотя незнакомка тоже произносила членораздельные звуки и говорила на каком-то своем языке, я скоро заметил, что она не понимала обитателей хижины, а они не понимали ее. Они объяснялись знаками, которые зачастую были мне непонятны; но я видел, что ее присутствие принесло в хижину радость и развеяло печаль, как солнце рассеивает утренний туман. Особенно счастливым казался Феликс, радостно улыбавшийся своей аравитянке. Кроткая Агата целовала руки прекрасной незнакомки и, указывая на своего брата, казалось, объясняла ей жестами, как сильно он тосковал до ее приезда. Так проходили часы, и лица их выражали радость, оставшуюся мне непонятной. Услышав, как незнакомка повторяет за ними то или иное слово, я понял, что она пытается научиться их языку; и мне тотчас пришло в голову воспользоваться этими уроками для себя. На первом занятии незнакомка усвоила около двадцати слов, большая часть которых была мне, правда, уже известна; остальными я пополнил свой запас.

Вечером Агата и аравитянка рано удалились на покой. Прощаясь, Феликс поцеловал руку незнакомки и сказал: «Доброй ночи, милая Сафия». После этого он еще долго беседовал с отцом; и, судя по частому повторению ее имени, предметом их беседы была прекрасная гостя. Я жадно ста-

рался понять их, напрягая для этого все силы ума, но понять было невозможно.

Утром Феликс пошел на работу, а когда Агата управилась с хозяйством, аравитянка села у ног старика и, взяв его гитару, сыграла несколько мелодий, столь чарующих, что они вызвали у меня сладкие слезы. Она запела, и голос ее лился и замирал, точно песнь соловья в лесу.

Кончив, она передала гитару Агате, которая сперва отнекивалась. Агата сыграла простой напев и нежным голосом вторила ему, но ей было далеко до дивного пения незнакомки. Старик был в восхищении и сказал несколько слов, которые Агата попыталась объяснить Сафии: он хотел ими выразить, что своим пением она доставила ему величайшую радость.

Дни потекли так же мирно, как и прежде, с одной лишь разницей: лица моих друзей выражали теперь радость вместо печали. Сафия была неизменно весела; мы с ней делали большие успехи в языке, и через каких-нибудь два месяца я мог уже почти целиком понимать речь моих покровителей.

Между тем черная земля покрылась травой; на этом зеленом ковре пестрели бесчисленные цветы, ласкавшие взор и обоняние, а ночью, под луной, светившиеся, точно бледные звезды. Солнце грело все сильнее, ночи стояли ясные и теплые; ночные походы были для меня большим удовольствием, хотя их пришлось сильно сократить из-за поздних сумерек и ранних рассветов, ибо я не решался выходить днем, опасаясь подвергнуться тому же обращению, что в первой деревне, куда я попытался войти.

Целыми днями я усердно слушал, чтобы скорее овладеть языком, и могу похвастаться, что мне это удалось скорее, чем аравитянке, которая еще мало что понимала и объяснялась на ломаном языке, тогда как я понимал и мог воспроизвести почти каждое из сказанных слов.

Учась говорить, я одновременно постигал и тайны письма, которому обучали незнакомку, и не переставал дивиться и восхищаться.

Книга, по которой Феликс учил Сафию, была «Руины империй» Вольнея. Я не понял бы ее смысла, если бы Феликс, читая, не давал самых подробных объяснений. Он сказал, что избрал это произведение потому, что

слог его подражал восточным авторам. Эта книга дала мне понятие об истории и о главных, ныне существующих государствах; я узнал о нравах, верованиях и образе правления у различных народов. Я услышал о ленивых жителях Азии, о неистощимом творческом гении греков, о войнах и добродетелях ранних римлян, об их последующем вырождении и о падении их могучей империи; о рыцарстве, о христианстве и королях. Я узнал об открытии Америки и вместе с Сафией плакал над горькой участью ее коренных обитателей.

Эти увлекательные рассказы вызывали во мне недоумение. Неужели человек действительно столь могуч, добродетелен и велик и вместе с тем так порочен и низок? Он казался мне то воплощением зла, то существом высшим, поистине богоподобным. Быть великим и благородным человеком представлялось мне величайшей честью, доступной мыслящему созданию; быть порочным и низким, как многие из описанных в книге людей, казалось мне глубочайшим падением, участью более жалкой, чем удел слепого крота или безобидного червяка. Я долго не мог понять, как может человек убивать себе подобных; и для чего существуют законы и правительства; но когда я больше узнал о пороках и жестокостях, я перестал дивиться и содрогнулся от отвращения.

С тех пор каждая беседа обитателей хижины открывала мне новые чудеса. Слушая объяснения, которые Феликс давал аравитянке, я постигал странное устройство человеческого общества. Я узнал о неравенстве состояний, об огромных богатствах и жалкой нищете, о чинах, знатности и благородной крови.

Все это заставило меня взглянуть на себя как бы со стороны. Я узнал, что люди превыше всего ставят знатное и славное имя в сочетании с богатством. Можно добиться их уважения каким-нибудь одним из этих даров судьбы; но человек, лишенный обоих, считается, за крайне редкими исключениями, бродягой и рабом, обреченным отдавать все силы работе на немногих избранных. А кто такой я? Я не знал, как и кем я был создан; знал только, что у меня нет ни денег, ни друзей, ни собственности. К тому же я был наделен отталкивающе уродливой внешностью и отличался от людей даже самой своей природой. Я был сильнее их, мог питаться более грубой пищей, легче переносил жару и холод

и был гораздо выше ростом. Оглядываясь вокруг, я нигде не видел себе подобных. Неужели же я — чудовище, пятно на лице земли, создание, от которого все бегут и все отрекаются?

Не могу описать, какие муки причинили мне эти размышления. Я старался отмахнуться от них, но чем больше узнавал, тем больше скорбел. О, лучше бы я навеки оставался у себя в лесу, ничего не ведая и не чувствуя, кроме голода, жажды и жары!

Странная вещь — познание! Однажды познанное нами держится в уме цепко, как лишайник на скалах. Порой мне хотелось стряхнуть все мысли и чувства; но я узнал, что от страданий существует лишь одно избавление — смерть, а ее я боялся, хотя и не понимал. Я восхищался добродетелью и высокими чувствами; мне нравились кротость и мягкость обитателей хижины, но я не имел с ними общения и лишь украдкой наблюдал их, оставаясь невидимым и неизвестным, а это только разжигало, но не удовлетворяло мое желание приобщиться к людскому обществу. Не для меня были нежные слова Агаты и сверкающие улыбки аравитянки. Не ко мне обращались кроткие увещевания старца или остроумные реплики милого Феликса. О, несчастный отверженный!

Некоторые уроки поразили меня еще глубже. Я узнал о различии полов; о рождении и воспитании детей; о том, как отец любит улыбку младенца и смеется шалостям старших детей; как все заботы и вся жизнь матери посвящены драгоценному бремени; как развивается юный ум, как он познает жизнь, какими узами — родственными и иными — связаны между собой люди.

А где же были мои родные и близкие? У моей колыбели не стоял отец, не склонялась с ласковой улыбкой мать, а если все это и было, то теперь моя прошлая жизнь представлялась мне темной пропастью, где я ничего не различал. С тех пор как я себя помнил, я всегда был тех же размеров, что и сейчас. Я еще не видел никого, похожего на меня, никого, кто желал бы иметь со мной дело. Так кто же я? Задавая себе этот вопрос снова и снова, я мог отвечать на него лишь горестным стоном.

Скоро я объясню, куда влекли меня эти чувства. А сейчас позволь мне вернуться к обитателям хижины, чья история вызвала во мне и негодование, и удивление, и восхищение,

но в итоге заставила еще больше любить и уважать моих покровителей, как я охотно называл их про себя, поддаваясь невинному самообману.

Глава XIV

Историю моих друзей я узнал не сразу. Она неизбежно должна была произвести на меня глубокое впечатление, ибо многие ее обстоятельства были новы и поразительны для неопытного существа вроде меня.

Фамйлия старика была Де Лэси. Он происходил из хорошей французской семьи и долго жил в полном достатке, пользуясь уважением вышестоящих и любовью равных. Сын его готовился вступить на военную службу, а Агата занимала подобающее ей место среди дам высшего круга. За несколько месяцев до моего появления они еще жили в большом и богатом городе, именуемом Париж, окруженные друзьями, пользуясь всеми благами, какие могут доставить добродетель, образование и тонкий вкус в соединении с большим достатком.

Причиной их бедствий стал отец Сафии. Это был турецкий негодянт, который давно проживал в Париже, но вдруг, по какой-то непонятной для меня причине стал неугоден правительству. Он был схвачен и заключен в тюрьму в тот самый день, когда к нему из Константинополя приехала Сафия. Его судили и приговорили к смертной казни. Несправедливость приговора была очевидной; весь Париж был возмущен; все считали, что причиной осуждения явилось его богатство и вероисповедание, а вовсе не приписанное ему преступление.

Феликс случайно присутствовал на суде; услышав приговор, он пришел в крайнее негодование. Он дал торжественный обет спасти невинного и стал изыскивать для этого средства. После многих тщетных попыток проникнуть в тюрьму он обнаружил зарешеченное окно в неохранявшейся части здания, которое сообщалось с камерой несчастного мусульманина; закованный в цепи, тот в отчаянии ожидал исполнения жестокого приговора. Ночью Феликс пришел под окно и сообщил узнику о своем намерении. Изумленный и обрадованный турок попытался подогреть усердие своего избавителя, посулив

ему богатую награду. Феликс с презрением отверг ее; но, увидев однажды прекрасную Сафию, которой было дозволено навещать отца и которая знаками выразила юноше горячую благодарность, он должен был признать, что узник действительно обладал сокровищем, которое могло бы всецело вознаградить его за труды и риск.

Турок тотчас заметил впечатление, произведенное его дочерью на Феликса, и решил сильнее заинтересовать его, обещав ему руку своей дочери, как только его самого удастся препроводить в безопасное место. Деликатность не позволяла Феликсу принять подобное предложение, но о возможности этого события он стал мечтать как о высшем для себя счастье.

В последующие дни, пока шли приготовления к побегу, Феликс разгорелся еще больше, получив несколько писем от красавицы, которая нашла способ сноситься с влюбленным юношей на его языке через посредство старого отцовского слуги, знавшего по-французски. Она в самых пылких выражениях благодарила его за обещанную отцу помощь и в то же время горько сетовала на свою судьбу.

Я переписал эти письма, ибо за время жизни в сарае сумел добыть письменные принадлежности, а письма часто находились в руках Феликса или Агаты. Я дам их тебе, перед тем как уйти; они подтвердят правду моих слов, а сейчас солнце уже клонится к закату, и я едва успею пересказать тебе их суть.

Сафия писала, что-мать ее, крещеная аравитянка, была похищена турками и продана в рабство; своей красотой она пленила сердце отца Сафии, который на ней женился. Девушка восторженно говорила о своей матери; рожденная свободной, та презирала свое нынешнее рабство. Свою дочь она воспитала в догмах христианства и научила стремиться к духовному развитию и свободе, недозвоненной женщинам мусульманских стран. Ее уже не было в живых; но ее наставления навсегда запечатлелись в душе Сафии, которой претила мысль о возвращении в Азию, где ее ждало заточение в стенах гарема, позволявшего женщине одни лишь ребяческие забавы; а это возмущало ее душу, приученную к возвышенным помыслам и благородному стремлению к добродетели. Сафию радовала мысль о браке с христианином и возможность остаться в стране, где женщины могут занимать определенное положение в обществе. День казни

турка уже был назначен, но накануне ночью он бежал из тюрьмы и к утру был уже за много лье от Парижа. Феликс добыл паспорта на свое имя, а также на имя своего отца и сестры. Отцу он предварительно сообщил о своем плане, и тот помог обману, сделав вид, что отправляется в поездку, тогда как в действительности укрылся, вместе с дочерью, на глухой окраине Парижа.

Феликс довез беглецов до Лиона, а затем через Мон-Сени до Ливорно, где купец намерен был дожидаться удобного случая переправиться в турецкие владения.

Сафия решила оставаться с отцом до его отъезда, а турок повторил свое обещание сочетать ее браком со своим спасителем. В ожидании свадьбы Феликс остался с ними, наслаждаясь обществом своей аравитянки, которая выказывала ему самую нежную и искреннюю любовь. Они беседовали с помощью переводчика, а иногда одними лишь взглядами, и Сафия пела ему дивные песни своей родины.

Турок поощрял это сближение и поддерживал надежды юной пары, а сам между тем лелеял совсем иные планы. Ему была ненавистна мысль выдать дочь за христианина, но он боялся показать это Феликсу, ибо пока еще зависел от своего спасителя, который мог, если б захотел, выдать его властям итальянского княжества, где они находились. Он придумывал все новые способы длить свой обман до тех пор, пока он уже не будет нужен, и решил, уезжая, тайно увезти с собой дочь. Вести из Парижа помогли его намерениям.

Французское правительство было взбешено побегом своей жертвы и не жалело усилий, чтобы обнаружить и покарать ее спасителя. Заговор Феликса был быстро обнаружен, и Де Лэси вместе с Агатой брошены в тюрьму. Весть эта дошла до Феликса и пробудила его от блаженного забытья. Его старый слепой отец и кроткая сестра томились в сырой темнице, а он наслаждался свободой и близостью своей любимой. Эта мысль была ему нестерпима. Он условился с турком, что Сафия укроется в монастыре в Ливорно, если ее отцу представится возможность уехать прежде, чем Феликс сумеет вернуться в Италию; сам же Феликс поспешил в Париж и отдался в руки правосудия, надеясь таким образом добиться освобождения Де Лэси и Агаты.

Эту ему не удалось. Их продержали в тюрьме пять месяцев, вплоть до суда, а затем приговорили к пожизненному изгнанию с конфискацией всего имущества.

Тогда-то они и поселились в Германии, в той бедной хижине, где я их нашел. Вскоре Феликс узнал, что вероломный турок, из-за которого он и его семья претерпели такие бедствия, поправ все законы морали и чести, уехал из Италии вместе с дочерью; в довершение оскорбления он прислал Феликсу небольшую сумму денег, чтобы, как он писал, помочь ему стать на ноги.

Вот что терзало душу Феликса и делало его, когда я впервые его увидел, самым несчастным из всей семьи. Он мог бы смириться с бедностью и даже гордиться ею, как расплатой за свой благородный поступок; но неблагодарность турка и потеря любимой девушки были худшими и непоправимыми бедствиями. Сейчас приезд аравианки словно влил в него новую жизнь.

Когда до Ливорно дошла весть, что Феликс лишился имущества и звания, турок приказал дочери забыть о возлюбленном и готовиться к отъезду на родину. Благородная душа Сафии была возмущена этим приказом. Девушка попыталась спорить с отцом, но тот, не слушая ее, гневно повторил свое деспотическое требование.

Несколько дней спустя он вошел в ее комнату и торопливо сообщил, что его пребывание в Ливорно, видимо, стало известно властям, которые не замедлят выдать его французскому правительству; а потому он уже нанял судно и через несколько часов отплывает в Константинополь. Дочь он решил оставить на попечении верного слуги, с тем чтобы она последовала за ним позже, вместе с большей частью имущества, которое еще не успели доставить в Ливорно.

Оставшись одна, Сафия избрала тот план действий, какой считала правильным. Жизнь в Турции была ей ненавистна; против этого говорили и чувства ее и верования. Из бумаг отца, попавших ей в руки, она узнала об изгнании своего возлюбленного и его местопребывании. Некоторое время она еще колебалась, но потом решилась. Взяв с собой драгоценности и некоторую сумму денег, она, в сопровождении служанки, уроженки Ливорно, знавшей по-турецки, покинула Италию и отправилась в Германию.

Она благополучно достигла городка, находившегося в каких-нибудь двадцати лье от хижины Де Лэси, но тут ее

служанка тяжело заболела. Сафия нежно за ней ухаживала, но бедняжка умерла, и аравитянка осталась одна, незнакомая с языком страны и совершенно неопытная в житейских делах. Однако ей повезло на добрых людей. Итальянка успела назвать ей местность, куда они направлялись; а после ее смерти хозяйка дома позаботилась о том, чтобы Сафия благополучно добралась до своего возлюбленного.

Глава XV

Такова была история милых мне обитателей хижины. Она глубоко меня растрогала. Через нее мне раскрылись различные стороны общественной жизни; она научила меня восхищаться добродетелью и ненавидеть порок.

Зло еще было мне чуждо; примеры доброты и великодушия постоянно были у меня перед глазами; они вызвали у меня желание самому участвовать в жизни, где можно и нужно было проявлять столь высокие качества. Но, рассказывая о своем духовном развитии, я не могу умолчать об одном обстоятельстве, относящемся к началу августа того же года.

Однажды ночью, пробираясь, по своему обыкновению, в лес, где я добывал себе пищу и собирал дрова для своих друзей, я нашел кожаную дорожную сумку, в которой была кое-какая одежда и несколько книг. Я радостно схватил этот трофей и вернулся с ним к себе в сарай. По счастью, книги были написаны на языке, уже отчасти знакомом мне. То был «Потерянный Рай», один из томов «Жизнеописаний» Плутарха и «Страдания молодого Вертера». Обладание этими сокровищами принесло мне много радости. Отныне я непрерывно питал ими свой ум, пока мои друзья занимались повседневными делами.

Трудно описать действие на меня этих сочинений. Они вызвали множество новых образов и чувств, иногда приводивших меня в экстаз, но чаще ввергавших в глубочайшее уныние. В «Страданиях Вертера», интересных не одним лишь простым и трогательным сюжетом, высказано столько мнений, освещено столько вопросов, ранее мне непонятных, что я нашел там неиссякаемый источник удивления и размышлений. Мирные семейные сцены, а также возвышенные

чувства и побуждения, в которых не было места себялюбию, согласовывались с тем, что я наблюдал у моих друзей, и со стремлениями, жившими в моей собственной груди. Сам Вертер представлялся мне высшим из всех виденных или воображаемых мною существ. Все в нем было просто, но трогало до глубины души. Размышления о смерти и самоубийстве неизбежно должны были наполнить меня удивлением. Я не мог во всем этом разобраться, но сочувствовал герою и плакал о его смерти, хотя и не вполне понимал ее надобность.

Читая, я многое старался применить к себе. Я казался себе похожим и вместе странно непохожим на тех, о ком читал и кого наблюдал. Я им сочувствовал и отчасти понимал их, но ум мой был еще не развит; я ни от кого не зависел и ни с кем не был связан, и оплакивать меня было некому, когда меня «возьмет таинственная чаша». Я был страшен на вид и гигантского роста. Что это значило? Кто я был? Откуда? Каково мое назначение? Эти вопросы я задавал себе непрестанно, но ответа на них не знал.

Попавший ко мне том Плутарха содержал жизнеописания основателей древних республик. Эта книга оказала на меня совсем иное действие, чем «Страдания молодого Вертера». Ветер научил меня тосковать и грустить, тогда как Плутарх внушил высокие мысли; он поднял меня над жалкими себялюбивыми заботами, заставив восхищаться героями древности. Многое из прочитанного было выше моего понимания. Я имел некоторое представление о царствах, об обширных пространствах, могучих реках и безбрежных морях. Но я был совершенно незнаком с городами и большими скоплениями людей. Хижина моих покровителей была единственным местом, где я изучал человеческую природу; а эта книга показала мне новые и более широкие арены действия. Я прочел о людях, занятых общественными делами; о тех, кто правил себе подобными или убивал их. Я ощутил в себе горячее стремление к добродетели и отвращение к пороку, насколько я понимал значение этих слов, связанных для меня лишь с радостью или болью. Это заставило меня восхищаться миролюбивыми законодателями — Нумой, Солоном и Ликургом, скорее чем Ромулом и Тезеем. Патриархальная жизнь моих покровителей внушила мне прежде всего именно эти понятия; если бы мое знакомство с людьми началось с молодого воина, жаждущего славы и битв, я, вероятно, исполнился бы иных чувств.

«Потерянный Рай» вызвал во мне иное и гораздо более глубокое волнение. Я принял его, как и другие доставшиеся мне книги, за рассказ об истинном происшествии. Читая, я ощущал все изумление и ужас, какие способен вызвать образ всемогущего бога, ведущего войну со своими созданиями. При этом я часто проводил параллели с собственной судьбой.

Как и у Адама, у меня не было родни; но во всем другом мы были различны. Он вышел из рук бога во всем совершенстве, счастливый и хранимый заботами своего творца; он мог беседовать с высшими существами и учиться у них; а я был несчастен, одинок и беспомощен. Мне стало казаться, что скорее подобен Сатане; при виде счастья моих покровителей я тоже часто ощущал горькую зависть.

Еще одно обстоятельство укрепило и усилило эти чувства. Вскоре после того как я поселился в сарае, я обнаружил в карманах одежды, захваченной мною из твоей лаборатории, какие-то записки. Сперва я не обратил на них внимания; но теперь, когда я мог их прочесть, я внимательно ознакомился с ними. Это был твой дневник за четыре месяца, предшествовавшие моему появлению на свет. В нем ты подробно, шаг за шагом описывал свою работу, перемежая эти записи с дневником твоей повседневной жизни. Ты, конечно, помнишь их, вот они. Здесь ты запечатлел все, что связано с моим злополучным рождением; здесь подробнейшим образом описана моя уродливая наружность; и притом такими словами, в которых выразилось все твое отвращение и которых мне никогда не забыть. «Будь проклят день моего рождения! — восклицал я. — Проклятый творец! Зачем ты создал чудовище, от которого даже ты сам отвернулся с омерзением? Бог, в своем милосердии, создал человека прекрасным по своему образу и подобию; я же являюсь изуродованным подобием тебя самого, еще более отвратительным из-за этого сходства. У Сатаны были собратья-демоны; в их глазах он был прекрасен. А я одинок и всем ненавистен».

Так я размышлял в часы одиночества и уныния; но, видя добродетели обитателей хижины, их кротость и благожелательность, я убеждал себя, что они пожалеют меня, когда узнают о моем восхищении ими, и простят мне мое уродство. Неужели они прогонят от себя существо, умоляющее о жалости и дружбе, как бы уродливо оно ни было? Я ре-

шил не отчаиваться, но как можно лучше подготовиться к встрече с ними, которая решит мою судьбу. Эту встречу я отложил еще на несколько месяцев; значение, которое я придавал ей, заставляло меня страшиться неудачи. К тому же каждодневный опыт так развивал мой ум, что мне не хотелось ничего предпринимать, пока время не прибавит мне мудрости.

Между тем в хижине произошли некоторые перемены. Приезд Сафии принес не только радость, но и достаток. Феликс и Агата уделяли теперь больше времени забавам и беседе, а в трудах им помогали работники. Это было не богатство, но довольство; у них царил безмятежный покой; а во мне с каждым днем росло смятение. Познание лишь яснее показало мне, что я — отверженный. Правда, я лелеял надежду; но стоило мне увидеть свое отражение в воде или свою тень при лунном свете, как надежда исчезала, подобно зыбкому отражению и неверной тени.

Я пытался побороть страх и укрепить свой дух для предстоявшего мне через несколько месяцев испытания. Иногда, не сдерживая свои мечты разумом, я позволял им уноситься в сады рая и осмеливался рисовать в своем воображении прекрасные и нежные создания, которые сочувствуют мне и ободряют меня; на их ангельских лицах сияют для меня улыбки утешения. Но это были лишь мечты; у меня не было Евы, которая делила бы мои мысли и развеивала мою печаль; я был один. Я вспомнил мольбу Адама к своему создателю. А где же был мой создатель? Он покинул меня, и, ожесточась сердцем, я проклинал его.

Так прошла осень. С удивлением и грустью я увидел, как опали листья и все вновь стало голо и мрачно, как было тогда, когда я впервые увидел лес и свет луны. Стужа меня не пугала. Я был лучше приспособлен для нее, чем для жары. Но меня радовали цветы, птицы и весь веселый наряд лета; когда я лишился этого, меня еще больше потянуло к жителям хижины. Их счастье не убавилось с уходом лета. Они любили друг друга, и радости, которые они друг другу дарили, не зависели от происходивших в природе перемен. Чем больше я наблюдал их, тем больше мне хотелось просить у них защиты и ласки; я жаждал, чтобы они узнали меня и полюбили; увидеть их ласковые взгляды, обращенные на меня, было преде-

лом моих мечтаний. Я не решался подумать, что они могут отвратить их от меня с презрением и брезгливостью. Ни одного нищего они не прогоняли от своих дверей. Правда, я собирался просить о большем, чем приют или кусок хлеба, я искал сочувствия и расположения; но неужели я был совершенно недостоин их?

Наступила зима; с тех пор как я пробудился к жизни, природа совершила полный круговорот. Теперь все помыслы мои были обращены на то, как показаться обитателям хижины. Я перебрал множество планов, но в конце концов решил войти в хижину, когда слепой старец будет там один. Я был достаточно сообразителен, чтобы понять, что все видевшие меня до тех пор более всего пугались моего внешнего уродства. Голос мой был груб, но не страшен. Поэтому я полагал, что если я завоюю расположение старого Де Лэси в отсутствие его детей, то и мои молодые покровители, быть может, согласятся меня терпеть.

Однажды, когда солнце ярко освещало багровую листву, устилавшую землю, и еще радовало взор, хотя уже не грело, Сафия, Агата и Феликс отправились в дальнюю прогулку, а старик пожелал остаться дома. Когда его дети ушли, он взял свою гитару и сыграл несколько печальных и нежных мелодий, самых печальных и нежных из всех, что я слышал. Сперва лицо его светилось удовольствием, но скоро сделалось задумчивым и печальным; отложив инструмент, он погрузился в раздумье.

Сердце мое сильно билось; пришел час испытания, который осуществит мои надежды или подтвердит опасения. Слуги ушли на ближнюю ярмарку. Все было тихо в хижине и вокруг нее; это был отличный случай; и все же, когда я приступил к осуществлению своего плана, силы оставили меня, и я опустился на землю. Но я тут же поднялся и, призвав на помощь всю твердость, на какую я был способен, отодвинул доски, которыми маскировал вход в свой сарай. Свежий воздух ободрил меня и я с новой решимостью приступил к дверям хижины.

Я постучал.

— Кто там? — откликнулся старик. — Войдите.

Я вошел.

— Прошу простить мое вторжение, — сказал я. — Я — путник и нуждаюсь в отдыхе. Я буду очень благодарен, если вы позволите мне немного посидеть у огня.

— Входите,— сказал Де Лэси,— и я постараюсь чем-нибудь вам помочь. Вот только жаль, моих детей нет дома, а я слеп и, боюсь, не сумею вас накормить.

— Не утруждайте себя, мой добрый хозяин, еда у меня есть; мне нужно лишь обогреться и отдохнуть.

Я сел, и наступило молчание. Я знал, что каждая минута дорога, и все же не решался начать разговор; но тут старик сам обратился ко мне:

— Судя по вашей речи, путник, вы мой земляк — ведь вы тоже француз, не правда ли?

— Нет, но я вырос во французской семье и знаю один лишь этот язык. Сейчас я пришел просить убежища у друзей, которых я искренне люблю и надеюсь к себе расположить.

— А они немцы?

— Нет, они французы. Но позвольте сказать о другом. Я существо одинокое и несчастное. На всем свете у меня нет ни родственника, ни друга. Добрые люди, к которым я иду, никогда меня не видели и мало обо мне знают. Мне страшно; если я и здесь потерплю неудачу, то уж навсегда буду отщепенцем.

— Не отчаивайтесь. Одиночество действительно несчастье. Но сердца людей, когда у них нет прямого эгоистического расчета, полны братской любви и милосердия. Надейтесь; если это добрые люди, отчаиваться не следует.

— Они добры, нет никого добрее их; но, к несчастью, они предубеждены против меня. У меня кроткий нрав, я никому еще не причинил зла и даже старался делать добро; но они ослеплены роковым предубеждением и вместо любящего друга видят только отвратительного уroda.

— Это печально, но если вас действительно не в чем упрекнуть, неужели нельзя рассеять их заблуждение?

— Я попытаюсь это сделать; поэтому-то меня и томит страх. Я нежно люблю своих друзей; незнаемый ими, я вот уже много месяцев стараюсь им служить, но они могут подумать, что я хочу причинить им зло; вот предубеждение, которое мне надо рассеять.

— Где они живут?

— Поблизости отсюда.

Старик помолчал, а затем продолжал:

— Если вы откровенно поделитесь со мной подробностями своей истории, я, быть может, помогу вам расположить их к себе. Я слеп и не вижу вас, но что-то в ваших словах убеждает меня в вашей искренности. Я всего лишь бедный изгнанник, но для меня будет истинной радостью оказать услугу ближнему.

— Добрый человек! Благодарю вас и принимаю ваше великодушное предложение. Вашей добротой вы подымаете меня из праха. Я верю, что с вашей помощью не буду отлучен от общества ваших ближних.

— Упаси боже! Пусть вы даже преступник, отлучение только доведет вас до отчаяния, но не обратит к добру. Я тоже несчастен; я и моя семья были безвинно осуждены. Судите сами, как я сочувствую вашим горестям.

— Как мне благодарить вас, мой единственный благодетель? Из ваших уст я впервые слышу добрые слова, обращенные ко мне. Я вечно буду вам благодарен; ваша доброта позволяет мне надеяться, что меня ждет хороший прием и у друзей, с которыми я должен сейчас встретиться.

— Позвольте узнать их имена и где они живут?

Я умолк. Вот она, решительная минута, которая осчастливит меня или лишит счастья навеки. Я напрасно пытался ответить ему; волнение лишило меня последних сил. Я опустил на стул и разрыдался. В это время слышались шаги моих молодых покровителей. Нельзя было терять ни минуты. Схватив руку старика, я воскликнул:

— Час настал! Защитите и спасите меня! Друзья, к которым я стремлюсь,— это вы и ваша семья. Не оставляйте меня в этот час испытания!

— Боже! — вскричал старик. — Кто же вы такой?

Тут дверь распахнулась, и вошли Феликс, Сафия и Агата. Кто опишет их ужас при виде меня? Агата упала без чувств. Сафия, не в силах оказать помощь своей подруге, выбежала вон. Феликс кинулся ко мне и со сверхъестественной силой оттолкнул меня от старика, у которого я обнимал колени. В ярости он опрокинул меня на землю и сильно ударил палкой. Я мог бы разорвать его на куски, как лев — антилопу. Но мое сердце сжала смертельная тоска, и я удержался. Он приготовился

повторить удар, но тут я, не помня себя от горя, бросился вон из хижины и среди общего смятения, никем не замеченный, успел укрыться в своем сарае.

Глава XVI

О проклятый, проклятый мой создатель! Зачем я остался жить? Зачем тут же не погасил искру жизни, так необдуманно зажженную тобой? Не знаю; но тогда я еще не впал в отчаяние; мной владели ярость и жажда мести. Я с радостью уничтожил бы хижину вместе с ее обитателями и наслаждался бы их стонами и страданиями.

Когда наступила ночь, я вышел из своего убежища и побрел по лесу; здесь, не опасаясь быть услышанным, я выразил свою муку ужасными криками. Подобно дикому зверю, порвавшему пути, я сокрушал все, что мне попадалось, и метался по лесу с быстротою оленя. О, какую страшную ночь я пережил! Холодные звезды смотрели на меня с насмешкой; обнаженные деревья качали надо мною ветвями; по временам тишина нарушалась мелодичным пением птиц. Все, кроме меня, вкушали покой и радость; и только я, подобно Сатане, носил в себе ад; не видя нигде сочувствия, я жаждал вырывать с корнем деревья и сеять вокруг себя разрушение; а потом любоваться делом своих рук.

Но подобное исступление не могло длиться долго. Буйство утомило меня, и я в бессильном отчаянии опустил на влажную траву. Среди бесчисленных жителей земли не нашлось ни одного, кто пожалел бы меня и помог мне; так что же мне щадить моих врагов? Нет, с той минуты я объявил вечную войну всему человеческому роду, и прежде всего тому, кто создал меня и обрек на нестерпимые муки.

Взошло солнце; я услышал людские голоса и понял, что при свете дня не смогу вернуться в свое убежище. Поэтому я спрятался в густом кустарнике, решив посвятить ближайшие часы раздумьям над своим положением.

Солнечное тепло и чистый воздух несколько умиротворили меня; вспомнив, что произошло в хижине, я заключил, что слишком поторопился с окончательным выводом. Я, несомненно, поступил неосторожно. Мои речи явно расположили старика в мою пользу, но какой же я был дурак, что

тут же показался на глаза его детям! Мне надо было прежде приучить к себе старого Де Лэси, а перед остальными членами семьи появиться позже, когда они были бы к этому подготовлены. Однако эти ошибки не казались мне непорочными. После долгих размышлений я решил вернуться в хижину, снова обратиться к старику и склонить его на свою сторону.

Эти мысли меня успокоили; и к полудню я крепко уснул; но жар в моей крови еще не остыл, и мои сновидения не могли быть мирными. Страшная сцена, происшедшая накануне, вновь и вновь разыгрывалась передо мной: женщины убегали, а разъяренный Феликс отрывал меня от колен своего отца. Я проснулся в изнеможении; видя, что уже стемнело, я вылез из кустов и отправился добывать пищу.

Утолив голод, я вышел на знакомую тропинку и направился к хижине. Там царила тишина. Я прокрался в свой сарай и стал дожидаться часа, когда семья обычно пробуждалась. Этот час прошел, солнце поднялось совсем высоко, а обитатели хижины не показывались. Я дрожал, опасаясь какого-нибудь ужасного несчастья. Внутри хижины было темно и не слышалось ни звука; не могу описать, как мучительно была эта неизвестность.

Вот прошли мимо два крестьянина; замедлив шаг возле хижины, они завели разговор, сопровождая его оживленной жестикуляцией; но я не понимал их, ибо они говорили на языке своей страны, а это не был язык моих покровителей. Вскоре, однако, подошел Феликс, а с ним еще один человек. Это меня удивило, ибо я не видел, чтобы он утром выходил из дому; и я с волнением ждал, надеясь из его речей понять, что происходит.

— Ты, значит, хочешь,— говорил Феликсу его спутник,— уплатить за три месяца аренды, да еще оставить в огороде несобранный урожай? Я не хочу пользоваться чужой бедой. Давай лучше подождем несколько дней, может, ты передумаешь?

— Бесполезно,— ответил Феликс,— мы не сможем здесь оставаться. Мой отец опасно занемог после пережитых ужасов. Моя жена и моя сестра никогда от них не оправятся. Нет, не уговаривайте меня. Вот вам ваш дом, а мне бы только скорее бежать отсюда.

Говоря это, Феликс весь дрожал. Вместе со своим спутником он на несколько минут вошел в дом, а затем удалился. С тех пор я больше не видел никого из семьи Де Лэси.

Остаток дня я провел в своем сарае, погруженный в тупое отчаяние. Мои покровители уехали и порвали единственную связь, соединявшую меня с миром. Тут моя душа впервые наполнилась ненавистью и жадой мести, и я не пытался их побороть; я отдался в их власть, и все мои помыслы обратились на разрушение и смерть. При воспоминании о моих друзьях, о ласковом голосе Де Лэси, о кротких глазах Агаты, о дивной красоте аравитянки эти мысли исчезали и сменялись слезами, которые несколько облегчали меня. Но я тут же вспоминал, как они оттолкнули и покинули меня, и во мне снова закипала неистовая ярость; не имея возможности сокрушить что-либо живое, я обратил ее на неодушевленные предметы. Когда стемнело, я обложил хижину всевозможными горючими материалами; уничтожив все, что росло в огороде, я стал с нетерпением дожидаться, пока зайдет луна и можно будет начать действовать.

Ночью из леса подул сильный ветер и быстро разогнал замешкавшиеся в небе облака; порывы его все усиливались и крепчали и вызвали во мне какое-то безумие, опрокинувшее все преграды рассудка. Я поджег сухую ветку и заплесал вокруг обреченной хижины, не переставая взглядывать на запад, где луна уже заходила. Наконец часть ее диска скрылась, и я взмахнул своим факелом; когда она скрылась целиком, я с громким криком поджег собранную мной солому, вереск и ветки кустарника. Ветер раздул огонь, и скоро вся хижина окуталась пламенем, лизавшим ее губительными языками.

Убедившись, что дом уже невозможно спасти, я удалился и скрылся в лесу.

Передо мной был открыт весь мир; куда же направиться? Я решил бежать как можно дальше от мест, где я столько выстрадал. Но для меня, всеми ненавидимого и презираемого, любой край таил в себе ужасы. Наконец меня осенила мысль о тебе. Из твоих записей я узнал, что ты являешься моим отцом, моим создателем; к кому же мне подобало обратиться, как не к тому, кто дал мне жизнь? В числе предметов, которым Феликс обучал Сафию, не была забыта и география. Из нее я узнал об относительном расположении различных стран на земном шаре. Ты упоминал Женеву как свой родной город; туда я и решил отправиться.

Но как я мог найти туда дорогу? Я знал, что для этого необходимо двигаться в юго-западном направлении; но единственным моим путеводителем было солнце. Я не знал

названий городов, через которые мне предстояло пройти, и не надеялся получить сведения ни от одного человеческого существа; однако я не отчаивался. От тебя одного я ждал помощи, хотя и не питал к тебе ничего, кроме ненависти. Безжалостный, бессердечный создатель! Ты наделил меня чувствами и страстями, а потом бросил, сделав предметом всеобщего презрения и отвращения. Но только от тебя я мог ждать сочувствия и возмещения обид, и я решил искать у тебя справедливости, которую напрасно пытался найти у других существ, именующих себя людьми.

Путешествие мое было долгим, и я испытал невыносимые страдания. Стояла поздняя осень, когда я покинул местность, где так долго прожил. Я передвигался только ночью, боясь встретиться с человеческим существом. Природа вокруг меня увядала, солнце уже не излучало тепла; шел дождь и снег; замерзали могучие реки; поверхность земли стала твердой, холодной и голой; я нигде не находил крова. О Земля! Как часто я проклинал свое существование! Все добрые чувства исчезли во мне, и я был полон злобы и горечи. Чем больше я приближался к твоим родным местам, тем сильнее разгоралась в моем сердце мстительная злоба. Падал снег; водоемы замерзли, но я не отдыхал. Некоторые случайности время от времени помогали мне, и у меня была карта страны; но все же я часто далеко отклонялся от своего пути. Мои страдания не давали мне передышки; не было события, которое не питало бы мою ярость и отчаяние. Но то, что случилось со мной, когда я очутился в пределах Швейцарии и солнце снова стало излучать тепло, а земля покрываться зеленью, особенно ожесточило меня.

Обычно я отдыхал в течение дня и отправлялся в путь, только когда ночь надежно скрывала меня от людей. Но однажды утром, убедившись, что мой путь проходит через густой лес, я осмелился продолжить свое путешествие после восхода солнца; наступивший день, один из первых дней весны, подбодрил даже меня — так ярко светило солнце и так ароматен был воздух. Я ощутил, что во мне оживают нежные и радостные чувства, которые казались давно умершими. Пораженный новизной этих ощущений, я отдался им и, забыв о своем одиночестве и уродстве, отважился быть счастливым. По моим щекам снова потекли тихие слезы; я даже благодарно возвел влажные глаза к благословенному солнцу, дарившему меня такой радостью.

Я долго кружил по лесным тропинкам, пока не добрался до опушки, где протекала глубокая и быстрая речка, над которой деревья склоняли свои ветви, ожившие с весною. Здесь я остановился, как вдруг услышал голоса, заставившие меня укрыться в тень кипариса. Едва я успел спрятаться, как к моему укрытию подбежала молодая девушка, громко смеясь, словно она, играючи, от кого-то спасалась. Она побежала дальше по обрывистому берегу, но вдруг поскользнулась и упала в быстрый поток. Я выскочил из своего укрытия; напрягая все силы в борьбе с течением, я спас ее и вытащил на берег. Она лежала без чувств. Я употребил все, что было в моих силах, чтобы ее оживить; но тут меня застиг крестьянин, вероятно тот самый, от которого она в шутку убегала. Увидев меня, он бросился ко мне и, вырвав девушку из моих рук, поспешно направился в глубь леса. Я быстро последовал за ними, едва отдавая себе отчет, зачем я это делаю. Но когда он увидел, что я нагоняю его, он прицелился в меня из ружья и выстрелил. Я упал, а мой обидчик с еще большей поспешностью скрылся в лесу.

Вот какую награду я получил за свою доброту! Я спас человеческую жизнь, а за это корчился теперь от ужасной боли; выстрел разорвал мышцу и раздробил кость. Добрые чувства, которые я испытывал лишь за несколько мгновений до этого, исчезли, и я в бешенстве скрежетал зубами. Обезумев от боли, я дал обет вечной ненависти и мщения всему человечеству. Но страдания, причиненные раной, истощили меня; пульс мой остановился, и я потерял сознание.

В течение нескольких недель я влачил жалкое существование в лесах, пытаюсь залечить полученную рану. Пуля попала мне в плечо, и я не знал, застряла ли она там или прошла насквозь; во всяком случае, у меня не было никакой возможности ее извлечь. Мои страдания усугублялись гнетущим сознанием несправедливости, мыслью о неблагодарности тех, кто их причинил. Я ежедневно клялся в мщении — смертельном мщении, которое одно могло вознаградить меня за все муки и оскорбления.

Через несколько недель рана зажила, и я продолжал свой путь. Яркое солнце и нежные дуновения весны не могли больше облегчить трудности, которые я испытывал. Радость

обернулась насмешкой, оскорбившей мою неутешную душу и заставившей меня еще мучительнее почувствовать, что я не создан для счастья.

Однако мой трудный путь уже подходил к концу. Через два месяца я достиг окрестностей Женевы.

Когда я прибыл, уже вечерело, и я решил заночевать в поле, чтобы обдумать, с какими словами обратиться к тебе. Я был подавлен усталостью и голодом и чувствовал себя слишком несчастным, чтобы наслаждаться свежестью легкого вечернего ветерка или зрелищем солнца, сядившегося за громадные вершины Юры.

Я забылся легким сном, который позволил мне отдохнуть от мучительных дум; но он был вскоре нарушен появлением прелестного ребенка, вбежавшего в мое укрытие со всей резвостью своего возраста. При взгляде на него меня осенила мысль, что это маленькое создание еще не предубеждено против меня и прожило слишком короткую жизнь, чтобы проникнуться отвращением к уродству. Если бы мне удалось схватить его и сделать своим товарищем и другом, я не был бы так одинок на этой населенной земле.

Вот почему я поймал мальчика, когда он пробегал мимо меня, и привлек к себе. Но он при виде меня закрыл глаза руками и издал пронзительный крик. Я с силой отвел его руки в стороны и сказал:

— Мальчик, зачем ты кричишь? Я тебе не обижу, слушай меня.

Он отчаянно забился.

— Пусти меня,— кричал он.— Урод! Мерзкий урод! Ты хочешь меня съесть и разорвать на кусочки. Ты — людоед. Пусти меня, а то я скажу папе.

— Мальчик, ты никогда больше не увидишь своего папу; ты должен пойти со мной.

— Отвратительное чудовище! Пусти меня. Мой папа — судья. Его зовут Франкенштейн. Он тебя накажет. Ты не смеешь меня держать.

— Франкенштейн! Ты, значит, принадлежишь к стану моего врага, которому я поклялся вечно мстить. Так будь же моей первой жертвой.

Мальчик продолжал бороться и наделять меня эпитетами, вселявшими в меня отчаяние. Я сжал его горло, чтоб он замолчал, и вот он уже лежал мертвым у моих ног.

Я глядел на свою жертву, и сердце мое переполнилось ликованием и дьявольским торжеством; хлопнув в ладоши, я воскликнул:

— Я тоже могу сеять горе; оказывается, мой враг уязвим; эта смерть приведет его в отчаяние, и множество других несчастий истерзает и раздавит его!

Уставившись на ребенка, я увидел на его груди что-то блестящее. Я взял вещицу в руки; это был портрет прекрасной женщины. Несмотря на бушевавшую во мне злобу, он привлек мой взгляд и смягчил меня. Несколько мгновений я восхищенно всматривался в темные глаза, окаймленные длинными ресницами, и в прелестные уста. Но вскоре гнев снова обуял меня; я вспомнил, что навсегда лишен радости, какую способны дарить такие женщины; ведь если б эта женщина, чьим портретом я любовался, увидела меня, выражение божественной доброты сменилось бы у нее испугом и отвращением.

Можно ли удивляться, что такие думы приводили меня в ярость? Я удивляюсь лишь одному: почему в тот момент я дал выход своим чувствам только восклицаниями, а не бросился на людей и не погиб в схватке с ними.

Подавленный этими чувствами, я покинул место, где совершил убийство, и в поисках более надежного укрытия вошел в какой-то сарай, думая, что там никого нет. На соломе спала женщина; она была молода, правда, не так прекрасна, как та, чей портрет я держал в руках, но приятной внешности, цветущая юностью и здоровьем. Вот, подумал я, одна из тех, кто дарит нежные улыбки всем, кроме меня. Тогда я склонился над нею и прошептал: «Проснись, прекраснейшая, твой возлюбленный тут, рядом с тобою и готов отдать жизнь за один твой ласковый взгляд; любимая, проснись!»

Спящая шевельнулась; и дрожь ужаса пронизала меня. А вдруг она в самом деле проснется, увидит меня, проклянет и обличит как убийцу? Так она и поступила бы, если бы глаза ее открылись и она увидела меня. Эта мысль могла свести с ума; она разбудила во мне дьявола; пусть пострадаю не я, а она, пусть поплатится за убийство, которое я совершил; ведь я навеки лишен всего, что она могла бы мне дать. Она породила преступление, пусть она и понесет наказание! Уроки Феликса и кровавые законы людей научили меня творить зло. Я склонился над ней и спрятал

портрет в складках ее платья. Она снова шевельнулась, и я убежал.

Еще несколько дней я бродил возле места, где произошли эти события, то желая увидеть тебя, то решая навсегда покинуть этот мир страданий. Наконец я поднялся в горы и теперь брожу здесь в глуши, снедаемый жгучей страстью, которую могу удовлетворить лишь при твоей помощи. Мы не можем расстаться до тех пор, пока ты не обещаешь согласиться на мое требование. Я одинок и несчастен, ни один человек не сблизится со мной; но существо такое же безобразное, как я сам, не отвергнет меня. Моя подруга должна быть такой же, как я, и отличаться таким же уродством. Это существо ты должен создать.

Глава XVII

Чудовище умолкло и вперило в меня взгляд, ожидая ответа. Но я был ошеломлен, растерян и не мог достаточно собраться с мыслями, чтобы в полной мере понять его требование. Он продолжал:

— Ты должен создать для меня женщину, с которой мы могли бы жить, питая друг к другу привязанность, необходимую мне как воздух. Это можешь сделать только ты. Я вправе требовать этого, и ты не можешь мне отказать.

Последние его слова с новой силой возбудили мой гнев, который было утих, пока он рассказывал о своей мирной жизни в хижине; когда же он произнес эти слова, я больше не в силах был совладать со своей яростью.

— Я отказываюсь,— ответил я,— и никакие попытки не вырвут у меня согласия. Ты можешь сделать меня самым несчастным из людей, но ты никогда не заставишь меня пасть так низко в моих собственных глазах. Могу ли я создать другое, подобное тебе, существо, чтобы вы вместе опустошали мир? Прочь от меня! Мой ответ ясен; ты можешь замучить меня, но я никогда на это не соглашусь.

— Ты несправедлив,— ответил демон.— Я не стану угрожать, я готов убеждать тебя. Я затаил злобу, потому что несчастен. Разве не бегут от меня, разве не ненавидят

меня все люди? Ты сам, мой создатель, с радостью растерзал бы меня; пойми это и скажи, почему я должен жалеть человека больше, чем он жалеет меня? Ты не считал бы себя убийцей, если бы тебе удалось сбросить меня в одну из этих ледяных пропастей и уничтожить мое тело — создание твоих собственных рук. Почему же я должен щадить людей, когда они меня презирают? Пусть бы человек жил со мной в согласии и дружбе; тогда вместо зла я осыпал бы его всеми благами и со слезами благодарил бы только за то, что он принимает их. Но это невозможно. Человеческие чувства создают для нашего союза неодолимую преграду. А я не могу смириться с этим, как презренный раб. Я отомщу за свои обиды. Раз мне не дано вселять любовь, я буду вызывать страх; и прежде всего на тебя — моего заклятого врага, моего создателя, я клянусь обрушить неугасимую ненависть. Берегись: я сделаю все, чтобы тебя уничтожить, и не успокоюсь, пока не опустошу твое сердце и ты не проклянешь час своего рождения.

Эти слова он произнес с дьявольской злобой. Его лицо исказилось безобразной гримасой, которую не мог выдержать человеческий взгляд. Однако вскоре он успокоился и продолжал:

— Я хотел убедить тебя. Злобой я могу только повредить себе в твоих глазах; ибо ты не хочешь понять, что именно ты ее причина. Если б кто-нибудь отнесся ко мне с ласкою, я отплатил бы ему стократно; ради одного этого создания я помирился бы со всем человеческим родом. Но это — несбыточная мечта. А то, что я прошу у тебя, разумно и скромно. Мне нужно существо другого пола, но такое же отвратительное, как и я. Малая радость, но это все, что я могу получить. И я удовольствуюсь этим. Правда, мы будем уродами, отрезанными от мира; но благодаря этому мы еще более привяжемся друг к другу. Наша жизнь не будет счастливой, но она будет чиста и свободна от страданий, которые я сейчас испытываю. О мой создатель! Сделай меня счастливым; позволь мне почувствовать благодарность к тебе за одну-единственную милость. Позволь мне убедиться, что я способен хоть в ком-нибудь возбудить сочувствие; не отказывай в моей просьбе!

Я был тронут. Я содрогался, думая о возможных последствиях моего согласия, но признавал, что в его доводах есть нечто справедливое. Его рассказ и выраженные

им чувства показали, что это существо наделено чувствительностью. И не был ли я обязан, как его создатель, наделить его частицей счастья, если это было в моей власти? Он заметил перемену в моем настроении и продолжал:

— Если ты согласен, то ни ты, ни какое-либо другое человеческое существо никогда нас больше не увидит: я удалюсь в обширные пустыни Южной Америки. Моя пища отличается от человеческой; я не уничтожу ни ягненка, ни козленка ради насыщения своей утробы; желуды и ягоды — вот все, что мне нужно. Моя подруга, подобно мне, будет довольствоваться той же пищей. Нашим ложем будут сухие листья; солнце будет светить нам, как светит и людям, и растить для нас плоды. Картина, которую я тебе рисую — мирная и человеческая, и ты, конечно, сознаешь, что не можешь отвергнуть мою просьбу ради того, чтобы показать свою власть и жестокость. Как ты ни безжалостен ко мне, сейчас я вижу в твоих глазах сострадание. Дай мне воспользоваться благоприятным моментом, обещай мне то, чего я так горячо желаю.

— Ты предполагаешь, — отвечал я, — покинуть населенные места и поселиться в пустыне, где единственным твоими соседями будут дикие звери. Как сможешь ты, кто так страстно жаждет любви и привязанности людей, оставаться в изгнании? Ты вернешься и снова будешь искать их расположения и снова встретишься с их ненавистью. Твоя злоба разгорится вновь, а у тебя еще будет подруга, которая поможет тебе все сокрушать. Этого не должно быть; не настаивай, ибо я все равно не могу согласиться.

— Как ты непостоянен в своих чувствах! Только мгновение назад ты был тронут моими доводами; зачем же, выслушав мои жалобы, ты снова ожесточаешься против меня? Клянусь землей, на которой я живу, и тобой — моим создателем, — что вместе с подругой, которую ты мне дашь, я удалюсь от людей и удовольствуюсь жизнью в самых пустынных местах. Злобные страсти оставят меня, ибо кто-то будет меня любить. Моя жизнь потечет спокойно, и в мой смертный час я не прокляну своего творца.

Его слова производили на меня странное действие. Порой во мне пробуждалось сострадание и являлось желание утешить его. Но стоило мне взглянуть на него

и увидеть отвратительного уроды, который двигался и говорил, как все во мне переворачивалось и доброе чувство вытеснялось ужасом и ненавистью. Я пытался подавить их. Я говорил себе, что, хотя и не могу ему сочувствовать, однако не имею права отказывать в доле счастья, которую могу ему дать.

— Ты клянешься не приносить вреда,— сказал я,— но разве ты уже не обнаружил злобности, которая мешает мне поверить твоим словам? Как знать, может быть, все это одно притворство и ты будешь торжествовать, когда получишь более широкий простор для осуществления своей мести.

— Ах, вот как? Со мной нельзя шутить. Я требую ответа. Если у меня не будет привязанностей, я предамся ненависти и пороку. Любовь другого существа устранила бы причину моих преступлений, и никто обо мне ничего не услышал бы. Мои злодеяния порождены вынужденным одиночеством, которое мне ненавистно; мой добродетели непременно расцветут, когда я буду общаться с равным мне существом. Я буду ощущать привязанность мыслящего создания; я стану звеном в цепи всего сущего, в которой мне сейчас не находится места.

Я помолчал, размышляя над его рассказом и всеми его доводами. Я думал о добрых задатках, которые обнаружились у него в начале его жизненного пути, и о том, как все хорошее было уничтожено в нем отвращением и презрением, с которым к нему отнеслись его покровители. Подумал я также и об его физической мощи и его угрозах; создание, способное жить в ледяных пещерах и убегать от преследователей по краю неприступных пропастей, обладало такой силой, что с ним трудно было тягаться. После длительного раздумья я решил, что справедливость, как по отношению к нему, так и по отношению к моим ближним, требует, чтоб я согласился на его просьбу. Обратясь к нему, я сказал:

— Я исполню твое желание, но ты должен дать торжественную клятву навсегда покинуть Европу и все другие населенные места, как только получишь от меня женщину, которая разделит с тобой изгнание.

— Клянусь солнцем и голубым сводом небес,— воскликнул он,— клянусь огнем любви, горящим в моем сердце, что, исполнив мою просьбу, ты больше меня не увидишь,

пока они существуют. Возвращайся домой и приступай к работе. Я буду следить за ее ходом с невыразимой тревогой; и будь уверен — как только все будет готово, я появлюсь.

Произнеся эти слова, он поспешно покинул меня, вероятно боясь, что я могу передумать. Я видел, как он спустился с горы быстрее, чем летит орел; вскоре он затерялся среди волнистого ледяного моря.

Рассказ его занял весь день; когда он удалился, солнце уже садилось. Я знал, что мне нужно не медля спускаться в долину, так как вскоре все погрузится в темноту; но на сердце у меня было тяжело, и это замедляло мой шаг. Поглощенный мыслями о событиях прошедшего дня, я с трудом пробирался по узким горным тропинкам, то и дело рискуя оступиться. Была уже глубокая ночь, когда я подошел к месту привала, лежащему на полпути, и присел около источника.

По временам в просветы между облаков светили звезды. Передо мной поднимались высокие сосны; кое-где они лежали поваленные. То была суровая картина, возбудившая во мне странные думы. Я горько заплакал. В отчаянии сжимая руки, я воскликнул: «О звезды, тучи и ветры! Вы насмехаетесь надо мной. Если вам действительно жаль меня, лишите меня чувств и памяти, превратите в ничто; если же вы этого не можете, исчезните и оставьте меня во тьме».

Это были бессвязные и мрачные думы. Не могу описать, как угнетало меня мерцание звезд, как я прислушивался к каждому порыву ветра, словно то был зловеющий сирокко, грозивший мне гибелью.

Уже рассвело, когда я пришел в деревню Шамуни; сразу же, не отдохнув, я направился в Женеву. Я не мог разобратся в обуревавших меня чувствах. На меня навалилась тяжесть, огромная, как гора; она притупляла даже мои страдания. В таком состоянии я вернулся домой и предстал перед родными. Мой изможденный вид возбудил сильную тревогу. Но я не отвечал ни на один вопрос и едва был в состоянии говорить. Я сознавал, что на мне тяготеет проклятие и я не имею права на сочувствие; мне казалось, что я никогда уже не буду наслаждаться общением с близкими. Однако я и теперь любил их самозабвенно. Ради их спасения я решил посвятить себя ненавистной мне работе. Все

другие стороны жизни отступили, точно сон, перед перспективой этой работы. Только одна эта мысль и представлялась мне ясно.

Глава XVIII

Шли день за днем, неделя за неделей после моего возвращения в Женеву, а я все не мог набраться мужества и приступить к работе. Я страшился мести демона, обманутого в своих надеждах, но все еще не мог преодолеть отвращение к навязанному мне делу. Мне стало ясно, что я не могу создать женщину, не посвятив снова несколько месяцев тщательным исследованиям и изысканиям. Я слышал о некоторых открытиях, сделанных одним английским ученым; сведения о них могли иметь важное значение для успеха моей работы, и я иногда подумывал отпроситься у отца и посетить Англию в этих целях. Но я цеплялся за каждый предлог отложить разговор и уклонялся от первого шага, тем более что срочность дела начала казаться мне все более сомнительной. Во мне произошла перемена: мое здоровье, прежде подорванное, теперь окрепло; соответственно поднималось и мое настроение, когда оно не омрачалось мыслью о злополучном обещании. Отец мой с радостью наблюдал эту перемену и думал об одном: как бы найти наилучший способ развеять без остатка мою печаль, которая иногда возвращалась и затмевала восходившее солнце. В такие минуты я искал полного одиночества. Целые дни я проводил один в маленькой лодке на озере, молчаливый и безучастный, следя за облаками и прислушиваясь к плеску волн. Но свежий воздух и яркое солнце почти всегда восстанавливали в какой-то степени мой душевный покой. По возвращении я отвечал на приветствия своих близких более весело и не так натянуто.

Однажды, после возвращения с такой прогулки, отец, отозвав меня в сторону, обратился ко мне со следующими словами:

— Я с радостью замечаю, милый сын, что ты вернулся к прежним любимым развлечениям и, как мне кажется, приходишь в себя. И, однако, ты все еще несчастен и все еще избегаешь нашего общества. Некоторое время я терялся в

догадках о причине этого; но вчера меня осенила одна мысль, и, если она верна, я умоляю тебя открыться мне. Умолчание в таком деле не только бесполезно, но может навлечь на всех нас еще большие несчастья.

От такого вступления я задрожал всем телом, а отец продолжал:

— Сознаюсь, я всегда смотрел на твой брак с нашей милой Элизабет как на довершение нашего семейного благополучия и опору для меня в старости. Вы привязаны друг к другу с раннего детства; вы вместе учились и, по своим склонностям и вкусам, вполне друг к другу подходите. Но людская опытность слепа, и то, что я считал наилучшим путем к счастью, может целиком его разрушить. Быть может, ты относишься к ней, как к сестре, не имея ни малейшего желания сделать ее своей женой. Более того, возможно, что ты встретил другую девушку и полюбил ее; считая себя связанным словом чести с Элизабет, ты борешься со своим чувством, и это, по-видимому, причиняет тебе страдания.

— Дорогой отец, успокойтесь. Я люблю свою кузину нежно и искренне. Я никогда не встречал женщины, которая так же, как Элизабет, возбуждала бы во мне самое горячее восхищение и любовь. Мои надежды на будущее и все мои планы связаны с нашим предстоящим союзом.

— Твои слова, милый Виктор, доставляют мне радость, какую я давно не испытывал. Если таковы твои чувства, то мы, несомненно, будем счастливы, как бы ни печалили нас недавние события. Но именно этот мрак, который окутал твою душу, я хотел бы рассеять. А что, если не откладывать дальше вашей свадьбы? На нас обрушились несчастья; недавние события вывели нас из спокойствия, подобающего мне по моим летам и недугам. Ты моложе; но я не считаю, чтобы при твоём недостатке ранний брак мог помешать выполнению любых намерений отличиться и послужить людям. Не подумай, однако, что я собираюсь навязывать тебе счастье и что отсрочка вызовет у меня беспокойство. Не ищи в моих словах какой-либо задней мысли и, умоляю тебя, отвечай мне доверчиво и искренне!

Я молча выслушал отца и в течение некоторого времени не мог отвечать. Множество мыслей пронеслось в моей голове. Я старался прийти к какому-либо решению. Увы! Немедленный союз с моей Элизабет внушал мне ужас и страх. Я был связан торжественным обещанием, которое еще не

выполнил и которое не смел нарушить. А если бы я это сделал, какие несчастья нависли бы надо мной и моей обреченной семьей! Мог ли я праздновать свадьбу, когда на шее у меня висел смертельный груз, пригибавший меня к земле? Я должен был выполнить свое обязательство и дать возможность чудовищу скрыться вместе с его подругой, прежде чем мог насладиться счастьем союза, сулившего мне желанный покой.

Я вспомнил также о настоятельной необходимости либо поехать в Англию, либо завязать длительную переписку с теми из тамошних ученых, познания и открытия которых были крайне необходимы в предстоявшей мне работе. Вторым способ получения желаемых сведений мог оказаться медленным и недостаточным. Кроме того, мне претила мысль заняться моей омерзительной работой в доме отца, при постоянном общении с теми, кого я любил. Я знал, что возможна тысяча несчастных случайностей и самая ничтожная из них может раскрыть тайну, которая заставит трепетать от ужаса всех, кто со мною связан. Я сознавал также, что часто буду терять самообладание и способность скрывать мучительные чувства, которые я буду испытывать во время своей ужасной работы. Выполняя ее, я должен был бы изолировать себя от всех, кого я любил. Раз начав ее, я быстро мог ее закончить и вернуться в семью, к мирному счастью. Если я выполняю обещание, чудовище удалится навеки. А может быть (так рисовалось моей безрассудной фантазии), тем временем произойдет какая-либо катастрофа, которая уничтожит его и навсегда положит конец моему рабству.

Этими чувствами был продиктован мой ответ отцу. Я выразил желание посетить Англию; но, скрыв истинные причины этой просьбы, я сослался на обстоятельства, не вызывавшие подозрений, и так настаивал на необходимости поездки, что отец легко согласился. Он с удовольствием обнаружил, что после длительного периода мрачного уныния, почти что безумия, я способен радоваться предстоящей поездке; он надеялся, что перемена обстановки и разнообразные развлечения окончательно приведут меня в себя еще до возвращения домой.

Продолжительность моего отсутствия предоставили определить мне самому; предполагалось, что она составит несколько месяцев или, самое большее, год. Отец проявил

нежную заботу, обеспечив меня спутником. Не сообщив мне об этом заранее, он уговорился с Элизабет и устроил так, что Клерваль должен был присоединиться ко мне в Страсбурге. Это мешало уединению, к которому я стремился для выполнения своего обязательства. Однако в начале моего путешествия присутствие друга ни в коем случае не могло быть помехой, и я искренне обрадовался, что таким образом мне удастся избежать многих часов одиноких раздумий, способных свести с ума. Более того, Анри мог служить преградой между мною и моим врагом. Если я буду один, не станет ли он время от времени навязывать мне свое отвратительное присутствие, чтобы напоминать мне о моей задаче или следить за ее выполнением?

Итак, я отправлялся в Англию, и было решено, что мой брак с Элизабет совершится немедленно по моем возвращении. Учитывая возраст отца, можно понять, с какой неохотой он соглашался на отсрочку. Что касается меня, была лишь одна награда, которую я обещал себе за ненавистный, тяжкий труд, одно утешение в моих беспримерных страданиях — то была надежда дожидаться дня, когда, освобожденный от гнусного рабства, я смогу просить руки Элизабет и в союзе с ней забыть прошлое.

Я занялся сборами; но одна мысль преследовала меня и наполняла тревогой и страхом. На время своего отсутствия я оставлял своих близких, не подозревающих о существовании их врага и ничем не защищенных от его нападения, — а ведь мой отъезд должен был привести его в ярость. Правда, он обещал следовать за мною, куда бы я ни поехал; не будет ли он сопровождать меня и в Англию? Такая мысль была страшной сама по себе, но в то же время утешительной, ибо обеспечивала безопасность моих близких. Было бы хуже, если бы вышло наоборот. В течение всего времени, пока я был рабом своего создания, я действовал под влиянием момента, и теперь инстинкт настойчиво подсказывал мне, что демон последует за мною и не подвергнет опасности мою семью.

В конце сентября я снова покинул родную страну. Путешествие было предпринято по моему собственному желанию, и поэтому Элизабет не возражала; однако она была полна тревоги при мысли, что горе опять завладеет мной, а она будет далеко. Благодаря ее заботам я имел спутника в лице Клерваля; и все же мужчина остается слеп к тысяче

житейских мелочей, требующих внимания женщины. Ей страстно хотелось просить меня вернуться скорее. Множество противоречивых чувств заставило ее молчать, и мы простились со слезами, но без слов.

Я сел в дорожный экипаж, едва сознавая, куда я направляюсь, равнодушный к тому, что происходило вокруг. Я вспомнил только — и с какой горечью! — о моих химических приборах и распорядился, чтоб их упаковали мне в дорогу. Полный самых безотрадных мыслей, я проехал многие прекрасные места; мои глаза, устремленные в одну точку, ничего не замечали. Я мог думать только о цели своего путешествия и о работе, которой предстояло занять все мое время.

После нескольких дней, проведенных в апатичной праздности, в течение которых я проехал много лье, я прибыл в Страсбург, где два дня дожидался Клерваля. Наконец он прибыл. Увы! Какой контраст составляли мы между собой! Он вдохновлялся каждым новым видом, преисполнялся радостью, созерцая красоту заходящего солнца, но еще более радовался его восходу и наступлению нового дня. Он обращал мое внимание на сменяющиеся краски ландшафта и неба. «Вот для чего стоит жить! — восклицал он. — Вот когда я наслаждаюсь жизнью! Но ты, милый Франкенштейн, почему ты так подавлен и печален?» Действительно, голова моя была занята мрачными мыслями, и я не видел ни захода вечерней звезды, ни золотого восхода солнца, отраженного в Рейне. И вы, мой друг, получили бы гораздо большее удовольствие, читая дневник Клерваля, который умел чувствовать природу и восхищаться ею, чем слушая мои размышления. Ведь я — несчастное существо, надо мной тяготеет проклятие, закрывшее для меня все пути к радости.

Мы решили спуститься по Рейну от Страсбурга до Роттердама, а оттуда отправиться в Лондон. Во время этого путешествия мы проплыли мимо множества островов, заросших ивняком, и увидели несколько красивых городов. Мы остановились на день в Мангейме, а на пятый день после отплытия из Страсбурга прибыли в Майнц. Ниже Майнца берега Рейна становятся все более живописными. Течение реки убыстряется, она извивается между невысокими, но крутыми, красиво очерченными холмами. Мы видели многочисленные развалины замков, стоящие на краю высо-

ких и неприступных обрывов, окруженные темным лесом. В этой части Рейна ландшафты необычайно разнообразны. То перед вами крутой холм или разрушенный замок, нависший над пропастью, на дне которой мчатся темные воды Рейна; а то вдруг, в излучине реки на мысу, возникают цветущие виноградники с зелеными пологими склонами и лютые города.

Наше путешествие пришлось на время сбора винограда; скользя по воде, мы слушали песни виноградарей. Даже я, подавленный тоской, обуреваемый мрачным предчувствием, слушал их с удовольствием. Я лежал на дне лодки и, глядя в безоблачное синее небо, словно впитывал в себя покой, который так долго был мне неведом. Если даже мною овладевали такие чувства, кто сможет описать чувства Анри? Он словно очутился в стране чудес и упивался счастьем, какое редко дается человеку. «Я видел,— говорил он,— самые прекрасные пейзажи моей родины, я посетил озера Люцерн и Ури, где снежные горы почти отвесно спускаются к воде, бросая на нее темные, непроницаемые тени, которые придавали бы озеру очень мрачный вид, если бы не веселые зеленые островки, радующие взор; я видел эти озера в бурю, когда ветер вздымал и кружил водяные вихри, так что можно было представить себе настоящий смерч на просторах океана; я видел, как волны яростно бросались к подножью горы, где снежный обвал однажды застиг священника и его надложницу,— говорят, что их предсмертные крики до сих пор слышны в завывании ночного ветра; я видел горы Ля Вале и Пэи де Во. И все же здешний край, Виктор, нравится мне больше, чем все наши чудеса. Швейцарские горы более величественны и необычны; но берега этой божественной реки таят в себе некое очарование и несравнимы для меня ни с чем, виденным прежде. Взгляни на замок, который повис вон там, над обрывом, или на тот, на острове, почти скрытый в листве деревьев; а вот виноградары, возвращающиеся со своих виноградников; а вот деревня, прячущаяся в складках горы. О, конечно, дух-хранитель этих мест обладает душой, более созвучной человеку, чем духи, громоздящие ледники или обитающие на неприступных горных вершинах нашей родины».

Клервалы! Любимый друг! Я и сейчас с восторгом повторяю твои слова и возношу тебе хвалу, которую ты так заслужил. Это был человек, словно созданный самой поэзией

природы. Его бурная, восторженная фантазия сдерживалась чувствительностью его сердца. Он был способен горячо любить; в дружбе он проявлял ту преданность, которая, если верить житейской мудрости, существует лишь в нашем воображении. Но человеческие привязанности не могли всецело заполнить его пылкую душу. Природу, которой другие только любят, он любил страстно.

...Грохот водопада
Был музыкой ему. Крутой утес,
Вершины гор, густой и темный лес,
Их контуры и краски вызвали
В нем истинную, пылкую любовь.
Он не нуждался в доводах рассудка,
Чтоб их любить. Что радовало взор,
То трогало и душу...¹

Где же он теперь? Неужели этот прекрасный, благородный человек исчез без следа? Неужели этот высокий ум, это богатство мыслей, это причудливое и неистощимое воображение, творившее целые миры, которые зависели от жизни своего создателя, — неужели все это погибло? Неужели он теперь живет лишь в моей памяти? Нет, это не так! Твое тело, столь совершенное и сиявшее красотой, стало прахом; но дух твой еще является утешать твоего несчастного друга.

Простите мне эти скорбные излияния. Мои слова — всего лишь слабая дань беспримерным достоинствам Анри, но они успокаивают мое сердце, утоляют боль, которую вызывает память о нем. Теперь я продолжу свой рассказ.

За Кельном мы спустились на равнины Голландии. Остаток нашего пути мы решили проделать по суше, так как ветер был противным, а течение слишком слабым, чтобы помочь нам.

В этом месте наше путешествие стало менее интересным с точки зрения красот природы, но уже через несколько дней мы прибыли в Роттердам, откуда продолжали путь морем в Англию. В одно ясное утро, в конце декабря, я впервые увидел белые скалы Британии. Берега Темзы представляли совершенно новый для нас пейзаж: они были плоскими, но плодородными; почти каждый город был отмечен каким-либо преданием. Мы увидели форт Тильбюри и вспомнили

¹ Перевод З. Александровой.

испанскую Армаду; потом Грэйвсенд, Вулвич и Гринвич — места, о которых я слышал еще на родине.

Наконец нашим взорам открылись бесчисленные шпили Лондона, возвышающийся над всем купол св. Павла и знаменитый в английской истории Тауэр.

Глава XIX

Нашим пунктом назначения был Лондон: мы решили провести в этом удивительном и прославленном городе несколько месяцев. Клерваль хотел познакомиться со знаменитостями того времени, но для меня это было второстепенным. Я был больше всего озабочен получением сведений, необходимых для выполнения моего обещания, и поспешил пустить в ход захваченные с собой рекомендательные письма, адресованные самым выдающимся естествоиспытателям.

Если бы это путешествие было предпринято в счастливые дни моего учения, оно доставило бы мне невыразимую радость. Но на мне лежало проклятие; и я посещал этих людей только, чтобы получить сведения о предмете, имевшем для меня роковой интерес. Общество меня тяготило; оставшись один, я мог занять свое внимание картинами природы; голос Анри успокаивал меня, и я обманывал себя краткой иллюзией покоя. Но чужие лица, озабоченные, равнодушные или довольные, снова вызывали во мне отчаяние. Я чувствовал, что между мною и другими людьми воздвигался непреодолимый барьер. Эта стена была скреплена кровью Уильяма и Жюстины; воспоминания о событиях, связанных с этими именами, были мне тяжелой мукой.

В Клервале я видел отражение моего прежнего я. Он был любознателен и нетерпеливо жаждал опыта и знаний. Различные обычаи, которые он наблюдал, он находил и занимательными и поучительными. Кроме того, он преследовал цель, которую давно себе наметил. Он решил посетить Индию, уверенный, что со своим знанием ее различных языков и ее жизни он сможет немало способствовать прогрессу европейской колонизации и торговли. Только в Англии он мог ускорить выполнение своего плана. Он был постоянно занят; единственно, что его огорчало, были моя грусть и по-

давленность. Я старался, насколько возможно, скрывать их от него, чтобы не лишать его удовольствий, столь естественных для человека, вступающего на новое жизненное поприще и не отягощенного заботами или горькими воспоминаниями. Часто я отказывался сопровождать его, ссылаясь на то, что приглашен в другое место, или изыскивая еще какой-нибудь предлог, чтобы остаться одному. В это время я начал собирать материалы, необходимые для того, чтобы произвести на свет мое новое создание; этот процесс был для меня мучителен, подобно той пытке водою, когда капля за каплей равномерно падает на голову. Каждая мысль, посвященная моей задаче, причиняла невыносимые страдания; каждое произносимое мною слово, пускай даже косвенно связанное с моей задачей, заставляло мои губы дрожать, а сердце — учащенно биться.

Через несколько месяцев по прибытии в Лондон мы получили письмо из Шотландии от одного человека, который бывал прежде нашим гостем в Женеве. Он описывал свою страну и убеждал нас, что, хотя бы ради ее красот, необходимо продолжать наше путешествие на север, до Перта, где он проживал. Клервалю очень хотелось принять это приглашение; да и мне, хоть я и сторонился людей, захотелось снова увидеть горы, потоки и все удивительные творения, которыми природа украсила свои излюбленные места.

Мы прибыли в Англию в начале октября, а теперь уже был февраль. Поэтому мы решили предпринять путешествие на север в исходе следующего месяца. В этой поездке мы, вместо того чтобы следовать по главной дороге прямо до Эдинбурга, решили заехать в Виндзор, Оксфорд, Матлок и на Кимберлендские озера, рассчитывая прибыть к цели путешествия в конце июля. Я упаковал химические приборы и собранные материалы, решив закончить свою работу в каком-либо уединенном местечке на северных плоскогорьях Шотландии.

Мы покинули Лондон 27 марта и пробыли несколько дней в Виндзоре, бродя по его прекрасному лесу. Для нас, горных жителей, природа этих мест казалась такой непривычной: могучие дубы, обилие дичи и стада величавых оленей — все было в новинку.

Оттуда мы проследовали в Оксфорд. При въезде в этот город нас охватили воспоминания о событиях, происшедших там более полутора столетий тому назад. Здесь Карл I

собрал свои силы. Этот город оставался ему верным, когда вся страна отступилась от него и стала под знамена парламента и свободы. Память о несчастном короле и его сподвижниках, о добродушном Фолкленде, дерзком Горинге, о королеве и ее сыне придавала особый интерес каждой части города, где они, может быть, жили. Здесь пребывал дух старины, и мы с наслаждением отыскивали ее следы. Но если бы воображение, вдохновляемое этими чувствами, и не нашло здесь для себя достаточной пищи, то сам по себе город был настолько красив, что вызывал в нас восхищение. Здания колледжей дышат стариной и очень живописны; улицы великолепны, а прекрасная Изис, текущая близ города по восхитительным зеленым лугам, широко и спокойно разливает свои воды, в которых отражается величественный ансамбль башен, шпили и купола, окруженные вековыми деревьями.

Я наслаждался этой картиной; и все же радость моя омрачалась воспоминанием о прошлом и мыслями о будущем. Я был создан для мирного счастья. В юношеские годы я не знал недовольства. И если когда-либо меня одолевала тоска, то созерцание красот природы или изучение прекрасных и возвышенных творений человека всегда находило отклик в моем сердце и подымало мой дух. Теперь же я был подобен дереву, сраженному молнией; она пронзила мне душу насквозь; и я уже чувствовал, что мне предстояло остаться лишь подобием человека и являть жалкое зрелище распада, вызывающее сострадание у других и невыносимое для меня самого.

Мы провели довольно долгое время в Оксфорде, блуждая по его окрестностям и стараясь опознать каждый уголок, который мог быть связан с интереснейшим периодом английской истории. Наши маленькие экскурсии часто затягивались из-за все новых достопримечательностей, неожиданно открываемых нами. Мы посетили могилу славного Хемпдена и поле боя, на котором пал этот патриот. На какой-то миг моя душа вырвалась из тисков унижительного и жалкого страха, чтобы осмыслить высокие идеи свободы и самопожертвования, увековеченные в этих местах. На какой-то миг я отважился сбросить свои цепи и оглядеться вокруг свободно и гордо. Но железо цепей уже разъело мою душу, и я снова, дрожа и отчаиваясь, погрузился в свои переживания.

С сожалением покинули мы Оксфорд и направились в Матлок, к нашему следующему привалу. Местность вокруг этого селения напоминает швейцарские пейзажи, но все здесь в меньшем масштабе; зеленым холмам недостает венца далеких снежных Альп, всегда украшающего лесистые горы моей родины. Мы посетили удивительную пещеру и миниатюрные музеи естественной истории, где редкости расположены таким же образом, как и в собраниях Серво и Шамуни. Последнее название вызвало у меня дрожь, когда Анри произнес его вслух; и я поспешил покинуть Матлок, с которым связалось для меня ужасное воспоминание.

Из Дерби мы продолжили путь далее на север и провели два месяца в Кимберленде и Вестморленде. Теперь я почти мог вообразить себя в горах Швейцарии. Небольшие участки снега, задержавшегося на северных склонах гор, озера, бурное течение горных речек — все это было мне привычно и дорого моему сердцу. Здесь мы также завели некоторые знакомства, которые почти вернули мне способность быть счастливым; Клерваль воспринимал все с гораздо большим восхищением, чем я. Он блистал в обществе талантливых людей и обнаружил в себе больше способностей и возможностей, чем когда вращался среди тех, кто стоял ниже его. «Я мог бы провести здесь всю жизнь,— говорил он мне.— Среди этих гор я вряд ли сожалел бы о Швейцарии и Рейне».

Однако он находил, что в жизни путешественника наряду с удовольствиями существует много невзгод. Ведь он постоянно находится в напряжении, и едва начинает отдыхать, как вынужден покинуть ставшие приятными места в поисках чего-то нового, что снова занимает его внимание, а затем в свою очередь отказываться и от этого ради других новинок.

Мы едва успели посетить разнообразные озера Кимберленда и Вестморленда и сдружиться с некоторыми из их обитателей, когда приблизился срок нашей встречи с шотландским другом; мы покинули своих новых знакомых и продолжили путешествие. Что касается меня, то я этим не огорчился. Я некоторое время пренебрегал своим обещанием и теперь опасался гнева обманутого демона. Возможно, он остался в Швейцарии, чтобы обрушить свою месть на моих близких. Эта мысль преследовала и мучила меня даже в

те часы, которые могли дать мне отдых и покой. Я ожидал писем с лихорадочным нетерпением: когда они запаздывали, я чувствовал себя несчастным и терзался бесконечными страхами, а когда они прибывали и я видел адрес, написанный рукой Элизабет или отца, я едва осмеливался прочесть их и узнать свою судьбу. Иногда мне казалось, что демон следует за мной и может отомстить за мою медлительность убийством моего спутника. Когда мною овладевали эти мысли, я ни на минуту не оставлял Анри и следовал за ним словно тень, стремясь защитить его от воображаемой ярости его губителя. Я словно совершил тяжкое преступление, думы о котором преследовали меня. Я не был преступником, но навлек на свою голову страшное проклятье, точно действительно совершил преступление.

Я прибыл в Эдинбург в состоянии полной апатии; а ведь этот город мог бы заинтересовать самое несчастное существо. Клервалю он понравился меньше, чем Оксфорд: тот привлекал его своей древностью. Однако красота и правильная планировка нового Эдинбурга, его романтический замок и окрестности, самые восхитительные в мире: Артурово Кресло, источник св. Бернарда и Пентландская возвышенность привели его в восторг и исправили первое впечатление. Я же нетерпеливо ждал конца путешествия.

Через неделю мы покинули Эдинбург, проследовав через Кьюпар, Сент-Эндрюс и вдоль берегов Тэй до Перта, где нас ожидал наш знакомый. Но я не был расположен шутить и беседовать с посторонними или разделять с ними их чувства и планы с любезностью, подобающей гостю. Поэтому я объявил Клервалю о своем желании одному совершить поездку по Шотландии. «Развлекайся сам,— сказал я ему,— а здесь будет место нашей встречи. Я могу отсутствовать один-два месяца; но умоляю тебя не мешать моим передвижениям; оставь меня на некоторое время в покое и одиночестве, а когда я вернусь, я надеюсь быть веселее и более под стать тебе».

Анри пытался было отговорить меня, но, убедившись в моей решимости, перестал настаивать. Он умолял меня чаще писать. «Я охотнее последовал бы за тобой в твоих странствиях,— сказал он,— чем ехать к этим шотландцам, которых я не знаю; постарайся вернуться поскорее, дорогой друг, чтоб я снова мог чувствовать себя как дома, а это невозможно в твоём отсутствии».

Расставшись со своим другом, я решил найти какое-нибудь уединенное место в Шотландии и там, в одиночестве, завершить свой труд. Я не сомневался, что чудовище следует за мной по пятам и, как только я закончу работу, предстанет передо мной, чтобы получить от меня свою подругу.

Прийдя к такому решению, я пересек северное плоскогорье и выбрал для своей работы один из дальних Оркнейских островов. Это было подходящее место для подобного дела — высокий утес, о который постоянно бьют волны. Почва там бесплодна и родит только траву для нескольких жалких коров да овес для жителей, которых насчитывается всего пять; их изможденные, тощие тела наглядно говорят об их жизни. Овощи и хлеб, когда они позволяют себе подобную роскошь, и даже свежую воду приходится доставлять с большого острова, лежащего на расстоянии около пяти миль.

На всем острове было лишь три жалких хижин; одна из них пустовала, когда я прибыл. Эту хижину я и снял. В ней было всего две комнаты, и она являла чрезвычайно убогий вид. Соломенная крыша провалилась, стены были нештукатурены, а дверь сорвана с петель. Я распорядился починить хижину, купил кой-какую обстановку и вступил во владение; эти обстоятельства должны были, безусловно, удивить здешних обитателей, если бы все чувства не были у них притуплены жалкой бедностью. Как бы то ни было, я жил, не опасаясь любопытных взглядов и помех и едва получая благодарность за пищу и одежду, которые я раздавал: до такой степени страдания заглушают в людях простейшие чувства.

В этом убежище я посвящал утренние часы работе; в вечернее же время, когда позволяла погода, я совершал прогулки по каменистому берегу моря, прислушиваясь к реву волн, разбивавшихся у моих ног. Картина была однообразна, но вместе с тем изменчива. Я думал о Швейцарии; как непохожа она на этот неприветливый, угрюмый ландшафт! Ее возвышенности покрыты виноградниками, а в долинах разбросаны дома. Ее дивные озера отражают голубое, кроткое небо; а когда ветер вздымает на них волны, это всего лишь веселая ребячья игра по сравнению с ревом гигантского океана.

Так я распределил часы своих занятий в первое время. Но моя работа становилась для меня с каждым днем все

более страшной и тягостной. Иногда я в течение нескольких дней не мог заставить себя войти в свою лабораторию; а бывало, что я работал днем и ночью, стремясь закончить работу скорее. И действительно, занятие было отвратительное. Во время первого моего эксперимента меня ослепляло некое восторженное безумие, не дававшее мне почувствовать весь ужас моих поисков; мой ум был целиком устремлен на завершение работы, и я закрывал глаза на ее ужасные подробности. Но теперь я шел на все это хладнокровно и часто чувствовал глубочайшее отвращение.

За этим омерзительным делом, в полном одиночестве, когда ничто ни на миг не отвлекало меня от моей задачи, мое настроение стало неровным: я сделался беспокойным и нервным. Я ежеминутно боялся встретиться со своим преследователем. Иногда я сидел, устремив взгляд на землю, боясь поднять его и увидеть того, кого так страшился увидеть. Я боялся удалиться от людей, чтобы он не застал меня одного и не потребовал свою подругу.

Тем временем я продолжал работу, и она уже значительно продвинулась. Я ожидал ее окончания с трепетной и нетерпеливой надеждой, которую не осмеливался выразить самому себе, но которая смешивалась с мрачными предчувствиями беды, заставлявшими замирать мое сердце.

Глава XX

Однажды вечером я сидел в своей лаборатории; солнце зашло, а луна только еще поднималась над морем. Света было недостаточно для занятий, и я сидел праздно, размышляя, оставить ли все до утра или спешить с окончанием и работать не отрываясь. И тут меня охватили мысли о возможных последствиях моего предприятия. За три года до того я был занят тем же делом и создал дьявола, чьи беспримерные злодеяния истерзали мне душу и наполнили ее навеки горьким раскаянием. А теперь я создаю другое существо, о склонностях которого я так же, как тогда, ничего не знаю; оно может оказаться в тысячу раз злее своего друга

и находить удовольствие в убийствах и жестокости. Он поклялся покинуть населенные места и укрыться в пустыне; но она такой клятвы не давала; она будет, по всей вероятности, существом мыслящим и разумным и может отказаться выполнять уговор, заключенный до ее создания. Возможно, что они возненавидят друг друга. Уже созданное мною существо ненавидит собственное уродство; не почувствует ли оно еще большее отвращение, когда такое же безобразие предстанет ему в образе женщины? Да и она может отвернуться от него с омерзением, увидев красоту человека. Она может покинуть его, и он снова окажется одиноким и еще более разъяренным новой обидой, на этот раз со стороны себе подобного существа.

Даже если они покинут Европу и поселятся в пустынях Нового Света, одним из первых результатов привязанности, которой жаждет демон, будут дети, и на земле расплодится целая раса демонов, которая может создать опасность для самого существования человеческого рода. Имею ли я право, ради собственных интересов, обрушить это проклятие на бесчисленные поколения людей? Я был прежде тронут софизмами созданного мною существа, я был обескуражен его дьявольскими угрозами; но теперь мне впервые предстала безнравственность моего обещания. Я содрогнулся при мысли, что будущие поколения будут клясть меня как их губителя, как себялюбца, который не поколебался купить собственное благополучие, быть может, ценой гибели всего человеческого рода.

Я задрожал, охваченный смертельной тоской. И тут, подняв глаза, я увидел при свете луны демона, заглядывающего в окно. Отвратительная усмешка скривила его губы, когда он увидел меня за выполнением порученной им работы. Да, он следовал за мной в моем путешествии, он бродил в лесах, прятался в пещерах или в пустынных степях; а теперь явился посмотреть, как подвигается дело, и потребовать выполнения моего обещания.

Сейчас выражение его лица выдавало крайнюю степень злобы и коварства. Я с ужасом подумал о своем обещании создать другое подобное ему существо и, дрожа от гнева, разорвал на куски предмет, над которым трудился. Негодяй увидел, как я уничтожаю творение, с которым он связывал свои надежды на счастье, и с воплем безумного отчаяния и злобы исчез.

Я вышел из комнаты и, заперев дверь, дал себе торжественную клятву никогда не возобновлять эту работу; неверными шагами я побрел в свою спальню. Я был один. вблизи не было никого, чтобы рассеять мрак и освободить меня от тяжкого гнета моих ужасных дум.

Прошло несколько часов, а я все сидел у окна, глядя на море; оно было почти спокойно, ибо ветер стих, и вся природа спала под взглядом тихой луны. По воде плыло несколько рыболовных судов, и время от времени легкий ветер приносил звуки голосов; это перекликались рыбаки. Я чувствовал тишину, хотя едва ли сознавал, как безмерно она глубока, но вдруг до моих ушей донесся всплеск весел вблизи берега, и кто-то причалил у моего дома.

Через несколько минут я услышал скрип двери, будто ее пытались тихонько открыть. Я задрожал всем телом. Предчувствие подсказало мне, кто это мог быть; у меня было желание позвать кого-либо из крестьян, живших в хижине недалеко от меня. Но я был подавлен чувством беспомощности, которое так часто ощущаешь в страшных снах, когда напрасно пытаешься убежать от грозящей опасности; и какая-то сила пригвоздила меня к месту.

Тотчас же я услышал шаги в коридоре; дверь отворилась, и демон, которого я так боялся, появился на пороге. Закрыв дверь, он приблизился ко мне и сказал, задыхаясь:

— Ты уничтожил начатую работу, что это значит? Неужели ты осмеливаешься нарушить свое обещание? Я испытал много лишений; я покинул Швейцарию вместе с тобой; я пробирался вдоль берегов Рейна, через заросшие ивняком острова и вершины гор. Я провел многие месяцы на голых равнинах Англии и Шотландии. Я терпел холод, голод и усталость; и ты отважишься обмануть мои надежды?

— Убирайся прочь! Да, я отказываюсь от своего обещания; никогда я не создам другое существо, подобное тебе, такое же безобразное и жестокое.

— Раб, до сих пор я рассуждал с тобой, но ты показал себя недостойным такой снисходительности. Помни, что я могуч. Ты уже считаешь себя несчастным, а я могу сделать тебя таким жалким и разбитым, что ты возненавидишь дневной свет. Ты мой создатель, но я твой господин. Покорись!

— Час моих колебаний прошел, и наступил конец твоей власти. Твои угрозы не заставят меня совершить злое дело; наоборот, они подтверждают мою решимость не создавать для тебя сообщницы в злодеяниях. Неужели я хладнокровно выпущу на свет демона, находящего удовольствие в убийстве и жестокости? Ступай прочь! Решение мое непоколебимо, и твои слова только усиливают мою ярость.

Чудовище прочло на моем лице решимость и заскрежетало зубами в бессильной злобе.

— Каждый мужчина,— воскликнул он,— находит себе жену, каждый зверь имеет самку, а я должен быть одинок! Мне присущи чувства привязанности, а в ответ я встретил отвращение и презрение. Человек! Ты можешь меня ненавидеть, но берегись! Твои дни будут полны страха и горя, и скоро обрушится удар, который унесет твое счастье навеки. Неужели ты надеешься быть счастливым, когда я безмерно несчастен? Ты можешь убить другие мои страсти, но остается месть, которая впредь будет мне дороже света и пищи. Я могу погибнуть; но сперва ты, мой тиран и мучитель, проклянешь солнце — свидетеля твоих страданий. Остерегайся, ибо я бесстрашен и поэтому всесилен. Я буду подкарауливать тебя с хитростью змеи, чтобы смертельно ужалить. Смотри, ты раскаешься в причиненном мне зле.

— Довольно, дьявол, не отравляй воздух злобными речами. Я объявил тебе свое решение, и я не трус, чтобы испугаться угроз. Оставь меня, я непреклонен.

— Ладно, я уйду; но запомни, *я буду с тобой в твою брачную ночь.*

Я подался вперед и воскликнул:

— Негодяй! раньше чем выносить мне смертный приговор, убедись, находишься ли ты сам в безопасности.

Я схватил бы его, но он ускользнул от меня и стремительно выбежал из дома. Через несколько мгновений я увидел его в лодке, рассекавшей воду с быстротой стрелы; вскоре она затерялась среди волн.

Снова наступила тишина; но его слова звенели у меня в ушах. Я кипел яростным желанием броситься вслед за губителем моего покоя и низвергнуть его в океан. Я быстро и встревоженно шагал взад и вперед по комнате, и в моем воображении возникали тысячи страшных картин.

Зачем я не погнался за ним и не схватился с ним насмерть? Я дал ему уйти, и он отправился на материк. Я дрожал при мысли о том, кто может стать очередной жертвой его ненасытной мести. Тут я вспомнил его слова: *«Я буду с тобой в твою брачную ночь»*. Итак, этот час назначен для свершения моей судьбы. В этот час я умру и сразу же удовлетворю и погашу его злобу. Эта перспектива не вызвала во мне страха; но когда я подумал о любимой Элизабет, представил себе ее слезы и беспредельное горе, если ее возлюбленный будет злодейски вырван из ее объятий, то впервые за многие месяцы из глаз моих брызнули слезы; и я решил не сдаваться врагу без жестокой борьбы.

Прошла ночь, и солнце поднялось из океана; я немного успокоился, если можно назвать спокойствием состояние, когда неистовая ярость переходит в глубокое отчаяние. Я покинул дом, где прошедшей ночью разыгралась страшная сцена, и направился к берегу моря, которое казалось мне почти непреодолимой преградой между мной и людьми; мне даже захотелось, чтобы так и было. Мне захотелось провести свою жизнь на этой голой скале, правда, жизнь трудную, но защищенную от внезапных бедствий. Если я уеду отсюда, придется умереть самому или увидеть, как те, кого я любил больше всего на свете, гибнут в железных тисках созданного мною дьявола.

Я бродил по острову, точно беспокойный призрак, разлученный со всеми, кого я любил, и несчастный в этой разлуке. Когда наступил полдень и солнце поднялось выше, я лег в траву и меня одолел глубокий сон. Всю предшествующую ночь я бодрствовал, нервы мои были возбуждены, а глаза воспалены ночным бдением и тоской. Сон, овладевший теперь мною, освежил меня; когда я проснулся, я снова почувствовал, что принадлежу к человеческому роду, состоящему из подобных мне существ, и я начал размышлять о случившемся с большим спокойствием. Но слова дьявола еще отдавались в моих ушах словно похоронный звон; они казались сновидением, но отчетливым и гнетущим, как действительность.

Солнце заметно опустилось, а я все еще сидел на берегу, утоляя мучивший меня голод овсяной лепешкой. Тут я увидел, что близко от меня причалила рыбацья лодка; один из людей принес мне пакет. В нем были

письма из Женевы, а вместе с ними и письмо от Клерваля, умолявшего меня присоединиться к нему. Он писал, что там, где он находится, он проводит время впустую; друзья, которых он приобрел в Лондоне, в своих письмах просят его вернуться, чтобы закончить переговоры, начатые ими по поводу его путешествия в Индию. Он не может больше откладывать свой отъезд; а так как вслед за поездкой в Лондон должно состояться, и даже скорее, чем он предполагал, более длительное путешествие, то он умолял меня побыть с ним возможно больше времени. Он настойчиво просил меня покинуть мой уединенный остров и встретиться с ним в Перте, чтобы затем вместе ехать на юг. Это письмо заставило меня немного очнуться, и я решил покинуть остров через два дня.

Однако до отъезда необходимо было выполнить одно дело, о котором я боялся и подумать: надо было упаковать мои химические приборы; а для этой цели мне предстояло войти в комнату, где я занимался ненавистным мне делом, и взять в руки инструменты, один вид которых вызывал во мне отвращение. На следующий день на рассвете я призвал на помощь все свое мужество и отпер дверь лаборатории. Остатки наполовину законченного создания, растерзанного мною на куски, валялись на полу; у меня было почти такое чувство, словно я расчленил на части живое человеческое тело. Я выждал, чтоб собраться с силами, а затем вошел в комнату. Дрожащими руками я вынес оттуда приборы, и тут же подумал, что не должен оставлять следов своей работы, которые могут возбудить ужас и подозрения крестьян. Поэтому я уложил остатки в корзину вместе с большим количеством камней и решил выбросить их в море той же ночью. Пока же я сел на берегу и занялся чисткой и приведением в порядок моих химических приборов.

Ничто не могло быть резче перемены, происшедшей в моих чувствах с той ночи, когда передо мной появился демон. Раньше я относился к своему обещанию с мрачным отчаянием, как к чему-то такому, что, невзирая на возможные последствия, должно быть выполнено: теперь же мне казалось, что с моих глаз упала пелена и я впервые стал ясно видеть. Ни на миг не приходила мне в голову мысль о возобновлении моей работы; угрозы, которые я выслу-

шал, угнетали меня, но я не допускал мысли сознательно пойти на то, чтобы отвратить удар. Я решил, что создание второго существа, подобного дьяволу, сотворенному мною в первый раз, будет актом самого подлого и жестокого эгоизма, и гнал прочь всякую мысль, которая могла бы привести к иным выводам.

Между двумя и тремя часами утра взошла луна; тогда я, взяв корзину на борт небольшого ялика, отплыл почти за четыре мили от берега. Все было безлюдно; несколько лодок возвращалось к берегу, но я отплыл подальше от них. Мне казалось, что я совершаю страшное преступление, и я с ужасом избегал встречи с людьми. Луну, которая ясно светила, вдруг закрыло густое облако, и я, воспользовавшись темнотой, выбросил корзину в море. Я прислушался к бульканью, с каким она погружалась, а затем отплыл от этого места. На небе появились облака, но воздух был чист, хотя и прохладен от поднявшегося северо-восточного ветра. Он освежил меня и наполнил такими приятными чувствами, что я решил остаться некоторое время в море. Установив руль в прямом направлении, я растянулся на дне лодки. Луна спряталась за облака, все покрылось мраком, и я слышал лишь плеск воды под килем, резавшим волны; это журчание убаюкало меня, и вскоре я крепко заснул.

Не знаю, как долго я спал, но когда проснулся, оказалось, что солнце стояло уже довольно высоко. Ветер крепчал, а волны непрерывно угрожали безопасности моей крохотной лодки. Я заметил, что ветер был северо-восточным; он отнес меня далеко от берега, где я сел в лодку. Я попытался изменить курс, но тотчас же убедился, что, если повторю такую попытку, лодка мгновенно наполнится водой. При таких обстоятельствах единственный выход состоял в том, чтобы идти по ветру. Признаюсь, меня охватил страх. У меня не было с собой компаса, а мои познания в географии этой части света были настолько скудны, что положение солнца мало могло мне подсказать. Меня могло вынести в открытый океан, где я переживу все мучения голодной смерти или буду поглощен бездонными водами, которые ревели и бились вокруг меня. Я уже провел в море много часов и чувствовал мучительную жажду — предвестие других моих страданий. Я взглянул на небо, где облака, гонимые ветром, непрестанно

сменялись другими облаками. Я взглянул на море, оно должно было стать моей могилой. «Дьявол! — воскликнул я. — Твоя угроза уже приведена в исполнение!» Я подумал об Элизабет, о моем отце и Клервале; всех их я оставлял, и чудовище могло обратить на них свою кровавую жестокость. От этой мысли я погрузился в такое отчаяние и ужас, что даже теперь, когда все живое скоро навеки исчезнет для меня, я весь дрожу при одном этом воспоминании.

Так протекло несколько часов; но, по мере того как солнце склонялось к горизонту, ветер стихал, переходя в легкий бриз, и буруны на море исчезли. Зато началась мертвая зыбь; я чувствовал тошноту и едва был в состоянии удерживать руль, когда вдруг увидел на юге высокую линию берега.

Хотя я был истощен усталостью и томительной неизвестностью, которую испытывал в течение нескольких часов, эта неожиданная уверенность в спасении подступила теплой волной радости к самому моему сердцу, и слезы хлынули из моих глаз.

Как изменчивы наши чувства и как удивительна цепкая любовь к жизни даже в минуты тягчайшего горя! Я соорудил второй парус, использовав часть своей одежды, и стал править к берегу. Он был дикий и скалистый; но, очутившись ближе, я сразу заметил, что он обитаем. Я увидел около берега суда и почувствовал, что вернулся в лоно цивилизации. Я пристально всматривался в береговую линию и с радостью увидел шпиль, который наконец показался из-за небольшого мыса. Так как я был крайне слаб, я решил плыть прямо к городу, где мог легче достать себе пищу. К счастью, у меня оказались с собой деньги. Обогнув мыс, я увидел небольшой чистый городок и хорошую гавань, в которую вошел с бьющимся сердцем, радуясь неожиданному спасению.

Пока я привязывал лодку и убирал паруса, около меня собралось несколько человек. Они, казалось, были очень удивлены моим появлением; но, вместо того, чтобы предложить мне помощь, они шептались между собой, сопровождая это жестикующей, которая в любое другое время могла бы вызвать у меня некоторую тревогу. Как бы то ни было, я услышал, что они говорят по-английски, и поэтому обратился к ним на том же языке.

— Добрые друзья,— сказал я,— не откажитесь сообщить мне название этого города и объяснить, где я нахожусь?

— Скоро узнаешь,— ответил один из них хриплым голосом.— Возможно, что наши места придется тебе не совсем по вкусу; но об этом тебя никто не станет спрашивать,— это уж будь уверен.

Я был крайне удивлен, получив такой грубый ответ от незнакомца; меня смутили также хмурые, злые лица его спутников.

— Почему вы так грубо отвечаете? — спросил я.— Это непохоже на англичан — так негостеприимно встречать чужестранцев.

— Не знаю,— ответил он,— что принято у англичан, но у ирландцев преступников не жалуют.

Пока происходил этот странный диалог, я заметил, что толпа быстро увеличивается. Лица людей выражали смесь любопытства и гнева, что рассердило и несколько встревожило меня. Я спросил дорогу в гостиницу, но никто мне не ответил. Тогда я двинулся вперед; толпа последовала за мной и окружила меня с глухим ропотом. Какой-то человек гнусного вида приблизился ко мне, хлопнул меня по плечу и сказал:

— Пойдемте, сэр, следуйте за мной к мистеру Кирвину — там во всем отчитаетесь.

— Кто такой мистер Кирвин? В чем я должен отчитываться? Разве здесь не свободная страна?

— Да, сэр, достаточно свободная для честных людей. Мистер Кирвин — судья. А отчитаться надо потому, что какой-то джентльмен найден здесь убитым прошлой ночью.

Эти слова сильно поразили меня; но вскоре я успокоился. Я был невиновен; это легко можно было доказать. Поэтому я безмолвно последовал за моим провожатым, который привел меня в один из лучших домов города. Я едва держался на ногах от усталости и голода; но, окруженный толпой, я посчитал разумным крепиться, чтобы мою физическую слабость не истолковали как страх или сознание вины. Я не подозревал, что случилась беда, которая через несколько мгновений сокрушит меня и погрузит в такое отчаяние, что перед ним отступит и боязнь позора, и страх смерти.

На этом я вынужден остановиться, ибо должен призвать на помощь всю силу духа, чтобы вспомнить подробности страшных событий, о которых собираюсь рассказать.

Глава XXI

Вскоре меня привели к судье, старому, добродушному на вид человеку со спокойными и мягкими манерами. Он посмотрел на меня, однако, довольно сурово; затем, повернувшись к моим конвоирам, он спросил, кто может быть свидетелем по этому делу.

Человек шесть выступили вперед; судья выбрал из них одного, который показал, что предыдущей ночью он отправился на рыбную ловлю вместе с сыном и зятем, Дэниелом Ньюгентом; около десяти часов поднялся сильный северный ветер, и они решили вернуться в гавань. Ночь была очень темная, луна еще не взошла. Они причалили не в гавани, а, по обыкновению, в бухте, мили на две ниже. Сам он шел первым, неся часть рыболовных снастей, а его спутники следовали за ним на некотором расстоянии. Ступая по песку, он споткнулся о какой-то предмет и упал. Спутники его подошли, чтоб помочь ему; при свете их фонаря они обнаружили, что он упал на человеческое тело, по видимости мертвое. Вначале они предположили, что это утопленник, выброшенный на берег; однако, осмотрев его, они установили, что одежда была сухой, а тело еще не успело остыть. Они немедленно отнесли его в домик одной старой женщины, живущей неподалеку, и попытались, к сожалению напрасно, вернуть его к жизни. Это был красивый молодой человек лет двадцати пяти. Очевидно, он был задушен, так как на нем не было никаких следов насилия, кроме темных отпечатков пальцев на шее.

Первая часть этих показаний не вызвала во мне ни малейшего интереса; но когда он упомянул о следах пальцев, я вспомнил убийство моего брата и пришел в крайнее волнение; по телу прошла дрожь, а глаза застлал туман; это вынудило меня прислониться к креслу в поисках опоры. Судья наблюдал за мной острым взглядом, и мое пове-

дение, несомненно, произвело на него неблагоприятное действие.

Сын подтвердил показания отца; а когда был допрошен Дэниел Ньюгент, он положительно поклялся, что незадолго перед падением их спутника заметил недалеко от берега лодку, а в ней человека; насколько он мог судить при свете звезд, это была та самая лодка, на которой я только что прибыл.

Одна из женщин показала, что она живет вблизи берега и примерно за час до того, как услышала об обнаружении трупа, стояла у дверей своего дома, ожидая возвращения рыбаков; и тут заметила лодку, а в ней человека, который отчаливал от того места на берегу, где впоследствии был найден труп.

Другая женщина подтвердила рассказ рыбаков, принесших тело в ее дом; тело было еще теплым. Они положили его на кровать и стали растирать, а Дэниел отправился в город за лекарем; но жизнь в теле уже угасла.

Еще несколько человек было опрошено об обстоятельствах моего прибытия; они сходились на том, что при сильном северном ветре, поднявшемся прошедшей ночью, я мог бороться со стихией в течение многих часов и был вынужден возвратиться к тому же месту, откуда отчалил. Кроме того, они считали, что я, по-видимому, принес тело из другого места и, поскольку берег мне незнаком, я мог войти в гавань, не имея представления о расстоянии от города до места, где я оставил труп.

Выслушав эти показания, мистер Кирвин пожелал, чтобы меня привели в комнату, где лежало тело, приготовленное для погребения; ему хотелось видеть, какое впечатление произведет на меня вид убитого. Эта мысль, вероятно, была подсказана ему моим чрезвычайным волнением при описании способа, каким было совершено убийство. Итак, судья и еще несколько лиц повели меня в комнату, где лежал покойник. Меня невольно поразили странные совпадения, происшедшие в эту беспокойную ночь; однако, зная, что меня видело несколько человек на острове, где я проживал, примерно в тот час, когда был найден труп, я был совершенно спокоен насчет исхода дела.

Я вошел в комнату, где лежал убитый, и меня повели к гробу. Какими словами описать мои чувства при

виде трупа? Еще сейчас у меня пересыхают губы от ужаса, и я не могу вспоминать тот страшный миг без содрогания. Допрос, присутствие судьи и свидетелей — все это исчезло как сон, когда передо мной предстало безжизненное тело Анри Клерваля. Я задышался; упав на тело, я вскричал: «Неужели мои преступные козни лишили жизни и тебя, милый Анри? Двоих я уже убил, другие жертвы ждут своей очереди, но ты, Клерваль, мой друг, мой благодетель...»

Человеку не под силу выдерживать дольше подобные страдания, и меня вынесли из комнаты в сильнейших конвульсиях.

За ними последовала лихорадка. Два месяца я находился на грани жизни и смерти. Бред мой, как мне после рассказывали, наводил на всех ужас: я называл себя убийцей Уильяма, Жюстины и Клерваля. Я то умолял присутствовавших помочь мне расправиться с дьяволом, который меня мучил; то чувствовал, как пальцы чудовища впиваются в мое горло, и издавал громкие вопли страдания и ужаса. К счастью, я бредил на своем родном языке, и меня понимал один лишь мистер Кирвин; но моей жестикуляции и криков было достаточно, чтобы испугать и других свидетелей.

Зачем я не умер? Более несчастный, чем кто-либо из людей, почему я не впал в забытие и не обрел покой? Смерть уносит столько цветущих детей — единственную надежду любящих родителей; столько невест и юных возлюбленных сегодня находятся в расцвете сил и надежд, а завтра становятся добычей червей и разлагаются в могиле. Из какого же материала я сделан, что смог выдержать столько ударов, от которых моя пытка непрерывно возобновлялась, точно на колесе.

Но мне суждено было выжить; через два месяца, словно проснувшись от тяжелого сна, я очутился в тюрьме, на жалкой постели, окруженный тюремщиками, надзирателями, запорами и всеми мрачными атрибутами заключения. Помню, было утро, когда ко мне вернулось сознание; я забыл, что со мной произошло, и помнил только, что на меня обрушилось какое-то горе. Но когда я осмотрелся вокруг, увидел решетки на окнах и грязную комнату, в которой я находился, все ожило в моей памяти, и я горько застонал.

Мои стоны разбудили старуху, дремавшую в кресле около меня. Это была жена одного из надзирателей, которую наняли ко мне сиделкой; ее лицо выражало все дурные наклонности, часто характерные для людей этого круга. Черты ее лица были жестки и грубы, как у тех, кто привык смотреть на чужое горе без сочувствия. Тон ее выражал полное равнодушие; она обратилась ко мне по-английски, и я узнал голос, который не раз слышал во время болезни.

— Вам теперь лучше, сэр? — спросила она.

Я едва внятно ответил, тоже по-английски:

— Кажется, да; но если все это правда, а не сон, мне жаль, что я еще живу и чувствую свое горе и ужас.

— Что и говорить, — сказала старуха, — если вы имеете в виду джентльмена, которого вы убили, то, пожалуй, оно бы и лучше, если бы вы умерли; вам придется очень плохо. Однако это дело не мое. Меня прислали ходить за вами и помочь вам встать на ноги. Это я делаю на совесть; хорошо бы каждый так работал.

Я с отвращением отвернулся от женщины, которая могла обратиться с такими бесчувственными словами к человеку, только что находившемуся при смерти. Но я был слаб и не мог разобраться в происходившем. Весь мой жизненный путь казался мне сном. Иногда я сомневался, было ли все это на самом деле, ибо события моей жизни ни разу не предстали мне с яркостью реальной действительности.

Когда проплывавшие передо мной образы стали более отчетливыми, у меня сделался жар; и все вокруг потемнело. Возле меня не было никого, кто утешил бы меня и приласкал; ни одна дружеская рука не поддерживала меня. Пришел врач и прописал лекарства; старуха приготовила их, но на лице первого было написано полное безразличие, а на лице второй — жестокость. Кто мог интересоваться судьбой убийцы, кроме палача, ждущего платы за свое дело?

Таковы были мои первые мысли; однако я вскоре убедился, что мистер Кирвин проявил ко мне чрезвычайную доброту. Он приказал отвести для меня лучшее помещение в тюрьме (эта жалкая камера в самом деле была там лучшей); и именно он позаботился о враче и сиделке. Правда, навещал он меня редко; хотя он всячески стре-

мился облегчить страдания каждого человека, ему не хотелось присутствовать при муках убийцы и слушать его бред. Он иногда приходил убедиться, что по отношению ко мне проявляется забота; однако его посещения были краткими и весьма нечастыми.

Однажды во время моего выздоровления я сидел на стуле; глаза мои были полузакрыты, а щеки мертвенно бледны, как у покойника. Подавленный горем, я часто думал, не лучше ли искать смерти, чем оставаться в мире, где мне суждено было так страдать. Одно время я подумывал, не признать ли себя виновным и подвергнуться казни, — ведь я был более виновным, чем бедная Жюстина. Именно эта мысль владела мною, когда дверь камеры открылась и вошел мистер Кирвин. Лицо его выражало жалость и сочувствие; он придвинул ко мне стул и обратился ко мне на французском языке:

— Боюсь, что вам здесь плохо; не могу ли я чем-нибудь облегчить вашу участь?

— Спасибо, но все это мне безразлично; ничто на свете не может принести мне облегчения.

— Я знаю, что сочувствие чужестранца — слабая помощь тому, кто, подобно вам, сражен такой тяжелой бедой. Но я надеюсь, что вы скоро покинете это мрачное место; не сомневаюсь, что вы легко добудете доказательства, которые снимут с вас обвинение.

— Об этом я менее всего забочусь. Силою необычайных событий я стал несчастнейшим из смертных. После всех мук, которые я пережил и переживаю, как может смерть казаться мне злом?

— Действительно, ничего не может быть печальнее, чем недавние странные события. Вы случайно попали на этот берег, известный своим гостеприимством, были немедленно схвачены и обвинены в убийстве. Первое, что предстало вашим глазам, было тело вашего друга, убитого необъяснимым образом и словно каким-то дьяволом подброшенное вам.

Когда мистер Кирвин произнес эти слова, я, не смотря на волнение, охватившее меня при напоминании о моих страданиях, немало удивился сведениям, которыми он располагал. Вероятно, это удивление отразилось на моем лице, так как мистер Кирвин поспешно сказал:

— Как только вы заболели, мне передали все бывшие при вас бумаги; я их просмотрел, желая найти какие-либо указания, которые помогли бы мне разыскать ваших родных и известить их о вашем несчастье и болезни. Я обнаружил несколько писем и среди них одно, которое, судя по обращению, принадлежит вашему отцу. Я немедленно написал в Женеву; после отправки моего письма прошло почти два месяца. Но вы больны, вы дрожите, а волнение вам вредно.

— Неизвестность в тысячу раз хуже самого страшного несчастья. Скажите, какая разыгралась новая драма и чье убийство я должен теперь оплакивать?

— В вашей семье все благополучно,— сказал ласково мистер Кирвин,— и один из ваших близких приехал вас навестить.

Не знаю почему, но мне вдруг представилось, что это убийца явился насмехаться над моим горем, что он хочет воспользоваться моим несчастьем и вынудить у меня согласие на его адские требования. Я закрыл глаза руками и в ужасе закричал: «О! Уберите его! Я не могу его видеть; ради бога, не впускайте его!»

Мистер Кирвин в замешательстве смотрел на меня. Он невольно счел эти выкрики за подтверждение моей виновности и сурово сказал:

— Я полагал, молодой человек, что присутствие вашего отца будет вам приятно и не вызовет такого яростного протеста.

— Мой отец! — воскликнул я, и при этом все черты моего лица вместо ужаса выразили радость.— Неужели приехал мой отец? О, как он добр, как бесконечно добр! Но где он? Почему он не спешит ко мне?

Перемена во мне удивила и обрадовала судью; возможно, он приписал мои предыдущие восклицания новому припадку лихорадочного бреда; теперь к нему снова вернулась его прежняя благожелательность. Он поднялся и вместе с сиделкой покинул камеру, а через минуту ко мне вошел мой отец.

Ничто на свете не могло в ту минуту доставить мне большей радости. Я протянул к нему руки и воскликнул: «Так, значит, вы живы, и Элизабет и Эрнест?»

Отец успокоил меня, заверив, что у них все благополучно, и старался, распространяясь на столь интересую-

щие меня темы, поднять мой дух. Однако он скоро почувствовал, что тюрьма неподходящее место для веселья. «Вот в каком жилище ты оказался, сын мой! — сказал он, печально оглядывая зарешеченные окна и всю жалкую комнату. — Ты отправился на поиски счастья, но тебя, как видно, преследует рок. А бедный Клерваль...»

Упоминание о моем несчастном убитом друге так меня взволновало, что при моей слабости я не смог сдержаться и заплакал.

— Увы! Это так, отец, — сказал я, — надо мной тяготеет рок; и я должен жить, чтобы свершить то, что мне предначертано, иначе мне надо было бы умереть у гроба Анри.

Нашу беседу прервали, ибо в моем тогдашнем состоянии меня оберегали от волнений. Вошел мистер Кирвин и решительно сказал, что чрезмерное напряжение может истощить мои силы. Но приезд отца был для меня подобен появлению моего ангела-хранителя, и здоровье мое постепенно стало поправляться.

Когда я поборол болезнь, мною овладела мрачная меланхолия, которую ничто не могло рассеять. Образ убитого Клерваля как призрак вечно стоял предо мной. Много раз мое волнение, вызванное этими воспоминаниями, заставляло моих друзей бояться опасного возврата болезни. Увы! Зачем они берегли мою несчастную жизнь, ненавистную мне самому? Очевидно, для того, чтобы я все претерпел до конца, но теперь конец близок. Скоро, о! очень скоро смерть погасит мои волнения и освободит меня от безмерного гнета страданий; приговор будет приведен в исполнение, и я обрету покой. Тогда смерть лишь далеко маячила передо мною, хотя желание умереть владело моими думами, и я часто часами сидел неподвижно и безмолвно, призывая катастрофу, которая погребла бы под обломками и меня, и моего губителя.

Приближался срок суда. Я находился в тюрьме уже три месяца; и хотя я все еще был слаб и мне постоянно грозил возврат болезни, я вынужден был проделать путь почти в сто миль, до главного города графства, где был назначен суд. Мистер Кирвин позаботился о вызове свидетелей и о защитнике. Я был избавлен от позора публичного появления в качестве преступника, так как дело мое не было передано в тот суд, от решения которого зависит

жизнь или смерть. Присяжные, решающие вопрос о предании этому суду, сняли с меня обвинение, ибо было доказано, что в тот час, когда был обнаружен труп моего друга, я находился на Оркнейских островах; через две недели после моего переезда в главный город я был освобожден из тюрьмы.

Отец был счастлив, узнав, что я свободен от тяжкого обвинения, что я снова могу дышать вольным воздухом и вернуться на родину. Я не разделял его чувств; стены темницы или дворца были бы мне одинаково ненавистны. Чаша жизни была отравлена навеки; и хотя солнце светило надо мной, как и над самыми счастливыми, я ощущал вокруг себя непроглядную, страшную тьму, куда не проникал ни единый луч света и где мерцала только пара глаз, устремленных на меня. Иногда это были выразительные глаза Анри, полные смертной тоской, — темные, полузакрытые глаза, окаймленные черными ресницами; иногда же это были водянистые, мутные глаза чудовища, впервые увиденные мной в моей иыгольштадтской комнате.

Отец старался возродить во мне чувства любви к близким. Он говорил о Женеве, куда мне предстояло вернуться, об Элизабет и Эрнесте. Но его слова лишь исторгали глубокие вздохи из моей груди. Иногда, правда, во мне пробуждалась жажда счастья; я с грустью и нежностью думал о своей любимой кузине или с мучительной *maladie du pays*¹ хотел еще раз увидеть синее озеро и быструю Рону, которые были мне так дороги в детстве; но моим обычным состоянием была апатия; мне было все равно — находиться в тюрьме или среди прекраснейшей природы. Это настроение прерывалось лишь пароксизмами отчаяния. В такие минуты я часто пытался положить конец своему ненавистному существованию. Требовалось неустанное надо мною наблюдение, чтобы я не наложил на себя руки.

Однако на мне лежал долг, воспоминание о котором в конце концов взяло верх над эгоистическим отчаянием. Необходимо было немедленно вернуться в Женеву, чтобы охранять жизнь тех, кого я так глубоко любил; надо было выследить убийцу и, если случай откроет мне

¹ тоской по родине (*фр*)

его убежище или он сам снова осмелится появиться передо мной, без промаха сразить чудовище, которое я наделил подобием души, еще более уродливым, чем его тело. Отец откладывал наш отъезд, опасаясь, что я не вынесу тягот путешествия; ведь я был сущей развалиной — тенью человека. Силы мои были истощены. От меня остался один скелет; днем и ночью мое изнуренное тело пожирала лихорадка.

Однако я с такой тревогой и нетерпением настаивал на отъезде из Ирландии, что отец счел за лучшее уступить. Мы взяли билеты на судно, отплывавшее в Гавр де Грас, и отчалили с попутным ветром от берегов Ирландии. Была полночь. Лежа на палубе, я глядел на звезды и прислушивался к плеску волн. Я радовался темноте, скрывшей от моих взоров ирландскую землю; сердце мое билось от радости при мысли, что я скоро увижу Женеву. Прошлое казалось мне ужасным сновидением; однако судно, на котором я плыл, ветер, относивший меня от ненавистного ирландского берега, и окружавшее меня море слишком ясно говорили мне, что это не сон и что Клерваль, мой друг, мой дорогой товарищ, погиб из-за меня, из-за чудовища, которое я создал. В моей памяти пронеслась вся моя жизнь: тихое счастье в Женеве, в кругу семьи, смерть матери и отъезд в Ингольштадт. Я с содроганием вспомнил безумный энтузиазм, побуждавший меня быстрее сотворить моего гнусного врага; я вызвал в памяти ночь, когда он впервые ожил. Дальше я не мог вспоминать; множество чувств нахлынуло на меня, и я горько заплакал.

Со времени выздоровления от горячки у меня вошло в привычку принимать на ночь небольшую дозу опия; только с помощью этого лекарства мне удавалось обрести покой, необходимый для сохранения жизни. Подавленный воспоминаниями о своих бедствиях, я принял двойную дозу и вскоре крепко уснул. Но сон не принес мне забвения от мучительных дум; мне снились всевозможные ужасы. К утру мною совсем овладели кошмары; мне казалось, что дьявол сжимает мне горло, а я не могу вырваться; в ушах моих раздавались стоны и крики. Отец, сидевший надо мной, увидев, как я мечусь во сне, разбудил меня. Кругом шумели волны; надо мной было облачное небо, дьявола не было; чувство безопасности, ощущение того, что между этим часом и неизбежным страшным

будущим наступила передышка, принесли мне некое забвение, к которому так склонен по своей природе человеческий разум.

Глава XXII

Путешествие подошло к концу. Мы высадились на берег и проследовали в Париж. Вскоре я убедился, что переоценил свои силы и мне требуется отдых, прежде чем продолжать путь. Отец проявлял неутомимую заботу и внимание; но он не знал причины моих мучений и предлагал лекарства, бессильные при неизлечимой болезни. Ему хотелось, чтобы я развлекся в обществе. Мне же были противны человеческие лица. О нет, не противны! Это были братья, мои ближние, и меня влекло даже к наиболее неприятным из них, точно это были ангелы, сошедшие с небес. Но мне казалось, что я не имею права общаться с ними. Я наслал на них врага, которому доставляло радость проливать их кровь и наслаждаться их стонами. Как ненавидели бы они меня, все до одного, как стали бы гнать меня, если бы узнали о моих греховных занятиях и о злодействах, источником которых я был!

В конце концов отец уступил моему стремлению избегать общества и прилагал все усилия, чтобы рассеять мою тоску. Иногда ему казалось, что я болезненно воспринял унижение, связанное с обвинением в убийстве, и он пытался доказать мне, что это ложная гордость.

— Увы, отец мой,— говорил я,— как мало вы меня знаете! Люди, их чувства и страсти, действительно были бы унижены, если бы такой негодяй, как я, смел гордиться. Жюстина, бедная Жюстина, была невинна, как и я, а ей предъявили такое же обвинение, и она погибла, а причина ее смерти — я: я убил ее. Уильям, Жюстина и Анри — все они погибли от моей руки.

Во время моего заключения в тюрьме отец часто слышал от меня подобные признания; когда я таким образом обвинял себя, ему иногда, по-видимому, хотелось получить объяснение; иногда же он принимал их за бред и считал, что такого рода мысль, явившаяся во время болезни, могла сохраниться и после выздоровления.

Я уклонялся от объяснений и молчал о злодее, которого я создал. Я был убежден, что меня считают безумным; это само по себе могло навеки связать мой язык. Кроме того, я не мог заставить себя раскрыть тайну, которая повергла бы моего собеседника в отчаяние и поселила в его груди неизбывный ужас. Поэтому я сдерживал свою нетерпеливую жажду сочувствия и молчал, а между тем я отдал бы все на свете за возможность открыть роковую тайну. Но иногда у меня невольно вырывались подобные слова. Я не мог дать им объяснение; но эти правдивые слова несколько облегчали бремя моей тайной скорби.

На этот раз отец сказал с беспредельным удивлением:

— Милый Виктор, что это за бред? Милый сын, умоляю тебя, никогда больше не утверждай ничего подобного.

— Я не сумасшедший, — вскричал я решительно, — солнце и небо, которым известны мои дела, могут засвидетельствовать, что я говорю правду. Я — убийца этих невинных жертв, они погибли из-за моих козней. Я тысячу раз пролил бы свою собственную кровь каплю за каплей, чтобы спасти их жизнь; но я не мог этого сделать, отец, я не мог пожертвовать всем человеческим родом.

Конец этой речи совершенно убедил моего отца, что мой разум помрачен; он немедленно переменял тему разговора и попытался дать моим мыслям иное направление. Он хотел, насколько возможно, вычеркнуть из моей памяти события, разыгравшиеся в Ирландии; он никогда не упоминал о них и не позволял мне говорить о моих невзгодах.

Со временем я стал спокойнее; горе прочно угнездилось в моем сердце, но я больше не говорил бессвязными словами о своих преступлениях; для меня было достаточно сознавать их. Я сделал над собой неимоверное усилие и подавил властный голос страдания, которое иногда рвалось наружу, чтобы заявить о себе всему свету. Я стал спокойнее и сдержаннее, чем когда-либо со времени моей поездки к ледовому морю.

За несколько дней до отъезда из Парижа в Швейцарию я получил следующее письмо от Элизабет:

«Дорогой друг! Я с величайшей радостью прочла письмо от дяди, отправленное из Парижа; ты уже не отделен от

меня огромным расстоянием, и я надеюсь увидеть тебя через каких-нибудь две недели. Бедный кузен, сколько ты должен был выстрадать! Я боюсь, что ты болен еще серьезнее, чем когда уезжал из Женевы. Эта зима прошла для меня в унынии, в постоянных терзаниях неизвестности. Все же я надеюсь, что увижу тебя умиротворенным и что твое сердце хоть немного успокоилось.

И все-таки я боюсь, что тревога, которая делала тебя таким несчастным год тому назад, существует и теперь, и даже усилилась со временем. Я не хотела бы расстраивать тебя сейчас, когда ты перенес столько несчастий; однако разговор, который произошел у меня с дядей перед его отъездом, требует, чтобы я объяснилась еще до нашей встречи.

Объяснилась! Ты, вероятно, спросишь: что у Элизабет может быть такого, что требует объяснения? Если ты в самом деле так скажешь, этим самым будет получен ответ на мои вопросы, и все мои сомнения исчезнут. Но ты далеко от меня и, возможно, боишься и, вместе, желаешь такого объяснения. Чувствуя вероятность этого, я не решаюсь долее откладывать и пишу то, что за время твоего отсутствия мне часто хотелось написать, но недоставало мужества.

Ты знаешь, Виктор, что наш союз был мечтой твоих родителей с самых наших детских лет. Нам объявили об этом, когда мы были совсем юными; нас научили смотреть на этот союз как на нечто неперемное. Мы были в детстве нежными друзьями и, я надеюсь, остались близкими друзьями, когда повзрослели. Но ведь брат и сестра часто питают друг к другу нежную привязанность, не стремясь к более близким отношениям; не так ли и с нами? Скажи мне, милый Виктор. Ответь, умоляю тебя, ради нашего счастья, с полной искренностью: ты не любишь другую?

Ты путешествовал; ты провел несколько лет в Ингольштадте; и признаюсь тебе, мой друг, когда я прошлой осенью увидела, что ты несчастен, ищешь одиночества и избегаешь всякого общества, я невольно предположила, что ты, возможно, сожалеешь о нашей помолвке и считаешь себя связанным, считаешь, что обязан исполнить волю родителей, хотя бы это противоречило твоим склонностям. Но это ложное рассуждение. Признаюсь, мой

друг, что люблю тебя и в моих мечтах о будущем ты всегда был моим другом и спутником. Но я желаю тебе счастья, как самой себе, и поэтому заявляю, что наш брак обернется для меня вечным горем, если не будет совершен по твоему собственному свободному выбору. Вот и сейчас я плачу при мысли, что ты, вынесший жестокие удары судьбы, ради слова *честь* можешь уничтожить надежду на любовь и счастье, которые одни способны вернуть тебе покой. Бескорыстно любя тебя, я десятикратно увеличила бы твои муки, став препятствием для исполнения твоих желаний. О Виктор, поверь, что твоя кузина и товарищ твоих детских игр слишком искренне тебя любит, чтобы не страдать от такого предположения. Будь счастлив, мой друг, и, если ты исполнишь только это мое желание, будь уверен, что ничто на свете не нарушит мой покой.

Пусть это письмо не расстраивает тебя; не отвечай завтра, или на следующий день, или даже до твоего приезда, если это тебе больно. Дядя пришлет мне известие о твоём здоровье; и если при встрече я увижу хотя бы улыбку на твоих устах, вызванную мною, мне не надо другого счастья.

Женева, 18 мая 17..

Элизабет Лавенца».

Это письмо оживило в моей памяти то, что я успел забыть,— угрозу демона: *«Я буду с тобой в твою брачную ночь!»* Таков был вынесенный мне приговор; в эту ночь демон приложит все силы, чтобы убить меня и лишит счастья, которое обещало облегчить мои муки. В эту ночь он решил завершить свои преступления моей смертью. Пусть будет так: в эту ночь произойдет смертельная схватка, и, если он окажется победителем, я обрету покой, и его власти надо мною придет конец. Если же он будет побежден, я буду свободен. Увы! Что за свобода! Такая же свобода, как у крестьянина, на глазах которого вырезана вся семья, сгорел дом, земля лежит опустошенная, а сам он — бездомный, нищий изгнанник, одинокий, но свободный. Такой будет и моя свобода; правда, в лице моей Элизабет я обрету сокровище, но на другой чаше весов останутся муки совести и сознание вины, которые будут преследовать меня до самой смерти.

Милая, любимая Элизабет! Я читал и перечитывал ее письмо; нежность проникла в мое сердце и навевала райские грезы любви и радости; но яблоко уже было съедено, и десница ангела отрешала меня от всех надежд. А я готов был на смерть, чтобы сделать ее счастливой. Смерть неизбежна, если чудовище выполнит свою угрозу. Но я задавался вопросом, ускорит ли женитьба исполнение моей судьбы. Моя гибель может свершиться на несколько месяцев раньше; но если мой мучитель заподозрит, что я откладываю свадьбу из-за его угрозы, он безусловно найдет другие и, быть может, более страшные способы мести. Он поклялся быть со мной в брачную ночь; но он не считает, что эта угроза обязывает его соблюдать мир до наступления этой ночи. Чтобы показать мне, что он еще не насытился кровью, он убил Клерваля сразу после своей угрозы. Я решил поэтому, что если мой немедленный союз с кузиной принесет счастье ей или моему отцу, то я не имею права отсрочить его ни на один час, каковы бы ни были умыслы моего врага против моей жизни.

В таком состоянии духа я написал Элизабет. Письмо мое было спокойно и нежно. «Боюсь, моя любимая девочка,— писал я,— что нам осталось мало счастья на свете; но все, чему я могу радоваться, сосредоточено в тебе. Отбрось же пустые страхи; тебе одной посвящаю я свою жизнь и свои стремления к счастью. У меня есть тайна, Элизабет, страшная тайна. Когда я ее открою тебе, твоя кровь застынет от ужаса, и тогда, уже не поражаясь моей мрачности, ты станешь удивляться тому, что я еще жив после всего, что выстрадал. Я поверю тебе эту страшную тайну на следующий день после нашей свадьбы, милая кузина, ибо между нами должно существовать полное доверие. Но до этого дня умоляю тебя не напоминать о ней. Об этом я прошу со всей серьезностью и знаю, что ты согласишься».

Через неделю после получения письма от Элизабет мы возвратились в Женеву. Милая девушка встретила меня с самой нежной лаской, но на ее глаза навернулись слезы, когда она увидела мое исхудалое лицо и лихорадочный румянец. Я в ней также заметил перемену. Она похудела и утратила восхитительную живость, которая очаровывала меня прежде; но ее кротость и нежные, сочувственные взгляды делали ее более подходящей поддру-

гой для отверженного и несчастного человека, каким был я.

Спокойствие мое оказалось недолгим. Воспоминания сводили меня с ума. Когда я думал о прошедших событиях, мною овладевало настоящее безумие; иногда меня охватывала ярость, и я пылал гневом; иногда погружался в глубокое уныние. Я ни с кем не говорил, ни на кого не глядел и сидел неподвижно, отупев от множества свалившихся на меня несчастий.

Одна только Элизабет умела вывести меня из этого состояния; ее нежный голос успокаивал меня, когда я бывал возбужден, и пробуждал человеческие чувства, когда я впадал в оцепенение. Она плакала вместе со мной и надо мной. Когда рассудок возвращался ко мне, она увещевала меня и старалась внушить мне смирение перед судьбой. О! хорошо смиряться несчастливцу, но для преступника нет покоя. Муки совести отравляют наслаждение, которое можно иногда найти в самой чрезмерности горя.

Вскоре после моего приезда отец заговорил о моей предстоящей женитьбе на Элизабет. Я молчал.

— Может быть, у тебя есть другая привязанность?

— Никакой в целом свете. Я люблю Элизабет и радостно жду нашей свадьбы. Пусть же будет назначен день. В этот день я посвящу себя, живой или мертвый, счастью моей кухни.

— Дорогой Виктор, не говори так. Мы пережили тяжелые несчастья; но надо крепко держаться за то, что нам осталось, и перенести нашу любовь с тех, кого мы потеряли, на тех, кто еще жив. Наш круг будет узок, но крепко связан узами любви и общего горя. А когда время смягчит твоё отчаяние, родятся новые милые создания, предметы нашей любви и забот, взамен тех, кого нас так жестоко лишили.

Так поучал меня отец. А мне все вспоминалась угроза демона. Не следует удивляться, что, при его всемогуществе в кровавых делах, я считал его почти непобедимым, и когда он произнес слова: «Я буду с тобой в твою брачную ночь»,— я примирился с угрожавшей мне опасностью, как неотвратимой. Однако смерть не страшила меня по сравнению с утратой Элизабет. Поэтому я с удовлетворением и даже радостью согласился с отцом и сказал что, если моя кухня не возражает, можно праздновать свадьбу

через десять дней; тогда-то и решится моя судьба, думал я.

Великий боже! Если бы я на один миг подумал, какой адский умысел вынашивал мой злобный противник, я лучше навсегда исчез бы из родной страны и скитался по свету одиноким изгнанником, чем согласился на этот злополучный брак. Но словно каким-то колдовством чудовище сделало меня слепым к его настоящим замыслам; и я, считая, что смерть уготована только мне, ускорял гибель существа, более дорогого мне, чем я сам.

По мере приближения срока нашей свадьбы — то ли из трусости, то ли охваченный предчувствием — я все более падал духом. Однако я скрывал свои чувства под видом веселости, вызывавшим счастливые улыбки на лице моего отца, но едва ли обманувшим внимательный и более острый взор Элизабет. Она ожидала нашего союза с удовлетворением, к которому все же примешивался некоторый страх, внушенный нашими прошлыми несчастьями; то, что сейчас казалось реальным и осязаемым счастьем, могло скоро превратиться в сон, не оставляющий никаких следов, кроме глубокой и вечной горечи.

Были сделаны необходимые приготовления для торжества; мы принимали поздравительные визиты, и всюду сияли радостные улыбки. Я, как умел, затаил в сердце терзавшую меня тревогу и, казалось, с увлечением вникал в планы моего отца, хотя им, быть может, предстояло лишь украсить мою гибель. Благодаря стараниям отца часть наследства Элизабет была закреплена за нею австрийским правительством. Ей принадлежало небольшое поместье на берегах Комо. Было решено, что тотчас после свадьбы мы поедем на виллу Лавенца и проведем наши первые счастливые дни у прекрасного озера, на котором она стоит.

Тем временем я принял все меры предосторожности, чтобы защищаться, если демон открыто нападет на меня. При мне всегда были пистолеты и кинжал; и я был постоянно начеку, чтобы предотвратить всякое коварство. Это в значительной степени успокаивало меня. По мере приближения дня свадьбы угроза стала казаться мне пустою и не стоящей того, чтобы нарушился мой покой. В то же время счастье, которого я ожидал от нашего брака, представлялось все более верным с приближением тор-

жественного дня, о котором постоянно говорили, как о чем-то решенном, чему никакие случайности не могут помешать.

Элизабет казалась счастливой; мое спокойствие значительно способствовало и ее успокоению. Но в день, назначенный для осуществления моих желаний и решения моей судьбы, она загрустила, и ею овладело какое-то предчувствие; а может быть, она думала о страшной тайне, которую я обещал открыть ей на следующий день. Отец не мог нарадоваться на нее и за суетой свадебных приготовлений усматривал в грусти своей племянницы лишь обычную застенчивость невесты.

После брачной церемонии у отца собралось много гостей; но было условлено, что Элизабет и я отправимся в свадебное путешествие по воде, переночуем в Эвиане и продолжим путь на следующий день. Погода стояла чудесная, дул попутный ветер, и все благоприятствовало нашей свадебной поездке.

То были последние часы в моей жизни, когда я был счастлив. Мы быстро продвигались вперед; солнце палило, но мы укрылись от его лучей под навесом, любясь красотой пейзажей,— то на одном берегу озера, где мы видели Мон Салэв, прелестные берега Монталегра, а вдаль возвышающийся над всем прекрасный Монблан и группу снежных вершин, которые тщетно с ними соперничают; то на противоположном берегу, где перед нами была могучая Юра, вздымавшая свою темную громаду перед честолюбцем, который задумал бы покинуть родину, и преграждавшая путь захватчику, который захотел бы ее покорить.

Я взял руку Элизабет.

— Ты грустна, любимая. О, если бы ты знала, что я страдал и что мне, быть может, еще предстоит выстрадать, ты постаралась бы дать мне забыть отчаяние и изведать покой — все, что может подарить мне этот день.

— Будь счастлив, милый Виктор,— ответила Элизабет,— надеюсь, что тебе не грозит никакая беда; верь, что на душе у меня хорошо, если даже мое лицо и не выражает радости. Какой-то голос шепчет мне, чтобы я не слишком доверялась нашему будущему. Но я не буду прислушиваться к этому зловещему голосу. Взгляни, как мы быстро плывем, посмотри на облака, которые то закрывают, то от-

крывают вершину Монблана и делают этот красивый вид еще прекраснее. Взгляни также на бесчисленных рыб, плывущих в прозрачных водах, где можно различить каждый камешек на дне. Какой божественный день! Какой счастливой и безмятежной кажется вся природа!

Такими речами Элизабет старалась отвлечь свои и мои мысли от всяких предметов, наводящих уныние. Однако настроение ее было неровным; на несколько мгновений в ее глазах загоралась радость, но она то и дело сменялась беспокойством и задумчивостью.

Солнце опустилось ниже; мы проплыли мимо устья реки Дранс и проследили глазами ее путь по расселинам высоких гор и по долинам между более низкими склонами. Здесь Альпы подходят ближе к озеру, и мы приблизились к амфитеатру гор, замыкающих его с востока. Шпили Эвиана сверкали среди окрестных лесов и громоздящихся над ним вершин.

Ветер, который до сих пор нес нас с поразительной быстротой, к закату утих, сменившись легким бризом. Нежное дуновение его лишь рябило воду и приятно шелестело листвой деревьев, когда мы приблизились к берегу, откуда повеяло восхитительным запахом цветов и сена. Когда мы причалили, солнце зашло за горизонт; едва коснувшись ногами земли, я снова почувствовал, как во мне оживают заботы и страхи, которым вскоре суждено было завладеть мною уже навсегда.

Глава XXIII

Было восемь часов, когда мы вышли на берег; мы еще немного погуляли по берегу, ловя угасавший свет, а затем направились в гостиницу, любясь красивыми видами вод, лесов и гор, скрытых сумерками, но еще выступавших темными очертаниями.

Южный ветер утих, но зато с новой силой подул ветер с запада. Луна достигла высшей точки в небе и начала опускаться; облака скользили по ней быстрее хищных птиц и скрывали ее лучи, а озеро отражало беспокойное небо, казавшееся там еще беспокойнее из-за поднявшихся волн. Внезапно обрушился сильный ливень.

Весь день я был спокоен; но как только формы предметов растворились во мраке, моей душой овладели бесчисленные страхи. Я был взволнован и насторожен; правой рукой я сжимал пистолет, спрятанный за пазухой; каждый звук пугал меня; но я решил дорого продать свою жизнь и не уклоняться от борьбы, пока не паду мертвым или не уничтожу своего противника.

Элизабет некоторое время наблюдала мое волнение, сохраняя робкое безмолвие; но, должно быть, в моем взгляде было нечто такое, что вызвало в ней ужас; дрожа всем телом, она спросила:

— Что тревожит тебя, милый Виктор? Чего ты боишься?

— О, спокойствие, спокойствие, любовь моя,— ответил я,— пройдет эта ночь, и все будет хорошо; но эта ночь страшна, очень страшна.

В таком состоянии духа я провел час, когда вдруг подумал о том, как ужасен будет для моей жены поединок, которого я ежеминутно ждал. Я стал умолять ее удалиться, решив не идти к ней, пока не выясню, где мой враг.

Она покинула меня, и я некоторое время ходил по коридорам дома, обыскивая каждый угол, который мог бы служить укрытием моему противнику. Но я не обнаружил никаких его следов и начал уже думать, что какая-нибудь счастливая случайность помешала ему привести свою угрозу в исполнение, когда вдруг услышал страшный, пронзительный вопль. Он раздался из комнаты, где уединилась Элизабет. Услышав этот крик, я все понял; руки мои опустились, все мускулы моего тела оцепенели; я ощутил тяжкие удары крови в каждой жиле. Это состояние длилось всего лишь миг; вопль повторился, и я бросился в комнату.

Великий боже! Отчего я не умер тогда! Зачем я здесь и рассказываю о гибели моих надежд и самого чистого на свете создания! Она лежала поперек кровати, безжизненная и неподвижная; голова ее свисала вниз, бледные и искаженные черты ее лица были наполовину скрыты волосами. Куда бы я ни посмотрел, я вижу перед собой бескровные руки и бессильное тело, брошенное убийцей на брачное ложе. Как мог я после этого остаться жить? Увы! Жизнь упряма и цепляется за нас тем сильнее, чем

мы больше ее ненавидим. На минуту я потерял сознание и без чувств упал на пол.

Когда я пришел в себя, меня окружали обитатели гостиной. На всех лицах был написан неподдельный ужас, но это было лишь слабым отражением чувств, раздиравших меня. Я вернулся в комнату, где лежало тело Элизабет, моей любимой, моей жены, еще так недавно живой, и такой дорогой, такой достойной любви. Поза, в которой я застал ее, была изменена; теперь она лежала прямо, голова покоилась на руке, на лицо и шею был накинут платок; можно было подумать, что она спит. Я бросился к ней и заключил ее в свои объятия. Но прикосновение к безжизненному и холодному телу напомнило мне, что я держал в объятиях уже не Элизабет, которую так нежно любил. На шее у нее четко виднелся след смертоносных пальцев демона, и дыхание уже не исходило из ее уст.

Склонясь над нею в безмерном отчаянии, я случайно посмотрел вокруг. Окна комнаты были раньше затемнены, а теперь я со страхом увидел, что комната освещена бледно-желтым светом луны. Ставни были раскрыты; с неопи-суемым чувством ужаса я увидел в открытом окне нена-вистную и страшную фигуру. Лицо чудовища было иска-жено усмешкой; казалось, он глумился надо мной, своим дьявольским пальцем указывая на труп моей жены. Я ри-нулся к окну и, выхватив из-за пазухи пистолет, выстрелил; но он успел уклониться, подпрыгнул и, устремившись вперед с быстротою молнии, бросился в озеро.

На звук выстрела в комнате собралась толпа. Я пока-зал направление, в котором он исчез, и мы отправились в погоню на шлюпках; мы бросали сети, но все было на-прасно. После нескольких часов поисков мы вернулись, потеряв всякую надежду; многие из моих спутников по-лагали, что все это — плод моего воображения. Выйдя на берег, они продолжили поиски в окрестностях, разде-лившись на группы, которые в различных направлениях стали обшаривать леса и виноградники.

Я попытался сопровождать их и отошел на короткое расстояние от дома; но голова моя кружилась, я пере-двигался словно пьяный и наконец впал в крайнее изнемо-жение; глаза мои подернулись пеленой, кожу сушил лихо-радочный жар. В этом состоянии меня унесли обратно

в дом и положили на кровать. Я едва сознавал, что случилось; взор мой блуждал по комнате, словно ища то, что я потерял.

Прошло некоторое время; я поднялся и инстинктивно добрался до комнаты, где лежало тело моей любимой. Кругом стояли плачущие женщины; я прильнул к телу и присоединил к их слезам свои горестные слезы. Все это время мне не пришла ни одна ясная мысль; мысли перескакивали с предмета на предмет, смутно отражая мои несчастья и их причину. Я тонул в каком-то море ужасов. Смерть Уильяма, казнь Жюстины, убийство Клерваля и, наконец, моей жены; даже в этот момент я не был уверен, что моим последним оставшимся в живых близким не грозит опасность от злобного дьявола; возможно, отец мой в эту самую минуту корчится в его мертвой хватке, а Эрнест лежит мертвый у его ног. Эта мысль заставила меня задрожать и побудила к действию. Я вскочил на ноги и решил как можно скорее вернуться в Женеву.

Лошадей нельзя было достать, и я вынужден был возвращаться по озеру, но дул противный ветер и потоками лил дождь. Однако утро едва еще брезжило, и к ночи я мог надеяться доехать. Я нанял гребцов и сам взялся за весла, ибо физическая работа всегда облегчала мои душевные муки. Но сейчас избыток горя и крайнее волнение делали меня неспособным ни на какое усилие. Я отбросил весло; охватив голову руками, я дал волю мрачным мыслям, теснившимся в голове. Стоило мне оглянуться кругом, и я видел картины, знакомые мне в более счастливое время; всего лишь накануне я любовался ими в обществе той, что стала теперь только тенью и воспоминанием. Слезы лились из моих глаз. Дождь на некоторое время перестал, и я увидел рыб, которые резвились в воде, как и тогда, раньше; тогда на них глядела Элизабет. Ничто не вызывает у нас столь мучительных страданий, как резкая и внезапная перемена. Сияло ли солнце, или сгущались тучи, ничто уже не могло предстать мне в том же свете, что накануне. Дьявол отнял у меня всякую надежду на будущее счастье; никогда еще не было создания несчастнее меня; ни один человек не переживал события столь страшного.

Но зачем так подробно останавливаться на эпизодах, последовавших за последним моим несчастьем? Повесть

моя и так полна ужасов. Я достиг их предела, и то, что я расскажу теперь, может только наскучить вам. Знайте, что мои близкие были вырваны из жизни один за другим. Я остался одиноким. Но силы мои истощены; и я могу лишь вкратце досказать конец моей страшной повести.

Я прибыл в Женеву. Я застал отца и Эрнеста еще в живых, но первый поник под тяжестью вестей, которые я принес. Я вижу его как сейчас, доброго и почтенного старика! Невидящий взгляд его глаз блуждал в пространстве, ибо он потерял свою лучшую радость — свою Элизабет, значившую для него больше, чем дочь, любимую им безгранично, всей любовью, на какую способен человек на склоне лет, когда у него осталось мало привязанностей, но тем крепче он цепляется за оставшиеся. Пусть будет проклят и еще раз проклят дьявол, обрушивший несчастье на его седую голову, обрекший его на медленное, тоскливое умирание! Он не мог жить после всех ужасов, которые на нас обрушились; жизненные силы иссякли в нем; он уже не вставал с постели и через несколько дней умер на моих руках.

Что случилось тогда со мною? Не знаю; я потерял чувство реального и ощущал лишь давящую тяжесть и тьму. Иногда, правда, мне грезилось, что я брожу по цветущим лугам и живописным долинам с друзьями моей юности. Но я пробуждался в какой-то темнице. За этим следовали приступы тоски, но постепенно я яснее осознал свое горе и свое положение, и тогда меня выпустили на свободу. Оказывается, меня сочли сумасшедшим, и, насколько я мог понять, в течение долгих месяцев моим обиталищем была одиночная палата.

Однако свобода была бы для меня бесполезным даром, если бы во мне, по мере того как возвращался рассудок, не заговорило и чувство мести. Когда ко мне вернулась память о прошлых несчастьях, я начал размышлять об их причине — о чудовище, которое я создал, о гнусном демоне, которого я выпустил на свет на свою же гибель. Мною овладевала безумная ярость, когда я думал о нем; я желал и пылко молил, чтобы он очутился в моих руках и я мог обрушить на его проклятую голову великую и справедливую месть.

Моя ненависть не могла долгое время ограничиваться бесплодными желаниями; я начал думать о наилучших

способах их осуществления. С этой целью, примерно через месяц после выхода из больницы, я обратился к городскому судье по уголовным делам и заявил ему, что намерен предъявить обвинение; что мне известен убийца моих близких и что я требую от него употребить всю его власть для поимки этого убийцы.

Судья выслушал меня со вниманием и доброжелательно.

— Будьте уверены, сэр,— сказал он,— я не пожалею сил и трудов, чтобы схватить преступника.

— Благодарю вас,— ответил я.— Выслушайте поэтому показания, которые я намерен дать. Это действительно такая странная история, что, я боюсь, вы не поверите мне; однако в истине, как бы ни была она удивительна, есть нечто, что заставляет верить. Мой рассказ будет слишком связным, чтобы вы приняли его за плод воображения, и у меня нет никаких побуждений для лжи.

Я сказал все это выразительно, но спокойно; в глубине души я принял решение преследовать моего губителя до самой его смерти. Эта цель, которую я поставил перед собой, облегчала мои страдания и на некоторое время примирила меня с жизнью. Теперь я изложил свою историю кратко, но твердо и ясно, называя точные даты и удерживаясь от проклятий или жалоб.

Вначале судья, казалось, отнесся к рассказу с полным недоверием, но постепенно проявлял все больше внимания и интереса. Я заметил, что он вздрагивал от ужаса, а иногда его лицо выражало живейшее удивление с примесью сомнения.

Закончив свою повесть, я сказал: «Вот существо, которое я обвиняю; и я призываю вас употребить всю вашу власть, чтобы схватить и покарать его. Это ваш долг судьи, и я верю и надеюсь, что и ваши человеческие чувства в данном случае не дадут вам уклониться от исполнения ваших обязанностей».

Это обращение вызвало заметную перемену в лице моего собеседника. Он слушал меня с той полуверой, с какой выслушивают рассказы о таинственных и сверхъестественных явлениях. Но когда я призвал его действовать

официально, к нему вернулось все его прежнее недоверие. Однако он мягко ответил:

— Я бы охотно оказал вам любую помощь в преследовании преступника; но создание, о котором вы говорите, по-видимому, обладает силой, способной свести на нет все мои старания. Кто сможет преследовать животное, способное пересечь ледовое море и жить в пещерах и берлогах, куда не осмелится проникнуть ни один человек? Кроме того, со дня совершения преступлений прошло несколько месяцев, и трудно угадать, куда он направился и где сейчас может обитать.

— Я не сомневаюсь, что он кружит где-то поблизости; а если он в самом деле нашел убежище в Альпах, то можно устроить на него охоту, как на серну, и уничтожить его, как дикого зверя. Но я угадываю ваши мысли: вы не верите моему рассказу и не намерены преследовать моего врага и покарать его по заслугам.

При этом мои глаза сверкнули яростью; судья был смущен.

— Вы ошибаетесь,—сказал он,—я напрогу все усилия, и будьте уверены, что он понесет достойную кару. Но я опасаюсь, судя по вашему собственному описанию его, что это будет практически невыполнимо,—таким образом, несмотря на все меры, вас может ждать разочарование.

— Этого не может быть, но убеждать вас бесполезно. Моя месть ничего для вас не значит. Я согласен, что это дурное чувство, но признаю, что оно — всепожирающая и единственная страсть моей души. Ярость моя невыразима, когда я думаю, что убийца, которого я создал, все еще жив. Вы отказываетесь удовлетворить мое справедливое требование: мне остается лишь одно средство; и я посвящаю себя, свою жизнь и смерть делу его уничтожения.

Произнося эти слова, я весь дрожал; в моих речах сквозило безумие и, вероятно, нечто от надменной суровости, которой отличались, как говорят, мученики былых времен. Но для женевского судьи, чья голова была занята совсем иными мыслями, чем идеи жертвенности и героизма, такое возбуждение очень походило на сумасшествие. Он постарался успокоить меня, словно няня — ребенка, и отнесся к моему повествованию, как к бреду.

— О люди,— вскричал я,— сколь вы невежественны, а еще кичитесь своей мудростью! Довольно! Вы сами не знаете, что говорите.

Я выбежал из его дома раздраженный и взволнованный и удалился, чтобы измыслить иные способы действия.

Глава XXIV

Я был в том состоянии, когда мы не можем разумно мыслить. Я был одержим яростью. Но жажда мести придала мне силу и спокойствие; она заставила меня овладеть собой и помогла быть расчетливым и хладнокровным в такие минуты, когда мне грозило безумие или смерть.

Первым моим решением было навсегда покинуть Женеву; родина, дорогая для меня, когда я был счастлив и любим, теперь стала мне ненавистна. Я запасся деньгами, захватил также несколько драгоценностей, принадлежавших моей матери, и уехал.

С тех пор начались странствия, которые окончатся лишь вместе с моей жизнью. Я объехал большую часть планеты и испытал все лишения, обычно достигающиеся на долю путешественников в пустынных и диких краях. Не знаю, как я выжил; не раз я ложился, изможденный, на землю и молил бога о смерти. Но жажда мести поддерживала во мне жизнь; я не смел умереть и оставить в живых своего врага.

После отъезда из Женевы первой моей заботой было отыскать след ненавистного демона. Но у меня еще не было определенного плана; и я долго бродил в окрестностях города, не зная, в какую сторону направиться. Когда стемнело, я оказался у ворот кладбища, где были похоронены Уильям, Элизабет и отец. Я вошел туда и приблизился к их могилам. Все вокруг было тихо, и только шелест листва, чуть колеблемая ветерком; ночь была темная; и даже для постороннего зрителя здесь было что-то волнующее. Казалось, призраки умерших витают вокруг, бросая невидимую, но осязаемую тень на того, кто пришел их оплакивать.

Глубокое горе, которое я сперва ощутил, быстро сменилось яростью. Они были мертвы, а я жил; жил и их убийца; и я должен влачить постыльную для меня жизнь

ради того, чтобы его уничтожить. Я преклонил колена в траве, поцеловал землю и произнес дрожащими губами: «Клянусь священной землей, на которой стою, тенями, витающими вокруг меня, моим глубоким и неутешным горем; клянусь тобою, Ночь, и силами, которые тобой правят, что буду преследовать дьявола, виновника всех несчастий, пока либо он, либо я не погибнем в смертельной схватке. Ради этого я остаюсь жить; ради этой сладкой мести я буду еще видеть солнце и ступать по зеленой траве, которые иначе навсегда исчезли бы для меня. Души мертвых! И вы, духи мести! Помогите мне и направьте меня. Пусть проклятое адское чудовище выпьет до дна чашу страданий; пусть узнает отчаяние, какое испытываю я».

Я начал это заклинание торжественно и тихо, чувствуя, что души дорогих покойников слышат и одобряют меня; но под конец мной завладели фурии мщения и мой голос пресекался от ярости.

В ответ из ночной тишины раздался громкий, дьявольский хохот. Он долго звучал в моих ушах; горное эхо повторяло его, и казалось, весь ад преследует меня насмешками. В эту минуту, в приступе отчаяния, я положил бы конец своей несчастной жизни, если бы не мой обет; он был услышан, и мне суждено было жить, чтобы мстить. Смех затих; и знакомый ненавистный голос, где-то над самым моим ухом, явственно произнес: «Я доволен; ты решил жить, несчастный! И я доволен».

Я бросился туда, откуда раздался голос; но демон ускользнул от меня. Показалась полная луна и осветила уродливую, зловещую фигуру, убегавшую со скоростью, недоступной простому смертному.

Я погнался за ним и преследовал его много месяцев. Направ на его след, я спустился по Рейну, но напрасно. Показалось синее Средиземное море; и мне случайно удалось увидеть, как демон спрятался ночью в трюме корабля, уходящего к берегам Черного моря. Я сел на тот же корабль; но ему какими-то неведомыми путями опять удалось исчезнуть.

Я прошел по его следу через бескрайние равнины России и Азии, хотя он все ускользал от меня. Бывало, что крестьяне, напуганные видом страшилища, говорили мне, куда он шел; бывало, что и он сам, боясь, чтобы я не умер от отчаяния, если совсем потеряю его след, оставлял какую-нибудь отметину, служившую мне указанием

Падал снег, и я видел на белой равнине отпечатки его огромных ног. Вам, только еще вступающему в жизнь и незнакомому с тяготами и страданиями, не понять, что я пережил и переживаю поныне. Холод, голод и усталость были лишь малой частью того, что мне пришлось вынести. На мне лежало проклятие, и я носил в себе вечный ад; однако был у меня и некий хранительный дух, направлявший мои шаги; когда я более всего роптал, он вызволял меня из трудностей, казавшихся неодолимыми. Случалось, что мое тело, истощенное голодом, отказывалось служить; и тогда я находил в пустыне трапезу, подкреплявшую мои силы. То была грубая пища, какую ели местные жители, но я уверен, что ее предлагали мне духи, которых я призывал на помощь. Часто, когда все вокруг сохло, небо было безоблачно и я томился от жажды, набегало легкое облачко, роняло на меня освежающие капли и исчезало.

Там, где было возможно, я шел по берегу рек; но демон держался вдали от этих путей, ибо они были наиболее населенными. В других местах люди почти не встречались; и я питался мясом попадавшихся мне зверей. Я имел при себе деньги и, раздавая их поселянам, заручался их помощью; или приносил убитую мною дичь и, взяв себе лишь небольшую часть, оставлял ее тем, кто давал мне огонь и все нужное для приготовления пищи.

Эта жизнь была мне ненавистна, и я вкушал радость только во сне. Благословенный сон! Часто, когда я бывал особенно несчастен, я засыпал, и сновидения приносили мне блаженство. Эти часы счастья были даром охранявших меня духов, чтобы мне хватило сил на мое паломничество. Если бы не эти передышки, я не смог бы вынести всех лишений. В течение дня надежда на ночной отдых поддерживала мои силы; во сне я видел друзей, жену и любимую родину; я вновь глядел в доброе лицо отца, слышал серебристый голос Элизабет, видел Клерваля в расцвете юности и сил. Часто, измученный трудным переходом, я убеждал себя, что мой день — это сон, а пробуждение наступит ночью в объятиях моих близких. Какую мучительную нежность я чувствовал к ним! Как я цеплялся за их милые руки, когда они являлись мне иной раз даже и наяву; как я убеждал себя, что они еще живы! В эти минуты утихала горевшая во мне жажда мести, и пресле-

дование демона представлялось мне скорее велением небес, действием какой-то силы, которой я бессознательно подчинялся, чем собственным моим желанием.

Не знаю, что испытывал тот, кого я преследовал. Иногда он оставлял знаки и надписи на коре деревьев или высекал их на камнях; они указывали мне путь и разжигали мою ярость. «Моему царствию еще не конец,— так гласила одна из них,— ты живешь, и ты — в моей власти. Следуй за мною; я держу путь к вечным льдам Севера; ты будешь страдать от холода, к которому я нечувствителен. А здесь ты найдешь, если не слишком замешкаешься, заячью тушку; ешь, подкрепляйся. Следуй за мной, о мой враг; нам предстоит сразиться не на жизнь, а на смерть; но тебе еще долго мучиться, пока ты этого дождешься».

Насмешливый дьявол! Я снова клянусь отомстить тебе; снова обрекаю тебя, проклятый, на муки и смерть. Я не отступлю, пока один из нас не погибнет; а тогда с какой радостью я поспешу к Элизабет и ко всем моим близким, которые уже готовят мне награду за все тяготы моего ужасного странствия!

По мере того как я продвигался на север, снежный покров становился все толще, а холод сделался почти нестерпимым. Крестьяне наглухо заперлись в своих домишках, и лишь немногие показывались наружу, чтобы ловить животных, которых голод выгонял на поиски добычи. Реки были скованы льдом, добыть рыбу было невозможно, и я лишился главного источника питания.

Чем труднее мне было, тем больше радовался мой враг. Одна из оставленных им надписей гласила: «Готовься! Твои испытания только начинаются; кутайся в меха, запасай пищу; мы отправляемся в такое путешествие, что твои муки утолят даже мою неугасимую ненависть».

Эти издевательские слова только придали мне мужества и упорства; я решил не отступать от своего намерения и, призвав небо в помощники, с несокрушимой энергией продвигался по снежной равнине, пока на горизонте не показался океан. О, как он был непохож на синие моря юга! Покрытый льдами, он отличался от земли только вздыбленной поверхностью. Когда-то греки, завидев Средиземное море с холмов Азии, заплакали от радости, ибо то был конец трудного пути. Я не заплакал; но сердце

мое было переполнено; опустившись на колени, я возблагодарил доброго духа, благополучно приведшего меня туда, где я надеялся настигнуть врага, вопреки его насмешкам, и схватиться с ним.

За несколько недель до того я достал сани и упряжку собак и мчался по снежной равнине с невероятной скоростью; не знаю, какие средства передвижения были у демона; но если я прежде с каждым днем все больше отставал от него, то теперь я начал его нагонять; когда я впервые увидел океан, демон был лишь на один день пути впереди меня, и я надеялся догнать его, прежде чем он достигнет берега. Я рванулся вперед с удвоенной энергией и через два дня добрался до жалкой прибрежной деревушки. Я расспросил жителей о демоне и получил самые точные сведения. Они сказали, что уродливый великан побывал здесь накануне вечером, что он вооружен ружьем и несколькими пистолетами и его страшный вид обратил в бегство обитателей одной уединенной хижины. Он забрал там весь зимний запас пищи, погрузил его в сани, захватил упряжку собак и в ту же ночь, к великому облегчению перепуганных поселян, пустился дальше, по морю, туда, где не было никакой земли; они полагали, что он утонет, когда вскрыется лед, или же замерзнет.

Услышав это известие, я сперва пришел в отчаяние. Он ускользнул от меня, и мне предстоял страшный и почти бесконечный путь по ледяным глыбам застывшего океана, при стуже, которую не могут долго выдерживать даже местные жители, а тем более не надеялся выдержать я, уроженец теплых краев. Но при мысли, что демон будет жить и торжествовать, во мне вспыхнули ярость и жажда мести, затопившие, точно мощный прилив, все другие чувства. После краткого отдыха, во время которого призраки мертвых витали вокруг меня, побуждая к мщению, я стал готовиться в путь.

Я сменил свои сани на другие, более пригодные для езды по ледяному океану, и, закупив большие запасы провизии, съехал с берега в море.

Не могу сказать, сколько дней прошло с тех пор; знаю только, что я перенес муки, которых не выдержал бы, если б не горящая во мне неутолимая жажда праведного возмездия. Часто мой путь преграждался огромными массивными глыбами льда; нередко слышал я подо льдом

грохот волн, грозивших мне гибелью. Но затем мороз крепчал, и путь по морю становился надежнее.

Судя по количеству провианта, которое я израсходовал, я считал, что провел в пути около трех недель. Я истерзался: постоянно обманутые надежды часто исторгали из моих глаз горькие слезы бессилия и тоски. Мной уже овладевало отчаяние, и я, конечно, скоро поддался бы ему и погиб. Но однажды, когда бедные животные, впряженные в сани, с неимоверным трудом втащили их на вершину ледяной горы и одна из собак тут же околела от натуги, я тоскливо обозрел открывшуюся передо мной равнину и вдруг заметил на ней темную точку. Я напряг зрение, чтобы разглядеть ее, и издал торжествующий крик: это были сани, а на них хорошо знакомая мне уродливая фигура. Живительная струя надежды снова влилась в мое сердце. Глаза наполнились теплыми слезами, которые я поспешно отер, чтобы они не мешали мне видеть демона; но горячая влага все туманила мне глаза, и, не в силах бороться с волнением, я громко зарыдал.

Однако медлить было нельзя; я выпряг мертвую собаку и досыта накормил остальных; после часового отдыха, который был совершенно необходим, хотя и показался мне тягостным промедлением, я продолжил свой путь. Сани были еще видны, и я лишь на мгновение терял их из виду, когда их заслоняла какая-нибудь ледяная глыба. Я заметно нагонял их, и когда, после двух дней погони, оказался от них на расстоянии какой-нибудь мили, сердце мое взыграло.

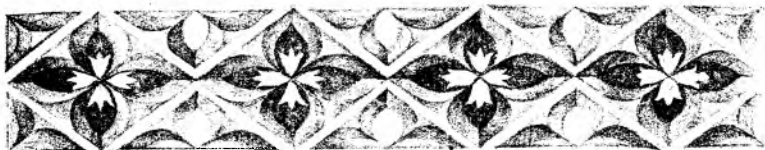
И вот тут-то, когда я уже готовился настигнуть своего врага, счастье отвернулось от меня; я потерял его след, потерял совсем, чего еще не случалось ни разу. Лед начал вскрываться: шум валов, катившихся подо мной, нарастал с каждой минутой. Я еще продвигался вперед, но все было напрасно. Поднялся ветер; море ревело; все вокруг всколыхнулось, как при землетрясении, и раскололось с оглушительным грохотом. Это свершилось очень быстро; через несколько минут между мной и моим врагом бушевало море, а меня несло на отколовшейся льдине, которая быстро уменьшалась, готовя мне страшную гибель.

Тогда я провел много ужасных часов; несколько собак у меня издохло; и сам я уже изнемогал под бременем бедствий, когда увидел ваш корабль, стоявший на якоре

и обещавший мне помощь и жизнь. Я не предполагал, что суда заходят так далеко на север, и был поражен. Я поспешно разломал свои сани, чтобы сделать весла, и с мучительными усилиями подошел к кораблю своей ледяной плот. Если б оказалось, что вы следуете на юг, я был готов довериться волнам, лишь бы не отказываться от своего намерения. Я надеялся убедить вас дать мне лодку, чтобы на ней преследовать своего врага. Но вы держали путь на север. Вы взяли меня на борт, когда я был до крайности истощен; обессиленный лишениями, я был близок к смерти, а я еще страшусь ее, ибо не выполнил своей задачи.

О, когда же мой добрый ангел приведет меня к чудовищу и я найду желанный покой? Неужели я умру, а тот будет жить? Если так, поклянитесь мне, Уолтон, что не дадите ему ускользнуть; что вы найдете его и свершите месть за меня. Но что это? Я осмеливаюсь просить, чтобы другой продолжил мое паломничество и перенес все тяготы, которые достались мне? Нет, я не столь себялюбив. И все же, если после моей смерти он вам встретится, если духи мщения приведут его к вам, клянитесь, что он не уйдет живым, — клянитесь, что он не восторжествует над моими бедами, не останется жить и творить новое зло. Он красноречив и умеет убеждать; некогда его слова имели власть даже надо мной. Но не верьте им. Он такой же дьявол в душе, как и по внешности; он полон коварства и адской злобы. Не слушайте его. Повторите про себя имена Уильяма, Жюстины, Клерваля, Элизабет, моего отца и самого несчастного Виктора — и разите его прямо в сердце. Мой дух будет с вами рядом и направит вашу шпагу.





Продолжение дневника Уолтона

26 августа, 17..

Ты прочла эту странную и страшную повесть, Маргарет; и я уверен, что кровь стыла у тебя в жилах от ужаса, который ощущаю и я. Иногда внезапный приступ душевной муки прерывал его рассказ; порой он с трудом, прерывающимся голосом произносил свои полные отчаяния слова. Его прекрасные глаза то загорались негодованием, то туманились печалью и угасали в беспредельной тоске. Иногда он овладевал собой и своим голосом и рассказывал самые страшные вещи совершенно спокойным тоном; но порой что-то прорывалось, подобно лаве вулкана, и с лицом, искаженным яростью, он выкрикивал проклятия своему мучителю.

Его рассказ вполне связан и производит правдоподобное впечатление; и все же признаюсь тебе, что письма Феликса и Сафии, которые он мне показал, и само чудовище, мельком увиденное нами с корабля, больше убедили меня в истинности его рассказа, чем самые серьезные его заверения. Итак, чудовище действительно существует! Я не могу в этом сомневаться, но не перестаю дивиться. Иногда я пытался выведать у Франкенштейна подробности создания его детища; но тут он становился непроницаем.

— Вы сошли с ума, мой друг,— говорил он.— Знаете, куда может привести вас ваше праздное любопытство? Неужели вы тоже хотите создать себе и всему миру дьявольски злобного врага? Молчите и слушайте повесть о моих бедствиях; не старайтесь накликать их на себя.

Франкенштейн обнаружил, что я записываю его рассказ; он пожелал посмотреть мои записи и во многих местах сделал поправки и добавления; более всего там,

где пересказаны его разговоры с его врагом. «Раз уже вы записываете мою историю,— сказал он,— я не хотел бы, чтобы она дошла до потомков в искаженном виде».

Целую неделю слушал я его повесть, самую странную, какую могло создать человеческое воображение. Завороженный и рассказом моего гостя, и обаянием его личности, я жадно впивал каждое его слово. Мне хотелось бы утешить его; но как могу я обещать радости жизни тому, кто безмерно несчастен и лишился всех надежд? Нет! Единственную радость, какую он еще способен вкушать, он ощутит, когда его сломленный дух найдет покой в смерти. Правда, он и сейчас имеет одно утешение, порожденное одиночеством и болезненным бредом: когда он в забытии видит своих близких и в общении с ними находит облегчение своих страданий или новые силы для мести, ему кажется, что это не плод его воображения, но что они действительно являются к нему из иного мира. Эта вера придает его грезам серьезность и делает их для меня почти столь же значительными и интересными, как сама правда.

Впрочем, история его жизни и его несчастий не является единственной темой наших бесед. Он весьма начитан и во всех общих вопросах обнаруживает огромные познания и большую остроту суждений. Он умеет говорить убедительно и трогательно; нельзя слушать без слез, когда он рассказывает о волнующем событии или хочет вызвать ваше сочувствие. Как великолепен он, вероятно, был в дни своего расцвета, если даже сейчас, на пороге смерти, он так благороден и величав!.. По-видимому, он сознает свою прежнюю силу и глубину своего падения.

«В молодости,— сказал он однажды,— я чувствовал себя созданным для великих дел. Я умею глубоко чувствовать, но одновременно наделен трезвым умом, необходимым для больших свершений. Сознание того, как много мне дано, поддерживало меня, когда другой впал бы в уныние; ибо я считал преступным растрчивать на бесплодную печаль талант, который может служить людям. Размышляя над тем, что мне удалось свершить — как-никак создать разумное живое существо,— я не мог не сознавать своего превосходства над обычными людьми. Но эта мысль, окрылявшая меня в начале моего пути, теперь заставляет меня еще ниже опускать голову. Все

мои стремления и надежды кончились крахом; подобно архангелу, возжаждавшему высшей власти, я прикован цепями в вечном аду. Я был наделен одновременно и живым воображением, и острым, упорным аналитическим умом; сочетание этих качеств позволило мне задумать и осуществить создание человеческого существа. Я и сейчас не могу без волнения вспомнить, как я мечтал, пока работал. Я мысленно ступал по облакам, ликовал в сознании своего могущества, весь горел при мысли о благодетельных последствиях моего открытия. Я с детства любил мечтать о высоком и был полон благородного честолюбия — а теперь, какое страшное падение! О друг мой, если бы вы знали меня таким, каким я был когда-то, вы не узнали бы меня в моем нынешнем жалком состоянии. Уныние было мне почти неведомо; казалось, все вело меня к великой цели, пока я не пал, чтобы уже никогда более не подняться».

Неужели мне суждено потерять этого замечательного человека? Я жаждал иметь друга — такого, который любил бы меня и разделял мои стремления. И — о чудо! — я нашел его в здешних морях; но боюсь, что нашел лишь для того, чтобы оценить по достоинству и тут же вновь потерять. Я пытаюсь примирить его с жизнью, но он отвергает всякую мысль об этом.

— Спасибо вам, Уолтон,— говорит он,— за доброту к несчастному; но, обещая мне новые привязанности, неужели вы думаете, что они заменят мне мои утраты? Кто может стать для меня тем, чем был Клерваль? Какая женщина может стать второй Элизабет? Друзья детства, даже когда они не пленяют нас исключительными достоинствами, имеют над нашей душой власть, какая редко достается друзьям позднейших лет. Им известны наши детские склонности, которые могут впоследствии изменяться, но никогда не исчезают совершенно; они могут верно судить о наших поступках, потому что лучше знают наши истинные побуждения. Брат или сестра неспособны заподозрить вас во лжи или измене, разве только вы рано обнаружили к ним склонность; тогда как друг, даже очень к вам привязанный, может иногда невольно возбудить подозрения. А у меня были друзья, любимые не только по привычке, но и за их достоинства; где бы я ни был, мне всюду слышались ласковые слова Элизабет и голос Клер-

валя. Их уже нет; и я оказался в таком одиночестве, что лишь одно чувство еще дает мне силу жить. Будь я занят важными открытиями, обещающими много пользы людям, я хотел бы жить ради их завершения. Но это мне не суждено; я должен выследить и уничтожить создание, которому я дал жизнь; тогда моя земная миссия будет выполнена и я могу умереть

2 сентября

Любимая сестра, это письмо я пишу тебе, находясь среди опасностей и в полном неведении насчет того, суждено ли мне увидеть милую Англию и еще более милых сердцу людей, живущих там. Меня окружают непроходимые нагромождения льда, ежеминутно грозящие раздавить мое судно. Смелчаки, которых я набрал себе в спутники, смотрят на меня с надеждой, но что я могу сделать? Положение наше ужасно, но мужество и надежда не покидают меня. Страшно, конечно, подумать, что я подверг опасности столько людей. Если мы погибнем, виною будет моя безрассудная затея.

А что будешь думать ты, Маргарет? Ты не узнаешь о моей гибели и будешь нетерпеливо ждать моего возвращения. Пройдут годы, и у тебя будут приступы отчаяния, но надежда все еще будет тебя дразнить. О милая сестра, мучительная гибель твоих надежд страшит меня более собственной смерти. И все же у тебя есть муж и прелестные дети; ты можешь быть счастлива; да пошлет тебе небо благословение и счастье!

Мой бедный гость смотрит на меня с глубоким сочувствием. Он пытается вселить в меня надежду и говорит так, словно считает жизнь ценным даром. Он напоминает мне, как часто мореплаватели встречают в здешних широтах подобные препятствия; и я помимо своей воли начинаю верить в счастливый исход. Даже матросы ощущают силу его красноречия; когда он говорит, они забывают об отчаянии; он подымает их дух; слыша его голос, они начинают верить, что огромные ледяные горы — не более чем холмики, насыпанные кротами, пустынные препятствия, которые исчезнут перед решимостью человека. Но этот подъем длится у них недолго; каждый день задержки наполняет их страхом, и я начинаю бояться, как бы отчаяние не довело их до мятежа.

5 сентября

Сейчас разыгралась такая интересная сцена, что я не могу не записать ее, хотя эти записки едва ли когда-нибудь попадут к тебе.

Мы все еще окружены льдами, и нам все еще грозит опасность быть раздавленными. Холод усиливается, и многие из моих несчастных спутников уже нашли смерть в здешних суровых краях. Франкенштейн слабеет день ото дня; в его глазах еще горит лихорадочный огонь; но он до крайности истощен, и когда ему приходится сделать какое-нибудь усилие, он тотчас же снова погружается в забытие, весьма похожее на смертный сон.

Как я писал в моем прошлом письме, я опасался мятежа. Нынче утром, когда я смотрел на изможденное лицо моего друга — глаза его были полузакрыты, и все тело расслаблено, — несколько матросов попросило дозволения войти в каюту. Они вошли, и их вожак обратился ко мне. Он заявил, что он и его спутники — депутация от всего экипажа с просьбой ко мне, в которой я, по справедливости, не могу отказать. Мы затерты во льдах и, быть может, вообще из них не выберемся; но они опасаются, что, если во льду и откроется проход, я буду настолько безрассуден, что пойду дальше и поведу их к новым опасностям, даже когда им удастся счастливо избегнуть нынешней. Поэтому они настаивают, чтобы я торжественно обязался идти к югу, как только судно освободится из льдов.

Это взволновало меня. Я еще не отчаялся достичь цели и не думал о возвращении, если б нам удалось высвободиться. Но мог ли я, по справедливости, отказать им в их просьбе? Я колебался; и тут Франкенштейн, сперва молчавший и казавшийся настолько слабым, что едва ли даже слушал нас, встрепенулся; глаза его сверкнули, а щеки зарумянились от кратковременного прилива сил. Обращаясь к матросам, он сказал: «Чего вы хотите? Чего вы требуете от вашего капитана? Неужели вас так легко отвлечь от цели? Разве вы не называли эту экспедицию славной? А почему славной? Не потому, что путь ее обещал быть тихим и безбурным, как в южных морях, а именно потому, что он полон опасностей и страхов; потому что тут на каждом шагу вы должны испытывать свою стой-

кость и проявлять мужество; потому что здесь вас подстерегают опасности и смерть, а вы должны глядеть им в лицо и побеждать их. Вот почему это — славное и почетное предприятие. Вам предстояло завоевать славу благодетелей людского рода, ваши имена повторяли бы с благоговением, как имена смельчаков, не убоявшихся смерти ради чести и пользы человечества. А вы, при первых признаках опасности, при первом же суровом испытании для вашего мужества, отступаете и готовы прослыть за людей, у которых не хватило духу выносить стужу и опасности, — бедняги замерзли и захотели домой, к теплым очагам. К чему были тогда все сборы, к чему было забираться так далеко и подводить своего капитана? — проще было сразу признать себя трусами. Вам нужна твердость настоящих мужчин и даже больше того: стойкость и неколебимость утесов. Этот лед не так прочен, как могут быть ваши сердца; он тает; он не устоит перед вами, если вы так решите. Не возвращайтесь к вашему близким с клеймом позора. Возвращайтесь как герои, которые сражались и победили и не привыкли поворачиваться к врагу спиной».

Его голос выразительно подчеркивал все высказываемые им чувства; глаза сверкали мужеством и благородством; неудивительно, что мои люди были взволнованы. Они переглядывались и ничего не отвечали. Тогда заговорил я; я велел им разойтись и подумать над сказанным; я обещал, что не поведу их дальше на север, если они этому решительно воспротивятся; но выразил надежду, что вместе с размышлением к ним вернется мужество.

Они разошлись, а я обернулся к моему другу; но он крайне ослабел и казался почти безжизненным.

Чем все это кончится, не знаю; я бы, кажется, охотнее умер, чем вернулся так бесславно, не выполнив своей задачи. Боюсь, однако, что именно это мне суждено; не побуждаемые жаждой славы и чести, люди ни за что не станут добровольно терпеть наши нынешние лишения.

7 сентября

Жребий брошен; я дал согласие вернуться, если мы не погибнем. Итак, мои надежды погублены малодушием и нерешительностью; я возвращаюсь разочарованный, ни-

чего не узнав. Чтобы терпеливо снести подобную несправедливость, надо больше философской мудрости, чем ее имеется у меня.

12 сентября

Все кончено; я возвращаюсь в Англию. Я потерял надежду прославиться и принести пользу людям,— потерял я и друга. Но постараюсь подробно рассказать тебе об этих горьких минутах, милая сестра; и раз волны несут меня к Англии и к тебе, я не буду отчаиваться.

Девятого сентября лед пришел в движение; ледяные острова начали раскалываться, и грохот, подобный грому, был слышен издалека. Нам грозила большая опасность; но так как мы могли лишь пассивно выжидать событий, мое внимание было обращено прежде всего на моего несчастного гостя, которому стало настолько хуже, что он уже не вставал с постели. Лед позади нас трещал; его с силой гнало к северу; подул западный ветер, и 11-го числа проход на юг полностью освободился ото льда. Когда матросы увидели это и узнали о предстоящем возвращении на родину, они испустили крик радости; они кричали громко и долго. Франкенштейн очнулся от забытья и спросил о причине шума. «Они радуются,— сказал я,— потому что скоро вернутся в Англию». — «Итак, вы действительно решили вернуться?» — «Увы, да; я не могу противиться их требованиям. Не могу вести их, против их воли, в это опасное плавание и вынужден вернуться». — «Что ж, возвращайтесь; а я не вернусь. Вы можете отказаться от своей задачи. Моя поручена мне небесами; и я отказываться не смею. Я слаб, но духи, помогающие мне в моем отмищении, придадут мне достаточно сил».

С этими словами он попытался подняться с постели, но это было ему не по силам; он опрокинулся навзничь и потерял сознание.

Прошло много времени, прежде чем он очнулся; и мне не раз казалось, что жизнь уже отлетела от него. Наконец он открыл глаза; он дышал с трудом и не мог говорить. Врач дал ему успокоительное питье и велел его не тревожить. Мне он при этом сообщил, что часы моего друга сочтены.

Итак, приговор был произнесен, и мне оставалось лишь горевать и ждать. Я сидел у его постели; глаза его были закрыты; казалось, что он спит; но скоро он слабым голосом окликнул меня и, попросив придвинуться ближе, сказал: «Увы! силы, на которые я надеялся, иссякли. Я чувствую, что умираю; а он, мой враг и преследователь, вероятно, жив. Не думайте, Уолтон, что в свои последние минуты я все еще ощущаю ту ненависть и жажду мести, которые однажды высказал; я лишь чувствую, что вправе желать смерти моего противника. В эти дни я много думал над своими прошлыми поступками — и не могу их осуждать.

Увлечшись своей идеей, я создал разумное существо и был обязан, насколько то было в моих силах, обеспечить его счастье и благополучие. Это был мой долг; но у меня был и другой долг, еще выше. Долг в отношении моих собратьев-людей стоял на первом месте, ибо здесь шла речь о счастье или несчастье многих. Руководствуясь этим долгом, я отказался — и считаю, что правильно — создать подругу для моего первого творения. Он проявил невиданную злобность и эгоизм; он убил моих близких; он уничтожил людей, тонко чувствующих, счастливых и мудрых. Я не знаю, где предел его мстительности. Он несчастен; но чтобы он не мог делать несчастными других, он должен умереть. Его уничтожение стало моей задачей, но я не сумел ее выполнить. Когда мной руководила злоба и личная месть, я просил вас завершить мое неоконченное дело; и я возобновляю эту просьбу сейчас, когда меня побуждают к этому разум и добродетель.

Но я не могу просить вас ради этой задачи отречься от родины и друзей; сейчас, когда вы возвращаетесь в Англию, мало вероятно, чтобы вы с ним встретились. Я предоставляю вам самому решить, что вы сочтете своим долгом; мой ум и способность суждения уже отуманены близостью смерти. Я не смею просить вас делать то, что мне кажется правильным, ибо мною все еще, быть может, руководят страсти.

Меня тревожит, что—он жив и будет творить зло; если б не это, то нынешний час, когда я жду успокоения, был бы единственным счастливым часом за последние

годы моей жизни. Тени дорогих мертвых уже видятся мне, и я спешу к ним. Прощайте, Уолтон! Ищите счастья в покое и бойтесь честолюбия; бойтесь даже невинного, по видимости, стремления отличиться в научных открытиях. Впрочем, к чему я говорю это? Сам я потерпел неудачу, но другой, быть может, будет счастливее».

Голос его постепенно слабел; наконец, утомленный усилиями, он умолкнул. Спустя полчаса он снова попытался заговорить, но уже не смог; он слабо пожал мне руку, и глаза его навеки сомкнулись, а кроткая улыбка исчезла с его лица.

Маргарет, что мне сказать о безвременной гибели этого великого духа? Как передать тебе всю глубину моей скорби? Все, что я мог бы сказать, будет слабо и недостаточно. Я плачу; душа моя омрачена тяжелой потерей. Но наш путь лежит к берегам Англии, и там я надеюсь найти утешение.

Но меня прерывают. Что могут означать эти звуки? Сейчас полночь; дует свежий ветер, и вахтенных на палубе не слышно. Вот опять; мне слышится словно человеческий голос, но более хриплый; он доносится из каюты, где еще лежит тело Франкенштейна. Надо пойти и посмотреть, в чем дело. Спокойной ночи, милая сестра.

Великий боже! Что за сцена сейчас разыгралась! Я все еще ошеломлен ею. Едва ли сумею рассказать о ней во всех подробностях; однако моя повесть была бы неполной без этой последней, незабываемой сцены.

Я вошел в каюту, где лежали останки моего благородного и несчастного друга. Над ним склонилось какое-то существо, которое не опишешь словами: гигантского роста, но уродливо непропорциональное и неуклюжее. Его лицо, склоненное над гробом, было скрыто прядями длинных волос; видна была лишь огромная рука, цветом и видом напоминавшая тело мумии. Заслышав мои шаги, чудовище оборвало свои горестные причитания и метнулось к окну. Никогда я не видел ничего ужаснее этого лица, его отталкивающего уродства. Я невольно закрыл глаза и напомнил себе, что у меня есть долг в отношении убийцы. Я приказал ему остановиться.

Он остановился, глядя на меня с удивлением; но тут же, снова обернувшись к безжизненному телу своего создателя, казалось, позабыл обо мне, весь охваченный каким-то испуганием.

— Вот еще одна моя жертва! — воскликнул он. — Этим завершается цепь моих злодеяний. О Франкенштейн! Благородный подвижник! Тщетно было бы мне сейчас молить у тебя прощения! Мне, который привел тебя к гибели, погубив всех, кто был тебе дорог. Увы! Он мертв, он мне не ответит.

Тут его голос прервался; первым моим побуждением было выполнить предсмертное желание моего друга и уничтожить его противника; но я колебался, движимый смешанными чувствами любопытства и сострадания. Я приблизился к чудовищу, не смея, однако, еще раз поднять на него глаза — такой ужас вызывала его нечеловеческая уродливость. Я попробовал заговорить, но слова замерли у меня на устах. А демон все твердил бессвязные и безумные укоры самому себе. Наконец, когда его страстные выкрики на мгновение смолкли, я решился заговорить.

— Твое раскаяние бесполезно, — сказал я. — Если бы ты слушался голоса совести и чувствовал ее укоры, прежде чем простирать свою адскую месть до этой последней черты, Франкенштейн был бы сейчас жив.

— А ты думаешь, — отозвался демон, — что я и тогда не чувствовал мук и раскаяния? Даже он, — продолжал он, указывая на тело, — не испытал, умирая, и одной десяти тысячной доли тех терзаний, какие ощущал я, пока вел его к гибели. Себялюбивый инстинкт толкал меня все дальше, а сердце было отравлено сознанием вины. Ты думаешь, что стоны Клерваля звучали для меня музыкой? Мое сердце было создано, чтобы отзываться на любовь и ласку; а когда несчастья вынудили его к ненависти и злу, это насильственное превращение стоило ему таких мук, каких ты не можешь даже вообразить.

После убийства Клерваля я возвратился в Швейцарию разбитый и подавленный. Я жалел, мучительно жалел Франкенштейна, а себя ненавидел. Но когда я узнал, что он, создавший и меня самого, и мои невыразимые

муки, лелеет мечту о счастье; что, взергнув меня в отчаяние, он ищет для себя радости именно в тех чувствах и страстях, которые мне навсегда недоступны,— когда я узнал это, бессильная зависть и горькое негодование наполнили меня ненасытной жаждой мести. Я вспомнил свою угрозу и решил привести ее в исполнение. Я знал, что готовлю себе нестерпимые муки; я был всецело во власти побуждения, ненавистного мне самому, но неодолимого. И все же, когда она умерла!.. Нет, я не могу даже сказать, что я страдал. Я отбросил всякое чувство, подавил всякую боль и достиг предела холодного отчаяния. С той поры зло стало моим благом. Зайдя так далеко, я не имел уже выбора и вынужден был следовать по избранному мной пути. Завершение моих дьявольских замыслов сделалось для меня неутолимой страстью. Теперь круг замкнулся, и вот последняя из моих жертв!

Я был сперва взволнован этими полными отчаяния словами; но, вспомнив, что говорил Франкенштейн о его красноречии и умении убеждать, и взглянув еще раз на безжизненное тело моего друга, я снова загорелся негодованием.

— Негодяй! — сказал я. — Что же ты пришел хныкать над бедами, которые сам же принес? Ты бросил зажженный факел в здание, а когда оно сгорело, садишься на развалины и сокрушаешься о нем. Лицемерный дьявол! Если бы тот, о ком ты скорбишь, был жив, он снова стал бы предметом твоей адской мести и снова пал бы ее жертвой. В тебе говорит не жалость; ты жалеешь только о том, что жертва уже недосыгаема для твоей злобы.

— О нет, это не так, совсем не так. — прервал меня демон. — И, однако, таково, как видно, впечатление, которое производят мои поступки. Но я не ищу сострадания. Никогда и ни в ком мне не найти сочувствия. Когда я впервые стал искать его, то ради того, чтобы разделить с другими любовь к добродетели, чувства любви и преданности, переполнявшие все мое существо. Теперь, когда добро стало для меня призраком, когда любовь и счастье обернулись ненавистью и горьким отчаянием, к чему мне искать сочувствия? Мне суждено страдать в одиночестве, покуда я жив; а когда умру, все будут клясть самую память

обо мне. Когда-то я тешил себя мечтами о добродетели, о славе и счастье. Когда-то я тщетно надеялся встретить людей, которые простят мне мой внешний вид и полюбят за те добрые чувства, какие я проявлял. Я лелеял высокие помыслы о чести и самоотверженности. Теперь преступления низвели меня ниже худшего из зверей. Нет на свете вины, нет злобы, нет мук, которые могли бы сравниться с моими. Вспоминая страшный список моих злодеяний, я не могу поверить, что я — то самое существо, которое так восторженно поклонялось Красоте и Добру. Однако это так; падший ангел становится злобным дьяволом. Но даже враг бога и людей в своем падении имел друзей и спутников, и только я одинок.

Ты, называющий себя другом Франкенштейна, вероятно, знаешь о моих злодеяниях и моих несчастьях. Но как бы подробно он ни рассказал тебе о них, он не мог передать ужаса тех часов, — нет, не часов, а целых месяцев, когда меня сжигала неуголенная страсть. Я разрушал его жизнь, но не находил в этом удовлетворения. Желания по-прежнему томили меня; я по-прежнему жаждал любви и дружбы, а меня все так же отталкивали. Разве это справедливо? Почему меня считают единственным виновным, между тем как передо мною виновен весь род людской? Почему вы не осуждаете Феликса, с презрением прогнавшего друга от своих дверей? Почему не возмущаетесь крестьянином, который бросился убивать спасителя своего ребенка? О нет, их вы считаете добродетельными и безупречными! И только меня, одинокого и несчастного, называют чудовищем, гонят, бьют и топчут. Еще и сейчас кровь моя кипит при воспоминании о перенесенных мною обидах.

Но я негодяй — это правда! Я убил столько прелестных и беззащитных существ; я душил невинных во время сна; я душил тех, кто никогда не причинял вреда ни мне, ни кому-либо другому. Я обрек на страдания своего создателя — подлинный образец всего, что в человеке достойно любви и восхищения: я преследовал его, пока не довел до гибели. Вот он лежит, безжизненный и холодный. Ты ненавидишь меня; но твоя ненависть — ничто по сравнению с той, которую я сам к себе чувствую. Я гляжу на

руки, совершившие это злодейство, думаю о сердце, где зародился подобный замысел, и жажду минуты, когда не буду больше видеть этих рук, не буду больше терзаться воспоминаниями и угрызениями совести.

Не опасайся, что я еще кому-либо причиню зло. Мое дело почти закончено. Для завершения всего, что мне суждено на земле, не нужна ни твоя, ни еще чья-либо смерть — а только моя собственная. Не думай, что я стану медлить с принесением этой жертвы. Я покину твой корабль на том же ледяном плоту, который доставил меня сюда, и отправлюсь дальше на север; там я воздвигну себе погребальный костер и превращу в пепел свое злополучное тело, чтобы мои останки не послужили для какого-нибудь любопытного ключом к запретной тайне и он не вздумал создать другого, подобного мне. Я умру. Я больше не буду ощущать тоски, которая сейчас снедает меня, не стану больше терзаться желаниями, которые не могу ни утолить, ни подавить. Тот, кто вдохнул в меня жизнь, уже мертв, а когда и меня не станет, исчезнет скоро самая память о нас обоих. Я уже не увижу солнца и звезд, не почувствую на своих щеках дыхания ветра. Для меня исчезнет и свет, и все ощущения — и в этом небытии я должен найти свое счастье. Несколько лет тому назад, когда мне впервые предстали образы этого мира, когда я ощутил ласковое тепло лета, услышал шум листвы и пение птиц, мысль о смерти вызвала бы у меня слезы; а сейчас это моя единственная отрада. Оскверненный злодейством, терзаемый укорами совести, где я найду покой, если не в смерти?

Прощай! Покидая тебя, я расстаюсь с последним, которого увидят эти глаза. Прощай, Франкенштейн! Если бы ты еще жил и желал мне отомстить, тебе лучше было бы обречь меня жить, чем предать уничтожению. Но все было иначе; ты стремился уничтожить меня, чтобы я не творил зла; и если, по каким-либо неведомым мне законам, мысль и чувства в тебе не угасли, ты не мог бы пожелать мне более жестоких мук, чем те, что я ощущаю. Как ни был ты несчастен, мои страдания были еще сильнее; ибо жало раскаяния не перестанет растравлять мои раны, пока их навек не закроет смерть.

Но скоро, скоро я умру и уже ничего не буду чувствовать. Жгучие муки скоро угаснут во мне. Я гордо взойду на свой погребальный костер и с ликованием отдамся жадному пламени. Потом костер погаснет, и ветер развеет мой пепел над водными просторами. Мой дух уснет спокойно; а если будет мыслить, то это, конечно, будут совсем иные мысли. Прощай!

С этими словами он выпрыгнул из окна каюты на ледяной плот, причаленный вплотную к нашему кораблю. Скоро волны унесли его, и он исчез в темной дали.





Вальтер Скотт

**КОМНАТА
С ГОБЕЛЕНАМИ,
или
Дама в старинном
платье**

•





и исследующую историю автор собирается рассказать доподлинно так, как он ее слышал, насколько память ему это позволит: он ждет, что его станут хвалить или порицать лишь в меру того, хорошо или плохо сумел он отобрать те или иные подробности, и не забудут, что задачей его было избежать каких бы то ни было украшений, могущих нарушить первоначальную простоту.

Вместе с тем несомненно, что особая категория рассказов, повествующих о чудесных явлениях, больше действует на вас, когда вы слышите такой рассказ из чьих-то уст, чем когда вы его читаете.

Книга, раскрытая вами среди бела дня, производит чаще всего впечатление менее сильное, нежели сообщающий о тех же самых событиях голос рассказчика, окруженного слушателями, которые с напряженным вниманием следят за мельчайшими подробностями ее истории, — ибо на них зиждется вся ее достоверность — голос, который становится вдруг тихим и таинственным, когда повествование доходит до ужасов и чудес. Автору посчастливилось более двадцати лет назад воспользоваться этими преимуществами и слышать историю, которую он намерен сейчас сообщить читателю, из уст мисс Сьюард из Литчфилда, среди многочисленных талантов которой немало важное место занимает и искусство рассказчика. В настоящем виде история эта неминуемо потеряет тот интерес, который придавали ей мелодичный голос и умное лицо высокоодаренной девушки. И все же если вы прочтете ее вслух людям, не зараженным скептицизмом, при последних ярких лучах солнца или в освещенной огарком свечи безмолвной комнате, она может вновь обрести ту силу, которой отмечены рассказы о привидениях. Хотя мисс Сьюард неизменно уверяла, что почерпнула этот рассказ из источника весьма достоверного, она предпочла, однако, не называть имен двух его главных героев. Я не стану оглашать некоторые подробности, дошедшие до меня позднее и уточняющие место действия; в описаниях я ограничу себя общими чертами, представив все так, как это было мне самому когда-то рассказано. Из тех же соображений я не стану ни добавлять к моему рассказу

какие-либо новые обстоятельства, ни исключать из него другие, буде то важные или нет; я просто перескажу вам эту историю об охваченном безграничным ужасом человеке так, как мне довелось ее услышать.

В конце американской войны офицеры армии лорда Корнуэлса, сдавшейся в Йорке, равно как и те, кто был взят в плен во время этого очень неуместного и злосчастного столкновения, возвращались к себе на родину, чтобы рассказать о своих приключениях и отдохнуть после всех передряг. В числе их находился некий генерал; мисс Сьюард назвала его Брауном, но, как я понял, лишь для того, чтобы избежать неудобства, которое повлекло бы за собою введение в рассказ безыменного героя. Это был достойный офицер, дворянин, высокообразованный и весьма знатный.

Какие-то дела заставили генерала Брауна предпринять поездку по западным графствам. И вот однажды утром, завершая очередной этап своего пути, он оказался неподалеку от небольшого провинциального городка, на редкость красивого и поистине английского.

Этот городок с его величественной старинной церковью, колокольня которой хранила память о благочестии далекого прошлого, был расположен среди не очень обширных пажитей и пашен, которые окаймляли и разделяли ряды столетних деревьев. Мало в чем можно было усмотреть следы каких-либо нововведений. Вид окрестностей не говорил о заброшенности или упадке, но вместе с тем нигде не было признаков новизны с сопутствующей ей всегда суетой; дома были старые, однако в хорошем состоянии; слева от города красивая речка, мерно журча, катила свои воды, и никакие плотины не сдерживали ее течение, никакой бечевник не тянулся вдоль ее берегов.

На небольшой отлогой возвышенности, в расстоянии около мили к югу от города, из-за вековых дубов и густо разросшегося кустарника видны были башни замка, ровесника Йоркских и Ланкастерских войн, который, однако, впоследствии, в царствование Елизаветы и ее преемников, подвергся значительным переделкам.

Замок был не очень велик, но все жилые помещения его были по-прежнему обитаемы; об этом убедительно свидетельствовал дымок, вившийся из нескольких укра-

шенных старинной резьбою труб. Окружавшая парк стена тянулась вдоль дороги на протяжении двухсот или трехсот ярдов. И судя по тому, что можно было увидеть сквозь просветы листвы, она была хорошо укреплена. По мере приближения генералу Брауну открывались все новые картины: то это был фасад старого замка, то боковые стены его башен. Архитектура фасада воплотила в себе все причуды елизаветинской эпохи, в то время как строгость и монументальность остальных частей здания говорили о том, что они были воздвигнуты в целях защиты, а отнюдь не для одной только красоты.

Очарованный видом замка, стены которого то тут, то там проглядывали из-за листвы деревьев и открывались из лесных прогалин, окружавших эту старинную феодальную твердыню, путешественник решил разведать, не заслуживает ли и весь замок более внимательного рассмотрения и не сохранились ли в нем фамильные портреты и какие-либо старинные вещи, на которые ему стоило бы обратить внимание. Но в это время дорога повернула в сторону от парка, и, проехав немного по чистой и гладкой мостовой, карета остановилась у шумного постоянного двора.

Прежде чем заказывать лошадей для продолжения своего пути, генерал Браун постарался кое-что разузнать о владельце замка. Он был крайне удивлен и вместе с тем обрадован, услышав, что замок этот принадлежит одному дворянину, которого мы назовем лордом Вудвилом. Какая счастливая случайность! С именем молодого Вудвила у Брауна было связано множество детских воспоминаний: один из Вудвилов учился вместе с ним в школе, а потом в колледже, и теперь, после нескольких вопросов, генерал убедился, что не кто иной, как тот самый Вудвил, и является владельцем этой великолепной усадьбы. Через несколько месяцев после смерти отца он получил звание пэра и, как это явствовало из слов хозяина постоянного двора, в связи с окончанием срока траура только что вступил во владение отцовским поместьем, куда прибыл с компанией друзей, чтобы провести в нем благодатные осенние месяцы и поразвлечься охотой, которой славилась эти края.

Путешественник наш очень обрадовался — Фрэнк Вудвил был его фэгом в Итоне и закадычным другом в Крайст-

черче. У них были общие занятия, общие развлечения, и сердце доблестного воина радостно забилося при мысли о том, что его друг детства сделался владельцем такого великолепного замка и поместья, которое, как, многозначительно кивая головой и подмигивая, уверял генерала хозяин постоянного двора, не только вполне достойно его нового звания, но даже придает этому званию еще больше веса.

Не было ничего удивительного в том, что путешественник прервал свой путь, ибо спешить ему было некуда, и, воспользовавшись благоприятным стечением обстоятельств, решил провести старого друга.

Таким образом, вновь нанятым почтовым лошадям пришлось довести карету генерала всего лишь до замка Вудвил. Привратник провел нашего путника в новое здание, построенное в готическом стиле под стать самому замку, и тут же позвонил, чтобы известить о приезде гостя. Звук колокольчика привлек внимание общества, предававшегося в это время обычным утренним развлечениям: когда карета въехала во двор замка, несколько молодых людей в охотничьих костюмах бродили взад и вперед, разглядывая собак, которых псары держали наготове.

Едва только генерал Браун вышел из кареты, как молодой лорд появился в дверях; с минуту он рассматривал незнакомца, не сразу признав в нем своего старого товарища, которого тяготы войны и ранения немало изменили. Однако стоило только приезжему заговорить, как все сомнения хозяина мгновенно рассеялись, и они бросились друг другу в объятия, как друзья, проводившие вместе годы беззаботного детства и ранней юности.

— Если бы меня спросили, какое мое самое большое желание, милый Браун, — сказал лорд Вудвил, — то я ответил бы, что из всех людей на свете я хотел бы видеть именно вас здесь, в эти дни, которые мои друзья сделали для меня настоящим праздником. Не думайте, что я мог позабыть вас, когда вас не было между нами. Я внимательно следил за вами, за опасностями, которым вы подвергались, за вашими удачами и неудачами и всегда с радостью узнавал, что, будь то победа или поражение, имя моего старого друга неизменно встречается всеобщим восторгом.

Генерал в подобающих выражениях ответил ему и поздравил своего приятеля с новым званием и вступлением во владение столь великолепным поместьем.

— Но вы же его еще не видели! — воскликнул лорд Вудвил. — Надеюсь, вы не собираетесь покинуть нас, не ознакомившись с ним как следует. Правда, должен вам сказать, что сейчас у меня гостит компания друзей, а в парадных комнатах всегда оказывается гораздо меньше места, чем можно того ожидать, судя по внешности замка. Но я могу предоставить вам удобную старинную комнату и позволю себе думать, что в походах жизнь научила вас довольствоваться жилищем еще более скромным.

Пожав плечами, генерал рассмеялся.

— Я полагаю, — сказал он, — что самое захудалое помещение вашего замка намного лучше старой бочки из-под табака, в которой я вынужден был ночевать, когда находился в Виргинии в лесу со своей частью. Я лежал в этой бочке, как Диоген, и так был рад, что она укрывает меня от непогоды, что даже пытался перекатить ее на место нашей новой стоянки. Но командир не позволил мне заниматься подобными пустяками, и я со слезами на глазах должен был проститься с моим драгоценным убежищем.

— Ну, если это скромное жилище подходит вам, — сказал лорд Вудвил, — вы погостите у меня по меньшей мере неделю. Ружей, собак, удочек и разных приманок — словом, всего, что нужно для охоты и рыбной ловли, у нас сколько угодно. Стоит вам только отыскать себе развлечение по душе, и мы отыщем способ вам его предоставить. А если вы предпочтете всему остальному ружье и пойнтеров, то я составлю вам компанию, и мы увидим, стали ли вы лучше стрелять, с тех пор как пожили среди индейцев в дебрях Америки.

Генерал был рад дружескому приглашению хозяина и согласился на все, что ему предложили. Проведя утренние часы за охотой и верховой ездой, вся компания собралась за обеденным столом, и лорд Вудвил был счастлив, что ему выпала честь отметить высокие заслуги своего вновь обретенного товарища и представить его гостям, большинство которых были людьми знатными. Он попросил своего гостя рассказать о событиях, очевидцем которых ему довелось быть, и, поскольку каждое слово генерала обличало в нем доблестного воина, отлично владею-

щего собой и умеющего при самых опасных обстоятельствах сохранить присутствие духа, вся компания стала смотреть на генерала как на человека, который доказал свою храбрость на деле, что не могло не льстить ему, как и всякому другому мужчине.

День в замке Вудвил окончился так, как это обычно бывало в старинных поместьях. Гостеприимство хозяев не переходило границ, принятых в светском обществе. За вином последовала музыка — искусство, которым молодой лорд владел мастерски; желающих ждали бильярд и карточные столы. Однако на следующий день все собирались ехать на охоту, и вставать надо было рано; поэтому в начале двенадцатого гости стали расходиться.

Молодой лорд сам проводил своего друга, генерала Брауна, в отведенную ему комнату, которая соответствовала описанию, данному ей хозяином: при том, что в ней наличествовал известный комфорт, обстановка ее была старомодна. Много места занимала громоздкая кровать, из таких, какие были в ходу в семнадцатом веке; поблекший шелковый полог был отделан тяжелым, потускневшим от времени золотым позументом. Но вид белых простынь, подушек и одеяла показался до чрезвычайности заманчивым неприхотливому воину, как только он снова вспомнил, какую роскошью стала для него во время войны обыкновенная бочка. Было что-то мрачное в этих гобеленах с выцветшими изображениями, покрывавших стены маленькой комнаты и колыхавшихся каждый раз, когда осенний ветер забирался внутрь сквозь переплеты оконной рамы, которая стучала и свистела от его вторжения. Туалет с зеркалом, украшенным наверху, как то было принято в начале века, помпоном из темно-красного шелка, со множеством ящичков самой причудливой формы, рассчитанный на образ жизни, который устарел уже лет пятьдесят назад или даже больше, выглядел очень странно и придавал комнате еще более мрачный вид. Но зато как ярко и весело горели там две восковые свечи. Если что и могло соперничать с ними, так это хворост, который, потрескивая, пылал в камине, согревая и озаряя светом эту довольно уютную комнату, которая, несмотря на всю свою кажущуюся старомодность, была снабжена всем тем, что привычно и приятно для человека нашего времени.

— Здесь все дышит стариной, генерал,— сказал молодой лорд,— но я надеюсь, что ничто не заставит вас теперь сожалеть о покинутой вами бочке.

— Я человек очень неприхотливый в том, что касается жилья,— ответил генерал Браун,— но доведись мне выбирать, я, верно, предпочел бы эту комнату другим, более веселым и современным апартаментам вашего родового замка. Поверьте, что, видя перед собою современный комфорт и седую старину и вспоминая к тому же, что это — владение вашей светлости, я буду чувствовать себя здесь лучше, чем в самой фешенебельной лондонской гостинице.

— Я нисколько не сомневаюсь, мой дорогой генерал, что вы будете чувствовать себя здесь отлично,— сказал молодой лорд и, еще раз пожелав своему другу спокойной ночи и пожав ему руку, удалился.

Оставшись один, генерал огляделся вокруг и, мысленно поздравив себя с возвращением в лоно мирной жизни, все преимущества которой становились еще дороже от воспоминаний об опасностях и лишениях, так недавно им пережитых, разделся и приготовился вкусить блаженный отдых.

Сейчас, вопреки принятому в такого рода рассказах порядку, мы расстанемся с нашим героем до следующего утра.

Все общество собралось к завтраку очень рано, но среди присутствующих не было генерала Брауна, которого лорд Вудвил хотел почтить превыше всех остальных друзей, пользовавшихся в то время его гостеприимством. Хозяин дома несколько раз выражал свое удивление по поводу отсутствия генерала и в конце концов послал слугу узнать, почему тот до сих пор не выходит к столу. Вернувшись, слуга сообщил, что генерал Браун ушел из дому рано утром и до сих пор еще продолжает гулять, невзирая на дурную погоду и туман.

— Привычка солдата,— сказал молодой лорд, обращаясь к друзьям.— Многие военные до такой степени привыкли рано вставать и приниматься за дела, что и во время отдыха не могут спать дольше положенного часа.

Однако объяснение, которое лорд Вудвил представил гостям, самого его не очень-то удовлетворило, и он стал

ожидать прихода своего друга, безучастный ко всему и погруженный в раздумье.

Генерал пришел только спустя час после звонка к завтраку. Вид у него был усталый и возбужденный. Волосы, которые тогда принято было тщательно причесывать и пудрить,—обычай, почитавшийся едва ли не самым важным в туалете мужчин тех времен и по соблюдению которого можно было судить, принадлежит ли человек к светскому обществу или нет, как в настоящее время об этом судят по наличию галстука или отсутствию такового,—были взлохмачены, не причесаны, не напудрены и влажны от росы. Мундир его был надет кое-как, и небрежение это не могло не броситься в глаза в человеке военном, которому, для того чтобы быть в любую минуту готовым к исполнению служебного долга, волей-неволей приходится всегда следить за собою.

—Итак, вы сегодня поднялись раньше нас всех, мой дорогой генерал!—воскликнул лорд Вудвил.—Может быть, кровать ваша оказалась не такой удобной, как я думал и как сами вы ожидали. Как же вам в ней спалось?

—Отлично! Превосходно! Я никогда в жизни так хорошо не спал,—поспешил заверить его Браун, но в голосе его звучала какая-то нерешительность, не ускользнувшая от внимания его друга. Генерал быстро выпил чай и, наотрез отказавшись от всякой еды, погрузился в задумчивость.

—Вы поедете с нами на охоту, генерал?—спросил его друг и хозяин, но ему пришлось два раза повторить свой вопрос, прежде чем он услышал сухой ответ:

—Нет, милорд, я очень сожалею, что не могу позволить себе остаться хотя бы до завтра; почтовые лошади для меня уже заказаны и скоро должны прибыть.

Все присутствующие были поражены.

—Почтовые лошади?—вскричал лорд Вудвил.—Да о каких же лошадях может идти речь, если вы обещали погостить у меня не меньше недели!

—Не скрою,—сказал генерал в большом смущении,—что, обрадованный встречей с вашей милостью, я действительно мог сказать, что собираюсь провести здесь несколько дней; но сейчас я увидел, что это совершенно невозможно.

— Мне это просто непонятно,— ответил молодой лорд.— Вчера вы как будто говорили, что у вас нет никаких дел, вызвать вас никто не мог: утренней почты из города еще не было, и никаких писем вы получить не могли.

Уклонившись от каких-либо дальнейших объяснений, генерал Браун пробормотал что-то о неотложных делах и так решительно начал настаивать на немедленном своем отъезде, что его хозяин был вынужден замолчать: он увидел, что решение гостя непреклонно и ему не следует быть навязчивым.

— Ну, если уж вы непременно хотите или должны уехать, по крайней мере позвольте мне показать вам вид вот с этой террасы, а то скоро все застелет туман.

С этими словами лорд Вудвил распахнул стеклянную дверь и вышел на террасу. Генерал машинально последовал за ним, почти не слушая слов своего хозяина, когда тот, устремив взгляд на расстилавшийся перед ним величественный пейзаж, старался обратить внимание гостя на его красоты. Так они шли довольно долго, пока наконец не очутились в уединенном месте, вдали от всех.

Тогда лорд Вудвил, повернувшись к генералу, сказал:

— Ричард Браун, мой старый и дорогой друг, теперь мы с вами вдвоем. Заклинаю вас словом друга и честию солдата, скажите мне правду — как вы спали сегодня ночью?

— По правде говоря, отвратительно, милорд,— ответил генерал с тем же спокойствием.— Настолько скверно, что я не согласился бы провести вторую такую ночь, если бы мне предложили за это не только земли вокруг замка, но и весь край, который сейчас расстилается перед нами.

— Это просто удивительно,— сказал молодой лорд, как бы обращаясь к самому себе,— значит, в том, что мне говорили об этой комнате, есть правда.— И, снова повернувшись к генералу, он попросил:

— Бога ради, мой дорогой друг, будьте откровенны со мной и расскажите мне подробно, какие неприятности произошли с вами под крышей этого замка,— владелец его был уверен, что вы обретете здесь покой и телесный и душевный.

Генерала просьба эта, должно быть, смутила. Он какое-то время молчал.

— Мой дорогой лорд,— ответил он наконец,— то, что произошло со мной сегодня ночью, настолько необыкновенно и тяжело, что мне трудно было бы рассказать об этом даже вашей милости, если бы, независимо от моего желания исполнить вашу просьбу, я не считал, что искренность с моей стороны поможет раскрыть тайну, мучительную и необыкновенную. Расскажи я все это кому-то другому, меня сочли бы человеком малодушным, суевренным и глупым, который позволил игре воображения обмануть себя и напугать. Но мы знали друг друга и в детстве и в юности, и вам не придет в голову заподозрить меня в том, что в зрелые годы я стал подвержен чувствам и слабостям, которым не поддавался, будучи ребенком.— Тут он умолк.

— Можете не сомневаться: я поверю тому, что вы мне расскажете, как бы странно все это ни было,— ответил лорд Вудвил.— Я слишком хорошо знаю, какой у вас твердый характер, чтобы подозревать, что вы можете стать жертвой обмана. К тому же я убежден, что честь ваша и дружба ко мне не позволят преувеличить то, что вам довелось увидеть.

— В таком случае,— сказал генерал,— я постараюсь рассказать вам все, как было, полагаясь на ваше беспристрастие. И вместе с тем я отчетливо сознаю, что мне легче было бы встретиться с огнем вражеской артиллерии, чем оживить в памяти всю мерзость этой ночи.

Генерал некоторое время молчал, а потом, увидев, что лорд Вудвил, в свою очередь, погрузился в молчание и приготовился его слушать, он постарался справиться с собой и, преодолев неохоту, приступил к рассказу о своих ночных приключениях в комнате с гобеленами.

— Вчера вечером, как только ваша милость ушли, я разделся и тут же улегся в постель; но в камине почти напротив моей кровати огонь пылал так ярко и весело, а неожиданная радость встречи с вашей милостью пробудила во мне такие нежные воспоминания детства и юности, что мне трудно было сразу уснуть. Следует, однако, сказать, что все эти воспоминания были мне приятны. Я видел, что на какое-то время на смену тяготам, опасностям и тревогам военных лет пришли радости мирной жизни, и я вновь обрел ту дорогую мне дружбу, узы которой были столь жестоко разорваны войной.

В то время как все эти приятные воспоминания осаждали меня и мало-помалу нагоняли сон, я вдруг очнулся от какого-то звука. Это было похоже на шуршанье шелкового платья и стук высоких каблуков — казалось, что по комнате ходит женщина. Не успел я отдернуть полог, чтобы посмотреть, что же происходит, как невысокая женская фигура промелькнула между кроватью и камином. Она была обращена ко мне спиной, и, хорошо разглядев ее шею и плечи, я убедился, что это старуха, одетая в старинное платье, которое, если не ошибаюсь, дамы называют свободным и которое свисает вниз без пояса, но возле шеи и плеч собрано в широкие складки, доходящие до подола и завершающиеся подобием шлейфа.

Я был до крайности удивлен этим неожиданным вторжением, но ни на минуту не допускал, что это может быть нечто иное, а не какая-то жившая в замке старуха, которой взбрело в голову одеться так, как одевались ее прабабки, и которую, весьма вероятно, — поскольку ваша милость упомянули о том, что помещений в замке не так-то много, — переселили из ее комнаты, чтобы устроить в ней меня; позабыв об этом, она в двенадцать часов преспокойно могла вернуться на прежнее место. Успокоившись на этой мысли, я пошевелился в кровати и закашлял, дабы пришелица почувствовала, что в комнате кто-то есть. Она неслышно обернулась, и — милосердный боже! Милорд, какой это был ужас! Теперь не приходилось сомневаться в том, что это такое, — признать ее живым существом не было ни малейшей возможности. На лице, все черты которого застыли, как у трупа, запечатлелись самые низменные и отвратительные страсти, которыми она была одержима в жизни. Казалось, что из могилы вырыли тело мерзкой преступницы, исторгли из пламени ада ее душу и на какое-то время слили воедино этих двух сообщников подлости и греха. Я привскочил в кровати, сел и, подперев голову ладонями, стал смотреть на это чудовище. Вдруг ведьма шагнула к кровати, вспрыгнула на нее, уселась в той же самой позе, в какую я был повергнут овладевшим мной ужасом, и ее отвратительное рыло уставилось на меня со зловещей ухмылкой, в которой, казалось, нашли себе выражение сатанинский цинизм и злоба.

Тут генерал Браун остановился и вытер лоб, который при одном воспоминании об ужасном видении покрылся холодным потом.

— Милорд, — продолжал он, — я не трус. Как человеку военному, мне пришлось пройти через все опасности, какие могут встретиться на земле, и я по праву могу сказать, что никто не видел, чтобы Ричард Браун хоть раз опозорил честь своей шпаги. Но в эту страшную минуту, когда я почувствовал на себе взгляд дьявола, принявшего образ человеческого существа, когда старуха потянулась ко мне, чтобы заключить меня в свои объятия, я потерял присутствие духа, все мужество мое растаяло, как воск. Волосы у меня встали дыбом; кровь в жилах похолодела, и я потерял сознание, словно какая-нибудь деревенская девчонка или малый ребенок. Сколько времени я находился в таком состоянии, сказать не могу.

Меня привел в чувство бой башенных часов, прозвучавший так громко, что, казалось, часы били в этой же комнате. Я не сразу решился открыть глаза, боясь еще раз увидеть страшное привидение. Когда же я набрался храбрости и посмотрел вокруг, в комнате никого не было. Первой мыслью моей было позвонить, разбудить слуг и перебраться куда-нибудь на чердак или сеновал, чтобы все это не повторилось снова. Правду говоря, я передумал, и отнюдь не из стыда, что все узнают о моем малодушии, а из страха: я боялся, что, сделав несколько шагов к звонку, находящемуся возле камина, я могу снова натолкнуться на это чудовище, на эту ведьму, которая, как мне казалось, притаилась где-то в углу.

Не стану описывать, как в продолжение всей этой ночи меня бросало то в жар, то в холод, как, едва задремав, я пробуждался снова и как все время пребывал в мучительной тревоге между сном и бдением. Мне чудилось, что за мной гонятся целые сонмы страшилищ. Но все последующие видения резко отличались от первого — я знал, что это всего лишь создания моего собственного воображения и возбужденных нервов.

Наконец стало светать, и я встал с постели; я чувствовал себя разбитым телесно и униженным духовно. Мне было стыдно за себя как за мужчину и солдата, и еще больше — за свое желание как можно скорее убраться из этой комнаты с привидениями. Желание это, однако, взяло

верх над всеми доводами рассудка наскоро одевшись, я выбрался из замка, чтобы свежий воздух хоть сколько-нибудь успокоил мои нервы, потрясенные встречей со странной пришелицей с того света, ибо таковой она скорее всего и была. Теперь ваша милость знает, почему мне сегодня так худо и почему я решил вдруг покинуть ваш гостеприимный дом. Я надеюсь, что где-нибудь в другом месте мы с вами не раз еще увидимся, но боже сохрани, чтобы я решился провести еще хоть одну ночь под этой крышей!

Как ни странен был рассказ генерала, убежденность, с которой он говорил, исключала какие бы то ни было иронические замечания, которые принято делать по поводу такого рода историй. Лорд Вудвил даже не спросил его, уверен ли он, что не видел все это во сне, и не выдвинул ни одного из ходячих объяснений явлений сверхъестественных, которые обычно приписывают расстроенному воображению или галлюцинациям. Напротив, на молодого лорда, должно быть, произвела сильное впечатление неопровержимость того, что он только что услышал, и после продолжительного молчания он выразил сожаление, по-видимому совершенно искреннее, что его старинному другу пришлось перенести у него в доме такие мучения.

— Я тем более сожалею обо всем, что случилось, мой дорогой Браун,— продолжал владелец замка,— что все это является печальным, хоть и весьма неожиданным для меня, результатом опыта, который я решил проделать. Знайте же, что в течение долгого времени, во всяком случае — при жизни моих отца и деда, отведенная вам комната оставалась закрытой из-за ходившей о ней нехорошей молвы: говорили, что по ночам там слышатся какие-то странные шорохи и вздохи. Когда несколько недель тому назад я вступил во владение усадьбой, я решил, что в замке не так уж много помещений для моих друзей, чтобы я мог оставить такую удобную комнату в распоряжении существ иного мира. Поэтому я велел открыть комнату с гобеленами, как мы ее здесь называем, и, ничем не нарушая ее убранства, поставить туда кое-какую новую мебель. Но поскольку все слуги пребывали в убеждении, что в этой комнате водятся привидения, и об этом известно было соседям и многим из моих друзей, я боялся, что первый, кому придется переночевать в комнате с гобеле-

нами, может поддаться этой иллюзии и тем самым снова утвердить за ней ее дурную славу, лишив меня возможности использовать ее в качестве места для ночлега. Должен признаться, мой дорогой Браун, что вчерашний ваш приезд, по многим причинам для меня приятный, показался мне самым удобным случаем опровергнуть все связанные с этой комнатой дурные слухи, ибо храбрость ваша не внушала никаких сомнений и, к тому же, вы были свободны от всех ходивших здесь предрассудков. Вот почему для этого опыта мне трудно было найти человека более подходящего, чем вы.

— Клянусь жизнью,— воскликнул генерал Браун с горечью,— я бесконечно обязан вашей милости, я, право, не знаю, как вас благодарить! Мне, верно, надолго запомнятся результаты этого опыта, как вашей милости было угодно его назвать.

— Нет, как хотите, вы неправы, дорогой друг,— сказал лорд Вудвил,— стоит вам только на минуту задуматься, и станет ясно, что я никак не мог предвидеть возможность тех страданий, которые вам пришлось из-за этого испытать. Еще вчера утром я был совершеннейшим скептиком во всем, что касается сверхъестественных явлений. Впрочем, я уверен, что Расскажи я вам вчера о связанной с этой комнатой дурной молве, сам этот разговор непременно побудил бы вас выбрать для ночлега именно ее, а не какую-нибудь другую. Все, что случилось,— мое несчастье, может быть — моя ошибка, но, право же, я не повинен в том, что вам так удивительно не повезло.

— Поистине удивительно! — сказал генерал, приходя в хорошее настроение.— И я чувствую, что не вправе обижаться, что ваша милость считает меня тем, чем сам я себя считал — человеком в известной степени мужественным и храбрым. Но я вижу, что лошади уже поданы, и я не должен более мешать вашей милости веселиться.

— Ну нет, друг мой,— сказал лорд Вудвил,— раз вы не можете больше ни одного дня пробыть с нами и я теперь уже не вправе на этом настаивать, уделите мне по крайней мере еще полчаса. Вы, помнится, были любителем картин, а у меня есть галерея портретов; иные даже принадлежат кисти Ван-Дейка: на них изображены мои предки, владевшие этим поместьем и замком. Думаю, что среди этих портретов найдутся такие, которые при-

влекут ваше внимание, и вы сумеете оценить их по достоинству.

Генерал Браун не очень охотно, но все же принял это приглашение. Он понимал, что сможет вздохнуть свободно лишь тогда, когда уедет отсюда и замок Вудвилл останется далеко позади. Однако ему неудобно было отказать от приглашения друга, тем более что ему стало немного стыдно того неудовольствия, которое он выказал в отношении столь расположенного к нему человека.

Поэтому генерал последовал за лордом Вудвиллом сквозь целый ряд комнат на длинную галерею, увешанную картинами, которые владелец стал показывать своему гостю, называя имена и сообщая краткие сведения о лицах, изображенных на портретах. Все эти подробности не очень-то интересовали генерала Брауна. В самом деле, находившиеся там портреты ничем особенно не отличались от тех, что мы обычно видим в старинных фамильных собраниях. Тут был роялист, который, борясь за дело короля, растерял свои земли, там — красавица леди, которая снова собрала их в одно своим браком с богатым пуританином; тут — галантный кавалер, попавший в опасное положение из-за своей переписки с изгнанником, находившимся в Сен-Жермене; там — другой, вставший на защиту Вильгельма во время революции, а там — еще и третий, симпатии которого поочередно переходили то к вигам, то к тори.

Пока лорд Вудвилл оглушал всеми этими именами слух своего гостя, который «не склонен был внимать им», они достигли середины галереи. Вдруг генерал Браун остановился. На лице его изобразилось изумление, смешанное со страхом; глаза его впились в портрет, от которого он уже не мог оторваться: это был портрет дамы в старинном платье, таком, какие носили в конце семнадцатого века.

— Это она! — воскликнул генерал. — Она самая! Хотя в лице этом нет той демонической злобы, которая была у ведьмы, явившейся ко мне сегодня ночью!

— Если вы узнали ее, — сказал молодой лорд, — не может быть ни малейшего сомнения в том, что вам явилось страшное привидение. На портрете этом изображена одна из моих прабабок; перечень ее черных дел и страшных преступлений уцелел в семейных анналах, храня-

щихся у меня в ларце. Слишком страшно было бы перечислять их: достаточно сказать, что в этой зловещей комнате свершились кровосмешение и убийство. Теперь она снова будет пустовать, как пустовала при моих предках, которые рассудили более здраво, чем я. И отныне, насколько это будет в моих силах, я не допущу, чтобы еще кто-нибудь испытал ужасы, которые поколебали храбрость даже такого человека, как вы.

На этом друзья, чья встреча была столь радостной, расстались уже в совсем ином расположении духа. Лорд Вудвил отдал приказ снять со стен комнаты все гобелены, вынести оттуда мебель и забить двери, а генерал Браун отправился в местность менее живописную, где в обществе менее достойных друзей постарался поскорее забыть мучительную ночь, проведенную им в замке Вудвил.

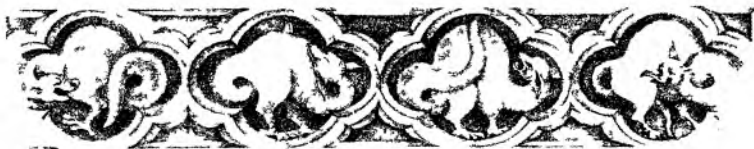




Томас Нав Никол

АББАТСТВО
КОШМАРОВ

•



*Волшебный, злой фонарь души
Неведомый допрежь. В тиши
Он мигом развернет виденья —
И пляски ведьм и привиденья.
Не похваляйтесь дыбой этой,
Страданьями пред целым светом*

С Батлер



Мэтью:

Ох, это истинно ваше благородное настроение, сэр. Подлинная меланхолия ваша, сэр, подсказывает вам самые тонкие шутки. Я и сам, сэр, бывает, страдаю меланхолией, и тогда я беру перо, им мараю бумагу и, бывает, десять — двенадцать сонетов сочиняю за один присест.

Стивен:

Истинно, сэр, я все это без меры люблю.

Мэтью:

Ах, прошу вас, пользуйтесь моим кабинетом: он к вашим услугам

Стивен:

Благодарствую, сэр, уж я не постесняюсь, поверьте. А есть у вас там стул, на котором можно предаться меланхолии?

*Бен Джонсон
Всяк по-своему акт 3
сц 1*

*Ay esleu gazouiller et siffler oye,
comme dit le commun proverbe, entre les
cygnes, plutoust que d'estre entre tant
de gentils poëtes et faconds orateurs mut
du tout estimé.*

Rabelais, Prol. L. 5¹

¹ «Предпочитают, согласно пословице, среди лебедей гоготать и шипеть по-гусиному, нежели среди стольких изрядных поэтов и красноречивых ораторов сойти за немых» (Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль: Пролог к кн. 5/Пер Н. Любимова. М.: Худож. лит., 1973. С. 604)



Глава I



ошмарское аббатство, почтенное родовое поместье, обветшалое и оттого весьма живописное, уютно расположенное на полоске сухой земли между морем и болотами у границы Линкольнского графства, имело честь быть обиталищем Кристофера Сплина, эсквайра. Сей джентльмен, от природы склонный к ипохондрии, страдал к тому же несварением желудка, обыкновенно именуемым черной меланхолией. Друг юности обманул его; любовные его надежды были попорчены; с досады он предложил свою руку особе, которая приняла ее из корысти, тем самым безжалостно разорвав узы старой и верной привязанности. Она потешила свою суетность, став госпожой обширных, хоть и несколько запустелых, владений; но все чувства в ней остыли. Она сделалась богатая, но ценой того, что придает богатству цену, — взаимной склонности. Все, что можно купить за деньги, ей постыло, ибо тем, что нельзя за них купить и что куда дороже их самих, она пренебрегла их ради. Слишком поздно она поняла, что принимала средства за цель и что состояние, с умом употребленное, лишь служит счастью, но самое счастье не в нем. Своевольно загубив свои чувства, она убедилась в тщете богатства как средства; ибо она все принесла ему в жертву, и оно осталось, таким образом, ее единственной целью. Она себе не признавалась в том, что руководствуется этим соображением, но посредством неосознанного самообмана оно все более в ней укоренялось, и, короче говоря, кончилось это немыслимой скупостью. Во внутреннем своем разладе она винила причины внешние и постепенно сделалась совершенною брюзгой. Когда по утрам она производила ежедневный смотр своих покоев, все скрывались, заслышав скрип ее башмаков, а тем более звук ее голоса, которому не найти уподобленья в природе; ибо точно так, как голос женщины, звенящий любовью и нежностью, все звуки обращает в гармонию, он же превосходит их все мерзким неблагозвучием, поднимаясь в злобе до неестественной пронзительности.

Мистер Сплин говаривал, что дом его не лучше большой конуры, потому что у всех там собачья жизнь. Разуверясь в любви и дружбе, ни во что не ставя познания

и ученость, он пришел к заключению, что ничего нет в мире доброго, кроме доброго обеда; однако бережливая супруга нечасто его и этим баловала. Но вот однажды утром, подобно сэру Леолаину из «Кристебели», «он мертвую ее нашел» и остался весьма утешным вдовцом с ребенком на руках.

Своему единственному сыну и наследнику мистер Сплин дал имя Скютроп в память о предке с материнской стороны, который повесился, наскуча жизнью, *в один ужасный день, что при дознании было означено как *felo de se*¹. Мистер Сплин потому высоко чтит его память и сдelaл пуншевую чашу из его черепа.

Когда Скютроп подрос, его, как водится, послали в школу, где в него вбивали кое-какие познания, потом отправили в университет, где его заботливо от них освобождали; и оттуда был он выпущен, как хорошо обмолоченный колос,— с полной пустотой в голове и к великому удовлетворению ректора и его ученых собратий, которые на радостях одарили его серебряной лопаткой для рыбы с лестной надписью на некоем полудиком диалекте англосаксонской латыни.

Напротив, одноклассники его, в совершенстве постигшие науку кутить и повесничать и тонкие знатоки злчных мест, его учили славно напиваться. Большую часть времени он проводил среди этих избранных умов, следя, как луч полночной лампы озаряет растущий строй пустых бутылей. Каникулы проводил он то в Кошмарском аббатстве, то в Лондоне, в доме у дядюшки по имени мистер Пикник, весьма живого и бодрого господина, женатого на сестре меланхоличного мистера Сплина. В том доме съезжалось общество самое веселое. Скютроп танцевал с дамами, пил с мужчинами, и те и другие хором признали его образованнейшим и приятнейшим юношей, какие делают честь университету.

В доме мистера Пикника Скютроп впервые увидел мисс Эмили Джируетт, прекрасную собой. Он влюбился; что не ново. Чувства его были приняты благосклонно; что не странно. Мистер Сплин и мистер Джируетт встретились по этому случаю и не сошлись в условиях сделки; что не ново и не странно. Бедные любовники были разлучены

¹ самоубийство (англ.-лат.).

и в слезах поклялись друг другу в вечной верности; а спустя три недели после этого трагического события она, улыбаясь, шла к венцу с сиятельным мистером Глуппом; что не странно и не ново.

Известие о свадьбе Скютроп получил в Кошмарском аббатстве и едва не лишился рассудка. Первое разочарование больно отозвалось в его нежной душе. Отец, желая его утешить, читал ему толкование к Екклезиасту, составленное им самим и неоспоримо доказывающее, что всё суета сует. Особенно подчеркивал он место: «Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими не нашел».

— На что же он рассчитывал,— возразил Скютроп,— когда вся тысяча была заперта в его серале? Опыт его чужд свободному состоянию общества, такого, как наше.

— Заперты они или на воле,— отвечал мистер Сплин,— все одно. Ум и сердце у женщины всегда заперты, и ключ к ним — только деньги. Уж поверь мне, Скютроп.

— О, я понимаю вас, сэр,— ответил Скютроп.— Но отчего же так глубоко запрятан их ум? Всеми виной неестественное воспитание, прилежно обращающее женщину в заводную куклу на потребу обществу.

— Разумеется,— отвечал мистер Сплин.— Они не получают того прекрасного образования, какое получил ты. И что касается заводных кукол, ты прав, конечно. Я сам купил было такую, но совершенно испорченную; но уж не важно по какой причине, Скютроп, все они одна другой стоят, когда судишь о них до женитьбы. Лишь потом узнаём мы истинную их природу, как я убедился по горькому опыту. Брак, стало быть, лотерея, и чем меньше ты печешься о том, какой выбрать билет, тем лучше; ибо чем больше стараний ушло на обретенье счастливого номера, тем больше разочарование, когда он окажется пустым; ибо тогда приходится сожалеть еще о потере трудов и денег; для того же, кто выбирал свой билет наобум, разочарование куда более сносно.

Скютроп не оценил блистательного суждения и удалился к себе в башню, по-прежнему мрачный и безутешный.

Башня, которую занимал Скютроп, помещалась на юго-восточном углу аббатства; и с южной стороны ее была дверь, выходившая на террасу, именуемую садом, хотя

ничего там не росло, кроме плюща да кое-каких сорняков. С точно тем же правом могла б называться птичником юго-западная башня, разрушенная и кишашая совами. С этой террасы, или сада, или садовой террасы, или террасного сада (предоставим избрать наименование самому читателю), открывался вид на длинную ровную прибрежную полосу, прелестное унынье ветряков и болот, а сбоку виднелось море.

Из всего сказанного читатель уж верно заключит, что аббатство строили как замок; и спросит у нас, не было ль оно в старину оплотом воинствующей церкви. Так ли это и насколько обязано оно вкусу предков мистера Сплина преобразованием первоначального своего плана, нам, к несчастью, не пришлось разузнать.

В северо-западной башне располагались покои мистера Сплина. Ров и болота за ним составляли всю панораму. Ров этот окружал все аббатство, близко подходя ко всем стенам, кроме южной.

Северо-восточную башню отвели для челяди, каковую мистер Сплин выбирал всегда по одному из двух признаков: вытянутая физиономия либо зловещее имя. Дворецкий у него звался Ворон; его управитель был Филин; камердинер Скеллет. Мистер Сплин утверждал, что камердинер его родом из Франции и что пишется его фамилия Squelette. Конюхи у него были Стон и Рок.

Однажды, подыскивая себе лакея, он получил письмо от лица, подписавшегося Вопль Черреп, и поспешил совершить это приобретение; по прибытии же Вопля мистера Сплина ужаснул вид круглых красных щек и развеселых глаз. Черреп всегда улыбался — но не мрачной ухмылкой, а веселой улыбкой игрушечного паяса; и то и дело он вспугивал дремавшее эхо таким недостойным хохотом, что мистеру Сплину пришлось его рассчитать. И все же Черреп прослужил ему достаточный срок, чтобы покорить всех горничных старого джентльмена и оставить ему прелестное племя юных Черрепов, присоединившихся к хору ночных сов, дотоле единственных хористок Кошмарского аббатства.

Главное здание разделялось на парадные покои, пиршественные залы и несчетные комнаты для гостей, которые, однако, нечасто навещались.

Семейные интересы побуждали мистера Сплина время от времени наносить визиты миссис Пикник с супругом,

которые отдавали их из тех же побуждений; и коль скоро бодрый джентльмен при этом почти не находил выхода кипучей своей жизнерадостности, он делался подобен лейденской банке, которая часто взрывалась неудержимой веселостью, несказанно расстраивая мистера Сплина.

Другой гость, куда более во вкусе мистера Сплина, был мистер Флоски¹, господин весьма унылый и мрачный, довольно известный литературной публике, но, по собственному его мнению, заслуживавший куда большей славы. Мистера Сплина расположило в нем тонкое чувство ужасного. Никто другой не мог рассказать страшную историю, с таким тщанием остановясь на каждой зловещей подробности. Никто не умел пугать слушателей таким обилием кошмаров. Таинственное было его стихией. И жизнь была пред ним заслонена плодом воображенья, небылицей. Он грезил наяву и средь бела дня видел вокруг толпы танцующих привидений. В юности был он поклонником свободы и приветствовал зарю Французской революции, как обетованье нового солнца, которое спалит с лица земли пороки и нищету, войну и рабство. А раз этого не случилось, следственно, ничего не случилось; а уж отсюда сообразно своей логической системе вывел он, что дело обстоит еще хуже; что ниспровержение феодальных основ тирании и мракобесия сделалось величайшим из всех бедствий, постигавших человечество; и теперь надежда лишь на то, чтоб сгрести обломки и заново возвести разрушенные стены, но уже без бойниц, куда издревле проникал свет. Дабы споспешествовать этой похвальной задаче, он погрузился в туманность Кантовой метафизики и много лет блуждал в трансцендентальном мраке, так что простой свет простого здравого смысла сделался непереносим для его глаз. Солнце он называл *ignis fatuus*² и увещевал всех, кто соглашался его слушать (а было их столько же приблизительно, сколько голосов выкрикнуло «Боже, храни короля Ричарда!»), укрыться от его обманного сиянья в темном прибежище Старой философии. Слово «Старый» содержало для него неизъяснимую прелесть. Он то и дело поминал

¹ Мистер Флоски — испорченное «филоски», quasi [как бы (лат.)], *Φιλόσκιος*, любитель или *sectator* [приверженец (лат.)] теней. (Примеч. автора).

² глупым светилом (лат.).

«доброе старое время», разумея пору, когда в богословии царила свобода мнений и соперничающие прелаты били в церковные барабаны с геркулесовой мощью, заключая свои построения весьма естественным выводом о том, что противника надобно поджарить.

Но дражайшим другом и самым желанным гостем мистера Сплина был мистер Гибель, манихейский проповедник тысячелетнего царства. Двенадцатый стих двенадцатой главы Апокалипсиса вечно был у него на устах: «Горе живущим на земле и на море! Потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Он уверял, что господство над миром отдано до поры в высших целях Закону Зла; и что тот именно период, который обыкновенно именуют просвещенным веком, есть время нераздельной его власти. Обычно он прибавлял, что вскоре с этим будет покончено и воссияет добро; но никогда не забывал уточнить: «Только мы не доживем». И на последние слова эхом отзывался горестный мистер Сплин.

Часто наезжал и еще один гость, его преподобие мистер Горло, викарий из Гнилистака, деревушки милях в десяти от аббатства, благожелательный и услужливый джентльмен, всегда любезно готовый украсить своим присутствием стол и дом всякого томящегося одиночеством землевладельца. Ничем не пренебрегал он, ни игрой на бильярде, ни шахматами, ни шашками, ни трик-траком, ни пикетом при условии *tête-à-tête*¹, ни любым увеселением, развлечением или игрой при любом числе участников более двух. Он пускался даже танцевать в кругу друзей, лишь бы дама, пусть ей и перевалило за тридцать, не подпирала стену из-за отсутствия кавалера. Прогулки верхом, пешком и на воде, пенье после обеда, страшный рассказ после ужина, бутылка доброго вина с хозяином, чашка чая с хозяйкой — на все это и еще на многое, приятное ближним, всегда готов был его преподобие мистер Горло сообразно своему призванью. Гостя в Кошмарском аббатстве, он скорбел с мистером Сплином, пил мадеру со Скютропом, хохотал с мистером Пикником, сопровождал миссис Пикник к фортепьянам, держал ей веер и перчатки и с удивительной ловкостью листал ноты,

¹ один на один (фр.).

читал Апокалипсис с мистером Гибелем и вздыхал о добром старом времени феодальной тьмы с трансцендентным мистером Флоски.

Глава II

Вскоре после столь несчастливой развязки любви Скютропа к мисс Эмили Джируетт мистер Сплин помимо воли был впутан в тяжбу, которая требовала его нижайшего присутствия в высочайших судебных инстанциях. Скютроп остался один в Кошмарском аббатстве. Однажды обжегшись, он боялся огня женских глаз. Он бродил по просторным покоем и по садовой террасе, «устремая свои мыслительные способности на мыслимость мышления». Терраса упиралась в юго-западную башню, как уже знает читатель, разрушенную и населенную совами. Здесь Скютроп сиживал по вечерам на замшелом камне, облокотясь о ветхую стену. Над головой у него густо вился плющ и гнездились совы, а в руках держал он «Страдания юного Вертера». Страсть к романам развилась в нем еще до университета, где, должны мы признать к чести сего заведения, его излечили от охоты к чтению всякого рода; излечение было бы полным, когда б разбитые любовные надежды и полное одиночество не привели сообща к новой вспышке болезни. Он жадно накинудся на немецкие трагедии и, по совету мистера Флоски, углубился в толстые томы трансцендентальной философии, находя награду трудов в сложных туманных периодах и загробных фигурах. В соответственном уединении Кошмарского аббатства унылые идеи метафизического романтизма и романтической метафизики тотчас пустили ростки и дали пышные всходы химер.

*Страсть к переустройству мира*¹ овладела его умом. Он строил воздушные замки, назначая их для тайных судилищ и встреч иллюминатов, с помощью которых надеялся он обновить природу человеческую. Замышляя совершенную республику, себя самого уже видел он самодержавным владыкой этих ревнителей свободы. Он спал, спрятав под подушкой «Ужасные тайны», ему снились

¹ См. Форсайт «Принципы моральной философии» (Примеч автора)

почтенные элевтерархи и мрачные конфедераты, по ночам сходящиеся в катакомбах. По утрам он бродил по своему кабинету, погружаясь в зловещие мечты, надвинув на лоб, как камилавку, ночной колпак и, словно тогой заговорщика, окутавшись полосатым ситцевым халатиком.

— Действие,— так говорил он сам с собой,— есть итог убеждений, и новые убеждения ведут к новому обществу. Знание есть власть: она в руках немногих, и они пользуются ею, угнетая большинство, ради увеличения собственного богатства и могущества. Но если была б она в руках немногих, которые бы ею пользовались в интересах большинства? Быть может, власть станет общим достоянием и толпа сделается просвещенной? Нет. Народам надобно ярмо. Но дайте же им мудрых вожатых. Пусть немногие думают, а многие действуют. Лишь на том может стоять разумное общество. Так мыслили еще древние: у старых философов были ученья для посвященных и для непосвященных. Таков великий Кант; свои прорицанья он излагает языком, понятным лишь для избранных. Так думали иллюминаты, чьи тайные союзы были грозой тирании и мракобесия, и, заботливо отыскивая мудрость и гений в скучной пустыне общества, подобно тому как пчела собирает мед с терний и крапивы, они связали все человеческие совершенства узами, из которых, не будь они безвременно разорваны, выковались бы новые убеждения, и мир бы обновился.

Скютроп далее размышлял о том, стоит ли возрождать союз обновителей. И, дабы лучше уяснить себе собственные свои идеи и живее ощутить мудрость и гений эпохи, он написал и тиснул в печати трактат, где взгляды его были старательно прикрыты монашеским клобуком трансцендентального стиля, сквозь который проглядывали, однако, весьма опасные намеки, призванные начать всеобщее брожение в умах. С трепетом ожидал он последствий, как минер, взорвав поезд, ждет, когда взлетит на воздух скала. Но сколько ни вслушивался, он ничего не слышал, ибо взрыв если и произошел, то не столь громкий, чтоб шелохнуть хоть единый листик плюща на башнях Кошмарского аббатства; а несколько месяцев спустя получил он письмо от своего книгопродавца, который извещал, что семь экземпляров проданы, и заключал вежливой просьбой о возмещении издержек.

Скютроп не отчаивался. «Семь экземпляров,— думал он.— Семь экземпляров проданы. Семь — число мистическое и предвещает удачу. Найти бы мне тех семерых, что купили мои книжки, и это будут семь золотых светильников, которыми я озарю мир».

Скютроп от природы имел склонность к механике, и благодаря романтическим помыслам она все более в нем развивалась. Он вычертил планы келий, потайных дверей, ниш, альковов и подземных переходов, пред которыми оказалась бы тщетна вся опытность парижской полиции. Пользуясь отсутствием мистера Сплина, он потихоньку провел в аббатство немого столяра и с его помощью воплотил один из этих прожектов у себя в башне. Скютроп понимал, что судьбе великого вождя всеобщего обновления грозят ужасные перипетии, и решился ради счастья человечества принять все мыслимые предосторожности для сохранения своей особы.

Слуги, и даже женщины, научились молчать. Глубокая тишина воцарилась в стенах аббатства и вокруг; лишь звук неосторожно захлопнутой двери вдруг отзовется далеко по галереям да ненароком вспугнет сонное эхо тяжкий шаг задумчивого дворецкого. Скютроп ступал как великий инквизитор, и слуги шарахались от него, как привидения. Когда по вечерам он предавался размышлениям у себя на террасе под увитой плющом развалиной башни, слуха его достигали лишь жалобные голоса пернатых хористок — сов, шорох ветра в плюще, редкий бой часов да мерный плеск волн о низкий ровный берег. Он меж тем попивал мадеру и готовил полный ремонт здания человеческой природы.

Глава III

Мистер Сплин воротился из Лондона, проиграв тяжбу. Правота была на его стороне, закон же напротив. Скютропа нашел он в самом соответственном — мрачном — расположении духа; и каждый старался усладить горькую свою чашу, понося порочный нынешний век и то и дело сдабривая свои сетования зловещими шутками о гробе, о червях, о надписях надгробных. Дружья мистера Сплина, которых мы представили читателю в первой

главе, воспользовавшись его возвращением, все сразу нанесли ему визит. Тогда же явился друг и однокашник Скютропа сиятельный мистер Лежебок. Мистер Сплин встретил блестящего юного джентльмена в Лондоне «на дыбе кресел слишком мягких» погруженным в мизантропию и уныние и стал так истово убеждать его в преимуществах целебного сельского воздуха и зазывать в Кошмарское аббатство, что мистер Лежебок, смекнув, что проще покориться, нежели отказываться, призвал своего француза-лакея Сильвупле и объявил ему, что едет в Линкольншир. Сильвупле понял его, тотчас принялся за работу, и мистеру Лежебоку не пришлось более и слова произнести, ни даже подумать, как сундуки уже были уложены и коляска подана.

Мистер и миссис Пикник привезли с собой сироту-племянницу, дочь младшей сестры мистера Сплина, бежавшей из дома под венец с ирландским офицером. Состояние юной леди исчезло в первый же год; любовь, в естественной последовательности, исчезла во второй, а в еще более естественной последовательности на третий год исчез и сам ирландец. Мистер Сплин назначил сестре пенсией, и она жила в тиши с единственной дочерью, которую после своей смерти оставила заботам миссис Пикник.

Мисс Марионетта Селестина О'Кэррол была цветущая юная особа, исполненная всяческих совершенств. Сочетая *allegro vivace*, унаследованное от О'Кэрролов, и *andante doloroso*¹, присущее роду Сплинов, характер ее таил все превратности апрельского неба. Волосы у нее были каштановые; глаза карие, и в них то и дело загорались озорные искорки; губки были пухлые; она была прелестна. Она прекрасно музицировала. Разговор ее был жив и приятен, но всегда касался предметов легких и незначительных; родство душ и общность взглядов вовсе ее не занимали. Кокетка, ветреница, она сама не знала, чего хотела, не жалея трудов, устремлялась к цели, покуда та казалась ей недоступной, но тотчас теряла интерес к тому, что удавалось ей заполучить.

Почувствовала ли она склонность к своему кузену Скютропу или просто ей любопытно было взглянуть, какое действие окажет любовь на личность столь необыкновен-

¹ весело быстро... умеренно грустно (ит. муз.).

ную, но и трех дней не проведя в аббатстве, она пустила в ход все обольщения своей красоты и все свои искусства, чтоб завладеть его сердцем. Скютроп оказался легкой добычей. Нежный образ мисс Эмили Джируетт уже достаточно стерся из его памяти под влиянием философии и умственных упражнений: ибо этим средствам, как и всяким другим, кроме истинных, приписывают обычно душевные исцеления, которые производит в нас великий лекарь — время. Романтические мечты Скютропа породили в его голове много чистых дочувственных познаний о сочетании ума и красоты, не вполне, как он опасался, представленном кузиной его Марионеттой; несмотря на свои опасения, он, однако, влюбился без памяти; и как только юная леди это заметила, она стала обращаться с ним иначе, сменив холодной сдержанностью прежний чистосердечный интерес к его особе. Скютропа поразила внезапная перемена; но, вместо того чтоб, упав к ее ногам, молить объяснения, он удалился к себе в башню и там, спрятав лицо под ночным колпаком, сидел в кресле председателя воображаемого тайного судилища, призывал Марионетту, пугал ее до смерти, а затем открывался ей и прижимал к груди раскаявшуюся красавицу.

И вот в ту самую минуту, когда ужасный председатель тайного судилища уже откидывал мантию и открывался милой преступнице как ее пылкий и великодушный любовник, дверь кабинета распахнулась и на пороге появилась истинная Марионетта.

Причины, побудившие ее прийти в башню, были отчасти раскаяние, отчасти забота, отчасти сердечная тревога, отчасти же опасение того, что могло означать внезапное удаление Скютропа. Несколько раз она постучалась, но он не услышал и соответственно не ответил; и, наконец осторожно и робко отворив дверь, она застигла его на старом дубовом столе перед взгроможденным на этот стол бархатным креслом; он распахивал полосатый ситцевый халатик и сдергивал с головы ночной колпак — весьма внушительная поза, как сказали бы французы.

Каждый на несколько секунд застыл на своем месте: леди в изумленье, джентльмен — совершенно потерянный. Марионетта первой нарушила молчание.

— Бога ради, — вскричала она, — милый Скютроп, что все это значит?

— О да, бога ради,— отвечал Скютроп, спрыгивая со стола,— верней, ради вас, Марионетта, ибо вы и есть мой бог, я скажу вам: помрачение рассудка — вот что все это значит. Я обожаю вас, Марионетта, и ваша жестокость сводит меня с ума.

Он бросился к ее ногам, осыпал руку ее поцелуями, и с уст его полетели тысячи заверений самого пылкого и романтического свойства.

Марионетта долго слушала молча, покуда любовник ее не истощил своего красноречия и не смолк в ожидании ответа. А потом она сказала, бросив на него лукавый взор:

— Умоляю тебя, выражайся по-человечески.

Неуместность реплики и тона, каким была она произнесена, так не вязались с восторженным вдохновением романтического влюбленного, что он тотчас вскочил на ноги и стал бить себя кулаками по лбу. Юная леди перепугалась не на шутку. И, сочтя за благо его утешить, она взяла его за руку, свободную свою руку положила ему на плечо, заглянула ему в глаза с неотразимой серьезностью и сказала нежнейшим голосом.

— Чего же вы хотите, Скютроп?

Скютроп уже снова был на седьмом небе.

— Чего я хочу? Мне нужна только ты, Марионетта! Как подруга моих трудов, соучастница моих мыслей, как помощница в великом моем замысле освобождения рода человеческого!

— Боюсь, что смогу стать лишь скромной помощницей, Скютроп. Что должна я для этого делать?

— Давайте поступим, как Розалия с Карлосом, о божественная Марионетта. Пусть каждый из нас вскрыет другому вену, а потом смешаем нашу кровь в чаше и выпьем в залог любви. И нас озарит трансцендентальный свет, и мы воспарим на крылах идей в сферы чистого разума.

Марионетта промолчала; ей недоставало отваги Розалии, и мысль не показалась ей заманчивой. Вдруг она бросилась прочь от Скютропа за порог и бегом побежала по коридору.

Скютроп кинулся ей вслед с криком

— Остановитесь, Марионетта, любовь моя, жизнь моя!

И он непременно настиг бы ее, когда б на злополучном углу, где сходились два коридора и спускалась вниз лестница, не случилось весьма неудачного и бурного столкновения его с мистером Гибелем, в результате которого оба покатались вниз, как два бильярдных шара в одну лузу. Юная леди тем временем ускользнула и заперлась у себя в комнате; а мистер Гибель, поднявшись и потирая ушибленные коленки, сказал:

— Этот пустынный случай, милый Скютроп, одно из несчетных доказательств временного превосходства дьявола; ибо что же еще, кроме его упорных происков, могло заставить углы времени и пространств так несчастливо совпасть наверху проклятой лестницы?

— Разумеется, — ответил Скютроп, — что же еще? Ваша правда, мистер Гибель. Зло, и коварство, и муки, и разброд, и суета, и томление духа, и смерть, и болезни, и убийство, и война, и нищета, и мор, и голод, и алчность, и себялюбие, и ненависть, и хандра, и зависть, и разочарования благотворительности, и обманутая дружба, и поправная любовь — все доказывает истинность ваших суждений и справедливость ваших выводов; и возможно, что подстроенное адом паденье с лестницы сделает отныне несчастливой мою участь.

— Милый юноша,— сказал мистер Гибель,— ты понимаешь толк в последовательности вещей.

С этими словами он обнял Скютропа, и тот безутешно удалился: переодеваться к обеду; а мистер Гибель долго еще ходил по просторной зале, повторяя:

— Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел диавол в сильной ярости.

Index IV

Бегство Марионетты и преследование Скютропа не укрылось от взора мистера Сплина, и потому вечером он пристально наблюдал своего сына и племянницу; и, по поведению их заключив, что меж ними куда больше согласия, чем ему бы того хотелось, наутро решился он потребовать от Скютропа полного и удовлетворительного объяснения. Поэтому тотчас после завтрака он вошел к Скютропу в

башню со строгим лицом и начал без обиняков и пре-
дисловий:

— Так, значит, сэр, вы влюблены в свою кузину.

Скютроп после минутного замешательства ответил.

— Да, сэр.

— Ну вот, хоть это честно; а она влюблена в тебя.

— О, если бы, сэр.

— Ты прекрасно знаешь, что влюблена.

— Да нет же, не знаю, сэр.

— Ну так надеешься.

— От всей души.

— И это весьма досадно, Скютроп; не ожидал, никогда
б не подумал, что ты, Скютроп Сплин из Кошмарского
аббатства, можешь потерять голову из-за такой вертушки,
хохотушки, певуньи, из-за такой беспечной и веселой
особы, как Марионетта,— во всех отношениях она полная
противоположность тебе и мне. Не ожидал, Скютроп.
Да и знаете ли вы, сэр, что у Марионетты нет состояния?

— Тем более желательно, сэр, чтоб оно было у ее мужа.

— Желательно для нее; но не для тебя. У моей жены
не было состояния, и у меня не было утешенья в моем
бедствии. Да и подумал ли ты о том, во что обошлась
мне эта тяжба? Какую львиную долю нашего имения я
на ней потерял? А ведь мы были самыми крупными земле-
владельцами во всем Линкольншире...

— Разумеется, сэр, у нас было больше акров болот,
чем у кого-нибудь еще на побережье; но что такое болота
рядом с любовью? Что такое дамбы и ветряные мельницы
рядом с Марионеттой?

— А что такое любовь рядом с ветряной мельницей,
сэр? Уж она-то не льет на нее воду. К тому же я присмотрел
для тебя партию. Я присмотрел для тебя партию, Скютроп.
Красота, ум, воспитанье и огромное состояние в придачу.
Такая милая, серьезная девушка и так благородно и тонко
разочарована в целом свете и во всех его частностях.
Я готовил тебе такой приятный сюрприз! Сэр, я уже дал
слово, я поручился своей честью, честью Сплина из Кош-
марского аббатства. Так что же, сэр, прикажешь теперь
делать?

— Право, не знаю, сэр. В этом случае я ратую, сэр,
за свободу воли, каковая от рождения дается всякому
мыслящему существу.

— Свобода воли, сэръ? Нет никакой свободы воли. Все мы рабы и игрушки в руках слепой и безжалостной необходимости.

— Совершенно верно, сэръ; но свобода воли применительно к индивиду заключается в том, что на разных индивидов по-разному воздействует одинаковый для всех закон всеобщей необходимости, что приводит к несопадающим следствиям, и вызванные необходимостью волеизъявления отдельных индивидов отталкиваются весьма неожиданным образом.

— В логике ты силен. Но тебе также должно быть известно, что один индивид может быть медиумом, с помощью которого та или иная форма необходимости сообщается другому индивиду, и тем самым способствовать совпадению волеизъявлений, а потому, сэръ, если вы не покоритесь моему желанию в этом случае (во всем прочем ты вечно делал, что хотел), я покорюсь необходимости лишить вас наследства, хоть видит бог, как мне это трудно.— С этими словами он вдруг исчез, убоявшись логики Скютропа.

Мистер Сплин тотчас отыскал миссис Пикник и сообщил ей свои соображения. Миссис Сплин — как обычно говорят — любила Марионетту, словно родное дитя, но — а тут всегда следует «но» — что до состояния, она ничего не могла для нее поделать, ибо имела двоих многообещающих сыновей, которые заканчивали курс в Нахалле и вовсе бы не обрадовались, когда бы что-то помешало их видам выйти из места томления ума — иначе из университета — на землю, текущую молоком и медом, иначе — лондонский вестэнд.

Миссис Пикник дала понять Марионетте, что благоразумие, правила, достоинство *et cetera, et cetera*¹ требуют, чтоб они тотчас оставили аббатство. Марионетта слушала в молчаливом смирении, зная, что все наследство ее — покорность; однако, когда Скютроп, воспользовавшись уходом миссис Пикник, вошел к ней и, ни слова не сказав, в несказанной тоске бросился к ее ногам, Марионетта, тоже молча и в такой же печали, обвила руками его шею и залилась слезами. Последовала нежнейшая сцена, которую вер-

¹ Наш язык слишком беден. Отсылаем читателя к любому роману любой литературной дамы (*Примеч автора*)

ней вообразит отзывчивое сердце читателя, нежели передаст наше скромное перо. Когда же Марионетта обмолвилась, что должна тотчас покинуть аббатство, Скютроп вынул из хранилища череп предка, наполнил его мадерой и предстал перед мистером Сплином, грозя выпить все до дна, если мистер Сплин тотчас не пообещает, что Марионетту не увезут из аббатства без собственного ее согласия. Мистер Сплин, сочтя мадеру смертоносным питьем, ни жив ни мертв от ужаса, тотчас покорился. Скютроп вернулся к Марионетте с легким сердцем, по дороге осушив череп предка.

Во время пребывания в Лондоне мистер Сплин пришел к общему выводу с другом своим мистером Гибелем, что брак между Скютропом и дочерью мистера Гибеля был бы весьма желательным событием. Она воспитывалась в немецком монастыре и должна была скоро оттуда выйти, но мистер Гибель утверждал, что она достаточно прониклась истиной его аримановой философии¹ и в точности такая унылая и антииталийная юная леди, какую только мог пожелать сам мистер Сплин в роли госпожи Кошмарского аббатства. В распоряжении ее было и большое состояние, не ускользнувшее от внимания мистера Сплина, когда он предпочел ее в качестве будущей своей невестки; потому его весьма опечалила своевольная страсть Скютропа к Марионетте. Он посетовал на нежелательное происшествие мистеру Гибелю. Тот отвечал, что слишком уже привык к вмешательству дьявола во все его дела и ничуть не удивлен, видя и на этот раз след его раздвоенного копыта; но наконец-то он надеется его перехитрить; ибо уверен, что между дочерью его и Марионеттой и сравнения быть не может в глазах всякого, кому дано понять, что мир — арена зла, а потому

¹ Ариман в персидской мифологии властитель зла, князь тьмы. Он соперник Оромаза, князя света. Они равны могуществом. Иногда один из них берет верх. Согласно мнению мистера Мрака, нынешний век — век господства Аримана. Того же мнения, очевидно, и лорд Байрон, судя по тому, как использовал он Аримана в «Манфреде», где находим мы и греческих Немезид, и скандинавских Валькирий. Они же Парки и астрологических дулов средневековых алхимиков, где простач ведьма переселена из Дании в Альпы, и хор ведьм из «Фауста» является в конце по душу героя. Непостижимо, где могла познакомиться такая разношерстная публика? Разве за табльдотом, как шестеро королей в «Кандиде» (Примеч. автора)

серьезность и степенность суть признаки ума, тогда как хохот и веселье лишь уподобляют человеческую особь мартышке. Мистер Сплин утешился этим взглядом на вещи и просил мистера Гибеля ускорить возврат дочери из Германии. Мистер Гибель отвечал, что ожидает ее со дня на день в Лондон и тотчас же поедет за нею, дабы немедленно привезти в аббатство.

— А там увидим,— прибавил он,— Талия или Мельпомена, Аллегра или Пенсероза украсится венком победы.

— У меня нет сомнений в том,— сказал мистер Сплин,— как склонится чаша весов, или Скютроп не подлинный отпрыск славного древа Сплинов.

Июль V

Марионетта уже не сомневалась в нежных чувствах Скютропа; и несмотря на препятствия, ее подстерегавшие, она не могла отказать себе в удовольствии терзать верного обожателя и ни на минуту не давала ему успокоиться. То выказывала она ему самую неожиданную нежность; то самое замораживающее безразличие; выводила его из себя притворной холодностью; смягчала его любящее сердце ласковым обхождением; а то воспламеняла его ревность, кокетничая с сиятельным мистером Лежебоком, в котором под влиянием ее чар, словно бутон ночной фиалки, раскрылась жизненная сила. Она могла, сидя у фортепьян, слушать горькие упреки Скютропа; но неожиданно прерывала самые пламенные его излияния и совершенно сбивала его с мысли, вдруг проходясь по клавишам в рондо аллегро и замечая:

— Не правда ли, как мило?

Скютроп негодовал; а она отвечала ему пением:

— *Zitti, zitti, piano, piano,*

*Non facciamo confusione*¹ —

или другой, столь же легкомысленной выходкой; Скютроп, сам не свой от гнева, бросался от нее прочь, запирался у себя в башне и отрекался от нее и от всего ее

¹ Тише, тише, не шумите, чтобы он не догадался (*ит.*).

пола — навсегда; и возвращался к ней, непреложно призываемый запиской, полной раскаяния и обещаний исправиться. Замысел Скютропа обновить мир и отыскать семь своих золотых светильников развивался очень медленно из-за этих тревожений.

Так проходил день за днем; и мистер Сплин начинал уже тревожиться, не получая известий от мистера Гибеля, когда этот последний однажды вечером ворвался в библиотеку, где собрались хозяева и гости, с криком:

— К вам сошел дьявол в сильной ярости! — Затем он увлек мистера Сплина в соседний покой, и, переговорив наедине, оба вернулись к гостям в полном смятении, никому, однако же, не объясняя его причины.

На другое утро, чуть свет, мистер Гибель отбыл. Мистер Сплин весь день тяжело вздыхал и никому не говорил ни слова. Скютроп, как всегда, повздорил с Марионеттой и, смертельно уязвленный, заперся у себя в башне. Марионетта утешалась игрой на фортепьянах и пением арий из «Nina pazza per amore»¹, а его сиятельство мистер Лежебок вслушивался в сладостные звуки, распростершись на софе и держа в руке книжку, в которую то и дело заглядывал. Его преподобие мистер Горло приблизился к софе и предложил партию на бильярде.

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Бильярд! Право же, я бы с радостью. Но я так изнурен, я не вынесу напряжения. Не помню, когда я мог себе это позволить. (Звонит в колокольчик, входит Сильвупле). Сильвупле! Когда я в последний раз играл на бильярде?

Сильвупле:

— Шетырнасатого декабря прошлого года, мосье. (Кланяется и уходит.)

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Ну вот. Тому уже семь месяцев. Вы сами понимаете, мистер Горло; вы понимаете, сэр. У меня расстроены нервы, мисс О'Кэррол. Врачи шлют меня в Бат, иные рекомендуют Челтнем. Надо бы попробовать то и другое, если позволит сезон. Сезон, понимаете ли, мистер Горло, сезон, мисс О'Кэррол, сезон — это все.

Марионетта:

¹ «Нина, или Безумная от любви» (ит.).

— А здоровье — это кое-что. *N'est-ce pas*¹, мистер Горло?

Его преподобие мистер Горло:

— Положительно, мисс О'Кэррол. Ибо, сколько б ни спорили мыслители относительно *summum bonum*², никто из них не станет отрицать, что прекраснейший обед есть вещь прекраснейшая. Но что такое прекрасный обед без прекрасного аппетита? И отчего же происходит хороший аппетит, как не от хорошего здоровья? Ну, а в Челтнеме, мистер Лежебок, у всех прекраснейший аппетит.

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Логичнейшее рассуждение, мистер Горло; какая стройность. Я и так уж всерьез подумывал о Челтнеме; идея глубоко меня захватила. Я думал о нем... погодите-ка — когда же это я о нем думал? (Звонит в колокольчик, появляется Сильвупле.) Сильвупле! Когда я думал ехать в Челтнем и не поехал?

Сильвупле:

— Двасять перво юля, прошлым летом, мосье.

(Сильвупле уходит.)

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Ну вот. Бесценный малый, мисс О'Кэррол, просто бесценный, мистер Горло.

Марионетта:

— В самом деле. Он служит вам ходячей памятью и как живая летопись не только действий ваших, но и мыслей.

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Превосходное определение, мисс О'Кэррол, превосходное, честное слово! Ха! Ха! Ха! Смех — приятное занятие, только мне вредно напрягаться.

Принесли пакет для мистера Лежебока; он был доставлен с нарочным. Был призван Сильвупле и распечатал пакет. Там оказались новый роман и новая поэма, давно и с трепетом ожидаемые всей светскою читающею публикой; а еще свежий номер популярного журнала, коего издатели снискали милости двора и крупный пенсион³ бес-

¹ Не так ли (*фр.*).

² высшего Блага, т. е. Бога (*лат.*).

³ Пенсия — плата, получаемая государственным рабом за измену своему отечеству (словарь Джонсона). (*Примеч. автора.*)

порочной службой церкви и государству. Когда Сильвупле ушел, явился мистер Флоски и с интересом стал осматривать литературные новинки.

Мистер Флоски (листая страницы):

— «Тумандагиль», роман. Гм. Ненависть, мстительность, мизантропия и цитаты из Библии. Гм. Патологическая анатомия черной желчи. Так... «Пол Джонс», поэма. Гм. Понимаю. Пол Джонс, прелестный и восторженный юноша... разочарованный в лучших чувствах... становится пиратом с тоски и от величия души... режет глотки многим мужчинам, покоряет сердца многих женщин... и, наконец, вздернут на нок-рее! Развязка весьма искусственна и непоэтична. «Даунингстритское обозрение». Гм. Первая статья. «Ода к „Красной книге“». Родерик Винобери, эсквайр. Гм. Разбор собственного сочинения. Гм-м.

(Мистер Флоски молча просматривает остальные статьи в журнале; Марионетта листает роман, а мистер Лежебок поэму.)

Его преподобие мистер Горло:

— Вы такой светский молодой человек и такого высокого рода, мистер Лежебок, а тем не менее весьма прилежны.

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Прилежен! Вы изволите шутить, мистер Горло. Какое же может быть у меня прилежание? Образование мое уже закончено. Но есть модные книги, которые нельзя не прочесть, потому что все о них говорят; а в остальном я не большой охотник до чтения, чем, извините мою смелость, вы сами, мистер Горло.

Его преподобие мистер Горло:

— Отчего же, сэр! Не могу сказать, чтобы я уж очень любил книги; однако ж я и не то чтобы вовсе никогда ничего не читал. Прочитать иной раз вслух занимательный рассказец или поэмку в кругу дам, занятых рукоделием, не значит еретически употребить свои голосовые данные, сэр. И мне кажется, сэр, мало кто с таким достойным Иова долготерпеньем сносит вечные вопросы и ответы, которые так и сыпятся попеременно в самых интересных местах и нагнетают напряжение.

Его сиятельство мистер Лежебок:

— А часто и создают напряжение там, где у автора его незаметно.

Марионетта:

— Надо мне как-нибудь в плохую погоду испытать ваше долготерпенье, мистер Горло; а мистер Лежебок назовет нам новейшую из новинок, которую все читают.

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Вы получите ее, мисс О'Кэррол, во всем блеске новизны; свеженькую, как спелая слива, только с ветки, вся в пушку; вы получите ее почтой из Эдинбурга с нарочным из Лондона.

Мистер Флоски:

— Эта жажда новизны губит литературу. Кроме моих произведений да еще кое-кого из моих друзей, все, что появилось после старика Джереми Тэйлора, никуда не годится; и, *entre nous*, лучшее в книгах моих друзей написано либо придумано мною.

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Я глубоко чту вас, сэр. Но, признаюсь, книги нынешние созвучны моим чувствам. Будто восхитительный северо-восточный ветер, отравляющий мысль и душу, прошелся по их страницам; чарующая мизантропия и мрачность доказывают, сколь ничтожны деятельность и добродетель, и окончательно примиряют меня с самим собою и моим диваном.

Мистер Флоски:

— Совершенно верно, сэр. Нынешняя литература — северо-восточный ветер, губящий души. И должен признать, в том немалая моя заслуга. Чтобы получить прекрасный плод, надобно погубить цветок. Парадокс, скажете вы? Вот и прекрасно. Подумайте над ним.

Беседа была прервана появлением мистера Гибеля. Он показался в дверях, весь покрытый грязью, проговорил:

— К вам сошел диавол, — и тотчас исчез.

Дорога, соединявшая Кошмарское аббатство с цивилизованным миром, была искусственно поднята над уровнем болот и шла сквозь них прямой чертой, насколько хватал глаз; а по обеим сторонам ее тянулись канавы, причем воду в них совершенно скрывала водная растительность. И в одну из этих канав, из-за странного поступка лошади, прянувшей от ветряной мельницы, опрокинулась бричка мистера Гибеля, которому пришлось в глубокой тоске выпрыгнуть в окно. Одно колесо сломалось; и мистер Гибель, предоставив фореитору доставить экипаж до Гнилистака,

чтоб там починить его и почистить, пешком отправился назад к аббатству, сопровождаемый слугою с сундуком, и всю дорогу повторял свое любимое место из Апокалипсиса.

Глава VI

Мистер Гибель нашел дочь свою Селинду в Лондоне и, как только улеглась первая радость встречи, сообщил ей, что присмотрел для нее мужа. Юная леди с большой твердостью отвечала, что берет на себя смелость выбирать мужа сама. Мистер Гибель сказал, что дьявол всегда вмешивается во все его дела, но что он, со своей стороны, уже решился не брать на душу греха и не потакать проискам Люцифера, и, следственно, она должна пойти замуж за того, кого выбрал для нее отец. Мисс Гибель возразила, что решительно не согласна.

— Селинда, Селинда,— сказал мистер Гибель,— ты решительно должна.

— Разве мое состояние не принадлежит мне, сэр? — спросила Селинда.

— Тем досадней,— отвечал мистер Гибель.— Но я упораву на тебя найду, мать моя. Уж я сумею укротить строптивую девчонку.

Они простились на ночь каждый при своем мнении, а утром комната юной леди оказалась пуста, и мистер Гибель мог только теряться в догадках о том, что с нею случилось. Он искал ее повсюду, то и дело наезжая в Кошмарское аббатство посоветоваться с другом своим мистером Сплином. Мистер Сплин соглашался с мистером Гибелем, что тут ужасающий пример своеволия и непослушания воле родительской, а мистер Гибель обещал, что, когда он настигнет беглянку, он покажет-таки ей, что «к ней сошел диавол в сильной ярости».

Вечером, как всегда, все сошлись в библиотеке; Марионетта сидела за арфой, его сиятельство мистер Лежебок сидел рядом и перелистывал ноты, рискуя перенапрячь свои силы. Его преподобие мистер Горло время от времени сменял его, беря на себя сей сладостный труд. Скютроп, терзаемый демоном ревности, сидел в углу и кусал губы и ногти. Марионетта поглядывала на него, совер-

шенно выводя его из себя добродушной улыбкой, которой старался он не замечать, отчего приходил в еще большее смятение. Он положил на колени том Данта и делал вид, будто углублен в чтение «Чистилища», хоть не понимал ни слова, о чем вполне догадывалась Марионетта; перейдя комнату, она заглянула в книгу и сказала:

— Я вижу, вы посреди «Чистилища».

— Я посреди ада,— отвечал Скютроп, сам не свой от бешенства.

— О? — сказала она.— Тогда перейдемте в тот угол, и я спою вам финал из «Дон Жуана».

— Оставьте меня,— сказал Скютроп.

Марионетта взглянула на него с улыбкой и укором и сказала:

— Несправедливый, упрямый злока, вот вы кто!

— Оставьте меня,— отвечал Скютроп, но уже куда с меньшей пылкостью и вовсе не желая, чтобы его поймали на слове. Марионетта тотчас его оставила и, снова садясь к арфе, сказала погромче, чтобы Скютроп услышал:

— Читали вы когда-нибудь Данта, мистер Лежебок? Скютроп читает Данта, и сейчас он в чистилище.

— Ну а я,— отвечал его сиятельство мистер Лежебок,— я не читаю сейчас Данта, и я в раю.— И он поклонился Марионетте.

Марионетта:

— Вы очень любезны, мистер Лежебок; и, полагаю, очень любите Данта.

Его сиятельство мистер Лежебок:

— До последнего времени Дант мне как-то не попадался. В библиотеке моей его не было, а если б и был, я б не собрался его прочесть. Но нынче, я вижу, он входит в моду, и боюсь, как-нибудь утром мне придется его прочитать.

Марионетта:

— Нет, непременно читайте его вечером, слышите! Любили ль вы когда-нибудь, мистер Лежебок?

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Уверяю вас, мисс О'Кэррол,— никогда. Пока не приехал в Кошмарское аббатство. И любить, скажу я вам, так приятно; но от этого столько тревог, что, боюсь, я не выдержу напряжения.

Марионетта:

— Преподать вам краткий способ ухаживать вовсе без тревог?

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Вы безмерно меня обяжете. Я горю нетерпением выучиться вашему способу.

Марионетта:

— Садитесь к даме спиною и читайте Данта; только непременно начните с середины и листайте сразу по три страницы — вперед и назад, — и она тотчас догадается, что вы от нее без ума.

(Его сиятельство мистер Лежебок, сидя между Марионеттой и Скютропом и все свое внимание обратя к чаровнице, не видит Скютропа, поступающего в точности согласно ее описанию.)

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Вы изволите шутить, мисс О'Кэррол. Леди, конечно, подумает, что я ужаснейший невежа.

Марионетта:

— Нисколько. Разве что удивится тому, как странно иные выказывают свои чувства.

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Однако ж, покоряясь вам...

Мистер Флоски (подходя к ним с дальнего конца комнаты):

— Мистер Лежебок считает, кажется, что Дант входит в моду, так ли я расслышал?

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Я осмелился это заметить, хоть говорю о подобных предметах с сознанием собственного ничтожества в присутствии такого великого человека, как вы, мистер Флоски. Я не знаю Дантовых форм и фигур, не знаю даже цвета его чертей, но, коль скоро он входит в моду, заключаю, что они у него черные; ибо черный цвет, я полагаю, мистер Флоски, и особенно черная меланхолия в моде у нынешних сочинителей.

Мистер Флоски:

— В самом деле на черную меланхолию большой спрос, но, когда — чем черт не шутит — ее нет под рукой, ее заменяет зеленая тоска, серая скука, а также хандра, уныние, ночные кошмары и прочая чертовщина. Из-за чая, поздних обедов и Французской революции все пошло к дьяволу и в игру вступил сам дьявол.

Мистер Гибель (встрепенувшись):

— В сильной ярости.

Мистер Флоски:

— Здесь не игра слов, но суровая и горестная истина.

Мистер Лежебок:

— Чай, поздние обеды, Французская революция. Я не вполне улавливаю связь идей.

Мистер Флоски:

— Я бы весьма огорчился, если б вы ее улавливали; мне жаль того, кто улавливает связь собственных идей. Еще более жаль мне того, в чьих идеях любой другой улавливает связь. Сэр, величайшее зло в том, что моральная и политическая литература наша чересчур доступна; доступность, вообще ясность, свет — величайший враг таинственного, а таинственное — друг вдохновенья, восторга и поисков. А поиски отвлеченной истины — занятие исключительно благородное, если только истина — цель поисков — настолько отвлеченна, что недоступна человеческому пониманию. И в этом смысле меня вдохновляют поиски истины. Но только в этом, и ни в каком другом, ибо радость метафизических изысканий не в цели, но в средствах; и, как скоро цель достигнута, нет уже радости от средств. Для здоровья уму нужны упражнения. Лучшее упражнение ума — неустанное рассуждение. Аналитическое рассуждение — занятие низкое и ремесленное, ибо ставит своей целью разобрать на составные части грубое необработанное вещество познания и извлечь оттуда несколько упрямых вещей, именуемых фактами, которые, как и все даже отдаленно на них похожее, я от всего сердца ненавижу. Синтетическое же рассуждение стремится к некоей недостижимой отвлеченности, подобной мнимой величине в алгебре, начинается с принятия на веру двух положений, которых нельзя доказать, объединяет эти две посылки для создания третьей, и так далее до бесконечности, несказанно обогащая человеческий разум. Прелесть процесса состоит в том, что каждый шаг ставит вас перед новым разветвлением пути, и так в геометрической прогрессии; так что вы непременно заблудитесь и сохраните здоровье ума, постоянно упражняя его бесконечными поисками выхода: потому-то я и окрестил старшего сына Иммануил Кант Флоски.

Его преподобие мистер Горло:

— Как нельзя более понятно.

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Но каким образом ведет все это к Данту, к черной меланхолии, хандре и ночным кошмарам?

Мистер Пикник:

— К Данту, пожалуй, не совсем, но к ночным кошмарам ведет.

Мистер Флоски:

— Нашу литературу мучат кошмары — это несомненно и весьма отрадно. Чай расшатал наши нервы; поздние обеды делают из нас рабов несварения желудка; Французская революция сделала для нас пугалом самое слово «философия» и отбила у лучших, избранных членов общества (к числу коих и я принадлежу) всякий вкус к политической свободе. Та часть читающей публики, которая грубой пище разума предпочла легкую диету вымысла, требует все новых острых соусов, ублажая свое развращенное воображение. Довольно долго питалась она духами, домовыми и скелетами (мне и другу моему мистеру Винобери обязана она изысканнейшим угощением), пока и сам дьявол, даже увеличенный до размеров горы Афон, не сделался слишком «простым, обыкновенным, из низкого народа» для ее неумеренного аппетита. Духи, следственно, были изгнаны, а дьявол брошен во тьму внешнюю, и нам осталось одно духовное наслаждение — разбирать пороки и самые низкие страсти, свойственные человеческой природе, спрятанные под маскарадными костюмами героизма и обманутого великодушия; весь секрет в том, чтоб создать сочетания, совершенно не вяжущиеся с нашим опытом, и пришить пурпурную заплату какой-нибудь редкостной добродетели к тому именно персонажу, которому никак не может она быть присуща в действительности; и не только этой единственной добродетелью искупить все явные и подлинные пороки персонажа, но представить самые эти пороки как неперемнное дополнение и необходимые свойства и черты указанной добродетели.

Мистер Гибель:

— Потому что к нам сошел дьявол и ему нравится разрушать и путать все наши представления о добре и зле.

Марионетта:

— Я не вполне поняла вашу мысль, мистер Флоски, и рада бы, чтоб вы мне ее немного разъяснили.

Мистер Флоски:

— Достаточно одного-двух примеров, мисс О'Кэррол. Стоит мне собрать все самые подлые и омерзительные черты ростовщика-еврея и к ним, как гвоздем, прибить одно качество — безмерное человеколюбие — и вот уже готов прекрасный герой романа в новейшем вкусе, а я внес свою лепту в модный способ потреблять пороки в тонкой и ненатуральной обертке добродетели, как если бы паука в золотой облатке потребляли в качестве целительного порошка. Точно так, если некто набросится на меня в темноте, собьет с ног и силой отберет часы и деньги, я могу не остаться внакладе, выведя его в трагедии пылким юношей, лишенным наследства по причине его романтического великодушия и щедрости, снедаемым упоительной ненавистью к миру вообще и к отечеству в частности и самой возвышенной и чистой любовью к собственной особе. Затем, добавив сумасбродную девицу, с которой вместе нарушит он подряд все десять заповедей (всякий раз, как вы убедитесь, из благороднейших побуждений, каковы надобно прилежно разобрать), я получу парочку трагических героев, как нельзя более подходящих для того вида словесности нынешней, которую я называю Патологической анатомией черной желчи и которая достойна всяческого восхищения, ибо открывает широчайший простор для проявления умственных способностей.

Мистер Пикник:

— И почти столь же удачного их употребления, как если бы тепло оранжереи использовалось для выведения колючек и шипов размерами с дерево. Если мы этак и дальше будем продолжать, мы выведем новый сорт поэзии, которой главной заботой будет — забыть о том, что есть на свете музыка и сиянье солнца.

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Боюсь, что именно это случилось сейчас с нами, иначе мы бы, уж верно, не предпочли музыке мисс О'Кэррол разговора о столь скучных материях.

Мистер Флоски:

— Я буду счастлив, если мисс О'Кэррол напомнит нам, что есть еще музыка и солнце...

Его сиятельство мистер Лежебок:

— В прелестном голосе и улыбке. Могу ли я молить о чести? (Переворачивает ноты.)

Все умолкли, и Марионетта спела:

Скажи, о чем грустишь, монах?
И почему уныл?
Ты пообедал, всегда в слезах,
Иль молодость забыл?
Где смелость? Юный пыл?

Был ты, монах, розовощек,
Огнем твой взор сверкал.
Любого б радостью зажег,
А ныне худ и вял,
Смеяться перестал

Послушай, что скажу, монах!
Ты мной разоблачен!
То не болезнь, поверь, монах,
Ведь ты в меня влюблен!
Да, да, в меня влюблен!

Но ты не мне давал обет —
Принадлежишь Творцу,
Должна сказать я твердо «нет!»,
Ведь страсти не к лицу
Монаху-чернецу

Ты думаешь, твой вялый взгляд
Во мне огонь зажжет?
Любви любой идет наряд —
Кто любит, тот поет,
Не сын, а жаворонок тот!

Скютроп тотчас поставил Данта на полку и присоединился к кружку подле прелестной певицы. Марионетта подарила его ободряющей улыбкой, совершенно вернув ему самообладание, и весь остаток вечера прошел в безмятежном согласии. Его сиятельство мистер Лежебок переворачивал ноты с удвоенной живостью, приговаривая:

— Вы не знаете снисхождения к немощным, мисс О'Кэррол. Спасаясь от насмешек ваших, я бодрюсь изо всех сил, а мне ведь вредно напрягаться.

Глава VII

Новый гость явился в аббатстве в лице мистера Астериаса, ихтиолога. Этот джентльмен провел свою жизнь в поисках живых чудес на морских глубинах всех стран света; и составил собрание сушеных рыб, рыбьих чучел,

раковин, водорослей, кораллов и мадрепор — предмет зависти и восхищения Королевского общества. Он проник в водное убежище спрута, нарушил супружеское счастье сего океанского голубочка и с победой вышел из кровавой схватки. Застигнутый штилем в тропических широтах, не расследил он в страстном нетерпенье, — к несчастью, всегда вотще, — когда же вынырнет из бездны гигантский полип и обовьется огромными щупальцами вокруг снастей и мачт. Он утверждал, что все на свете водного происхождения, что первые одушевленные существа были многоногие и что от них и взяли индусы своих богов, самых древних из всех божеств человечества. Но главным его устремлением, целью его исследований, их венцом и наградой были тритон и русалка, в коих существование он свято и нерушимо верил и готов был его доказывать *à priori*, *à posteriori*, *à fortiori*¹ синтетически и аналитически, с помощью силлогизмов и индукции, с помощью признанных фактов и вероятных гипотез. Известие о том, что на морском берегу в Линкольншире промелькнула русалка, «расчесывающая смоль своих кудрей», заставило его тотчас покинуть Лондон и нанести давно обещанный визит старому своему знакомому мистеру Сплину.

Мистер Астериас явился сопровождаемый сыном, которому дал он имя Водолей, льстя себя надеждой, что тому суждено ярко просиять на небосклоне ихтиологической науки. Кто была та отзывчивая особа, в чьей форме был отлит Водолей, никто не имел понятия; и, поскольку о матери Водолея никогда не упоминалось, лондонские острословы уверяли, что мистер Астериас некогда пользовался милостями русалки и что научная любознательность, заставляющая его обрыскивать морские берега, имеет основой не вполне философские поиски утраченного счастья.

Мистер Астериас осматривал берег несколько дней, стяжав разочарование, но не безнадежность. Однажды вечером, вскоре по приезде, он сидел у одного из окон библиотеки и смотрел на море, как вдруг внимание его привлекло смутно различимое в безлунной тьме существо, двигавшееся близ самой полосы прибоя. Движения его были невер-

на основании ранее известного, из последующего, исходя из более весомого (лат.)

ны и как будто нерешительны. Длинные волосы существа развевались по ветру. Кто бы это ни был, это был, конечно, не рыбак. Это могла быть леди; но ни миссис Пикник, ни мисс О'Кэррол это быть не могли, так как обе дамы сидели в библиотеке. Это могла быть одна из служанок; но нет, существо казалось слишком грациозным и непринужденным. Да и зачем было служанке в такой час бродить по берегу безо всякой видимой цели? Вряд ли это была незнакомка; ибо Гнилисток, ближайшая деревушка, находился в десяти милях, и какая женщина стала бы одолевать десять миль болот для того только, чтоб слоняться по берегу у стен аббатства? Быть может, это русалка? Возможно, это русалка. Вероятно, это русалка. Весьма вероятно, что это русалка. Более того, кому же это быть, как не русалке? Разумеется, это русалка, Мистер Астериас на цыпочках вышел из библиотеки, сделав Водолею знак следовать за ним и хранить молчание.

Всех поразило поведение мистера Астериаса, кое-кто стал смотреть в окна, ожидая там решения загадки. Вот они увидели, как мистер Астериас с Водолеем осторожно крадутся по ту сторону рва; но больше ничего не увидели; и, воротясь, мистер Астериас в глубокой тоске им поведал, что заметил было русалку, но она скрылась во мраке и ушла, как он полагал, ужинать с влюбленным тритоном в подземном гроте.

— Нет, без шуток, мистер Астериас,— сказал его сиятельство мистер Лежебок,— вы всерьез верите, что существуют русалки?

Мистер Астериас:

— Совершенно убежден. И тритоны.

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Но как же это возможно? Полулюди-полурыбы?

Мистер Астериас:

— Совершенно верно. Морские орангутанги. Однако же я убежден, что имеются и совершенно морские люди, ничем от нас не отличные, кроме того, что они глупы и покрыты чешуею; ибо, хотя устройство наше, казалось бы, со всей определенностью исключает нас из класса земноводных, тем не менее анатомам известны случаи, когда *foramen ovale*¹ остается открытым и в зрелом возрасте, и

¹ продолговатое отверстие (чат)

особь в таком случае может жить не дыша; да и как бы иначе возможно было объяснить, что индийские ныряльщики за жемчугом целые часы проводят под водою? Или что известный шведский садовник из Тронингхольма более суток прожил под водою, не утонув? Нереида, русалка, была в 1403 году обнаружена на Немецком озере, и отличалась она от обычной француженки тем лишь, что не разговаривала. В конце семнадцатого столетия английское судно в гренландских водах в ста пятидесяти лигах от берега заметило флотилию из шестидесяти или семидесяти корабликов, и каждым корабликом управлял тритон, иначе — сын моря; завидя английское судно, все они, охваченные страхом, вместе с кораблями исчезли под водою, как некая человеческая разновидность Нотилиуса. Славный Дон Фейхоо передает подлинное и достоверное преданье о юном испанце по имени Франсиско де ла Вега, каковой, купаясь с друзьями в июне 1674 года, вдруг нырнул и не появлялся более. Друзья почли его утонувшим; они были простолюдины и благочестивые католики; но и философ не пришел бы здесь к иному умозаключению.

Его преподобие мистер Горло:

— В самом деле, весьма логично.

Мистер Астериас:

— Пять лет спустя рыбаки близ Кадиса поймали в сети тритона, сына моря; они обращались к нему на многих языках...

Его преподобие мистер Горло:

— Образованные, однако, рыбаки.

Мистер Пикник:

— Способности к языкам даровал им особой милостью их собрат — рыбак, святой Петр.

Его преподобие мистер Горло:

— Разве же святой Петр святой заступник Кадиса?

(На этот вопрос никто не умел ответить, и мистер Астериас продолжал свой рассказ.)

— Они обращались к нему на многих языках, но он оставался нем как рыба. Призывали святых братьев, те изгнали из него беса; но и бес оставался нем. Несколько дней спустя он произнес слово «Лиерган». Монах повез его в ту деревню. Мать и домашние узнали его и раскрыли ему объятья; но он был столь же бесчувствен к их ласкам, как была бы любая рыба на его месте. Тело его покрывала

чешуя; она постепенно спадала; однако под ней проступала кожа грубая и твердая, как шагренё. Он провел в родном доме девять лет, не научившись ни говорить, ни мыслить; потом он снова исчез; а еще через несколько лет один старый его знакомец увидел, как он высунул голову из воды неподалеку от берегов Астурии. Все эти факты подтверждены его братьями, а также Доном Госпардо де ла Рибла Агуеро, членом ордена святого Иакова, жившим близ Лиергано и нередко имевшим удовольствие ужинать в обществе означенного тритона. Плиний упоминает о посольстве к Тиберию Олиссипоньян с известием, что они слышали, как тритон играл на арфе в некоей пещере; и сообщает еще многие достоверные факты о тритонах и nereidaх.

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Я, право, удивлен. Сколько раз бывал я на море, и в самый разгар сезона, а русалок, кажется, не видел. (Он позвонил, и явился Сильвупле, по виду которого тотчас стало ясно, что ему море по колено.) Сильвупле! Видел я когда-нибудь русалку?

Сильвупле:

— Русалку, сэр?

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Ну, полудеву-полурыбу?

Сильвупле:

— А! Полурыбу! Да, и очень часто, сэр. Тут на кухне все девы — такие рыбы — та foi¹! И хоть бы один был погоряшей, все холадный и грюсный, как могила.

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Да нет же, Сильвупле, это не рыба, не...

Сильвупле:

— Ни рыба ни мясо, сэр?

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Нет, не то, это такое чудо-юдо...

Сильвупле:

— Чудо-юдо! А! Я поняль, сэр! Да мы только их и видим, с тех пор как уехал из города!

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Однако ты выпил больше, чем следовало.

Сильвупле:

¹ ей-богу (фр.)

— Нет, мосье. Меньше, чем следовало. Болётный воздух ошнь вреден, и я попил с Вороном-дворецким для пользы здоровья.

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Сильвупле! Я требую, чтоб ты был трезв.

Сильвупле:

— Oui, monsieur, я буду трезв, как преподобнейший брат Жан. Дворецкий чудо-юдо и так напился, что сталь нем как рыба. Но я бы более хотель деву-рыбу. Ах! Вспомнил песенку, как это... «Рыба хорош, когда горяча, но горячая дева лучше леща!» (Уходит.)

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Я потрясен. Никогда еще не видывал я каналью в таком состоянии. Но позвольте ли, мистер Астериас, задать вам вопрос о *сui bono*¹ трудов и средств ваших, затраченных на поиски русалки? *Сui bono*, сэр, есть вопрос, какой я всегда беру на себя смелость задавать, когда вижу, как кто-то очень о чем-то радеет. Сам я по природе синьор Пококурante и желал бы знать, есть ли что на свете лучше и приятнее, нежели существовать и ничего не делать.

Мистер Астериас:

— Я много путешествовал, мистер Лежебок, по берегам пустым и дальним, я исколесил земли скудные и неприветливые. Я не бежал опасности, я претерпевал труды, я изведаль лишения. И притом испытал я радости, какие никогда б не променял на то, чтоб существовать и ничего не делать. Я знал немало бед, но не изведаль худшей, под которой понимаю я все несчетные разновидности скуки: хандру, досаду, ипохондрию, черную меланхолию, времяпрепровожденье, разочарованье, мизантропию — и всю бесконечную череду их следствий: капризы, сварливость, подозрительность, ревность и страхи, которые равно заразили и общество наше, и его словесность; и которые обратили бы человеческий разум в Ледовитый океан, когда бы более человеческие устремленья философии и науки не сохраняли в нас чувств высших и побуждений ценнейших.

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Вы, однако ж, изволите строго судить нашу модную литературу.

Мистер Астериас:

¹ для чего (лат.)

— Как же иначе, когда пираты, разбойники с большой дороги и прочие разновидности обширного рода Душегубов — суть высший идеал деятельности практической, точно так как желчная и уничижающая мизантропия есть идеал деятельности умственной. Насупленный лоб и загробный голос — необходимые ныне признаки хороших манер. И зловещий, иссушающий, смертоносный сирокко, дышащий нравственным и политическим отчаянием, несется теперь по всем урочищам нашего Парнаса. Наука же спокойно следует своим путем, питая юность восторгами чистыми и пылкими, зрелости доставляя труды спокойные и благодатные, а старости даря воспоминания и несчетные темы для целительных и ясных размышлений; и коль скоро жрец ее одаряем бескорыстным счастьем обогащать ум и множить благо общества, он стоит выше неверного людского приговора, мирских волнений и превратностей судьбы. Природа — великое и неистощимое его сокровище. Дни его не вмещают всех отпущенных ему радостей. Скука бежит его дверей. В согласии с миром и собственным разумом, он сам себе довлеет, радуется всех вокруг и встречает свой закат как завершение долгого и благодатного дня¹.

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Хотелось бы и мне так прожить, но, боюсь, я бы не вынес напряжения. К тому же я закончил курс в колледже. Я ухитрюсь одолевать свой день, убивая утро в постели, вечер в гостиных; переодеваясь и обедая в промежутках и затыкая редкие дыры пустого времени с помощью легкого чтения. И в том милом недружелюбии, за какое корите вы нынешнюю салонную литературу нашу, черпаю я духовные силы для любимого моего занятия — ничегонеделания, ибо укрепляюсь в мысли, что никто не достоин того, чтобы что-то для него делать.

Марионетта:

— Но не выдают ли себя невольно авторы подобных сочинений? Нет ли в них противоречия? Ибо кто же, от души ненавидя и презирая свет, станет всякие три месяца публиковать толстый том затем только, чтоб сообщить об этом?

¹ См Дени Монфор «Естественная история моллюсков общие соображения», с 37, 38 (Примеч автора)

Мистер Флоски:

— Тут есть тайна, которую я поясню туманным замечанием. Согласно Беркли, *esse* всех вещей есть *percipi*. Они существуют постольку, поскольку мы их ощущаем. Однако, оставя проблемы и частности, касаемые до материального мира, материалистам, хилиастам и антихилиастам, ибо по истине этот вопрос нелегкий, обсуждаем теми, кто не в своем уме и чужд сей теме (поскольку лишь трансценденталисты не чужды ни этой, ни какой другой теме), мы можем с полной уверенностью утверждать, что *esse* счастья есть *percipi*. Они существуют постольку, поскольку мы его ощущаем. Элементы радости и страдания нашего есть повсюду. Степень счастья, которым одаряет нас любое обстоятельство или предмет, зависит от нашего настроения или расположения. Вникните в смысл обычных оборотов — «дурное расположение духа», «веселое настроение», и вы поймете, что истина, за которую я ратую, общепринята.

(Мистер Флоски внезапно осекся; он понял, что невольно вторгся в область здравого смысла.)

Мистер Пикник:

— В самом деле. Веселое настроение всюду находит повод для удовольствия. В городе и в деревне, в обществе и наедине, в театре и в лесу, среди шумной толпы и среди молчанья гор — всюду есть поводы для размышлений и радости. Один вид радости — слушать музыку «Дон Жуана» в театре, сверкающем огнями и блещущем нарядами красавиц; другой вид ее — плыть на закате по лону мирных вод, в тиши, возмущаемой лишь всплесками весла. Веселое настроение извлечет из того и другого радость, дурное расположение духа и в том и другом сыщет лишь недостатки и сравнениями подкрепит свою склонность к недовольству. Один собирает лишь розы, другой лишь крапиву на своем пути. Одному дана способность наслаждаться всем, другой ничем не может насладиться. Один живо ощущает все радости, какие ему даны; другой обращает их в страдания, устремляясь к чему-то лучшему, которое оттого только лучше, что ему не дано, а если было бы ему дано, не показалось бы лучшим. Эти мрачные умы в жизни то же, что критики в литературе; они замечают лишь изъяны, потому что глаза их закрыты для прекрасного. Критик из кожи лезет вон, чтобы загубить нарождающийся гений; и ежели вопреки стараньям критика он

растет, тот его не замечает; а потом жалуется на упадок словесности. Подобно ему, и враг общества хулит людские и общественные пороки, сам ограждаясь от всего доброго и изо всех сил стараясь загубить счастье свое и ближних. Мизантропия часто результат обманутого великодушия; но еще чаще порождает ее заносчивая суетность, которая не в ладу с целым светом лишь за то, что он ценит ее по заслугам.

Скютроп (Марионетте):

— Как, однако ж, строго! Человеческая природа прекрасна, но сейчас переживает несчастливый период. Пылким умам остается только мучиться недовольством. И в зависимости от того, верят они в улучшение человеческой природы или нет, они либо впадают в отчаяние, либо обращаются к надежде. Предел надежды — восторг, предел отчаяния — мизантропия; но источник их один; так текут в разные стороны Северн и Ви, но обе берут начало в Плинлимонне.

Марионетта:

— «И в обоих водятся лососи», потому что сходство тут такое же приблизительно, как между Македонией и Монмутом.

Глава VIII

На другой день Марионетта заметила в Скютропе волнение, которого причины она не могла дознаться. Сначала хотелось ей верить, что оно вызвано каким-то преходящим пустяком и через день-другой улетучится. Но вопреки ее ожиданиям оно час от часу все возрастало. Она знала, что Скютроп весьма склонен любить таинственность ради таинственности; точнее, он прибегал к тайне для достижения своих целей, но избирал лишь те цели, какие требовали тайны. Теперь же, казалось, на него обрушилось куда более таинственного, чем допускала эта система, и покров тайны очень его стеснял. Все милые уловки Марионетты утратили свою силу и не могли более ни взбесить его, ни утешить; она поняла, что влияние ее уменьшилось, и это произвело в ней упадок духа и, следственно, унылую сдержанность манер, каковая не могла укрыться от внимания мистера Сплина; и этот последний, справедливо рассудив,

что исполнение его желаний, касаемых до мисс Гибель, есть вещь невозможная (и день ото дня невозможней из-за отсутствия юной леди), постепенно начал смиряться с мыслью о том, что дочерью его будет Марионетта.

Марионетта не раз тщетно пыталась вырвать у Скютропа его тайну; и, наконец отчаявшись в этой затее, она решила узнать разгадку от мистера Флоски, дражайшего друга Скютропа, чаще прочих допускаемого в неприступную башню. Однако мистер Флоски более не показывался по утрам. Он углубился в сочинение унылой баллады. И вот, когда тревога Марионетты победила чувство благоприличия, она решилась сама пойти в покой, избранный им для занятий. Она постучалась и, услышав «Войдите», переступила порог. Был полдень, и солнце ярко сияло к великому неудовольствию мистера Флоски, который устранил йеудобство, затворив ставни и задернув занавеси. Он сидел у стола при свете одинокой свечи и держал в одной руке перо, а в другой солонку, время от времени посыпая фитиль солью, дабы свеча горела синим пламенем. Он поднял «поэта взор в возвышенном безумье» и устремил его на Марионетту, будто она призрачная фея очарованных видений; затем с явственным страданием прикрыл глаза рукою, покачал головою, потер глаза, словно просыпаясь ото сна, и с самой жалостной, самой достойной Джереми Тейлора печалью спросил:

— Чему обязан я сей нечаянной радостью, мисс О'Кэррол?

Марионетта:

— Простите, что помешала вам, мистер Флоски, но интерес, который я... который вы выражаете моему кузену Скютропу...

Мистер Флоски:

— Прошу прощенья, мисс О'Кэррол. Я не выражаю интереса никому и ничему на свете; каковая позиция, ежели вы вникнете в ее суть, есть высшее проявление благороднейшего человеколюбия.

Марионетта:

— Совершенно верю вам, мистер Флоски; я не сильна в метафизических тонкостях, однако ж...

Мистер Флоски:

— Тонкостях! Милая миссис О'Кэррол, с прискорбием вижу я, что вы разделяете грубое заблуждение читаю-

щей публики, которую непривычное сочетание слов, влекущее за собой сближение антиперистатических понятий, тотчас наводит на мысль о сверхсхофистической парадоксологии.

Марионетта:

— Право же, мистер Флоски, меня оно на эту мысль не наводит. Я пришла к вам с целью получить сведения...

Мистер Флоски (качая головой):

— Никто еще и никогда не приходил ко мне с подобной целью.

Марионетта:

— Я думаю, мистер Флоски... то есть я верю... то есть я полагаю, то есть мне представляется...

Мистер Флоски:

— ...id est, cioè, c'est à dire¹, ваше «то есть», если вы извините мою смелость, мисс О'Кэррол, к данному случаю неприменимо. Думать — не то же, что верить, ибо вера во многих частностях происходит от полного отсутствия, полного отрицания мысли и являет поэтому самое здоровое состояние разума; мысль и вера существенно отличны от предположенья, а оно, в свою очередь, рознится от представленья. Различие между предположеньем и представленьем — один из темнейших и важнейших вопросов метафизики. Я написал семьсот страниц, обещая разъяснить этот вопрос, и слово мое так же верно, как банковский чек.

Марионетта:

— Поверьте, мистер Флоски, метафизика интересует меня не более, чем банковские чеки; и если бы вы могли снизить до простой девушки и заговорить понятным языком...

Мистер Флоски:

— Мне до вас снизить! Не говорите так. Да знаете ли вы, что разговариваете со скромнейшим из людей, который облекся в доспехи святости и окутался, как простым плащом, одеждами смиренья?

Марионетта:

— У моего кузена Скютропа с недавних пор очень таинственный вид, и это меня тревожит.

Мистер Флоски:

¹ то есть (лат ит фр)

— Странно: ничто так не пристало человеку, как таинственный вид. На таинственности зиждется все, что только есть прекрасного в поэзии, все, что только есть священного в вере, все, что только есть невнятного в трансцендентальной психологии. Я пишу балладу, где все тайна; она «из вещества того же, что и сны сотворены» и даже просто сотворена из сна; ибо прошлой ночью я заснул, как всегда, над своею книгой, и мне приснился чистый разум; во сне сочинил я пятьсот строк; таким образом приснилась мне моя баллада, и ныне я действую как сам себе Питер Пигва и сочиняю балладу про свой сон, и она будет называться «Сон основы», потому что в ней нет никакой основы.

Марионетта:

— Я вижу, мистер Флоски, вы находите мое вторжение нелепым и в отместку говорите вздор. (При слове «вздор» мистер Флоски так вздрогнул, что едва не опрокинул стол.) Уверяю вас, я никогда б не посмела вас тревожить, если б для меня не был так важен вопрос, какой я хочу вам задать. (Мистер Флоски выслушал ее с мрачным достоинством.) Что-то тайно терзает душу Скютропа (мистер Флоски промолчал). Он очень несчастлив... Мистер Флоски... Не знаете ль вы причины... (Опять мистер Флоски промолчал.) Мне бы только узнать.. Мистер Флоски... нет ли кое-чего... чему можно помочь кое-чем... что кое-кто.. о ком я кое-что знаю... мог бы сделать.

Мистер Флоски (помолчал):

— Существует множество способов выведывать тайны. Самые испытанные, теоретически рассмотренные и практически предложенные в философских романах суть подслушивание под дверь, подглядывание в щелку, подбор ключей к комодам и конторкам, чтение чужих писем, отпаривание облаток, поддевание сургучной печати горячей проволокой — ни один из этих способов не представляется мне приличным.

Марионетта:

— Неужто, мистер Флоски, вы могли заподозрить во мне склонность заимствовать или поощрять подобные низости?

Мистер Флоски:

— Их, однако ж, рекомендуют, и со стройными доводами, сочинители основательные и знаменитые в качестве

простых и легких способов изучать характеры и удовлетворять ту похвальную любознательность, которой цель — постижение человеческой натуры.

Марионетта:

— Нравственные понятия, которые вы не одобряете, мне так же незнакомы, как и метафизика, которую вы любите. Я лишь хотела с вашей помощью дознаться, что стряслось с моим кузеном; мне тяжело видеть его в печали, и, я думаю, для нее есть причина.

Мистер Флоски:

— А я так думаю, что для нее нет причины; печаль нынче в моде. Иметь для нее причину было б куда как пошло; печалиться же без причин — есть свойство гения; искусство тосковать из любви к тоске доведено в наши дни до совершенства; и древнему Одиссею, показавшему блистательный пример мужества в злоключениях действительных, пора уступить место герою современному, являющему более поучительный образец унылого раздраженья от вымышленных бед.

Марионетта:

— Вы премного меня обяжете, мистер Флоски, если дадите мне простой ответ на простой вопрос.

Мистер Флоски:

— Это невозможно, милейшая мисс О'Кэррол. Никогда еще в жизни не давал я простого ответа на простой вопрос.

Марионетта:

— Знаете вы или нет, что случилось с моим кузеном?

Мистер Флоски:

— Сказать, что я не знаю, значило бы сказать, что я в чем-то несведущ; но, избави бог, чтоб трансцендентальный метафизик, наделенный чистыми дочувственными познаниями обо всем на свете и носящий в голове всю геометрию, даже не заглянув в Эвклида, впал в столь эмпирическое заблуждение, как объявить себя в чем-то несведущим; сказать же, что я знаю, значило б утверждать возможность несомненного и обстоятельного знания о данной реальности. что, если вникнуть в природу факта и принять во внимание, насколько по-разному одно и то же событие может быть освещено...

Марионетта:

— Воля ваша, мистер Флоски, вы либо ничего не знаете, либо решили ничего мне не говорить; прошу прощения за то, что без нужды вас потревожила.

Мистер Флоски:

— Милейшая мисс О'Кэррол, право же, я и сам от души бы рад вас ободрить, но, если хоть одна живая душа сможет сообщить о том, что добились каких бы то ни было сведений о каком бы то ни было предмете от Фердинандо Флоски, моя трансцендентальная репутация погибнет безвозвратно.

Глава IX

Скютроп час от часу делался более молчалив, таинствен и рассеян; и все дольше пропадал у себя в башне. Марионетта в том усматривала явственные признаки охлаждения нежной страсти.

Теперь они редко сходились по утрам наедине, а если то случалось, то, когда она молчала в надежде, что он заговорит первым, он не произносил ни звука; когда она пыталась завязать беседу, он едва ее поддерживал; когда же она предлагала прямой вопрос, он отвечал коротко, уклончиво и принужденно. Но даже при таком упадке духа веселость не совсем покинула Марионетту и порой все еще ярко сияла в сумраке Кошмарского аббатства; и если вдруг она замечала в Скютропе проблески неугасшей либо воротившейся страсти, страсть ее терзать своего любовника тотчас брала верх над тоскою и склонностью, но только не над любопытством, которого вовсе не желал он удовлетворять. Веселость, однако ж, в большой мере была наигранна и обыкновенно исчезала, как только исчезал обидчивый Стреффон, которому назло она пускалась в ход. *Genius Loci, tutela*¹ Кошмарского аббатства, дух черной меланхолии начал запечатлевать свою печаль на побледневших щеках ее. Скютроп заметил перемену, нежность вновь вспыхнула в нем, и он уже изо всех сил старался утешить опеча-

¹ Гений места, покровитель (лат.).

ленную деву, заверяя ее, что мнимое безразличие вызвано было лишь тем, что он всецело погрузился в мысли о весьма успешном плане преобразования человеческого общества. Марионетта называла его неблагодарным, жестоким, бессердечным и упрёки свои сопровождала слезами и вздохами. Бедный Скютроп с каждой минутой делался нежней и послушней и наконец бросился к ее ногам, восклицая, что никакое соперничество красоты самой ослепительной, гения самого трансцендентального, талантов самых утонченных и философии самой истинной не заставит его отказаться от божественной Марионетты.

«Соперничество!» — подумала Марионетта, и вдруг с видом самого ледяного безразличия она сказала:

— Вы вольны, сэр, поступать как вам вздумается; прошу вас следовать своим планам, меня не принимая в расчет.

Скютроп был потрясен. Куда девались любовь ее и отчаяние. Не поднимаясь с колен, осыпая ее руку робкими поцелуями, он произнес с несказанной печалью:

— Так вы не любите меня, Марионетта?

— Нет,— отвечала Марионетта с холодным самообладанием.— Нет.

Скютроп все еще недоверчиво смотрел на нее.

— Нет,— повторила она.

— О! Что ж, прекрасно! — сказал он, вставая.— Коли так, найдутся и такие...

— Разумеется, найдутся, сэр. И неужели же вы думаете, что я не разгадала ваших намерений, жестокое чудовище?

— Моих намерений? Марионетта!

— Да, ваших намерений, Скютроп. Вы явились сюда, чтоб со мной порвать, но так, чтоб первое слово сказала я, а не вы, и тем хотели успокоить свою жалкую совесть. Но не думайте, что вы уж очень много для меня значите. Вы ничего для меня не значите. Ничего. И подите прочь. Я отвергаю вас. Слышите? Подите прочь. Отчего же вы не уходите?

Скютроп пытался было возражать, но тщетно. Она настаивала на том, чтоб он ее покинул, до тех пор, пока он в простоте своего сердца чуть было не покорился. Когда он был уже у порога, Марионетта сказала:

— Прощайте.

Скютроп оглянулся.

— Прощайте, Скютроп,— повторила она.— Вы меня более не увидите.

— Не увижу вас, Марионетта?

— Я уеду отсюда завтра, быть может, нынче же; и прежде чем мы снова свидимся, один из нас будет уже обвенчан, а значит, все равно что умрет для другого, Скютроп.

Внезапно изменившийся на последних словах голос и последовавшие за тем рыдания словно электричеством пронзили чистосердечного юношу; и тотчас же произошло полное примирение без всяких слов.

Иные ученые крючкотворы уверяют, будто у любви нет языка и что все ссоры и несогласия любовников происходят от несчастливой привычки употреблять слова там, где они невозможны; что любовь, будучи порождена взглядами, то есть физиогномическим выражением сродства душ, через постепенное нарастание знаков и символов нежности стремится к своему вожделенному венцу; и следственно, для доказательства сродства душ не понадобилось бы и единого слова, когда б неумолимое общество не громоздило на пути любящих до того многочисленных препятствий в виде брачных контрактов и церемоний, родителей и опекунов, адвокатов, ростовщиков-евреев и пасторов, что не один отважный рыцарь (вынужденный для обладания плодом Гесперид пробиваться сквозь толпу этих чудищ) либо тотчас отказался от всей затеи, либо потерпел поражение, не достигнув счастья; и столько разговоров вдруг ведется вокруг предмета, их не требующего и не терпящего, что робкий и нежный дух любви часто упархивает вместе с крылатыми словами, против воли навязанными ему в услугу.

В эту минуту дверь отворилась, и вошел мистер Сплин. Он сел рядом с ними и сказал

— Мне все понятно; и коль скоро все мы несчастливы делать то, что в наших силах, то и не стоит труда усугублять несчастье друг друга; а потому с божьим и моим благословением... — И, сказав это, он соединил их руки.

Скютроп не вполне приготовился к решительному шагу; он мог лишь запинаясь промолвить:

— Право же, сэр, вы слишком добры...

И мистер Сплин удалился за мистером Пикником, дабы скрепить договор.

Уж не знаем, насколько справедлива теория о любви и языке, с которой шла речь выше, верно одно, что, пока отсутствовал мистер Сплин, а длилось это полчаса, Скютроп и Марионетта не обменялись ни единым словом.

Мистер Сплин воротился с мистером Пикником; того весьма обрадовали виды такой блестящей партии для сироты-племянницы, которой он полагал себя в некотором роде опекуном; и, как выразился мистер Сплин, осталось только назначить день свадьбы.

Марионетта вспыхнула и промолчала. Скютроп тоже сперва помолчал, а потом произнес неверным голосом:

— Сэр, ваша доброта подавляет меня; но, право же, к чему такая поспешность?

Сделай это замечание девушка, от души или нет — ибо искренность не важна в этих случаях, как, впрочем, и во всех других, согласно мистеру Флоски, — сделай это замечание девушка, оно было бы совершенно *comme il faut*¹, но в устах молодого человека оно выходило уже *toute autre chose*² и в глазах его возлюбленной, конечно, выглядело самым возмутительным и неискупимым оскорблением. Марионетта рассердилась, ужасно рассердилась, но скрыла свой гнев и сказала спокойно и холодно:

— Разумеется, к чему такая поспешность, мистер Сплин? Поверьте, сэр, мой выбор еще не сделан и даже, насколько я понимаю, склоняется в другую сторону; да и время терпит, можно обо всем этом думать еще целых семь лет.

И, не дав никому опомниться, юная леди заперлась у себя в комнатах.

— Господи, Скютроп, — произнес мистер Сплин с совершенно вытянувшимся лицом. — Поистине к нам сошел диавол, как замечает мистер Гибель. Я-то думал, у вас с Марионеттой все слажено.

¹ уместно, подобающе (фр)

² совсем иначе (фр)

— Так оно и есть, сэр,— отвечал Скютроп и мрачно удалился к себе в башню.

— Мистер Сплин,— сказал мистер Пикник,— я не вполне осознал, что тут произошло.

— Причуды, брат мой Пикник,— сказал мистер Сплин.— Какая-то глупая любовная размолвка, ничего более. Причуды, капризы, апрельские облачка. Завтра же их разгонит ветер.

— Но если не так,— возразил мистер Пикник,— то эти апрельские облачка сыграли с нами первоапрельскую шутку!

— Ах,— сказал мистер Сплин,— счастливый вы человек. Вы во всех невзгодах готовы утешиться шуткой, сколь угодно скверной, лишь бы она была ваша собственная. Я рад бы с вами посмеяться, чтоб доставить вам удовольствие; но сейчас на сердце у меня такая печаль, что я, право, не могу затрунить свои мышцы.

Глава X

В тот вечер, когда мистер Астериас заметил на берегу женскую фигуру, которую он опознал как видимый знак его внутренних представлений о русалке, Скютроп, придя к себе в башню, нашел в своем кабинете незнакомца. Окутанный плащом, тот сидел у его стола. Скютроп замер от неожиданности. При его появлении незнакомец поднялся и несколько минут пристально смотрел на него. Видны были лишь глаза незнакомца. Все остальное скрывали складки черного плаща, придерживаемого на уровне глаз правой рукой. Как следует разглядев Скютропа, незнакомец произнес:

— По лицу вашему я заключаю, что вам можно довериться,— сбросил плащ, и изумленному взору Скютропа открылись женские формы и очертанья ослепительной красоты и грации, длинные волосы цвета воронова крыла и огромные карие глаза, почти пугающей яркости, составлявшие разительный контраст со снежной белизной. Платье на ней было чрезвычайно элегантно, однако ж скроено на иностранный манер, так, словно

и сама леди, и ее портной происходили из стран чужих и дальних.

Конечно, страшно лицом к лицу
Было девушке встретить в ночном лесу
Такую страшную красу

Ибо, если одна молодая девушка непременно должна была испугаться, увидя другую под деревом в полночь, то еще больше должен был испугаться молодой человек, увидя в такой час девушку у себя в кабинете. Если логичность нашего построения ускользает от читателя, нам остается лишь сожалеть о его тупости и отослать его для более подробных разъяснений к трактату, который намеревается писать мистер Флоски о категориях отношений, то есть о материи и случайности, причине и следствии, действии и противодействии.

Скютроп, следственно, был — или должен был быть — испуган; во всяком случае, он удивился; а удивление, хоть и не равносильно страху, тем не менее шаг на пути к нему и как бы нечто промежуточное между уважением и ужасом, согласно учению мистера Бэрка о степенях возвышенного¹.

— Вы удивлены, — сказала незнакомка. — Но отчего же? Если бы вы встретили меня в гостиной и меня б вам представила какая-нибудь старуха, вы бы ничуть не удивились. Так неужели же некоторая разница в обстановке и отсутствие несущественного лица делают

¹ Это, видимо, не совсем верно, ибо вся достопочтенная шайка господ-пенсионеров единодушно признала, что мистер Бэрк — лицо чрезвычайно возвышенное, в особенности после того, как он запродавал душу и предал отечество и весь род человеческий за 1200 фунтов в год, однако ж он вовсе не представляется нам страшным и довольствуется весьма малой долей уважения сограждан, хоть и сумел вызвать удивление во всех людях честных. Наш беспорочный лауреат (давший нам понять, что, если б не очищение священными узами брака, он так и помер бы девственником) — второй возвышенный господин того же толка. Он очень многих удивил, продавши свое первородство за испанскую похлебку, но и сам его Сосия нimalo его не уважает, хоть и считает, вероятно, имя его страшным для врагов, когда, размахивая критико-поэтико-политическим томагавком, он требует крови старых друзей. Но, в лучшем случае, он лишь политическое пугало, соломенное чучело, смешное для всех, кто знает, из какого материала оно сделано, а всего более для тех, кто его набивал и кто поставил его. Приапом стеречь золотые яблоки продажности (*Примеч автора*)

тот же предмет совершенно иным в восприятии философа?

— Разумеется, нет,— отвечал Скютроп.— Но, когда определенный класс предметов представляется нашему восприятию в неизменных связях и определенных отношениях, то при внезапном появлении одного из предметов класса вне привычного сопровождения существенное различие отношений неосознанно переносится на самый предмет и он, таким образом, представляется нашему восприятию во всей странности новизны.

— Вы философ,— сказала леди.— И поборник свободы. Вы автор труда, названного «Философическая гилья, или План всеобщего просветления человеческого разума».

— Да,— отвечал Скютроп, согретый первым лучом славы.

— Я чужая в этой стране,— сказала она.— Я здесь всего лишь несколько дней, но уже ищу прибежища. Меня жестоко преследуют. У меня нет друга, которому могла бы я довериться; среди испытаний случай познакомил меня с вашей статьей. Я поняла, что у меня есть хоть одна близкая душа в этой стране, и решила довериться вам.

— Но что должен я делать? — спросил Скютроп, все более поражаясь и смущаясь.

— Я хочу,— отвечала она,— чтоб вы помогли мне отыскать место, где б я могла укрыться от неустанных розысков. Раза два уже меня чуть не схватили, и я не могу больше полагаться на собственную изобретательность.

«Без сомнения,— подумал Скютроп,— это один из моих золотых светильников».

— Я построил,— сказал он,— в этой башне проход к галерее тайных покоев в главном здании, и никому на свете его не обнаружить. Если вам угодно остаться там на день и два, покуда я не сыщу для вас лучшего укрытия, вы можете положиться на трансцендентального елевтерарха.

— Я полагаюсь только на себя. Я делаю, что мне вздумается, хожу, куда мне вздумается, и пусть свет говорит, что хочет. Я достаточно богата, чтобы бросить ему вызов. Он тиран бедных и слабых, но раб тех, кто недосягаем для его оскорблений.

Скютроп осмелился спросить имя своей protégée.

— Что есть имя? — отвечала она. — Любое имя может служить для распознавания. Зовите меня Стеллой. По лицу вашему я вижу, — прибавила она, — что все происходящее представляется вам странным. Когда вы получше меня узнаете, вы перестанете удивляться. Я не желаю быть сообщницей закабаления моего пола. Я, как и вы, люблю свободу и провожу свои теории в жизнь. Лишь тот раб слепой власти, кто не верит в собственные силы.

Стелла поместилась в тайных покоях. Скютроп намеревался найти ей другое прибежище, но ото дня ко дню откладывал свое намерение, а потом и вовсе о нем позабыл. Юная леди ежедневно ему об этом напоминала, пока сама не позабыла. Скютропу не терпелось узнать ее историю; но она ограничивалась первоначальными сведениями о том, что спасается от жестокого преследования. Скютропу вспомнился лорд К. и закон об иностранцах, и он сказал:

— Раз вы не хотите называть своего имени, я полагаю, оно в портфеле у адвоката.

Стелла, не понимая о чем речь, промолчала, а Скютроп, приняв молчание за знак согласия, заключил, что укрывает мечтательницу, которую лорд заподозрил в намерении захватить Тауэр и поджечь Государственный банк — подвиги, столь же вероятные для юной красавицы, как и для пьяного сапожника и знахаря, вооруженных лишь статейкой и парой дырявых чулок.

Стелла в беседах со Скютропом обнаружила ум развитой и недюжинный, полный нетерпеливых планов освобождения и нетерпимости к мужскому засилью. Она тонко ощущала всякие угнетения, какие делаются под солнцем, и воображение живо рисовало ей картины несчетных несправедливостей, творимых вечно во всех частях света, что придавало ее лицу столь глубокую серьезность, словно улыбка ни разу не касалась ее уст. Она прекрасно знала немецкий язык и литературу; и Скютроп с отрадой слушал, как читает она наизусть из Шиллера и Гёте, а также ее хвалы великому Спартаку Вейсхаупту, бессмертному основателю секты иллюминатов. Скютроп

обнаружил, что сердце его обладает большею вместимостью, нежели он полагал, и не может быть заполнено образом одной Марионетты. Образ Стеллы заполнил все пустоты и начал уже теснить Марионетту со многих укреплений, оставляя, однако ж, за нею главную цитадель. Судя по тому, что новая его знакомка назвалась чужим именем Стеллы, он заключил, что она поклонница идей немецкой пьесы, носящей это название, и при случае завел с ней соответственный разговор; но, к великому его удивлению, она принялась пламенно отстаивать единственность и исключительность любви и объявила, что область чувств нераздельна и что можно разлюбить и полюбить вновь, но сразу двоих любить отнюдь невозможно.

— Если уж я полюблю,— сказала она,— я буду любить безоглядно и безмерно. Все превратности будут мне не страшны, все жертвы легки, все препятствия ничем. Но, любя так, я такой же любви пожелаю в ответ. Соперницы я не потерплю, удачливой или нет — не важно. Я не буду ни первой, ни второй — лишь единственной. Сердце, которое бьется для меня, должно биться для меня одной, либо мне его вовсе ненадобно.

Скютроп не смел упомянуть имя Марионетты; боясь, как бы несчастливый случай не открыл ее Стелле, он сам не знал, чего желать и чего пугаться, и жил в вечной горячке, снедаемый противоречьем. Он уже не мог таить от себя самого, что влюблен сразу в двух дев, являющих полную друг другу противоположность. Чаша весов неизменно склонялась в пользу той прекраснейшей, что была у него перед глазами, но и отсутствовавшую он никогда не мог забыть вполне, хотя степень восхищения и охлаждения всегда менялась соответственно вариациям внешних, видимых проявлений внутренних, духовных прелестей его предметов. Меняя по многу раз на дню общество одной на общество другой, он был как волан меж двух ракеток и, получая меткие удары по нежному сердцу и порхая на крылышках сверхвозвышенного разума, менял направление с частотой колебаний маятника. Это становилось несносно. Тайны

тут хватило бы на любого трансцендентального романтика и на любого романтического трансценденталиста. Была тут и любовь, доступная непосвященному и лишь посвященному уму. Возможность лишиться одной из них казалась ему ужасна, но он трепетал от страха, что роковая случайность может отнять у него обеих. Надежда убить сразу двух зайцев, закрепленная старинной мудростью, приносила ему минуты утешения, однако ж мысль о том, что бывает, когда за двумя зайцами погонишься, а также идея о двух стульях куда чаще приходили ему на ум, и лоб его покрывался холодной испариной. Со Стеллой он свободно предавался романтическим и философским грезам. Он строил воздушные замки, и она снабжала башенками и зубцами воображаемые строения. С Марионеттой все было иначе: она ничего не знала о мире и обществе помимо собственного опыта. Жизнь ее вся была музыка и солнце, и она не понимала, зачем надобно тужить, когда все так чудесно. Она любила Скютропа, сама не зная почему; она не всегда была уверена, что его любит; нежность ее то убывала, то нарастала в обратном соотношении к его чувствам. Умело доводя его до страстного порыва, она часто делалась и всегда притворялась равнодушной; обнаружив, что холодность ее заразительна и что он стал или притворился столь же безразличным, как она сама, она тотчас удваивала свою нежность и поднимала его к вершинам страсти, откуда только что его низвергла. Итак, когда в его любви был прилив, в ее чувствах был отлив, и наоборот. Случались и минуты тихих вод, когда взаимная склонность сулила нерушимую гармонию, но лишь только успевал Скютроп довериться сладкой мечте, а уж любовный челнок его возлюбленной затягивало водоворотом какого-нибудь ее каприза и Скютропа несло от берега надежд в океан бурь и туманов. Бедный Скютроп не успевал опомниться. Не имея возможности проверить меру ее понимания беседами о темах общих и о любимых своих планах и всецело предоставленный догадкам, он, как и всякий бы любовник на его месте, решил, что она от природы наделена талантами, которые беспечно растрачиваются по пустякам и что с замужеством пустое кокетство ее кончится и философия сможет беспрепятственно влиять на нее. Стелла не кокетничала, не лукавила:

общие интересы живо ее занимали; поведение ее со Скютропом всегда бывало ровно, вернее сказать, обнаруживало растущую внимательность, все более обещающую любовь.

Глава XI

Однажды, призванный к обеду, Скютроп нашел в гостиной друга своего мистера Траура, поэта, знакомого ему по колледжу и пользовавшегося особой благосклонностью мистера Сплина. Мистер Траур объявил, что готовится покинуть Англию, но не может этого сделать, не бросив прощального взгляда на Кошмарское аббатство и на глубоко чтимых друзей своих — скорбного мистера Сплина, таинственного Скютропа, возвышенного мистера Флоски и страждущего мистера Лежебока; и что всех их, а также мрачное гостеприимство меланхолического прибежища будет он вспоминать с самым глубоким чувством, на какое только способен его истерзанный дух. Каждый отвечал ему нежным сочувствием, но излияния эти прервало сообщение Ворона о том, что кушать подано.

Беседу, происходившую за бокалами вина, когда дамы удалились, мы воспроизведем далее со всегдашней нашей тщательностью.

Мистер Сплин:

— Вы покидаете Англию, мистер Траур. Сколь сладостна тоска, с какою говорим мы «прощай» старому приятелю, если вероятность свидеться вновь — один против двадцати. Так поднимем же пенные бокалы за печальную дорогу и грустью скрасим час разлуки.

Мистер Траур (наливая себе вина):

— Это единственный светский обычай, какого не забывает истомленный дух.

Его преподобие мистер Горло (наливая):

— Это единственная часть познаний, какую удерживает счастливо преодолевший экзамены ум.

Мистер Флоски (наливая):

— Это единственный пластырь для раненого сердца.

Его сиятельство мистер Лежебок (наливая):

— Это единственный труд, какой стоит предпринимать.

Мистер Гибель (наливая):

— Это единственное противоядие против сильной ярости дьявола.

Мистер Пикник (наливая):

— Это единственный символ полной жизни. Надпись «Hic non bibitur»¹ прилична лишь гробам.

Мистер Сплин:

— Вы увидите множество прекрасных развалин, мистер Траур; обветшалых колонн, замшелых стен; множество безногих Венер и безголовых Минерв; Нептунов, застрявших в песке; Юпитеров, перевернутых вверх тормашками; множество дырявых Вакхов, исполняющих работу фонтанов; множество напоминаний о древнем мире, в котором, чаю я, жилось куда лучше, чем в нынешнем; хотя, что до меня лично, так мне не нужен ни тот ни другой, и я и за двадцать миль никуда не двинусь, кто бы и что бы ни собирался мне показывать.

Мистер Траур:

— Я ищу, мистер Сплин. Мятущийся ум жаждет поисков, хотя найти — всегда значит разочароваться. Неужто не манит вас к себе родина Сократа и Цицерона? Неужто не стремитесь вы побродить среди славных развалин навеки ушедшего величия?

Мистер Сплин:

— Нимало.

Скютроп:

— Право же, это все равно, как если бы влюбленный откопал погребенную возлюбленную и упивался бы зрелищем останков, ничего общего с нею не имеющих. Что толку бродить среди заплесневелых развалин, видя лишь неразборчивый указатель к утерянным томам славы и встречая на каждом шагу еще более горестные развалины человеческой природы — выродившийся народ тупых и жалких рабов, являющий губительный позор унижения и невежества?

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Нынче модно за границу ездить. Я и сам было собрался, да вот, боюсь, не вынесу напряжения. Разумеется, немного оригинальности и чудачества в иных случаях не лишнее; но самый большой чудак и оригинал — англичанин, который никуда не ездит.

¹«Здесь не пьют» (лат.).

Скютроп:

— Мне б вовсе не хотелось видеть страны, где не осталось никакой надежды на обновление; в нас эти надежды не угасли; и полагаю, что тот англичанин, который, благодаря своему дару, или рождению, или (как в вашем случае, мистер Траур) и тому и другому вместе, имеет счастливую возможность служить отечеству, пламенно борясь против его врагов, но бросает, однако ж, отечество, столь богатое надеждами. и устремляется в дальнюю страну, изобильную лишь развалинами, полагаю, что тот англичанин поступает так, как ни один из древних, чьи обветшалые памятники вы чтите, никогда б не поступил на вашем месте.

Мистер Траур:

— Сэр, я поссорился с женой; а тот, кто поссорился с женой, свободен от всякого долга перед отечеством. Я написал об этом оду, и пусть читатель толкует ее, как ему вздумается.

Скютроп:

— Уж не хотите ли вы сказать, что, поссорясь с женою Брут, и он это мог бы выставить причиной, когда б не захотел поддержать Кассия в его начинании? И что Кассию довольно было б подобной отговорки?

Мистер Флоски:

— Брут был сенатор; сенатор и наш дорогой друг. Но случаи различны. У Брута оставалась надежда на благо политическое, у мистера Траура ее нет. Да и как бы мог он питать ее после того, что увидел во Франции?

Скютроп:

— Француз рожден в сбруе, взнуздан и оседлан для тирана. Он то гордится седоком, то сбрасывает его наземь и до смерти забивает копытами; но вот уже новый смельчак вскакивает в седло и вновь понукает его бичом и шпорами. Право же, не обольщаясь, мы можем уповать на лучшее.

Мистер Траур:

— О нет, я пережил свои упования; что наша жизнь — она во всемирном хоре — фальшивый звук, она анчар гигантский, чей корень земля, а крона — небосвод, струящий ливни бед неисчислимых на человечество. Мы с юных лет изнываем от жажды; до последнего вздоха

нас манят призраки. Но поздно! Что власть, любовь, коль мы не знаем счастья! Промчится все как метеор, и черный дым потушит все огни¹.

Мистер Флоски:

— Бесподобные слова, мистер Траур. Блистательная, поучительнейшая философия. Достаточно вам впечатлить ею всех людей, и жизнь поистине станет пустыней. И, должен отдать должное вам, мне лично и нашим общим друзьям, стоит только обществу оценить по заслугам (а я льщу себя надеждой, что к этому оно идет) ваши понятия о нравственности, мои понятия о метафизике, Скютроповы понятия о политике, понятия мистера Лежебока об образе жизни и понятия мистера Гибеля о религии,— и результатом явится столь превосходный умственный хаос, о каком сам бессмертный Кант мог только мечтать; и я радуюсь от предвкушения.

Мистер Пикник:

— «Ей-богу, прапорщик, тут нечему радоваться». Я не из тех, кто думает, будто наше общество идет ко благу через всю эту хандру и метафизику. Контраст, какой являет оно с радостной и чистой мудростью древних, поражает всякого, кто хоть несколько знаком с классической словесностью. Стремление представить муки и порок как непрменные свойства гения столь же вредно, сколь оно ложно, и столь же мало имеет общего с классическими образцами, как язык, каким обычно бывает оно выражено.

Мистер Гибель:

— Это беда наша. К нам сошел дьявол и одного за другим отнимает у нас умнейших людей. Таков, видите ли, просвещенный век. Господи, да в чем же тут свет, просвещение? Неужто предки наши едва разбирали дорогу в свете тусклых фонарей, а мы разгуливаем в ярких лучах солнца? В чем признаки света? Как их заметить? Как, где, когда увидеть его, почувствовать, познать? Что видим мы при этом свете такого, чего не видели бы наши предки и на что стоит посмотреть? Мы видим сотню повешенных там, где они видели одного. Мы видим пятьсот высланных там, где они видели одного.

¹ «Чайльд Гарольд», песнь 4, 74, 76 (Примеч. автора).

Мы видим пять тысяч колодников там, где они видели одного. Мы видим десятки обществ распространения Библии там, где они ни одного не видели. Мы видим бумагу там, где они видели золото. Мы видим корсеты там, где они видели латы. Мы видим раскрашенные лица там, где они видели здоровые. Мы видим, как дети мучатся на фабриках, а они видели их за резвыми играми. Мы видим остроги там, где они видели замки. Мы видим господ там, где они видели старейшин. Одним словом, они видели честных мужей там, где мы видим лживых мерзавцев. Они видели Мильтона, а мы видим мистера Винобери.

Мистер Флоски:

— Этот лживый мерзавец мой близкий друг; сделайте одолжение, оправдайте его. Конечно, он мошенник, ваша милость, потому я и прошу за него.

Мистер Гибель:

— «Честные люди добрые» — было столь же принятое выражение, как καλὸς καὶ ἀγαθός у афинян¹. Но давным-давно уже и людей таких не видно, да и выражения не слышно.

Мистер Траур:

— Красота и достоинство — лишь плод воображения. Любовь сеет ветер и бурю жнет². Отчаянно обречен тот, кто хоть на мгновенье доверится самой зыбкой тростинке — любви человеческой. Удел общества нашего — мучить и терпеть³.

Мистер Пикник:

— Скорее сносить и снисходить, мистер Траур, какой бы презренной ни показалась вам эта формула. Идеальная красота не есть плод нашего воображенья, это подлинная красота, переработанная воображеньем, очищенная им от примесей, какими наделяет ее всегда наше несовершенное естество. Но драгоценное всегда было драгоценно; тот, кто ждет и требует слишком многого, сам виноват и напрасно винит природу человеческую. И во имя всего человечества я протестую против этих вздорных и злых бредней. Ополчаться против человечества за то,

¹ добрый и хороший (греч.)

² «Чайльд Гарольд», песнь 4, 123. (Примеч. автора).

Там же, песнь 3, 71. (Примеч. автора)

что оно не являет отвлеченного идеала, а против любви за то, что в ней не воплощены все высокие грезы рыцарской поэзии, все равно что ругать лето за то, что выпадают дождливые дни, или розу за то, что она цветет не вечно.

Мистер Траур:

— Любовь рождена не для земли. Мы чтим ее, как чтили афиняне своего неведомого Бога; но мучеников веры имена — сердец разбитых — рать неисчислима, и взору вовеки не обнять форм, по которым томится измученный усталый скорбный дух и за которыми устремляется страсть по тропам прелестей обманных, где душистый аромат трав вреден и где из деревьев брызжет трупный яд¹.

Мистер Пикник:

— Вы говорите точно как розенкрейцер, готовый полюбить лишь сернистую кислоту, не верящий в существование сернистой кислоты, однако, враждующий с белым светом за то, что в нем не сыскалось места сернистой кислоте.

Мистер Траур:

— Ум отравлен собственной красотой, он пленник логики. Того, что создано мечтою художника, нет нигде, кроме как в нем самом².

Мистер Флоски:

— Позвольте не согласиться. Творения художника суть средства воплощения общепринятых форм в соответствии с общепринятыми образцами. Идеальная красота Елены Зевксиса есть средство воплощения подлинной красоты кротонских дев.

Мистер Пикник:

— Но считать идеальную красоту тенью на воде и, подобно собаке из басни, отбрасывая настоящее, гоняться за тенью — едва ли мудро и позволительно гению. Примирять человека, каков бы он ни был, с миром, какой бы он ни был, охранять и множить все, что есть в мире доброго, и разрушать или смягчать зло, будь то зло нравственное или телесное, — всегда было целью и надеждой величайших учителей наших, и это стремление украшает род человеческий. И еще скажу, что

¹ «Чайльд Гарольд», песнь 4, 121, 136. (Примеч. автора).

² Там же, песнь 4, 122. (Примеч. автора).

высшая мудрость и высочайший талант неизменно сочетались с весельем. Есть неоспоримые свидетельства тому, что Шекспир и Сократ, как никто, умели веселиться. А те жалкие остатки мудрости и гения, какие наблюдаем мы ныне, словно сговорились убивать всякое веселье.

Мистер Гибель:

— Как веселиться, когда к нам сошел дьявол?

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Как веселиться, когда у нас расстроены нервы?

Мистер Флоски:

— Как веселиться, когда мы окружены читающей публикой, не желающей понимать тех, кто выше нее?

Скютроп:

— Как веселиться, когда великие наши общие намерения поминутно нарушаются мелкими личными страстями?

Мистер Траур:

— Как веселиться среди мрака и разочарованья?

Мистер Сплин:

— Скрасим же грустью час разлуки.

Мистер Пикник:

— Споемте что-нибудь шуточное.

Мистер Сплин:

— Нет. Лучше милую грустную балладу. Норфольскую трагедию на мотив сотого псалма.

Мистер Пикник:

— Шутку лучше.

Мистер Сплин:

— Нет и нет. Лучше песню мистера Траура.

Все:

— Песню мистера Траура.

Мистер Траур (поет):

Се огневица, Каина печать,

Болезнь души, что в глубине сокрыта.

Но вдруг она способна просиять

И в склепе Туллии, среди гранита.

Ни с чем не схож незримый этот свет,

Сродни пыланью страшного недуга —

Сжигает радость, мир, сводя на нет

И тень покоя и участь друга.

Когда надежда, вера и любовь
Становятся лишь утреннею дымкой
И горстью праха — холодеет кровь,
Ты одинок пред светом-невидимкой

Мерцаньем мысль и сердце вспоены,
Бредут за светляками до могилы
Во мрак ночной всегда погружены
И попусту растрачивают силы

Мистер Сплин:

— Восхитительно. Скрасим грустью час разлуки.

Мистер Пикник:

— А все же шутку бы лучше.

Его преподобие мистер Горло:

— Совершенно с вами согласен.

Мистер Пикник:

— «Три моряка».

Его преподобие мистер Горло.

— Решено. Я буду Гарри Гилл и спою на три голоса.

Начинаем.

Мистер Пикник и мистер Горло:

Кто же вы? Мы три моряка!
Посудина ваша чудна
Полный вперед Три мудреца
Нам с моря виднее луна
Льет свет она, и звезд полно
Балласт наш — старое вино
Балласт наш — доброе вино!

Эй, кто плывет там? Хмурый вид
То старина Забота К нам!
Мне путь Юпитером закрыт
Я пролетаю по волнам
Сказал Юпитер — тот, кто пьет,
Не знает никогда забот,
Не знает никаких забот

Встречали бури мы не раз
Поверь, нам не страшна вода
Заговорен наш старый таз
А влаги рады мы всегда
Светит луна, и звезд полно
Балласт наш — старое вино
Балласт наш — доброе вино!

Песенка была столь мило исполнена благодаря умению
мистера Пикника и низкому триединому голосу его пре-

подобия, что все против воли поддались обаянию ее и хором подхватили заключительные строки, поднося к губам бокалы:

Светит луна, и звезд полно,
Балласт наш — доброе вино!

Мистер Траур, соответственно нагруженный, в тот же вечер ступил в свой таз, вернее в бричку, и отправился бороздить моря и реки, озера и каналы по лунным дорожкам идеальной красоты.

Глава XII

Покинув бутылку ради общества дам, мистер Лежебок, как обыкновенно, на несколько минут удалился для второго туалета, дабы явиться пред прекрасными в надлежащем виде. Сильвупле, как всегда помогавший ему в этом труде, в чрезвычайной тревоге сообщил своему господину, что по аббатству ходят привидения и больше уже нельзя в том сомневаться. Горничная миссис Пикник, к которой Сильвупле с недавних пор питал *tendresse*¹, прошлой ночью, как она сама сказала, до скончины напугалась по дороге в свою спальню потому, что наткнулась на зловещую фигуру, вышагивающую по галереям в белом саване и кровавом тюрбане. От страха она лишилась чувств, а когда пришла в себя, вокруг было темно, а фигура исчезла.

— *Sacré — cochon — bleu!*² — выкрикивал Сильвупле страшные проклятья. — Я не хочу встречаться с *revenant*, с призраком, ни за какое вино в мире!

— Сильвупле, — спросил его сиятельство мистер Лежебок, — видел я когда-нибудь призраков?

— *Jamais*, мосье, никогда.

— Ну, так надеюсь, и впредь не приедется. Нервы у меня совсем расстроены, и, боюсь, я не вынес бы напряжения. Ты расправь-ка мне шнурки на корсете... ох уж эта плебейская привычка наедаться — да не так, талию мне оставь. Ну, вот, хорошо И я не желаю

¹ нежность (фр)

² Черт возьми! (фр искаж.)

больше выслушивать истории о призраках; я хоть во все это, положим, не верю, но слушать про это вредно, и если ночью про такое вспомнишь, то может бросить в дрожь, особенно если лунный свет упадет на твой собственный халат.

Его сиятельство мистер Лежебок, впредь запретив Сильвупле рассказывать о призраках, однако ж все думал о том, что уже было ему рассказано; и коль скоро мысль о призраках не шла у него из головы, когда он явился к чаю и кофею и к обществу в библиотеке, он почти против воли спросил у мистера Флоски, которого почитал он истинным оракулом, можно ли хоть в какой-то степени доверять хоть какой-то истории о привидениях, хоть когда-нибудь кому-нибудь являвшихся?

Мистер Флоски:

— Очень многим и в очень большой степени.

Мистер Лежебок:

— Ах, право же, это пугает меня.

Мистер Флоски:

— *Sunt geminae somni portae*¹. Призраки проходят к нам двойными вратами — путем обмана и самообольщения. В последнем случае призрак есть *descriptio visus*², зримый дух, идея с силой ощущения. Сам я видел много призраков. Полагаю, немногие среди нас никогда не видели призраков.

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Счастлив сообщить, что я, к примеру, никогда их не видывал.

Его преподобие мистер Горло:

— О призраках есть такие авторитетные свидетельства, что разве отъявленный афей может в них не верить. Иов видел призрака, явившегося только для того, чтобы задать ему вопрос, но не дождался ответа.

Его сиятельство мистер Лежебок:

— Потому что Иов слишком перепугался, чтобы ему отвечать.

Его преподобие мистер Горло:

— Духи являлись египтянам, когда Моисей наслал на Египет тьму. Эндорская волшебница вызвала дух

¹ Две ворот открыты для снов (лат.).

² обман зрения (лат.).

Самуила. Моисей и Илия явились на горе Фаворе. Злой дух был послан на войска Сennaхирима, разбил их за одну ночь.

Мистер Гибель:

— Говоря: «К вам сошел диавол в сильной ярости».

Мистер Флоски:

— Святой Макарий расспросил череп, найденный в пустыне, и тот поведал ему при многих свидетелях о событиях в преисподней. Святой Мартин Турский, ревнуя успехам мнимого мученика, своего соперника, соседнего святого, вызвал его дух, и тот признался, что обитает в аду. Святой Жермен, путешествуя, выгнал из одного кабака большую компанию призраков, которые каждую ночь располагались за табльдотом и отменно ужинали.

Мистер Пикник:

— Веселые призраки! И уж верно, все до одного монахи. В Париже такая же точно компания забралась в погреб к мосье Свебаху, живописцу; они выпили у него все вино, а потом еще швыряли в голову ему пустые бутылки.

Его преподобие мистер Горло:

— Какая, однако, жестокость.

Мистер Флоски:

— Павсаний рассказывает, что всякую ночь с поля Марафона неслось конское ржанье и шум битвы; и тот, кто шел туда, чтоб послушать эти звуки, жестоко платился за любопытство; тот же, кто ловил их случайно, оставался невредим.

Его преподобие мистер Горло:

— Я и сам однажды видел привидение; у себя в кабинете, где никому, кроме привидения, не пришло бы в голову меня искать. Три месяца я туда не заходил и вот решил было заглянуть в Тилотсона; открываю дверь и вижу: почтенная фигура во фланелевом халате сидит у меня в кресле и читает моего Джереми Тейлора. Фигура тотчас исчезла, и я тоже; и что это такое было и чего оно хотело — до сих пор ума не приложу.

Мистер Флоски:

— То была идея с силой ощущения. Призраки редко воздействуют на два чувства сразу; но в бытность мою в Девоншире мне достоверно подтвердили следующую

историю. Молодая женщина, чей жених был в море, возвращаясь однажды вечером домой по пустынным полям, вдруг увидела своего любезного. Он сидел у забора, мимо которого лежал ее путь. Первые чувства ее были удивление и радость, но они исчезли при виде бледности и печали его лица и уступили место тревоге. Она приблизилась к нему, и он сказал важным голосом: «Око, видевшее меня, более меня не увидит. Глаза твои покоятся на мне, но я не существую». И с этими словами он исчез, а потом оказалось, что в тот самый день и час он погиб при кораблекрушении.

Все уселись в кружок и по очереди принялись рассказывать случаи с призраками, не замечая, как летит время, покада полночь языком своим железным двенадцать не отсчитала.

Мистер Пикник:

— Все эти анекдоты можно объяснить причинами психологическими. Легче солдату, философу и даже святому испугаться собственной тени, нежели выйти из гроба мертвецу. Авторы сочинений врачебных приводят тысячи доказательств силы воображения. К особам нервического, слабого либо меланхолического склада, истомленным горячкой, трудами или скудной пищей, легко являются подстрекаемые собственной их фантазией духи, химеры, чудища, а также предметы ненависти их и любви. Все мы почти, подобно Дон Кихоту, принимаем ветряные мельницы за гигантов, а Дульцинею считаем сказочной принцессой, всех нас морочит собственная наша фантазия, хоть и не все доходят до того, что видят призраков или воображают себя чайниками.

Мистер Флоски:

— Я лично с уверенностью могу сказать, что видел слишком много призраков, чтоб верить в их подлинное существование. Каких только не выдывал я призраков — то в образе почтенных старцев, встречавшихся мне в моих полуденных блужданиях, то в образе прекрасных юных жен, засматривавших в полночь сквозь занавеси ко мне в спальню.

Его сиятельство мистер Лежебок:

— И оказывавшихся, без сомнения, «доступными и зрению и касанью».

Мистер Флоски:

— Напротив, сэръ. Вспомните о чистоте моей. Я и друзья мои, в особенности мой друг мистер Винобери, славны своей добродетелью. Нет, сэръ, то были истинно неосязаемые духи. Я живу в мире призраков. Я и сейчас вижу привиденье.

Мистер Флоски устремил взор на дверь. Все заглянули туда же. Дверь тихо отворилась, и призрачная фигура, вся облаченная белым и в каком-то кровавом тюбане, вошла и медленно прошествовала по библиотеке. Как ни был мистер Флоски привычен к призракам, это видение застало его врасплох, и он поспешил к противоположной двери. Миссис Пикник и Марионетта с криком бросились за ним следом. Его сиятельство мистер Лежебок, дважды повернувшись, сперва свалился с софы, а затем под нее. Его преподобие мистер Горло вскочил и кинулся бежать с такой живостью, что опрокинул стол на ногу мистери Сплину. Мистер Сплин взвыл от боли над самым ухом мистера Гибеля. Мистер Гибель пришел в такое смятение, что вместо двери кинулся к окну, выпрыгнул из него и по уши ушел в ров. Мистер Астериас и Водолей, подстерегавшие русалку, услышав всплески, набросили на мистера Гибеля сеть и вытащили его на сушу.

Скютроп и мистер Пикник тем временем бросились к нему на выручку; сопровождаемые слугами с веревками и факелами, прибежали они ко рву и увидели, что мистер Астериас и Водолей пытаются высвободить из сети отчаянно барахтающегося в ней мистера Гибеля. Скютроп застыл в изумленье, а мистер Пикник, с одного взгляда поняв, что произошло и отчего, разразился неудержимым хохотом; придя в себя, он сказал мистеру Астериасу:

— Да вы поймали рыбку в мутной воде!

Мистера Гибеля ужасно огорчила неуместная веселость; но мистер Пикник умерил его гнев, доставши нож и разрубив сей гордиев узел рыболовной снасти.

— Вы видите,— сказал мистер Гибель,— вы видите, джентльмены, на моем горестном примере неисчислимые доказательства нынешнего превосходства дьявола в делах мира сего; и у меня нет сомнений в том, что сегодня нас посетил сам Аполлион, явившийся под чужой ли-

чиной только для того, чтобы запугать меня нагромождением незадач. К вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени.

Глава XIII

Мистера Сплина немало озадачивало, что, наведываясь в башню Скютропа, он находил дверь всегда запертою и по несколько минут ему приходилось дожидаться, пока его впустят; а тем временем он слышал за дверью тяжелый раскатистый звук, будто ввозят телегу на мостовые весы, либо колотят катком, либо изображают гром за сценой.

Сперва он не придал этому значенья, потом любопытство заговорило в нем, и, наконец, однажды, вместо того чтоб постучаться, он, подойдя к двери, тотчас приник ухом к замочной скважине и, подобно Основе из «Сна в летнюю ночь», «усмотрел голос», который, как догадался он, принадлежал женщине и, как он понял, не принадлежал Скютропу, ибо голос последнего, куда более низкий, звучал в промежутках. Тщетно попытался он было различить в разговоре хоть единое слово и, наконец отчаявшись, заколотил в дверь, требуя, чтобы его немедленно пустили. Голоса смолкли, послышались обычные раскаты, дверь отворилась, и Скютроп оказался один. Мистер Сплин заглянул во все углы, а затем спросил:

- А где же дама?
- Дама, сэр? — возразил Скютроп.
- Именно, сэр.
- Сэр, я вас не понимаю.
- Не понимаете, сэр?
- Право же, сэр, здесь нет никакой дамы.
- Но эта комната, сэр, не единственная у вас в башне, и я совершенно убежден, что дама наверху.
- Прошу вас, обыщите все углы, сэр.
- А пока я буду их обыскивать, она как раз и удерет.
- Заприте эту дверь, сэр, и возьмите себе ключ.
- А выход на террасу? Она уже сбежала через террасу.
- С террасы нет выхода, сэр. А стены слишком высокие, и вряд ли дама станет через них прыгать.

— Хорошо. Давай сюда ключ.

Мистер Сплин забрал ключ, обыскал все закоулки башни и воротился.

— Ты хитрая лиса, Скютроп, хитрая, ловкая лиса. А еще скромника корчишь. Что это за грохот слышал я перед тем, как ты отпер дверь?

— Грохот, сэр?

— Да, сэр, грохот.

— Сэр, и вообразить не могу, что бы это такое было. Вот разве стол я отодвинул, когда вставал вам открыть.

— Стол! Дай-ка погляжу. Нет уж. Он и десятой доли того шума не наделал бы. И десятой доли.

— Но, сэр, вы не принимаете в расчет законов акустики; шепот обращается в громовые раскаты в фокусе отражения звука. Позвольте вам объяснить: звуки, ударяясь о вогнутые поверхности, отражаются от них, а после отражения сводятся воедино в точках, являющих фокусы этих поверхностей. Отсюда следует, что ухо, соответственно расположенное, может слышать звук с большей отчетливостью, нежели находясь у самого его источника; далее, в случае вогнутых поверхностей, помещенных одна против другой...

— Глупости, сэр. Что ты мне толкуешь о фокусах? Ну, скажи на милость, могут ли вогнутые поверхности произвести два голоса, когда никто не разговаривает? Я слышал два голоса, и один был женский. Женский, сэр. Ну, что ты на это скажешь?

— О, сэр, наконец-то я понял, что ввело вас в заблуждение: я пишу сейчас трагедию и разыгрывал сам с собою одну сцену. Могу вам ее показать. Но сперва надобно познакомить вас с планом. Это трагедия в германском духе. Великий Могол в изгнании и живет в Кенсингтоне с единственной дочерью своей, принцессой Рантрориной, которая зарабатывает шитьем и держит школу без пансиона. Принцесса застигнута на том, что метит рубашки для приходского священника: на всех будет большое Р. Великий Могол к ней входит. Пауза, в продолжение которой оба многозначительно смотрят друг на друга. Принцесса несколько раз меняется в лице. Могол в безумном волнении нюхает табак. Слышно, как несколько крупич падает на сцену. Видно, как под пальто его колотится

сердце. Могол (мрачно взглянув на свой левый башмак) «У меня шнурок порвался». Принцесса (скорбно помолчав): «Я знаю». Могол: «Второй шнурок! Первый порвался, когда я потерял свою державу, второй разорвался сегодня. Когда же разорвется мое бедное сердце?» Принцесса: «Шнурки, державы и сердца! Непостижимое согласие!»

— Глупости, сэр,— перебил его мистер Сплин.— Те голоса были вовсе не такие.

— Но, сэр,— отвечал Скютроп,— замочная скважина, верно, так устроена, что послужила акустической трубой, а труба акустическая, сэр, удивительно как меняет звуки. К тому же примите во внимание устройство уха и природу и источник звука. Внешняя часть уха представляет собою хрящевую раковину.

— Перестань-ка, Скютроп. Ты прячешь тут девушку, ну, а я ее отыщу. Бывают раздвижные стены и потайные ходы.— Мистер Сплин постучал по стенам тростью, однако ж ничего не обнаружил.— Мне говорили, сэр,— продолжал он,— что во время отсутствия моего, тому два года, ты часами запирался с немым столяром. Вот уж не гадал я, что ты тогда уже затевал тайные связи. В молодости кто не повесничает? Я и то в молодости повесничал, но теперь, когда кухня твоя Марионетта...

Скютроп понял, что дела его плохи. Заткнуть отцу рот, умолять, чтобы он замолчал, во-первых, ни к чему бы не привело, а во-вторых, тотчас бы возбудило подозрения, что он боится, как бы их не услышали. Единственной возможностью, следственно, было заглушить голос мистера Сплина; и, не имея другой темы, он углубился в устройство уха, повышая голос по мере того, как повышал его мистер Сплин.

— Когда кухня твоя Марионетта,— сказал мистер Сплин,— которую ты якобы любишь, которую вы якобы любите, сэр...

— Среднее ухо,— отвечал Скютроп,— частью костисто, частью хрящевидно,— его...

— ...в настоящее время в нашем доме, сэр; и вы в ближайшем будущем, я полагаю...

— ...прикрывает мембрана тимпани...

— ...соединитесь священными узами...

— ...под которой проходит пятая пара нервов...

— Я говорю, раз вы с Марионеттой скоро поженитесь...

— ...cavitas tympani...

Шум послышался за книжными полками, которые, к немалому удивлению мистера Сплина, разделились посередине и разъехались надвое вместе со всеми книгами, подобно театральной сцене, с тяжелым рокочущим звуком (мистер Сплин тотчас признал в нем тот самый звук, что возбудил его любопытство) и открыли вход в потайное помещение, а прекрасная Стелла, выйдя оттуда, воскликнула:

— Как? Он собирается жениться? Распутник!

— Право же, сударыня,— сказал мистер Сплин,— я не знаю, ни что он собирается делать, ни что я собираюсь делать, да и кто бы то ни было; бо все это непостижимо.

— Я все объясню,— сказал Скютроп,— и удовлетворительно объясню, если только вы благоволите оставить нас наедине.

— Ну и ну, сэр, и к какому же акту трагедии о Великом Моголе относится эта сцена?

— Молю вас, сэр, оставьте нас.

Стелла упала в кресло и разразилась бурными слезами. Скютроп сел подле и взял ее за руку. Она вырвала руку и повернулась к нему спиной. Он встал, обошел вокруг нее и взял за другую руку. Она и ее вырвала и снова от него отвернулась. Скютроп все молил мистера Сплина их оставить; но тот упрямылся и не уходил.

— Полагаю,— заметил мистер Сплин сердито,— что наблюдаю лишь акустический феномен, и юная леди есть отражение звука от вогнутых поверхностей.

В дверь постучали. Мистер Сплин отворил, и на пороге явился мистер Пикник. Он искал мистера Сплина и пошел за ним в Скютропову башню. На несколько минут он застыл в немом изумлении, а затем попросил объяснения у мистера Сплина.

— Есть удовлетворительное объяснение,— отвечал мистер Сплин.— Великий Могол поселился в Кенсингтоне, и внешняя часть уха представляет собою хрящевую раковину.

— Мистер Сплин, это ничего не объясняет.

— Мистер Пикник, это все, чем я располагаю.

— Сэр, веселость ваша неуместна. Я вижу, что над моей племянницею низко насмеялись; быть может, она сама сподобится внятного объяснения.— И он отправился на поиски Марионетты.

Положение Скютропа было безвыходно. Мистер Пикник поднял крик по всему аббатству, призывая жену и Марионетту в башню к Скютропу. Дамы, не понимая, в чем дело, ужасно всполошились. Мистер Гибель, завидя, как бегут они по коридору, заключил, что дьявол снова явил свою ярость, и последовал за ними из чистого любопытства. Скютроп тем временем тщетно пытался избавиться от мистера Сплина и успокоить Стеллу. Последняя порывалась убежать, объявляя, что немедленно покинет аббатство и он никогда более о ней не услышит. Скютроп силой удерживал ее за руку, пока не воротился мистер Пикник, а за ним миссис Пикник и Марионетта. Марионетта, увидев Скютропа, держащего за руку прекрасную незнакомку, упала в обморок, в объятия миссис Пикник. Скютроп поспешил к ней на помощь; Стелла, вконец разгневавшись, бросилась к двери, но бегству ее помешало явление мистера Гибеля, распростершего ей объятия с возгласом:

— Селинда!

— Папа! — отвечала безутешная девушка.

— К вам сошел дьявол,— сказал мистер Гибель.— Откуда явилась к вам моя дочь?

— Ваша дочь! — вскричал мистер Сплин.

— Ваша дочь! — вскричали Скютроп и мистер Пикник с миссис Пикник.

— Да,— отвечал мистер Гибель.— Моя дочь Селинда.

Марионетта открыла глаза и устремила их на Селинду; Селинда, в свою очередь, устремила взор на Марионетту. Они помещались в противоположных концах кабинета. Скютроп, равно отдаленный от обеих, стоял торжествен и недвижим, как гроб Магомета.

— Мистер Сплин,— сказал мистер Гибель,— можете ли вы объяснить мне, каким образом оказалась здесь дочь моя Селинда?

— Я знаю не более,— отвечал мистер Сплин,— чем Великий Могол.

— Мистер Скютроп,— сказал мистер Гибель,— как оказалась здесь моя дочь?

— Я не знал, сэр, что это ваша дочь.

— Но как оказалась она здесь?

— В итоге перемещенья в пространстве.

— Селинда,— спросил мистер Гибель.— Что все это значит?

— Право же, я сама не знаю, сэр.

— Ничего не пойму. Когда в Лондоне я сказал, что присмотрел тебе мужа, ты сочла за благо сбежать от него, но, по всей видимости, сбежала к нему.

— Как, сэр? Это и есть ваш выбор?

— Именно; если и твой, мы впервые в жизни придем к соглашению.

— Я не выбирала его. Все права у этой дамы. Я его отвергаю.

— И я отвергаю его,— сказала Марионетта.

Скютроп не знал, как быть. И думать нечего было пытаться умиловить одну, не прогневав безвозвратно другую: а обе ему так нравились, что самая мысль лишиться навеки общества любой приводила его в отчаяние; а потому он спасался за испытанным покровом тайны; хранил загадочное молчанье; и довольствовался тем, что украдкой бросал искательные взоры то на один, то на другой свой предмет. Мистер Гибель и мистер Пикник тем временем требовали объяснения от мистера Сплина, который, как думали они, их обоих водил за нос. Тщетно пытался мистер Сплин убедить их в совершенной своей невинности. Миссис Пикник старалась примирить своего мужа со своим братом. Его сиятельство мистер Лежебок, его преподобие мистер Горло, мистер Флоски, мистер Астериас и Водолей, привлеченные шумом, поспешили к месту происшествия, и на них посыпались отдельные и общие возгласы сторон. Разнообразнейшие вопросы и ответы *en masse*¹ составили *charivari*², коему подобающий аккомпанемент мог бы сочинить разве гений Россини, и продолжалось это до тех пор, покуда миссис Пикник и мистер Гибель не увели пленных дев. За ними последовали остальные, исключая Скютропа, который бросился в кресло, положил левую ногу на правое колено, взялся левой рукой за левую лодыжку, оперся

¹ во множестве, целиком (фр.)

² кошачий концерт, гам, кавардак (фр.).

правым локтем о подлокотник, упер большой палец правой руки в правый висок, указательным пальцем подпер лоб, средний палец положил на переносицу, а два других сложил на ладони, устремил взор на прожилки левой руки и пребывал в этом положении подобно недвижному Тезею, каковой, как хорошо известно многим не учившимся в колледже, а кое-кому даже из тех, кто там учился, «sedet, xternumque sedebit¹». Надеемся, что любители подробностей в романах и стихах по заслугам оценят наше тщание в передаче задумчивой позы.

Глава XIV

Скютроп все еще сидел таким образом, когда вошел Ворон и объявил, что кушать подано.

— Я не могу обедать,— сказал Скютроп.

Ворон вздохнул.

— Что-то случилось,— сказал Ворон.— Но на то и рожден человек, чтобы мучиться.

— Оставь меня,— отвечал Скютроп.— Ступай каркай где-нибудь еще.

— Ну вот,— сказал Ворон.— Двадцать пять лет прожил я в Кошмарском аббатстве, и вся награда за мою верность «ступай каркай где-нибудь еще». А я-то таскал вас на спине и подкладывал вам лакомые кусочки.

— Добрый Ворон,— отвечал Скютроп.— Молю, оставь меня в покое.

— Подать обед сюда? — спросил Ворон.— При упадке духа врачи прописывают вареную курицу и стакан мадеры. Но лучше б отобедать с гостями: и так за столом почти никого.

— Почти никого? Как?

— Его сиятельство мистер Лежебок уехал. Сказал, что семейные сцены по утрам и призраки по ночам не дают ему покоя; и что нервы у него не выдержат такого напряжения. Хотя мистер Сплин ему объяснил, что призрак был бедняга Филин, а саван и кровавый тюрбан — это простыня и красный ночной колпак.

¹ сидит и вечно будет сидеть (лат.).

— Ну, ну, сэр?

— Его преподобие мистера Горло вызывали для какой-то требы, то ли женить, то ли хоронить (точно не скажу) каких-то несчастных или несчастного в Гнилистоке. Но ведь на то и рожден человек, чтобы мучиться.

— Это все?

— Нет. И мистер Гибель уехал, и странная леди тоже.

— Уехали?

— Уехали. И мистер и миссис Пикник, и мисс О'Кэррол — все уехали. Никого не осталось, только мистер Астериас с сыном, да и те сегодня уезжают.

— Значит, я потерял их обеих!

— Обедать выйдете?

— Нет.

— Прикажете принести обед?

— Да.

— Что прикажете подать?

— Стакан портвейну и пистолет.

— Пистолет?

— И стакан портвейну. Я уйду, как Вертер. Ступай. Погоди. Мисс О'Кэррол мне ничего не передавала?

— Ничего.

— Мисс Гибель ничего не передавала?

— Эта странная леди-то? Ничего.

— И ни одна не плакала?

— Нет.

— А что же они делали?

— Ничего.

— А что говорил мистер Гибель?

— Говорил пятьдесят раз кряду, что к нам якобы сошел дьявол.

— И они уехали?

— Да. А обед совсем простыл. Всему свое время. Можно бы сперва отобедать, а потом уж мучиться.

— Правда, Ворон. В этом что-то есть. Последую-ка я твоему совету: значит, принеси...

— Портвейн и пистолет?

— Нет: вареную курицу и мадеру.

Скютроп обедал и одиноко потягивал мадеру, погружаясь в унылые мечты, когда к нему вошел мистер Сплин, сопровождаемый Вороном, который, поставя на стол

еще стакан и пододвинув стул мистеру Сплину, тотчас удалился. Мистер Сплин сел против Скютропа. Каждый молча налил и осушил свой стакан, после чего мистер Сплин начал:

— Н-да, сэр, отличная игра! Я предлагаю тебя в мужья мисс Гибель; ты ее отвергаешь. Мистер Гибель предлагает тебя ей. Она тебя отвергает. Ты влюбляешься в Марионетту и готов отравиться, когда, блюдя интересы собственного сына, я не даю тебе благословенья. Ну а когда я даю свое согласие, ты убеждаешь меня не торопиться. И в довершение всего я обнаруживаю, что вы с мисс Гибель живете вместе в башне, как обрученная парочка. Итак, сэр, если всей этой чуши есть хоть какое-то разумное объяснение, я буду премного тебе обязан даже за самые скромные сведения.

— Объяснение, сэр, не так уж важно; но если угодно, я оставляю вам его в письменной форме. Участь моя решена: мир — подмости, и мне предстоит уход за кулисы.

— Не говорите так, сэр. Не говори так, Скютроп. Чего ты хочешь?

— Мне нужна моя любовь.

— Но господи, сэр, кто же это?

— Селинда... Марионетта... любая... обе.

— Обе! В немецкой трагедии это бы сошло; и Великий Могол, верно, счел бы это весьма возможным в иных предместьях Лондона; но в Линкольншире это не у места. Хочешь жениться на мисс Гибель?

— Да.

— И отказаться от Марионетты?

— Нет.

— Но от одной-то надо отказаться.

— Не могу.

— Но ты не можешь и жениться на обеих. Что же делать?

— Я должен застрелиться.

— Не говори так, Скютроп. Будь умницей, милый Скютроп. Подумай хорошенько и сделай холодный, спокойный выбор, а я уж ради тебя не пожалею сил.

— Как же мне выбирать, сэр? Обе мне отказали. Ни одна не оставила надежды.

— Скажи только, кого из них ты хочешь, и я уж ради тебя постараюсь.

— Хорошо, сэр... я хочу... нет, сэр, я ни от одной не могу отказаться. Я ни одну не могу выбрать. Я обречен быть вечной жертвой разочарований; и у меня нет иного выхода, кроме пистолета.

— Скютроп... Скютроп... А если одна из них вернется, что тогда?

— Это, сэр, могло бы изменить дело. Но это невозможно.

— Нет, это возможно, Скютроп; ты увидишь. Обещаю тебе, все так и будет. Потерпи немного. С неделю. И все обойдется.

— Неделя, сэр, целая вечность. Но ради вас, сэр, в последний раз исполняя сыновний долг, я даю вам слово, что проживу еще неделю. Сейчас у нас вечер четверга, двадцать пять минут восьмого. В это самое время, минута в минуту, в следующий четверг либо мне улыбнутся любовь и счастье, либо я выпью последний стакан портвейна в этой жизни.

Мистер Сплин приказал подать бричку и отбыл из аббатства.

Глава XV

В тот день, когда уехал мистер Сплин, не переставая лил дождь, и Скютроп сожалел о данном слове. На другой день сияло солнце, он сидел на террасе, читал трагедию Софокла, и когда вечером Ворон объявил, что кушать подано, не очень огорчился, обнаружив себя в живых. На третий день дул ветер, лил проливной дождь и сова билась об его окна; и он насыпал еще порошу на полку. На четвертый день опять светило солнце; и он запер пистолет в ящик стола, где и пролежал он нетронутым до рокового четверга, когда Скютроп поднялся на башенную крышу и, вооружась подозрительной трубой, нетерпеливо всматривался в дорогу, идущую через болота от Гнилистока; но дорога была пустыня. Так следил он за нею с десяти часов утра до тех пор, пока Ворон в пять часов не призвал его к обеду; и, поставив на крыше Филина с подозрительной трубой, он побрел на собственные поминки. Он поддерживал связь с крышей и то и дело громко кричал Филину:

— Филин, Филин, не показался ли кто на дороге?

Филин отвечал:

— Ветер веет, мельницы кружатся, но никого нет на дороге.

И после каждого такого ответа Скютропу приходилось поддерживать свой дух бокалом вина. Отобедав, он дал Ворону свои часы, чтоб тот сверил их с башенными. Ворон принес часы, Скютроп поставил их на стол, и Ворон удалился. Скютроп снова крикнул Филина; и Филин, успевший вздремнуть, спросонья отвечал:

— Никого нет на дороге.

Скютроп положил пистолет между часами и бутылкой. Маленькая стрелка прошла мимо семерки, большая двигалась неуклонно; оставалось три минуты до рокового часа. Скютроп снова крикнул Филина. Филин отвечал все то же. Скютроп позвонил в колокольчик. Ворон явился.

— Ворон,— сказал Скютроп,— часы спешат.

— Да что вы,— отвечал Ворон, ничего не ведавший о намерениях Скютропа.— Отстают — это еще куда ни шло.

— Болван! — сказал Скютроп, наставив на него пистолет.— Они спешат.

— Да... да... я и говорю: спешат,— сказал Ворон в явственном страхе.

— На сколько они спешат? — спросил Скютроп.

— На сколько хотите,— отвечал Ворон.

— На сколько, спрашиваю? — повторил Скютроп, снова наставив на него пистолет.

— На час, на час целый, сэр,— проговорил перепуганный дворецкий.

— Переведи на час мои часы,— сказал Скютроп.

Когда Ворон дрожащею рукой переводил часы, послышался стук колес; и Скютроп, прыгая через три ступеньки, сразу добежал до двери как раз вовремя, чтоб высадить из экипажа любую из юных леди в случае, если б она там оказалась; но мистер Сплин был один.

— Рад тебя видеть,— сказал мистер Сплин,— я боялся не поспеть, потому что ждал до последней минуты в надежде выполнить мое обещание; но все мои труды остались тщетны, как покажут тебе эти письма.

Скютроп в нетерпении сломал печати.

Письма гласили следующее:

«Почти чужестранка в Англии, я бежала от гнета родительского и угрозы насильственного брака под покровительство философа и незнакомца, в котором надеялась я обрести нечто лучшее или, по крайней мере, отличное от его ничтожных собратий. Не вправе ли я была после всего случившегося ждать от вас большего, нежели ваша пошлая дерзость — послать отца для торгов со мною обо мне? Сердце мое не много бы смягчилось, поверь я, что вы способны исполнить решение, которое, как говорит отец ваш, приняли вы на случай, если я останусь непреклонна; правда, у меня нет сомнений в том, что хотя бы отчасти вы исполните его и выпьете стакан вина — и даже дважды. Желаю вам счастья с мисс О'Кэррол. Я навсегда сохраню в душе благодарную память о Кошмарском аббатстве, где мне привелось встретиться с умом подлинно трансцендентальным; и хоть он немного старше меня, что в Германии вовсе не важно, я в очень скором времени буду иметь удовольствие подписываться —

Селинда Флоски».

«Надеюсь, милый кузен, что вы на меня не рассердитесь и всегда будете думать обо мне как об искреннем друге, равнодушном к судьбе вашей; я уверена, что мисс Гибель вам куда дороже меня, и желаю вам с нею счастья. Мистер Лежебок уверяет меня, что нынче уж от любви не стреляются, хоть говорить про это все еще модно. Очень скоро изменятся мое имя и положение, и я рада буду видеть вас в Беркли Сквере, когда к неизменному обозначению кухни вашей я смогу прибавить подпись —

Марионетта Лежебок».

Скютроп разорвал оба письма в клочки и в хорошо подобранных выражениях обрушился на женское непостоянство.

— Успокойся, милый Скютроп,— сказал мистер Сплин,— есть и еще девушки в Англии.

— Ваша правда, сэр,— ответил Скютроп.

— И в другой раз,— сказал мистер Сплин,— гонись за одним зайцем.

— Отличный совет, сэр,— промолвил Скютроп.

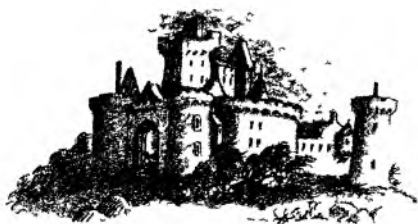
— К тому же,— заметил мистер Сплин,— роковой час миновало, ибо уже почти восемь.

— Значит, этот злодей Ворон,— сказал Скютроп,— обманывал меня, когда утверждал, будто часы спешат; однако, как вы совершенно справедливо заметили, время миновало, и я как раз подумал, что неудачи в любви готовят мне большие успехи по части мизантропии; и следственно, я вполне могу надеяться, что стану человеком замечательным. Но вызову-ка я мошенника Ворона да распеку его.

Ворон явился. Скютроп свирепо смотрел на него две-три минуты; и Ворон, памятуя о пистолете, дрожал от немых предчувствий до тех пор, пока Скютроп, важно указывая в направлении столовой, не произнес:

— Подай сюда мадеры.





Оскар Уайльд

КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ

Материально-идеалистическая
история

•



Глава I



Когда мистер Хайрам Б. Отис, американский посол, решил купить Кентервильский замок, все уверяли его, что он делает ужасную глупость,— было достоверно известно, что в замке обитает привидение.

Сам лорд Кентервиль, человек донельзя щепетильный, даже когда дело касалось суших пустяков, не преминул при составлении купчей предупредить мистера Отиса.

— Нас как-то не тянуло в этот замок,— сказал лорд Кентервиль,— с тех пор как с моей двоюродной бабкой, вдовствующей герцогиней Болтон, случился нервный припадок, от которого она так и не оправилась. Она переодевалась к обеду, и вдруг ей на плечи опустились две костлявые руки. Не скрою от вас, мистер Отис, что привидение это являлось также многим ныне здравствующим членам моего семейства. Его видел и наш приходский священник, преподобный Огастес Дэмпир, магистр Королевского колледжа в Кембридже. После этой неприятности с герцогиней вся младшая прислуга ушла от нас, а леди Кентервиль совсем лишилась сна: каждую ночь ей слышались какие-то непонятные шорохи в коридоре и библиотеке.

— Что ж, милорд,— ответил посол,— пусть привидение идет вместе с мебелью. Я приехал из передовой страны, где есть все, что можно купить за деньги. К тому же молодежь у нас бойкая, способная перевернуть весь ваш Старый Свет. Наши молодые люди увозят от вас лучших актрис и оперных примадонн. Так что, заведись в Европе хоть одно привидение, оно мигом очутилось бы у нас в каком-нибудь музее или в разъездном паноптикуме.

— Боюсь, что кентервильское привидение все-таки существует,— сказал, улыбаясь, лорд Кентервиль,— хоть оно, возможно, и не соблазнилось предложениями ваших предприимчивых импресарио. Оно пользуется известностью добрых триста лет,— точнее сказать, с тысяча пятьсот восемьдесят четвертого года,— и неизменно появляется незадолго до кончины кого-нибудь из членов нашей семьи.

— Обычно, лорд Кентервиль, в подобных случаях приходит домашний врач. Никаких привидений нет, сэр,

и законы природы, смею думать, для всех одни — даже для английской аристократии.

— Вы, американцы, еще так близки к природе! — отозвался лорд Кентервиль, видимо, не совсем уразумев последнее замечание мистера Отиса. — Что ж, если вас устроит дом с привидением, то все в порядке. Только не забудьте, я вас предупредил.

Несколько недель спустя была подписана купчая, и по окончании лондонского сезона посол с семьей переехал в Кентервильский замок. Миссис Отис, которая в свое время — еще под именем мисс Лукреция Р. Тэппен с 53-й Западной улицы — славилась в Нью-Йорке своей красотой, была теперь дамой средних лет, все еще весьма привлекательной, с чудесными глазами и точеным профилем. Многие американки, покидая родину, принимают вид хронических больных, считая это одним из признаков европейской утонченности, но миссис Отис этим не грешила. Она обладала великолепным телосложением и совершенно фантастическим избытком энергии. Право, ее нелегко было отличить от настоящей англичанки, и ее пример лишний раз подтверждал, что теперь у нас с Америкой все одинаковое, кроме, разумеется, языка. Старший из сыновей, которого родители в порыве патриотизма окрестили Вашингтоном, — о чем он всегда сожалел, — был довольно красивый молодой блондин, обещавший стать хорошим американским дипломатом, поскольку он три сезона подряд дирижировал немецкой кадрилию в казино Ньюпорта и даже в Лондоне заслужил репутацию превосходного танцора. Он питал слабость к гардениям и геральдике, отличаясь во всем остальном совершенным здравомыслием. Мисс Вирджинии Е. Отис шел шестнадцатый год. Это была стройная девочка, грациозная, как лань, с большими, ясными голубыми глазами. Она прекрасно ездила на пони и, уговорив однажды старого лорда Билтона проскакать с ней два раза наперегонки вокруг Гайд-парка, на полтора корпуса обошла его у самой статуи Ахиллеса; этим она привела в такой восторг юного герцога Чеширского, что он немедленно сделал ей предложение и вечером того же дня, весь в слезах, был отослан своими опекунами обратно в Итон. В семье было еще двое близнецов, моложе Вирджинии, которых прозвали «Звезды и полосы», поскольку их без конца пороли.

Поэтому милые мальчики были, не считая почтенного посла, единственными убежденными республиканцами в семье.

От Кентервильского замка до ближайшей железнодорожной станции в Аскоте целых семь миль, но мистер Отис заблаговременно телеграфировал, чтобы им выслали экипаж, и семья двинулась к замку в отличном расположении духа.

Был прекрасный июльский вечер, и воздух был напоен теплым ароматом соснового леса. Изредка до них доносилось нежное воркование лесной горлицы, упивавшейся своим голосом, или в шелестящих зарослях папоротника мелькала пестрая грудь фазана. Крошечные белки поглядывали на них с высоких буков, а кролики прятались в низкой поросли или, задрав белые хвостики, улепетывали по мшистым кочкам. Но не успели они въехать в аллею, ведущую к Кентервильскому замку, как небо вдруг заволокло тучами, и странная тишина сковала воздух. Молча пролетела у них над головой огромная стая галок, и, когда они подъезжали к дому, большими редкими каплями начал накрапывать дождь.

На крыльце их поджидала опрятная старушка в черном шелковом платье, белом чепце и переднике. Это была миссис Амни, домоправительница, которую миссис Отис, по настоятельной просьбе леди Кентервиль, оставила в прежней должности. Она низко присела перед каждым из членов семьи и церемонно, по-старинному, промолвила:

— Добро пожаловать в замок Кентервилей!

Они вошли вслед за нею в дом и, миновав настоящий тюдоровский холл, очутились в библиотеке — длинной и низкой комнате, обшитой черным дубом, с большим витражом против двери. Здесь уже все было приготовлено к чаю. Они сняли плащи и шали и, усевшись за стол, принялись, пока миссис Амни разливала чай, разглядывать комнату.

Вдруг миссис Отис заметила потемневшее от времени красное пятно на полу, возле камина, и, не понимая, откуда оно взялось, спросила миссис Амни:

— Наверно, здесь что-то пролили?

— Да, сударыня, — ответила старая экономка шепотом, — здесь пролилась кровь.

— Какой ужас! — воскликнула миссис Отис. — Я не желаю, чтобы у меня в гостиной были кровавые пятна. Пусть его сейчас же смоят!

Старушка улыбнулась и ответила тем же таинственным шепотом:

— Вы видите кровь леди Элеоноры Кентервиль, убиенной на этом самом месте в тысяча пятьсот семьдесят пятом году супругом своим сэром Симоном де Кентервиль. Сэр Симон пережил ее на девять лет и потом вдруг исчез при весьма загадочных обстоятельствах. Тело его так и не нашли, но грешный дух его доныне бродит по замку. Туристы и прочие посетители замка с неизменным восхищением осматривают это вечное, несмываемое пятно.

— Что за глупости! — воскликнул Вашингтон Отис. — Непревзойденный Пятновыводитель и Образцовый Очиститель Пинкертон уничтожит его в одну минуту.

И не успела испуганная экономка помешать ему, как он, опустившись на колени, принялся тереть пол маленькой черной палочкой, похожей на губную помаду. Меньше чем в минуту от пятна и следа не осталось.

— «Пинкертон» не подведет! — воскликнул он, обернувшись с торжеством к восхищенному семейству. Но не успел он это досказать, как яркая вспышка молнии озарила полутемную комнату, оглушительный раскат грома заставил всех вскочить на ноги, а миссис Амни лишилась чувств.

— Какой отвратительный климат, — спокойно заметил американский посол, закуривая длинную сигару с обрезанным концом. — Наша страна-прародительница до того перенаселена, что даже приличной погоды на всех не хватает. Я всегда считал, что эмиграция — единственное спасение для Англии.

— Дорогой Хайрам, — сказала миссис Отис, — как быть, если она чуть что примется падать в обморок?

— Удержи у нее разок из жалованья, как за битье посуды, — ответил посол, — и ей больше не захочется.

И правда, через две-три секунды миссис Амни вернулась к жизни. Впрочем, как нетрудно было заметить, она не вполне еще оправилась от пережитого потрясения и с торжественным видом объявила мистеру Отису, что его дому грозит беда.

— Сэр,— сказала она,— мне доводилось видеть такое, от чего у всякого христианина волосы встанут дыбом, и ужасы здешних мест много ночей не давали мне смежить век.

Но мистер Отис и его супруга заверили почтенную особу, что они не боятся привидений, и, призвав благословенье божье на своих новых хозяев, а также намекнув, что неплохо бы прибавить ей жалованье, старая домоправительница нетвердыми шагами удалилась в свою комнату.

Глава II

Всю ночь бушевала буря, но ничего особенного не случилось. Однако, когда на следующее утро семья сошла к завтраку, все снова увидели на полу ужасное кровавое пятно.

— В Образцовом Очистителе сомневаться не приходится,— сказал Вашингтон.— Я его на чем только не пробова. Видно, здесь и в самом деле поработало привидение.

И он снова вывел пятно, а наутро оно появилось на прежнем месте. Оно было там и на третье утро, хотя накануне вечером мистер Отис, прежде чем уйти спать, самолично запер библиотеку и забрал с собою ключ. Теперь вся семья была занята привидениями. Мистер Отис стал подумывать, не проявил ли он догматизма, отрицая существование духов; миссис Отис высказала намеренье вступить в общество спиритов, а Вашингтон сочинил длинное письмо господам Майерс и Подмор касательно долговечности кровавых пятен, порожденных преступлением. Но если и оставались у них какие-либо сомнения в реальности призраков, они в ту же ночь рассеялись навсегда.

День был жаркий и солнечный, и с наступлением вечерней прохлады семейство отправилось на прогулку. Они вернулись домой лишь к девяти часам и сели за легкий ужин. О привидениях даже речи не заходило, так что все присутствующие отнюдь не были в том состоянии повышенной восприимчивости, которое так часто предшествует ма-

териализации духов. Говорили, как потом мне рассказал мистер Отис, о чем всегда говорят просвещенные американцы из высшего общества. о бесспорном превосходстве мисс Фанни Давенпорт как актрисы над Сарой Бернар; о том, что даже в лучших английских домах не подают кукурузы, гречневых лепешек и мамалыги; о значении Бостона для формирования мировой души; о преимуществах билетной системы для провоза багажа по железной дороге; о приятной мягкости нью-йоркского произношения по сравнению с тягучим лондонским говором. Ни о чем сверхъестественном речь не шла, а о сэре Симоне де Кентервиле никто даже не заикнулся. В одиннадцать вечера семья ушла на покой, и полчаса спустя в доме погасили свет. Очень скоро, впрочем, мистер Отис проснулся от непонятных звуков в коридоре у него за дверью. Ему почудилось, что он слышит — с каждой минутой все отчетливей — скрежет металла. Он встал, чиркнул спичку и взглянул на часы. Был ровно час ночи. Мистер Отис оставался совершенно невозмутимым и пощупал свой пульс, ритмичный, как всегда. Странные звуки не умолкали, и мистер Отис теперь уже явственно различал звук шагов. Он сунул ноги в туфли, достал из несессера какой-то продолговатый флакончик и открыл дверь. Прямо перед ним в призрачном свете луны стоял старик ужасного вида. Глаза его горели, как раскаленные угли, длинные седые волосы патлами ниспадали на плечи, грязное платье старинного покроя было все в лохмотьях, с рук его и ног, закованных в кандалы, свисали тяжелые ржавые цепи.

— Сэр,— сказал мистер Отис,— я вынужден настоятельно просить вас смазывать впредь свои цепи. С этой целью я захватил для вас пузырек машинного масла «Восходящее солнце демократической партии». Желаемый эффект после первого же употребления. Последнее подтверждают наши известнейшие священнослужители, в нем вы можете самолично удостовериться, ознакомившись с этикеткой. Я оставляю бутылочку на столике около канделябра и почту за честь снабжать вас вышеозначенным средством по мере надобности.

С этими словами посол Соединенных Штатов поставил флакон на мраморный столик и, закрыв за собой дверь, улегся в постель.

Кентервильское привидение так и замерло от возмущения. Затем, хватив в гнев бутылку о паркет, оно ринулось по коридору, излучая зловещее зеленое сияние и глухо стеновая. Но едва оно ступило на верхнюю площадку широкой дубовой лестницы, как из распахнувшейся двери выскочили две белые фигурки, и огромная подушка просвистела у него над головой. Времени терять не приходилось и, прибегнув спасения ради к четвертому измерению, дух скрылся в деревянной панели стены. В доме все стихло.

Добравшись до потайной каморки в левом крыле замка, привидение прислонилось к лунному лучу и, немного отдышавшись, начало обдумывать свое положение. Ни разу за всю его славную и безупречную трехсотлетнюю службу его так не оскорбляли. Дух вспомнил о вдовствующей герцогине, которую насмерть напугал, когда она смотрелась в зеркало, вся в кружевах и бриллиантах; о четырех горничных, с которыми случилась истерика, когда он всего-навсего улыбнулся им из-за портьеры в спальне для гостей; о приходском священнике, который до сих пор лечится у сэра Уильяма Галла от нервного расстройства, потому что однажды вечером, когда он выходил из библиотеки, кто-то задул у него свечу; о старой мадам де Тремуйяк, которая, проснувшись как-то на рассвете и увидав, что в кресле у камина сидит скелет и читает ее дневник, слегла на шесть недель с воспалением мозга, примирилась с церковью и решительно порвала с известным скептиком мосье де Вольтером. Он вспомнил страшную ночь, когда злокозненного лорда Кентервиля нашли задыхающимся в гардеробной с бубновым валетом в горле. Умирая, старик сознался, что с помощью этой карты он обыграл у Крокфорда Чарлза Джеймса Фокса на пятьдесят тысяч фунтов и что эту карту ему засунуло в глотку кентервильское привидение. Он припомнил каждую из жертв своих великих деяний, начиная с дворецкого, который застрелился, едва зеленая рука постучалась в окно буфетной, и кончая прекрасной леди Статфилд, которая вынуждена была всегда носить на шее черную бархатку, чтобы скрыть отпечатки пяти пальцев, оставшиеся на ее белоснежной коже. Она потом утопилась в пруду, знаменитом своими карпами, в конце Королевской аллеи. Охваченный тем чувством самопоения, какое ведомо всякому истинному

художнику, он перебирал в уме свои лучшие роли, и горькая улыбка кривила его губы, когда он вспоминал последнее свое выступление в качестве Красного Рабена, или Младенца-удавленника, свой дебют в роли Джибона Кожа да кости, или Кровопийцы с Бекслейской Топи; припомнил и то, как потряс зрителей всего-навсего тем, что приятным июньским вечером поиграл в кегли своими костями на площадке для лаун-тенниса.

И после всего этого заявляются в замок эти мерзкие нынешние американцы, навязывают ему машинное масло и швыряют в него подушками! Такое терпеть нельзя! История не знала примера, чтоб так обходились с привидением. И он замыслил месть и до рассвета оставался недвижим, погруженный в раздумье.

Исуса III

На следующее утро, за завтраком, Отисы довольно долго говорили о привидении. Посол Соединенных Штатов был немного задет тем, что подарок его отвергли.

— Я не собираюсь обижать привидение,— сказал он,— и я не могу в данной связи умолчать о том, что крайне невежливо швырять подушками в того, кто столько лет обитал в этом доме.— К сожалению, приходится добавить, что это абсолютно справедливое замечание близнецы встретили громким хохотом.— Тем не менее,— продолжал посол,— если дух проявит упорство и не пожелает воспользоваться машинным маслом «Восходящее солнце демократической партии», придется расковать его. Невозможно спать, когда так шумят у тебя под дверью.

Впрочем, до конца недели их больше не потревожили, только кровавое пятно в библиотеке каждое утро вновь появлялось на всеобщее обозрение. Объяснить это было непросто, ибо дверь с вечера запирали сам мистер Отис, а окна закрывались ставнями с крепкими засовами. Хамелеоноподобная природа пятна тоже требовала объяснения. Иногда оно было темно-красного цвета, иногда киноварного, иногда пурпурного, а однажды, когда они сошли вниз для семейной молитвы по упрощенному ритуалу Свободной американской реформатской еписко-

пальной церкви, пятно оказалось изумрудно-зеленым. Эти калейдоскопические перемены, разумеется, очень забавляли семейство, и каждый вечер заключались пари в ожидании утра. Только маленькая Вирджиния не участвовала в этих забавах; она почему-то всякий раз огорчалась при виде кровавого пятна, а в тот день, когда оно стало зеленым, чуть не расплакалась.

Второй выход духа состоялся в ночь на понедельник. Семья только улеглась, как вдруг послышался страшный грохот в холле. Когда перепуганные обитатели замка сбежали вниз, они увидели, что на полу валяются большие рыцарские доспехи, упавшие с пьедестала, а в кресле с высокой спинкой сидит кентервильское привидение и, морщась от боли, потирает себе колени. Близнецы с меткостью, которая приобретается лишь долгими и упорными упражнениями на особе учителя чистогисания, тотчас же выпустили в него по заряду из своих рогаток, а посол Соединенных Штатов прицелился из револьвера и, по калифорнийскому обычаю, скомандовал «руки вверх!». Дух вскочил с бешеным воплем и туманом пронесся меж них, потушив у Вашингтона свечу и оставив всех во тьме крошечной. На верхней площадке он немного отдышался и решил разразиться своим знаменитым дьявольским хохотом, который не раз приносил ему успех. Говорят, от него за ночь поседел парик лорда Рейкера, и этот хохот, несомненно, был причиной того, что три французских гувернантки леди Кентервиль заявили об уходе, не прослужив в доме и месяца. И он разразился самым своим ужасным хохотом, так что отдались звонким эхом старые своды замка. Но едва смолкло страшное эхо, как растворилась дверь, и к нему вышла миссис Отис в бледно-голубом капоте.

— Боюсь, вы расхворались,— сказала она.— Я принесла вам микстуру доктора Добелла. Если вы страдаете несварением желудка, она вам поможет.

Дух метнул на нее яростный взгляд и приготовился обернуться черной собакой — талант, который принес ему заслуженную славу и воздействием коего домашний врач объяснил неизлечимое слабоумие дяди лорда Кентервиля, почтенного Томаса Хортон. Но звук приближающихся шагов заставил его отказаться от этого намерения. Он удовольствовался тем, что стал слабо фосфоресциро-

вать, и в тот момент, когда его уже настигли близнецы, успел, исчезая, испустить тяжелый кладбищенский стон.

Добравшись до своего убежища, он окончательно потерял самообладание и впал в жесточайшую тоску. Невоспитанность близнецов и грубый материализм миссис Отис крайне его шокировали; но больше всего его огорчило то, что ему не удалось облечься в доспехи. Он полагал, что даже нынешние американцы почувствуют робость, узрев привидение в доспехах, — ну хотя бы из уважения к своему национальному поэту Лонгфелло, над изящной и усладительной поэзией которого он просиживал часами, когда Кентервилли переезжали в город. К тому же это были его собственные доспехи. Он очень мило выглядел в них на турнире в Кенильворте и удостоился тогда чрезвычайно лестной похвалы от самой королевы-девственницы. Но теперь массивный нагрудник и стальной шлем оказались слишком тяжелы для него, и, надев доспехи, он рухнул на каменный пол, разбив колени и пальцы правой руки.

Он не на шутку занемог и несколько дней не выходил из комнаты, — разве что ночью, для поддержания в должном порядке кровавого пятна. Но благодаря умелому самоврачеванию он скоро поправился и решил, что в третий раз попробует напугать посла и его домочадцев. Он наметил себе пятницу семнадцатого августа и в канун этого дня допоздна перебирал свой гардероб, остановив наконец выбор на высокой широкополой шляпе с красным пером, саване с рюшками у ворота и на рукавах и заржавленном кинжале. К вечеру начался ливень, и ветер так бушевал, что все окна и двери старого дома ходили ходуном. Впрочем, подобная погода была как раз по нем. План его был таков: первым делом он тихонько проберется в комнату Вашингтона Отиса и постоит у него в ногах, бормоча себе что-то под нос, а потом под звуки заунывной музыки трижды пронзит себе горло кинжалом. К Вашингтону он испытывал особую неприязнь, так как прекрасно знал, что именно он взял в обычай стирать знаменитое Кентервильское Кровавое Пятно Образцовым Пинкертоновским Очистителем. Доведя этого безрассудного и непочтительного юнца до полной прострации, он проследует затем в супружескую опочивальню посла Соединенных Штатов и возложит покрытую холодным потом руку на лоб миссис

Отис, нашептывая тем временем ее трепещущему мужу страшные тайны склепа. Насчет маленькой Вирджинии он пока ничего определенного не придумал. Она ни разу его не обидела и была красивой и доброй девочкой. Здесь можно обойтись несколькими глухими стонами из шкафа, а если она не проснется, он подвергает дрожащими скрюченными пальцами ее одеяло. А вот близнецов он проучит как следует. Перво-наперво он усядется им на грудь, чтобы они заматались от привидевшихся кошмаров, а потом, поскольку их кровати стоят почти рядом, застынет между ними в образе холодного, позеленевшего трупа и будет так стоять, пока они не омертвеют от страха. Тогда он сбросит саван и, обнажив свои белые кости, примется расхаживать по комнате, вращая одним глазом, как полагается в роли Безгласого Даниила, или Скелета-самоубийцы. Это была очень сильная роль, ничуть не слабее его знаменитого Безумного Мартина, или Сокрытой Тайны, и она не раз производила сильное впечатление на зрителей.

В половине одиннадцатого он догадался по звукам, что вся семья отправилась на покой. Ему еще долго мешали дикие взрывы хохота,— очевидно, близнецы с беспечностью школьников резвились перед тем, как отойти ко сну,— но в четверть двенадцатого в доме воцарилась тишина, и, только пробило полночь, он вышел на дело. Совы бились о стекла, ворон каркал на старом тисовом дереве, и ветер блуждал, стеля, словно неприкаянная душа, вокруг старого дома. Но Отисы спокойно спали, не подозревая ни о чем, и храп посла заглушал дождь и бурю. Дух со злобной усмешкой на сморщенных устах осторожно вышел из панели. Луна сокрыла свой лик за тучей, когда он крался мимо окна с фонарем, на котором золотом и лазурью были выведены его герб и герб убитой им жены. Все дальше скользил он зловещей тенью; мгла ночная и та, казалось, взирала на него с отвращением.

Вдруг ему почудилось, что кто-то окликнул его, и он замер на месте, но это только собака залаяла на Красной ферме. И он продолжал свой путь, бормоча никому теперь не понятные ругательства XVI века и размахивая в воздухе заржавленным кинжалом. Наконец он добрался до поворота, откуда начинался коридор, ведущий в комнату злосчастного Вашингтона. Здесь он переждал немного.

Ветер развевал его седые космы и свертывал в неопишимо ужасные складки его могильный саван. Пробило четверть, и он почувствовал, что время настало. Он самодовольно хихикнул и повернул за угол; но едва он ступил шаг, как отшатнулся с жалостным воплем и закрыл побледневшее лицо длинными костлявыми руками. Прямо перед ним стоял страшный призрак, недвижимый, точно изваяние, чудовищный, словно бред безумца. Голова у него была лысая, гладкая, лицо толстое, мертвенно-бледное; гнусный смех свел черты его в вечную улыбку. Из глаз его струились лучи алого света, рот был как широкий огненный колодец, а безобразная одежда, так похожая на его собственную, белоснежным саваном окутывала могучую фигуру. На груди у призрака висела доска с непонятной надписью, начертанной старинными буквами. О страшном позоре, должно быть, вещала она, о грязных пороках, о диких злодействах. В поднятой правой руке его был зажат меч из блестящей стали.

Никогда доселе не видав привидений, дух Кентервиля, само собой разумеется, ужасно перепугался и, взглянув еще раз краешком глаза на страшный призрак, кинулся восвояси. Он бежал, не чуя под собою ног, путаясь в складках савана, а заржавленный кинжал уронил по дороге в башмак посла, где его поутру нашел дворецкий. Добравшись до своей комнаты и почувствовав себя в безопасности, дух бросился на свое жесткое ложе и спрятал голову под одеяло. Но скоро в нем проснулась бывлая кентервильская отвага, и он решил, как только рассветет, пойти и заговорить с другим привидением. И едва заря окрасила холмы серебром, он вернулся туда, где встретил ужасный призрак. Он понимал, что, в конце концов, чем больше привидений, тем лучше, и надеялся с помощью нового сотоварища управиться с близнецами. Но когда он очутился на прежнем месте, страшное зрелище открылось его взору. Видно, что-то недоброе стряслось с призраком. Свет потух в его пустых глазницах, блестящий меч выпал у него из рук, и весь он как-то неловко и неестественно опирался о стену. Дух Кентервиля подбежал к нему, обхватил его руками, как вдруг — о, ужас! — голова покатилась по полу, туловище переломилось пополам, и он увидел, что держит в объятиях кусок белого полога, а у ног его валяются метла, кухонный нож и пустая тыква. Не зная, чем объяс-

нить это странное превращение, он дрожащими руками поднял доску с надписью и при сером утреннем свете разобрал такие страшные слова:

ДУХ ФИРМЫ ОТИС

Единственный подлинный и оригинальный призрак!

Остерегайтесь подделок!

Все остальные — не настоящие!

Ему стало все ясно. Его обманули, перехитрили, провели! Глаза его зажглись прежним кентервильским огнем: он заскрежетал беззубыми деснами и, воздев к небу изможденные руки, поклялся, следуя лучшим образцам старинной стилистики, что, не успеет Шантеклер дважды протрубить в свой рог, как свершатся кровавые дела и убийство неслышным шагом пройдет по этому дому.

Едва он произнес эту страшную клятву, как вдалеке с красной черепичной крыши прокричал петух. Дух залился долгим, глухим и злым смехом и стал ждать. Много часов прождал он, но петух почему-то больше не запел. Наконец около половины восьмого шаги горничных вывели его из оцепенения, и он вернулся к себе в комнату, горя о несбывшихся планах и напрасных надеждах. Там, у себя, он просмотрел несколько самых своих любимых книг о старинном рыцарстве и узнал из них, что всякий раз, когда произносилась эта клятва, петух пел дважды.

— Да сгубит смерть бессовестную птицу! — забормotal он. — Настанет день, когда мое копье в твою вонзится трепетную глотку и я услышу твой предсмертный хрип.

Потом он улегся в удобный свинцовый гроб и оставался там до темноты.

Глава IV

Наутро дух чувствовал себя совсем разбитым. Начинало сказываться огромное напряжение целого месяца. Его нервы были вконец расшатаны, он вздрагивал от малейшего шороха. Пять дней он не выходил из комнаты и наконец

махнул рукой на кровавое пятно. Если оно не нужно Отисам, значит, они недостойны его. Очевидно, они жалкие материалисты, совершенно неспособные оценить символический смысл сверхчувственных явлений. Вопрос о небесных знамениях и о фазах астральных тел был, конечно, не спорим, особой областью и, по правде говоря, находился вне его компетенции. Но его священной обязанностью было появляться еженедельно в коридоре, а в первую и третью среду каждого месяца усаживаться у окна, что выходит фонарем в парк, и бормотать всякий вздор, и он не видел возможности без урона для своей чести отказаться от этих обязанностей. И хотя земную свою жизнь он прожил безнравственно, он проявлял крайнюю добропорядочность во всем, что касалось мира потустороннего. Поэтому следующие три субботы он, по обыкновению, от полуночи до трех прогуливался по коридору, всячески заботясь о том, чтобы его не услышали и не увидели. Он ходил без сапог, стараясь, как можно легче ступать по источенному червями полу; надевал широкий черный бархатный плащ и никогда не забывал тщательнейшим образом протереть свои цепи машинным маслом «Восходящее солнце демократической партии». Ему, надо сказать, нелегко было прибегнуть к этому последнему средству безопасности. И все же как-то вечером, когда семья сидела за обедом, он пробрался в комнату к мистеру Отису и стащил бутылочку машинного масла. Правда, он чувствовал себя немного униженным, но только поначалу. В конце концов благоразумие взяло верх, и он признался себе, что изобретение это имеет свои достоинства и в некотором отношении может сослужить ему службу. Но как ни был он осторожен, его не оставляли в покое. То и дело он спотыкался в темноте о веревки, протянутые поперек коридора, а однажды, одетый для роли Черного Исаака, или Охотника из Хоглейских лесов, он поскользнулся и сильно расшибся, потому что близнецы натерли маслом пол от входа в гобеленовую залу до верхней площадки дубовой лестницы. Это так разозлило его, что он решил в последний раз стать на защиту своего попранного достоинства и своих прав и явиться в следующую ночь дерзким воспитанникам Итона в знаменитой роли Отважного Рупера, или Безголового Графа.

Он не выступал в этой роли более семидесяти лет,

с тех пор как до того напугал прелестную леди Барбару Модииш, что она отказала своему жениху, деду нынешнего лорда Кентервиля, и убежала в Гретна-Грин с красавцем Джеком Каслтоном; она заявила при этом, что ни за что на свете не войдет в семью, где считают позволительным, чтоб такие ужасные призраки разгуливали в сумерки по террасе. Бедный Джек вскоре погиб на Вондсвортском лугу от пули лорда Кентервиля, а сердце леди Барбары было разбито, и она меньше чем через год умерла в Танбридж-Уэллс,— так что это выступление в любом смысле имело огромный успех. Однако для этой роли требовался очень сложный грим,— если допустимо воспользоваться театральным термином применительно к одной из глубочайших тайн мира сверхъестественного, или, по-научному, «естественного мира высшего порядка»,— и он потратил добрых три часа на приготовления. Наконец все было готово, и он остался очень доволен своим видом. Большие кожаные ботфорты, которые полагались к этому костюму, были ему, правда, немного велики, и один из седельных пистолетов куда-то запропастился, но в целом, как ему казалось, он приоделся на славу. Ровно в четверть второго он выскользнул из панели и прокрался по коридору. Добравшись до комнаты близнецов (она, кстати сказать, называлась «Голубой спальней», по цвету обоев и портьер), он заметил, что дверь немного приоткрыта. Желая как можно эффектнее обставить свой выход, он широко распахнул ее... и на него опрокинулся огромный кувшин с водой, который пролетел на вершок от его левого плеча, промочив его до нитки. В ту же минуту он услышал взрывы хохота из-под балдахина широкой постели.

Нервы его не выдержали. Он кинулся со всех ног в свою комнату и на другой день слег от простуды. Хорошо еще, что он выходил без головы, а то не обошлось бы без серьезных осложнений. Только это его и утешало.

Теперь он оставил всякую надежду запугать этих грубиянов американцев и большей частью довольствоваться тем, что бродил по коридору в войлочных туфлях, замотав шею толстым красным шарфом, чтобы не простыть, и с маленькой аркебузой в руках на случай нападения близнецов. Последний удар был нанесен ему девятнадцатого сентября. В этот день он спустился в холл, где, как он знал, его никто не потревожит, и про себя поиздевался над сделанными у Сарони большими фотографиями посла Соединенных Штатов и его супруги, заменившими фамиль-

ные портреты Кентервилей. Одет он был просто, но аккуратно, в длинный саван, кое-где попорченный могильной плесенью. Нижняя челюсть его была подвязана желтой косынкой, а в руке он держал фонарь и заступ, какими пользуются могильщики. Собственно говоря, он был одет для роли Ионы Непогребенного, или Похитителя Трупов с Чертсейского Гумна, одного из своих лучших созданий. Эту роль прекрасно помнили все Кентервилы, и не без причины, ибо как раз тогда они поругались со своим соседом лордом Раффордом. Было уже около четверти третьего, и сколько он ни прислушивался, не слышно было ни шороха. Но когда он стал потихоньку пробираться к библиотеке, чтобы взглянуть, что осталось от кровавого пятна, из темного угла внезапно выскочили две фигурки, исступленно замахали руками над головой и завопили ему в самое ухо: «У-у-у!»

Охваченный паническим страхом, вполне естественным в данных обстоятельствах, он кинулся к лестнице, но там его подкарауливал Вашингтон с большим садовым опрыскивателем; окруженный со всех сторон врагами и буквально припертый к стенке, он юркнул в большую железную печь, которая, к счастью, не была затоплена, и по трубам пробрался в свою комнату — грязный, растерзанный, исполненный отчаяния.

Больше он не предпринимал ночных вылазок. Близнецы несколько раз устраивали на него засады и каждый вечер, к великому неудовольствию родителей и прислуги, посыпали пол в коридоре ореховой скорлупой, но все безрезультатно. Дух, по-видимому, счел себя настолько обиженным, что не желал больше выходить к обитателям дома. Поэтому мистер Отис снова уселся за свой труд по истории демократической партии, над которым работал уже много лет; миссис Отис организовала великолепный, поразивший все графство пикник на морском берегу, — все кушанья были приготовлены из моллюсков; мальчики увлеклись лакроссом, покером, юкром и другими американскими национальными играми. А Вирджиния каталась по аллеям на своем пони с молодым герцогом Чеширским, проводившим в Кентервильском замке последнюю неделю своих каникул. Все решили, что привидение от них съехало, и мистер Отис известил об этом в письменной форме лорда Кентервиля, который в ответном письме выразил по сему поводу свою радость и поздравил достойную супругу посла.

Но Отисы ошиблись. Привидение не покинуло их дом и, хотя было теперь почти инвалидом, все же не думало оставлять их в покое, — особенно с тех пор, как ему стало известно, что среди гостей находится молодой герцог Чеширский, двоюродный внук того самого лорда Фрэнсиса Стилтона, который поспорил однажды на сто гиней с полковником Карбери, что сыграет в кости с духом Кентервилля; поутру лорда Стилтона нашли на полу ломберной разбитого параличом, и, хотя он дожил до преклонных лет, он мог произнести лишь два слова «шестерка дубль». Эта история в свое время очень на шумела, хотя из уважения к чувствам обеих благородных семей ее всячески старались замять. Подробности ее можно найти в третьем томе сочинения лорда Тэттла «Воспоминания о принцерегенте и его друзьях». Духу, естественно, хотелось доказать, что он не утратил прежнего влияния на Стилтонов, с которыми к тому же состоял в дальнем родстве: его кузина была замужем *en secondes nocces*¹ за монсеньером де Балкли, а от него, как всем известно, ведут свой род герцоги Чеширские.

Он даже начал работать над возобновлением своей знаменитой роли Монах-вампир, или Бескровный Бенедиктинец, в которой решил предстать перед юным полковником Вирджинии. Он был так страшен в этой роли, что когда его однажды, в роковой вечер под новый 1764 год, увидела старая леди Стартап, она издала несколько истошных криков, и с ней случился удар. Через три дня она скончалась, лишив Кентервилей, своих ближайших родственников, наследства и оставив все своему лондонскому аптекарю.

Но в последнюю минуту страх перед близнецами помешал привидению покинуть свою комнату, и маленький герцог спокойно проспал до утра под большим балдахинном с плюмажами в королевской опочивальне. Во сне он видел Вирджинию.

Глава V

Несколько дней спустя Вирджиния и ее златокудрых кавалер поехали кататься верхом на Броклейские луга, и она, пробираясь сквозь живую изгородь, так изорвала свою

¹ Вторым браком (фр.).

амазонку, что, вернувшись домой, решила потихоньку от всех подняться к себе по черной лестнице. Когда она пробежала мимо гобеленовой залы, дверь которой была чуточку приоткрыта, ей показалось, что в комнате кто-то есть, и, полагая, что это камеристка ее матери, иногда сидевшая здесь с шитьем, она собралась было попросить ее защитить платье. К несказанному ее удивлению, это оказался сам кентервильский дух! Он сидел у окна и следил взором, как облетает под ветром непрочная позолота с пожелтевших деревьев и как в бешеной пляске мчатся по длинной аллее красные листья. Голову он уронил на руки, и вся поза его выражала безнадежное отчаянье. Таким одиноким, таким дряхлым показался он маленькой Вирджинии, что она, хоть и подумала сперва убежать и запереться у себя, пожалела его и захотела утешить. Шаги ее были так легки, а грусть его до того глубока, что он не заметил ее присутствия, пока она не заговорила с ним.

— Мне очень жаль вас,— сказала она.— Но завтра мои братья возвращаются в Итон, и тогда, если вы будете хорошо себя вести, вас никто больше не обидит.

— Глупо просить меня, чтобы я хорошо вел себя,— ответил он, с удивлением разглядывая хорошенькую девочку, которая решилась заговорить с ним,— просто глупо! Мне положено греметь цепями, стонать в замочные скважины и разгуливать по ночам — если ты про это. Но в этом же весь смысл моего существования!

— Никакого смысла тут нет, и вы сами знаете, что были скверный. Миссис Амни рассказала нам еще в первый день после нашего приезда, что вы убили жену.

— Допустим,— сварливо ответил дух,— но это дела семейные и никого не касаются.

— Убивать вообще нехорошо,— сказала Вирджиния, которая иной раз проявляла милую пуританскую нетерпимость, унаследованную ею от какого-то предка из Новой Англии.

— Терпеть не могу ваш дешевый, беспредметный ригоризм! Моя жена была очень дурна собой, ни разу не сумела прилично накрахмалить мне брыжи и ничего не смыслила в стряпне. Ну хотя бы такое: однажды я убил в Хоглейском лесу оленя, великолепного самца-одногодка,— как ты думаешь, что нам из него приготовили? Да что теперь толковать,— дело прошлое! И все же, хоть я и убил жену, по-моему, не очень любезно было со стороны моих шуринов заморить меня голодом.

— Они заморили вас голодом? О господин дух, то есть, я хотела сказать, сэр Симон, вы, наверно, голодный? У меня в сумке есть бутерброд. Вот, пожалуйста!

— Нет, спасибо. Я давно ничего не ем. Но все же ты очень добра, и вообще ты гораздо лучше всей своей противной, невоспитанной, вульгарной и бесчестной семьи.

— Не смейте так говорить! — крикнула Вирджиния, топнув ножкой. — Сами вы противный, невоспитанный, гадкий и вульгарный, а что до честности, так вы сами знаете, кто таскал у меня из ящика краски, чтобы рисовать это дурацкое пятно. Сперва вы забрали все красные краски, даже киноварь, и я не могла больше рисовать закаты, потом взяли изумрудную зелень и желтый хром; и напоследок у меня остались только индиго и белила, и мне пришлось рисовать только лунные пейзажи, а это навевает тоску, да и рисовать очень трудно. Я никому не сказала, хоть и сердилась. И вообще все это просто смешно: ну где видали вы кровь изумрудного цвета?

— А что мне оставалось делать? — сказал дух, уже не пытаясь спорить. — Теперь не просто достать настоящую кровь, и поскольку твой братец пустил в ход свой Образцовый Очиститель, я счел возможным воспользоваться твоими красками. А цвет, знаешь ли, кому какой нравится. У Кентервилей, к примеру, кровь голубая, самая голубая во всей Англии. Впрочем, вас, американцев, такого рода вещи не интересуют.

— Ничего вы не понимаете. Поехали бы лучше в Америку, да подучились немного. Папа с радостью устроит вам бесплатный билет, и хотя на спиртное и, наверно, на спиритическое пошлина очень высокая, вас на таможне пропустят без всяких. Все чиновники там — демократы. А в Нью-Йорке вас ждет колоссальный успех. Я знаю многих людей, которые дали бы сто тысяч долларов за обыкновенного деда, а за семейное привидение — и того больше.

— Боюсь, мне не понравится ваша Америка.

— Потому что там нет ничего допотопного или дико-винного? — съязвила Вирджиния.

— Ничего допотопного? А ваш флот? Ничего ди-ко-винного? А ваши нравы?

— Прощайте! Пойду попрошу папу, чтобы он оставил близнецов дома еще на недельку.

— Не покидайте меня, мисс Вирджиния! — воскликнул

дух.— Я так одинок, так несчастен! Право, я не знаю, как мне быть. Мне хочется уснуть, а я не могу.

— Что за глупости! Для этого надо только улесться в постель и задуть свечу. Не уснуть куда труднее, особенно в церкви. А уснуть совсем просто. Это и грудной младенец сумеет.

— Триста лет я не ведал сна,— печально промолвил дух, и прекрасные голубые глаза Вирджинии широко раскрылись от удивления.— Триста лет я не спал, я так истомился душой!

Вирджиния сделалась очень печальной, и губки ее задрожали, как лепестки розы. Она подошла к нему, опустилась на колени и заглянула в его старое, морщинистое лицо.

— Бедный мой призрак,— прошептала она,— разве негде тебе лечь и уснуть?

— Далеко-далеко, за сосновым бором,— ответил он тихим, мечтательным голосом,— есть маленький сад. Трава там густая и высокая, там белеют звезды цикуты, и всю ночь там поет соловей. Он поет до рассвета, и холодная хрустальная луна глядит с вершины, а исполинское тисовое дерево простирает свои руки над спящими.

Глаза Вирджинии заволоклись слезами, и она спрятала лицо в ладони.

— Это Сад Смерти? — прошептала она.

— Да, Смерти. Смерть, должно быть, прекрасна. Лежишь в мягкой сырой земле, и над тобою колышутся травы, и слушаешь тишину. Как хорошо не знать ни вчера, ни завтра, забыть время, простить жизнь, изведать покой. В твоих силах помочь мне. Тебе легко отворить врата Смерти, ибо с тобой Любовь, а Любовь сильнее Смерти.

Вирджиния вздрогнула, точно ее пронизал холод; воцарилось короткое молчание. Ей казалось, будто она видит страшный сон.

И опять заговорил дух, и голос его был как вздохи ветра.

— Ты читала древнее пророчество, начертанное на окне библиотеки?

— О, сколько раз! — воскликнула девочка, вскинув головку.— Я его наизусть знаю. Оно написано такими странными черными буквами, что их сразу и не разберешь. Там всего шесть строчек:

Когда заплачет, не шутя,
Здесь златокудрое дитя,
Молитва утолит печаль
И зацветет в саду миндаль —
Тогда взликует этот дом,
И дух уснет, живущий в нем¹

Только я не понимаю, что все это значит.

— Это значит,— печально промолвил дух,— что ты должна оплакать мои прегрешения, ибо у меня самого нет слез, и помолиться за мою душу, ибо нет у меня веры. И тогда, если ты всегда была доброй, любящей и нежной, Ангел Смерти смилуется надо мной. Страшные чудовища явятся тебе в ночи и станут нашептывать злые слова, но они не сумеют причинить тебе вред, потому что вся злокозненность ада бессильна пред чистотою ребенка.

Вирджиния не отвечала, и, видя, как низко склонилась она свою златокудрую головку, дух принялся в отчаянии ломать руки. Вдруг девочка встала. Она была бледна, и глаза ее светились удивительным огнем.

— Я не боюсь,— сказала она решительно.— Я попрошу Ангела помиловать вас.

Едва слышно вскрикнув от радости, он поднялся на ноги, взял ее руку, и наклонившись со старомодной грацией, поднес к губам. Пальцы его были холодны как лед, губы жгли как огонь, но Вирджиния не дрогнула и не отступила, и он повел ее через полутемную залу. Маленькие охотники на поблекших зеленых гобеленах трубили в свои украшенные кистями рога и махали крошечными ручками, чтоб она вернулась назад. «Вернись, маленькая Вирджиния! — кричали они.— Вернись!»

Но дух крепче сжал ее руку, и она закрыла глаза. Пучеглазые чудовища с хвостами ящериц, высеченные на камине, смотрели на нее и шептали: «Берегись, маленькая Вирджиния, берегись! Что, если мы больше не увидим тебя?» Но дух скользил вперед все быстрее, и Вирджиния не слушала их.

Когда они дошли до конца залы, он остановился и тихо произнес несколько непонятных слов. Она открыла глаза и увидела, что стена растаяла, как туман, и за ней разверзлась черная пропасть. Налетел ледяной ветер, и она почувствовала, как кто-то потянул ее за платье.

¹ Перевод Р. Померанцевой

— Скорее, скорее! — крикнул дух. — Не то будет поздно.

И деревянная панель мгновенно сомкнулась за ними, и гобеленовый зал опустел.

Иаки VI

Когда минут через десять гонг зазвонил к чаю и Вирджиния не спустилась в библиотеку, миссис Отис послала за ней одного из лакеев. Вернувшись, он объявил, что не мог сыскать ее. Вирджиния всегда выходила под вечер за цветами для обеденного стола, и поначалу у миссис Отис не возникло никаких опасений. Но когда пробило шесть, а Вирджинии все не было, мать не на шутку встревожилась и велела мальчикам искать сестру в парке, а сама вместе с мистером Отисом обошла весь дом. В половине седьмого мальчики вернулись и сообщили, что не обнаружили никаких следов Вирджинии. Все были крайне встревожены и не знали, что предпринять, когда вдруг мистер Отис вспомнил, что позволил цыганскому табору остановиться у него в поместье. Он тотчас отправился со старшим сыном и двумя работниками в Блэкфелский лог, где, как он знал, стояли цыгане. Маленький герцог, страшно взволнованный, во что бы то ни стало хотел идти с ними, но мистер Отис боялся, что будет драка, и не взял его. Цыган на месте уже не было, и, судя по тому, что костер еще теплился и на траве валялись кастрюли, они уехали в крайней спешке. Отправив Вашингтона и работников осмотреть окрестности, мистер Отис побежал домой и разослал телеграммы полицейским инспекторам по всему графству, прося разыскать маленькую девочку, похищенную бродягами или цыганами. Затем он велел подать коня и, заставив жену и мальчиков сесть за обед, поскакал с грумом по дороге, ведущей в Аскот. Но не успели они отъехать и двух миль, как услышали за собой стук копыт. Оглянувшись, мистер Отис увидел, что его догоняет на своем пони маленький герцог, без шляпы, с раскрасневшимся от скачки лицом.

— Простите меня, мистер Отис, — сказал мальчик, переводя дух, — но я не могу обедать, пока не сыщется Вирджиния. Не сердитесь, но если б в прошлом году вы согласились на нашу помолвку, ничего подобного не случилось бы. Вы ведь не отошлете меня, правда? Я не хочу домой и никуда не уеду!

Посол не сдержал улыбки при взгляде на этого милого ослушника. Его глубоко тронула преданность мальчика и, нагнувшись с седла, он ласково потрепал его по плечу.

— Что ж, ничего не поделаешь, — сказал он, — коли вы не хотите вернуться, придется взять вас с собой, только надо будет купить вам в Аскоте шляпу.

— Не нужно мне шляпы! Мне нужна Вирджиния! — засмеялся маленький герцог, и они поскакали к железнодорожной станции.

Мистер Отис спросил начальника станции, не видел ли кто на платформе девочки, похожей по приметам на Вирджинию, но никто не мог сказать ничего определенного. Начальник станции все же протелеграфировал по линии и уверил мистера Отиса, что для розысков будут приняты все меры; купив маленькому герцогу шляпу в лавке, владелец которой уже закрывал ставни, посол поехал в деревню Бексли, что в четырех милях от станции, где, как ему сообщили, был большой общинный выпас и часто собирались цыгане. Спутники мистера Отиса разбудили сельского полисмена, но ничего от него не добились и, объехав луг, повернули домой. До замка они добрались только часам к одиннадцати, усталые, разбитые, на грани отчаяния. У ворот их дожидались Вашингтон и близнецы с фонарями: в парке было уже темно. Они сообщили, что никаких следов Вирджинии не обнаружено. Цыган догнали на Броклейских лугах, но девочки с ними не было. Свой внезапный отъезд они объяснили тем, что боялись опоздать на Чертонскую ярмарку, так как перепутали день ее открытия. Цыгане и сами встревожились, узнав об исчезновении девочки, и четверо из них остались помогать в розысках, поскольку они были очень признательны мистеру Отису за то, что он позволил им остановиться в поместье. Обыскали пруд, славившийся карпами, обшарили каждый уголок в замке, — все напрасно. Было ясно, что в эту по крайней мере ночь Вирджинии с ними не будет. Мистер Отис и мальчики, опустив голову, пошли к дому, а грум вел за ними обоих лошадей и пони. В холле их встретило несколько измученных слуг, а в библиотеке на диване лежала миссис Отис, чуть не обезумевшая от страха и тревоги; старуха домоправительница смачивала ей виски одеколоном. Мистер Отис уговорил жену покушать и велел подать ужин. Это был грустный ужин. Все приуныли. и даже близнецы притихли и не баловались: они очень любили сестру.

После ужина мистер Отис, как ни упрашивал его маленький герцог, отправил всех спать, заявив, что ночью все равно ничего не сделаешь, а утром он срочно вызовет по телеграфу сыщиков из Скотланд-Ярда. Когда они выходили из столовой, церковные часы как раз начали отбивать полночь, и при звуке последнего удара что-то вдруг затрещало и послышался громкий возглас. Оглушительный раскат грома сотряс дом, звуки неземной музыки полились в воздухе; и тут на верхней площадке лестницы с грохотом отвалился кусок панели, и, бледная как полотно, с маленькой шкатулкой в руках, из стены выступила Вирджиния.

В мгновение ока все были возле нее. Миссис Отис нежно обняла ее, маленький герцог осыпал ее пылкими поцелуями, а близнецы принялись кружиться вокруг в дикой воинственной пляске.

— Где ты была, дитя мое? — строго спросил мистер Отис: он думал, что она сыграла с ними какую-то злую шутку. — Мы с Сеслом объехали пол-Англии, разыскивая тебя, а мама чуть не умерла от страха. Никогда больше не шути так с нами.

— Дурачить можно только духа, только духа! — вопили близнецы, прыгая как безумные.

— Милая моя, родная, нашлась, слава богу, — твердила миссис Отис, целуя дрожащую девочку и разглаживая ее спутанные золотые локоны, — никогда больше не покидай меня.

— Папа, — сказала Вирджиния спокойно, — я провела весь вечер с духом. Он умер, и вы должны пойти взглянуть на него. Он был очень дурным при жизни, но раскаялся в своих грехах и подарил мне на память эту шкатулку с чудесными драгоценностями.

Все глядели на нее в немом изумлении, но она оставалась серьезной и невозмутимой. И она повела их через отверстие в панели по узкому потайному коридорчику; Вашингтон со свечой, которую он прихватил со стола, замыкал процессию. Наконец они дошли до тяжелой дубовой двери на больших петлях, утыканной ржавыми гвоздями. Вирджиния прикоснулась к двери, та распахнулась, и они очутились в низенькой каморке со сводчатым потолком и зарешеченным окошком. К огромному железному кольцу, вделанному в стену, был прикован цепью страшный скелет, распростертый на каменном полу. Казалось, он хотел дотянуться своими длинными пальцами

до старинного блюда и ковша, поставленных так, чтобы их нельзя было достать. Ковш, покрытый изнутри зеленой плесенью, был, очевидно, когда-то наполнен водой. На блюде осталась лишь горстка пыли. Вирджиния опустилась на колени возле скелета и, сложив свои маленькие ручки, начала тихо молиться; пораженные, созерцали они картину ужасной трагедии, тайна которой открылась им.

— Глядите! — воскликнул вдруг один из близнецов, глянув в окно, чтобы определить, в какой части замка находится каморка. — Глядите! Сухое миндальное дерево расцвело. Светит луна, и мне хорошо видны цветы.

— Бог простил его! — сказала Вирджиния, вставая, и лицо ее словно озарилось лучезарным светом.

— Вы ангел! — воскликнул молодой герцог, обнимая и целуя ее.

Глава VII

Четыре дня спустя после этих удивительных событий, за час до полуночи, из Кентервильского замка тронулся траурный кортеж. Восемь черных коней везли катафалк, и у каждого на голове качался пышный страусовый султан; богатый пурпурный покров с вытканым золотом гербом Кентервильей был наброшен на свинцовый гроб, и слуги с факелами шли по обе стороны экипажей — процессия производила неизгладимое впечатление. Ближайший родственник усопшего лорд Кентервиль, специально прибывший на похороны из Уэльса, ехал вместе с маленькой Вирджинией в первой карете. Потом ехал посол Соединенных Штатов с супругой, за ними Вашингтон и три мальчика. В последней карете сидела миссис Амни — без слов было ясно, что, поскольку привидение пугало ее больше пятидесяти лет, она имеет право проводить его до могилы. В углу погоста, под тисовым деревом, была вырыта огромная могила, и преподобный Огастес Дэмпир с большим чувством прочитал заупокойную молитву. Когда пастор умолк, слуги, по древнему обычаю рода Кентервильей, потушили свои факелы, а когда гроб стали опускать в могилу, Вирджиния подошла к нему и возложила на крышку большой крест, сплетенный из белых и розовых цветов миндаля. В этот миг луна тихо выплыла из-за тучи и залила серебром маленькое кладбище, а в отдаленной роще раздались соловьиные трели. Вирджиния вспомнила про

Сад Смерти, о котором рассказывал дух. Глаза ее наполнились слезами, и всю дорогу домой она едва проронила слово.

На следующее утро, когда лорд Кентервиль стал собираться обратно в Лондон, мистер Отис завел с ним разговор о драгоценностях, подаренных Вирджинии привидением. Они были великолепны, особенно рубиновое ожерелье в венецианской оправе — редкостный образец работы XVI века; их ценность была так велика, что мистер Отис не считал возможным разрешить своей дочери принять их.

— Милорд,— сказал он,— я знаю, что в вашей стране закон о «мертвой руке» распространяется как на земельную собственность, так и на фамильные драгоценности, и у меня нет сомнения, что эти вещи принадлежат вашему роду или, во всяком случае, должны ему принадлежать. Посему я прошу вас забрать их с собой в Лондон и впредь рассматривать как часть вашего имущества, возвращенную вам при несколько необычных обстоятельствах. Что касается моей дочери, то она еще ребенок и пока, слава богу, не слишком интересуется всякими дорогими безделушками. К тому же миссис Отис сообщила мне,— а она, должен сказать, провела в юности несколько зим в Бостоне и прекрасно разбирается в искусстве,— что за эти безделушки можно выручить солидную сумму. По причине вышеизложенного, лорд Кентервиль, я, как вы понимаете, не могу согласиться, чтобы они перешли к кому-нибудь из членов моей семьи. Да и вообще вся эта бессмысленная мишура, необходимая для поддержания престижа британской аристократии, совершенно ни к чему тем, кто воспитан в строгих и, я бы сказал, непоколебимых принципах республиканской простоты. Не скрою, впрочем, что Вирджиния очень хотелось бы сохранить, с вашего позволения, шкатулку в память о вашем несчастном заблудшем предке. Вещь эта старая, ветхая, и вы, быть может, исполните ее просьбу. Я же со своей стороны, признаться, крайне удивлен, что моя дочь проявляет такой интерес к средневековью, и способен объяснить это лишь тем, что Вирджиния родилась в одном из пригородов Лондона, когда миссис Отис возвращалась из поездки в Афины.

Лорд Кентервиль с должным вниманием выслушал почтенного посла, лишь изредка принимаясь теревить седой ус, чтобы скрыть невольную улыбку. Когда мистер Отис кончил, лорд Кентервиль крепко пожал ему руку

— Дорогой сэр,— сказал он,— ваша прелестьная дочь

немало сделала для моего злополучного предка, сэра Симона, и я, как и все мои родственники, весьма обязан ей за ее редкую смелость и самоотверженность. Драгоценности принадлежат ей одной, и если бы я забрал их у нее, я проявил бы такое бессердечие, что этот старый грешник, самое позднее через две недели, вылез бы из могилы, дабы отравить мне остаток дней моих. Что же касается их принадлежности к майорату, то в него не входит вещь, не упомянутая в завещании или другом юридическом документе, а об этих драгоценностях нигде нет ни слова. Поверьте, у меня на них столько же прав, сколько у вашего дворцового, и я не сомневаюсь, что, когда мисс Вирджиния подрастет, она с удовольствием наденет эти украшения. К тому же вы забыли, мистер Отис, что купили замок с мебелью и привидением, а тем самым к вам отошло все, что принадлежало привидению. И хотя сэр Симон проявлял по ночам большую активность, юридически он оставался мертв, и вы законно унаследовали все его состояние.

Мистер Отис был весьма огорчен отказом лорда Кентервиля и просил его еще раз хорошенько все обдумать, но добродушный пэр остался непоколебим и в конце концов уговорил посла оставить дочери драгоценности; когда же весной 1890 года молодая герцогиня Чеширская представлялась королеве по случаю своего бракосочетания, ее драгоценности оказались предметом всеобщего внимания. Ибо Вирджиния получила герцогскую корону, которую получают в награду все благонравные американские девочки. Она вышла замуж за своего юного поклонника, едва он достиг совершеннолетия, и они оба были так милы и так влюблены друг в друга, что все радовались их счастью, кроме старой маркизы Дамблтон, которая пыталась пристроить за герцога одну из своих семи незамужних дочек, для чего дала не менее трех обедов, очень дорого ей стоивших. Как ни странно, но к недовольным поначалу примкнул и мистер Отис. При всей своей любви к молодому герцогу, он, по теоретическим соображениям, оставался врагом любых титулов и, как он заявлял, «опасался. что расслабляющее влияние приверженной наслаждениям аристократии может поколебать незыблемые принципы республиканской простоты». Но его скоро удалось уговорить, и когда он вел свою дочь под руку к алтарю церкви святого Георгия, что на Ганновер-сквер, то во всей Англии, мне кажется, не нашлось бы человека более гордого собой.

По окончании медового месяца герцог и герцогиня отправились в Кентервильский замок и на второй день пошли на заброшенное кладбище близ сосновой рощи. Долго не могли они придумать эпитафию для надгробия сэра Симона и под конец решили просто вытесать там его инициалы и стихи, начертанные на окне библиотеки. Герцогиня убрала могилу розами, которые принесла с собой, и, немного постояв над нею, они вошли в полуразрушенную старинную церковку. Герцогиня присела на упавшую колонну, а муж, расположившись у ее ног, курил сигарету и глядел в ее ясные глаза. Вдруг он отбросил сигарету, взял герцогиню за руку и сказал:

— Вирджиния, у жены не должно быть секретов от мужа.

— А у меня и нет от тебя никаких секретов, дорогой Сесл.

— Нет, есть,— ответил он с улыбкой.— Ты никогда не рассказывала мне, что случилось, когда вы заперлись вдвоем с привидением.

— Я никому этого не рассказывала, Сесл,— сказала Вирджиния серьезно.

— Знаю, но мне ты могла бы рассказать.

— Не спрашивай меня об этом, Сесл, я правда не могу тебе рассказать. Бедный сэр Симон! Я стольким ему обязана! Нет, не смейся, Сесл, это в самом деле так. Он открыл мне, что такое Жизнь, и что такое Смерть, и почему Любовь сильнее Жизни и Смерти.

Герцог встал и нежно поцеловал свою жену.

— Пусть эта тайна останется твоей, лишь бы сердце твое принадлежало мне,— шепнул он.

— Оно всегда было твоим, Сесл.

— Но ты ведь расскажешь когда-нибудь все нашим детям? Правда?

Вирджиния вспыхнула.



Комментарии



Г. Уолпол

ЗАМОК ОТРАНТО

Предисловие к первому изданию (1765) и второму (1767) отражают намерение автора раскрыть свое инкогнито (в первом он выдал себя как переводчика итальянской рукописи), создать новый тип произведения соединивший черты «средневекового» и современного романов

С. 24. *...воцарения в Неаполе арагонской династии.* — Арагонская династия правила в течение двух веков XIII—XV вв.

С. 30 *...Вольтер в своем издании Корнеля.* — В 1761—1764 гг. Вольтер издал полное собрание сочинений Корнеля, которое снабдил подробным комментарием. Вольтер обратил внимание читателя на недопустимость смешения шутовского и возвышенного, использования бытовых оборотов, введенных Корнелем в трагедию.

С. 31. *...дважды перевел один и тот же монолог из «Гамлета».* — Имеется в виду перевод 1734 (в «Философских и английских письмах», XVIII письмо) и 1761 в памфлете «Воззвание к народам во славу Корнеля и Расина против Шекспира и Отвея». Отношение к Шекспиру у Вольтера было неоднозначным. Вначале он им восхищался, потом резко критиковал.

«Блудный сын» — комедия Вольтера.

С. 32. *«Мероп»* — трагедия Вольтера (1743).

С. 34. *За дверью дальнюю — царицыны пенаты..* — Из первой сцены трагедии Расина «Береника» (1670).

С. 35. *Сонет достопочтенной леди Мэри Коук* — Леди Мэри Коук (1726—1811), дочь герцога Аргайла, близкий друг Г Уолпола, эксцентричная и удивительная женщина, автор интересных мемуаров, опубликованных в 1889—1896 гг.

У. Бекфорд

ВАТЕК

Основным источником при создании восточного колорита в арабской сказке «Ватек» для Бекфорда служила «Восточная библиотека» д'Эрбе-ло, изданная в 1697 г. в Париже.

С. 149. *Ватек, девятый халиф из рода Аббасидов...*— Исторический Ватек, сын Мутасимы (833—842), правил страной в течение 5 лет (849—854). Он действительно был весьма ученым человеком, интересовался науками, особенно увлекался астрологией. Страдал от переедания, умер от водянки в возрасте 32 лет. Легенды приписывают ему страшный взгляд, который мог убить каждого ослушавшегося его приказа.

Аббасиды — потомки дяди пророка Аббаса, которые воцарились в 750 г. Государство Аббасидов было восстановлением Персидского, обновленного исламом и перешедшего в руки арабской династии.

Омар бен Абдалазиз-Омар II (634—644) — восьмой халиф из династии Омаядов, названный «неукротимым».

...над всем городом Саммаррой...— Город Самарра был построен отцом Ватека халифом Мутасимой, сделавшим в нем свою резиденцию.

...галерея картин знаменитого Мани...— Мани — знаменитый художник древности. Имя его упоминается в поэме Алишера Навои «Фархад и Ширин», гл. III.

С. 151. *...в подражание Немвроду...*— В мусульманских легендах Немврод построил башню, наподобие вавилоновской в Библии, для титанов, боровшихся с олимпийскими богами. В повести используется мотив дерзновенной мечты подняться выше к звездам, но Ватек убедился, поднявшись на вершину этой башни, что звезды так же далеки от него, как и прежде.

С. 152. *...как из эбена...*— Эбен — черное дерево.

Клянусь Валаамовой ослицей...— Ослица пророка Валаама, получившая дар речи и считавшаяся священным животным.

С. 157. *...для большего сходства с Эдемским садом...*— Эдем — земной рай, где жил Адам до грехопадения.

С. 159. *...проби т час Дивана...*— Здесь — собрание советников халифа.

С. 160. *...приказали муэдзинам...*— Муэдзин — служитель религиозного культа, созывающий верующих к молитве.

С. 162. *...там почивает Сулейман бен Даудд* — Сулейман — библейский царь Соломон. На Востоке его чтили как самого мудрого и все-

сильного царя. У мусульман имя Сулеймана носят цари, правившие землей до Адама.

С. 170. ...*фагфурские вазы*...— Фагфури — название китайской посуды. Слово «фарфор» происходит от этого слова. Фагфуrom на Ближнем Востоке называли китайских императоров.

С. 171. ...*направляйся к Истахару*...— (греч. Персеполь) — древняя столица персидского царства, отличавшаяся роскошью и великолепием.

...*собака Семи Спящих*...— Согласно Корану семь отроков, в наказание за непослушание (не поклонялись языческим богам) по воле аллаха были погружены в сон, длившийся триста лет. Их сон охранял пес, лежащий у входа в пещеру.

С. 172. ...*териак*...— (перс.) лекарство, употребляемое в древней медицине как противоядие.

С. 177. ...*эмали Франгистана*...— Франгистаном на Востоке называли страну франков, западную Европу.

С. 180. *Каф* — горный хребет, отождествлявшийся с Кавказом, где находилась страна, в которой обитали дивы и пери.

...*Симург выключает мне сейчас глаза*...— Симург — страшная гигантская птица, упоминание о которой встречается в арабских сказках, в тюркском фольклоре.

...*безжалостные африты*...— Африты (или ифриты) — сказочные крылатые чудовища, сотворенные из огня, которые встречаются в арабских сказках.

С. 181. ...*служит нам для абдеста*...— Абдест — ритуальное омовение в мусульманской религии.

...*колокольчики кафилы*...— Кафила (араб.) — караван верблюдов

...*что это Деджиал*...— Деджиал (Даджиал) — ложный мессия, с приходом которого связано представление о конце света.

С. 183. ...*принялись за произнесение «бисмиллаха»*...— «Бисмиллах» — во имя Аллаха».

...*на роскошный техтраван*... — Техтраван — носилки, паланкин.

С. 187. *Календеры* — странствующие дервиши суфийского ордена, часто юродствующие, ходившие в причудливой одежде.

С. 188. *Серендиб* — арабское название Цейлона, о котором мореплаватели рассказывали, что этот остров богат драгоценными камнями и диковинными растениями и животными.

...*у пришедших из Пегу*...— Пегу — древнее государство на территории Бирмы, жители которого исповедовали буддизм.

С. 190—191. ...*о любви Меджнуна и Лейли* — Меджнун и Лей-

ли — арабские любовники, история которых рассказана во многих восточных поэмах (Низами, Алишера Навои).

С. 194. *...о лукавых дивах и мрачных гулах.*— Гулы — злые демоны арабских сказок. Дивы — злые духи, входящие в свиту Ахримана (срав. с байроновским Ариманом, повелителем всех духов). Дивы женского пола называются пери, прекрасные феи, очаровывающие смертных.

С. 195. *...сокровищами древних султанов, живших до времен Адама...*— В мусульманских легендах до сотворения Адама на земле жили существа, управляемые султанами, или Солиманами. Последних из их рода Джин бен Джин.

...вместе с рубинами Джамшида...— Джамшид — один из древних персидских царей, построивший Истахар, славился богатством, мудростью. Аллах прогневался на него за то, что Джамшид считал себя бессмертным, процарствовав семьсот лет.

...тебя любит какой-нибудь джинн...— Джинн — демон в восточной мифологии, может быть как женского, так и мужского рода.

С. 199. *...«Леилах-илеилах»* — мусульманская молитва.

С. 200. *...это Монкир или Некир...*— Монкир и Некир, согласно мусульманскому вероисповеданию, ангелы, допрашивающие души умерших.

...роковой мост...— мост Ал-Сират — узкий мост через пропасть над огненным потоком. По этому мосту души умерших переходят или в рай или в ад.

С. 201. *...о священном верблюде...*— Согласно Корану священная верблюдица принадлежала аллаху.

С. 206. *...воспитанная магами, она радовалась, что халиф готов предаваться культу огня...*— Культ огня был присущ зороастризму — религии, господствующей в Иране до насильственной исламизации арабами. Маги — жрецы зороастризма.

С. 213. *...познакомится с самим Эблисом.*— В мусульманской мифологии Эблис — дьявол (аналог Люциферу), глава падших ангелов.

С. 218. *...могущественнее, чем Балкис...*— Балкис — царица Савская, прибывшая из Южной Аравии, чтобы испытать мудрость царя Соломона, задав ему несколько сложных загадок.

С. 221. *...чудовищный Уранбад...*— сказочное чудовище-дракон, стерегущий гору Ахерман.

...проникнуть в крепость Ахермана и в залы Ардженка...— Ахерман (Ариман) злое божество, окруженное злыми духами. Див Ардженк, хранитель 72 скульптурных изображений султанов доадамовой эпохи.

С. 223—224. *...твое сердце будет также пылать, как у всех поклон-*

ников Эблиса,...— Этот образ заимствован Бекфордом из монгольских сказок (Т. Гелетта «Султанши из Гузарата»).

С. 225. ...*Далее следуют...*— Восточная повесть «Ватек» должна была по неосуществленному замыслу автора обрамлять три вставные новеллы на манер восточных сказочных сборников. Так написана, например, «Лалла Рук» Т. Мура.

М. Шелли ФРАНКЕНШТЕЙН, ИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ ПРОМЕТЕЙ

С. 231. ...*на северных берегах Тэй, вблизи Данди...*— Данди — город в Шотландии.

С. 232. ...*к своей поэме «Мазепа».*— Байрон написал поэму «Мазепа» в 1818 г. в Венеции.

...*бедняга Полидори придумал жуткую даму...*— Д. Полидори 1795—1821 — личный врач Байрона, сопровождавший его в поездке по Европе. Во время пребывания Байрона на вилле Диодатти на берегу Женевского озера Полидори тоже участвовал в дружеском соревновании на лучшую готическую повесть. Джон Полидори написал готическую повесть «Вампир», которая поначалу приписывалась Байрону, но Байрон отрицал свое авторство и в 1819 г. она была напечатана под именем Полидори.

...*с пресловутым Томом из Ковентри...*— Согласно легенде о леди Годиве, портной Том, который подсматривал в щель ставни и ослеп, так как поступил нечестно. Жители Ковентри были обложены тяжелым налогом. Когда жена графа, леди Годива, вступилась за них, ее муж предложил ей проехать по городу обнаженной и тогда ее просьба будет удовлетворена. Чтобы спасти жителей, Годива согласилась на это испытание, но предупредила горожан, чтобы никто не выходил в это время на улицу.

С. 233. ...*напоминают нам о Колумбе и его яйце.*— Один из анекдотов о Колумбе приписывает ему необыкновенную находчивость в ответ на обвинения. Завистники после возвращения его из Америки говорили, что открыть Америку может всякий, туда доплывший. Тогда Колумб предложил собравшимся поставить стоймя сваренное вкрутую яйцо. Никто не мог этого сделать. Колумб, надбив яйцо с одного конца, поставил его стоймя. И когда его завистники стали утверждать, что это необыкновенно легко и может сделать всякий, Колумб ответил: «Что сможет это сделать каждый, когда посмотрит, как это делает другой».

...*об опытах доктора Дарвина...*— Эразм Дарвин (1731—1802) дед Чарлза Дарвина. Он был поэтом, врачом и ботаником, автором теории

эволюции и наследственности. Здесь, видимо, идет речь об опытах по оживлению материи, которые производились химиками.

С. 241. ...«в края туманов и снегов»,... — строки из «Сказания о старом мореходе» С. Колриджа. Далее излагается содержание поэмы.

С. 251. ...*Мои предки... были советниками и синдиками...*... синдик — в древней Греции защитник в суде. В Италии до 1928 г. — выборный глава общинного самоуправления. В некоторых странах Западной Европы — представитель какого-либо учреждения, общины или корпорации, ответственный за ведение дел.

С. 256. ...*мы изображали персонажеи Ронсевалья, рыцареи Артура Круглого Стола...*... Ронсеваль — долина в Пиренеях, где произошло знаменитое сражение, описанное в «Песне о Роланде», средневековом французском рыцарском эпосе. Артур — легендарный король Англии, объединивший страну. Рыцари Круглого Стола — Ланселот, Тристан, отличавшиеся верностью королю, доблестью и отвагой, романтической любовью к своим избранницам.

С. 257. ...*томик сочинений Корнелия Агриппы...*... Корнелий Агриппа (1486—1535) — средневековый ученый, интересовавшийся оккультизмом, выступал против казни ведьм и их преследований.

...а затем *Парацельса и Альберта Великого...*... Парацельс (настоящее имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм 1493—1541) — естествоиспытатель и врач, основатель ятрохимии содействовал внедрению химических препаратов в медицину. Альберт Великий — (1193—1280) — немецкий философ и теолог, представитель схоластики, преподавал в Кельне и Париже.

С. 273. ...*Так одинский пешеход, Чье сердце.* — стихотворение П. Б. Шелли «Минувшие дни».

С. 274. ...*отвечал то же, что голландский учитель в «Векфильдском священнике»...*... «Векфильдский священник» — роман О. Голдсмита (1728—1774), романиста и драматурга, поэта и публициста, представителя сентиментализма в Англии.

С. 278. ...*Ариосто, когда он описывает красоту Анжелики...*... Ариосто Лудовико (1474—1535) — итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения. Наиболее знаменитое произведение «Неистовый Орlando» (1532). Анжелика — героиня поэмы Ариосто.

С. 304. ...*Мы можем спать и мучиться во сне...*... — из стихотворения П. Б. Шелли «Изменчивость».

С. 310. ...*каким был Пандемониум для адских духов после их мук в огненном озере.*... Пандемониум — в поэме Мильтона «Потерянный рай» столица ада, место обитания всех злых духов. Там находился дворец, где была расположена комната для совещаний злых духов.

С. 346. *Я слышал о некоторых открытиях, сделанных одним*

английским ученым.— Речь, очевидно, идет об Эразме Дарвине, см. прим. к с. 233.

С. 352. ...*Грохот водопада был музыкой ему*.— Строки из стихотворения «Облако» П. Б. Шелли.

С. 352—353. ...*мы увидели форт Тильбюри и вспомнили испанскую Армаду; потом Грейвсенд, Вулвич и Гринвич*.— Испанская Армада, или Непобедимая Армада, испанский флот, направленный испанским королем Филиппом II против Англии и потерпевший поражение. Грейвсенд, Вулвич и Гринвич — города Великобритании. В Гринвиче, пригороде южного Лондона до 1948 г. находилась Гринвичская астрономическая обсерватория.

С. 353. ...*купол св. Павла*...— Собор св. Павла — главный собор англиканской церкви, построен архитектором К. Реном в 1675—1710 гг. после большого лондонского пожара.

...и *знаменитый в английской истории Тауэр*.— Лондонский Тауэр — старинная крепость на берегу Темзы. В разное время была королевской резиденцией, тюрьмой для государственных преступников, монетным двором, обсерваторией. Хранятся королевские регалии в Тауэре. Строительство было начато в XI веке Вильгельмом Завоевателем.

В. Скотт

КОМНАТА С ГОБЕЛЕНАМИ, ИЛИ ДАМА В СТАРИННОМ ПЛАТЬЕ

Повесть В. Скотта опубликована в 1821 г.

С. 415. ...*мисс Сьюард*...— Анна Сьюард (1747—1809), прозванная «Лебедем Личфилда», где она жила с десятилетнего возраста в приходе своего отца-каноника. Среди ее друзей был знаменитый поэт и ученый Эразм Дарвин, см. прим. к с. 233. В. Скотт высоко ценил стихи Сьюард, которые опубликовал в 1810 г.

С. 416. ...*армии лорда Корнуэлса, сдавшейся в Йорке*...— Чарльз Корнуэлс (1738—1805) — английский генерал, командующий английской армией в Америке во время Войны за независимость 1775—83 гг., потерпевший поражение под Йорктауном.

...*ровесника Йоркских и Ланкастерских войн*...— т. е. войны Алой и Белой Роз (1455—1485) — междоусобной феодальной войны за английский престол между династиями Ланкастеров (эмблема — красная роза) и Йорков (белая роза). В результате войны произошла смена династии.

Пришли Тюдоры, примирившие два враждующих клана, так как наследник Ланкатеров женился на наследнице Йорков.

С. 417. *Фэг* — младший ученик в мужской частной привилегированной школе, оказывающий мелкие услуги старшему ученику (будит по утрам, чистит обувь, собирает книги).

С. 417—418. *...и его закадычным другом в Крайстчерче.*— Крайстчерч — один из колледжей Оксфордского университета, основанный в 1546 г.

С. 419. *...когда находился в Виргинии, в лесу...*— Виргиния (теперь штат США) — основной район действий английской армии.

...я лежал в этой бочке, как Диоген...— По преданию, древнегреческий философ-киник Диоген (ок. 400 — ок. 325 гг.) жил в бочке. Повествовал крайний аскетизм.

С. 429. *...с изгнанником, находившимся в Сен-Жермене...*— т. е. со Старшим претендентом — Вильгельмом III Оранским, правителем Нидерландов с 1674 г., потом после «Славной революции» 1688 г. английским королем с 1689 г.

...на защиту Вильгельма во время революции...— Имеется в виду Вильгельм III Оранский.

...«не склонен был внимать им»...— неточная цитата из комедии Шекспира «Буря» (акт II, сцена I) в пер. М. Донского: «Ах, перестань! Я все равно не слышу, Вокруг меня как будто пустота».

Т. Л. Пикок

АББАТСТВО КОШМАРОВ

«Аббатство кошмаров» Томаса Лава Пикока — одно из блестящих сатирических произведений Пикока, высмеивающих сплин, меланхолию и романтическую скуку. Написан роман в 1818 г. Уныние и мизантропия, господствующие в английской литературе эпохи романтизма, вызвали самую явную неприязнь автора. Пикок был верным другом Шелли, разделял многие его вкусы и привязанности, например, любовь к античности. Благодаря Колриджу в английской литературе утверждались некоторые немецкие веяния, которые также нашли осуждение Пикока в его остроумном произведении. Диалогическая форма позволила писателю столкнуть наиболее яркие и непримиримые точки зрения на философию, литературу, искусство, жизнь. Производят особое впечатление значащие имена, в которых преобладают мрачные звучания и понятия. Вместе с тем каждое имя имеет конкретного прототипа. Мрачные персонажи: Кристофер Сплин и Скютроп Сплин (Шелли), мистер Флоски (Колридж, в греческом оригинале любитель

теней), мистер Гибель (друг Шелли Д. Ф. Ньютон, приверженец вегетарианства), Стелла Гибель (прототип — Мэри Шелли Уолстонкрафт), мистер Траур (Байрон). Другие имена намекают на жизнерадостный жизнелюбивый нрав их носителей — Лежебок (английский драматург Ламли Джордж Skeffington (1771—1850), мисс Марионетта О'Кэррол (первая жена Шелли Харриет Уэстбрук), Родерик Винобери (английский поэт Роберт Саути, поэт — лауреат, которому полагалась бочка вина). Как видно, даже простое перечисление имен показывает, что главные персонажи сатиры Пикока Шелли и его окружение.

С. 432. *...Волшебный, злой фонарь души...* — строки из поэмы С. Батлера (1613—1680) «Гудибрас» (1663—1678).

...А есть у вас там стул, на котором можно предаться меланхолии? — строки из комедии английского драматурга Б. Джонсона (1572(?) — 1637) «Всяк по-своему» (1598).

С. 436. *...подобно сэру Леолайну из «Кристабели»...* — Сэр Леолайн — отец героини поэмы С. Колриджа «Кристабель» (1791—1802) опубликована в сборнике «Кристабель и другие стихотворения» в 1816 г.

С. 439. *И жизнь была пред ним заслонена плодом воображенья, небылицей.* — Ср. Шекспир, «Макбет», акт. 1, сцена III (перевод Б. Пастернака).

«Боже, храни короля Ричарда». — У Шекспир, «Ричард III», сцена 7.

С. 440. *...манихейский проповедник тысячелетнего царства.* — Манихейство — религиозное учение, основанное знаменитым художником Востока Мани, который по преданию проповедовал в Персии, Ср. Азии, Индии в 3 в. В основе манихейства дуалистическое учение о борьбе добра и зла, как естественных и равноправных принципах бытия. Распространилось в 1 тыс. н. э. от Китая до Испании, хотя и подвергалось гонениям зороастризма, христианства, ислама.

С. 441. *...«устремя свои мыслительные способности на мыслимость мышления»...* — ср. с бурлеском «Хрононхотонтологус» (1734) английского драматурга, композитора Г. Кэри (1687—1743), автора бурлескной оперы «Драгун из Уонтли» поставленной с большим успехом в 1737 г.

Роберт Форсайт (1766—1846) — шотландский публицист, оказавший влияние на Пикока.

Иллюминаты — (букв. «просветленные») — примыкающая к масонству тайная организация, основанная в Баварии А. Вейсхауптом (1748—1830). утверждавшим, что естественный человеческий разум не в состоянии познать вечную истину. Для этого нужно прозрение, которое является результатом освещения человеческого разума светом божественного откровения.

«Ужасные тайны» — Роман немецкого писателя К. Гроссе (1768 — 1811), переведенный П. Уиллом немецкое название «Гений».

С. 442. ...элементархи и мрачные конфедераты, по ночам сходящиеся в катакомбах... — Элементархи — руководители тайного общества; изображены в романе английского писателя Томаса Джефферсона Хогга (1792—1862) «Воспоминания князя Алексея Хейматова» (1813). Хогг учился вместе с Шелли в Оксфорде, был его другом и биографом. Конфедераты — ранние христиане, преследовавшиеся за свою религию, должны были тайно собираться на моления в катакомбах. Ср. аналогичные эпизоды в романе «Камо грядеши» Г. Сенкевича.

Действие... есть итог убеждений... — Измененное название 5 главы трактата У. Годвина (1756—1836) «Рассуждения о политической справедливости» (1793). У. Годвин — английский философ и писатель, автор известного романа «Калейб Уильямс, или вещи как они есть», считается родоначальником анархизма.

...Скютроп ...написал и тиснул в печати трактат... — Видимо, намек на трактаты Шелли «Обращение к ирландскому народу» и «Предложение» (1812).

С. 443. ...и это будут семь золотых светильников... — Образ из «Откровения Иоанна Богослова»: «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников есть сия: семь звезд суть Ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей» (1, 20).

...зловещими шутками о гробе, о червях, о надписях надгробных. — Неточное цитирование «Ричарда II» акт. 5, сц. 2. У Шекспира — «Давайте поговорим о гробах, червях, о надписях надгробных».

С. 444. ...«на дыбе кресел слишком мягких»... — Строка из сатирической поэмы английского поэта-классициста А. Поупа (1688—1744) «Дунсиада» (1728), кн. II, ч. I, 44.

С. 445. ...породили в его голове много чистых дочувственных познаний... — Цитата из трактата У. Драммонда (1770—1826) «Академические вопросы» (1805, кн. 5, гл. 6).

С. 446. Умоляю тебя, выражайся по-человечески. — У. Шекспир, «Генрих IV», ч. II, акт. II, сц. 3.

...Давайте поступим, как Розалия с Карлосом... — Розалия и Карлос — персонажи «Ужасных тайн», романа немецкого писателя К. Гроссе.

С. 447. ...и суета, и томление духа... — Екклесиаст. глава I, 14; «Видели все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все — суета и томление духа!»

С. 450. ...Скютроп вынул из хранилища череп предка, наполнил его хадеро... — Намек на экстравагантные привычки Байрона и Шелли. Разве за глупством, как шестеро королей в «Кандиде». —

Имеется в виду трапеза Кандида и Мартэна в Венеции во время карнавала с шестью свергнутыми монархами: Ахметом III, Иваном VI, Карлом Эдуардом Стюартом, польским Августом II, Станиславом I Лещинским, Теодором, королем Корсики (под именем скрывался немецкий барон фон Неигоф).

С. 451. *Талия или Мальпомена, Аллегра или Пенсероза*.— Мельпомена — муза трагедии. В разговоре пародируются модные увлечения немецкими мистиками и оккультизмом. Аллегро и Пенсерозо — названия эпических поэм Д. Мильтона «L'Allegro» и «Penseroso». Первое означает серьезного человека, занимающегося наукой, склонного к размышлениям, второе — веселого, беззаботного, которому богиня Мирта разрешила жить на лоне природы, затем среди шумного города и вечно занятых людей. Намек на Марионетту, воспитывавшуюся в немецком монастыре, совершенно не склонную к меланхолии и унынию. Антиталийная Марионетта. Талия — муза комедии. Здесь, очевидно, ироническое отношение к героине, веселой, насмешливой, шаловливой.

Тише, тише, не шумите, чтобы он не догадался. — Знаменитый хор из II действия оперы Д. Россини (1792—1868) «Севильский цирюльник» (1816). Россини стал известен английской публике после постановки этой оперы. Кроме того, итальянский композитор часто использовал сюжеты из английской литературы для своих опер («Отелло» У. Шекспира; «Дева озера», «Роберт Брюс», «Айвенго» В. Скотта). Байрон довольно объективно оценил оперу Россини «Отелло».

С. 452. *«Нина, или Безумная от любви»* (1789) — опера-буфф итальянского композитора Джованни Паницелло (1740—1784).

С. 453. *Словарь Джонсона*.— Словарь английского языка (1755), составленный известным английским публицистом, драматургом, писателем и лексикографом Сэмюэлем Джонсоном (1709—1784).

С. 454 *«Гумандагиль»*.— Здесь пародийно обыгрывается название романа У. Годвина «Мандевиль» (1817), одного из готических произведений, высоко оцененного П. Б. Шелли именно за необыкновенно мрачный колорит.

«Пол Джонс»... Развязка весьма искусственна и непоэтична...— Пол Джонс — американский пират (1747—1792). Поэма «Пол Джонс» выдумана Пикоком как аналог байроновскому «Корсару».

«Даунингстритское обозрение».— Даунингстрит — небольшая улица в центре Лондона, где в домах под номерами 10 и 11 находятся резиденция премьер-министра и канцлера казначейства. Вероятно, имеется в виду один из многочисленных журналов, выходящих в Англии и имеющих в своем названии слово «обозрение», например, «Эдинбургское обозрение», «Ежеквартальное обозрение», «Вестминстерское обозрение» и т. д.

«Ода» к «Красной книге». Родерик Винобери... — «Красная книга» — название официальных справочников государственных деятелей, служащих, поскольку они имеют переплеты красного цвета. Родерик Винобери — сатирическое прозвище Роберта Саути, автора поэмы «Родерик, последний из готов» (1814). Винобери — намек на то, что Саути как поэту-лауреату полагалась ежегодно бочка вина.

...мало кто с таким достойным Иови долготерпением.. — Иов — ветхозаветный праведник... отличавшийся смирением, кротостью и терпением.

С. 455. ...все, что появилось после старика Джереми Тэйлора... — Джереми Тэйлор — (1613—1667) знаменитый английский проповедник, капеллан Карла I, проповедовавший веротерпимость, замечательный стилист, оставивший довольно большое количество блестящих проповедей.

...лучшее в книгах моих друзей написано либо придумано мною. — Имеется в виду творческое содружество С. Колриджа с У. Вордсвортом (сборник «Лирические баллады»), а также с Р. Саути (драма «Падение Робеспьера»)

С. 457. ..финал из «Дон Жуана». — Имеется в виду финал оперы В. А. Моцарта, где Дон Жуан проваливается в ад.

...До последнего времени Дант мне как-то не попадался... Но нынче, я вижу, он входит в моду... — Первый перевод Данте был сделан Джона таном Ричардсоном в 1719 г. (33 песня «Ад»). Полный перевод белым стихом был сделан Г. Кэри (1772—1844). Первая часть («Ад») была опубликована в 1805 г. «Чистилище» и «Рай» — в 1814 г. Перевод был высоко оценен Колриджем в ряде статей, в том числе и в «Лондонском журнале», Генри Фрэнсис Кэри работал помощником библиотекаря в Британском музее с 1826 по 1837 г.

С. 459. ...потому то я и окрестил старшего сына Иммануил Кант Флоски. — Колридж назвал своих сыновей в честь любимых им философов Дэвида Хартли (1705—1757) и Джорджа Беркли (1685—1763)

С. 460. ...«простым, обыкновенным, из низкого народа».. — У. Шекспир, «Генрих IV», акт IV, сц. I.

С. 463. ...«расчесывающая смоль своих кудрей»... — строки из пасторальной драмы английского поэта Д. Мильтона (1608—1674) «Комус» (написана в 1634, опубликована в 1637). Комус — языческий бог, выдуманный Мильтоном, сын Вакха и Цирцеи. Пасторальная драма, необыкновенно разнообразная по строфике, была поставлена в замке Ладлоу в честь вступления его хозяина в должность президента Уэльса.

С. 465. ...Нереида, русалка, была в 1403 году обнаружена на Немецком озере. — В рассказе Астериуса перемешаны тегенды о русалках и подлинные события. Кроме того «кораблики» употребляются здесь в двух смыслах — как уменьшительное от «корабль» и «корабли-

ки» — род головоногих моллюсков, живущих в тропических водах Индийского и западной части Тихого океанов. Эти моллюски-кораблики называются еще по-латыни наутилусами.

Славный Дон Фейхоо передает подлинное и достоверное преданье о юном испанце по имени Франсиско де ла Вега...— Дон Бенито Херонимо Фейхоо (1675—1764) — испанский монах-бенедиктинец, создавший произведение «Критический театр», где содержится рассказ о Франсиско де ла Вега.

С. 466. *...членом ордена святого Иакова...*— Орден основан в 1116 г. во время освобождения Испании от мавров.

Плиний упоминает о посольстве...— Плиний Старший (23 или 24—79), римский писатель и историк. Единственный сохранившийся трактат «Естественная история» в 37 книгах, помимо естественнонаучных сведений, содержит важную информацию о культуре, искусстве. Данный факт излагается в кн. 8, гл. 3.

С. 467. *...как преподобнейший брат Жан* — персонаж из романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», основатель Телемского монастыря где провозглашена свобода действий.

...синьор ПококурANTE...— персонаж повести Вольтера «Кандид». ПококурANTE на итальянском языке означает «беззаботный».

С. 469. *Согласно Беркли, esse всех вещей есть percipi.*— Джордж Беркли (1685—1753) — английский философ. В «Трактате о началах человеческого знания» (1710) утверждал, что внешний мир не существует независимо от мышления.

Хилиасты — сторонники веры в тысячелетнее царство бога и праведников на земле. Термин обычно связан с раннехристианскими учениями, осужденными церковью еще в III в., но распространенными в различных сектах и ересьях.

...кто не в своем уме и чужд сей теме...— Цитата из поэмы английского поэта С Батлера (1613—1680) «Гудибрас» (1663)

С. 470 *«И в обоих водятся лососи»...*— Шекспир. «Генрих V» (1599) акт. IV, сц. 7.

С. 471 *«поэта взор в возвышенном безумье»*...— У. Шекспир «Сон в летнюю ночь» (1595—96), акт V, сц. I.

С. 472. *сближение антиперистатических понятий, тотчас наводит на мысль о сверхсофистической парадоксологии.*— Излагается в юмористическом плане мысль С. Колриджа о скуке парадоксальных высказываний.

...я написал семьсот страниц...— Очевидно, имеется в виду «Биография литерария», начатая С. Колриджем в 1814 и законченная в 1817 г. Обширный труд автобиографического и историко-литературного и критического характера. Содержит интересную полемику с Рэмси и его офисией. Глава XIII посвящена различию между фантазией и воображением.

С. 473. *«из вещества того же, что и сны сотворены»*. — У Шекспир, «Буря» (1611), акт. IV, сц. I.

...во сне сочинил я пятьсот строк... — Речь идет о написании С. Колриджем поэмы «Кубла хан» (1797), опубликована в 1816 г. Подзаголовок отрывка «видение во сне». «Колридж, страдавший невралгическими болями, принял опиум и уснул, читая книгу Пэрчеса С. (1577—1626) о путешествиях на Восток, где построен был великолепный дворец для восточного властелина Кубла-хана». Поэма не закончена.

...и ныне я действую как сам Питер Пигва и сочиняю балладу про свой сон, и она будет называться «Сон Основы», потому что в ней никакой основы. — У. Шекспир. «Сон в летнюю ночь», акт IV, сц. I.

С. 474. *...даже не заглянув в Эвклида...* — Эвклид — древнегреческий математик, работавший в Александрии в III в. до н. э.

С. 475. *...обидчивый Стрефон...* — пастух, влюбленный в Уранию, — персонаж пасторального романа «Аркадия» английского поэта эпохи Возрождения Ф. Сидни (1554—1586). Имя Стрефон стало нарицательным для обозначения наивного доверчивого влюбленного.

С. 479. *...как видимый знак его внутренних представлений...* — Намек на цветистую и туманную манеру выражений Колриджа.

С. 480. *Конечно, страшно лицом к лицу...* — Строка из поэмы С. Колриджа «Кристабель».

...мистера Бэрка... — Эдмунд Бэрк (1729—1797), видный политический деятель, блестящий оратор, автор политических и социально-экономических трактатов, а также работ по эстетике, в частности ему принадлежит трактат «Философское исследование возвышенного и прекрасного» (1757).

...наш беспорочный лауреат..., продавши свое первородство за испанскую похлебку... — Пикок иронически намекает на поэта-лауреата Р. Саути.

Сосия — персонаж из комедии Д. Драйдена (1631—1706) «Амфитрион» (1690).

С. 482 *...зовите меня Стеллой.* — Персонаж многих сонетов и песен Ф. Сидни под названием «Астрофел и Стелла». Посвящены Пенелопе Рич, сестре графа Эссекса, фаворита английской королевы Елизаветы. Отец желал выдать ее замуж за Филипа Сидни, но она не выполнила его воли и выбрала себе в супруги лорда Рича. Сидни посвятил ей великолепные стихи. Она была необыкновенно красива, слыла хорошей лингвисткой. Взаимоотношения Марионетты, Стеллы и Скютропа в точности повторяют отношения между П. Б. Шелли, Х. Уэзбрук и Мэри Шелли.

Лишь тот раб слепой власти, кто не верит в собственные силы — Цитата из трактата английской писательницы, жены У. Годвина Мэри Уоллстонкрафт «Защита прав женщины» (1792, гл. 5, разд. 4).

...лорд К и закон об иностранцах...— В 1816 г. министр иностранных дел лорд Сидмут принял закон об иностранцах, который давал право правительству выдворять из страны лиц, вызывающих подозрение.

...как и для пьяного сапожника и знахаря, вооруженных лишь статейкой и парой дырявых чулок.— Подразумеваются сапожник Томас Престон и знахарь Джоймс Уолсон, участвующие в мятеже 1816 г. Носили порох в чулках, чтобы взорвать Тауэр.

С. 486. *«Здесь не пьют»*.— Надпись на склепе, наполненном сосудах с вином (эпизод из романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». кн. I, гл. I).

...выродившийся народ тупых и жалких рабов.— Аналогичную мысль высказывает Шелли в письме Пикоку от 20 апреля 1818 г., давая характеристику миланцам.

С. 487. *...бросает, однако ж, отечество...*— Речь идет о путешествующих англичанах, о которых Шелли сообщает в письме к Пикоку.

...я поссорился с женой... Я написал об этом оду...— Намек на ссору Байрона с женой и на опубликование без его согласия двух произведений.

...сенатор и наш дорогой друг.— Имеется в виду Байрон, член палаты Лордов.

С. 488. *«Ей богу, прапорщик, тут нечему радоваться»*.— У. Шекспир, «Генрих IV», акт. III, сц. 6.

С. 489. *...этот лживый мерзавец близкий мой друг...*— Измененная цитата из пьесы У. Шекспира «Генрих IV», ч. II, акт 5, сц. I.

С. 490. *...точно как розенкрейцер, готовый полюбить лишь сильфида...*— Розенкрейцеры — члены тайных, близких к масонству, обществ, возникших в XVII—XVIII вв. в Германии, России, Нидерландах и других странах. Основателем общества в 1484 г. был Х. Розенкрейц, Эмблема общества — роза и крест.

Идеальная красота Елены Зевксиса.— Зевксис — древнегреческий живописец конца V — IV в. до н. э. Применил светотень в произведениях «Елена», «Младенец Геракл».

С. 491. *Лучше милую грустную балладу. Норфолькскую трагедию...*— Популярная баллада, включенная Перси в собрание изданных им баллад «Дети в лесу», в которой рассказывается о том, как некий джентльмен из Норфолька завещает свое имущество маленьким сыну и дочери и поручает их заботам брата. Брат хочет завладеть наследством и избавиться от детей, для чего нанимает убийц. Один из убийц убивает другого, спасает детей и оставляет их в лесу. Несостоявшийся убийца признается в том, что замышлялось убийство и заставляет дядю несчастных детей умереть от мук совести.

...И в склепе Туллии...— Когда в XVI веке вскрыли могилу дочери Цицерона Туллии, обнаружили там горевшую лампаду.

С. 492. *Я буду Гарри Гилл и спою на три голоса.*— Имеется в виду стихотворение У. Вордсворта «Гуди Блейк и Гарри Гилл».

С. 493. *...бороздить моря и реки, озера и каналы по лунным дорожкам идеальной красоты.*— Обыгрывается романтический образ странника, с которым ассоциируется судьба Байрона и Шелли в Италии.

С. 494. *Очень многим и в очень большой степени.*— Намек на прочитанную С. Колриджем лекцию, где он дал рационалистическое объяснение снам и привидениям.

Двое ворот открыты для снов.— Вергилий. «Энеида». VI. 893. Вергилий — Марон Публий (70—19 до н. э.) — знаменитый римский поэт, создавший кроме «Энеиды» «Буколики» и «Георгики».

Духи являлись египтянам, когда Моисей наслал на Египет тьму.— Намек на II книгу Моисея. Исход, глава 10.

Эндорская волшебница вызвала дух Самуила.— Ср. 1-ая Царств, глава 28, 7—11.

С. 495. *Моисей и Илия явились на горе Фаворе.*— Рассказ о Преображении Христовом в Евангелии. Послание Матфея, глава 17, 1—3.

С. 495. *Злой дух был послан на войска Сеннахирима.*...— 2-ая Паралипоменон глава 32, 21—22.

Макарий Великий или Египетский (301—331 г.) — отец церкви.

Св. Мартин (336—401) — по преданию, увидев замерзающего нищего, отдал ему отрезанную половину плаща. В 361 г. основал монастырь, близ Пуатье, считается патроном Франции. Соперник его, видимо, Гилярий.

Святой Жермен.— С именем св. Жермена связано множество легенд. Его учеником был св. Патрик (389—461), покровитель Ирландии, учившийся в монастыре, руководимом св. Мартином.

...мосье Свебаху....— Жак Франсуа Жозеф Свебах (1769—1823) — французский художник, работавший в 1813 г. главным живописцем на императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге.

Павсаний рассказывает...— Павсаний — греческий писатель II в. н. э., автор «Описания Эллады» в 10 книгах.

...заглянуть в Тилотсона...— Джон Тилотсон (1630—1694) — знаменитый проповедник, архиепископ Кентерберийский. Его проповеди, короткие, ясные и понятные высоко ценились и в XVIII в.

С. 496. *...покуда полночь языком своим железным двенадцать не отсчитала.*— Измененная цитата из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» (акт V, сц. I)

С. 497. ...*в особенности мой друг мистер Винобери, славны своей добродетелью*...— Имеется в виду друг Колриджа Р. Саути, поэт-лауреат. Здесь упоминается, как и всегда, в ироническом смысле.

...*Аполлион или Аваддон* — греческий и еврейский вариант синонима смерти.

С. 498. ...*«усмотрел голос»*...— ср. У. Шекспир. «Сон в летнюю ночь», акт. V, сц. I.

С. 504. ...*сидит и вечно будет сидеть* — строка из «Энеиды» Вергилия, песнь VI, 617.

С. 505. *Стакан портвейну и пистолет.*— «Страдания молодого Вертера» В. И. Гете (1774), письмо 93.

С. 506. *В немецкой трагедии это бы сошло.*— Намек на трагедию Гете «Стелла».

С. 508. *Филин, Филин, не показался ли кто на дороге?*— Парафраза реплики героев в сказке Ш. Перро (1628—1708) («Синяя борода» (1687).

О. Уайльд

КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ

Кентервильское привидение впервые опубликовано в сборнике «Преступление лорда Севила и другие рассказы» в 1891 г.

С. 511. В оригинале подзаголовок — гило-идеалистическая история.— Гилозоизм — восходит к древнейшим анимистическим представлениям. Учение о всеобщей одушевленности универсума, отрицающее границу между «живым» и «неживым».

С. 514. *«Звезды и полосы»* — американский флаг.

С. 528. ...*лакрессом, покером, юкром и другими американскими национальными играми* — лакресс, например, игра в мяч индейского происхождения, проводится на травяном поле. Две команды пытаются забросить мяч в ворота противника, используя при этом клюшки.

С. 539. ...*к алтарю церкви с. Георгия на Ганновер сквер*...— Церковь св. Георгия расположена в фешенебельной части Лондона Мейфэр, известна как место аристократических свадеб. Построена в 1713—24 гг. после Большого лондонского пожара. Св. Георгий считается покровителем Англии.

Н. Соловьева



СОДЕРЖАНИЕ

Н. Соловьева
В лабиринте фантазии

5

Гораций Уолпол
ЗАМОК ОТРАНТО
Перевод с английского В. Шора

24

Уильям Бекфорд
ВАТЕК
Перевод с французского Б. Зайцева

149

Мери Шелли
ФРАНКЕНШТЕЙН, ИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ ПРОМЕТЕЙ
Перевод с английского З. Александровой

230

Вальтер Скотт
КОМНАТА С ГОБЕЛЕНАМИ,
ИЛИ ДАМА В СТАРИННОМ ПЛАТЬЕ
Перевод с английского А. Шадрина

415

Томас Лав Пикок
АББАТСТВО КОШМАРОВ
Перевод с английского Е. Суриц,
перевод стихотворений С. Бычкова

432

Оскар Уайльд
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДИЕНИЕ
Перевод с английского Ю. Кагарлицкого

513

Комментарии

542

Комната с гобеленами: Пер. с англ. и фр./Сост.,
К63 вступ. ст. и коммент. Н. Соловьевой; Ил. и оформл.
Е. Белоусовой.— М.: Правда, 1991.— 560 с., ил.

ISBN 5—253—00303—7

Готический роман, возникший в конце XVIII — начале XIX в. в западноевропейской литературе, возвестил начало кризиса проблемно-философского романа эпохи Просвещения.

Произведениям Г. Уолпола, У. Бекфорда, М. Шелли и В. Скотта, вошедшим в настоящий том, присущи черты, свойственные поэтике готического романа — напряженность сюжетного повествования, таинственность событий, демонизм характеров главных героев. «Аббатство кошмаров» Т. Л. Пикокка и «Кентервильское привидение» О. Уайльда представляют собой остроумную пародию на жанр готической прозы.

К 4703010100—2396 2396—91
080 02—91

84.4 Вл

Литературно-художественное издание

КОМНАТА С ГОБЕЛЕНАМИ

Английская готическая проза

Составитель

Соловьева Наталия Александровна

Редактор Е. А. Дмитриева

Художественный редактор Н. Н. Каминская

Технический редактор Т. Б. Слизун

ИБ 2396

Слано в набор 30 08 90 Подписано к печати 03 07 91

Формат 84×108 1/4 Бумага газетная

Гарнитура «Тип-таймс» Печать офсетная

Усл. печ. л. 29 40 Усл. кр.-отт. 30 24 Уч.-изд. л. 29 84

Тираж 600 000 экз. (6-й завод 500 001—600 000)

Заказ № 4767 Цена 8 руб

Набрано и отпечатано в типографии издательства «Самарский
Дом печати»

443086 г. Самара, пр. Карла Маркса, 201

